

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЪЕЗД
СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ



«НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

X Международный съезд славистов

София, сентябрь 1988 г.

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

Ответственный редактор
академик Н.И.ТОЛСТОЙ



МОСКВА "НАУКА" 1988

Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации: Сб. докладов / Отд-ние литературы и языка АН СССР; Советский комитет славистов; Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: Наука, 1988. – 392 с.
ISBN 5-02-010898-7

Сборник докладов советских языковедов, подготовленный к X Международному съезду славистов, охватывает основные вопросы славистики: структуру и историю праславянского языка, балто-славянские этнолингвистические отношения, сравнительное и историческое изучение славянских языков и диалектов, ономастику, сопоставительное и ареальное изучение славянских языков и диалектов, изучение структурных и семантических особенностей современных славянских языков, социолингвистику, лингвистику текста, сущность и развитие старославянского языка и его роль в формировании и развитии других славянских языков. Статьи сборника обобщают большую работу, проделанную советскими учеными после IX Международного съезда славистов (1983 г.) и намечают программу дальнейших исследований в области славистики.

Для лингвистов широкого профиля, историков.

Редакционная коллегия:

доктор филологических наук Ж.Ж. ВАРБОТ,
член-корреспондент АН СССР Ю.Н. КАРАУЛОВ
академик Н.И. ТОЛСТОЙ,
член-корреспондент АН СССР О.Н. ТРУБАЧЕВ,
член-корреспондент АН СССР Н.Ю. ШВЕДОВА

Рецензенты:

доктора филологических наук Л.К. Граудина, П.Н. Денисов

С 4602000000-131
042 (02) -88 Заказное

© Издательство "Наука", 1988

ISBN 5-02-010898-7

Г. С. Баранкова, Р. В. Бахтuriна, Л. А. Владимирова,
Л. П. Жуковская, А. М. Молдован, А. А. Пичхадзе

ИЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА 1073 Г. НЕКОТОРЫЕ ДРЕВНЕРУССКИЕ И ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЧЕРТЫ РУКОПИСИ

Вторая по древности из дошедших до нас датированных древнерусских рукописных книг, известная как "Изборник Святослава 1073 года" (ГИМ, Син. 1043, далее ИСв-73), восходит к славянскому переводу антологии греко-византийских патристических сочинений.

Являясь уникальным памятником славянской культуры, ИСв-73 особенно интересен для лингвистического исследования, поскольку в нем содержится богатый материал для изучения языка славянского перевода (относящегося, по-видимому, к эпохе царя Симеона), а также языковых особенностей, которые были привнесены в текст при его переписывании.

Рукопись ИСв-73¹ была переписана двумя древнерусскими писцами (исключая текст на л. 127в-г, написанный почерком второй четверти XIII в.); четыре миниатюры, изображающие отцов церкви (л. 3, 3 об., 128, 128 об.), выполнены художниками-профессионалами.

Систематическое употребление двух надстрочных знаков I писцом и безразличное употребление в тех же позициях только одного знака П писцом позволило выделить объем и виды работ, которые выполнили каждый из них.

Первый писец² написал: 1) на л. 1 об. - молитвенное обращение к Христу и имена князя, княгини и их сыновей²) на л. 2 об. - Похвалу Святославу; 3) на л. 2 над изображением Спаса - окончание Похвалы (2,5 строки); 4) основной текст памятника с нумерацией тетрадей на л. 4 - 86а15; 5) текст в круге заставки на л. 129; 6) названия знаков зодиака на л. 250 об. и 251; 7) на л. 263в последние 7 строк, в том числе три нижние, написанные расщепленным пером по стертуому; 8) на л. 263г в первой строке написанное по стертуому слово **кнѧзъ** и во второй строке **кнѧзъ святославъ**; 9) большие и малые инициалы на всем протяжении рукописи; 10) исправления текста в разных местах рукописи, в том числе глосса **иѣы** **тѣкъ** на правом поле л. 252. I писцу принадлежат рисунки знаков зодиака и сопровождающие их восьмилучевые звездочки, о чем свидетельствует цвет чернил и написание **водолѣи** на левом поле л. 250 об. Первым писцом, если не особым - третьим, написан заключительный текст "Летописец вкратце" (л. 264а25 - 266б9).

Вторым писцом написан текст на л. 86а15 - 264а24, исключая отдельные строки и слова (см. выше 7, 8).

В науке неоднократно обсуждался вопрос о славянском архете ИСв-73. А.Л.Дювернуа впервые высказал мнение о том, что он был написан глаголицей. Указывая на многочисленные

ошибки и искажения текста на начальных 74-х листах ИСв-73, ученый объяснял их тем, что "внимание первого русского писца утомлялось при разборе узловатых начертаний глаголического подлинника"³. Однако приведенный А.Л.Дювернуа в подтверждение этого тезиса пространный перечень искажений и описок ИСв-73 не содержит ни одного достоверного примера, который можно было бы объяснить только зависимостью от глаголического оригинала.

Не обосновано и утверждение А.Л.Дювернуа о том, что ИСв-73 является непосредственным списком с глаголической рукописи. С определенностью можно утверждать как раз обратное: антиграф, с которого переписывался ИСв-73, был кириллический. Об этом свидетельствует прежде всего ряд ошибочных написаний ИСв-73, которые можно объяснить только неразличением в антиграфе кириллических уставных букв, близких по начертанию: Б и В (бѣзбрачнѣа 40б9 вместо бѣзбрачнѣа, бѣзбрачнѣа 41в9 вместо бѣзбрачнѣа, аꙗацѣа⁴), В и К (вельиутьствомъ 9(8)в15 вместо количествомъ, пообѣтѣ), А и Л (словъсемь 39в8 вместо словесъмъ, лѹюцѣ), Л и А (гелада? 254621 вместо гелада?, єлбаб, оада 254г22 вместо оада, єлбаб), В и Н (нъ се 5в26 вместо въсе, аꙗас, вѣ 45г6 вместо нѣ, нꙗас).

В то же время зависимость ИСв-73 от глаголического протографа не вызывает сомнений. При последующем, возможно, многократном переписывании текста кириллицей следы глаголицы должны были, конечно, постепенно исчезнуть. Тем не менее в ИСв-73 нам удалось обнаружить ряд ошибочных написаний, происхождение которых с большей или меньшей вероятностью можно связывать с глаголическим письмом:

свойнъ 10(9)а17 вместо съвойнъ. Глаголические буквы съ (т) и лъ (д) в нормализованном, "типографском" начертании различаются отчетливо, но во многих древнейших почерках (Клоц., Макед.лл., Син.псалт. и др.) у буквы лъ изгиб дужки столь незначителен, что эта буква почти совпадает по форме съ в тех же рукописях;

съглѣадасть 62а1 вместо съвладасть. Глаголические буквы ѿ (в) и ѿ (г) сближаются по форме, особенно при остроконечном начертании ѿ и одновременно раскрытом начертании ѿ (см., например, в Киев.лл., Зогр. ев., Син. псалт. и др.). Кроме того, следует иметь в виду, что сочетания гл и вл в глаголице могли образовывать лигатуры⁵, в которых первый элемент становился менее отчетливым, и благодаря этому усиливалась вероятность ошибки;

осмъ си 43в9 вместо осмъи. Написание с на месте правой мачты ѿ может относиться и к ошибкам кириллического письма (и, ошибочно понятое как очень узкое с). Равным образом эта ошибка могла произойти при прочтении глаголической буквы ꙗ (ї) с треугольником в нижней части, являющейся вторым элементом ѿ, как ѿ (с) (ср. начертания этих букв в Зогр. ев., Клоц., Син. псалт. и Син. требн.). В обоих случаях можно полагать, что коррекция написания осмъ в осмь произошла при последующем переписывании;

помоіслить сѧ 16(13)а7 вместо помъіслить сѧ, такоиъ 131а25 вместо такъ:къ (табта)⁶. Эти написания являются, возможно, следствием описки в глаголическом списке; бук-

ва $\overset{\circ}{\text{т}}$ (ъ) с недописанным средним элементом была воспринята как $\overset{\circ}{\text{т}}$ (о).

Ввиду многочисленности не указываем примеры написаний съ вместо ѿ и ѿ вместо Ѹ, которые наиболее близки в ряде известных глаголических почерков.

В ИСв-73 встретилось несколько случаев написания сѧ или ѿ на месте Ѹ, которые также можно интерпретировать графически - букве Ѹ в глаголице соответствовал знак А, который очень напоминает кириллическое а: по малам прил.ед. ж.дат. 8961, Га^зантъ 14(12)в5 (éпохе́тъ), въ мѣнѧе оба-221а16 (áмибрóтеро́в 'менее ясно'), обоврода... ихъ срѣе 116г13 (éщатаиѡдη).

Наиболее убедительно на существование глаголического оригинала указывают ошибки в числах, обнаруженные в ИСв-73 при проверке его текста по греческому списку. Как известно, в обозначении чисел (особенно первого и второго десятка) глаголица и кириллица существенно расходятся: в глаголице натуральному ряду чисел соответствовал порядок букв славянского алфавита, в кириллице же числа обозначались в соответствии с порядком аналогичных букв в греческом алфавите. Поэтому, например, буквой $\overset{\circ}{\text{в}}$. в кириллице обозначалось число 2, а соответствующая буква глаголицы $\overset{\circ}{\text{в}}$ обозначала число 3; буква $\overset{\circ}{\text{г}}$. обозначала число 3, а буква $\overset{\circ}{\text{г}}$ (г) - 4 и т.д.

В статье "Уко ради ни боле ни хоужде числьѧ соуть и҃еаггелии" автор, Григорий Богослов, отвечая на вопрос, почему христианам было дано только четыре евангелия, а не больше, ссылается на то, что и херувимы имели четыре лица. Однако в ИСв-73 в обоих случаях указывается число три, а не четыре: дасъ намъ триноградъю и҃еаггелии (ср. тетраборфо) 176в18-19; небонъ и херувимъ трьлицуни соуть (ср. тетра-пробшпа) 176г26-27. Эта двойная ошибка возникла в результате воспроизведения писцом глаголической буквы $\overset{\circ}{\text{г}}$ (г), обозначавшей число 4, посредством кириллической буквы $\overset{\circ}{\text{г}}$, обозначавшей число 3.

В статье Ипполита "О .ів. ап(о)лоу. къде квінъдо ихъ проповѣда. или къде оумрѣша" сообщается, что апостол Павел проповедовал "до тридесать лѣтъ ти до трии" 262б2-4, после чего был казнен в Риме. Между тем в греческом тексте указывается другой возраст Павла - $\overset{\circ}{\text{л}}\overset{\circ}{\text{е}}.$, т.е. 35 лет. Причиной ошибки, на наш взгляд, могло быть прочтение глаголической буквы $\overset{\circ}{\text{л}}$ (д)-5 как $\overset{\circ}{\text{в}}$ (в)-3 (такие ошибки в глаголице известны), что было позднее выражено словесно.

В тексте "Въпроси и отвѣти Григория Богослова и Василия" на вопрос Василия о видении Исаии Григорий отвечает, что Исаия не мог видеть бога, поскольку даже серафимы его не могут видеть: серафимъ же и мы же и крила сѧть закрытавахъ дѣвѣма (так!) лицо не тръпаште видѣти славы и бжига 242в13-18. Смысл фразы проясняется из греческого текста, в котором на месте союза и стоит буква $\overset{\circ}{\text{с}}$. в значении 'б'. Механизм ошибки вполне очевиден: переводчик текста "перевел" стигму на глаголицу как "зело" ($\overset{\circ}{\text{л}}$), не учитывая, что ее числовое значение в глаголице иное - 8. Писец, переписывавший текст на кириллицу, воспроизвел это числовое значение глаголической буквы посредством $\overset{\circ}{\text{л}}$. (8). При послед-

дующей переписке титло над и исчезло случайно или было снято писцом, который предпочел неопределенное чтение смелой конъектуре. Форма им. мн. крила вместо род. мн. криль, которая должна читаться в архетипе, появилась в результате переосмысления контекста.

Приведенные факты, по-видимому, достаточно надежно свидетельствуют о том, что архетип ИСв-73 был написан глаголицей. Это служит новым подтверждением тому, что в Болгарии X в. глаголица употреблялась наряду с кириллицей⁷.

Переходя к анализу графико-орфографических особенностей ИСв-73, отметим некоторые закономерности, наблюдающиеся в употреблении букв ж, ю, а, я. Анализ материала 100 листов ИСв-73 (лл. 12-61, 140-190) показал, что оба писца используют эти буквы не в соответствии с этимологией, а для обозначения звуков [u], [a] после твердых и мягких согласных или после гласных.

С одной стороны, юы пишутся там, где этимологически не было носовых: юноша 43а21, юко 29а12, юдесъ 159г1, можж 171а11, 171а28 и т.п. С другой стороны, оу (и заменяющие его иногда ё и ѿ), ю, я пишутся на месте носовых: отъ-н'юдоу 60г3⁸, юти 14614, соуда 167в22, поути 184г22, га-зывы 183в11 и т.п.

I писец для обозначения звука [u] после твердых согласных употребляет оу и ю: в корнях ж пишется в основном в соответствии с этимологией (т.е. старославянской традицией), в суффиксах и флексиях эта тенденция не прослеживается. II писец после букв твердых согласных в подавляющем большинстве случаев пишет оу (в конце строки ё); исключения из этого правила на указанных листах немногочисленны⁹, они объясняются сохранением традиционных старославянских написаний: стада 170г1, погыбнаша 162в18, кильяшъ 18964, южникъ 181а15, юдинъ 149а1, та 149в19, горьшинъ 168а9, соупроужьни 173б20, суть 162а20, 142а27, скпротивлеще ск 188а26.

Буква ж употребляется I писцом в начале слога наравне с буквой ю (открыва'жть 46626, искажа'жть 45а16), а также буквой ю. II писец последовательно пишет ю после букв гласных и в начале слова: водою 148в22, ютровоу 157в4 и т.д. У II писца редки написания с буквой ю после букв гласных (нарицають 167г22) и лишь дважды отмечена буква ю в начале слова: юже 14965, ю 180г14.

После букв мягких [л], [н] I писец употребляет ж, юж и ю. II писец практически всегда пишет после л букву ю: хва-лью 159г27, л'юто 151б10 и т.п.; отступления единичны: л'оукоа'ниства 186611, л'юбъевъ ю 169а8, ъемл'ж 143г8, и-арапил'ж 161в4. После н II писец предпочитает писать ж: мын'ж 151а12, вон'ж 153в11, оgn'ж 188б3 и т.п. Однако можно встретить и написания с ю: простын'ю 187б5, връхън'ю ю 152а3, а также с оу: по н'оу 170в18. После р I писец пишет ю, II писец - ж (12 раз), ю (6 раз) - црж 184в14, 185б25, црю 144а14, 185г3.

Употребление ж, юж и ю в ИСв-73 не зависит от того, относится ли предшествующий согласный к исконно мягким или исторически полумягким. Об этом свидетельствуют многочисленные вариантные написания в одинаковых позициях: л'жбъве

22г26, л' тъбомжарын 30в17, любомжароу жет 33б12; вон'ж 34в27, вон'ж 40г1, бъгостын'ю 59в27; зем'я 143г8, зем'я 167в28; господын'ж ед.дат. 187в12, гюю ед.дат. 143в1 и т.п.

Характерной графико-орфографической особенностью ИСв-73 является последовательное употребление ж и тъ наряду с ю после [j] и мягких [л], [р], [н] даже в тех позициях, где этимологически не было носовых. Так, написания с ж и тъ после мягких обычны в дат.ед. основ на *-о и род.-местн. двойств. (цифры в таблицах соответствуют количеству написаний):

	ж	тъ	ю
Ед.дат. основ на *-о: I писец	29	15	20
П писец	11	15	10
Двойств.род.-местн.: I писец	11	1	2
П писец	0	7	0

Это обстоятельство необходимо учитывать и при рассмотрении написаний в тех категориях, где этимологически в окончаниях содержался носовой. Оказывается, что и в этих случаях подавляющее большинство написаний с ж и тъ приходится на обозначение [u] после [j] и мягких [л], [н], [р], в то время как после букв, обозначающих твердые, за редким исключением пишется оу:

I писец	обозначение [u] после твердых		обозначение [u] после [j] и мягких [л],[р],[н]		
	оу	ж	ж	тъ	ю
Ж.ед.вин. основ на *-а	202	27	35	18	35
1 л.ед.наст.	17	2	22	8	9
3 л.мн.наст.	57	28	38	13	23
Суффикс прич.наст.действ.	106	35	57	14	50

У П писца написания с ж встречаются только после букв мягких согласных, поскольку после букв твердых согласных он употребляет оу (единичные примеры написаний с ж приведены выше).

Таким образом, для обоих писцов ИСв-73 обычными являются написания с оу после букв твердых согласных, с ж, тъ и ю после букв, обозначающих исконно мягкие или исторически полумягкие согласные. Ср. в одних и тех же морфологических категориях:

Ед.дат. основ на *-о: I писец - тълоу 25а6, но пърово-
стител'я 49г20, аѣлател'ю 42б21; П писец - влагнуу 189г
10, но оғн'ж 188б3.

Двойств.род.-местн.: I писец - свѣтилоу 27г27, но тенъ
12г17; П писец - твоу тъ 142а27.

Ж.ед.вин. основ на *-а: I писец - истинуу 40б21, но
вон'ж 40г1, свою 44а19; П писец - истинуу 149г11, но
вѣльнуу тъ 181а3.

1 л.ед.наст.: I писец - достигнуу 42г26, но мън'ж 196
18; П писец - науынуу 189г3, но са... поклон'ж 184б13.

З л.мн.наст.: I писец - поманоутъ са 36610, но ӈав-
лѧть са 44г25; II писец - наവ'икноутъ 160г13, но искл'ю-
чить 188г10.

Суффикс прич.наст.действ.: I писец - къльноутъ са 27г10,
но ӈл'аштоу 46в25; II писец - жъроуштихъ 160г8, но ӈл'юште
166в24.

Для наблюдений над употреблением ӈ, ӈа, ӈо после ӈ, с
I писцом нет достаточного материала. II писец после с, обозначающего исконно мягкий согласный, всегда пишет ӈ(при-
меры, однако, немногочисленны): в'съ 144а13 и т.д., въсъ
158611. Написания в позиции после буквы мягкого [з] на указанных листах не отмечены.

После ӈ, ӈ, ӈ, шт, ӈ I писец регулярно пишет оғ (имеются, правда, единичные написания с ӈ), а после ӈа, ӈо II писец после всех этих букв употребляет преимущественно ӈ (всего 102 написания): ӈадесты 159г1, штаждиҳъ 141г9, ӈашъ 180г15, овъцъ 160г5, моужъ 182а27, отъходаштъ 175616, слъишъ 148г28, иңдър'ижъ 180б10, наричутъ 152а7 и т.п. Реже наблюдаются написания с оғ (28 случаев, из них 24 - в ед.дат. основ на *-о), очень редко - с ӈо.

При обозначении звука [a] после исторически полумягких губных [п], [б], [в], зубных [д], [т], мягких свистящих [с], [з] и сonorного [р] (независимо от того, являлись ли свистящие и [р] исконно мягкими или исторически полумягкими) I писец использует ӈ, написания с ӈа встречаются крайне редко: ӈодаштоу 37а28, въса 35г24, са 19612, 33а22, 3767.

Для обозначения [ja] I писец в подавляющем большинстве случаев использует букву ӈа, немногочисленны написания с ӈа (ӈако 15г16 и др.), еще более редки примеры с ӈ. После ӈ употребляется ӈа, изредка ӈ (соотношение 111:11), дважды зафиксировано ӈа - болѧть 3962, ӈемл'ӈа 55а11. После ӈ соотношение ӈа и ӈ примерно равное (32:29). После ӈ преобладают написания с ӈ (27:4). Буквы ӈа и ӈ после ӈ, ӈ употребляются безразлично, ср.: оудавл'ӈатъ са 41г15 - оудавл'ӈасть са 47г17, болѧть 44г4 - болѧть 48г10, кла-ӈамъ са 2163 - поклан'ӈахъ са 23а2, м'натъ 33б3 - поклонять са 35г26, имъ 29г21 - имъ 32а15 и т.п.

II писец последовательно пишет ӈа после букв гласных и в начале слова. Исключением являются только написания в конце строки: ӈымъ| 171г29 и т.п.

После букв, обозначающих мягкие согласные (сонорные, свистящие, губные, зубные), независимо от того, являются ли они исконно мягкими или исторически полумягкими, II писец употребляет ӈ: ӈемл'ӈа ж.ед.им. 175г5, послѣдн'ӈа ср.мн.вин. 143а12, ӈ'ӈ вин.мн. 143в5, творѧть 143а26; ӈына-ӈа 172г8, въсацъхъ 155629, въспросѧть 148в6, са 176в17; па-ӈи 143а3, л'ӈештихъ 146в25, имъ 152б25, оставать са 190а9, хотать 141а18, видѣть 168в9 и т.п. Написания с ӈа появляются у II писца крайне редко: прѣбидѧть 148а8, творѧхъ 161г29, въспросѧть 148в3, са 180в4, обратѧть са 165б23.

Меньшей упорядоченностью отличается картина употребления ӈ, ӈа, ӈа после букв шипящих и ц. I писец после ӈ, ӈ, шт, ӈ, ц пишет ӈ (исключения единичны), после ӈа - почти всегда ӈ (встретилось только по одному примеру с ӈ и ӈа).

Сложнее обстоит дело с написаниями а, а после ш. В основах отмечено только два написания с ша: слыша аор. З ед. 28г12 и спѣшаще 31а19. В ед.род. основ на *-о зафиксировано только -ша. В остальных категориях распределение этих орфограмм показано в таблице:

на месте [*а]						на месте [*е]					
ж.ед.им.		ср.мн. им.-вин.		ж.ед.род.		м. и ж.мн. им.-вин.		аор. 3 мн.			
шА	шА	шА	шА	шА	шА	шА	шА	шА	шА	шА	шА
1	18	2	7	1	9	4	7	21	35		

Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее число написаний с ша являются этимологическими: это окончания аор. З мн. и м. и ж.мн. им.-вин.

II писец исключительно последовательно пишет после ш, шт, ѿ букву а. Крайне редки написания с ѧ: ѹғрашѧше 14б 22, прошѧше 172а29, кроташѧ 172г4. Единичны написания с ѧ: ѩаша 14бг13, поштада 148а15. Данные, показывающие употребление ѧ, а II писцом после ж, жа, ѹ, չ, предста-лены в таблице:

II писец	ѩ	յա	յда	յաձ	չ	յա	չմ	յա
Этимологические написания	15	11	2	7	19	31	6	36
Неэтимологические написания	30	7	11	0	15	13	4	6
Всего	45	18	13	7	34	44	10	42

Таким образом, у II писца наблюдается вариативность написаний с ѧ, а после ж, жа, ѹ, չ, характерная для орфографии древнерусских рукописей¹⁰.

Подводя итог, можно отметить, что орфографические системы обоих писцов, имея некоторые общие черты (в частности, неэтимологическое написание юсов), существенно различаются между собой. II писец, в отличие от I писца, последовательно употребляет йотированные ѧ и ѧж после букв гласных и в начале слова, а также последовательно пишет ѧ после букв мягких и исторически полумягких, кроме шипящих и չ. Сфера употребления ѧ II писцом ограничена в основном позицией после букв шипящих и չ, хотя имеются и некоторые отклонения от этого правила. I писец более четко по сравнению со II писцом упорядочил написания после букв шипящих и չ.

Приведенный материал показывает, как в орфографической системе обоих писцов ИСв-73 во взаимодействии со старославянской традицией вырабатывалась древнерусская орфографическая норма, которая лишь позднее, в ХП-ХШ вв., утвердилась в правописании восточнославянских рукописей. Более близка к этой норме система II писца ИСв-73.

Как было показано выше, а и ѹ употребляются в ИСв-73 после букв, обозначающих твердые согласные (вариантность

написаний после букв шипящих оговорена особо). В единичных случаях, когда оу пишется после букв мягких, над буквой согласного ставится знак мягкости: по н'оу 170в18, л'оу¹⁰ в 186б11. Однако после л, н, ө, ү и с наблюдаются колебания в обозначении мягкости: мънатъ 150625, са возвр.част. 98а9, 134г12, 158г2, десать 143а2, 142г27, въза аор. 3 ед. 219а4, ғаզоу 114г4, 125в7, к'наңа 108г23. Несколько раз встречается дѣла вместо дѣла 'ради' - 111в16, 113а13 (наоборот, дѣла вместо дѣла 207в3), однажды гл'а вместо гла аор. 3 ед. 96в12, вечера вместо вечера 215аб. Отметим еще слъзъ 33г6. На это явление обратил внимание еще А.Розенфельд¹¹; следует указать, однако, что приведенные им примеры написаний с ж (типа цсрж и т.п.) не показательны, т.к. в графико-орфографической системе ИСв-73 ж, наряду с ю, употребляется после букв мягких согласных.

Случай отсутствия обозначения мягкости после л, н, ө, ү, с известны по старославянским (Супр., Савв.) и среднеболгарским рукописям¹². Встречаются они в древнейших восточнославянских рукописях¹³. Немногочисленность написаний такого рода в ИСв-73 позволяет рассматривать их как результат отражения орфографических особенностей оригинала.

ИСв-73 сближает с среднеболгарскими и некоторыми старославянскими рукописями и такая черта, как смешение юсов¹⁴. Всего в ИСв-73 отмечено около 20 написаний, отражающих мену носовых (в соответствии с описанной выше орфографической системой, это означает употребление л, ғл, ө, ү и наоборот). Разумеется, в каких-то случаях, особенно когда текст оказывался малопонятным, писцы могли ошибаться или заменять одну грамматическую форму другой под влиянием ближайшего контекста. Однако многие написания невозможно объяснить непониманием или попыткой пересмыслить текст. Приведем наиболее показательные примеры:

1) ғако же кости въ оутроѣ раждающюю . тако же не разоумѣть сѧ твари бжига (ු ғастрѣ тѣс киофоробѣтс) 206 17-20. Форма раждающюю представляет собой прич.наст. действ.ж.ед.род. с отражением мены носовых в окончании;

2) аште ли сѣѧ штоужата . и въ оуих имыи неправьднє . ғл'еши хлѣбъ даждь . инъ послоушаю гласа того . а не бъ (геворѹи та ғл'обѣтс) 76г16-21. Форма сѣѧ представляет собой прич.наст.действ.м.ед.им. с отражением мены носовых в окончании;

3) притъуна наѹчи си . ғако же да сѧ не врѣждающїи(глу параболѣн ғримнєнѳтс) 122б20. Форма притъуна представляет собой сущ.ж.ед.вин. с отражением мены носовых в окончании; В Словах Григория Богослова по списку XI в. в этом контексте читается притъую 114г¹⁵;

4) да тоу оуго въյтре . въ поустыни великыи скѹенѧ . есть дѣбрь չѣло глѣбона (ු тѣ ғрѣմш тѣс Мегалոс Ըսկѹթас) 153б14. Форма скѹенѧ представляет собой ж.ед. род. с отражением мены носовых в окончании.

Известно, что в среднеболгарский период смешение носовых было широко распространено во флексиях и некоторых суффиксах после [j] (в том числе после сочетаний [л], [н], [р] и губных с [j]), после шипящих и [ц], а также в слове въсь¹⁶. Именно в этих позициях в ИСв-73 отмечены написа-

ния, отражающие мену носовых. Разумеется, эти написания должны быть отнесены к числу явлений, восходящих к болгарскому протографу ИСв-73.

Хотя смешение носовых характерно в основном для среднеболгарского периода, началось оно гораздо раньше. Об этом свидетельствуют отступления от правильного употребления юсов в старославянских памятниках, особенно многочисленные в Зографском евангелии¹⁷. По мнению И.В.Ягича, именно колебания в правописании носовых в рукописях болгарского извода указывают на то, что живой болгарский язык уже в XI в. сильно отличался от классического старославянского¹⁸. Об этом говорят и данные ИСв-73, которые подтверждают, что процесс смешения носовых в болгарском начался не позже XI в.

Еще одна языковая черта, свидетельствующая о болгарском происхождении протографа ИСв-73, - отсутствие 1-epentheticum. Это явление, широко представленное в среднеболгарских рукописях, известно и по старославянским памятникам, главным образом - в позиции перед ь и и. Так, в Супрасльской рукописи 1-epentheticum встречается очень редко¹⁹. В ИСв-73 написания с 1-epentheticum, разумеется, преобладают; однако в некоторых случаях 1-epentheticum отсутствует, причем не только перед и, но и перед ө, а и ы: по զем'и 19в26, прослави 9567, прікоѹпаетъ ся 97в27, томение 10562, по прѣкремении 162624, на զми 187а20, огство'мение 203а21, крѣпени'емъ 207в7, съставлять ся 233а22, погоѹбени'емъ 233б29, въ զеми 23968. Иногда на месте 1-epentheticum пишется ь (аналогичные случаи отмечены в Синайской псалтыри и Саввиной книге²⁰) и и: իազви'нати 87в6, послабъи'ше 140г7, իемъ իан 201г21.

Поскольку ИСв-73 принадлежит к узкому кругу дошедших до нас древнерусских рукописей XI в., особое значение приобретают зафиксированные в нем древнерусские фонетические и морфологические черты.

К их числу относятся написания с օ- в начале слова в соответствии с յо- в южнославянских рукописях: օւրօ 150г20, 235а10, օւրըն'и 15365, օւձըսկն 262г8, въ օվноս-ти 54в24 и др. У II писца отмечаются написания с օ- в соответствии с южнославянским հ-: оже 203в17, 246г12, ода 107б24; у I писца в приписке оже 263в24.

Спорадически употребляются в рукописи начальные րօ-, լօ-: րօցօն 232г17, րօնи 241а28, րօցы 252а16, отъ րօց 258а10; լոկտъ 231г21, լոկտъ 23120. Все это соответствует мнению о том, что в древнерусском книжно-письменном языке не принято было употреблять слова с начальным րօ-, լօ-, օ-, если им имелись старославянские параллели с начальными լա-, դա-, հ-. Как отмечал Н.Н.Дурново, только очень немногие слова в русском звуковом виде являлись исключением из этого правила²¹.

В ИСв-73 преобладают написания с приставкой րօձ-, но встречаются случаи употребления приставки րօչ-, чаще у II писца: րօճելլи 16266, րօչպա ся 197в27, րօչպալ 197г1, րօչ-մեти 211г23, րօչքониң 212г5, րօճելլալեմо'не 227г1, րօճ-лаլեть 227г3, րօճելլаетъ ся 227г6, րօջումեвати 227г16, րօջումъи'н'е 232а24, րօջումъ 240а5, րօջումեти 242в4, րօջ-мъшлан'жти 243б29, րօջումենъ 256б20, րօջи 260в6, րօչպать

261г9, 262в26; у I писца: *роспътоваєть* 9г17, *роскаџить* 10 а14, *рославл'єниѧ* 65в9.

Наряду с преимущественным употреблением в ИСв-73 неполногласных форм у обоих писцов изредка встречаются слова с полногласием: *вереди* 35г13, *вередиши* 38а17, *полон'* 63в9, *полонъникъ* 67г2, *полонники* 83в9, *полонъасы* 69б11, *въ* *полонъ* 71б2, *отъ полона* 81а2, *полонъенъ* 264б22, *черепл'я* 33а28, *короставыны* 49в14.

Как отметил И. Еленский, специально исследовавший написания в ИСв-73 сочетаний редуцированных с плавными между согласными типа *tъrt, I писец употребляет написания с редуцированным перед плавными, II писец воспроизводит преимущественно старославянские написания²².

Как памятник древнерусского книжно-письменного языка рукопись характеризуют многочисленные написания с ж на месте *dj: *стражеть* 25б1, *шточжоу* 39б19, *исповѣжь* са 44а 11, *прѣже* 90г26, 97б7, 122в24, 141а26, 221б25, 247а7, *прѣже* 127г18, *штожааго* 91б4, *въгожша* 91г7, *труожажшта* са 141б9, *ажажь* 170в23, *одежахъ* 181б5, *осоужени* 210в18; *постлѣже* 213г22, *рожениѧ* 221в22, *зес хожениѧ* 227б2; *тожество* 229б17, *рожена* 243г10, *рожьства* 250а22, *жѣ* 251а28, *труожам* са 259г6, *надежа* 259б20, *съзижеть* са 259в10 и т.п.

Гораздо реже встречаются в ИСв-73 написания с у на месте tj: *кlevеуожжа* 27г12, *трепечоуշта* 54б11.

Изучение грамматического строя ИСв-73 показывает, что русизмы в нем не только многочисленны, но и системны, они преобладают в определенных грамматических категориях. Это важное обстоятельство не позволяет причислять ИСв-73 к памятникам старославянского языка, поскольку древнейшие памятники русской редакции "лишь в том случае могут быть включены в список старославянских памятников, если русизмы встречаются в них спорадически, как, например, в Новгородских листках, или же если тот или иной кодекс значительно обогащает наши сведения о старославянском языке"²³. В ИСв-73 старославянские формы традиционны, а собственно древнерусские и те, которые отражают взаимодействие старославянских и древнерусских форм, своеобразны.

Характерное древнерусское именное окончание -ѣ в род. ед., а также в им. и вин. мн. мягкой разновидности основ на *-а (встречается уже в Остромировом и Архангельском евангелиях, новгородских берестяных грамотах) отмечено в ИСв-73 у обоих писцов: *отъ троицѣ* 8г18, *льтаѧть* *пътицѣ* 129г10, *принѣма* *доушѣ* *человѣчъсны* 156б7. Писцы не приняли в качестве нормы старославянское окончание -а(иа) в этих падежах, разрушив в этом типе склонения систему противопоставления падежей с окончанием -а и -а(иа). В контрольном фрагменте, включающем части, написанные обоими писцами (I писец - л. 62а-86а, II писец - 86а-135г), соотношение возможных окончаний таково:

		а	иа	а	иа	ѣ		а	иа	а	иа	ѣ
им.ед.		4	-	11	-	-		13	-	9	-	-
род.ед.	I писец	3	-	13	-	-	II писец	13	-	10	-	-
им.мн.		1	-	2	-	1		-	-	2	-	-
вин.мн.		1	-	1	1	-		1	-	9	-	-

После шипящих и ц во всех этих падежах оба писца предпочитают писать -а (такие написания, как *кожа* род.ед. 133г19, *тыньница* вин.мн. 82в26, могут восходить к оригиналу), после других согласных - -а: им.ед. *надежда* 66в22, 68а3, 24, *ноужда* 83в20, 133в20, 133г1, 135г20, *земля* 96г8, 101б2, 27, 102б1, 103в19, г7, *земля* 101а19, *земля* 102г24, 104г3, *крымля* 133г5, *аша* 62в27, 102в10, 20, 109г24, *юноша* 78г29, *притъя* 84б11, 127а19, *уша* 105в19, *пьяница* 94г12, *стъкланица* 105в21, *вдовица* 83в26, *оубинца* 66в3, 81а6, *десницца* 80а1, 2, *блочьиница* 78г26, *дъньница* 100в5, 12, *ратиница* 69в14, *помощьница* 69в13; род.ед. *надежда* 64а6, 67г11, 68а4, 114б16, *одежда* 133б19, *земля* 101б9, 11, 102б17, *земля* 100г7, *земля* 111в28, 135в18, *крымля* 132г15, *благынича* 105г13, *милостыня* 87в11, г2, *аша* 62а9, 68б19, 76б23, 92в15, 93в16, 95а11, 18, 131а4, г24, *доуша* 63а8, 64а7, *пьянница* 82г21, *оубонца* 82г15, *авърьца* 119г4, 7, *сѣчьца* 82г16, 111б17, *мышьца* 68а18, *лѣствица* 93а12, *лѣствица* 68в26, *блочьиница* 83б4, *блаждыница* 82в16, *бл(ъ)дънича* 84а7; им.мн. *ризьнича* 80а10, *оубонца* 89г11, *овьца* 79г6, 80а13, *притъя* 135г25; вин.мн. *милостыня* 90г6, *милостыня* 85б24, *сѣча* 104г25, 115г17, *аша* 87а4, *юноша* 104в6, *чародѣйнича* 120б15, *сѣчьца* 98б20, в4, *дѣвица* 104в6, *блочьиница* 78в10, *горынича* 88б11.

В соответствующих формах местоименного склонения древнерусские окончания были отмечены у обоих писцов ИСв-73: *своѧ* 70в10 (вм. *своѧ* сравн. ср.ед.им.), отъ *неѧ* 155г11, *неѧ* 162г21. Старославянские написания с окончанием -*еѧ*(-*ем*) в указанном фрагменте не отмечены, кроме *своѧ* 92в14, что связано с написанием я в конце строки. Орфографической нормой у обоих писцов является окончание -*еѧ*(-*ем*): *своѧ* 68а18, б5, 8, 76б24, 79в3, *своѧ* 92б18, 95а18, 99в17, 101б18, *твоѧ* 73в5, 95а26, *коѧ* 117а3, *никогѧ* 86в23, *моѧ* 90г2, *неѧ* 65б18. Та же норма в других древнерусских памятниках - Мстиславовом ев., Выголексинском сб., Успенском сб.

В склонении с основами на *-о показательно древнерусское окончание тв.ед. -*ымь* (-*ымь* в мягкой разновидности). Это окончание, отражавшее факт живой восточнославянской речи, что подтверждают данные современных русских говоров и украинского языка²⁴, последовательно отмечается в древнерусских памятниках, начиная с Остромирова ев. В новгородских берестяных грамотах, например, представлена только эта древнерусская форма²⁵. В ИСв-73 имена муж.р. на -*ы*(-*ь*) и ср.р. на -*о*(-*е*), кроме слов на -*ниѧ*, имеют древнерусские и старославянские окончания, но древнерусские значительно чаще. У П писца старославянские окончания единичны. Приведем данные по л. 62а-135г.

тв.ед.	др.-русск.			ст.-сл.		
	- <i>ымь</i>	- <i>ымь</i>	всего	- <i>омь</i>	- <i>емь</i>	всего
I писец	11	8	19	17	-	17
II писец	56	17	73	6	-	6

Написания одних и тех же слов могут варьироваться у каждого из писцов: гладомъ 71б8, гладымъ 82г2, съдомъ 85а6, съдымъ 83а9, словомъ 127в2, словымъ 130г19, что указывает на орфографическую условность старославянского написания в ИСв-73. Слова, написанные I писцом с окончанием -омъ (гн'ѣвомъ 72в8, миромъ 63г15), у П писца имеют древнерусское окончание (гн'ѣвымъ 99а22, 102а2, 107в2, гн'ѣвымъ 104 а18, 107г6, миромъ 92а17, 113а1, в4). В группе слов, относящихся к мягкой разновидности, все написания древнерусские: оцымъ 82б5, 88а5, 90а12, огн'ымъ 70в14, 71б24, 83г 8, огнымъ 97б10, 116а23, 124г7, лицымъ 76в8, 77а21, 80в6, 83а14, 87б15, 93б18, Гымъ 91а11, ложымъ 94а2, мжымъ 110в 4, плаучымъ 78а26, меучымъ 96б29, 100а8, 102а20, б27, давыимъ 98б12 (ср.: давиевъ 193в, давиевъ 194а). Два слова, возможно, содержат описку в окончании (гн'ѣвымъ 103а14, словымъ 132б12); впрочем, эти написания могут объясняться графической меной в и ъ.

В местоименном склонении форма возвратного местоимения дат. и местн. сеѣ (встречается в Архангельском ев., новгородских минеях 1096 г. и 1097 г., новгородских берестяных грамотах, Выголексинском сб., Успенском сб.) отмечена в виде единичных написаний у обоих писцов ИСв-73: сеѣ 22 а18, 211а15. Старославянская форма дат. и местн. сеѣ употребляется нечасто, на л. 62а-135г - дат. сеѣ 90в18, 135 а6, местн. в' сеѣ 113а8. Значительно чаще употребляется в ИСв-73 форма дат. и местн. сеѣ, омонимичная форме род. падежа, которая преобладает и в других древнерусских памятниках в отличие от старославянских. Отметим численность различных форм одного и того же падежа на л. 62а-135г.

	род.	род.-вин.	дат.	местн.
I писец	себе-3	себе-5	себе-7	себе-4
II писец	себе-3	себе-1	себе-10, сеѣ-2	себе-3 сеѣ-1

Себе род. 62а5, 71в28, 77б1, 120г13, 129в26, 133б25, род.-вин. 63г5, 69в15, 78а16, 81в9, 93в18, дат. 63а22, 64 г21, 68г1, 76б21, в16, 77б10, 84г21, 91б2, 12, 107в13, 108 г3, 114а23, 115в9, 119б16, 124б7, 129г27, 130г17, местн. 63в14, 69б19, 70г2, 72г5, 111г27, 125а8, 132б10.

В ИСв-73 оба писца употребляют форму род.-вин. сеѣ. В старославянских памятниках в значении вин. эта форма встречается очень редко²⁶, в древнерусских она многочисленна. Например, в Выголексинском сб. ХП в. в обоих житиях сеѣ в дат. употреблено 28 раз, в местн. - 17, в значении вин. встретилось 35 раз²⁷.

Распределение форм местоимения 2 лица в ИСв-73 такое же, как у возвратного местоимения. У П писца отмечена древнерусская форма дат. тебѣ 162в21; форма тѣбѣ преобладает в дат. и употребляется в значении вин.: род. отъ тѣбѣ 65в 28, тѣбѣ 70а20, 83а21, отъ тѣбѣ 86а5, 93г18, 20, 121в7, род.-вин. тѣбѣ 86г11, 93в22, 23, 122б17, дат. къ тѣбѣ 86 а17, тѣбѣ 87б12, къ тѣбѣ 64а1, 65а5, 80а23, 80б9, къ тѣбѣ 120в18, тѣбѣ 82г5, 86а21, 86в6, 101г14, 129в2, местн.

на твѣ 95а14, въ твѣ 120в13, 12968, о твѣ 121а5.

Как и в других древнейших восточнославянских памятниках, в ИСв-73 глагольные формы 3 л. ед. и мн. настоящего времени имеют окончание -ть, 2 и 3 л. аориста также пишется с -ть. На л. 62а-135г отмечено более тысячи таких форм и только 11 форм настоящего времени со старославянским окончанием -ть (большая часть - на одних и тех же или близких листах): въпадеть 87а15, створитъ 87а19, носатъ 87а5, дѣж-дитъ 90а16, расоудитъ 90а1, крѣмитъ 90а5, поутьтъ ся 91б 27, придетъ 92в2, сѣменить 97в29, крас(а)тъ 117а1, владоутъ 131в12. На других листах эти же лексемы представлены в древнерусском написании: въпадеть 95а8, 132в28, владеть 121в9, красить 100б23, крѣмить 133г10, придетъ 63г22, 68в4, поутьтъ 132 г2, расоудить 105в13, створить 120б2.

В ИСв-73 преобладают древнерусские формы 3 л. ед. и мн. имперфекта с уподоблением гласного в формообразующем суффиксе, на л. 62а-135г у I писца по преимуществу полные: блаше 72г22, 73в6, 75а7, б4, блаховъ 71а29, 71б2, когатла-ше 74г26, 75а2, 4, вѣдаше 85б17, имаше 70б3, 7, 86а10, сѣр'блаше 75б2, у II писца - стяженные: блаше 109в28, 127 в4, 5, 6, имаше 109а22, пъраше 95г4, хоташе 133б1, хота-ховъ 110в29, даховъ 88г20. Глаголы быти и имѣти представ-лены и в старославянской полной форме: вѣаше 67в22, 95г12, 108г13, 114а13, 115в3, 133а27, в8, 134г17, вѣкаше 124а10, вѣаховъ 69а21, 104в15, 124а17, 134а16, 135г25, вѣахъ 133а 19, имѣаше 69а2, 69а4, 92б19, имѣкаше 104а29, 109б2, 121г 28, имѣаховъ 69а19, имѣкаховъ 133а26.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Изборник Святослава 1073 г./Факс. изд./Науч. ред. Л.П. Жуковская. М.: Книга, 1983.

² Жуковская Л.П. Загадки Записи Изборника Святослава 1073 года// Древнерусский литературный язык в его отноше-нии к старославянскому. М., 1987.

³ Записка д. ч. А.Дювернуа, содержащая археографическое обозрение части Изборника в кн. Святослава 1073 г., издан-ной покойн. И.М.Бодянским (74 листа рукописи)// ЧОИДР, 1888, М., 1883. Кн. 4, с. 7.

⁴ Греческие соответствия приводятся по списку ГБЛ ф.36, карт. 6, № 5.

⁵ См. Ягич И.В. Глаголическое письмо (=Энциклопедия славянской филологии. Вып. 3). Спб, 1911. С. 217.

⁶ Аналогичный пример, отмеченный В.Н.Щепкиным в Савви-ной книге (ѧðоікомъ вместоѧѣікомъ), рассматривается им в числе фактов, указывающих на глаголический оригинал. См.: Щепкин В.Н. Рассуждение о языке Саввиной книги (=Сб. ОРЯС, т.67, №9). СПб., 1901.

⁷ Ср.: Jaksche H. Glagolitische Spuren in Šestodnev des Exarchen Johannes // Die Welt der Slaven. Wiesbaden, 1958, Jh. 3, N. 2; Мединцева А., Попконстантинов Н. Надписи на Круглой церкви в Преславе. С., 1984. С. 100. Текстологи-

ческая неясность вопроса о том, входил ли первоначально в состав сборника завершающий его в ИСв-73 "Лѣтописьъ вѣ-
крайтъцъ..." (если входил, то в каком объеме), не позволяет считать датирующим обстоятельством для перевода самого сборника упоминание в статье "Лѣтописьъ вѣкрайтъцѣ" Константина VII Багрянородного в качестве византийского императора, а также его матери Зои, которая была регентшей с 914 по 920 г.

⁸ При обозначении мягкости I писец использует два надстрочных знака: отворотик, присоединяемый к правой мачте буквы, и знак в виде запятой. II писец использует только знак в виде запятой. Есть, однако, случаи, когда надстрочные знаки над буквами мягких отсутствуют.

⁹ Однако на выборочно просмотренных далее листах 221-250, содержащих философский трактат Феодора Раифского и статью Георгия Хирковска "О обраѣхъ", появляются написания сѧчиѣ, сѧщтиѣ, сѧть, которые затем полностью вытесняют написания через оѣ, имевшие место ранее. То же относится к написанию слова сѧпротивиѣ и его производных. Причину этого явления можно было бы видеть в лексикализации написаний философских терминов. Однако на этих же листах появляются написания других слов с ѿ после букв твердых согласных. Возможно, изменения в правописании II писца связаны с содержанием переписываемого текста: установлено, что зависимость правописания рукописи от правописания оригинала тем больше, чем более сложный и малопонятный текст переписывает писец - см.: Дурново Н. Славянское правописание XI-XII вв. // Slavia, Pr., 1933. Roč. 12. Seš. 1-2. S. 46-47.

¹⁰ Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка (=Энциклопедия славянской филологии. Вып.11). Пг., 1915, с. 164.

¹¹ Розенфельд А. Язык Святославова Изборника 1073 г.// Русский филологический вестник, Варшава, 1899. Т. 41. С. 181-182.

¹² Срезневский И.И. Древние славянские памятники юсового письма. СПб., 1868. С. 16, 33; Кульбакин С.М. Материалы для характеристики среднеболгарского языка // ИОРЯС.СПб., 1899. Т. IV. Кн. 3. С. 817; Лавров П.А. Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка. М., 1893. С.102-104.

¹³ Срезневский И.И. Указ. соч. С. 177-178, 181-182.

¹⁴ Розенфельд А. Указ. соч. С. 187.

¹⁵ Будилович А.С. XIII Слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рук. ПБ XI в. СПб., 1875. С. 87.

¹⁶ Leskien A. Bemerkungen über den Vocalismus der mittelbulgarischen Denkmäler// Archiv für slavische Philologie. B., 1877, S. 270-276; Кульбакин С.М. Материалы для характеристики среднеболгарского языка // ИОРЯС. СПб., 1899. Т. IV. Кн. 3. С. 845-850; 1900. Т. V. Кн. 3. С. 906-909;

17

Зографское евангелие, изданное В.Ягичем. Берлин, 1879. С. IX, XX; *Mladenov S. Geschichte der bulgarischen Sprache*. Berlin-Leipzig, 1929. S. 116-118; Кульбакин С.М. Грамматика церковно-славянского языка по древнейшим памятникам. (=Энциклопедия славянской филологии. Вып. 10). Пг., 1915. С. 12, 41.

18

Jagić V. Wie lautete „bei den alten Bulgaren?// Archiv für slavische Philologie. B., 1879. Bd.III. S. 352-357.

19

Ван-Вейк Н. История старославянского языка. М., 1957. С. 106-107.

20

Там же.

21

Дурново Н. Указ. соч. С. 78.

22

Еленски Й. Редуцированные гласные в Святославовом Изборнике 1073 года.// Годишник на Софийск. ун-т. Филолог. ф-т. С., 1960. Т. 54. Кн. I. С. 673-674.

23

Ван-Вейк Н. Указ. соч. С. 55.

24

Дурново Н. Очерк истории русского языка. М.; Л., 1924. С. 246.

25

Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951 -1983 гг.). М., 1986. С. 141, табл. 6.

26

Ван-Вейк Н. Указ. соч. С. 280; Hamm J. Staroslawenska gramatika. Zagreb, 1958. S. 134.

27

Выголексинский сборник/ Изд. подгот. В.Ф.Дубровина, Р.В.Бахтурина, В.С.Гольщенко. Под ред. С.И.Коткова. М., 1977. С. 481, 599.

A. B. Бондарко

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

В докладе рассматриваются понятия и принципы, лежащие в основе разрабатываемой нами модели функциональной грамматики. Эта модель представлена в коллективном труде "Теория функциональной грамматики", включающем анализ комплекса функционально-семантических полей (главным образом на материале русского языка). Планируемый цикл монографий содержит следующие разделы: 1) Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис;¹ 2) Темпоральность. Модальность. Бытийность; 3) Персональность. Залоговость; 4) Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность; 5) Качественность. Количественность. Посессивность; 6) Люкативность. Обусловленность.

Рассматриваемые в докладе понятия могут быть предметом дискуссии, обращенной к фактам различных славянских языков и к возможным принципам их функционально-грамматического описания, в частности, в сопоставительном аспекте.

СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМНО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕГО И СИСТЕМНО-ИНТЕГРИРУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЙ ГРАММАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В современных грамматических исследованиях и описаниях, в частности на материале славянских языков, можно выделить два направления. Одно из них строится на базе расчленения предмета исследования на отдельные подсистемы-уровни. Такое членение дает возможность изучить особенности значений и форм в пределах каждой из выделяемых подсистем. Анализ проводится в рамках морфологии, словообразования, синтаксиса, в пределах подсистем отдельных частей речи, классов словесных форм, типов синтаксических конструкций, словообразовательных разрядов и т.п. По указанному признаку данное направление можно назвать системно-дифференцирующим.

"Традиционная грамматика", строящаяся на выделении указанных подсистем, отнюдь не является формальной. Разумеется, эта грамматика уделяет значительное внимание анализу грамматических форм. Для нее характерно направление "от формы к семантике". Существенно, однако, что каждая форма имеет двустороннюю природу, представляя собой единство содержания и выражения. Та или иная форма выделяется прежде всего по присущему ей категориальному значению или комплексу значений. Поэтому признак формальности не исчерпывает сущности традиционной грамматики. В своей основе она является уровневой, системно-дифференцирующей.

В языковедческой традиции коренится и другое направление грамматических исследований – функциональное. Это направление, интенсивно развивающееся в настоящее время, охватывает существенно отличающиеся друг от друга концепции. И все же доминирующий признак ряда функционально-грамматических теорий выявляется достаточно четко. Основным предметом исследования становятся единства, имеющие семантическую природу. Это определяет и членение предмета исследования. Выделяются системы и подсистемы, охватывающие элементы разных уровней, т.е. структурно разнородные, но объединяемые по функциональному признаку. Таковы, в частности, исследуемые нами функционально-семантические поля. По данному признаку рассматриваемое направление грамматического исследования и описания может быть определено как системно-интегрирующее на функциональной основе.

Компоненты дифференциации и интеграции представлены в каждом из рассматриваемых направлений в грамматике. Исследования, строящиеся на выделении отдельных подсистем и выявляющие специфику форм и значений в каждой из них, реализуют принцип интеграции в анализе связей между отдельными подсистемами, в их соотнесении в рамках строя языка как "системы систем"². С другой стороны, функциональные исследования обращают внимание на аспекты дифференциации элементов разных уровней, на различия между ними, влияющие на реализацию изучаемых функций. По существу систем-

ная интеграция разноструктурных элементов на функциональной основе невозможна без предваряющей ее дифференциации отдельных уровней. Таким образом, выделяя те направления, о которых идет речь, мы имеем в виду доминирующий тип системного анализа, так или иначе охватывающего компоненты системной дифференциации и интеграции.

Системно-дифференцирующее направление образует фундамент грамматического описания³. Без этой основы никакие функционально ориентированные поисковые исследования невозможны.

В сопоставляемых типах грамматики реализуются разные типы системности, дополняющие друг друга. Один тип системности, основанный на выявлении специфических признаков формальных и содержательных структур, принадлежащих к каждому из выделенных уровней, требует, например, специального и разделенного анализа временной соотнесенности действий при рассмотрении а) деепричастий, б) однородных сказуемых, в) сложноподчиненных предложений с придаточным времени и т.п. Другой же тип системности требует комплексного анализа разноуровневых средств выражения временной соотнесенности действий (с учетом специфики каждого из них). Максимально полное представление об изучаемом предмете создается лишь в результате соотнесения обоих типов системности.

Выделенные типы системно-дифференцирующего и системно-интегрирующего описания в грамматике соотносятся с известными в теории систем понятиями моносистемного и полисистемного анализа. Моносистемный анализ предполагает такое исследование сложных объектов, обладающих множеством оснований, при котором как необходимое условие для адекватного познания таких объектов рассматривается их расчленение на качественно однородные узлы и элементы, оперирование "слоями", уровнями. Такой подход является необходимым элементом научного познания. Вместе с тем сложность реальных явлений, строящихся на своего рода "пирамиде" (лестнице) оснований, предполагает необходимость развития полисистемного анализа, направленного на комплексное изучение сложных взаимосвязей систем отдельных уровней⁴.

Говоря о функциональной грамматике, мы имеем в виду грамматику, нацеленную на изучение и описание функций единиц строя языка и закономерностей их функционирования во взаимодействии с разноуровневыми элементами речевой среды; грамматика данного типа рассматривает в единой системе средства, относящиеся к разным языковым уровням, но объединенные на основе общности их семантических функций; при описании языкового материала используется подход "от семантики к ее формальному выражению" ("от функций к средствам") как основной, определяющий построение грамматики, в сочетании с подходом "от формы к семантике" ("от средств к функциям").

Возникает вопрос: умещается ли изучение рассматриваемых языковых средств в рамках грамматики? Определяя данный предмет анализа как грамматику, мы исходим из того, что строй языка не существует как абстрактный "чисто грамматический каркас". Он включает грамматические единицы в единстве с их типовыми лексическими репрезентациями, т.е.

охватывает всё строеное в лексике. Функционирование единиц строя языка (грамматических форм слова, синтаксических конструкций и "строевых лексем") осуществляется во взаимодействии с элементами внутриязыковой и внеязыковой среды. Включение этого взаимодействия в сферу исследования и описания расширяет ее, но не противоречит сложившемуся пониманию существа грамматики, поскольку в центре внимания остается категориальная основа языкового строя.

К ИСТОЛКОВАНИЮ ПОНЯТИЙ "ГРАММАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА", "СРЕДА", "ФУНКЦИЯ"

В дальнейшем изложении грамматическая система трактуется как понятие, имеющее два аспекта: 1) аспект собственно строевой - система единиц, классов и категорий, образующих основу строя языка; 2) аспект динамический - система закономерностей и правил функционирования единиц строя языка во взаимодействии с их средой. Самый процесс функционирования осуществляется в речи, однако закономерности, правила и типы функционирования изучаемых единиц относятся к языковой системе. Таким образом, понятие грамматической (и шире - языковой) системы охватывает не только упорядоченное целостное множество единиц (а также классов и категорий), но и закономерности их поведения, образующие особую систему функционирования, известные в языковедческой традиции, но не общепринятые и далеко не всегда представляемые в эксплицитной форме).

Среда по отношению к той или иной языковой единице, категории или группировке - это множество языковых (в части случаев также и внеязыковых) элементов (в рамках более широкой системы, вмещающей исходную, а также в различных смежных сферах), играющее роль окружения, во взаимодействии с которым исходная система выполняет свою функцию.

Понятие среды охватывает две разновидности окружений: 1) системно-языковые (парадигматические) - окружение языковых единиц, категорий или группировок в парадигматической системе языка (таковы, например, лексико-грамматические разряды предельных/непредельных глаголов и связанные с ними способы действия, представляющие собой в славянских языках окружение грамматической категории вида); 2) речевые окружения - контекст и речевая ситуация. Понятие среды интегрирует все те типы окружений, которые издавна рассматривались в лингвистике, представляя их на той же ступени абстракции, какой характеризуется понятие системы.⁵

Взаимодействие системы и среды подчинено функции.

Функция языковой единицы рассматривается нами, с одной стороны, как свойственная ей в языковой системе способность к выполнению определенного назначения и к соответствующему функционированию, а с другой - как результат функционирования данной единицы во взаимодействии с ее средой, т.е. как назначение, реализованное в речи. В первом случае функция выступает в потенциальном аспекте (Φ_{Π}), а во втором - в аспекте результативном (Φ_P).

Отношения Φ_{Π} - Φ_p - это, с одной стороны, отношения возможности и действительности в рамках общего целевого истолкования функции, а с другой - отношения каузации и ее результата: Φ_{Π} представляет собой предпосылку и обуславливающий фактор определенного поведения данной единицы во взаимодействии с ее средой. Таким образом, данное понимание функций языковых единиц является не только целевым (с дифференциацией аспектов системно-языковых потенций и речевых реализаций), но и каузальным. Оно согласуется с определением понятия "функция", известным в теории научного познания: "Функция - способ поведения, присущий к.-л. объекту и способствующий сохранению существования этого объекта или той системы, в которую он входит в качестве элемента"⁶.

Комплекс Φ_{Π} возможных для той или иной языковой единицы и определяющих ее поведение в речи, образует потенциал функционирования языковой единицы. Это понятие представляет то множество, элементами которого являются отдельные функции-потенциалы данной единицы вместе с соответствующими правилами ее поведения.

Потенциал функционирования данной единицы, как бы программирующий ряд существенных признаков ее поведения в разнообразных актах речи, концентрирует потенции, закрепившиеся за данной единицей на основе узуса, и дает основу для его новых реализаций. Потенциал функционирования грамматической формы заключает в себе определенную вероятностную характеристику.

Одним из возможных способов представления потенциала функционирования (включая вероятностные характеристики отдельных Φ_{Π}) являются матрицы, в которых фиксируются основные признаки-функции и отношения рассматриваемых единиц к этим признакам. Так, при описании функционирования видо-временных форм русского глагола нами приводятся матрицы с обозначением определенных семантических признаков (таких, как целостность, процессность, повторяемость, длительность; предшествование, одновременность, следование) и отношения формы к тому или иному признаку: данный признак всегда выражен [+], исключен [-], может быть выражен, но может быть и не выражен [+/-], может быть выражен лишь в ограниченных условиях [(+)/-]⁷. Ср. также алгоритмы употребления видовых форм, дающие информацию о тех ситуациях, которые определяют выбор видовых форм с их функциями⁸.

Потенциал языковой единицы рассчитан на взаимодействие с самыми разнообразными элементами среды. Отсюда вытекает "нежесткость" многих Φ_{Π} . Так, функции грамматических форм времени характеризуются той степенью содергательной обобщенности, которая необходима и достаточна для того, чтобы на этой основе была возможна конкретизация и модификация, исходящая от темпоральных элементов среды. Форма времени дает дейктическую основу темпоральной функции - все остальное определяется взаимодействием с другими категориями (прежде всего аспектуальными и модальными), с лексическими показателями типа *вчера*, *только что*, *сейчас, вот-вот* и т.п., с речевой ситуацией.

В конкретном высказывании каузирующая роль Φ_{Π} должна пониматься не в абсолютном, а лишь в относительном смысле. Эта роль действительна лишь постольку, поскольку та или иная форма уже выбрана говорящим при формировании высказывания. Однако самый выбор именно данной формы определяется в зависимости от того смысла, который говорящий хочет выразить в конкретных условиях речи. Ориентируясь на необходимый (намечаемый) смысл, формируемый в процессе соотнесения со складывающимся формальным выражением, но все же опережающий конкретные внешние языковые формы, в которые он облекается, говорящий стремится найти наиболее адекватные языковые средства - и в этом процессе поиска он сообразуется с потенциями лексем, словоформ и конструкций, входящими в его языковую компетенцию.

В круговороте соотношений возможностей и реализаций постоянно существует, воспроизводится и развивается взаимная обусловленность. Потенции языковых единиц обуславливают их функционирование и реализацию определенных целей в конкретных высказываниях, а эти конкретные реализации функций в актах речи, в свою очередь, становятся основой для формирования потенций языковых единиц, которые находят все новые и новые реализации. В этих отношениях взаимообусловленности осуществляется не только воспроизведение функций языковых единиц, но и их историческое развитие.

Понятие функция (Φ_{Π} и Φ_P) может сближаться с понятием значение, но не совпадает с ним. Нетождественность этих понятий вытекает уже из того факта, что помимо семантических и семантико-прагматических функций, соотносимых со значениями, существуют такие типы функций (стилистические и структурные), которые выходят за пределы той сферы, где может идти речь о близости понятий функции и значения.

Понятия семантическая функция и значение формы близки друг другу. Φ_{Π} соотносится со значением той или иной единицы, рассматриваемым в потенциальном аспекте. Соответственно, Φ_P соотносится со значением, выступающим в том или ином варианте в высказывании и представляющим собой элемент его содержания. Не случайно одни и те же содержательные сущности нередко фигурируют в лингвистических описаниях то как частные значения, то как функции. Таковы, например, "частные видовые значения", называемые также функциями.

Тем не менее понятия семантическая функция и значение не могут быть признаны тождественными. Значение формы - это ее системно значимое внутреннее свойство. Оно детерминируется таким отношением к явлениям внеязыкового мира, которое проходит сквозь призму внутрисистемных соотношений в рамках оппозиций и неоппозитивных различий между членами данной подсистемы. Значения входят в знаковые отношения и в знаковые системы. Категориальные значения форм и конструкций включаются в системы грамматических форм и типов синтаксических конструкций. Что касается понятия функция, то оно относится к системе иного рода. Основную роль здесь играет связь функции и функционирования (ср. разные сто-

роны этих связей, характеризующие потенциальный и результивный аспекты функций, о чём шла речь выше). Закономерности функционирования языковых единиц выходят за пределы той частной подсистемы, к которой относится каждая из них (подсистемы определенной грамматической категории, части речи, типов синтаксических конструкций и т.п.). Эти закономерности относятся к особого рода системе функционирования, охватывающей связанные друг с другом функциональным взаимодействием разноуровневые (морфологические, синтаксические, лексические, лексико-грамматические) единицы.

Функции как элемент этой менее жесткой (в частности разнородной с точки зрения уровневой принадлежности средств) системы функционирования характеризуются более открытым типом системных связей. Они могут включать в свое содержание самые разнообразные внеязыковые цели употребления той или иной формы независимо от релевантности или нерелевантности данной цели для данной системы форм. См., например, такие функции именительного падежа, как именительный заголовка, именительный автора, именительный в роли метатекстового оператора (Глава I; Раздел III и т.п.), именительный псевдоадресации, именительный представления и т.п.⁹ Подобные функции, связанные с определенной сферой, условиями коммуникации, целенаправленностью речевого акта и т.п., будучи сопряженными с категориальными значениями формы, все же представляют внеязыковые цели ее употребления.

Можно сказать так: всякое значение формы есть вместе с тем ее функция (в том смысле, что выражение этого значения представляет собой назначение данной формы), но не всякая особая функция той или иной формы есть особое значение, поскольку далеко не все разновидности целей употребления форм могут рассматриваться как их внутренние системно значимые признаки.

Между понятиями функция и значение существуют различия в их направленности и системных связях. Значение связано с отношением формы и содержания, языковой единицы и того, что она обозначает. Это понятие включается в теорию языкового знака. Функция же входит в систему понятий, связанных с целевой моделью языка, охватывающей разные типы и сферы назначений – назначения языковых единиц, типов речи, текстов, в конечном счете языка в целом.

Указанные различия не снижают значимости взаимных связей между рассматриваемыми понятиями. Функционируя во взаимодействии с элементами среды и выражая то или иное значение, модифицируемое и дополняемое контекстом и речевой ситуацией, форма тем самым выполняет определенную функцию. Понятие функции (семантической) опирается на понятие значения, связывая его с предназначением, с исходной направленностью функционирования формы, его условиями и результатами в речи.

О ПОНЯТИЯХ "СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ", "ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ", "КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ"

1. Семантическая категория (СК). Говоря о СК в сфере грамматики, мы имеем в виду основные

инвариантные категориальные признаки, семантические константы, выступающие в тех или иных вариантах в языковых значениях, выраженных различными (морфологическими, синтаксическими, лексическими, а также комбинированными) средствами высказывания. СК грамматики в их соотношениях составляют базу системного членения изучаемых языковых значений на пересекающиеся и взаимодействующие "области содержания".

В каждом грамматическом значении, выступающем в той или иной конкретной реализации, так или иначе представлены связи разных СК. Одна из них обычно является доминирующей, определяющей категориальную принадлежность данного значения (как значения наклонения, времени, вида и т.д.), однако сопряженность СК далеко не всегда позволяет однозначно определить, является ли данное значение в анализируемом высказывании прежде всего аспектуальным или модальным, бытийным или локативным и т.п. Ср., например, сопряженность аспектуальных и модальных признаков (в сочетании с признаками качественности, темпоральности и временной нелокализованности) в высказываниях типа *И вот всегда-то я так некстати скажу* (Ф.Достоевский. Братья Карамазовы); *Этот всегда ворвется, как оглашений* (Д.Мамин-Сибиряк. Верный раб). По существу "чистых" значений, свободных от проявлений межкатегориального взаимодействия, нет.

СК занимает доминирующее ("вершинное") положение по отношению к возглавляемым ими многоступенчатым подсистемам содержательной вариативности (соотнесенной с вариативностью средств формального выражения). Так, СК аспектуальности занимает вершинное положение по отношению к таким аспектуальным категориям, как лимитативность (СК, охватывающая разные типы отношений предиката и ситуации в целом к понятию предела), длительность, кратность, фазовость, совершенность, категории действия, состояния и отношения. Каждая из этих СК выступает в более частных разновидностях и вариантах. Например, СК предела (лимитативность) существует в таких разновидностях, как предел реальный и потенциальный, эксплицитный и имплицитный, абсолютный и относительный. В семантике длительности могут быть выделены, в частности, разновидности: а) длительность определенная и неопределенная, б) ограниченная и неограниченная, в) протяженная (типа "как долго"), замкнутая, или результативная ("за какое время"), связанная с сохранением результата ("на какое время"), г) непрерывная и прерывная, д) длительность действия (в широком смысле) и длительность интервала.

Изучение вариативности в рамках определенной СК предполагает выделение типов рассматриваемых отношений, базирующихся на различных семантических признаках. В основаниях для членения должна быть определена системная иерархия. Так, при субкатегоризации СК темпоральности целесообразно исходить прежде всего из тех признаков, которые отражают сущность темпоральности как дейктической категории. Наиболее высокое положение занимают признаки, определяемые характером временного дейктика: абсолютная/относительная временная ориентация, актуальность/неактуальность ориента-

ции на момент речи, фиксированный/нефиксированный характер темпорального отношения, его определенность/неопределенность, выраженность/невыраженность степени отдаленности времени действия от момента речи. Далее в иерархии признаков следуют характер (способ) языковой интерпретации темпоральных отношений (эксплицитность/имплицитность их представления, прямой/переносный тип представления времени действия) и признаки, связанные с межкатегориальным взаимодействием (прежде всего с объективной модальностью, а также с аспектуальностью, временной локализованностью/нелокализованностью и таксисом); таковы, в частности, признаки модальной характеризованности/нехарактеризованности, индикативности/неиндикативности.

В конкретных исследованиях СК существенно выделение комплекса более частных семантических признаков и их системных соотношений. Эти признаки и отношения между ними, анализируемые на материале одного языка или нескольких соопытляемых языков, образуют структуру данной конкретноязыковой репрезентации изучаемой СК¹⁰.

2. Функционально-семантическое поле (ФСП). Рассмотрение СК вместе с системой средств выражения в том или ином языке приводит к понятию ФСП. В отличие от СК как понятия, целиком относящегося к плану содержания, ФСП представляет собой понятие, соотнесенное с единством двусторонним, содержательно-формальным. То или иное поле в данном языке конституируется билатеральными языковыми единицами (словесными формами и классами форм, синтаксическими конструкциями, лексемами и классами лексем и т.п.). Когда речь идет о структуре поля - моноцентрической или полицентрической, - то также имеется в виду структура, образуемая двусторонними языковыми единицами, классами единиц и их соотношениями.

Итак, ФСП - это базирующаяся на определенной СК группировка грамматических и "строевых" лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико-синтаксических и т.п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций. Каждое поле охватывает систему типов, разновидностей и вариантов определенной СК, соотнесенную с формальными средствами их выражения.

Понятие ФСП связано с представлением о некотором пространстве. В условном пространстве функций и средств устанавливается конфигурация центральных и периферийных компонентов поля, выделяются зоны пересечения с другими полями.

Каждое поле входит в более широкую систему, элементы которой играют роль среды по отношению к данному ФСП как исходной системе. Обычно ФСП включается в целый комплекс пересекающихся систем. Функцию среды по отношению к данному полю выполняют все поля в составе определенной группировки ФСП и за ее пределами, которые взаимодействуют с изучаемым полем, участвуя в формировании, сохранении и развитии его системных свойств.

Специфика ФСП как системы заключается в том, что признаком целостности (относительной) характеризуется содержание поля (в том отношении, что оно базируется на опре-

деленной СК), но не выражение: средства формального выражения данной сферы семантики относятся к разным языковым уровням и по своей структуре разнообразны. Вместе с тем ФСП характеризуются "сильными" системными признаками функциональной полноты (данное поле охватывает всю сферу функций, представляющих данную СК) и формальной неограниченности (отсутствием ограничений в отношении структурных типов формальных средств). Функциональная и формальная полнота поля находит проявление в том, что ФСП включает не только грамматические единицы, классы и категории как исходные системы, но и относящиеся к той же СК элементы их среды. Это увеличивает объяснительную силу данной разновидности системного анализа в лингвистике, в частности, в сопоставительных исследованиях связано с тем, что СК в ее универсальных аспектах представляет собой основание для сравнения, тогда как поля в изучаемых языках - сопоставляемые системы, включающие специфические признаки строя сравниваемых языков. Такие системы в разных языках могут существенно отличаться друг от друга. Ср., например, поле определенности/неопределенности в "артиклевых" и "безартиклевых" языках. С этим связана необходимость независимого анализа ФСП в каждом из сопоставляемых языков.

Понятие ФСП ориентировано на изучение языковых фактов о системно-парадигматическом аспекте. Такой аспект анализа языковых единиц необходим, однако его нельзя признать достаточным. Необходимо понятие, которое связало бы поле как парадигматическую систему с ее репрезентациями в речи, в высказывании, где парадигматические аспекты предмета анализа вступают во взаимодействие с аспектами синтагматическими. Таким понятием является категориальная ситуация.

3. Категориальная ситуация (КС). КС - это выражаемая различными средствами высказывания типовая (выступающая в том или ином варианте) содержательная структура, а) базирующаяся на определенной СК и образуемая ею в данном языке ФСП; б) представляющая собой один из аспектов общей ситуации, передаваемой высказыванием, одному из его категориальных характеристик (модальную, темпоральную, аспектуальную, локативную, квалитативную и т.п.).

Наименования КС, доминирующих в содержании высказывания, в части случаев могут быть соотнесены с наименованиями типов предложений (высказываний) по господствующему в них содержательному признаку. Ср., например, предложения (высказывания) бытийные, посессивные, квалитативные, компаративные.

Особенностью понятия, стоящего за термином КС, является акцент на содержательной структуре анализируемых типовых ситуаций. В каждой из них выделяются элементы (компоненты, участники), находящиеся в определенных соотношениях.

Использование понятия КС особенно целесообразно в тех случаях, когда рассматриваемая семантика не сосредоточена в какой-то одной форме (глагола, имени существительного и т.п.), а затрагивает целый ряд компонентов высказывания. Именно в таких случаях аспект структуры ситуации и струк-

туры ее выражения раскрывается наиболее полно. Так, семантика состояния определяется семантическими признаками не только предиката, но и субъекта, а также отношением объекту и возможным другим элементом высказывания (в частности, обстоятельственным). В связи с этим целесообразно рассматривать состояние как категорию не одного лишь предиката, а высказывания в целом. Признак "состояние" (статальность) раскрывается в семантической структуре статальной ситуации, включающей ряд более частных конститутивных признаков — таких, как неизменяемость ситуации в течение некоторого (обозначаемого или не обозначаемого) периода времени, длительность, неконтролируемость ситуации со стороны субъекта, его инактивность¹¹.

КС связаны с СК и ФСП сложными отношениями взаимообусловленности. Наиболее конкретным предметом анализа являются КС, выступающие в том или ином частном варианте в рассматриваемых высказываниях. Однако, уже в этом "отдельном" представлена его связь с общим и зависимость от общего. Тот или иной категориальный аспект передаваемой высказыванием общей ситуации (аспект темпоральный, локативный, каузальный и т.п.) выделяется на основе определенной СК, имеющей обобщенный статус существования, т.е. представленной не только в данном высказывании, но и во множестве других. Поэтому отдельный частный вариант данной ситуации, выполняемый в содержании высказывания, с одной стороны, служит конкретной основой для выделения категориальных семантических признаков, а с другой — детерминируется теми СК, которые уже выделены в мыслительно-языковом содержательном целом.

КС — более конкретный предмет анализа, чем ФСП, потому что этот предмет репрезентируется фактами отдельных высказываний. Именно эти факты образуют конкретную основу для того сложного парадигматического обобщения, каким является ФСП. В этом смысле ФСП производны от КС. С другой стороны, представленные в данном языке ФСП с их содержательной основой — определенной СК и комплексом средств ее выражения — в известном смысле являются базой для всех частных репрезентаций данного поля в различных высказываниях¹².

Итак, понятия СК, ФСП и КС, дополняя друг друга, образуют определенную систему. Понятие СК дает основания для определения предмета исследования, границ изучаемой сферы содержания и состава рассматриваемых средств формального выражения. Понятие ФСП позволяет наметить "общий чертеж" той системы, которую образуют в изучаемых языках средства выражения данной СК, определить структуру данной группировки языковых средств (соотношение центра и периферии, пересечения с другими ФСП). Наконец, понятие КС позволяет проводить анализ репрезентаций СК и ФСП в конкретных высказываниях, учитывая взаимодействие исходных систем и их речевой среды.

Одним из основных признаков, определяющих сущность любого направления грамматического исследования, является подход к языковым значениям. Какие аспекты изучаемого содержания принимаются во внимание, каково отношение данной теории к разным сторонам и уровням языковой семантики — от

ответа на эти вопросы во многом зависит тип грамматики, характер лингвистического описания и объяснения. В следующем разделе рассматривается понятие языковой интерпретации смыслового содержания, заключающее в себе, как нам представляется, ядро всей этой проблематики.

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ЯЗЫКОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Основу языкового содержания составляет его денотативный аспект, связанный с отношением единиц системы языка к внешнему миру. С другой стороны, с каждой формой сопряжена особая языковая интерпретация смыслового (мыслительного) содержания. Это явление привлекало к себе внимание языковедов XIX в. в связи с рассмотрением языковой формы как "способа представления внеязычного содержания"¹³. "Языковая интерпретация смыслового содержания" связана с проблематикой языковой стилизации¹⁴, с разграничением значения и смысла¹⁵.

В языковой интерпретации смыслового (мыслительного) содержания могут быть выделены следующие аспекты: 1) избирательность по отношению к признакам обозначаемых явлений; 2) избыточность; 3) различные сочетания денотативных и коннотативных элементов; 4) различие дискретного и недискретного представления смыслового содержания; 5) различие представления эксплицитного и имплицитного.

Избирательность проявляется, например, в языковой интерпретации семантики длительности. Реальные (внеязыковые) действия всегда характеризуются той или иной протяженностью во времени, между тем представление действия в языковых значениях может быть безотносительным к длительности. Так, не связано с длительностью употребление глаголов несовершенного вида в перформативных высказываниях типа Умоляю вас; Прошу тебя и т.п.¹⁶ (при введении показателей длительности - Два часа прошу, умоляю и т.п. - перформативность устраниется). Признак длительности не актуален также для высказываний, передающих общую информацию о самом факте осуществления действия (при "обобщенно-фактическом" значении несовершенного вида): Об этом уже писали; - Ты сдавал экзамен?; - Посыпать вам корректуру? и т.п. Безотносительно к длительности могут быть представлены неограниченно-кратные действия: Иногда он замечал ее напряженный взгляд; Временами на нее нападала хандра (ср. совершенный вид при обозначении единичных действий: заметил, напала). Совершенный вид широко употребляется в тех условиях, когда длительность не выражена: Его уволили; Он заставил меня сесть за стол; - Возьмите трубку и т.п. Таким образом, длительность относится к тем признакам протекания действий, которые в одних случаях существенны для коммуникации, в других же не существенны, не актуальны и поэтому остаются невыраженными. В этом и проявляется избирательность как одно из свойств языковой интерпретации смыслового содержания.

Поясним различие дискретности/недискретности. Имеется в виду различие между четко выделяющимися самостоятельным значением определенной языковой единицы и значением или оттенком значения, сопряженным с другим значением или дру-

гим несамостоятельным элементом в составе того или иного семантического комплекса. Ср. дискретные модальные значения в случаях типа *может*, способен сделать, хочу спать, нужно заметить и т.п. и модальные элементы, сопряженные с временными и видовыми значениями в случаях типа *он что угодно сделает*; чешск. *Ten ukoří až 40 cigaret denně; Ten vzní všecko, co vidí*¹⁷.

Говоря об эксплицитном и имплицитном представлении смыслового содержания, мы имеем в виду не только различия в способах выражения изучаемой семантики, но и характеристику самого языкового содержания: эксплицитное содержание - явное, непосредственно выраженное тем или иным языковым средством; имплицитное содержание - специально не выраженное, а лишь подразумеваемое, вытекающее из эксплицитного содержания или из связанной с ним контекстуальной или ситуативной информации; ср. различие эксплицитной и имплицитной длительности в случаях типа *мы долго поднимались по лестнице* и *мы поднимались по лестнице*; в последнем высказывании длительность имплицируется процессным значением несовершенного вида.

Итак, языковое содержание заключает в себе смысловую (мыслительную) основу и ее языковую интерпретацию (интерпретационный компонент). Смысловая основа языкового содержания и его интерпретационный компонент образуют единство, это разные аспекты единого целого. Содержание, передаваемое формальными средствами, всегда выступает в той или иной языковой интерпретации.

При разграничении и соотнесении рассматриваемых аспектов языкового содержания учитываются внутриязыковые и межязыковые преобразования, при которых остается неизменной инвариантная смысловая основа высказываний, но меняются способы ее представления в языковых значениях. Это проявляется, в частности, в самом процессе речи - в динамике перефразирования. Говорящий может выразить одно и то же смысловое содержание (во всяком случае содержание, имеющее инвариантную смысловую основу) разными средствами, которые отличаются друг от друга с точки зрения интерпретации смыслового инварианта: *В прошлый раз мы рассматривали вопрос ...*; ср.: ... *нами рассматривался вопрос; ... предметом нашего рассмотрения был вопрос...* и т.п. Другой стороной актуализации анализируемых аспектов языкового содержания в речевой практике перефразирования является тот факт, что слушающий воспринимает различные высказывания с различными языковыми значениями их элементов как передающие один и тот же смысл.

Явления дифференциации и взаимодействия смыслового и интерпретационного аспектов языкового содержания актуализируются также в практике перевода. С одной стороны, дан текст оригинала во всем своеобразии языковых значений его элементов, с другой стороны, создается текст перевода с иными языковыми значениями и иной структурой их связей; связующим же звеном между этими системами является смысловая основа передаваемого содержания.

Специальный акцент на интерпретационном компоненте не противоречит общему принципу обусловленности языкового со-

держания внеязыковой действительностью. Этот принцип в полной мере сохраняет свою значимость. Речь идет о другом. Языковая семантика не может быть сведена к отношению знака к обозначаемому объекту. Должна быть принята во внимание вся сложность внутренней содержательной стороны языковых единиц, классов и категорий, рассматриваемых в их взаимных связях и в их отношениях к единицам и категориям мышления, а через них - к внеязыковой действительности. Выходя в конечном счете к явлениям окружающей действительности, семантика слов, форм и конструкций несет на себе специфические признаки языковой формы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

² См. в особенности: Шедова Н.Ю. Дихотомия "присловные - неприсловные падежи" в ее отношении к категориям семантической структуры предложения// Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978. С. 450-467; Она же. Об активных потенциях, заключенных в слове// Слово в грамматике и словаре. М., 1984. С. 8-13.

³ См., в частности: Русская грамматика. М., 1980. Т. I-П.

⁴ Кузьмин В.П. Системные обоснования и структура в методологии К.Маркса// Системные исследования. 1978. М., 1978. С. 26-33.

⁵ Бондарко А.В. Опыт лингвистической интерпретации соотношения системы и среды// ВЯ, 1985, №1. С. 13-23.

⁶ Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 418.

⁷ Бондарко А.В. Вид и время русского глагола: (Значение и употребление). М., 1971. С. 10-21, 61-64.

⁸ Шелякин М.А. Категория вида и способы действия русского глагола (Теоретические основы). Таллин, 1983. С. 197-208.

⁹ Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном русском литературном языке: (Введение в методику позиционного анализа). М., 1986. С. 102-103.

¹⁰ См., например: Mrázek R. Predikování existence subjektu v slovanských jazycích// Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica 52. Slavistica olomucensia V. Pr., 1985. S. 119-127.

¹¹ См. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика). М., 1981. С. 314-330; Булыгина Т.В. К построению типологии предикатов в русском языке// Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 7-85; Селиверстова О.Н. Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикатных типов русского языка// Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 86-157.

12 О понятии категориальной ситуации см.: Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983. С. 116-200; Он же. Категориальные ситуации// ВЯ, 1983, № 2. С. 20-32. Он же. Функциональная грамматика. Л., 1984. С. 99-124.

13 Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1958. Т. I-П. С. 47, 72.

14 Mathesius V. Obsahový rozbor současné angličtiny na sákladě obecně lingvisgickém. Pr., 1961. S. 10-13.

15 Dokulil M., Daneš Fr. K t. zv. významové a mluvnické stavbě věty// О вѣdeckém poznání soudobých jazyků. Pr., 1958. S. 232-234; Sgall P., Panevová J. Obsah, význam a gramatika se sémantickou bází// Slovo a slovesnost, 1976. Roč. XXXVII. Seš. 1. S. 14-25; Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978; Он же. Из истории разработки концепции языкового содержания в отечественном языкознании XIX века (К.С.Аксаков, А.А.Потебня, В.П.Сланский)// Грамматические концепции в языкознании XIX века. Л., 1985. С. 79-123.

16 Апресян Ю.Д. Перформативы в грамматике и словаре// Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1986, № 3. С. 212.

17 Примеры взяты из кн.: Korečný Fr. Slovesný vid v češtině. Pr., 1962. S. 32-33.

P. B. Булатова, B. A. Дибо, C. L. Николаев

ПРОБЛЕМЫ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ПРАСЛАВЯНСКОМ

I. Акцентная парадигма i-глаголов

Многократно обсуждавшаяся проблема ударения праславянских отыменных i-глаголов в настоящее время решается достаточно корректно установлением акцентно-словообразовательного правила, согласно которому в праславянском i-глаголы, образованные от имен а. п. *a*, получали а. п. *a*, от имен а. п. *b* - соответственно, а. п. *b*, а от имен а. п. *c* акцентовались по подвижному акцентному типу, т.е. по а. п. *c*. Это правило согласуется с общей системой акцентовки производных в праславянском, см. Дибо СА, с. 55-196, и достаточно хорошо соответствует материалу всех славянских языков в их наиболее ранней фиксации.

Следует, однако, заметить, что это правило действует без специальных осложнений лишь в области глаголов, образованных от производящих имен а. п. *a* и *c*, где все вводимые в сравнение славянские языки и диалекты показывают достаточно однородную картину. Глаголы, образованные от имен а. п. *b*, как мы покажем ниже, обнаруживают расхождения, распределение которых имеет то свойство, что, не будучи связанным с традиционным делением славянских языков на западную, южную и восточную группы, оно с определенной регу-

лярностью проявляется в разных диалектах этих групп, расчленяя эти группы на зоны, противопоставленные по двум, в большей или меньшей мере выраженным, признакам.

а. Краткосложные глаголы

В области краткосложных i-глаголов, образованных от имен а. п. b, мы находим два резко противостоящих типа рефлексии, наиболее чистыми представителями которых являются система среднеболгарских восточных говоров (сохраняющаяся в определенной степени в современном болгарском, особенно в диалектах типа банатского), где эти глаголы имеют а. п. b, и, с другой стороны, старохорватская система Ю.Крижанича, в которой эти глаголы относятся к а. п. c.

Система, аналогичная восточноболгарской, обнаруживается еще: 1) в западноболгарском (так как система i-глаголов основного западноболгарского памятника, Ис. Сир., практически совпадает с восточноболгарской, ниже восточно- и западноболгарский материал приводится с пометой ср.-болг.); 2) в словенских и кайкавских говорах "северословенского" типа (см. Дыбо 1982; в работе Дыбо СА он назван "восточнословенским просодическим типом"); 3) в староштокавском; 4) в северночакавском (Нови, менее показательна система говора о. Вргада); 5) в южных великорусских говорах, видимо, восходящих к племенному диалекту вятичей (восточная часть курско-орловских, тульские и западнорязанские говоры); 6) в старорусских памятниках, локализуемых в северной части великорусской территории к западу от линии, указанной в следующем абзаце, пункт 3, а также в некоторых памятниках дальнего Северо-Востока, акцентная система которых восходит к северо-западной (псковско-новгородской); эти памятники соответствуют современным северо-западным и западным говорам, восходящим к племенному диалекту кривичей (см. Николаев 1988); 7) в гуцульских и покутско-буковинских говорах украинского языка; 8) в юго-западных (польских) белорусских говорах.

Система, аналогичная старохорватской, характерна: 1) для южнословенского, в том числе (с некоторыми отклонениями) для словенского литературного языка и особенно для краинских говоров в записях М.Валявца; 2) для южночакавского (говоры островов Брач и Хвар; принадлежность этих говоров к типу Ю.Крижанича установлена Е.Э.Будовской); 3) для восточновеликорусской диалектной зоны (западная граница ее проходит приблизительно по линии Белозерск-Новгород-Тверь-Москва-Рязань-Ряжск-Тамбов, а далее, видимо, продолжается в юго-западном направлении), в северной своей части сложившаяся на основе племенного диалекта ильменских (новгородских) словен, а в южной и центральной части, по-видимому, на базе диалекта славян будущей Ростово-Сузdalской земли, в археологическом отношении характеризующихся особым типом височных колец; 4) юго-западная локализация диалекта Чуд. (см. Зализняк 1985, с. 224-225) позволяет предполагать "старохорватскую" акцентовку в говорах, сложившихся на основе племенного диалекта северян.

Ниже приводится материал¹.

1. *selīti: ср.-болг. сѣлиться; болг. сѣля се; ю.-русск. Арнеево *нас'ёл'им*; "сев.-словен." Бедня *sālim sa*, в.-шир. *sēlim, Пригорье *sēlim se; ст.-шток. въсёлится (Об. 1509г.) ~ ст.-хорв. Селим се (Гр. 230); ст.-русск. центр.-вост. преселиши (Корм. 606а), новг. вселишися (Новг. 32), все- лить (Новг. 33б), ю.-зап. да вселитса (Чуд. 120г.), ѹ все- литьса (Чуд. 158а), вост.-русск. *нъс'ел'ат* (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 744), русск. лит. поселю, поселит; словен. *se preselí* (Rad 93, с. 173). От *selō (а. п. b).
2. *plo- dīti: ср.-болг. плѣдить (вторично болг. плодѣ); ст.-русск. сев.-зап. въсплѣдить (Егор. 315б), центр.-ю. (?), расплѣд- тса (Хр. 1066); зап.-укр. Днестр. *плѣдїтс'я*, Сем. 3 sg. *плѣдѣтс'є*, 3 pl. *плѣд'єїа*; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. *плѣ- д'ем'* ~ ст.-хорв. Плодим се, Разплодим се (Гр. 223); ст.-русск. сев.-вост. приплодиши (Ион. 320б, 405б), русск.ли- тер. *плодитъ*; ю.-чак. *oplidin* (Н.-Ш. 739); словен. *plo- dīti*, *plodím* (Plet. II, 62 с "сев.-словен." вариантом *plô- diti*, *plôdim*). От *plôdъ, *plodū (а. п. b).
3. *ostrīti: ср.-болг. Ѽстрѣть; болг. Ѽстрия; русск. диал. (вятск.: го- вор сев.-зап. типа) *вѣстр'ят* (Бромлей-Булатова, с. 352); зап.-укр. Днестр. *жóстр'ят*, Сем. 3 pl. *жóстр'ак'*; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. *жóстр'ем'*; "сев.-словен." Бедня *eštrim ~ ст.-хорв. Острим, Заострим (Гр. 238); словен. *ostrí- ti*, *ostrím* (Plet. II, 862); русск. литер. *острё*, *острим*. От *ostrъ, *ostra, *ostro (а. п. b).
4. *pъstrīti: ср.-болг. *пъстритъ*; болг. *пъстрия* ~ ст.-хорв. Пестрим, Упестрим (Гр. 238); словен. *pаstríti*, *pаstrím* (Plet. II, 28); русск. ли- тер. *пестрё*, *пестрим*. От *pъstrъ, *pъstra, *pъstro (а. п. b).
5. *toprlīti: ср.-болг. *топлить*; болг. *топля* ~ ст.-хорв. Топлим, Стоплим (Гр. 230); словен. *topliti*, *toplím* (Plet. II, 677). От *tôrъlъ, *tôrъlâ, *tôrъlô (а. п. b). Ви- димо, к этому же типу принадлежит синонимичный глагол *то-

¹ Материал памятников Аввакум, Биб., Егор., Ион., Лет., Печ., Новг., Пролог., Ржев., Ряз., Сол., Хлын., Хр., Цел., Час. приводится по спискам, любезно предоставленным ав- торам настоящего доклада А.А.Зализняком.

píti (каузатив?), ср. ю.-русск. Арнеево *растопи* 'ица; Кидусово *món'ym'* (Аванесов, с. 195) ~ словен. topíti, topím 'wärmen' (Plet. II, 677). 6. *rotíti: ср.-болг. рótить са ~ ст.-хорв. Ротíм се, Заротíм се (Гр. 242); словен. rotíti, rotím (Plet. II, 439), rotím (Rad 93, с. 171); ст.-русск. вост. ротатсѧ (Корм. 295). От *rotá, acc. sg. *rotó (а. п. b). 7. *kr̥stíti: ср.-болг. кръстить; болг. кръстя; сев.-чак. Вргада kr̥stíš; "сев.-словен." в.-штир. kr̥stím; зап.-укр. Днестр. хрéстї́ца, Сем. 3 sg. хрäстә́ц·а, 3 pl. хрäск'ет; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. хрíст'ет ~ ст.-хорв. Керстíм, Окерстíм (Гр. 241); словен. krstím; ю.-чак. Хвар ne karstídū (Н.-Ш. 838), pokarstú (Н.-Ш. 843); ст.-русск. ю.-зап. ктит (Чуд. 16г), вост. крестатъ (Корм. 295), русск. лит. крешу́, крестит. От *kr̥stzъ, *kr̥ststá (а. п. b). 8. *dvoríti: ср.-болг. въдвбритьсѧ (вторично болг. въдворя); "сев.-словен." Пригорье *dvòrim; ст.-шток. въд-вóритсе (Сб. 1509 г., 369а); ст.-русск. во́дворимся (Хлын. 266: памятник "вятского" типа с яркими северо-западными чертами) ~ ст.-хорв. Дворíм (Гр. 236); словен. dvoríti, dvorím (Plet. I, 190); ю.-чак. Хвар dvorín (Н.-Ш. 197); ст.-русск. вост. водворйтсѧ (Ряз. 293); русск. литер. вод-ворь, водворйт. От *dvòrgъ, gen. sg. *dvorá (а. п. b). 9. *dobrítí: ср.-болг. добрить (вторично болг. подобря́, одобря́); ст.-шток. оúдó|брьмы (Сб. 1509г., 553а) ~ ст.-хорв. Добрíм, Одобрíм (Гр. 236); словен. dobríti, dobrím (Plet. I, 144). От *dòbrzъ, *dobrá, *dobrá (а. п. b). 10. *dàzdjíti: ср.-болг. дъждить (вторично болг. дъждя) ~ ст.-хорв. Дождјíм, Надождјíм (Гр. 225); словен. dæžíti, dæžím (Plet. I, 137); ю.-чак. Брач dažjí (Н.-Ш. 133), Хвар darží (Н.-Ш. 132); ст.-русск. новг. **Дождýт** (Новг. 39), русск. литер. дохдýт. От *dàzdjъ, gen. sg. *dàzdjá (а. п. b). 11. *tàščíti: ср.-болг. тъшить са (вторично болг. изтъшá) ~ ст.-хорв. Тащјíм, Јэташјíм (Гр. 248). От *tàščjъ, *tàščjá, *tàščjé (а. п. b). 12. *vàtoríti: болг. повтóря; ю.-русск. Арнеево пъфтóр'им ~ ст.-хорв. Повторíм (Гр. 236); русск. литер. повтóрь, повторúт. От *vàtòrъ, *vàtorá, *vàtoró (а. п. b). 13. *postíti: ср.-болг. постить; болг.

по́стя; сев.-чак. Врогда по́стиш; ст.-шток. по́стетсе (Ев.-апр. № 7364, 116а, bis); "сев.-словен." Пригорье *пòjstim; видимо, "сев.-словен." акцентовка заимствована литературным словен. языком: по́stiti, по́stim (Plet. II, 175); зап.-укр. Днестр. 3 pl. по́ст'а, Сем. 3 sg. по́стам, 3 pl. по́ст'ем~ю.-чак. Брач постин (Н.-Ш. 885); ст.-русск. ю.-зап. постать (Чуд. 29а), не постать (Чуд. 6в); русск. литер. пощусь, постыться; неясна а. п. b ст.-хорв. Пóстим (Гр. 242). От *пòстъ, gen. sg. *постá (а. п. b). 14. kotíti: болг. кóтъ се; ю.-русск. Арнеево 3 sg. акдóтица; зап.-укр. Днестр. кóтіца, Сем. укóтæца ~ ст.-хорв. Котíм се (Гр. 241); словен. kotíti, kotím (Plet. I, 447); ю.-чак. Брач kotú (Н.-Ш. 452); русск. литер. окотыться. От *кòтъ, gen. sg. *котá (а. п. b) 'отродье, выводок'. 15. *zлобíti: сп.-болг. злобить ся (вторично болг. злобя); ст.-русск. сев.-зап. не злóблена (Пролог 9б, 41б), центр.-южн. злоби́тса (Хр. 238); ст.-шток. озлобиши (Сб. 1509 г., 75а) ~ ст.-хорв. Злобíм се, Озлобíм се (Гр. 220); словен. zlobíti, zlobím (Plet. II, 925), zlobíš (Rad 93, с. 57); ст.-русск. ю.-зап. да не злобíмъ ся (Чуд. 124б). От *злобá, acc. sg. *злобó (а. п. b). 16. goliti: болг. гбля; зап.-укр. Сем. 3 pl. гóл'ет; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. гóл'ем~ ст.-хорв. Голíм, Оголíм (Гр. 228); словен. golíti, golím (Plet. I, 228), golí (Rad 93, с. 147); русск. литер. оголó, оголýт. От *гòлъ, *gola, *golo (а. п. b). 17. *svédočíti: сев.-чак. Врогда svidočíš; "сев.-словен." в.-штир. *svedočim, Пергоич *=svedočenje (см. Дибо 1987) ~ ст.-хорв. Свидочíм, Освидочíм (Гр. 246); словен. свéдоčíti, svédočím (Plet. II, 605); ю.-чак. posvidocín (Н.-Ш. 887). От *svédókъ, gen. sg. *svédóká (а. п. b). 18. *kosiť 'ко-сить косой': "сев.-словен." Пригорье *kèsim; ю.-русск. Арнеево кóс'им; Кидусово кóс'им (Аванесов, с. 194); русск. диал. (вятск.) кóс'ат (Бромлей-Булатова, с. 352); зап.-укр. Днестр. 3 sg. кóсím, 3 pl. кóс'а, Сем. 3 sg. кóсам, 3 pl. кóс'e; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. кóс'e; видимо, вторично болг. косý ~ ст.-хорв. Косíм, Накосíм (Гр. 239); словен. kosíti, kosím (Plet. I, 441); ю.-чак. Брач kosin, Хвар kosí (Н.-Ш. 449); вост.-русск. (владимир. и др.) кошú, косít. От *kosá,

acc.sg**koso*¹ (а. п. *b*). 19. *stročiti: ю.-русск.ряз.строчу, строчиша (Васильев, с. 84) ~ ст.-хорв. Строчим, Настрочим (Гр. 242); русск. лит. строчу́, строчит. От *stroka, acc. sg. *strokō (а. п. *b*). 20. *kopiti: ю.-русск. Кидусово накón'у, накón'ут' (Аванесов, с. 195) ~ ст.-хорв. Копим (напечатано Копим), Јекопим (Гр. 235). От *kora, acc.sg. *korō (а. п. *b*). 21. *popiti: болг. опóня, разпóня ~ ю.-чак. zaporin (Н.-Ш. 1372). От *rörъ, gen. sg. *popa (а.п. *b*). 22. *stъkъliti: болг. оцóкля ~ ю.-чак. Брач, Хвар cakli (Н.-Ш. 95); русск. литер. стеклю, стеклит. От *stъkъlo (а. п. *b*).

Аналогичное различие в рефлексации показывает и ряд краткосложных девербативов, по-видимому, каузативов (в той степени, в какой они поддаются этимологизации) и глаголов, тип производности и первичная грамматическая семантика которых не установлена:

23. *tvoriti: сп.-болг. твóрить; болг. под-, престóря (болг. твóря́ заимствовано из русск. ц.-слав.); "сев.-словен." Бедня *stvérim, Пригорье *stvòrim; русск. диал. (вятск.) твóр'ят, твóр'ят (Бромлей-Булатова, с. 352); ст.-руссск.сев.-зап. ствóриши (Пролог 88а), ѹ твóр^M (Час. 208), зап. ствóри^T (Лет. 35б), твóрять (Лет. 326б), центр.-зап. твóрить (Цв. 5б); зап.-укр. Днестр. прйтвóрəтс'a, Сем. 3 sg. прйтвóрəц'a; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. твóр'ет'; ст.-шток. твóриши (Ев.-апр. № 7364, ба и т.д.), твóрить (Сб. 1509г., 15, 41 и т.д.) ~ ст.-хорв. Творим, Створим (Гр. 239); словен. storím (Rad 93, с. 177-179), tvoríti, tvorím (Plet. II, 704); ст.-руссск. новг. твóрить (Новг. 28б), вост. со-твóрить (Корм. 301а), да твóрять (Корм. 304), творите (Увар. 543, 510, 511, 513б), сотвóрить (Увар. 605), сотвóритè (Ряз. 67б, 22б), притвóрять (Ряз. 268), сев.-вост. съ|твóрите (Ион. 494); русск. литер. твóрю, твóрим; ю.-чак. Брач stvorí se (Н.-Ш. 1107). 24. *voriti: сп.-болг. отвóрить; болг. затвóря, отвóря; сев.-чак. Нови затвóri (Белич, с. 250); ст.-шток. ѹ затвóрить (Ев.-апр. № 7364, 202а); ст.-руссск. сев.-зап. затвóрят^{бб} (Пролог 87б), затвóрятс'a (Сол. 141б), зап. затвó|рить (Макс. 46б), центр.-

зап. затврішиſм (Цв. 158) \sim словен. voríti, vorím (Plet. II, 786), otvoríti, otvorím (Plet. I, 874); ст.-русск. вост. затвориши (Ряз. 142б), ю.-зап. затворен^а (Чуд. 33а); русск. литер. отворю́, отвору́т. 25. *ložiti: ср.-болг. лóжть, положить; болг. лóжа; "сев.-словен." Бедня *rozležim, сев.-чак. Нови lōži, nalōži (Белич, с. 250), Вргада lōžiš, ст.-шток. положить (Ев.-апр. № 7364, 108а, 260б и т.д.); ст.-русск. центр.-зап. да прелóжиши (Цв. 110б), не приложи^{те} (Цв. 124б), зап. възлóжá (Биб. 83), положи^{те} (Биб. 79б), положа^т (Биб. 78б); ю.-русск. Арнеево палóжут; зап.-укр. Днестр. 3 sg. лóжim, 3 pl. лóжа, Сем. 3 sg. лóжат, положа^{ца} - ср., однако, ряз. положиша, слóжиша (Васильев, с. 84 - преобразование *-ложи^{ть}, -ши) \sim ст.-хорв. Ложим, Положим (Гр. 225); словен. položiti, položim (Plet. II, 133) - однако и lóžiti, lóžim (Plet. I, 534) с "сев.-словен." удалением; ст.-русск. сев.-вост. приложи́тса (Ион. 38, 412б), приложа́тса (102б, 435б), новг. да не приложи́ть (Новг. 38б), вост. положа́ть (Ряз. 18б), не приложи́ть (Ряз. 210), приложи́ть (Корм. 325), заложи́ть (Корм. 365), положи́ть (Увар. 838б); вост.-русск. (котельнич.) положи́т (Зеленин Ск., с. 59), русск. литер. ложусь, ложи́тся. 26. *oríti: ср.-болг. разбрить (вторично болг. разоря́); ст.-шток. не разбритсе (Ев.-апр. № 7364, 200а-б), не разбритсе (131б, 221а), разбрите (7а), разбритсе (Сб. 1509 г., 36а, 198а, 350а); ю.-русск. Арнеево разбрóши \sim ст.-хорв. Разорим (Гр. 238); ст.-русск. ю.-зап. раззорю (Чуд. 34а), разори́тса (117г), вост. разори́ть (Ряз. 150б); русск. литер. разорю́, разору́т. 27. *glátitи: ср.-болг. поглътить; ю.-русск. Арнеево прау-лóт^им, ряз. проглотиша (Васильев, с. 84) \sim ст.-хорв. Голтим, Поголтим (Гр. 242); словен. gołtiti, gołtím (Plet. I, 230); русск. литер. арх. [поглощу́], поглоти́т (формально церковнославянское заимствование). 28. *roníti: болг. рóня; ю.-русск. Арнеево урóн^иш; зап.-укр. Сем. 3 sg. порóнэт, рóнэт:, ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. врóн^ит^и \sim ст.-хорв. Роним, Уроним (Гр. 234); русск. литер. арх. роню́, ронишь, вост.-русск. *роню́, *рону́т(ь) (см. Касвин, с. 134). 29. *brásiti: болг. брúша; ю.-русск. Арнеево брóшу, брфсим;

Кидусово *и'а брос'ум'* (Аванесов, с. 155) – вторичный перевод в а. п. *a* ~ ст.-хорв. Бросим (Гр. 239); вост.-русск. *бръс'илáс'* (МАРЯ, Восток, вопр. 117, а. 345), *брос'илáс'* (п. 76). 30. *boríti:ср.-болг. бóрить ся; болг. бóрят;ст.-русск. зап. бóрите (Библ. 801б) ~ ст.-хорв. Борим се, Поборим (Гр. 237); словен. boríti se, borím se (Plet. I, 45); ю.-чак. Хвар borímo (Н.-Ш. 67); ст.-русск. вост. бo-рýтса (Ряз. 136б, 334).

Наряду с перечисленными выше имеются немногочисленные глаголы, как правило итеративы, которые регулярно имеют "классический" рефлекс а. п. *b* (на основное ударение) во всех рассмотренных диалектах. Сюда относятся: *vozítí (ср. *vězq), *gonítí (ср. *žěnq), *vodítí (ср. *vědq), *xodítí (ср. ptc. *šédlъ), *lomítí (ср. лит. lemti 'судить, определять', дал. 'сгибать', lìmti 'ломаться'), *tomítí (ср. словен. s-téti se, -támēm se/-tmēm se 'gerinnen, coagulieren'), *nosítí (ср. *něsq), *prosítí (ср. лит. pír̄sti, peřša 'сватать', prašýti 'просить'), *skočítí (ср. герм. тематический *skexa- в др.-в.-нем. scěhan 'vagari', ср.-в.-н. schéhen 'schnell dahineilen'), а также *modlítí, *ženítí и некоторые другие.

б. Долгосложные глаголы

В области долгосложных i-глаголов, образованных от имен а. п. *b*, также как и в случае с краткосложными, мы находим два типа рефлексации, однако с другим лингвогеографическим распределением.

Установленные выше две группировки славянских диалектов по признаку наличия/отсутствия оттяжки ударения в презенсе с тематического гласного -i- на основу (корень) в деноминативных (и каузативных) глаголах в свою очередь подразделяются каждая на две подгруппы по признаку наличия/отсутствия подобной оттяжки в долгосложных глаголах.

Внутри группировки с ударением восточноболгарского типа в свою очередь выделяется группа (1-я), для которой оттяжка характерна и в долгосложных деноминативных и каузативных глаголах а. п. *b*. К 1-й группе относятся: восточноболгарский (тырновская группа памятников) и, с некоторыми отклонениями, современный литературный болгарский; говоры "северо словенского акцентологического типа"; северочакавский говор Нови; южнорусские "вятаческие" говоры (см. выше); юго-западные говоры белорусского языка.

Далее внутри этой группировки выделяется 2-я группа, для которой характерно отсутствие оттяжки в долгосложных глаголах. К этой группе принадлежат: западноболгарский (по

крайней мере в своей ранней фиксации); системы, представленные в западных, северо-западных и северных старорусских памятниках и в современных великорусских диалектах, сложившихся на основе племенного диалекта кривичей (см. выше). Как в западноболгарском, так и в "кривичских" памятниках отмечается начало процесса разрушения старой системы акцентных парадигм *i*-глаголов, что приводило к переходу в а. п. *b* части глаголов старой а. п. *c*, поэтому старая система выявляется по архаичному "остатку".

Внутри группировки диалектов, имеющих в краткосложных глаголах старохорватскую систему (т.е. без оттяжки с *i*-ца корень), в первую очередь выделяется группа диалектов (назовем ее 3-й группой), для которых характерна оттяжка в долгосложных деноминативных и каузативных *i*-глаголах. Сюда входят: старохорватский диалект Ю.Крижанича; северо-восточные великорусские говоры и соответствующие им старорусские памятники; юго-западный (?) русский диалект Чуд.

Наконец, выделяется 4-я группа, к которой относятся восточные и юго-восточные великорусские говоры и соответствующие ей старорусские памятники, а также, в большой степени, архаическая норма русского литературного языка. В системе этой группы нет оттяжки ни в краткостных, ни в долготных глаголах.

Ниже приводится материал.

1. **běliti*:ср.-болг. тырн. бѣлить, болг. бѣля; ю.-русск. Арнеево *nab'ěl'ut'*; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. б'іл'et'; "сев.-словен." Бедня *bīliti* (а. п. *b*) \sim псков. *bělim* (ПОС I, 161), 3 pl. *běli* (ПОС I, 161) \sim словен. *běliti*, *bělim*; ст.-хорв. *Bīlim*, *Pobīlim* (Гр. 128) \sim вост.-русск. *b'äl'ím* (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 570), *nab'el'ím* (п. 73). Ср. **bělъ*, **běla*, **bělo* (а. п. *b*). 2. **sōditi*:ср.-болг. тырн. сѫдить, болг. *на-*, *об-сѫдя-*; "сев.-словен." Бедня *sōditi* (а. п. *b*); ю.-русск. Арнеево *sūd'ut'*; сев.-чак. Нови *súdī* (Белич, с. 251); ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. *sūd'et'* \sim зап.-болг. 3 sg. aor. *разsъdъ* (Ис. Сир. 90б); ст.-русск. сев.-зап. *сѫдатсѧ* (Час. 381), *раз'соудить* (Пск. 102) \sim словен. *sōditi*; *sōdim*; ст.-хорв. *Sûdîm*, *ObSûdim* (Гр. 124); ст.-русск. ю.-зап. *сѫди*|*тсѧ* (Чуд. 112в), *осѫдиши* (8а), сев.-вост. *осѣдї* (Ион. 200), *осѣдиши* (225). Ср. **sōdъ*, **sodá* (а. п. *b*). 3. **gnězditi*: ю.-русск. Арнеево *н'я ѿ ѿн'ěz' d'ицѧ*, Деулино *ѹн'ěz' d'ици* (ССРНГ 115); "сев.-словен." Бедня *gnjězdití* (а. п. *b*) \sim зап.-болг. 3 sg. aor. *и въгнěздисѧ* (Ис. Сир. 132б); ст.-русск. зап. *въгнěздатсѧ* (Библ. 474б, 979, 617), *погнěздатсѧ* (617б).

словен. gnézditi, gnézdim ~ ст.-хорв. Гнъ́здим се, Угнъ́здим се (Гр. 123) ~ русск. литер. гнезды́тся. Ср. *gnězdō (а. п. б). 4. *xulíti: сп.-болг. тырн. хоу́лить, болг. ху́ля ~ сп.-болг. хоули́ши (О письм. 476), хёли́ши (596, 606), хёли́ши (486), хоулéтсе (566) в вост.-болг. памятнике с зап.-болгарскими чертами ~ ст.-хорв. Ху́лим (но Поху́лим); словен. húliti, húlim; ст.-русск. сев.-вост. не хáлиши (Ион. 38), похáлly (335, 480б), не хáлlyса (439б), вост. хоу́лать (Корм. 377б) ~ русск. литер. хуло́, хули́т. Ср. *xulá, *xuló (а. п. б). 5. *ličiti: сп.-болг. тырн. обличить, болг. ли́ча ~ сп.-болг. обличе́ть (О письм. 50а), 3 sg. aor. ёбличи (56а) в вост.-болг. памятнике с зап.-болгарскими чертами; ст.-русск. зап. ѿбличíтъ (Фер. 975б) ~ ст.-хорв. Ли́чим (sic!), Обли́чим (Гр. 145), словен. líčiti, líčim; ст.-русск. ю.-зап. да не обли́чать (Чуд. 42в) ~ русск. литер. об-, с-личу́, -личи́т. Ср. *licé (а. п. б). 6. *blaznítí: болг. блáзня; ю.-русск. Деулино блáз'-н'ица (ССРНГ 57); "сев.- словен." Бедня bláoznítí (а. п. б) ~ ст.-русск. зап. соблазнитсѧ (Ржев. 259б), съблазнáтсѧ (Библ. 690б, 688), сев.-зап. не ^{об}блазнитсѧ (Егор. 532) ~ ст.-хорв. Блáзним, Соблáзним (Гр. 131), словен. bláz-niti, bláznim; ст.-русск. сев.-вост. сѧ не блáзни (Ион. 428) ~ ст.-русск. вост. блазните́сѧ (Увар. 510б), блаз' | нать (532); русск. литер. соблазню́, соблазнýт. Ср. *blázny, *blazní (а. п. б). 7. *ključiti: сп.-болг. тырн. клю́чить, болг. за-, в-клю́ча; ю.-русск. Арнеево к(y)л'у́ч'им', фкл'у́ч'им'; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. вкл'у́ч'ем' ~ ст.-русск. сев.-зап. ключи́тсѧ (Пск. 85б), сключи́тсѧ (127), зап. сключи́тсѧ (Фер. 497) ~ ст. хорв. Кльу́чим, Склльу́чим (Гр. 144), словен. ključiti, ključim ~ русск. литер. в-, за-ключу́, -ключи́т. Ср. *ključь, *ključá (а. п. б). 8. *krožiti: сп.-болг. тырн. крâжить (вторично болг. кръжá); ю.-русск. Арнеево 3 sg. кръжи́ца; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. крýж'ем' ~ ст.-русск. окрёжйтсѧ (Цел. 1 - 2х, 10 - 10х) в сев. памятнике с сев.-зап. акцентуацией ~ ст.-хорв. Крûжим, Окру́жим (Гр. 125), словен. krôžiti, krôzim ~ русск. литер. арх. кру-ху́, крухýт. Ср. *krôgъ, *krôgá (а. п. д - см. ниже, с. 51).

9. *palíti: ср.-болг. тыrn. палитъ, болг. пáля; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. nál'et'; сев.-чак. Нови zapálín (Велич, с. 250) ~ ст.-русск. зап. попалитъ (Ржев. 164, 2576), запа|лать (Библ. 603), попали́ть (Библ. 472б) ~ ст.-хорв. Пáлим, Опáлим (Гр. 129), словен. páliti, pálim; ст.-русск. сев.-вост. попа́ли (Ион. 125), запа́лиши (326) ~ ст.-русск. вост. запалитъ (Увар. 637б), запалитсѧ (682); русск. литер. арх. палю́, палитъ. Деноминатив от *pálъ, dat. *palóvi (а. п. d - см. ниже, с. 47-60), либо каузатив от *rólno-
ti. 10. *xvalíti: ср.-болг. тыrn. хва́литъ, болг. хвáля; "сев.-словен." Бедня fáoliti (а. п. b); ю.-русск. Арнеево 3 sg. хвáл' ица; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. хвáл'et' ~ ст.-русск. сев.-зап. да не хвалитсѧ (Тр. пс. 154), центр.-зап. да хвалитъ (Цв. 228б) ~ ст.-хорв. Хвáлим, Ухвáлим (Гр. 110), словен. hválieti, hválim; ст.-русск. ю.-зап. похвá-
литсѧ (Чуд. 125в), хвалиши́сѧ (109в), центр.-вост. хвáли-
тесѧ (Корм. 380) ~ ст.-русск. вост. восхвáлатъ (Ряз. 317б), вост.-русск. хвалитъ (МАРЯ, Восток, passim). Ср. *xvalá, *xvaló (а. п. b). 11. *borníti 'занищать'; ср.-болг. тыrn. бра́нитъ, болг. бра́ня; ю.-зап. белор. 3 pl. борón'et' ~ сев.-русск. арханг. бороня́т (АОС 2, 84), бороня́це, боро-
нáца (85); псков. барапáцица, ия барапáцица (ПОС 2, 124); зап.-болг. 3 sg. аог. и възбрани (Ис. Сир. 87б), възбра-
ни и (Ис. Сир. 139б) ~ ст.-хорв. Брáним, Обрáним (Гр. 131), словен. brániti, bránim. Ср. *bórnъ, *borní (а.п. b или d). 12. *porzdýnjíti: ср.-болг. тыrn. прáзднить, болг. прáзня; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. опорбóх·н'et' ~ зап.-
болг. ёпразнисѧ (Ис. Сир. 99а), ёпра|зни́тсѧ (94а) ~ ст.-
хорв. Прáзним, Јэпра́зним (Гр. 234), словен. prázniti, práz-
ním ~ русск. литер. о-порожнó, -порожнít. Ср. *porzdýnъ, *porzdýnjá, *porzdýnjé (а. п. b). 13. *kuríti: ю.-русск.
Арнеево кýр'ут'; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. кýр'et'; "сев.-
словен." Бедня kéyriti (а. п. b) ~ ст.-хорв. Кýрим, Воз-
кýрим се (Гр. 127), словен. kuríti, kurím ~ вост.-русск.
кури́т (МАРЯ, Восток, passim), русск. литер. кури́тсѧ. Ср.
*kúrgъ, *kurá (а. п. b) 'дым'. 14. *pilíti: "сев.-словен."
Бедня pеíliti (а. п. b); ю.-русск. Арнеево расп'ýл'иш,

n' ѫ́л' ут' ~ русск. центр.-зап. *нило*, **нилять* (Кашинск.у.).
— Касвин, с. 131) ~ словен. *píliti*, *pílim* (вторично вместо **pílim*). Ср. **pilà*, **pilq* (а. п. *b*). 15. **kármítí*:ср.— болг. тырн. *кърмитъ*, болг. *кърмя*; ю.-русск. Арнеево *кър'*-*м'иш*, Кидусово *кър'м'ис'и* (Аванесов, с. 196); ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. *кърм'ет'* ~ ст.-хорв. *Кърмим*, Прекърмим (Гр. 131), словен. *kármíti*, *kármim* ~ вост.-русск. *кор'мít* (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 54). Ср. **kármá*, **kármó* (а. п. *b*) или **kármъ*, **kármá* (а. п. *d*, см. ниже, с. 47–60). 16. **koltíti*: болг. *клáти*; ю.-русск. Арнеево *пъкалóт'ам'*; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. *колбт'ет'*; сев.-русск. *колотить* (а. п. *c*: МАРЯ, Север, вопр. 117, п. 642) ~ ст.-хорв. Проклáти *се* (при нерегулярном Клáти *се*), словен. *klátiti*, *klátim* ~ вост.-русск. *кълом'ýм* (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 40). Ср. **kóltъ*, **koltá* (а. п. *b*). 17. **xorníti*: ср.— болг. тырн. *хráнить*, болг. *хráня*; ю.-русск. Арнеево *харó-н'ут'*, Кидусово *пъхарóн'ут'*; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. *хо-рón'ет'*; сев.-чак. Нови *hránin* (Белич, с. 250) ~ сев.-русск. *хорон'áт* (МАРЯ, Север, в. 177, п. 347) ~ ст.-хорв. Хrâним, Охrâним (Гр. 134), словен. *hrániti*, *hráni*. Ср. **Xorná*, **Xornó* (а. п. *b*). 18. **žaríti*: болг. *жáря*; ю.-русск. Арнеево *нахáр'им* (вторичный перевод в а. п. *a*); ю.-зап. белор. Сим. *жáрим'* (вторичный перевод в а. п. *a*) ~ ст.-хорв. Жárim, Ужárim (Гр. 137) ~ вост.-русск. *пъхар'ýт* (МАРЯ, Восток, вопр. 117, п. 69), *нахар'ýм* (п. 115, 309), *њхар'ýт* (п. 312), *хар'ýм* (п. 345), *нихар'ýт* (п. 677). Ср. **žárgъ*, **žara* (а. п. *b*). 19. **kósíti*: ю.-русск. Арнеево *укýс'им'*; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. *вкýс'ет'* ~ сев.-русск. арханг. *окуси́д дак* (АОС 2, 54) ~ словен. *kósiti*, *kósim*. Ср. **kószъ*, **kósa* (а. п. *d* — см. ниже, с. 51). 20. **blôdítí*: ср.-болг. тырн. *блáдить*; ю.-русск. Арнеево *блýд'им'*; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. *блýд'ет'*; "сев.-словен." Бедня *blôditi* (а. п. *b*) ~ зап.-болг. 3 sg. aor. *ѝ заблáди* (Ис. Сир. 138б), ptc. acc. pl. n. *блáдя|шáа* (22б); ст.-русск. сев. (памятник с акцентной системой сев.-зап. типа) не *заблôдить* (Цел. 159), *ѡблôдитсѧ* (159), *зблôдить* (204б) ~ ст.-хорв. *Блýдим*, *Заблôдим* (Гр. 122), словен. *blôditi*, *blô-*

dim, ст.-русск. сев.-вост. съблѣдъ^T (Ион. 131), не съблѣдиши (400б), ю.-зап. блѣдъте (Чуд. 22г), блоудимъ (112а), центр.-вост. блоудитъ (Корм. 337). Ср. *блѣдъ, *блѣдѧ(a. п. d, см. ниже, с. 57). 21. *truditi: сп.-болг. тырн. трѣдитъ, болг. труда; сев.-чак. Нови pretrúdin (Белич, с. 251); ю.-русск. Арнеево 2 sg. труд'ицъ и (с вариантом потруд'ицъ), "сев.-словен." Бедня trѣyd'iti sa (а. п. b) ~ зап.-болг. 3 sg. aor. трѣдися (Ис. Сир. 115а); ст.-русск. сев.-зап. 1 pl. praes. потроуди́мся (Егор. 552б), потроудимся (Пск. 349б), сев. потрѣдитса (Цел. 298б) ~ ст.-хорв. Трудим, Утрудим (Гр. 124), словен. trудити, trудим (вторично вместо *trудим) ~ ст.-русск. вост. не оутрѣдимся (Ряз. 289). Ср. *trудъ, *trудѧ (а. п. b).

Каузативы и глаголы неясной грамматической семантики:

22. *stopiti: сп.-болг. стѣпить, болг. стѣпля; ю.-русск. Арнеево настѣп'им; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. стѣпл'ем¹; "сев.-словен." Бедня zastѣпіти (а. п. b) ~ зап.-болг. 3 sg. aor. Ѣстѣпї (Ис. Сир. 96б); ст.-русск. зап. достоупіть (Фер. 506), Ѣстоупіть (538) ~ словен. st piti, st pim; ст.-хорв. Стѣпим, Постѣпим (Гр. 115); ст.-русск. сев.-вост. да Ѣстоупа^T (Ион. 9), не пристѣпиши (478б), однако сев.-зап. ударение в застѣп'им² ма (Новг. 30) ~ ст.-русск. вост. престѣпиши (Увар. 432). 23. *kr titi: ю.-русск. Арнеево кр т'иш, ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. кр т'ем³ ст.-хорв. Кр тим, Скр тим (Гр. 131) ~ вост.-русск. крутит (МАРЯ, Восток, passim), russk. литер. арх. кручу, крутит. Каузатив от *kr (t)n ti. 24. *torpiti: болг. наtrapля; ю.-русск. Арнеево 3 sg. торопн'ицъ; ю.-зап. белор. Сим. 3 pl. торопл'ем⁴ ~ зап.-русск. 3 sg. торопн'ица (МАРЯ, Запад, вопр. 117, п. 551), торопн'ицся (Мещовск. у. - Касвин, с. 132) ~ ст.-хорв. Трапим, Утрапим (Гр. 135), словен. tr piti, tr pim (вторично вместо *tr pim). Каузатив от *тьрг eti, *тьрпјо (а. п. b). 25. *sъrditi: болг. сърдя, "сев.-словен." Бедня s рдити (а. п. b) ~ сев.-русск. 3 sg. разсердитсе (Шенкурск. у. - Касвин, с. 126) ~ ст.-хорв. Сѣрдим, Разсѣрдим (Гр. 124). 26. *vortiti: сп.-болг. тырн. вратитъ (вторично болг. из-, от-вратя); сев.-чак. Нови

vrátin(Белич, с. 251); ю.-русск. Арнеево *сварót'иш*, Кидусово *ва-рót'иш*, *варót'утъ* (Аванесов, с. 194); ю.-зап. белор. Сим. 3 рл. *вөрót'емъ* ~ зап.-болг. *въбратйтъ смъ* (Ис. Сир. 142а), ст.-русск. сев. *выворотатъ смъ* (Цел. 47б), *выворотить*(129б) ~ ст.-хорв. Вратим ~ русск. литер. арх. *вороchъ, воротитъ*. Видимо, каузатив от сменившего залог еще на праславянском уровне глагола состояния *vъrtéti, *vъrtjо (а. п. *b*).

Как и в группе краткосложных глаголов, имеется небольшое количество долгосложных глаголов, во всех рассматриваемых диалектных системах показывающих "классический" рефлекс а. п. *b*. Речь идет о следующих итеративах: *měsítí (ср. лит. *maišyti* 'мешать, перемешивать' и *míěsti* 'разбавлять, *смешивать'); *světítí (ср. *svěstí, *světъ с тем же значением); *služítí (ср. лит. *slaugýti* 'ухаживать, прислуживать' и диал. *slaugtī*); *ljubítí (видимо, старый итератив, ср. др.-инд. тематический глагол *lúbhya-ti*'любить'); *volčítí (ср. *velktí, *vělkъ с тем же значением) и некоторые другие.

Для акцентного типа этой небольшой группы долгосложных и краткосложных глаголов введем обозначение а. п. *b₁*, сохранив объяснение его как результата преобразования колонной акцентной парадигмы с ударением на тематическом гласном -i- по закону Станга, который, судя по тождеству рефлексов во всех славянских языках, действовал еще в праславянский период. Акцентный тип глаголов, объединяемых представленной выше системой соответствий, в этом случае получит наименование а. п. *b₂* и должен быть реконструирован как акцентный тип с колонным ударением на тематическом гласном -i-, избежавшим передвижки по закону Станга. Морфологические различия позиций действия закона Станга в i-глаголах очевидны: закон действовал, по-видимому, исключительно в итеративах и не действовал в каузативах и деноминативах. Вероятно, должны были существовать какие-то просодические факторы, которые различали эти два типа тематического -i-. Не вдаваясь подробно в проблематику, связанную с указанным различием, отметим здесь, что по характеру морфонологических отношений, отображающих так назы-

ваемые акцентные валентности (см. Дыбо СА, с. 256-262; Николаев АКД), -i-итеративов должен получить маркировку (+), а каузативов и деноминативов маркировку (-).

Таким образом, фрагмент глагольной акцентной системы, который включал а. п. *b₂*, для праславянского должен быть реконструирован следующим образом (табл. 1).

Это состояние непосредственно отразилось в акцентных системах 4-й группы диалектов.

Ряд диалектов праславянского в определенный период претерпел преобразование по закону оттяжки ударения с долгого слога на предшествующий долгий ("долготная оттяжка"), получившему в ряде наших публикаций наименование закона Ю. Крижанича (см. Дыбо 1982), что привело к возникновению системы А (см. табл. 2), отразившейся в акцентных системах 3-й группы диалектов.

Иной тип преобразования обнаруживается в группе 2, где не наблюдается результатов действия закона Крижанича, но действовал закон оттяжки ударения с долгого слога на предшествующий краткий ("краткостная оттяжка"), что привело к возникновению системы В (см. табл. 3).

Наконец, в диалектной группе 1 совместились оба процесса ретракции с долгого слога как на долгий, так и на краткий предшествующий слоги. Это преобразование привело к системе С, устранившей колонный тип с ударением на тематическом гласном -i-, но сохранившей параллелизм акцентных типов глаголов и имен, от которых они образованы (см. табл. 4).

Все системы, сохранившие в том или ином объеме колонную а. п. *b₂*, в дальнейшем совместили ее с а. п. с (см. Дыбо 1982, табл. 8 и 9).

Так как обе оттяжки имели фонетический характер, они охватывали различные части системы языка, однако устойчивость вызванных ими морфонологических преобразований была не одинаковой в разных регионах славянской языковой области. Так, опираясь на глагольное распределение, невозможно установить, к какой из групп относится словинецкий кашубский диалект, но сопоставление его именной акцентовки с акцентовой старохорватского диалекта Ю. Крижанича позволяет утверждать, что он входил в 3-ю группу. В словинецком диалекте наблюдается переход краткосложных имен а. п. *b* м. р. в подвижный акцентный тип при совпадении долгосложных имен с неподвижным акцентным типом (а. п. *a*). Причины этого достаточно последовательного процесса очевидны, если внимательно рассмотреть приводимое ниже сопоставление (табл. 5). Иначе говоря, акцентная кривая бывших краткосложных имен а. п. *b* возникла в результате оттяжки ударения на основу с краткостных и сокращенных окончаний, тогда как на долготных окончаниях (при предшествующем кратком) акцент сохранился на первоначальном месте. В долгосложных же именах а. п. *b* акцент с долготных окончаний еще раньше был перенесен на долгий корневой (соответственно, основный) гласный по закону Крижанича, и указанная ретракция ударения с краткостных окончаний автоматически перевела их в неподвижный акцентный тип.

Для верификации правомерности выделения рассмотренных выше группировок имеют также значение восточнославянские

Таблица 1

А. п. производящих имен					
	а	в долгосл.	в краткосл.	с	
Акц. типы (а. п.) производных глаголов	а		b ₂	с	
Морфологи- ческие типы производя- щих имен	subst. f. subst. m. subst. n. adj.	*věřítъ *mőrzítъ *másliť *číštítъ	*xvalíť *södítъ *gnézdítъ *bělítъ	*stročítъ *dvorítъ *selítъ *ostrítъ	*cěnítъ *sočítъ *zoltítъ *moldítъ

Таблица 2

А. п. производящих имен					
	а	в долгосл.	в краткосл.	с	
Акц. типы (а. п.) производных глаголов	а	в	b ₂	с	
Морфологи- ческие типы производя- щих имен	subst. f. subst. m. subst. n. adj.	*věřítъ *mőrzítъ *másliť *číštítъ	*xválítъ *södítъ *gnézdítъ *bělítъ	*stročítъ *dvorítъ *selítъ *ostrítъ	*cěnítъ *sočítъ *zoltítъ *moldítъ

Таблица 3

А. п. производящих имен					
	а	в долгосл.	в краткосл.	с	
Акц. типы (а. п.) производных глаголов	а	b ₂	в	с	
Морфологи- ческие типы производя- щих имен	subst. f. subst. m. subst. n. adj.	*věřítъ *mőrzítъ *másliť *číštítъ	*xvalíť *södítъ *gnézdítъ *bělítъ	*stročítъ *dvorítъ *selítъ *ostrítъ	*cěnítъ *sočítъ *zoltítъ *moldítъ

Таблица 4

		А. п. производящих имен			
		а	в	с	
		а	в	с	
Акц. типы (а. п.) производных глаголов					
Морфологи-ческие типы производя-щих имен	subst. f.	*vérítъ	*xválítъ	*stròčítъ	*cěnítъ
	subst. m.	*môrzítъ	*sódítъ	*dvòrítъ	*sočítъ
	subst. n.	*máslítъ	*gnézdítъ	*sélítъ	*zoltítъ
	adj.	*čistítъ	*bělítъ	*ðestrítъ	*moldítъ

Таблица 5

		Краткосложные основы		Долгосложные основы	
		Словинцкая система	Система Крижанича	Словинцкая система	Система Крижанича
Sg.	nom.	võl	вòл	gřě́k	гříх
	gen.	vóla	волá	gřě́xa	гříхá
	dat.	vóloju	волóви, волу́	gřě́ku	грихóви
	acc.	vóla	волá	gřě́l	гříх
	instr.	vóla	волом	gřě́ka	грихом
	loc.	volú	волу́	gřě́ku	во гриху́
Pl.	nom.	vólovje	волóве, воли́	gřě́če	грихí
	gen.	volōv	волòв	gřě́xón	грихов
	dat.	volōm	волом	gřě́kóm	крáльém
	acc.	vóle	воли́	gřě́xi	грихы́
	instr.	vólmí	волми	gřě́xmi	грихмы
	loc.	volák	воли́х	gřě́kax	при крáльих

типы распределения ударения именных форм а. п. б с долготными окончаниями.

В группе 4 мы наблюдаем конечное ударение в локативах мн. ч. о-основ м. р.: краткостные основы: в д⁴во¹рѣхъ (Увар. 298), ѿ волѣхъ (776б); долготные основы: сѣдѣхъ (Увар. 599 bis), во грѣсѣхъ (Ряз. 214б), грѣсѣхъ (251б), ѿ грѣсѣхъ (252б, 253б), въ трѣдѣхъ (97), по трѣдѣхъ (235), во враѣхъ (302б) и т.д. В группе 3 достаточно наблюдается распределение по закону Крижанича, т.е. аналогичное старохорватскому, однако с тенденцией к генерализации конечноударного типа,ср. в северных памятниках: краткостные основы: въ двоrѣхъ⁴ (Новг. 222б), въ двоrѣхъ^x (265б), въ двоrѣхъ (165), въ двоrѣхъ (199б, 215б), скoтѣхъ (94б); долготные основы: въ грѣсѣхъ (Новг. 97), Ѹ грѣсѣхъ (230), Ѹ грѣсѣхъ (82б), въ троудѣхъ^x (156), в троудѣхъ (187б), однако на столпѣхъ^x (Печ. 490) при на попѣхъ (447).

В группе 2 обнаруживается распределение, обратное старохорватскому, причем в памятниках именное распределение отражается часто более последовательно, чем в глаголе (см. выше, с. 30-45). Краткостные основы: во двоrѣхъ (Ржев. 142), во двоrѣхъ (158), во двоrѣхъ^x (199б, 228б), в⁵... двоrѣхъ (Макс. 6, 6б), на кроvѣхъ^x (38); долготные основы: Ѹ грѣсѣхъ (Ржев. 65), во грѣsѣхъ (82), в трѣдѣхъ (148), на ... столпѣхъ (Макс. 10б), ѿ венцѣхъ (1) и т.п.

Для характеристики первичного состояния этого же фрагмента именной системы в диалектах группы 1 приведем примеры из кайкавского беднянского диалекта, относящегося к "севернословенскому акцентологическому типу": краткостная основа: nom. sg. k enj, gen. sg. k enj , loc. pl. k enje. Долготная основа: nom. sg. kr lј, gen. sg. *kr lј , loc. pl. *kr lјe. В восточноболгарских памятниках имена этого типа получили накоренное колонное ударение в результате восточноболгарской ретракции².

² Старорусские акцентованные тексты, относящиеся к региону, соответствующему племенному диалекту вятичей (например, Xр.) на этот предмет до сих пор не обследованы.

В западноболгарском тексте Ис. Сир. обнаружена система, в которой i-глаголы а. п. b имеют необычное ударение на тематическом гласном во 2-м л. ед. ч., например: *и ѿлчиши* 45а ~ *ѿложитсѧ* 22а; *любиши* 215б ~ *любить* 9б; *помѣшиша* 43б ~ *молить* 98а и т.д. (см. Дыбо 1983, с. 3-14).

Следы аналогичной акцентной кривой в старорусских памятниках были отмечены А.А.Зализняком (Зализняк 1985, с. 359-360). Памятники с "типов молиши" локализуются в западной и северо-западной части великорусской зоны и имеют отчетливые признаки принадлежности ко 2-й диалектной группе, а также примеры на сохранение "архаизма Иллич-Свитыча" (см. ниже). В качестве иллюстрации можно привести следующий материал. Ржев.: поклониши 73б, 138 ~ поклоня́тсѧ 34б, да по-
клони́ти 101б, поклоня́тсѧ 115б, поклони́ти 144б; разре́ши 13б ~ разре́бъ 84. Час.: молиши 216, молишиша 190 ~ моли́ша 457б, не молим' та 402. Биб.: положиши 80, приложиши 405б ~ възложа́ть 83, положи́ти 79б, положа́ть 78б, 385; не оуклониши 119б, 123 ~ оуклони́ти 119, поклонитсѧ 119; искоуши 330б ~ да искоусатсѧ 332; заблуудиши 466б ~ блоуда́ть 410б, проблоуди́ть 81. Библ. (памятник западной или ближней юго-западной локализации): преклониши 486б, поклониши ми 671 ~ поклони́ти съ 481, поклонитсѧ 481. Егор.: хвалишиса 228 ~ хвали́ти 16. В старорусских памятниках восточного и южного происхождения такие формы не отмечены (ударение в уникальном для системы Чуд. взлюбиши 124а, возможно, является ошибкой).

II. "Архаизм Иллич-Свитыча" (а. п. d)

В.М.Илич-Свитыч обратил внимание на то, что в некоторых окраинных славянских диалектах сохраняются следы балто-славянской неподвижной а. п. существительных мужского рода с o-основой, обычно имеющих в "классических" для сравнительной акцентологии диалектах рефлексы подвижной а. п. с (Иллич-Свитыч, с. 119). Иллич-Свитыч отметил окситонезу (и одновременно смешанный характер парадигмы) этих слов в северночакавских (Сусак, Истрия) и западноукраинских (восточ-

ногалицких, в записи И.Гануша) говорах (Иллич-Свильч, с.119).

Свообразие системы говора о. Сусак состоит в том, что в нем данные существительные имеют особую, "смешанную" а. п., характеризующуюся пом.-acc. sg., восходящими к праславянским формам-энклиноменам, характерным для а. п. с., и окситонезой всех косвенных падежей ед. ч. и первичной окситонезой форм множественного числа, что характерно для а. п. *b*: *b^uok* - gen. *bōkā*, *r^uōx* - gen. *roŷā* - сп., с другой стороны, *rōp* - gen. *rōpā* с нормальным рефлексом а. п. *b* и *b^uōx* - gen. *bōŷa* с нормальным рефлексом а. п. с. Анализ материала, приводимого в описании говора Суска, показывает, что интонации ^ и ~, различающие старые энклиноменные и ортотонические формы, находятся в отношении если не свободного варьирования, то явно зависят от фразового контекста (см., например, Сусак, с. 136-137). В силу этого представляется, что интонационное различие пом.-acc. *līst* (при gen. *līstā*) и, с другой стороны, *krālj* (при gen. *krāljā*), указываемое авторами, не является фонематическим. Об этом говорят и такие рефлексы а. п. *b*, как *stūp* - gen. *stūpā* (**stīlpъ*, gen. **stīlpā* - сп. словац. *stíp*, словен. *stólp*); *v^uol* - gen. *volā* (с удлинением перед сонантом: **vòlъ*, gen. **volā*, сп. словац. *vôl*, словен. *vòl*) и т.п. Однако несмотря на то, что интонация корня пом.-acc. sg. в данном акцентном типе, видимо, не отражает различия двух праславянских а. п., несомненно, что особые рефлексы "смешанной" а. п. - в дальнейшем она будет обозначаться как а. п. *d* - в говоре Суска имеются. Об этом говорят такие формы, как *b^uōk* (при gen. *bōkā*), *pl^uōt* (при gen. *plōtā*), *r^uōx* (при gen. *roŷā*), где удлинение в пом.-acc. sg. могло возникнуть только под нисходящей интонацией, т.е. в энклиномене (**bōkъ*, **plōtъ*), т.к. под новым актом краткие гласные в говоре Суска не удлиняются (*bōp* < **bōbъ*, *grōp* < **grōbъ* и т.п.).

Слова праславянской а. п. *d* имеют окситонезу и в другом северночакавском говоре (полуостров Истрия), где, однако, интонационные и долготные различия - по крайней мере в записях Д.Неманича - отсутствуют (точнее говоря, знаки ' и ` Неманич употребляет в общем бессистемно). Кроме

того, в этом говоре переходу в баритонированный тип подвергаются не только слова а. п. *d*, но и большая часть слов а. п. *b*, в результате чего старый акцентный тип слова устанавливается по окситонированному варианту.

Введение в сравнение нового корпуса данных – материала северо-восточных белорусских и центральных и южных псковских говоров – позволяет окончательно решить вопрос о существовании смешанной акцентной парадигмы (а. п. *d*) в праславянском. В этих системах а. п. *d* в ее первоначальном виде отражается в парадигме слов с первым полногласием,ср. белор. диал. *мблот*, **молотом* (Карский 1, 428), ю.-псков. *мόлот*, *молотá*; *б́ров*, *боровá* (< **mōltъ*, **moltā*; **bōrvъ*, **borvā*). В севернопсковских говорах и восходящих к ним отдельных говорах великорусского севера и северо-востока слова а. п. *d*, видимо, полностью перешли в а. п. *b*, возможно, еще до утраты различий между старыми интонациями,ср. такие сев.-зап. формы, как *боро́в*, *коро́ст*, *воло́с* и т.п. В северо-восточных белорусских и псковских говорах, в основе которых лежал племенной диалект кривичей, хорошо сохраняется окситонеза косвенных падежей слов праславянской а. п. *d* (в южной зоне, в особенности в белорусских говорах, старая картина отчасти смазана продуктивным переводом слов окситонированной а. п. в баритонированную, при этом такому переводу подвергаются и слова старой а. п. *b*). В этих говорах окситонированные формы в пом.-асс. sg. имеют и слова а. п. *d* со вторым полногласием и вставными ерами, напр., белор. *вепéр*, ю.-псков. *вапíр'* (< **ver्यrjь*, слав. **věprjь*, **veprjá*), ю.-псков. *челóн* (< **čylnъ*, слав. **čelnъ*, **čylná*) и т.п.

В западноукраинских (галицких, бойковских) говорах слова старой а. п. *d* с полногласием в основе, как правило, выравниваются по пом.-асс. sg. (*мблот*, **мблота*; *мбрóк*, **мбрóка*), тогда как слова с иной фонетической структурой имеют окситонированную а. п. (*човéн*, **човná*; *круг*, **кругá* и т.п.). Рефлексы окситонезы в парадигме слов а. п. *d* с TeRT, TeLT в корне имеет также верхнелужицкий, однако неизвестно, отражают ли его формы первоначальную смешанную или це-

ликом окситонированную а. п., так как в форме *пом.-acc.sg.* в.-луж. формы имеют рефлекс автоматического удлинения (арх. *młót*, *młota*; *mrók*, *mróka* и т. п. - см. Дибо 1963).

В архаичном виде а. п. *d* сохранялась, видимо, в некоторых западноболгарских (северных) говорах, о чем говорит материал рукописи Иc. Сир; в словах а. п. *d* оттяжка на проклитики спорадически происходит только в *пом.* и *acc. sg.*, в прочих же падежах оттяжки нет, тогда как в словах а. п. *c* оттяжка происходит во всех падежах-энклиноменах.

Относительно сохранения особых рефлексов а. п. *d* в великорусских и северо-восточных белорусских говорах "крического" типа сказано выше; отдельные примеры на сохранение в том или ином виде а. п. *d* содержатся в старорусских памятниках Северо-Запада, Запада и Севера, имеющих "тип *молыши*" и относящихся ко 2-й группе диалектов по своей системе ударения *i*-глаголов. Северо-восточные старорусские памятники, а также многие современные говоры ближнего Северо-Востока имеют рефлекс а. п. *d* в виде а. п. *c*; так же ведет себя а. п. *d* в Чуд. (редкие отдельные слова а. п. *b* на месте а. п. *d* в этом и некоторых сев.-вост. памятниках могут быть отнесены на счет междиалектных заимствований). Напротив, яркие следы а. п. *d* в ее архаическом виде обнаружаются на великорусском Востоке. Из старорусских памятников можно указать на Ряз., где окситонированные формы а. п. *d* сохраняются в основном в беспредложных конструкциях, тогда как в сочетаниях с предлогами окситонированные формы обычно становятся энклиноменами, видимо, по аналогии с *acc. sg.*, где перенос на предлог регулярен. Особый вид трансформации а. п. *d* показывает русский литературный язык, который вместе с восточными и юго-восточными говорами относится к 4-й группе согласно акцентуации *i*-глаголов. В нем частично сохраняется старая окситонеза во всей парадигме (след, слéда/следá, следí), но чаще конечное ударение закрепляется во множественном числе при спорадической энклиномичности форм единственного числа (*круг*, по *кругу/по кругу*, *круги*); лишь немногие односложные существительные а. п. *d* полностью перешли в а. п. *c* (*век*, *вéка*, мн. *векá* как субститут **вéки*), тогда как двусложные слова, как правило, имеют баритонезу (*гóрода*, мн. *городd<* **гóроди*).

А. п. *d* совпадает с а. п. *b* только у основ, содержащих слоговой сонант (**gýrbъ*, **čýlnъ* и т. п.), в юго-западных говорах белорусского языка и южных ("вятических") великорусских говорах, тогда как слова а. п. *d* других морфонологических типов имеют здесь а. п. *c*. Видимо, такая же система представлена в рупских болгарских и солунских македонских говорах (устное сообщение Дж.Шаллерта).

В отличие от указанных выше систем, рефлексы а. п. *d* регулярно совпадают во всех типах основ с рефлексами а. п. *c* в североштокавском (литературном сербохорватском), южно- и северословенском (в первом бывают редкие отклонения в сторону а. п. *b*), чешском, литературном (восточном) украинском. Не очень ясно положение словацкой системы, в которой коэффициент развития а. п. *d* > а. п. **b* довольно высок, хотя преобладает а. п. *c*.

Сравнение материала славянских языков показывает, что:

- 1) все четыре а. п. (*a*, *b*, *c* и *d*) в праславянском имели не только *o*-основы, но также *i*- и *u*-основы; 2) *i*-глаголы, образованные от имен а. п. *d*, как правило имеют а. п. *b₂*.

В приводимом ниже материале в западноукраинских (восточногалицких) примерах, взятых из работы Гануша, а также в материале по говору Бедни, символом *β* обозначена окситонеза в парадигме ед. ч., символом *α* – баритонеза.

1. *brūsъ, *brūsā: сев.-чак. Сусак *brūs*, *brusā*; словац. *brús* ~ ю.-зап. белор. Сим. *брұс*, *брұса* ~ слов. *brūs*; с.-х. *брұс*, *брұса*; укр. литер. *брус*, *брұса*; чеш. *brus*. Ср. *brūsīti, *brusjō (а. п. *b₂*). 2. *cěrъ, *cěrā: псков. gen. sg. *кяпá* (ПОС 2, 143); русск. литер. *цеп*, *цéná*, *цепí~ю.-зап.* белор. Сим. *ц'ин*, *ц'íна* ~ словен. *сěр*; с.-х. *цēп*, *цēна*; чеш., словац. *сер*; укр. литер. *цин*, *цина*. Ср. *cěpīti, *cěpjō (а. п. *b₂*), внешнее сравнение в Иллич-Свитыч, с. 117.
3. *gněvъ, *gněva: зап.-укр. (Гануш) *гнѣв* (*β*); словен. *gnèv*, *gnéva* (вторичная а. п. *a*); зап.-болг. gen. sg. *и гнѣва* (Ис. Сир. 52б), acc. sg. *и гнѣвъ* (42б), nom. *и гнѣвъ* (42б) ~ с.-х. *гнѣв*, *гнѣва*; чеш. *hněv*; словац. *hnev*; укр. литер. *гнів*, *гніву*. Ср. *gněvīti, *gněvjō (а. п. *b₂* с вариантом а. п. *a*). 4. *gъrbъ, *gъrbā: псков. *гроп* (*гороб) (МАРЯ, Северо-Запад, вопр. 67, п. 18), *горóп* (п. 95, 92), *гарбóм* (ПОС 6, 167); русск. литер. *горб*, *горбá*, *горбý*; зап.-укр. (Гануш) *горб* (*β* с вариантом *a*) ~ ю.-зап. белор. Сим. *горб*, *горбá* ~ словен. *grb*; словац. *hrb*. Ср. *gъrbīti, *gъrbjō (а. п. *b₂* с вариантом а. п. *a*). 5. *kōsъ, *kōsá: зап.-укр. (Гануш) *кус* (*β*); сев.-чак. Истрия *kús*, loc. sg. *kúse* (вторичен gen. *kúsa*) ~ словен. *kōs*; с.-х. *кус*, *куса*; чеш., словац. *kus*; укр. лит. *кус*, *куса*. Ср. *kōsīti, *kōsjō (а. п. *b₂*). 6. *krōgъ, *krōgá: зап.-болг. на *крж|гъ* (Ис. Сир. 52б); сев.-вост. белор. Поташня *kruž*, *kruhá* (*Smułkowa*, s. 49); зап.-укр. (Гануш) *круг* (*β*); русск. литер. *круг*, *кругá*, *кругý*, adv. *кругом* ~ ю.-зап. белор. Сим. *кругъ*, *круга* ~ словен. *krōg*; с.-х. *круг*, *круга*; чеш., словац. *kruh*; укр. литер. *круг*, *круга*. Ср. *krōžīti, *krōžjō (а. п. *b₂*). 7. *lōkъ, *lōká: сев.-чак. Истрия *lúk*, *luká* (вторично *lúka*);

зап.-болг. instr. sg. ѹ лъкомъ (Ис. Сир. 276) ~ словен. лѫк; с.-х. лук, лука; чеш., словац. luk; укр. литер. лук, лука. Ср. *lǫčiti, *lǫčjо 'сгибать' (а. п. b₂). 8. *mõltъ, *moltá: белор. диал. мόлот, *молота Карский I, 428); псков. мълатом (ПОС 2, 15), малот (МАРЯ, Северо-Запад, п. 4); зап.-укр. (Гануш) мόлот (а) с выравниванием; в.-луж. арх. młot, młota. Следует также отметить славонскую форму mlát, mláta в грамматике Брлича (см. Ivšić, с. 98). Вторично сев.-чак. Истрия mlát, mláta ~ словен. mlât; с.-х. mlât, mlâta; чеш., словац. mlat; укр. литер. мόлот, мълота. Ср. *moltíti, *moltjо (а. п. b₂). 9. *môrkъ, *morkà: русск. сев.-зап. (олон.) мороком (СРНГ 18, 273), псков., остатки. морóк 'легкомысленный человек' (ibid.); зап.-укр. (Гануш) мόрок (а) с выравниванием; в.-луж. арх. mrók, mróka; вторично сев.-чак. Истрия mrák/mrák, mráka ~ словен. mrâk; с.-х. mrâk, mrâka; "сев.-словен." Бедня mrâok(а); укр. литер. мбрóк, морока. Ср. *morčiti, *morčjо (а. п. b₂). 10. *nîzъ, *nizá: псков. с низá (Колесов, с. 61), над низом (ПОС 2, 42; Колесов, с. 61); зап.-укр. (Гануш) низ (β с вариантом α); русск. литер. низ, нíза, низá ~ ю.-зап. белор. Сим. нîз, нîзу ~ с.-х. нîз, нîза; чеш. niz; укр. литер. низ, нíзу. Ср. *nizíti, *nizjо (а. п. b₂). 11. *nôrstъ / *nérstъ, *norsta/*nersta: псков. нарост (ПОС 4, 71), посли наросту (ПОС 1, 97), со вторичной оттяжкой нáраст (ПОС 3, 9, 84; 4, 172, 167; 6, 170; 3, 22), с нáроста (ПОС 6, 47); в.-луж. арх. dróst, drósta; drěst, drěsta ~ словен. brěst; с.-х. mrěst, mrěsta; укр. литер. нéрест, нéресту. Ср. *nerstíti, *nerstjо (а. п. b₂); лит. nařtas 2, neřtas 2: 12. *pôrхъ, *porхá: в.-луж. арх. prôch, prócha; ст.-русск. вост. порохъ (Аввакум 228б); ср. также коми диал. порох, видимо, отражающее русск. диал. *порóх (*nôрох отразилось бы в виде *nôррóх, см. Лыткин Фонетика, с. 191); зап.-укр. (Гануш) нóрох (а) с выравниванием; вторично сев.-чак. Истрия práh, práha/pràha ~ словен. prâh; с.-х. prâx, prâxa; "сев.-словен." Бедня prâoh (а); чеш., словац. prach; укр. литер. нóрох, нóроху. Ср. *poršiti, *poršjо (а. п. b₂). 13. *rêdъ, dat. *rêdovi: псков. рядом

(ПОС 2, 32); зап.-укр. (Гануш) ряд (В), бойк. до р̄яду́ (Онишк. I, 229), за р̄адом, до р̄аду́ (Онишк. II, 198); вторично сев.-чак. Истрия réd, réda; русск. литер. ряд, ráda, ряды́ ~ ю.-зап. белор. Сим. р̄ад, р̄ádu ~ "сев.-словен." Бедня rád (а); словен. r̄ed; с.-х. р̄ed, р̄eda; словац. rad, чеш. řad; укр. литер. ряд, rády. Ср. *r̄edíti, *r̄edjø (а. п. b₂). 14. *sl̄edъ, dat. *sl̄edovi: сев.-вост. белор. Поташня s'1'et, s'1'idá (Smułkowa, с. 49); псков. ат следа́ (ПОС 2, 45), бес слядá (Колесов, с. 59), пад слядом (ПОС 2, 35); зап.-укр. (Гануш) слѣд (В); сев.-чак. Истрия sléd, loc. sléde (вторичны sléda/slèda); зап.-болг. и въ слѣдъ (Ис. Сир. 44б), въ слѣдъ (24б), въ слѣдъ (24б); русск. литер. след, слéда/следа́, следы́; ст.-русск. вост. gen. sg. слѣда́ (Ряз. 193) ~ ю.-зап. белор. Сим. сл'ид, сл'ида ~ словен. slēd; с.-х. слѣд, слéда; чеш., словац. sled; укр. литер. слід, сліду. Ср. *sl̄edíti, *sl̄edjø (а. п. b₂). 15. *směхъ, *směхá: сев.-чак. Сусак smíx, smíxá; зап.-укр. (Гануш) смѣхъ (В), бойк. с'м'ихом (Онишк. II, 274), с'м'ихá (II, 274); сев.-чак. Истрия sméh, směhá. Окситонезу отражают также чеш. smích, словац. smiech ~ ю.-зап. белор. Сим. см'их, см'иху (с вариантом смїху) ~ словен. směh; с.-х. смěх, смěха; укр. литер. сміх, сміху Ср. *směšiti, *směsjø (а. п. b₂). 16. *sôрть, *sormá: зап.-укр. (Гануш) сóром (а) с вариантом сором (В); зап.-болг. и сра́ма (Ис. Сир. 25а, 25б); вторичны сев.-чак. Сусак srâm, srâma, Истрия srám, sráma ~ словен. srâm; с.-х. сра́м, сра́ма; укр. литер. сóром, сóрому. Ср. *sormíti, *sormjø (а. п. b₂). 17. *stýdъ, *styda: псков. бис стыда́ (ПОС I, 194), стыда́ (6, 10); русск. литер. стыд, стыда́; зап.-укр. (Гануш) стыд (В); вторично сев.-чак. Истрия stíd, stída ~ словен. stíd; с.-х. стыд, стыда; чеш., словац. styd, укр. литер. стыд, стыду (но есть и стыда́ с зап. либо русск. акцентовкой). Ср. *stydíti, *stydjø (а. п. *b₂). 18. *tvôrъ, *tvorá: зап.-укр. (Гануш) твôр (В) ~ словен. tvôr; с.-х. твôр, твôра; укр. литер. твîр, твóру. Не исключен отыменной характер глагола *tvoríti, *tvorjø (а. п. b₂). 19. *vérdbъ, *verdá: псков. верéм (ПОС 3, 81), ве-

réda (ПОС 3, 81); словен. vrèd, vréda (вторичная а.п. a); вторично в.-луж. арх. brjód, brjoda ~ чеш. vřed; словац. vred; укр. литер. вéред. Ср. *verdítí, *verdjó (а. п. b₂). 20. *vъгхъ, dat. *въгхові: сев.-чак. Сусак vârх, varxà; псков. верéх (ПОС 3, 101 и passim), с вярхá (ПОС 1, 12 и др.), вярхом (ПОС 3, 106 и др.); ст.-русск. вост. loc.sg. на ... верст (Ряз. 299), gen. sg. верхà (318б); русск. литер. верх, вéрха, верхú, adv. верхом; зап.-укр. (Гануш) верх (β с вариантом α), бойк. ви^ēр'хá, вирхá, в'ерхом (Онишк. I, 107); сев.-чак. Истрия vrh, vrhà; реликтовая или заимствованная окситонеза в с.-х. врх, врха; зап.-болг. loc. на връхъ (Ис. Сир. 4б) ~ ю.-зап. белор. Сим. верх, вірхá ~ словен. vrh; словац. vrch; укр. литер. верх, вéрху. Ср. *vършítí, *vършjó (а. п. b₂); лит. viřšus 2 > 4 (Иллич-Свитыч, с. 146). 21. *z(ъ)nákъ, *z(ъ)naká: зап.-укр. (Гануш) знак (β) ~ ю.-зап. белор. Сим. знак, znáka ~ словен. znák; с.-х. znák, znáka; чеш., словац. znak; укр. литер. знак, znáku (с "зап. вариантом znáku"). Ср. *z(ъ)načítí, *z(ъ)načjó (первоначальная а. п. b₂): ст.-хорв. Ознáчим, Гр. 244). 22. *zôrkъ, *zorká: сев.-чак. Истрия zrák, zráka (вторично zráka) ~ словен. zrák; с.-х. зrák, zráka; чеш., словац. zrak. Ср. *zorčítí, *zorčjó (а. п. b₂). 23. *gôrdъ, *gorda: сев.-чак. Сусак grát, grådå; русск. диал. сев.-зап. (Заонежье, д. Кажма) гôрдт (*город), в горóде 'в городе' (Тихвинский р-н КССР, д. Вахрушево: картотека СРГК); сев.-чак. Истрия grád, grådå (вторично gráda); зап.-укр. бойк. горóд 'місто' (Онишк. I, 186); вторично в.-луж. арх. hród, hrøda ~ словен. grád; с.-х. grád, gråda; "сев.-словен." Бедня gráod (α); чеш., словац. hrad. Ср. *gordítí, *gordjó (а. п. b₂ с вариантом c); лит. gařdas 2 > 4 (Иллич-Свитыч, с. 118). 24. *rogъ, *rogá: сев.-вост. белор. Поташня гоð, гъhá (Smulkowa, с. 52); сев.-чак. Сусак rûðx, roðá, зап.-укр. (Гануш) рôг (β с вариантом α); зап.-русск. Дубровки рок, ragá, ragóm; сев.-чак. Истрия rôg, nom. pl. rogi (вторичен gen. sg. ròga); русск. литер. рог, рóга, nom. pl. dual. рогá (в а. п. с ожидалось бы *ròga) ~ ю.-зап. белор. Сим. рíх, instr. rógom ~ "сев.-словен."

Бедня *гýег* (а); словен. *rôg*; с.-х. *rõgъ*, *rõga*; укр. литер. *rõgъ*, *rõga/rõgy*. Ср. лит. *rãgas* 2 > 4 (Иллич-Свитыч, с. 117). 25. **snëgъ*, **snëgá*: зап.-укр. (Гануш) *снëг* (В с вариантом а), бойк. *с'нїгú* (Онишк. II., 274), *с'н'їгом* (Онишк. II., 334); сев.-чак. Истрия *snég*, *snëgà* (вторичны *snéga*, *snèga*); вторично Сусак *sníx*, *sníxъ* ~ словен. *snëg*; с.-х. *snëgъ*, *snëgá*; "сев.-словен." Бедня *snïeg* (а); словац. *sneh*; укр. литер. *snïg*, *snïgu*. Ср. лит. *snïegas* 2 > 4 (Иллич-Свитыч, с. 117–118). 26. **vëčer*, **večera*: псков. *вечóр* 'вечер' (ПОС 3, 132), *на виçóру* (ПОС 3, 132), *виçáрóm* (3, 135), *в виçáré* (3, 45); зап.-укр. (Гануш) *вéчér* (а) с унификацией ударения, бойк. *вечерóм* (Онишк. I, 114) ~ словен. *večérъ*; с.-х. *вëчér*; укр. литер. *вéчíр*, *вéчора*. Ср. лит. *väkaras* 1 > 3^b (Иллич-Свитыч, с. 114). 27. **zõbъ*, **zõbá*: зап.-русск. Дубровки *зуп*, *зубá*; сев.-вост. белор. Поташня *zup*, *zubá* (с вариантом *zúba*) (*Smułkowa*, с. 51); сев.-чак. Сусак *zúp*, *zúbá*; зап.-укр. (Гануш) *зуб* (В с вариантом а); вторично Истрия *zúb*, *zúba/zùba* ~ словен. *zõb*; с.-х. *зûб*, *зûба*; "сев.-словен." Бедня *zõub* (а); чеш., словац. *zub*; укр. литер. *зуб*, *зûба*. Ср. лит. *žam̥bas* 2 > 4 (Иллич-Свитыч, с. 114). 28. **võlsъ*, **volsá*: псков. *валóс* (ПОС 4, 120), зап.-укр. (Гануш) *волóс* (а) с выравниванием; сев.-чак. Истрия *vlás*, acc. pl. *vlasì* (вторичен gen. *vlása*); вторично в.-луж. арх. *włós*, *włosa*; зап.-болг. acc. pl. ѹ *влáсы* (Ис. Сир. 26) ~ словен. *vlás*; с.-х. *влáс*, *влáса*; "сев.-словен." Бедня *lāos* (а); чеш., словац. *vlas*; укр. литер. *волос*, *волосу/волоса*. Об и.-е. баритонезе см.: Иллич-Свитыч, с. 114–115. 29. **strâxъ*, **straxá*: зап.-болг. nom. sg. ѹ *стрá*^X (Ис. Сир. 25а, 118б, bis), acc. sg. ѩ *стрá*^X (35а), въ *стрá*^X (92а), gen. sg. ѩ *стрáха* (25б), instr. sg. ѹ *стражѡ*^{M/} (28а); зап.-укр. (Гануш) *страж* (В с вариантом а); Истрия *stráh*, loc. sg. *strâhè* (вторичны gen. *stráha*, *strâha*); вторично Сусак *strâx*, *strâxa* ~ словен. *strâh*; укр. литер. *страж*, *стражу* (с зап. вариантом *стражу*); с.-х. *страпъх*, *страпъха*; чеш., словац. *strach*. Ср. **strašítí*, **strašjо* (а. п. b₂ с вариантом а. п. а). 30. **võrgъ*, **vorgá*: зап.-болг. gen. sg. за *враѓа* (Ис. Сир. 66), ѩ *враѓа* (29а); Истрия *vrág*, *vrágà* (вторич-

ны vrága, vràga); вторично Сусак vrâž, vrâža ∼ словен. vrâg; с.-х. vrâg, vrâga; укр. литер. вóрог, вóрога; чеш., словац. vrah. 31. *čínъ, dat. *činôvi: зап.-болг. acc. sg. ѿ чинъ (Ис. Сир. 124б), въ чинъ (78а), gen. ѿ чинъ (26б, 78а), loc. sg. ѿ чинъ (18а, 19б), ѿ чинъ (17б, 18а); ст.-русск. псков. nom. pl. чини (Егор. 20, 315), gen. sg. чина (54, 469б, 498б), acc. pl. чины (101б); русск. литер. чин, чина, чини; вторично зап.-укр. (Гануш) чин (а) ∼ словен. čin; с.-х. чин, чина; укр. литер. чин, чину; чеш., словац. čin. А. п. имени противоречит а. п. с отыменного глагола *činiti, *činjо. 32. *rótъ, *potâ: зап.-болг. loc. sg. въ рótъ (Ис. Сир. 84а); чак. Хвар rót, potâ (Skok III, 17); вторично зап.-укр. (Гануш) nôm (а), Сусак pôt, rôta ∼ словен. rôt; укр. лит. nîm, nôtu. Ср. а. п. б₂ производного глагола *potiti, *potjо (с вторичным вариантом а. п. с). 33. *vékъ, dat. *vékovi: зап.-болг. acc. pl. въ вéки (Ис. Сир. 35а, 41а); зап.-укр. (Гануш) вéк (в с вариантом а); псков. gen. sg. вякá (ПОС 3, 65), ат вякá (ПОС 3, 65), ат вякá, с вякá (Колесов, с. 60-61); ст.-русск. псков. loc. sg. въ ... вéцѣ (Егор. 518), acc. pl. въ вéки (383, 404б, 420б и т.д.), loc. sg. въ вéцѣ (74), сев.-зап. въ вéки (Час. 189 б), а въ вéки (Пролог 86), и въ вéки (109б), въ вéки (125, 126); зап. въ вéки (Лет. 31б), въ вéки (45б) ∼ словен. vék; укр. литер. вík, вíku; с.-х. вéк, вéка; словац. vek, чеш. vék. 34. *rêperль/*rðperль, *pepelâ/ *popelâ: зап.-болг. nom. sg. ѿ пéпель (Ис. Сир. 119а); ст.-русск. сев. (памятник с сев.-зап. акцентной системой) nom./acc. sg. пепéль (Цел. 201, 201б, 257, 149, 152б и т.д.), на попéль (166б), gen. sg. пепелъ (90, 95б, 116б, 170, 192б, bis), instr. sg. пепеломъ (208б), попеломъ (252) ∼ словен. reperl/popel, с.-х. nêpeo, nêpela, укр. литер. nôpil, nôpelu. 35. *bókъ, *boká: сев.-чак. Сусак bôk, bôkâ; словен. bôk, bôka; псков. пад баком, пад баком (ПОС 2, 80), в бакé (ПОС 2, 80); русск. литер. бок, бóка, nom. pl. < dual. бокá; сев.-русск. (Заонежье, с. Типиницы) бóком < *боком (карточка СРГК); вторично зап.-укр. (Гануш) бôk (а) ∼ ю.-зап. белор. бík, пад бóком ∼ укр. литер. бík, бóку; с.-х.

бðк, бðка. 36. *sъgrъ, *sъgrá: псков. сярén (ПОС 2, 153), ат сирнá (ПОС 2, 144), gen. сярнá (ПОС 5, 73); русск.литер. серн, сернá, сернý; вторичны зап.-укр. (Гануш) серн (а), сев.-чак. Истрия sŕp, sr̄pa/sr̄pa ~ ю.-зап.белор.Сим. серн, cipná ~ словен. sfp, с.-х. cfp, cfpna; словац. srp; "сев.-словен." Бедня sērp (а). 37. *blōdъ, *blōdá: ст.-русск. вост. ѿ блōдà (Ряз. 39, 108б, 156, 219), dat. блōдð (270б) ~ словен. blōd; с.-х. блўд, блўда. Ср. *blodi-ti, *blodjø (а. п. b₂). 38. *čъlnъ, *čъlná: зап.-укр.(Гануш) човéн (β); псков. ис челнá (ПОС 6, 100), на цолné (ПОС 4, 75); русск. литер. чёлн, челнá, челнý ~ ю.-зап. белор. Сим. чóвен, човнá ~ словен. čbln; с.-х. чўн, чўна; укр. литер. чóвен, човна (с "западным" вариантом човнá). 39. *prōtъ, *prōtá: псков. прутóм (ПОС 6, 69), прутá (ПОС 4, 75); русск. литер. прут, прутá; словац. prút ~ ю.-зап. белор. Сим. прут, прутá ~ словен. prōt; укр. литер. прут, прутá (с "западным" вариантом прутá); с.-х. прұт, прұта; "сев.-словен." Бедня prōut (а). 40. *dѣlgъ, *dѣlgá: зап.-укр. (Гануш) довг (β) ~ ст.-русск. вост. dat. долгоу (Ряз. 212), acc. pl. долгѝ (228б), gen. sg. ѿ долгà (280); русск. литер. долг, дôлга, долгý; вторично сев.-чак. Истрия dûg, dûga ~ словен. dđlg; с.-х. дûг, дûга; словац. dlh. 41. *sâdъ, dat. *sadôvî: зап.-укр. (Гануш) сад (β); сев.-чак. Сусак sâd, sâdâ; русск. литер. сад, сáда, садí; ст.-русск. вост. acc. pl. сады (Ряз. 26б); вторично сев.-чак. Истрия sâd, sâda ~ ю.-зап. белор. Сим. сад, сáда ~ словен. sâd; с.-х. сâd, сâda; укр. литер. сад, сáду.

Интересную систему имеют зап.-укр. говоры, находящиеся на периферии ареала системы, отраженной в описании Гануша. В части гуцульских и покутско-буковинских говоров а. п. *d* отражается в виде окситонированной а.п., как правило, в основах со слоговыми сонантами и в старых *i-* основах. Исключительно баритонированная акц. парадигма представлена в основах с полногласием (ниже материал по ним приводиться не будет). Материал о-основ: Сем. *bihx, *bígyu (*bësъ, *bëgá); Днестр. б'ис, б'иса, Сем. б'ис, б'иса (*besъ, *besâ); Днестр. б'ик, ббку, Сем. бïк, ббку (*bðkъ,

*boká); Днестр. бруc, бrúса, Сем. бруc, бrúса (*brûsъ, *brusa); Днестр. др'иб, дробу, Сем. дріб, дробу (*drôbъ, *drobá); Днестр. круг, кру́га (с вариантом кру́га), Сем. крух, кру́га (*krôgъ, *krogá); Днестр. ц'в'ит, ц'в'иту, Сем. цвет, цвету (*cvéť, *cvětā); Сем. лаcт, лаcта (с вариантом лаcтá) (*lîstъ, *listá); Днестр. лух, лу́ха, Сем. лух, лу́ха (*lôgъ, *lôgá); Днестр. мозок, мозка, Сем. мозок, мозка/=у (*môzgъ, *mozgá); Днестр. нэз, нэзу (*nîzъ, *nizá); Днестр. пл'ит, плóта, Сем. плíт, плóту (*plôtъ, *plotá), Днестр. п'ит, пóту, Сем. пíт, пóту (*pôtъ, *potá); Днестр. Сем. прут, прúта (*prôtъ, *protá); Днестр. р'иf, рóча, Сем. rîx, rója (*rôgъ, *rogá); Днестр. сн'их, сн'иgy, Сем. сн'их, сн'иgy (*snêdъ, *sněgá); Сем. сук, сúка (*sôkъ, *sôka); Днестр. став, стáву, Сем. став, стáву/стáва (*stâvъ, *stavá); Днестр. т'ик, тóку, Сем. тíк, тóку (*tôkъ, *toká); Днестр. в'иск, вóску, Сем. вíск, вóску (*vôskъ, *voská); Днестр. в'из, вóза, Сем. вíc, вóза (с вариантом возá) (*vôzъ, *vozá); Днестр. зуб, зýба, Сем. зуп, зýба (*zôbъ, *zôba). Материал и-основ: Сем. дун, дубá (*dôbъ, dat.*dôbóvi); Днестр. лад, ладý (но Сем. лат, лáду) (*lâdъ, dat. *ladôvi); Днестр. р'ад, р'адý, Сем. р'ет, р'едý/r'едá (*rêdъ, dat. *rêdôvi); Днестр. сад, садóм, Сем. сам, са-дóм (*sâdъ, dat. *sadôvi); Сем. вал, валá (*vâlъ, dat. *valôvi), Сем. вар, варý (но Днестр. вар, вárpu) (*vârъ, *varôvi); Днестр. в'ик, в'икá; Сем. вик, викá/вíка (*vékъ, dat. *vékôvi). Материал основ со слоговыми плавными. Днестр. човéн, човенá, Сем. човáн, човна́ (*չylnъ, *չylna); Сем. довх, довжý (*dôlgъ, *dôlgá); Днестр. юрб, юрбá, Сем. юрп, юрбá (*gôrbъ, *gôrbá); Днестр. серп, серпá, Сем. торх, торжý (с вариантом сáрна) (*sárpъ, *sárpá); Сем. торх, торжý (с вариантом тóруя) (*tôrgъ, dat. *tôrgôvi); Днестр. вер'x, вер'xá, Сем. вár'x, вер'xá (*vârxъ, dat. *vârxôvi). Эта система не находит параллелей в других славянских языках и скорее всего является продуктом местного развития. Акцентуация 1-глаголов позволяет отнести данные говоры к 1-й или 2-й группе (есть основания полагать, что исконной для них была система 2-й группы диалектов).

Представленные материалы позволяют уже на данном этапе исследований сделать выводы, говорящие о связи рассмотренных группировок диалектов с первоначальным диалектным членением праславянского языка.

Наиболее дробное разбиение (на 4 группы) дает материал по деноминативным и каузативным i-глаголам или, в более широком плане, по отношению выделяемых диалектных групп к законам "долготной" и "краткостной" оттяжек.

Введение других изоглосс ("тип молиши", сохранение особых рефлексов а. п. d во всех основах, энклиномичность именных форм с несокрашающимися флексиями типа *-хъ тасc., а. п. б глаголов *беро², *зово² и т.д.) отчетливо выделяет 2-ю группу диалектов. Диалекты, относящиеся к этой группе, в настоящее время расположены в западной части соответствующих ареалов (северно-чакавские говоры типа Сусак, Истрия по отношению к прочим сербохорватским; западноболгарские среди прочих болгарских; лужицкий в западнославянской группе; "кривичские" и западноукраинские по отношению к другим восточнославянским диалектам). По всей видимости, диалект, на основе которого сложились указанные современные системы, располагался на западе праславянской территории, позднее же носители говоров, продолжавших этот прадиалект, традиционно располагались в западной части территории нового расселения.

"Архаизм Илич-Свитыча" (а. п. d) дает рефлексы, отличные от а. п. c, во всех морфонологических типах также и в самых восточных славянских говорах (восточных и юго-восточных великорусских), образующих 4-ю группу. В этих говорах отсутствовала ретракция ударения с долгих гласных как на предшествующий долгий, так и на предшествующий краткий гласный, и в этом отношении они наиболее близки к праславянскому типу. Сохранение особых рефлексов а. п. d, а также отсутствие "долготной оттяжки" во 2-й и 4-й группах может быть объяснено универсальным лингвогеографическим правилом противопоставления архаичной периферии инновационному центру.

Диалекты 1-й группы (восточноболгарский, говоры "севернословенского акцентологического типа", северно-чакавские говоры типа Нови, Вргада, юго-западные белорусские говоры, южнорусские "вятические" говоры) объединяются с диалектами 2-й группы изоглоссой "краткостной оттяжки". Особое положение занимают говоры 1-й группы с окситонезой в рефлексах а. п. d в основах со слоговыми плавными (современные юго-западные белорусские, "вятические" южнорусские говоры и, видимо, некоторые южноболгарские и македонские говоры). Можно предположить, что предшествовавший им праславянский диалект, входя в 1-ю группу, находился в прямом контакте с прадиалектом 2-й группы. С другой стороны, "долготная оттяжка" объединяет диалекты 1-й группы с диалектами 3-й группы (старохорватский диалект Ю. Крижаница и территориально продолжающие его южночакавские говоры; говоры "южнословенского акцентологического типа"; словинецкий диалект кашубского; ильменско-словенский и, возможно, северский племенные диалекты). Другой изоглоссой, объединяющей ос-

новную часть диалектов 1-й группы с диалектами 3-й группы, является совпадение рефлексов а. п. *d* с а. п. *c*. Представляется, что это инновационное развитие происходило в центральной части праславянского диалектного континуума (неясно, был ли источником этой инновации прадиалект 1-й или 3-й группы). Источником "краткостной" оттяжки можно считать прадиалект 2-й группы, источником "долготной" - прадиалект 3-й группы.

Лингвогеографическое положение прадиалекта 1-й группы было таковым, что он был охвачен действием обоих указанных процессов. Видимо, прадиалект 2-й группы располагался к западу от прадиалекта 1-й группы, а прадиалект 3-й группы располагался к востоку от него. Еще восточнее был расположен прадиалект 4-й группы; его достаточно ранняя изоляция препятствовала распространению указанных инноваций.

В табл. 6 показано соотношение акцентологических признаков диалектных групп (resp. их праславянских диалектов -предшественников). Группы расположены в таблице в порядке предполагаемого географического соположения их прадиалектов праславянского периода.

Таблица 6

	2-я группа	1-я группа	3-я группа	4-я группа
Рефлекс а. п. <i>d</i>	<i>d</i>	<i>d/c(1a); c(1b)</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
Краткостная оттяжка	+	+	-	-
Долготная оттяжка	-	+	+	-

Введение в исследование ряда других акцентологических диалектизмов, как-то: ударение приставочных девербативов, акцентный статус флексий локативов *i-* и *и-*основ, ударение глаголов с суффиксом *-no-*, распределение а. п. тематических глаголов с корнями на нешумный и т.д., по-видимому, позволит установить более дробную группировку славянских диалектов и значительно уточнить первичное членение праславянского по данным акцентологии (см. карту на с. 389).

Принятые сокращения

Аванесов - Аванесов Р.И. Очерки диалектологии рязанской Мещеры. 1. Описание одного говора по течению р. Пры //Материалы и исследования по русской диалектологии. М.; Л., 1949. Т. 1.

Аввакум - Житие протопопа Аввакума в рукописи собрания Дружинина, XVII в. Б-ка АН СССР (Ленинград), шифр № 746.

АОС - Архангельский областной словарь. М., 1980.

Арнеево - д. Арнеево Серпуховского р-на Московской области. Материалы собран экспедицией Сектора диалектологии и лингвогеографии Института русского языка АН СССР и Института славяноведения и балканстики АН СССР в составе Е.Э.Будовской, И.А.Букринской, О.Е.Кармаковой и С.Л.Николаева.

Бедня - *Jedvaj J.* Bednjanski govor// Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb, 1956. Knj. 1.

Белич - *Белич А.* Заметки по чакавским говорам// ИОРЯС, 1909. Т. XIV, кн. 2.

Биб. - первый почерк (1-473б) рукописи: Библия (1013 л.), Гос. исторический муз., Синод. 30. Имеет ярко выраженную акцентовку западного типа (ср. Зализняк 1985, с. 229, где этот памятник отнесен к ближнему северо-востоку).

Библ. - второй почерк (474-994б) той же рукописи. Акцентовка близка к Биб. А.А. Зализняк, видимо, допустил ошибку в отделении системы этого памятника от Биб. (см. Зализняк 1985, с. 226-227). Как Биб., так и Библ. должны быть локализованы в ареале к западу или юго-западу от Москвы.

Бромлей-Булатова - *Бромлей С.В., Булатова Л.Н.* Очерки морфологии русских говоров. М., 1972.

Васильев - *Васильев Л.Л.* О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XIV-XVII вв.: К вопросу о произношении звука *о* в великорусском наречии. Л., 1929.

Вргада - *Jurišić B.* Rječnik govora otoka Vrgade. D.2. Rječnik. Zagreb, 1973.

В.-штир. - по: *Ilešić Fr.* Slovenica// Archiv für slavische Philologie. 1900. Bd. 22.

Гануш - *Hanusz J.* Ueber die Betonung der Substantiva im Kleinrussischen// Archiv für slavische Philologie. 1883. Bd. 8.

Гр. - Граматично искâзанje об рúском језíку попá Јúрка Крижáнича. М., 1859 (издано Бодянским).

Днестр. - д. Днестровка Кельменецкого р-на Черновицкой области. Материал собран Е.Э. Будовской и С.Л. Николаевым.

Дубровки - д. Дубровки Селижаровского р-на Калининской обл. Материал собран Е.Э. Будовской и С.Л. Николаевым.

Дыбо 1963 - *Дыбо В.А.* Об отражении древних количественных и интонационных отношений в верхнелужицком языке// Сербо-лужицкий лингвистический сборник. М., 1963.

Дыбо 1982 - *Дыбо В.А.* О некоторых акцентологических изогlossenах словенско-кайкавской языковой области// Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb, 1982. Knj. 6.

Дыбо 1983 - *Дыбо В.А.* Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумные (материалы к реконструкции)// Балто-славянские исследования 1982. М., 1983.

Дыбо 1987 - *Дыбо В.А.* Словообразование и акцентология. Акцентологические архаизмы в производных как источник для реконструкции акцентных типов производящих// Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987.

Дыбо СА - *Дыбо В.А.* Славянская акцентология. М., 1981.

Ев.-апр. № 7364 - Евангелие-апракос (сербская рукопись начала XV в.). Гос. б-ка им. В.И. Ленина, ф. 178, № 7364.

Егор. - Евангелие учительное, 2-я четв. XVI в. Гос. б-ка им. В.И. Ленина, ф. 98, № 80 (см. Зализняк 1985, с. 215).

Зализняк 1981 - *Зализняк А.А.* Глагольная акцентуация в южновеликорусской рукописи XVI в.// Славянское и балканское языкознание: Проблемы морфонологии. М., 1981.

- Зализняк 1985 - Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зеленин Ск. - Зеленин Д.К. Великорусские сказки Вятской губ. Пг., 1915.
- Иллич-Свитыч - Иллич-Свитыч В.М. Именная акцентуация в балтийском и славянском. М., 1963.
- Ион. - Маргарит Иоанна Златоуста. Гос. б-ка им. В.И. Ленина, ф. 256, № 195 (см. Зализняк 1985, с. 228).
- Ис. Сир. - Поучения Исаака Сирина, западноболгарская рукопись 1381 г. (1-й почерк). Гос. б-ка им. В.И. Ленина, ф. 304, № 172.
- Истрия - *Nemanic D.* Čakavisch-kroatische Studien// Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien. 1883. Bd. 104.
- Карский - Карский Е.Ф. Белорусы. Язык белорусского народа. М., 1955. Вып. 1.
- Касвин - Касвин Г.А. Основы настоящего времени глаголов 2-го спряжения// Материалы и исследования по русской диалектологии. М.; Л., 1949. Т. III.
- Колесов - Колесов В.В. Развитие акцентологических типов в псковском именном склонении// Псковские говоры. Псков, 1968. Вып. II.
- Корм. - Кормчая 1650 г. Воспроизведено с ... оригинала патриарха Иосифа с буквальной точностью. М., 1912. т. I-II.
- Лет. - основной почерк (л. 1-432, строка 3) "Троицкого летописца". Гос. исторический муз., Синод. 645 (см. Зализняк 1985, с. 218-219).
- Лыткин Фонетика - Лыткин В.И. Фонетика северновеликорусских говоров и заимствования из русского языка в комиjsкий// Материалы и исследования по русской диалектологии. М.; Л., 1949. Т. II.
- Макс. - Слова Максима Грека. Московская рукопись 1587 г. Гос. б-ка им. В.И. Ленина, ф. 310, № 487.
- МАРЯ - Материалы диалектологического атласа русского языка. Хранятся в Секторе диалектологии и лингвогеографии Ин-та русского языка АН СССР.
- Николаев АКД - Николаев С.Л. Балто-славянская акцентационная система и ее индоевропейские истоки. АКД. М., 1986.
- Николаев 1988 - Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах// Балто-славянские исследования 1986. М., 1988 (в печати).
- Новг. - Псалтырь лицевая. Гос. исторический муз., Увар. 592 (см. Зализняк 1985, с. 213).
- О письм. - Книга Константина Философа "О письменех". Материал приводится по: Ягич И. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке// Исследования по русскому языку. Спб., 1885-1895. Т. I. (см. Дыбо СА, с. 268).
- Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Київ, 1984. Ч. 1-2.
- Печ. - Минеи-четыри на сентябрь и октябрь. Гос. б-ка им. В.И. Ленина, ф. 138, № 17 (см. Зализняк 1985, с. 231).
- ПОС - Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967-1984. Вып. 1-6.

Пригорье - Rožić V. Kajkavski dijalekat u Prigorju // Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb. Knj. 115, 116, 118; Rožić V. Prigorje. Narodni život i običaji // Zbornik za narodni život i običaje južnih slavena. Zagreb. Knj. 12, 13.

Пролог - второй почерк (л. 3б-127б) рукописи: Пролог, сентябрьская половина. Гос. б-ка им. В.И.Ленина, ф. 354, № 19 (рукопись с рядом ярких северо-западных черт, "восточные" черты скорее всего вторичны - ср. Зализняк 1985, с. 230-231).

Пск. - Житие и творения Федора Студита. Гос. б-ка им. В.И.Ленина, ф. 242, № 134 (см. Зализняк 1985, с. 215).

Ржев. - Псалтирь. Гос. исторический муз., Муз. 95 (см. Зализняк 1985, с. 220).

Ряз. - Лествица. Гос. исторический муз., Барсов 246 (см. Зализняк 1985, с. 228).

Сб. 1509 г. - Сборник слов. Гос. публ. б-ка им. М.Е.Салтыкова-Щедрина, собр. А.Ф.Гильфердинга, № 56.

Сем. - д. Семаково (на картах ошибочно Самаково) Путинского р-на Черновицкой обл. Материал собран Е.Э.Будовской, О.Т.Ковач и С.Л.Николаевым.

Сим. - д. Симоновичи Дорогиченского р-на Брестской обл. Материал получен от носителя говора к.ф.н. Ф.Д.Климчука.

Сол. - основной почерк (л. 1-247) рукописи: Житие Зосимы и Савватия соловецких. Гос. б-ка им. В.И.Ленина, ф. 209, № 235 (см. Зализняк 1985, с. 231).

ср.-болг. - материал взят из словаря i-глаголов в среднеболгарских текстах (В.А.Дыбо, рукопись); частично материал опубликован в статьях: Дибо В.А. Среднеболгарские тексты как источник для реконструкции праславянского удачения (Praesens) // Вопросы языкознания, 1969, № 3, с. 82-101; Дибо В.А. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумные (материалы к реконструкции). V. Новые данные по глагольной акцентуации среднеболгарских текстов тырновской группы // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987.

СРГК - картотека Словаря русских говоров Карелии. Хранится в Ленинградском гос. ун-те. Выписки сделаны А.В.Тер-Аванесовой.

СРНГ - Словарь русских народных говоров. Л., 1965-1986. Вып. 1-21.

ССРНГ - Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). М., 1969.

Сусак - Hamm J., Hraste M., Guberina P. Govor otoka Šurška//Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb, 1956. Knj. 1.

Тр. пс. - 1-й почерк (л. 1-186б) "Троицкой псалтири" (см. Час.).

Увар. - Кормчая. Гос. исторический муз., Увар. 296; по акцентной системе локализуется к востоку от Москвы (не обязательно к северо-востоку, ср. Зализняк 1985, с. 229).

Фер. - Кормчая, так наз. Ферапонтовская. Гос. б-ка им. В.И.Ленина, ф. 98, № 248 (см. Зализняк 1985, с. 218).

Хлын. - Златоуст. Гос. б-ка им. В.И.Ленина, ф. 310, № 539 (см. Зализняк 1985, с. 231).

- Хр. - Хронограф лицевой. Гос. б-ка им. В.И.Ленина, ф. 98, № 202 (см. Зализняк 1985, с. 220).
- Цв. - Триодь Цветная. М., 1591 (см. Зализняк 1985, с. 222; материал приводится по Зализняк 1981). Акцентовка содержит ряд ярких западных черт.
- Цел. - основной почерк (л. 1-290) рукописи: Целебник с добавлениями. Гос. исторический муз., Музейск. 1226 (см. Зализняк 1985, с. 232-233).
- Час. - 2-й почерк (л. 187-462) рукописи: Псалтирь с восследованием ("Троицкая псалтирь"). Гос. б-ка им. В.И.Ленина, ф. 304, № 329 (см. Зализняк 1985, с. 212-213).
- Чуд. - Чудовский Новый Завет, XIV в. По фототипическому изданию: Новый Завет господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси (издание Леонтия, митрополита Московского). М., 1892.
- Н.-С. - Čakavisch-deutsches Lexikon. Von M. Hraste und P. Šimunović. Köln; Wien, 1979. Т. I.
- Ivšić - Ivšić S. Akcenat u gramatici Ignata Alojzije Brlića. Zagreb, 1912.
- Plet. - Pleteršnik M. Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894-1895. Т. I-II.
- Rad - Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
- Skok - Skok P. Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971-1973. Knj. I-III.
- Smułkowa - Smułkowa E. Studia nad akcentem języka białoruskiego (rzeczownik). W-wa, 1978.

Ж. Ж. Варбом

О СЕМАНТИКЕ И ЭТИМОЛОГИИ ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Предложенная формулировка темы доклада нуждается в уточнении, поскольку сочетание "этимология звукоподражательных глаголов" внутренне тавтологично и не может, как будто, указывать предмет исследования: этимология этих глаголов уже не требует анализа, так как подразумевается самим определением "звукоподражательные" = образованные от звукоподражаний. В настоящем докладе, однако, под термином "звукоподражательные глаголы" понимаются те глаголы, которые обычно, традиционно (или большинством исследователей) признаются образованными от звукоподражаний.

Предметом доклада является критический анализ применяемой в отношении этой группы глаголов методики исследования и пересмотр некоторых из соответствующих этимологических толкований. Поскольку значительная часть из предлагаемых здесь мною этимологических решений уже была ранее опубликована, то будут приведены лишь ключевые моменты аргументации с указанием предшествующих публикаций.

Толкование "от звукоподражания" - древняя и широко распространенная в этимологии модель решения вопроса о происхождении слова. Для ее популярности есть, бесспорно, осно-

вания и глottогонического, и гносеологического порядка. Относительно слов, обозначающих звуки или другие предметы и явления действительности, представления о которых так или иначе связаны (или могут быть связаны) со звуками, естественно предполагать преимущественно звукоподражательное происхождение. Круг таких слов, очевидно, достаточно широк, но объективности решений не может не мешать то обстоятельство, что как теоретически, так и практически сфера звукоподражательности не поддается уточнению и ограничению на семантических основаниях¹. Тем более необходимы четкие формальные (фонетические, структурные) критерии применения этой модели этимологического решения. Таких аргументов формального порядка несколько. Прежде всего, указываются междометия, от которых могли быть образованы звукоподражательные лексемы. Однако при многих словах, призванных обычно звукоподражательными по происхождению, не зафиксированы собственно звукоподражания – потенциальные производящие основы. С другой стороны, как от звукоподражательных глаголов, так и от глаголов другого происхождения широко образуются вторичные междометия (типа *кряк* – от *крякать*, *толк* – от *толкнуть*), а потому при наличии однокоренных междометия и глагола, обозначающего звучание, звук, трудно установить направление словообразовательных связей однозначно. Как свидетельство звукоподражательного происхождения нередко упоминаются фонетические характеристики лексем (вставные звуки, нерегулярные чередования), но эти характеристики являются как правило общими для звукоподражательных и экспрессивных образований и не могут сами по себе доказательно определять соответствующие лексемы как звукоподражательные, поскольку звукоподражательные образования и экспрессивные – генетически различные группы лексики².

Характерной структурной особенностью звукоподражательных по происхождению образований считается их устойчивость против регулярных фонетических изменений. Такая устойчивость действительно наблюдается, но она не может быть постоянной характеристикой звукоподражательной лексемы. Надежной базой фонетической неизменности, закоснелости слова является лишь сохранение им функции звукообозначения. Но лексика звукоподражательного происхождения не может избежать семантического развития. И если за междометиями сохраняется их первичная функция, то в производных звукоподражательных глаголах на семантику звукообозначения наславляется, как правило, семантика собственно действия, состояния (первоначально – по принципу сопровождения их определенными звуками). В качестве примера можно привести праслав. *lepati. О звукоподражательной природе этого глагола свидетельствует наличие семантически близких и структурно варианты форм *xlepati, *šlepati. Но в семантике глагола звукообозначение тесно связано с обозначением различных действий:ср. чеш. dial. lěráť 'давать подзатыльники, затрещины', польск. dial. ɇerać 'хлебать, жадно пить', русск. dial. лéпать донск. 'хлопотать', вят. 'говорить вздор; плохо что-нибудь сделать', лéпать юж. 'взбалтывать что-либо жидкое, разбрзгивать', вят. 'делать что-либо' (стри-

пать, рукодельничать); говорить вздор, болтать', укр. лъб-
нати 'ляпать, мазать', диал. 'брзыгать, лить', белор. лё-
паць 'бить ладонью', диал. лёпаца 'плескаться, полоска-
ться'. С *lepati родственна (и, возможно, произведена от
него) основа *lepetati. Этот глагол и производные от него
имена представляют ряд значений семантического поля 'драть,
обдирать, рвать': ср. в.-луж. lepotat̄ 'обтерхаться - о
старой одежде', русск. диал. лéпет 'лоскут, кусочек (тка-
ни, кожи и т.п.)' (вят., перм., волог.), 'часть земельно-
го участка, клочок земли' (вологод.), лéпеть 'лоскут, ку-
сочек рваной одежды; клочок земли' (вологод.), с.-хорв.
диал. лéпēčur 'что-либо оторванное, отколотое, что висит
и раскачивается'. Таким образом, на базе звукоподражания
сложилось обширное лексическое гнездо; в основе его се-
мантики лежит представление о шуме типа шлепка, хлопка,
который может сопровождать и разрывание чего-либо на кус-
ки, и колебание на ветру обрывков чего-либо, а соответст-
венно в гнезде появились значения 'кусок, обрывок, лос-
кут' и т.п. Эти семантические характеристики гнезда слов.
*lepati восходят, возможно, еще к и.-е. состоянию и побуж-
дают предполагать генетическое тождество обычно разделяе-
мых и.-е. корней *lep-, звукоподражания, и *lep- 'обди-
рать, облуплять, откалывать'³. В области собственно слав-
янской этимологии тем самым открывается возможность для
истолкования на базе гнезда *lepati (генетически звуко-
подражательного) многих лексем с корнем *lep-, обозначаю-
щих различные лоскуты, куски (см. *lerakъ, *leperъ, *le-
ръкъ, *лерътъ, *lepestъ и др.), лепешки (*lepeха, *lepi-
на), широкие листья и растения с широкими листьями (*le-
репъ, *lepinа, *lerиха, *lepestъ, *lepeха и др.), мякину,
соп, коросту (*lerиха, *лерцъ), некоторых рыб типа под-
лещика (*lepeха, *lepešina)⁴.

В результате развития семантики генетически звукопод-
ражательных основ и базирующихся на них этимологических
гнезд, живая связь со звукоподражанием для производных
(особенно второго и третьего порядка) утрачивается. Соот-
ветственно эти производные подчиняются регулярным фонети-
ческим изменениям и формально отрываются от звукоподражания⁵. Очень существенным для славянской этимологии явля-
ется вхождение звукоподражательных образований, семанти-
чески удалившихся от собственно звукоподражаний, в систе-
му славянского аблauta. Например, представляется возмож-
ным объяснение на базе праслав. глагола *tepti, terp' 'бить,
колотить', для которого весьма вероятно звукоподражатель-
ное происхождение (ср. в уральских языках: морд. тарà-,
фин. tappa-, венг. tap-, top- 'толкать', ненецк. tara- 'тол-
кать, бить')⁶, целого гнезда глаголов, связанных аблaut-
ными отношениями. Это не только *topati, *topъtati, но и
*tъpati, *tъpēti, *tъpнqtи, и *tipati. Основы *tъpati,
*tъpēti, *tъpнqtи с корневым вокализмом в ступени редук-
ции реконструируются на базе следующего лексического ма-
териала: польск. śrąć 'много, медленно, постоянно есть,
жевать', śrąać 'tronуть, воткнуть', чеш. sráti 'совать,
пихать, набивать' (с итеративом морав. zatipat), sráti se
(разговорн.) 'есть, уплетать; лезть, переть(ся)', в.-луж.

досрѣс 'добиться, достигнуть', болг. диал. *тѣпом* 'пинать; пульсировать'; ср. в отношении семантики лит. *teréti*'есть, жрать, поглощать'⁷. Как продолжения основы *tipati с корневым вокализмом в ступени продления редукции и семантикой 'касаться, надавливая; ударять' (откуда далее 'ступать, топтать; хватать; медленно делать; щипать, кусать, клевать; лепить из глины'), родственной *tepti, толкуются болг. диал. *тѣпам* 'брькать (о скоте); ударять; ступать, топтать', с.-хорв. *tipati* 'достигать, дотрагиваться', словен. *típati* 'ощупывать, осязать', т. *piskre* 'делать рукой глиняные горшки', чеш. *típati se s čím* 'медлительно что-либо делать', русск. волог., вят. *тѣпать* 'тихонько уда-рить; схватить; украсть; укусить, клюнуть, щипнуть; идти тихонько, на цыпочках; красться', олон. *тѣпаться* 'играть в догонки', урал. *натѣпать* 'искусдать (о комарах)', *потѣ-пать* 'пощипать, покусать, поклевать', ср. также производное имя вят. *типунья* 'красная глина, жирная, для горшков'; в отношении семантики ср. болг. *тѣпам* 'валять (сукно)', словен. *utepsti* 'замазать грязью' и лит. *t pti* 'мазать', *tar t ti* 'мазать, писать (красками)', *tarp t ti* 'похлопывать ладонью, гладить; мазать; топтать (ногами), топтать'⁸.

Таким образом, если отсутствие реализации закономерных фонетических изменений и может быть признаком звукоподражательного образования, то звукоподражательное происхождение того или иного корня отнюдь не препятствует развитию на его базе разветвленных словообразовательно-этимологических гнезд, содержащих лексемы, которые отражают закономерные фонетические изменения и связаны между собой вполне регулярными морфонологическими и словообразовательными отношениями. Вряд ли можно безоговорочно признать правило, что звукоподражательное слово тем древнее, чем больше фонетических и семантических изменений оно пережило⁹: при неизменности функции звукообозначения, даже древнее звукоподражательное образование может сохранить свой фонетический облик без изменений. Но логическим выводом из отмеченных закономерностей развития звуководражательных по происхождению лексем является правомерность и необходимость ориентации этимологического анализа в сей лексике – в том числе и потенциально звукоподражательной, и даже при теоретическом признании зазвуководражательной природы исходных корней – прежде всего на регулярные фонетические изменения, морфологические и словообразовательные связи, которые отдаляют форму производных от исходного вида корня.

Такой подход необходим не только для полноты реконструкции этимологических гнезд (примером чего является приведенное выше гнездо *tepti), но и для более тщательного прослеживания направления словообразовательных связей и идентификации корня. Несомненно, что звукообозначение и семантика действия связаны двусторонней зависимостью. Как от звукообозначения могут происходить глаголы, обозначающие действия, так и на базе исходной семантики действия в глаголах нередко формируется семантика звукообозначения, причем последняя может стать постепенно доминирующей. Например, таково направление развития значения в

русс. диал. *дерюжить* псков., тамб., калин. 'драть, чесать, скрести', волог., твер., пенз. 'громко, надсадно выть, реветь'¹⁰, *дерёбить* ряз., волог. 'драть, царапать; кричать, вопить'¹¹; чеш. *drkati* 'дергаться, шевелиться; толкать', диал. 'ударять; трещать трещоткой', укр. *дёркати* 'трещать'¹². Эту взаимопереходность междометной и "нормальной" семантики даже для индоевропейского прайзыка признавал и Коржинек¹³. Тем не менее, при этимологизации многих подобных глаголов и имен преобладает модель решения, исходящая из преимущественности (если не обязательности) звукоподражательного происхождения для всех звукообозначений¹⁴. Реконструкция и анализ этимологических гнезд глаголов звучания, учитывающие все регулярные фонетические изменения, морфологические и словообразовательные связи, структурные варианты основ, может обнаружить в основе этих гнезд не звукоподражание, а корни, на зывающие действия¹⁵. Ниже анализируется несколько таких гнезд.

В славистике принято разделение двух основ: *trēsk- 'трещать' (как звукоподражательной) и *trēšk- 'выпучить (глаза)' (болг. диал. *натрёшувам се, отрёштовам се* 'пристально смотреть, впериться', чеш. *vytřeštiti* (*oči*), словац. *vytriešťat*, польск. *wytrzeszczyć* (*oczy*), причем последняя по существу не получила этимологического объяснения. Р. Бернар указал на возможность генетического объединения этих основ, приняв за первичную основу звукоподражание (болг. диал. *трёштуе* 'ударяет молния') и предположив развитие значения от 'ударять, поражать' через ступень 'застывать (о взгляде)' к 'впериться, пристально смотреть'¹⁶. Объединение основ *trēsk- 'трещать' и *trēšk- 'выпучить (глаза)' представляется вполне оправданным, но на иных основаниях. С основой *trēšk- 'выпучить (глаза)' уже давно сопоставлялась основа *torsk-, представленная в russk. *таращить*, *втаращить* (глаза)¹⁷, но из этого не были сделаны возможные выводы вследствие ограниченности привлеченного материала, так что Фасмер даже считал недостоверным сравнение с russk. *торощиться* 'хлопотать'. Между тем, обозрение русских диалектизмов позволяет реконструировать для основы *torsk- 'выпучить (глаза)' следующее семантическое развитие (в порядке реконструкции): 'выпучить (глаза)' ← 'расставить, выставить' (рussk. диал. *таращить* пальцы 'расставить', новг. *таращиться* 'упрямиться, щетиниться, скалиться', новг. псков. *торбщиться* 'о курице: топорщиться в то время, когда она хочет снести или снесла яйцо') ← 'чесать, оттирать' (печор. *торбщить* 'чесать'), полесск. *оттаращатись* 'отвязаться, отцепиться'). Предполагаемая для *torsk- модель семантического развития 'драть' → 'выпучить (глаза)' представлена также в russk. *вилупить* глаза, лит. *rélti* 'выпучить (глаза)' (родственном с др.-инд. *phálati* 'лопнуть'¹⁸). Последний этап семантической реконструкции, определяющий исходное для *torsk- значение как 'чесать, оттирать', подводит к следующему шагу в анализе структуры основы: *torsk-, семантически близкое к *tъxati 'обдирать, выдирать' (рussk. *обтерхать* 'истрепать (одежду)', польск. арх. *tarchać* 'трепать', чеш. *trchatí* 'вылезать' -At' z *pelecha trchá*), должно быть вместе с последними от-

несено к гнезду слав. *terti (< и.-е. *ter(ə)-¹⁹). Продолжения основы *torsk- обнаруживают и звуковые значения: костр. *taráshit'sja* 'реветь, плакать в голос' (ср. в основе *tъrx- - польск. *tarchnać* 'зашуметь, зашептать'). Это соответствует модели семантического развития 'драть' → 'издавать звуки' (см. выше русск. диал. *derjójítъ*, *derébitъ*). Обратимся теперь к основе *trěsk-. Семантика южно-зап.-слав. *trěsk- 'пристально смотреть' совершенно очевидно представляет собою следующий этап развития значения 'выпучить (глаза)', реализованного в *torsk-, так что южно-зап.-слав. *trěsk- в этом значении также логично вводится в гнездо *terti (как праслав. *trěsk- или *tersk-). Есть в продолжениях этой основы и другие значения, выводимые из исходного 'драть': сп. словац. диал. *triaskač* sā 'лесть' (Be se na toho stroma *vitriaskal?* - сп. выше чеш. *trchatí* 'вылезать'), 'идти' (Ešče se mi aj van z dečmí *pritriaskal* sem²⁰ - сп. вят. *taráshit'sja* 'идти, приходить, когда это нежелательно'²¹). Эта семантическая общность основ *trěsk-, *torsk- и *tъrx- дает основание считать и *trěsk- 'трещать' принадлежащим к тому же гнезду основ, производных от *terti, с вторичным развитием семантики звучания на базе 'драть'. Следовательно, славянский материал подтверждает принадлежность слав. trěsk- к гнезду и.-е. *ter(ə)-, отраженную в словаре Покорного²². Таким образом, слав. *trěsk- 'трещать' и *trěsk- 'пристально смотреть' оказываются генетически тождественными основами, значения которых - параллельные производные от исходного 'драть, обдирать, раздирать'.

Слав. *skripěti, *skripati во всех этимологических словарях славянских языков характеризуются как звукоподражательные. Рассматривая соответствующий болгарский материал, Т.Шиманский категорически утверждает: "niewątpliwie od nie znanego mi z bg. *skrip!"²³. Но междометия действительно нет, и, следовательно, утверждение о звукоподражательном происхождении базируется лишь на семантике глаголов - звукообозначении. В конце прошлого века Цупица походя, без аргументации, предложил иное этимологическое толкование для славянских глаголов - родство с группой др.-исл. *hrīfa* 'царапать', лат. *scrībo* 'чертить, писать', лтш. *skrīpāt* 'нацарапывать'²⁴, что означает возведение *skripati к и.-е. основе *skrēi-/ *skrī-, производной от и.-е. *(s)ker- 'резать'. Представляется, что эта этимология имеет подтверждение в славянском лексическом материале. Лексика гнезда праслав. *skripati обнаруживает разнородные значения, выходящие за пределы звуковой семантики. Значение 'резать, стричь' представлено болг. диал. родоп. скрынѣм; к нему примыкают имена, обозначающие различные расщепления, желoba, пазы, орудия с такими особенностями строения: с.-хорв. škrīp 'расщеп, лещедка', кашуб. skrēp 'щель; воротный столб с желобом; конек крыши (в виде опрокинутого желоба)', болг. скрипéц 'блок (колесико с желобком) в ткацком станке', словен. skrípec 'сustav; блок', чеш. skřipec, škřipec 'приспособление для скрепления, стягивания, прищемления; тиски, блок', русск. забайкал. скрипень 'паз в столбе для ручки ворота' и т.п.; сп. также

чеш. *skřipnouti* 'сжать, прищемить, стиснуть'. Если значение 'резать, стричь', как и 'блок, воротный столб', может быть производным от 'скрипеть', то для значений 'щель; расщеп' это представляется менее вероятным. Зато и 'щель; расщеп', и 'желоб, паз, блок' (откуда далее 'крепление') хорошо объясняются как производные от первичного 'резать'. Ряд значений лексем в гнезде **skripati* не поддается согласованию со звуковой семантикой (как первичной), но выводится из 'резать': болг. *диал. скріпвъм*, *скріпнъ* 'терпнуть, неметь от жевания зеленых плодов (о зубах)' (ср. лит. *skrifbt* 'становиться кислым'; лтш. *škērbs* 'терпкий, кислый' при лит. *skeřbt* 'глубоко врезать'), *скріпвъ, скріпнъм*, *скріпнъ* 'холодеть, застывать' (ср. выше семантику крепления). Значение русск. *скрипеть* 'кое-как жить, с трудом поддерживать свое существование, свои силы' находит соответствие в лит. *skribti* 'чахнуть, подыхать, оклеветать', родственном с лит. *skriěbt* 'чертить' (гнездо и.-е.**(s)-ker-*). Специфика семантики и отмеченные семантические сходства лексем гнезда слав. **skripati* с различными основами гнезда и.-е. **sker-* побуждают принять гипотезу Цушицы о происхождении и слав. **skripati* (как и.-е. основы П **skrei-*) из этого индоевропейского гнезда. Это влечет за собой признание значения 'скрипеть' для слав. **skripati* вторичным, производным от 'резать', хотя и древним (православянским)²⁵.

Соответствие чеш. *диал. ляш. krbat'* 'тараторить, болтать; идти мелкими шагами, семенить' – польск. *диал. karbaci* (и *karbić*) дает основания для реконструкции праслав. **kъrbati*. В отношении польского глагола предполагалось родство с лит. *kalbēti*²⁶, который возводится к и.-е.**kel(ə)-* 'звать, кричать, звучать', исконно звукоподражательному. Является ли звукоподражание наиболее вероятным источником и для праслав. **kъrbati*? Представляется, что вполне реально установление для этого глагола иных генетических связей. Чешские глаголы *drmoliti* 'тараторить; дробить, мять (пальцами)', *drobčiti* (= *zdrobna kráčeti*) 'идти мелкими шагами' свидетельствуют о развитии значения звучания на базе исходной семантики 'дробить' (далее – к **der-* 'драть, сдирать, расщеплять'). Подобные семантические связи восстановимы и для **kъrbati*, если привлечь сюда лексемы с некоторыми структурными отличиями: чеш. *ляш. škrbat se* 'тащиться, медленно идти, шаркая ногами', словен. *škrbat* 'скрести, царапать' и далее отлагольные имена с.-хорв. *диал. kъbav* 'щербатый', чеш. *валаш. krbatý* 'выщербленный (о горшке)', морав. *krbaňa* 'черепок', *диал. krbaň* 'старый горшок', *krbač* 'поврежденный горшок или кувшин'. Эти связи позволяют ввести глагол **kъrbati* в этимологическое гнездо праслав. **ščerb-*: ср. особенно болг. *ущърбя* 'выщербить, выломать', *щърб*, *щърб* 'зазубрина; дыра; черепок, обломок', словен. *ščrba* то же. Наличие в семантике этого гнезда элемента 'ломать' (ср. и лтш. *skarba* 'осколок') объясняет развитие значение 'дробить, крошить' → 'тараторить' и 'идти мелкими шагами'²⁷. Таким образом, семантика звучания для глагола **kъrbati* вторична.

Для чеш. диал. ганацк. ščihlēt se 'смеяться' В. Махек предполагал происхождение из štířiti (с присоединением экспрессивного суффикса); при этом štířiti с первичным значением 'скалиться, показывать зубы' возводится в конечном счете к и.-е. *sker⁻²⁸. Представляется, что в глаголе ščihlēt se звуковая семантика действительно является генетически вторичной, производной от 'скалиться' ← 'раздирать, разрывать' ← 'драть, рвать', но только материальным источником глагола было скорее другое гнездо – с корнем *ščьg-/ *ščig-/ *scěg-, которое реконструируется на основании следующего материала: чеш. диал. ščigat, -am 'обрывать, ощипывать свежие ветки, побеги', польск. диал. szczygać 'стричь', блр. щегáць 'изнурияться', смол. щигáть 'приходить в изнеможение', пощигать 'изнуриться', чеш. štíhlý 'тонкий, стройный', словен. ščiga 'щербатый (человек)', блр. диал. щиголле, щиголь 'иглы хвойных деревьев' (*ščig-), смол. пощéгнуть 'изнурииться', польск. szczegóź 'подробность', русск. диал. псков., твер. щёгольный 'острый, сметливый' (*ščьg-), ц.-слав. съгль 'единственный, одинокий'²⁹.

Русск. диал. урал. калатбрить 'говорить очень быстро, тараторить' явно связано генетически, с одной стороны, со словац. диал. kolotáric 'обманывать, отговариваться', а с другой стороны – с русск. диал. твер. колоторить 'перебиваться кое-чем, кое-как' и русск. диал. колотáрить ворон., волог. 'заниматься незначительными делами', смол. 'крутиться, тереться возле кого-, чего-либо, шаля, развлекаясь', волог., псков., олон., ряз., ворон. 'болтать', арханг. 'сплетничать' и под. На фоне *kolororiti/*kolotariti становится маловероятным предположение о происхождении колотирить от колотира, производного от колотить³⁰. А для *kolotoriti/*kolotariti связь с *kolotyriti означает в формальном плане – сомнительность родства с *tortoriti 'болтать', а в семантическом – возможность реконструкции развития значения 'двигаться туда-сюда, крутиться возле че-го-, кого-либо' ← 'заниматься пустяками' → 'болтать'. Соответственно рассматриваемые глаголы толкуются как сложные слова с *kolo- в первой части, а вторая часть, при учете сочетаний типа русск. отираться, тереться где попало, среди людей, по базару и т.д., может быть генетически идентифицирована с *ter- 'тереть'³¹.

Приведенный выше материал иллюстрирует широкие возможности развития звуковой семантики на базе значения действий различного рода ('тереть', 'резать', 'ломать', 'драть'). Тем более необходима большая осмотрительность при выдвижении гипотез о звукоподражательном происхождении глаголов, обозначающих действие. Более тщательный анализ с привлечением возможно большего лексического окружения обнаруживает нередко, что толкование в плане звуко-подражания неоправданно изолирует слово, препятствуя вскрытию его глубоких генетических связей, уяснению процессов развития этимологических гнезд и формирования лексико-семантических полей. Остановлюсь на нескольких подобных случаях.

Русск. измываться 'издеваться' обычно считается родственным звукоподражательным russk. *мичать* и чеш. *myjati* 'мычать'³². Но в польских гуральских говорах зафиксирован глагол, явно тождественный генетически русскому, но отличный по значению — *zmywać się na koho* 'совершать обряд обливания, сопровождающегося произнесением заговора, с целью наслать порчу на недруга'³³. Уже это последнее значение, которое, как более конкретное, следует считать и более древним, определяет и лингвистический, и культурно-исторический источники глагола **jъzmyvati sę*: это гнездо глагола **myti* с производными, употреблявшимися в терминологии языческого славянского знахарства и колдовства в качестве обозначений ритуального использования воды как для очищения от злых чар, наговоров, сглаза, для лечения болезней, так и для наведения порчи на недруга: Ближайшими к **jъzmyvati sę* однокоренными образованиями в этой функционально-семантической сфере являются др.-русск. *смивати, смити*, русск. *диал. измывать, смывать, обмывать, умывать* как обозначения ритуальных действий обливания, обмывания и др.-русск. *смивалеи* 'знахарки'. Развитие у глагола **jъzmyvati sę* значения 'причинять вред, издеваться' аналогично истории фразеологизма *перемивать косточки*, также восходящего к лексике знахарства и колдовства³⁴. Эта аналогия существенна для изучения трансформации терминологии, связанной с язычеством.

Вокруг звукоподражательного корня **xgar-* в славянской этимологической литературе объединяются лексемы как с семантикой звучания, так и с другими значениями. К последним относятся русск. *диал. псков., нижегор., ворон., тул.* *хряпать* 'бить, колотить; ломать, коверкать'³⁵, *нахрап* 'дерзость, нахальство'³⁶, польск. XVI–XVIII вв. *chrąp* 'гнев', польск. *chrąpka* 'желание чего-либо'³⁷. Ср. сюда же сло-вац. *диал. sxrapiti, sxrapiti* 'схватить, быстро взять'³⁸ и кашуб.-словин. *sxrapnyc* 'украсть'³⁹. Совокупность значений этих слов и возможность их диахронической трактовки, исходя из первичности значения 'хватать', позволяют этимологически отделить эту группу от звукоподражательного **xgar-* и ввести ее в гнездо праслав. **gar-* с семантикой 'хватать, рвать': ср. болг. *диал. рапам, рапна* 'откусывать зубами что-либо твердое; сильно чесать', с.-хорв. *диал. garati* 'поспешно есть', польск. *диал. garpa, гарка* 'нога у птиц или мелких животных, имеющих когти', *гареб* 'рука, лапа, копыто'. Начальное *x* в этом **xgar-* может быть экспрессивного происхождения. Праслав. *(x)*gar-* восходит к и.-е. **ger-* 'хватать, урывать': ср. лат. *garere* 'хватать', греч. ἔρεπτον 'есть, пожирать', алб. *gjer* 'снимать, сдирать', лит. *rēpti* 'схватывать', др.-ирл. *recht* 'ярость, гнев'⁴⁰.

Слав. **pleskati* обычно tolкуется как генетически звукоподражательное⁴¹. Представляется, что такое толкование игнорирует очевидную семантическую и формальную близость **pleskati* к глаголам **poliskati*, **polkati*: в отношении структуры как первый, так и последние могут восходить к корню **pel-/pol-*, в плане семантики существенна общность для всех этих глаголов значения колебания, особенно колебания какого-либо предмета в жидкости или самой жидкости.

Учет этой семантики определил отнесение основ **polskati*, **polkati* к гнезду праслав. **pel-* 'махать, качать, колебать' (ср. словен. *plati* 'колебаться, волноваться', польск. *raʃać* 'отвеивать зерно от половы', чеш. *pálati* 'очищать зерно от примесей встрижением его в ковше')⁴². Такой же генезис достаточно вероятен и для **pleskati*. В пользу такого объяснения происхождения этого глагола свидетельствует и наличие в гнезде **pel-* основы **plixati*, наиболее близкой к **pleskati* по структуре основы и по семантике: ср. словен. *plihati*(*voda pliha* 'вода волнуется'), укр. диал. угор. *pliħáti* 'висеть, разеваться, порхать', с.-хорв. *plihati* 'плавать; разливаться', а также производное польск. *plichtać/plechtać* 'расплескивать воду во время мытья'⁴³. Реликтом первичной семантики корня - 'махать, качать, колебать' (= 'толкать') может быть значение словен. *pleščati*, *pleščím* 'тяготить; давить' (ср. также: *pleši* me v želodci, ako sem namreč jel mnogo sadja. Erjavec)⁴⁴. Параллелизм основ **pleskati*, **polskati*, **polkati*, **plihati* обнаруживает суффиксальную, а не корневую природу *-sk-*⁴⁵.

Глаголы **bryzgati*, **bryzgnoti* всегда характеризуются в этимологической литературе как звукоподражательные. Следует, однако, обратить внимание на структуру и семантику производных гнезда праслав. **brъsati*, которые подходят очень близко к характеристикам основ **bryzgati*, **bryz(g)-noti*. Например, **brъsati*: русск. *бросать* 'кидать', *бросаться* 'бежать'; **brъskati*: болг. *бръскам* 'небрежно мести; ударять слегка', словен. *břskati* 'швырять'; **brъs(k)noti*: словен. стар. *bersniti* 'бросить', русск. диал. новг. *броснуть* 'сжимая пальцами, счищать что-либо или выжимать жидкость'; **brys(k)noti*: с.-хорв. *бриснути* 'вытереть, смахнуть; побежать', польск. диал. *brysnać* 'махнуть, ударить'⁴⁶; ср. ярко выраженную в **bryzgati* семантику броска. Интересно и совпадение частных значений: ср. русск. *выбросить листву* '(о деревьях) зазеленеть', *выбросить колос* '(о злаках) заколоситься' - диал. арханг. *побрызнуть* 'пустить новые ветки'⁴⁷. Если учесть, что для экспрессивных вариантов характерно озвончение согласных⁴⁸, то можно предположить, что **bryzgati*, **bryz(g)noti* - результат экспрессивного преобразования **bryskati*, **brys(k)noti*.

Приведенные выше опыты этимологического истолкования ряда праславянских глаголов вне сферы звукоподражательности ни в коей мере не умаляют значение звукоподражательных элементов в формировании славянской лексики. Поскольку, однако, звукоподражательное происхождение всех корней праязыка - это гипотеза из области глоттогенеза, реальная лишь для самых отдаленных времен, и поскольку для обозримых этапов развития языков бессспорна взаимозависимость семантики звучания и действия, постольку необходима большая осмотрительность и привлечение возможно большего материала при этимологизации по модели "от звукоподражания", во избежание разрыва исторических связей лексем и неоправданной атомизации лексического состава языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ср. убеждение в звукоподражательной природе всех корней: Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademeum der allgemeinen Sprachwissenschaft, zusammengestellt von Leo Spitzer. 2. Aufl. Halle, 1928, S. 234; Kořínek J.M. Studie z oblasti onomatopoje. Příspěvek k otázce indoевropského ablauu. Praha, 1934. S. 231-233. (далее - Kořínek). См. также в последнее время о роли звукоподражаний как генетической основы славянских названий деревьев: Schuster-Šewc H. Modellierung semantischer Prozesse und Etymologie//Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes. Leipzig, II.-13.10.1972. Bautzen (1975). S. 13-19.

² Szymański T. Derywacja czasowników onomatopeicznych i ekspresywnych w języku bułgarskim. Wrocław, 1977. S.5-5 (далее - Szymański).

³ Ср. разделение этих корней: Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949-1959, B. I, S. 677-678 (далее - Pokorny). Звукоподражательную природу корня *лер- в словах с семантикой типа 'обрывок, лепесток' предполагал еще Коржинек, но автор объединил вообще все лексемы с корнями, содержащими *l* и *r/b(h)*, что выходит уже за рамки доказуемости, см. Kořínek. S. 270-271.

⁴ Подробнее см.: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. чл.-корр. АН СССР О.Н. Трубачева. М., 1987, вып. 14 (*lepati, *lepetati, *лереть, *лерепъ, *леpestъ, *лереха) (далее - ЭССЯ).

⁵ Kopečný F. Slavistický příspěvek k problému t.zv. elementární přibuznosti//Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов. С., 1957. С. 367-368 (далее - Kopečný).

⁶ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева. М., 1973. Т. IV. С. 45 (далее - Фасмер).

⁷ Подробнее см.: Варбом Ж.Ж. К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. XI. Этимология. 1982. М., 1985. С. 29-31.

⁸ См. Варбом Ж.Ж. К реконструкции и этимологии... IV// Этимология. 1974. М., 1976. С. 32-36.

⁹ См. также Kopečný. S. 386.

¹⁰ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2. М., 1955. Т. I. С. 432 (далее - Даль²).

¹¹ Даль² I. С. 429.

¹² ЭССЯ вып. 5. С. 222 (*dъrkati)

¹³ Kořínek. S. 231.

- ¹⁴ Ср., например, ссылку на семантику звучания как доказательство звукоподражательного происхождения: *Szymański*. S. 45 (о праслав. *ryčati).
- ¹⁵ Поэтому мысль о пользе учета генетических связей для суждения о возрасте отдельных производных от звукоподражаний – см. *Korečný*. S. 387 – представляется хотя и справедливой, но сужающей роль генетических связей в этимологизации подобных образований.
- ¹⁶ *Bernard R. Le vocabulaire du dialecte du Razlog// Балканско езикознание IV, 1962. С. 99.*
- ¹⁷ *Фасмер IV, с. 23; Macheck V. Etymologický slovník jazyka českého. 2 vyd. Pr., 1968. S. 657* (далее – *Macheck²*).
- ¹⁸ *Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg-Göttingen, 1955. S. 568.*
- ¹⁹ *Варбом Ж.Ж. К реконструкции и этимологии... I//Этимология. 1971. М., 1973. С. 12-15.*
- ²⁰ *Orlovscký J. Gemerský nárečový slovník. (Martin, 1982). S. 357.*
- ²¹ *Васнецов Н.М. Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора. Вятка, 1908. С. 314.*
- ²² *Pokorný I. S. 1072.*
- ²³ *Szymański. S. 29.*
- ²⁴ *Zupitza E. Die germanischen Gutturale. Berlin, 1896. S. 126.*
- ²⁵ Подробнее см. *Варбом Ж.Ж. К реконструкции и этимологии... X//Этимология. 1981. М., 1983. С. 16-21.*
- ²⁶ *Kartłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1952-1953. Т. II. S. 261.*
- ²⁷ Подробнее см. *Варбом Ж.Ж. К реконструкции и этимологии... ХП//Этимология. 1983. М., 1985. С. 31-33.*
- ²⁸ *Macheck². S. 627.*
- ²⁹ Подробнее см. *Варбом Ж.Ж. К реконструкции и этимологии... VIII//Этимология. 1977. М., 1979. С. 28-31.*
- ³⁰ *Фасмер IV. С. 86.*
- ³¹ Подробнее см. *Варбом Ж.Ж. Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984. С. 33-34.*
- ³² *Фасмер П. С. 122.*
- ³³ *Schnaider J. Z życia górali nadłomnickich// "Lud" XVIII, 1913. S. 178.*
- ³⁴ Подробнее см.: *Варбом Ж.Ж. Заметки по славянской этимологии//Этимология. 1968. М., 1971. С. 72-78.*
- ³⁵ ЭССЯ вып. 8. С. 90 (*xrapati).
- ³⁶ *Фасмер III. С. 50.*

- ³⁷ Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952-1956. T. I. S. 79 (chrappa, chrapu - от chrapač).
- ³⁸ Matejčík J. Slovník východonovohradského nárečia. Banská Bystrica, 1972 (ротапринт). S. 438.
- ³⁹ Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; etc. 1969. T. II. S. 52.
- ⁴⁰ О праслав. *rap- см. подробнее: Варбом Ж.Ж. Этимологические заметки//Балто-славянские исследования. М., 1974. С. 39-42.
- ⁴¹ См. Фасмер И. С. 279; Skok P. Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1972, kn. II, S. 69 (Далее - Skok); Szymański. S. 38.
- ⁴² Skok II. S. 594-595 (pälj); Куркина Л.В. Славянские этимологии//Этимология. 1981. М., 1983. С. 14.
- ⁴³ О *plixati см.: Варбом Ж.Ж. К реконструкции и этимологии... VIII//Этимология. 1978. М., 1980. С. 29-31.
- ⁴⁴ Strekelj K. Iz besednega zaklada narodovega//Letopis Slovenske Matice, 1892. S. 28.
- ⁴⁵ См. последнюю точку зрения: Sławski F. Zarys słotowróstwa prasłowiańskiego//Słownik prasłowiański/Pod red. F. Sławskiego. Wrocław etc. 1974. T. I. S. 50.
- ⁴⁶ Материал см.: ЭССЯ вып. 3. С. 55-56, 65-66. Некоторые из этих основ (*bryskeati, *brysknqti) здесь толкуются как звукоподражательные. См. также Szymański. S. 37.
- ⁴⁷ Фасмер I. С. 222 (брязгать).
- ⁴⁸ См. Szymański. S. 11.

E. M. Верещагин

ДВЕ ЛИНИИ В ЯЗЫКОТВОРЧЕСТВЕ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ, СОЗДАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Предмет истории литературного языка велик и, главное, многообразен. В анализ входят: выявление диалектной основы кодифицированного языка и иноязычных влияний, сложение и функционирование нормы, взаимосвязь средств выражения и внешней истории общества (включая прогресс просвещения), развитие функциональных стилей, эволюция отдельных уровней языка (особенно лексико-фразеологического), взаимодействие книжно-письменных и народно-разговорных пластов, а также еще многое другое. Из предмета лингвистической дисциплины не может исключаться и оценка вклада в литературный язык отдельных лиц, личностей, которые в силу тех или иных обстоятельств стали творцами языка. Общеизвестна роль А.С.Пушкина как создателя современного русского литературного языка. Не менее известна роль Кирилла и Мефодия, со-

здавших в IX в. литературный язык для (в языковом отношении тогда неразделенного) славянства.

Несколько общих предварительных соображений. Ниже, как объявлено в заглавии доклада, исследуются две линии в языковворчестве славянских первоучителей. Они обе заслуживают внимания не только сами по себе, но и в свете их дальнейшей судьбы в национальных литературных восточно- и южнославянских языках. (Прежде всего речь идет о русском литературном языке, который в своем развитии не знал перепрыга постепенности и соответственно в большом объеме хранил Кирилло-Мефодиевское наследие.) Кроме того, научная терминология и поэтические средства выражения, несомненно, наиболее выпукло отражают значение литературного языка как носителя просвещения и культуры. (Иногда этот важный аспект истории литературного языка даже в итоговых публикациях оттесняется на периферию разысканий, о чем приходится сожалеть.) Укажем, наконец, на отчетливую преемственность настоящей работы с нашим же докладом на IX Международном съезде славистов¹. Преемственность не означает повторов и не ведет к несамостоятельности следующего ниже исследования; тем не менее читатель, желающий составить себе более полное представление о переводческой технике и переводческом искусстве солунской двоицы, мог бы обратиться к близким по теме предшествующим публикациям автора².

1. Уже на начальном этапе функционирования вновь созданного литературного языка общеславянского распространения Кирилл и Мефодий, а также их непосредственные продолжатели и последователи перевели с греческого значительный объем текстов, в которых содержится терминология из самых различных областей знания — математики, астрономии, географии, градостроительства, техники, военного дела, финансового дела, биологии, медицины, истории, риторики, поэтики и др. Что касается мировоззренческой, философской и лингвистической терминологии, — гносеологической, этической, эстетической, логической и прочей, — то она получила особенно большое распространение в силу того срединного места, которое занимали в средневековой культуре философско-теологические дисциплины и соответствующие жанры словесности.

Создание славянской терминологической номенклатуры, которая адекватно выражала бы развитые и уточненные понятия византийской учености, стало основной задачей солунских братьев уже в момент перевода самой первой фразы (о чем см. в другом месте³), и эта задача сохраняла свою актуальность на всем протяжении их просветительских трудов. Ее же унаследовали близкие и отдаленные их ученики. Поскольку славянская терминология создавалась, так сказать, в массовых масштабах, Кирилл и Мефодий — сознательно или не сознавая того — выработали ряд приемов перевода, обусловливающих, в свою очередь, специфику терминотворчества.

Первый прием состоит в придании общеязыковой лексической единице (слову или словосочетанию всеобщего языка) терминологического (т.е. специального) смысла; этот прием мы называем транспозицией. Например, слав. *миръ* получает смысл греч. *κόσμος* и начинает выражать совокупность представлений, характерных не для языческой, а хри-

тианской космогонии. Аналогично: благо, блаженъ, ближнии, вѣшть, вина, власть, доухъ, доуша, житиє, законъ, любы, нравъ, путь, родъ, сила, съвѣтъ, съмысли, честь и т.д.; за каждым из слов списка "просвечивает" греческий эквивалент. Транспозиция приводит к тому, что термин, синонимичный общеупотребительному слову, приобретает новую сочетаемость, свидетельствующую о разрыве с ним.

Второй прием терминотворчества - хорошо известное заимствование греческого термина в славянский язык (конечно, путем фонетико-морфологической адаптации). Подтверждающие примеры, пожалуй, излишни.

Третий прием, который опять-таки нет необходимости подтверждать материалом, - это калькирование, построение новых славянских терминов по греческим словообразовательным моделям.

О четвертом приеме - ментализации, осмыслении - обстоятельно говорилось в нашем докладе на предыдущем съезде. Он заключается в том, что переводчик отрывается от греческой основы и, подыскивая славянское соответствие, дает собственное представление того, о чём, по его мнению, идет речь. Так, греч. ἀνέσπερον φῶς (ключевое понятие в ареопагитической концепции света-славы) путем "нормального" калькирования должно было бы дать (и в поздних переводах мы это видим) невечерни светъ, однако в одном из переводов Мефодия читается: немрачныи светъ. Согласно нашей реконструкции механизма перевода, первоучитель посчитал нужным подчеркнуть не отнесенность света к отрезку суток, а его неубывающую природу, что, конечно, свидетельствует о том, в каком направлении работала его мысль. Аналогичные примеры (τόραννος переведен не как маунтель, а как гоубитель, о́юноюа переводится не как домоузаконъ, а как съмотрение и т.д.), а также необходимые комментарии мы уже опубликовали⁴, так что сейчас ограничимся отсылкой к ним.

Переходим к пятому приему - его мотивированное название (это спликация) поясняется после анализа фактического материала, - который и является предметом рассмотрения в настоящей работе. Этот прием, который, насколько мы знаем, еще не описывался, представляется на вновь вводимом в оборот лингвистическом источнике.

Сначала несколько замечаний относительно этого источника. Собственно, мы имеем в виду "Написание о правѣ вѣроѣ. изошленое константиномъ блаженныи философомъ. учитеlemъ о бѣз словѣнскому жѣлкоу" - важнейший Кирилло-Мефодиевский памятник, который (фрагментарно) напечатал еще К.Калайдович в 1824 г. Последняя по времени публикация принадлежит К.Куеву⁵; там достаточно полно указана вся литература вопроса. До самого недавнего времени "Написание" было известно в науке как источник, для которого нет греческой основы, почему оно и считалось (например, тем же Куевым) подлинным и оригинальным трудом Кирилла, изначала составленным по-славянски. Весной 1986 г. советский исследователь А.И.Юрченко разыскал в творениях Никифора, патриарха Константинопольского (ок. 758-829 гг.), исповедание веры, которое точь-в-точь соответствует славянскому

"Написанию". Таким образом, переводная природа интересующего нас источника стала вполне очевидной. Автор этих строк и А.И.Юрченко осуществили построчное отождествление греческого и славянского текстов и подготовили его к печати⁶. Вслед за многими нашими предшественниками мы не отрицаем причастности Кирилла к "Написанию", однако сейчас, естественно, следует говорить о том, что он выполнил перевод, а не составил исповедание заново. Получив в руки надежный греческий источник славянского перевода "Написания", исследователи дела Кирилла и Мефодия могут теперь приступить к его сопоставительному изучению.

Итак, пятый прием терминотворчества (экспликация) анализируется на основе "Написания о правде вѣрѣ". Пользуемся Лаврентьевским сборником 1348 г. К сожалению, в издании Куева в строке 350 содержится пропуск, поэтому начиная со строки 351-ой следует прибавлять единицу (всего в источнике не 373, а 374 строки); номер строки указываем в скобках. Греческий текст приводится по Греческой патрологии Миня (т. 100, колонки 580с-589с). Удовлетворительного текстологического обследования ни славянского, ни греческого текстов пока не имеем, однако значительная близость между ними все же дает возможность с большой степенью вероятности судить о греко-славянских терминологических соответствиях. Сначала комментируются отдельные факты, а теоретическое обобщение оставлено на конец.

"Написание" по жанру принадлежит к числу исповеданий веры; Куев полагает, что Константин-Кирилл составил его перед принятием схимы. Никифор, автор исходного текста, рассуждает о сверхъестественной природе Мессии, который как бог ὑπερφυῶς ἐτέρατούργει τὰ θαύματα, (215) πανε εστίστβα... τωρεύσθε υἱοδεσα. По исчерпывающему словарю Лампе⁷, ὑπερφυῶς означает in a manner which transcends nature, supernaturally; следовательно, славянский перевод πανε εστίστβα представляет собой полное смысловое соответствие греческому термину. Это же греч. ὑπερφυῶς встречается в "Написании" еще раз, в том месте, где говорится о деве Марии, τῆς κατὰ σάρκα τὸν κύριον ἡμῶν... ὑπερφυῶς τεικόσης (352-354) рожьшѧ по пльти гдѧ нашего... безъ всего примысленія. Собственно, и в этом, втором, случае на первый взгляд следовало бы ожидать πανε εστίστβα; примечательно, что в латинском переводе, которым сопровождается у Миня греческий текст, оба раза равно стоит supernatura-liter. Тем не менее применительно к Богородице переводчик дает описательный перевод бѣзъ всего примысленія. Надо думать, что он предназначался для читателя, еще не привыкшего к мысли о возможности бессеменного зачатия. Примыслити/примышилѣти означает⁸, как и соответствующий греч. глагол ἐπινοεῖν, 'придумывать, изобретать, выдумывать', и в этом значении он, вообще говоря, встречается и в "Написании": (165-166) ετερα τъщеглашенина нинѣ примышилѣшѧ сѧ. Если сопоставить факты, то получается, что переводчик пожертвовал точным смыслом греч. ὑπερφυῶς и решил вместо него дать от себя четкое разъяснение читателям, предостеречь их от возможных (и, видимо, реально бывших) ложных "примыслений" относительно чудесного рождества приснодевой.

Второй пример разберем так же, подробно. В согласии с требованиями жанра Никифор говорит об очень сложном византийском теологумене исхождения св. духа, о том, что его нельзя отделять от первой ипостаси Троицы - отца, и указывает причину: *βὰ τὸν ἐκπρευστὸν*, (53-54) *ζῆν οὐτὸν* от *βα* исходить. В греч. источнике эксплицитно не сказано, от кого исходит св. дух, но термин *ἐκπρευστός* имплицитно содержит такое указание. Согласно Лампе, *ἐκπρευστός* - это не просто procession, а только procession of H. Ghost from divine substance of Father, и в словаре содержится множество контекстов, подтверждающих указанную специализацию греч. термина и его закрепленность лишь за первой ипостасью (мыслимого троично) божества. Вероятно, добавив отъ *βα*, переводчик принял во внимание недостаточную зрелость славян-неофитов: для них *исхождение* еще не было в той мере сопряжено с отцом, что *ἐκπρευστός* для византийцев. Этую догадку может подтвердить дальнейшее наблюдение. В "Написании" есть отрезок текста, где *ἐκπρευστός*, в согласии с "обычной" переводческой техникой, соответствует *одно лишь исхождение*: (27-29): *ἴδιον γένεσις καὶ γένησις* же есть рождение. *Ἄλλα* же исхождение (*ἐκπρευστός*) и *ταῦτα* отъ *βα* (*ἔξ αὐτῶν τοῦ πατρὸς*) *είναι* рождающее же и исходящее. Так как здесь из общего контекста вполне видно, от кого происходит исхождение, переводчику не было нужды в добавке. В первом же случае такая нужда была: мотивом отхода от греч. источника явилось стремление к полной ясности.

Наконец, третий, последний, обстоятельно прокомментированный показательный пример. Дальше материал будет просто перечисляться. Греч. глагол *προστέμενος* принадлежит к числу высокочастотных и во всех славянских переводах, как правило, имеет соответствием въровати. Так и в "Написании": (9-10) *въроу* (προστέμενος) *ко* *оубо* *въ единого* *бъ* *бца* *въседръжителъ*; (154) *нами* *въроуемо* *есть* (προστέμενα). Конечно, встречается и синонимическое варьирование; так, в одном случае употреблен глагол *съвѣдѣти*: (69-73) *не въ три* *богы* *раставлѣхъ* *единого* *бъ(с)тва...* *съвѣшена* *къж(а)* *о* *отъ* *сихъ* *съвѣнъ* (*ἐπιστάμεθа*). Есть, однако, в "Написании" такой перевод, в котором налицо далекий отход от греч. источника, - и опять перед нами рассуждение Никифора, содержащее сверхсложный теологумен. Говорится о двуприродности: *ἄναγκη γὰρ διπλῶν προστέμοντων τῶν οὐσιῶν, διπλᾶ καὶ* *табта* *сѹи прѹссєзда*, (276-279) *потрѣба* *во* *есть* *соѹгѹбо* *ма* *сѫщество* *въ* *истинѣ* *сѫщема*. *соѹгѹбы* *и* *си* *съ* *нима* *проповѣдати*. Как видим, греч. причастию от *προστέμενо* соответствует двусловный оборот *въ* *истинѣ* *сѫщни*, который, конечно, весьма отошел от формы и содержания греч. источника. Если привлечь к рассмотрению латинский перевод, то здесь имеем обычный однословный аналог: *diplōmētūn* *diplōmētūn* *tōn* *oūsiōn*, *duae creduntur substantiae*. Конечно, как и раньше, о мотивах "свободного" перевода можно лишь догадываться, однако нет сомнения в том, что славянская версия является предельно ясной, недвусмысленной, даже, скажем так, непреклонной. Вот уже, по нашим наблюдениям, в третий раз переводчик отклоняется от греч. исходного тек-

ста, — которого, вообще говоря, он строго держится, — ради полной ясности славянского перевода.

Патриарх Никифор, составитель греческого источника "Написания", раскрывает, среди прочего, типичную для византийской учености символику света: ὁς φῶς ἐκάτερον ἐκ φωτὸς προελθόν, ἐν ὑπεριόδῳ τρισφεγγέσ καὶ τρισήλιον φῶς, (30-33) Тако свѣтъ котороєж (д)о отъ свѣта прошедъ: единъ свѣтъ надъ всѣмъ миромъ. трьмѣсаченъ и трьслѣнченъ. Кирилл, предполагаемый славянский переводчик, по крайней мере трижды проясняет, т.е. делает более определенным, этот греч. исходный текст. Он подтягивает друг к другу разделенные в источнике числительное ἕν (единъ) и относящееся к нему существительное φῶς (свѣтъ). Он вместо τρισφεγγέσ (буквально: трисвѣтель) дает τρъслѣнченъ, а последний образ, несомненно, больше впечатляет, да и хорошо согласуется с трьмѣсаченъ. Наконец, ὑπεριόδῳ переведено не какъкой (типа надъмиренъ), как в лат. *supermundialis*, — а до смысла кальки-неологизма всегда приходится добираться, — греч. сложное слово передано расчлененным и вполне вразумительным словосочетанием надъ всѣмъ миромъ.

Никифор свидетельствует о возможностях согласования априорных истин с разумом: εὔσεβοῦντές τε καὶ ὑγιαίνοντες, (104-105) благовѣроюж и здравъ съи оўмомъ. Вот это перевод так перевод! Υγιαίνω встречается в патристической литературе и, по Лампе, означает: be sound, healthy. Если бы вдохновенный переводчик не прибавил вытекающее из смысла, но эксплицитно отсутствующее в греческом пояснение оўмомъ, то читатель, скорее всего, остался бы в недоумении, — ведь здравъ/съдравъ означает обычно телесное здоровье.

Аналогичное отчетливое стремление избежать двусмысленности заметно у Никифора в месте, продолжающем анализ двуприродности: τέλειος καὶ ἀτρέπτος χρηματίσας κατὰ τὴν ἀνθρωπότηταν ἀπαδής μὲν δὲ αὐτὸς κατὰ τὴν θεότηταν, (212-214) съвръшеннъ и непрѣложенъ вѣкъ по ульствоу. не приемла ст҃о(с)ти по бж(с)твоу. Ападѣс — сложный термин; у Лампе, наряду с переводом, содержится развернутое истолкование: impossible, incapable of suffering; being free not only from pain and emotion but also from any other form of passivity. Ападѣс, вообще говоря, имеет славянский эквивалент-кальку бестрастенъ (она встречается, например, в Суздальской рукописи), однако о смысле любой кальки, как мы сказали раньше, надо гадать. Отказавшись от нее и употребив на месте одного греч. слова двусловный славянский оборот, переводчик, вне сомнения, сделал свой текст более ясным, чем исходный. Остается заметить, что и катафатический термин παθητός также переводится двумя словами: (218-219) приемла ст҃о(с)ти по ульствоу вѣпльти во сѧ; приемла ст҃о(с)ти соответствует παθητός.

Еще примеры придания смыслам фраз большей определенности. Говорится о поклонении — δύστιμον τε καὶ σύνθρονον, прославлену τε καὶ λατρευομένην, (43-45) равноустною и равнопрѣстолномою. кланѣннне приемлашоу и слѹжех. Как видим, однословному греч. причастию соответствуют два слова — кланѣннне приемлашоу. Говорится о различиях

свойств – διάθυος... διά έπι τῶν ἑτεροφυῶν διαφαίνεται, (295–297) слово... еже о разнъстъвнѣхъ естьствѣхъ гавлѣет сѧ. Опять-таки легко заметить, что греч. ἑτεροφυΐς соответствует не славянское слово-калька, а сочетание двух слов. Хотя этот прием перевода одного греч. слова двумя славянскими и не встречается на каждом шагу, все же его можно наблюдать не раз и не два. И каждый раз налицо стремление прояснить ситуацию. Например, в одном чтении Никифор отклоняет от себя воображаемое обвинение в идолопоклонстве и у него вырывается восклицание ужаса ἀπάγε, которое, будучи производным от глагола ἀπάγω 'отводить, уводить', означает нечто вроде 'ни в коем случае'; переводчик дает абсолютно однозначный и весьма идиоматичный эквивалент (339–340) да не бѣдеть. Заканчивая рассмотрение фактического материала, приведем список соответствий типа "одно греч. слово – два славянских": ἀλλοτρίω – (51, 53) тѹжда творити, ἀρχέτυπος – пръвъи образъ (347), θεολѹ́са – бѣжие слово (110), θεοσѹ́мѣю – бѣжие знаменіе (286), λατρεύω – слѹжеж принимиши (45), νοσέω – въпасти въ недѣлѧ (317), обиесибѡ – свое створити (201, 222).

Таким образом, рассмотренный нами фактический материал является качественно однородным; следовательно, перед нами некоторый самостоятельный феномен переводческой деятельности. Кроме того, этот феномен, не будучи высокочастотным, все же повторяется в достаточной мере. Эта его качественная и количественная определенность позволяет говорить о приеме перевода, отличном от четырех выше описанных других переводческих приемов – транспозиции, заимствования, калькирования и ментализации. С внешней стороны этот прием состоит в том, что одному греч. слову ставятся в соответствие два (редко три) славянских. С внутренней стороны прием заключается в придании результирующему славянскому тексту – по сравнению с исходным греческим – большей определенности. Переводчик предвидит, что, если он сохранит исходную форму, то в восприятии читателя возникнет двусмыслица, недопонимание или даже полное непонимание – тот самый "себлазн" (*σιάνδαλον*), "искушение" (*πείρασμός*), которые по средневековой этике совершенно недопустимы. Поэтому переводчик, отказываясь соблюдать "букву", принимает меры, чтобы точно и полно сохранить "дух", опережающим образом снять возможные недоумения. Этот переводческий прием, в аспекте формы заключающийся в увеличении количества номинативных единиц, а в аспекте содержания состоящий в придании тексту большей ясности, т.е. прием, назначение которого состоит в разъяснении переводимого текста, соответственно и предлагается назвать эанс-плакацией.

Прием экспликации не есть характерная черта одного лишь "Написания". Он наблюдается, в частности, уже в евангельских текстах – источнике, несомненно восходящем к переводческой деятельности Кирилла и Мефодия. Соответствующий материал мы частично исследовали раньше⁹, поэтому воспроизведем его весьма кратко. Цитируется Мариинское евангелие по известному изданию И.В.Ягича. Предприняты незначительные графические упрощения.

Сначала об экспликации греческих терминов из области (народной) медицины. В Лк 14,1-2 говорится об исцелении больного водянкой: καὶ ἕβον ἀνθρώπος τὸς ἑνὸς ὑδρωπίκος ἐμπροσθεῖς αὐτῷ, (14,2) и се γέλει εἶναι οὐκετὶ νόσος τούτου. въ предъ ними. Уброптикос - это, по Бауэру¹⁰, wassersüchtig, медицинский термин, употреблявшийся (со времен Гиппократа) врачами, но известный и в народе. Первоучители, очевидно, не нашли готового славянского названия для соответствующей болезни, поэтому прибегли к экспликации; в итоге на месте одного греч. слова имеем три славянских: ины́и вода́нъи труа́з. Синоптики (Мф 9,1-8; Мр 2,1-19; Лк 5,17-26) повествуют об исцелении расслабленного. По-гречески страдающий параличом называется одним словом - паралитикиос: προσέφερον αὐτῷ παραλυτικόν (Мф 9,2); Ερχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικόν (Мр 2, 3). В переводе появляется второе, уточняющее, слово - ослабленъ жилами: πρήνεται εμοὶ οσλαблени жилами; придахъ къ немоу носаште ослабленъ жилами. Подобное же добавление можно встретить в Мф 4,24 (при именовании различных больных). Переводчики, скорее всего, посчитали, что без уточняющего слова вид болезни останется для славян неясным. Ради оценки искусства перевода следует заметить, что как только в начале повествования о расслабленном сделано необходимое пояснение, дальше переводчики уже полагаются на память читателя и отказываются от него: одръ на немъже ослаблены сълежаще (Мр 2,4); Гла ослабленоумоу (2,5.10); что есть оудобѣе решти ослабленоумоу (2,9). Последний из рассматриваемых нами, третий, медицинский термин особенно интересен. Синоптики (Мф 17,14-21; Мр 9,14-29; Лк 9,37-43) согласно рассказывают об исцелении бесноватого отрока, но лишь у одного из них (у Мф) есть упоминание о том, что бесноватый - лунатик: Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, δτὶ σεληνιάζεται καὶ καιῶς πάσχει, (Мф 17,15) Ги. помилован синъ мон. Кто на новыи мѣса вѣсъноетъ сѧ и ѣсть страждеть. Как видим, одному греч. σεληνιάζομαι соответствуют три полнозначных славянских слова - на новыи мѣсаца вѣсновати сѧ. Конечно, перед нами явный случай экспликации. Однако текст привлекает к себе внимание прежде всего тем, что в нем отразился уровень медицинских знаний, характерный для переводчиков и, скорее всего, также и для славян IX в. Сомнамбулизм поставлен в зависимость от влияния лунного света на человека, и оказывается, что особое значение придавалось лишь фазе Луны, следующей за новолунием, - молодому месяцу.

Αποστάτον, по Бауэру, - ein Scheidebrief, причем это ein Ausdruck des Rechtslebens. Первоучители в соответствие ставят два слова: бѣтъ аутѣ апостастон, (Мф 5,31) иже аште поустить женѣ своя. да аште еи книги распоустъныиа. Правда, в двух других чтениях (Мф 19,7 и Мр 10,4), в которых упоминается тот же ветхозаветный закон, греческий источник содержит упоминание о вѣвлѣон. В ссылке на ветхозаветный декалог сказано: (Мф 5, 33) ἐρρέθη τοῖς ἀρχαῖοῖς, οὐκ ἐπιορκήσεις. Переводчики дают двусловный перевод ἐπιορκέω: речено вѣ(с) древнинныи. не въ лѣж кль- неши сѧ. Аналогично: (Мф 5,40) καὶ τῷ θέλοντι σοι κριθῆ-

val, и хоташоумоу сѧдъ примиати съ тобои. Еще раз аналогочно: (Мф 5,44) проще се ѿпèро тѡн єпиреа ѿнтоу ѡмас, (Микл. II) молите ҃а творашта вамъ напасти, причем у синоптика (Лк 6,28) при совпадающем греч. тексте переводчики употребили иное опорное слово, но по-прежнему прибегли к двусловному соответству - молите сѧ ҃а творашта вамъ обидя. Примечательно, однако, что в Савиной книге в Мф 5,44 находим и однословное (явно искусственное, неуклюжее, может быть, принадлежащее спрашивщику) соответствие: молитва дѣнте о напастство ѹжахъ вамъ. В настоящем абзаце мы кратко рассмотрели прием экспликации на материале правовой терминологии, представленной в Евангелии. Нетрудно заметить, что качество приема ничем не отличается от эксплицирования медицинских терминов.

Итак, среди переводческих приемов Кирилла и Мефодия, в том числе приемов формирования терминологии, установлен еще один, по общему счету пятый, - экспликация. Он приводит, как сказано выше, к увеличению количества полнозначных слов в результирующем тексте и к возрастанию его определенности, вразумительности. Экспликация - это не технический, рутинный, регулярно повторяющийся прием, а подлинное творчество. С этой точки зрения она подобна ментализации¹¹. Каждый из случаев перевода, рассмотренных нами, в известном смысле единичен, уникален. Специалисту, вжившемуся в греко-славянские сопоставления, отчетливо видно, какая умственная работа и какое дерзание стоит за переводческим решением. Иными словами, приемы экспликации и ментализации, в отличие от транспозиции, заимствования и калькирования, не могут рассматриваться как переводческая техника. Перед нами подлинное, высокое переводческое искусство. Искусство языковтворчества.

2. Обращаемся ко второй линии в языковтворчестве Кирилла и Мефодия - к созданию поэтической традиции. Здесь мы также продолжаем разыскания, начатые в докладе на IX Международном съезде славистов. (Соответственно там см. ссылки на литературу вопроса).

В переведенной Мефодием гомилии "Слово о сошествии во ад" Епифания Кипрского (далее Епифаниева гомилия сокращенно записывается как ЕГ) воспроизводятся гомеотелевты (сходноконечные колоны и периода) исходного текста. Ср., например:

Упèро νεκροῦ παρακαλῶ
ѹпò пάнтов ἀδικθέντος,
ѹпò φίλου παραβοθέντος,
ѹпò μαθετοῦ πραθέντος,
ѹпò ὀδελφοῦ διωχθέντος...

О мрътвѣ молж
отъ въсѣхъ обидя примишоу,
отъ ароуга прѣданоу вѣзвашоу,
отъ оученика пр(о)даноу,
отъ братија иѣгнѣданоу...

В указанном докладе, а также в иной публикации¹², мы привели довольно много материала; сейчас ограничимся еще

одной выпиской - в ней колоны значительно пространнее. Греческий текст, ради экономии места, пришлось опустить.

и ови тъынцица отъ са́мѣхъ оснований раскопаваахъ,

ови же противънъа силы гондаахъ, [...]

и инии прѣисподнната хранилишта и ныришта и пешти

искадахъ и течадахъ,

и ови дроуѓа дроуѓа инадоу съваљна господеви привождаахъ,

и инии мѫитела вадаахъ,

и дроуѓин вѣчнъа съваљна испоуштаахъ, [...]

и ови въходаштоу вѣнкѣи инадоу господу прѣдтечаахъ,

ови же иако богоу и цѣсароу и покѣителю прѣстонаахъ.

Легко замечается, что среди приемов художественности в ЕГ используется изоколия, или равенство колонов (соотнесенных отрезков поэтического текста). Для изоколии, вообще говоря, характерны три признака, описанные еще первым теоретиком греч. риторики Горгием Леонтийским, а именно: относительная соотнесенность отрезков по объему; тождественность синтаксических конструкций; одинаковость ритма. В ЕГ к этому прибавляется еще эвфонетическая согласованность колонов между собой - они имеют или единоначатие (*διοὶ αρχέτεον*), или единоокончание (*διοὶ οτέλευτον*), или (как в наших примерах) и то и другое одновременно; таким образом, в число приемов создания изоколии входит еще и сходноконечность, краесогласие.

Сходноконечность - это (скажем еще раз) возможное наличие гомеотелевтов, того явления, которое в современных терминах называется грамматической рифмой. Гомеотелевты представляют собой повтор одного и того же морфологического элемента, а подобие лексических основ при этом необязательно.

В предыдущих публикациях мы стремились показать, что Мефодий, работая над переводом ЕГ, воспроизводил не только смысл исходного художественного текста, но и его внешнюю форму. Поэтому он прибегал к передаче славянскими средствами гомеотелевтов, которыми в изобилии украшено творение Епифания. Иными словами, по нашему мнению, к первоучителям, к IX веку, восходит поэтическая традиция вновь созданного общеславянского литературного языка.

Речь идет именно о традиции. Действительно, сознательные повторы одного и того же морфологического элемента ради эвфонетического эффекта можно наблюдать не только в переводных, но и в оригинальных славянских произведениях. Например, в "Слове о законе и благодати" Киевского митрополита Илариона: (Князь Владимир повелел) всѣхъ быти хѣ(с)тианомъ

малыимъ и великиимъ.

рабомъ и свободнъимъ.

жнѣимъ и старѣимъ.

бояромъ и простѣимъ.

благатѣимъ и очевидѣимъ.

капища разошдаахса.

и цркви поставлаахса.

идоли съкроушдаахса.

и иконы станихъ навладаахса.

прослашнъ подаваахъ.

нагъя одѣвaa.

жаднъа и алѣунъа насышахъ.

болящнъа всако оутѣшение посылаахъ.

должнъа искажаахъ.

работнъимъ свободоу адъ.

...

И в "Слове" Илариона немало и других примеров подобной намеренной "игры" гомеотелевтами¹³. Такая же "игра" свой-

ственна также другим славянским художественным текстам. Начало традиции, как сказано выше, по всей видимости, отыскивается в деятельности Кирилла и Мефодия. Сейчас нас интересует протяженность этой традиции во времени. Похоже, что мы можем указать на ее конечную точку.

Во второй половине XIX в. (во всяком случае после 1868 г., а вероятнее в 80-х гг.) в староверческой среде возникла "Повесть дивная", введенная в научный оборот Н.Н.Покровским¹⁴. В ней описывается мученический подвиг некоего Владимира Трегубова, прогнанного сквозь строй. В похвале уральскому казаку Владимиру употреблен тот же прием художественности, что и в Иларионовой похвале великому князю Владимиру:

А третий же брат их бе леты онех младейший,
а разумом и смыслом острейший.

Юности бе плоти своея аки дивный виноград цветяше,
а в разуме же яко красная девица в царском чертозе
седяше.

Мужеством плоти своея по закону царскому вся войинская
хитрости проходжаще,
а духом же аки высокопарный орел на высоту небесную
возлеташе.

И сердечныма очима вся доле плежущая ясно обзиравше
и вся многохитростныя прелести суетнаго мира сего со
удобством разумеваше.

И таковыя ради остроты разума его и душевнаго устроения
всеми читм и любим бяше,
понеже бо он во всякое время и на всякое дело благо-
потребен бываше...

...градстии людие и вельможи яко славнаго властелина
того почитаху,
прости же человеци аки грознаго судию его имеяху,
а разумнии же яко премудраго философа того познаваху.
И вси от мала даже до велика со удивлением к нему
притекаху
и сладкия беседы и медоточных словес в сладость
послушаху.

Нельзя сказать, чтобы "Повесть дивная" на всем протяжении имела установку на эвфонетический эффект, однако похвала определенно свидетельствует о сознательной постановке гомеотелевтов на поэтически сильные позиции текста. Иными словами, хотя бы в старообрядческой среде поэтический прием, введенный славянскими первоучителями и восходящий к византийской книжности, продолжал употребляться еще в конце XIX века! Традиция IX века обрела жизненную силу ровно на тысячу лет!

В настоящем докладе мы сосредоточились лишь на временном размахе традиции. Если же подойти к ней с другими мерками, то гомеотелевты представляют собой шаг на пути к самостоятельной стихотворной речи, приведший к возникновению славянской силлабической поэзии. Следовательно, значение Кирилло-Мефодиевской поэтической традиции для славянской духовной культуры просто невозможно переоценить.

* * *

Создание нового литературного языка всегда коллективно. В конечном счете именно народ - языковорец. Не может быть в том никакого сомнения. И одновременно вклад отдельного человека способен стать для литературного языка судьбоносным. Терминология и средства поэтической выразительности - линии в языковорчестве, несущие на себе особенно отчетливый отпечаток личности.

Конечно, при условии ее гениальности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Верещагин Е.М. К дальнейшему изучению переводческого искусства Кирилла и Мефодия и их последователей. Доклад на IX Международном съезде славистов. М., 1982.

² Верещагин Е.М. Начальный этап формирования философской терминологии в общеславянском литературном языке (IX-XI вв.) // Международен конгрес по българистика. Доклади. Симпозиум "Кирило-Методиевистика и старобългаристика". С., 1982; Он же. К проблеме краесогласия слов в византийской гимнографии (в связи с анализом рифмы в древнеславянских переводах) // ВЯ, 1984, № 4; Он же. Великоморавский этап развития первого литературного языка славян: становление терминологической лексики // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985; Он же. Повтор как поэтический прием в переводах Мефодия // Byzantinoslavica, 1985, 46, I.

³ Верещагин Е.М. К дальнейшему изучению... С. 26-27.

⁴ Там же. С. 40-44.

⁵ Күев К. Иван Александровият сборник от 1348 г. С., 1981.

⁶ Фрагментарную публикацию см.: Верещагин Е.М., Юрченко А.И. Найден греческий источник "Написания о правой вете" Константина-Кирилла Философа // Сов. славяноведение, 1988, № 4. Авторы подготавливают и полное параллельное (греко-славянское) издание.

⁷ A Patristic Greek Lexicon/ Ed. by G.W.H. Lampe. Oxford, 1976.

⁸ Здесь и дальше опираемся на словарь: Slovník jazyka staroslověnského. Pr., 1958.

⁹ Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения в переводческой технике Кирилла и Мефодия. М., 1972. С. 88-111. По сравнению с указанной монографией наша современная интерпретация материала претерпела изменения.

¹⁰ Bauer W. Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. B.; N.Y., 1971.

¹¹ При довольно большом подобии, ментализация и экспликация - это разные переводческие приемы. Ментализация от-

ражает степень и качество интерпретации (понимания) исходного текста переводчиком и не сопряжена с сознательной установкой на разъяснение.

¹² Верецагин Е.М. К дальнейшему изучению... С. 10-14; Он же. Повтор как поэтический прием... С. 52-56.

¹³ Выписки были произведены из кн.: Молдован А.М. "Слово о законе и благодати" Илариона. Киев, 1984. С. 93-95. См. также: Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. I. С. 28. Текст воспроизводится с незначительными упрощениями.

¹⁴ Покровский Н.Н. Биография оренбургского казака. Статья первая// Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984; Он же. Биография оренбургского казака. Статья вторая. Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985; Он же. Путешествие за редкими книгами. М., 1984. Выписка выполнена по последнему источнику (С. 121-122) с теми упрощениями текста, которые принял для себя Н.Н.Покровский.

В. П. Вомперский

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ РИТОРИКИ XVII- НАЧАЛА XVIII ВЕКА

Из всех наук, составивших корпус естественнонаучных и гуманитарных знаний античной культуры, которые были восприняты в Европе в эпоху средневековья и Возрождения, восточным славянам были особенно близки грамматика и риторика. XVII - начало XVIII в. - эпоха начального формирования русской, украинской и белорусской наций, время становления их новых литературных языков. Грамматики и риторики - энциклопедии филологических знаний своего времени - играют заметную роль в жизни культуры народов, в развитии образования и просвещения, в описании литературных языков, процессах их нормализации.

Становление и своеобразие восточнославянской филологической традиции XVII - начала XVIII в. определяется столкновением многовековых славяно-византийских культурных традиций с новыми явлениями европейской культуры, связанными с гуманизмом, Возрождением, реформацией, барокко.

Значительным событием в жизни восточнославянских народов было появление риторик. Традиционные Псалтыри и Часословы учили языку на образцах конфессиональных текстов, дополнившие их буквари и грамматики XVI-XVII вв. представляли собой книги аналитического характера, содержавшие лингвистическую систематизацию элементов, из которых строился текст. Являясь учебной книгой древности, наряду с Псалтырем, Часословом, букварем и грамматикой, старая риторика как тип письменной культуры отличалась от них функционально. Риторика обучала языку на образцовых текстах, ориентирована на репродуцирование заданных текстов, служивших моделью для творческого подражания. И в то же время, являясь аналитической учебной книгой, риторика учила стро-

ить новый текст на основе заданных, систематизированных элементов¹.

Риторика как "искусство", как "художество" выполняла большие культурные и просветительские задачи. Она лежала в основе старого русского образования и просвещения, оказывала влияние на духовный облик учащихся, формировала их жизненную позицию, помогала создать стереотип их жизненного поведения². Для характеристики отечественной риторики XVII-XVIII в. можно с полным основанием применить слова, сказанные о римской риторике: "Риторика предопределила не только стиль речи, но в известной степени и образ мыслей, стиль жизни, ибо она учила не только способу выражения, но и нахождению, топике, ортументации. Поколения учителей, базируясь на опыте, наблюдательности и знаниях, привели в систему то, что механически применял в своей практике римлянин эпохи империи. Он мог прожить жизнь, пользуясь готовыми формулами, не пытаясь углубить и расширить их"³.

До недавнего времени отечественные риторики XVII - начале XVIII в. не служили предметом специального исследования. Как объект историко-лингвистического изучения они были плохо известны и не подвергались полному и систематическому обследованию.

Традиции риторики в России, на Украине и в Белоруссии восходят к риторикам античной эпохи, средневековья и Возрождения, к общеславянской риторической традиции.

Расцвет риторики в XVII - начале XVIII в. связан с созданием и деятельностью четырех культурных центров, в которых ведется интенсивная работа по составлению риторик. Первый (московский) располагается в центральной и северо-восточной России. Второй находится на юго-западе (Украина и Белоруссия). Третий культурный центр размещается на северо-западе России. Четвертый центр (северный) создают старообрядцы.

Московский культурный центр. Он располагается в центральной и северо-восточной России. Здесь создается одна из самых ранних русских риторик, дошедших до нас, относящаяся к началу XVII в. Предполагаемый ее автор митрополит новгородский и великолуцкий Макарий (ум. 12 сентября 1626 г.). Как утверждал Д.С.Бабкин, во время своего пребывания в Вологде Макарий занимался преподаванием риторики и составил учебное руководство для занятий со своими слушателями. Но аргументы Д.С.Бабкина в пользу авторства Макария оказываются не вполне точными и возможно ошибочными⁴.

Последние исследования ее (в частности, анализ сведений историко-культурного характера, содержащихся в ранних списках, и терминологии) показали, что скорее всего этот памятник исходит из Москвы. Так, к 40-м годам XVII в. относится владельческая запись на одном из ее списков о том, что "сия книга Алексеевского девичия монастыря диаконского Артемия Спириданова", который располагался вблизи Кремля, на Чертолье, т.е. на том месте, где в 1837 г. был построен храм Христа Спасителя (ГИМ, Синодальное собр., №433). В пользу мнения о московском происхождении "Риторики" говорит и тот факт, что ее списки получили широкое распространение к западу, северу и востоку от Москвы - местами

создания и бытования списков были Новгород Великий, Ярославль, Вологда, Кирилло-Белозерский монастырь, Коряжемский монастырь на Вычегде, Каргополь, Соловецкий монастырь, обе Ниловы пустыни (Нила Сорского и Нила Столобенского) ⁵.

О происхождении "Риторики", приписываемой Макарию, высказывались различные мнения. А.Х.Востоков и А.Н.Филонов утверждали, что "Риторика" восходит к польскому источнику. А.И.Соболевский считал ее переводом с латинского языка. Д.С.Бабкин определял ее как оригинальное русское сочинение. Существует точка зрения, что "Риторика" имела промежуточный рукописный текст, восходящий к латинскому оригиналу. Таким образом, латинский источник имел польский перевод, с которого впоследствии был выполнен русский перевод. Возможно и другое: русский автор "Риторики" имел в руках два параллельных текста - латинский источник и его польский перевод, сверяя их между собой при работе ⁶.

Удалось установить латинский источник русской "Риторики" начала ХУП в. Это новолатинское сочинение немецкого ученого Филиппа Меланхтона (1497-1560) "Elementorum rhetorices Libri duo(1531 г.), неоднократно издававшееся в XVI в. Ф.Меланхтон, как его называли современники, "учитель Германии" (Praeceptor Germaniae), был автором двух риторик, краткой в двух книгах, широко использовавшейся в школьном преподавании, и пространной в пяти книгах. "Риторика" Макария представляет собой вольный перевод краткой "Риторики" Ф.Меланхтона, приспособленный к русским условиям и соответственно переработанный ⁷. Возможность существования предполагаемого промежуточного текста рукописной польской риторики, восходящей к Меланхтону, очевидна, но необходимо продолжить поиски этого текста.

Русская "Риторика" была создана до марта 1620 г., скорее всего в 1617 - 1619 гг., и состоит из двух книг: книга первая "О изобретеніи дѣл" и книга вторая "О украшениі слова". Составитель "Риторики" отдельные части своего сочинения называет "возслѣдованіями ритора", которым соответствуют 5 традиционных частей риторики: нахождение, расположение, словесное выражение, запоминание, произнесение.

Первая книга русской "Риторики" начинается определениями риторики и ритора. "Риторика есть яже научает пути праваго и житія полезнаго добрословія. Сію же науку сладкогласiem или краснословием нарицает. Понеже красовито и удобно глаголати и писати научает" (ГБЛ, Собр. Ундинольского, № 874, л. 1об; в дальнейшем указывается в скобках нумерация листов рукописи). Риторика, по мнению автора, выполняет в жизни общества большие социально-культурные и просветительские задачи. Наряду с грамматикой, она не только излагает правила построения речи, но и дает советы по топике и аргументации. Риторика рекомендует образцы житейского поведения.

Высокие требования предъявляются и к автору. Чтобы стать ритором, необходимо много учиться, быть образованным человеком. Ритор, пишет автор, должен быть "в науцѣ рече-нія хитр" (л. 2). Содержание речей, или, по терминологии автора, "слов", должно носить общественный характер. "А существо ритора таково есть, чтоб ему о таковых вещах го-

ворити мощно, которые в дѣлах, и на градцких судах по обычаю и по закону господарства того гдѣ родился, бывают пригодные и похвальные" (л. 2).

Далее автор описывает четыре разновидности литературной речи и определяет разные виды силлогизмов, которые соответствуют системе силлогизмов Цицерона и Квинтилиана⁸. "Род научающей" - это "наука или писмо науки, которой учит діалектика". "Род судебный есть же описует браны, или съ- противны двух суперников на судѣ реченія" (л. 4). "Род разсуждающей иже учит радѣти, и совѣтовати кому ни есть в дѣлах своих". "Род показующей" содержит "похваленіе дѣла, или похуленіе" (л. 4).

Следующая глава посвящена учению о композиции жанров "родов дѣл". Таких частей композиции шесть: "предисловіе", "сказание дѣл или считаніе", "предложеніе или объявление дѣла", "укрепленіе", "розвязаніе или толкованіе дѣла", "до- кончаніе".

Завершает первую книгу "Риторики" глава, посвященная "возбужденію или воскуренію" страстей. "Возбужденіе" автор определяет как изобретение должного содержания речи ("показаніе окруженных дѣл") с порождением у слушателей эмоции.

Вторая книга "Риторики" посвящена изложению учения о словесном выражении произведений литературы. Понятие литературы понимается автором в духе эстетических идей своего времени. Это произведения конфессиональных жанров, произведения ораторской, философской и исторической прозы, высокой поэзии. Автор описывает стилистические свойства укращенной речи, "виды вымыслов", "виды риторических слов", т.е. тропы и фигуры, учение о подражании образцовым риторам, систему поэтических вольностей. "Риторика" завершается главой "О тройных родѣх глаголанія", которая содержит учение о трех стилях литературной речи, их языковых средствах и жанрах литературы. Глава свидетельствует о том, что в русском литературном языке второй половины XVI - начала XVII в. ясно обозначаются контуры системы трех стилей и лексико-грамматические различия между ними.

В последнюю треть XVII в. в России получили распространение сочинения по риторике и по поэтике литературы барокко Николая Спафария (1635-1708). Спафарий жил и трудился в России с 1671 г. Он - автор компилиативных сочинений по истории России и по теологии. Но самую важную группу его сочинений составляют труды по риторике и поэтике: "Книга избранная вкратце о девяти мусах и о семи свободных художествах" (1672), "Книга о сивиллах" (1672-1673) - трактат о поэтическом искусстве, "Арифмология" - справочное руководство по "семи свободным художествам", по античной мифологии, культуре и истории древнего мира⁹. Сочинения Спафария появились как результат его педагогической и культурно-просветительской деятельности в царском дворе, в домах русских вельмож, в государственных службах. Труды Спафария опираются на античные, западноевропейские и отечественные источники. В них есть цитаты из произведений Аристотеля, Платона, Плутарха, Тацита, Виргилия, Овидия, византийских авторов, патристической литературы, есть ссыл-

ки на "Русский хронограф", древнерусские повести. Он широко использует грамматическую и риторическую традицию: сочинение "О восьми частях слова", труды Максима Грека, "Греческую грамматику" Константина Ласкариса, "Славенскую грамматику" Мелетия Смотрицкого, первую русскую "Риторику" начала XVII в., сочинение И.Козырева "О ритории похвала и сказание" и т.д.

Симеон Полоцкий - поэт, драматург и проповедник, переехавший в Москву в 1664 г., - по поручению царя Алексея Михайловича преподает "свободные художества" молодым подъячим тайного приказа "в Спасском монастыре за Иконным рядом". В результате преподавания Симеон Полоцкий пишет риторику на латинском языке, до сих пор еще не изданную. В филологическом отношении "Риторика" Симеона Полоцкого связана с научными традициями Киево-Могилянской академии и Полоцкой риторической школы.

Деятелем русского просвещения Софронием Лихудом (ум. в 1730 г.), профессором Московской славяно-греко-латинской академии, в конце XVII в. была написана по-гречески "Риторика", которая в 1698 г. переведена на русский язык монахом Чудова монастыря в Москве Косьмой. При создании своего курса риторики Софроний Лихуд воспользовался теми знаниями, которые он получил, обучаясь в Падуанском и Венецианском университетах. В основу своего сочинения он положил "Риторику" Аристотеля и изданный в Венеции в 1681 г. под именем Франкискоса Скуфоса труд греческого ритора XVII в. Филарета Скуфы. Впоследствии Стефан Писарев перевел это сочинение под названием "Златослов, или Открытие риторских наук, то есть искусство витийства..." (СПб., 1779). Хотя "Риторика" Софрония Лихуда основана на "Риторике" Филарета Скуфы, в ней есть попытки самостоятельного теоретизирования. Так, в обосновании предмета риторики он делит красноречие на божественное, героическое и человеческое и описывает соответствующие жанры и типы речи.

К 1710 г. монах Косьма пишет самостоятельный вариант "Риторики". Создавая текст своего сочинения, он кладет в его основу произведения Аристотеля, Скуфы, Лихуда.

В конце XVII - начале XVIII в. широкое распространение получают сочинения по общей теории красноречия и по ораторскому искусству переводчика Посольского приказа и поэта А.Х.Белобоцкого. Он автор сочинения "Великая наука Раймунда Люллия" - перевода с латинского сочинения испанского философа Раймунда Люллия (1235-1315) *Ars brevis*, пространной "Риторики" и "Книги философской" - краткого трактата по риторике¹⁰.

В основе трудов Белобоцкого лежит идея универсализма, согласно которой универсалии обладают самостоятельным бытием. Поэтому действительность представляет не что иное, как правильное усложнение общих понятий посредством их различных комбинаций. Следуя за логическим порядком понятий, за их комбинацией, можно раскрыть сущность природы вещей и характер их номинации. Белобоцкий, как и Раймунд Люллий, один из последовательных средневековых "реалистов", сторонников панлогизма. Во всех сочинениях Белобоцкого рассматриваются проблемы литературного языка, системы стилей, их языковых средств и жанров.

В начале XVIII в. местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский (1658-1722), проповедник и писатель, создает для своих слушателей в Московской славяно-греко-латинской академии учебник риторики на латинском языке, который в 1705 г. Ф.Поликарпов переводит на русский язык под названием "Риторическая рука"¹¹.

К московскому культурному центру относятся издания Ко-пиевского И.Ф. (ум. после 1710 г.), грамматиста и издателя, который печатает в походной типографии за границей по распоряжению Петра I кириллические книги для нужд "славяно-русского народа". Среди изданных им словарей, учебников, "Руковедения в грамматику во славяно-российскую, или Московскую ко употреблению учащихся языка московского" (Данциг; Штольценберг, 1706) следует назвать "Кратчайшее руководение риторики и одновременно ораторское искусство" (Амстердам, между 1700-1702), которое, к сожалению, не сохранилось¹².

Порфирий Крайский (ум. в 1768 г.), профессор Московской славяно-греко-латинской академии, в течение ряда лет читал курсы риторики и пийтики. В 1733/34 уч. году он прочитал курс риторики своим слушателям, и находившийся среди них молодой М.В.Ломоносов, записал этот курс, который носит название: "Artis Rhetorica Praecepta tres in libros divisa atque ad instruendum Oratorum selectioribus Eloquentiae Fundamentis ad elegantiam styli omni genere dicendi Tradita Moscoviae. Ex anno 1733, in Annu 1734. Octobris 17" (ГБЛ, фонд 183 Муз. (Зап.-европ.), № 279). Об истории рукописи П.Крайского см. исследование Г.Воскресенского "Ломоносов и Московская славяно-греко-латинская академия" (М., 1891).

Юго-западный культурный центр. Активная деятельность по созданию риторики проводилась братскими школами, созданными на Украине и в Белоруссии (входивших в XV - XVII вв. в состав Польско-Литовского государства). В братских школах повышенного типа изучались древние языки, грамматика, риторика, пийтика, диалектика и другие "свободные науки". Наибольшей известностью пользовались братские школы во Львове (основана в 1586 г.), Виленская (основана в 1585 г.), Киевская (основана в 1615 г.). В 1632 г. школа Киево-Богомазовского братства и Высшая коллегия при Киево-Печерской лавре были объединены и реорганизованы в Киево-Могилянскую коллегию (с 1701 г. - Киево-Могилянская академия).

Киево-Могилянская академия являлась главным центром науки и образования на Украине и в Белоруссии. Выработанную в этом учебном заведении на основе творческого переосмысления и дальнейшего развития идей античности, патристики, схоластики, гуманизма и Реформации философскую систему взглядов по типу философского мышления и особенностям изложения концепций следует отнести к позднесредневековой или проторенессансной, а некоторые учения начала XVIII в. можно назвать даже просветительскими.

В киевских архивах сохранились 183 рукописных риторических курса, прочитанных в XVII-XVIII вв. в Киево-Могилянской академии или привезенных из других стран.¹²⁷ Учебников риторики составлены и прочитаны на занятиях в Киево-Могилянской академии, 32 учебника относятся к XVII в.¹³

Среди профессоров, прочитавших курсы риторики, следует назвать таких, как Иосиф Кононович-Горбацкий ("Orator Mohileanus Marci Tullii Ciceronis apparatus partitio-nibus excultus" - "Оратор Могилянский, украшенный совер-шеннейшими ораторскими разделениями Марка Туллия Цицеро-на") (1635-1636 гг.), Иосаф Кроковский ("Penarium Tullia-nae eloquentiae ad usus politicos Roxolanae iuventutis in collegio Kiovomohylaeano..." - "Кладовая Туллианского красноречия к политическому употреблению украинской моло-дежи в коллегии Киево-Могилянской...") (1683-1684 гг.), Иоаннинский Валяевский ("Rhetor roxolanus ad mentem sua patriae eruditus nobilique inventuti in collegio Kioviensi ad usum productus..." - "Ритор украинский согласно обычая своей отчизны обученный и для пользы благородного юноше-ства в коллегии Киевской...") (1689-1690 гг.), Михаил Они-кимовский ("Triumphus cum anni laboris victoria in facun-da Mohilaean palestrae arena Tulliano tirocino trimphan-dus" - "Триумф в честь победы в годичном труде на благо-датной арене Могилянской палестры, благодаря туллианскому начинанию происходящей") (1696-1697 гг.), Иосиф Туробой-ский ("Cornucopiae artis oratoriae omni genio eloquentiae fructus..." - "Рог изобилия ораторского искусства, наслаж-дение всякому гению красноречия...") (1700-1701 гг.), Фео-фан Прокопович ("De arte Rhetorica Libri X pro informanda Roxolana iuventute utriusque eloquentiae studiosa..." - "Десять книг о риторическом искусстве для обучающейся ук-раинской молодежи и изучающей оба вида красноречия...") (1706 г.)¹⁴, Сильвестр Кулябка ("Praeceptiones quaedam de eloquentia comparanda..." - "Некоторые наставления о при-обретении красноречия...") (1733 г.) и т.д.¹⁵

Эти риторики имеют вполне светский характер, хотя в них рассматриваются и богословские вопросы. Образцом для сос-тавления риторик киево-могилянских профессоров служила те-ория античной риторики, представленная в трудах Аристоте-ля, Цицерона, Квинтилиана. Киево-могилянские риторы прини-мают традиционное деление риторики на пять частей: нахож-дение, расположение, изложение, запоминание, произношение, рассматривают теорию трех стилей - высокого, среднего и простого. В риториках прослеживаются гуманистические идеи. В них часты ссылки на произведения гуманистов эпохи Воз-рождения: Ю.Мельхиора, А.Мануция, Дж. Понтана, Я.Квятке-вича, М.Сарбиевского, Э.Роттердамского и др.

Киево-могилянские риторики конца XVII - начала XVIII в. от-личаются своеобразием структуры и содержания. Авторы стре-мились включить в риторики актуальные общественно-полити-ческие вопросы. Людям во время судебных разбирательств тре-бовалось отстаивать свои имущественные, социальные права, а поэтому в риториках встречаются разделы, посвященные пу-бличным судебным речам, приводятся примеры различных до-казательств и опровержений, которые касаются не только су-дебных, но религиозных и других вопросов. Особое внимание уделялось умению составлять письма, поздравления, панеги-рики. Авторы описывают современные исторические события (например, взятие украинскими казаками турецкой крепости Кизикермен в 1695 г., взятие Азова Петром I в 1696 г. и

т.д.), прославляют деятельность государственных, общественных, церковных деятелей: Петра Могилы, Стефана Яворского, Петра I, Дмитрия Ростовского, В.Б.Шереметьева, Д.М.Голицына и др.

Для культуры Украины и Белоруссии, для истории украинского и белорусского литературных языков большое значение имело сочинение ректора Киево-Могилянской академии Иоанникия Галятовского "Наука альбо способ зложеня казаня", в котором впервые на "природном" литературном языке Юго-Западной Руси были изложены основные понятия стилистики, риторики и гомилеметики. Это сочинение в составе сборника "Ключ разумения" было напечатано в Киеве в 1659 г., затем последовали два львовских издания в 1663 и 1665 гг. и многочисленные русские переводы¹⁶.

Первая печатная риторика у восточных славян вышла на латинском языке в Любче над Нemanом в печатном дворе Петра Бласта Кмиты "Compendium rhetoricum... in usum Scholae Slucensis" ("Краткое пособие по риторике... для пользования в Слуцком лицее"). Исследователи относят ее издание к 1629–1631 гг. Автор "Компендиума" Адам Рейнгольд – один из ректоров лицея¹⁷. В начале XVII в. на землях Белоруссии существовали четыре типа учебных заведений: братские, иезуитские, униатские и протестантские. Слуцкий лицей существовал как учебное заведение, материальная помощь которому поступала от верующих протестантов, принимались в него молодые люди различного вероисповедания. Это было светское учебное заведение. О гуманистическом характере образования говорилось в уставе Слуцкого лицея: "Раскрыта дверь, ведущая к нашим грациям и музам, для всех честных и искренних людей. Возраст, положение, вероисповедание не представляют для нас никакой помехи. Место на этих школьных скамьях предоставлено бедняку не меньше, чем Крезу, католику не меньше, чем стороннику Реформации. И наконец... пусть никого не оттолкнет от нашего порога расхождение в религии, не отторгнет от обладания доступным счастьем из-за беспочвенного и вредного страха"¹⁸.

В слуцкой риторике 71 страница, четыре основные части. В первой – представлены "Методы, вопросы и каноны". Вторая часть содержит "Определения всего всего искусства красноречия". Третья – "Специальная риторика" – знакомит с применением специальных приемов. Четвертая часть имеет три подраздела, в которых рассматриваются примеры риторического подражания, изменения, анализа. Ссылаясь на выводы Платона из "Горгия", автор различает настоящую, истинную, плодотворную риторику и подкрашенную, бесполезную, ложную риторику. "У одной цель благо, у другой – развлекательность. Первую Платон рекомендует и восхваляет как искренность, вторую – отмечает как манерность".

Следует указать на одно неизвестное в истории языко-знания филологическое издание. Это напечатанное в Черниговской типографии в 1698 г. руководство по риторике Лаврентия Кршоновича, справщика типографии и игумена Троицко-Ильинского монастыря, "Ilias oratoria sive brevissima summa rhetoricae..." ("Ораторская Иллиада, или кратчайшая сумма риторики..."). Эта книга на латыни была предна-

значена для обучения сыновей князя Б.А.Голицына и содержала следующие разделы: роды речей, тропы, фигуры, поэтический синтаксис, эмблематика, теория амплификации, композиция жанров поэтической речи, методы убеждения и способы произнесения слова¹⁹.

Северо-западный центр. Деятельность его проходила в Новгороде Великом, во Пскове, в Иверском монастыре, Александро-Свирском монастыре, в Александро-Невском монастыре Санкт-Петербурга, основанном в 1703 г., в семинариях и училищах. Здесь была переработана первая русская "Риторика". Новая "Риторика" конца XVII в. сохранилась в многочисленных списках, сделанных на северо-западе России в конце XVII - начале XVIII в. В одном из списков указывается автор и время ее составления: "Писавый сю книгу, глаголемую ріторіку, многогръшный книгописец Михаил Іоаннов сын Усачев. В лѣто 7207 (1699) год мѣсяца в день" (ГИМ, Собр. Щукина, № 803, л. 154 об.). Об Усачеве известно еще, что в 1697 г. он переписал "Азбучный патерик"²⁰.

Схему расположения материала Усачев заимствует из "Риторики" начала XVII в., но его "Риторика" более обширна по своему изложению и значительно пополнена новыми наблюдениями и выводами. Усачев определяет риторику так: "Риторика есть художество, еже учит слово украшати и отвещавати" (л. 1). Особенно много наблюдений и обобщений содержится во второй книге, посвященной описанию стилистических свойств украшенной речи, и, в частности, в главе о трех стилях, которая носит название "О приличном положении речений и сказаний".

Сочинение Иоанникия Галятовского "Ключ разумения", как известно, было написано и напечатано на литературном языке юго-западной Руси. Язык этого сочинения был "мало вразумителен" русским читателям, которые в конфессиональном обиходе использовали тексты, написанные и напечатанные на книжнославянском языке. Поэтому после выхода в свет книги Иоанникия Галятовского предпринимаются переводы "Ключа разумения" на книжнославянский язык. Один из них был сделан по распоряжению Новгородского и Великолуцкого митрополита Питирима в Иверском монастыре в 1699 г.²¹. Аналогичный перевод был сделан также на "славено-русский язык" в Александро-Свирском монастыре Лаврентием Сназиным "по общашню при своем животъ своею рукою"²².

Автор первой петербургской риторики, написанной не позднее 1720 г., Георгий Данииловский, получил образование в Москве, в Славяно-греко-латинской академии. В дальнейшем его жизнь протекала в Петербурге. В Петербурге он был иеромонахом Александро-Невского монастыря и преподавал там риторику²³.

"Риторика" Георгия Данииловского построена по принципу традиционной классической риторики. Она делится на пять частей. Но содержание ее переработано автором в расчете на использование "Риторики" применительно к соответствующим социально-речевым и историческим условиям России начала XVIII в. "Риторика" представляет собой руководство для "сочинения великаго слова церковнаго и гражданскаго, также и слов политических, како-то: привѣтствовательных, позд-

равительных и благодарственных и прочих сим подобных во употреблениі добраго гражданства бываемых" (л. 4). "Риторика", как видно из предисловия и дальнейшего изложения, предназначалась не только духовным, но и светским деятелям бурной Петровской эпохи, когда острые идеиные споры по политическим, философским, теологическим вопросам требовали умения отстаивать свои взгляды, владеть богатствами русской речи.

"Риторика" Георгия Данииловского описывает функциональные разновидности литературуной речи - "роды речей", обращая особое внимание на деловую речь. Он выделяет "род показательный", "род разсудительный" и "род судебный". Автор исходит из того, что в литературном языке существует "три глаголанія роды" - "вышній", "средній" и "нижній". В своем руководстве он обращает внимание на произведения высокой литературы. Термину "род глаголанія" у него соответствует термин "штиль" или "штыль". "Штиль", как разъясняет Георгий Данииловский, - это или "образ глаголанія" (л. 38), или "образ писанія" (л. 34).

Всем произведениям высокой литературы должны быть присущи такие стилистические качества, как "краткость, простота, общеноародность, чистота, ясность, украшение, пристойность".

Автор руководства уделяет большое внимание композиции риторических слов. Он выделяет два типа композиции. Первый тип - это "естественный или плинианский". Георгий Данииловский видит образец этой композиции в "Слове похвальному Траяну, цесарю римскому" Плиния Младшего (100 г. н.э.) - в произведении высокого гражданского звучания, популярном у русских читателей в начале XVII в., на которое он ссылается. Второй тип композиции носит у автора описательное название "от меньших частей части слова восходят к большим" (л. 27). Он основан на учете принципа последовательного логического следования ее частей.

Северный культурный центр. Его создают старообрядцы в Выгорецком общежительстве. Глава Выгорецкой общины раско-лоучитель Андрей Денисов (1674-1730) преподавал в созданной им школе (после основания общежительства в 1694 г.), которую он хотел преобразовать в старообрядческую академию наподобие Московской и Киевской академий. Для этой цели он, его брат Семен Денисов (1682-1740), и их ученики переписывают весь корпус риторик XVII - начала XVIII в. (первая русская "Риторика" начала XVII в., приписываемая Макарию, "Риторика" Усачева, "Риторика" Софрония Лихуда", "Гомилетика" Иоанникия Галятовского, "Риторика" Косямы, риторические сочинения А.Х.Белобоцкого, "Риторическая рука" Стефана Яворского), а "Риторику" Феофана Прокоповича переводят с латинского языка и перерабатывают в соответствии со своими идеино-философскими и религиозными воззрениями. В науке эта риторика известна как "Поморская риторика" (ГИМ. Собр. Барсова, № 2284; БАН. Собр. Дружинина, № 155; ГПБ. Q.XV.14 (Богд. 116)). В 30-е годы XVIII в. на их основе Семен Денисов вместе с Мануилом Петровым создал оригинальную Выговскую Риторику - свод²⁴.

Дальнейшая судьба риторики как одного из "свободных художеств" связана с процессами, происходившими в сфере научного и практического знания в эпоху Просвещения. Появление прозаических жанров (романа, повести, рассказа), занявших центральное место в литературе нового времени, приводит к тому, что старое античное разделение поэтики и риторики, основанное на том, что поэзия имеет дело с вымыщенным материалом, а проза (ораторская, философская, историческая) - с реальным, оказывается смешанным. Граница между риторикой и поэзией стирается. Центральная часть риторики - учение о словесном выражении - получает название стилистики и становится частью новой филологии (в литературоведении и в языкоznании). Разделы старой риторики, связанные с жанрами судебной и проповеднической речи, получают отдельный коммуникативный статус. Дальнейшая судьба старой риторики, ее трансформация, ликвидация региональных культурных центров связаны с деятельностью М.В.Ломоносова - основоположника отечественного языкоznания, лингвиста, положившего начало описательному и сравнительно-историческому изучению языка, создателю стилистики как науки, создателю риторики как учения о речевой деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ср.: Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. С. 7.

² К середине XVIII в. в России существовало свыше 30 учебных заведений духовного ведомства. Среди них были академии в Москве и в Киеве, семинарии и школы в Петербурге, Харькове, Новгороде Великом, Рязани, Казани, Нижнем Новгороде, Туле, Орле, Твери, Смоленске, Переяславле, Вятке, Холмогорах, Тобольске, Иркутске, Пскове, Коломне и в других городах. Далеко не все окончившие курс в академии и семинариях оставались в духовном ведомстве, некоторые использовались на гражданской службе в качестве переводчиков, учителей, на канцелярской работе и т.д. (см.: Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. Л., 1976. С. 28 и след.).

³ Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в древнем Риме. М., 1976. С. 266.

⁴ См.: Бабкин Д.С. Русская риторика начала XVII в. // ТОДРЛ. Т. VIII. М.; Л., 1951. С. 326-353. Критика положений Д.С.Бабкина содержится в статье: Булакина Т.В. Изданиепервой русской риторики. Русская литература, 1981, № 4. С. 234-237. - О жизни и деятельности Макария см.: Аннушкин В.И., Булакина Т.В.Статья "Макарий" в Словаре книжников и книжности Древней Руси // ТОДРЛ. Т. XL. Л., 1981. С. 126-128.

⁵ См.: Аннушкин В.И. Редакции "Риторики" начала XVII в. // Древнерусская литература. Источниковедение. Отв. ред. Д.С.Лихачев. Л., 1984. С. 234-248.

⁶ Востоков А.Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842. С. 238; Филонов А.Н. Русские учебники по теории прозаических сочинений //ЖМНП. 1856, апрель. С.3; Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII вв. - СПб., 1903. С. 119-120; Бабкин Д.С. Указ. соч. С. 326-353; Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В.Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970; Аннушкин В.И. Композиция и терминология первой русской "Риторики" // Риторика и стиль. М., 1984. С. 42-68.

⁷ Наиболее важные списки русской "Риторики": начальная редакция от 1620 г. (ГИМ, Синод. собр., № 933); 2-я пространная редакция создавалась в январе 1622 г. (ГИМ, собр. Шукина, № 941; ГПБ, Соловецкое собр., № 110; ГБЛ, собр. Ундрольского, № 874, № 875; БАН, Архангельское собр., № 526 (Древлехранилище)). Сейчас известны 34 списка "Риторики", сделанных на протяжении XVII в. Р.Лахман воспроизвела фототипическим путем рукопись первой русской "Риторики" (ГБЛ, Собр. Ундрольского, № 874): Lachmann R. Die Makarie - Rhetoric// Rhetorica slavica. Köln, 1980.

⁸ См.: Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972. С. 18; Квинтилиан Марк Фабий. Двенадцать книг риторических наставлений. СПб., 1834. С. 190.

⁹ См.: Спафарий Н. Эстетические трактаты/ Подготовка и вступ. ст. О.А.Белобровой. Л., 1978.

¹⁰ Лишь одно сочинение А.Х.Белобоцкого издано: Книга философская, сложенная Андреем Христофоровичем. Изд. ОДДП. СПб., 1878. Вып. XX. Остальные его сочинения известны в рукописях: Белобоцкий А.Х. Великая наука Раймунда Люллия (ГПБ, Рукописное отделение, №. I); Белобоцкий А.Х. Риторика (ГБЛ, Собр. Егорова, № 1363). - Из литературы о Белобоцком А.Х.: Безобразова М.В. О "Великой науке" Раймунда Люллия в русских рукописях ХУП в.// ЖМНП, 1896, № 2. С. 383-399; Дружинин В.Г. К вопросу об авторе сокращения "Великой науки" Раймунда Люллия// ИОРЯС, Т. 19, кн. I. 1914. С. 342-344; Вомперский В.П. Стилистическая теория А.Х.Белобоцкого// Лингвистические аспекты исследования литературно-художественных текстов. Калинин, 1979. С. 9-29; Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.

¹¹ См.: Стефан Яворский. Риторическая рука. Пер. с латинского Федора Поликарпова. СПб., 1878.

¹² См.: Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Биографический словарь. Минск, 1976. Т. 1. С. 123; Бикова Т.А., Гуревич М.М. Описание изданий, напечатанных кириллицей (1689-январь 1725 г.). М.; Л., 1958. С. 318-342.

¹³ См.: Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики Киево-Могилянской академии. Киев, 1982.

¹⁴ "Риторика" Феофана Прокоповича переведена на украинский язык и опубликована в кн.: Феофан Прокопович. Філософські твори. Київ, 1979. Т. 1. Феофан Прокопович прочи-

тал на латинском языке в 1705 г. в Киево-Могилянской академии курс "De arte poetica", который издал его ученик Георгий Конисский в Могилеве в 1786 г.: "De arte poetica libri III ad usum et institutionem studiosae juventutis roxolanae dictati Kioviae in Ortodoxa academia mohileana anno Domini 1705. Mohiloviae, 1786; Русский перевод этого сочинения опубликован в издании: Феофан Прокопович. Соч. / Под ред. И.П. Еремина. М.; Л., 1961. С. 229-455.

15 В киевских архивах сохранилось несколько рукописных поэтов. См.: Сивокінь Г.М. Давні українські поетики. Харків, 1960. Одна из самых ранних поэтов представляет собой запись Андрея Старновецкого под наблюдением М. Котозварского курса лекций, прочитанных в Киево-Могилянской академии в 1637 г. Этот курс лекций в украинском переводе опубликован в статье: Крекотень В.І. Київська поетика 1637 року // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI-XVIII ст. Київ, 1981. С. 118-154.

16 Об истории изданий см.: Огиенко И. Издания "Ключа разумения" Иоанникия Галятовского// РРВ. 1910, № 2. С. 263-307.

17 Обстоятельства обнаружения "Риторики" Рейнгольда, ее описание и перевод на русский язык сообщены: Порецкий Я.И. Слуцкий компендий по риторике// Республ. межведомств. науч. сборники. Педагогика и психология. Вып. IX. Вопросы истории школы и педагогики в БССР. Минск, 1976.

18 См.: Порецкий Я.И. Устав Слуцкого лицея// Республ. межведомств. сборники. Методы обучения иноязычной речи. Минск, 1972. Вып. 2. С. 186.

19 См.: Вомперский В.П. Неизвестная "Риторика" Лаврентия Крицоновича 1698 г. К истории стилистических учений // Стилистика художественной речи. Калинин, 1982. С. 91-101.

20 Будоевич И.У. Словарь русской, украинской и белорусской письменности и литературы до XVII в. М., 1962. С. 348.

21 См.: Шляпкин И.А. Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651-1709). СПб., 1891. С. 132; Иоанникий Галятовский. Ключ разумения. Рукопись, в лист, 334 лл., полуустав конца XVII в., с разрисованными буквами, заставкою (8 л.) и виньетками, в дощатом с кожею переплете// ЦГИАЛ. ф. 834, ед. хр. 3817. См. также: Описание рукописей, хранящихся в Архиве святейшего правительствующего Синода. СПб., 1910. Т. 2. Вып. 2. С. 607-608. Другой список перевода был сделан в 1699 г. в том же Иверском монастыре: БАН. Сборная рукопись слов и поучений, составленная из пяти рукописей последней четверти XVII в. Шифр 33.11.4. См. описание этой рукописи: Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение Библиотеки имп. Академии наук в 1904 г. СПб., 1907. С. 46.

22 См.: Иоанникий Галятовский. Ключ разумения. Рукопись, в лист, 399 лл., писана полууставом Петровского времени// БАН. Собр. Александро-Свирского монастыря, № 26 (75). См.

также: Викторов А.Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной России. СПб., 1890. С. 181.

23 См. описание "Риторики" Георгия Данииловского в кн.: Родосский А. Описание 432-х рукописей, принадлежащих Санктпетербургской духовной академии и составляющих ее первое по времени собрание. СПб., 1894. С. 230. В настоящее время эта рукопись находится в Государственной публичной библиотеке им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. О "Риторике" Георгия Данииловского см. статью: В.П.Вомперский. Первая петербургская риторика начала XVIII в.// Восточные славяне: Языки. История. Культура. К 85-летию академика В.И.Борковского. М., 1985. С. 231-237.

24 Из новых работ об Андрее и Семене Денисовых как теоретиках старообрядческой риторики: Зубов В.П. К истории русского ораторского искусства конца XVII - первой половины XVIII в.: (Русская люллианская литература и ее назначение)// ТОДРЛ. М.; Л., 1960. Т. XVI. С. 288-303; Понирко Н.В. Выговское силлабическое стихотворство// ТОДРЛ. Л., 1974. Т. XXIX. С. 274-283; Понирко Н.В. Учебники риторики на Выгу// ТОДРЛ. Л., 1981. Т. XXXVI. С. 154-162.

А. Головачева, Вяч. Иванов, Т. Молошная,
Т. Николаева, Т. Свешникова

ТИПОЛОГИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Настоящий доклад строится на обобщенных результатах специального монографического исследования типологии способов выражения посессивности в славянских языках (для сопоставления с балкано-славянскими языками привлекались также факты румынского языка).

Посессивность понимается здесь как такое отношение между объектами внешнего мира, при котором один из них (объект обладания, обладаемое) "включается" в другой (обладатель, посессор), составляя с ним единое физическое и/или функциональное целое.

Человек, человеческое Я - его духовное начало, его тело и части тела - представляет собой физическое, духовное и функциональное единство, являющееся своего рода "моделью", по которой структурируются и другие типы отношений посессивности, и в первую очередь - неотчуждаемости. Репликами такого осмысления отношений между Я и ближайшими объектами внешнего мира следует считать, по-видимому, ряд семантико-сintаксических, словообразовательных и лексических феноменов, например, субстантивацию притяжательного местоимения и родительного принадлежности при обозначении супружеских (и других родственных) отношений, ср. чеш. *svojí* 'супруги', 'свои', т.е. 'принадлежащие друг другу', 'взаимно связанные в единое целое'; ср. также отражающее архаичное словоупотребление (в конечном счете общеиндоеевропейское) русск. *свои*, *свой* 'относящийся к тому же социальному, племени, связанный взаимной неотчуждаемой принадлежностью в единое функциональное целое', а также простореч-

ные формы мой, твоя при обозначении супругов; славянские фамилии, восходящие к притяжательным прилагательным (Петров, Фомин), родительному принадлежности (*Живаго*) или являющиеся результатом контаминации этих двух способов (Фоминих), что может служить одним из свидетельств большей архаичности притяжательного прилагательного по сравнению с родительным принадлежности; ср. также аналогичные словообразовательные модели, производящие женские имена от соответствующих мужских типа польск. *zynowa* 'жена сына, невестка', *dyrektorowa* 'жена директора', женские фамилии типа польск. *Falczakowa* <*Falczak*, чеш. *Ivanovová* <*Ivanov* и т.п.; как нерасторжимое целое представлены супружеские пары в польских словообразовательных моделях типа *synostwo*, *wijostwo* и т.п., а также в русской лексеме *половина*, служащей для обозначения любого из супругов; при этом другой из супругов рассматривается как единое целое, как единство двух людей.

Как показывают языковые данные (в частности, рефлексивные конструкции, задачей которых является отождествление двух актантов), границы Я могут проходить не только за пределами тела, но и внутри тела, ср. russk. *поджать под себя ноги*, польск. *pies bierze ogon pod siebie, nogi ugierały się pode mną*, чеш. *jde na dlouhých nohách, vložil na sebe ruku*, а также слвц. *Strkol k sebe mikrofón a ako bez seba kričal*, где второе Я отождествляется с душой, противопоставленной телу. В некоторых языках отношение между лицом и внутренним или ближайшим внешним пространством предстает как неотчуждаемое, ср. польск. *w jej wnętrzu, po jej prawej stronie* и т.п. Сравнительно-исторический анализ славянских пространственных релятивных имен, превращающихся позднее в предлоги (типа **perdъ*, **zadъ* и т.п.) показывает, что в славянском, как и в западнобалтийском, они восходят к существительным, использовавшимся некогда в притяжательных конструкциях, обозначающих отношения неотчуждаемости, типа др.-хетт. *peram-mit* 'передо мной' (буквально 'передняя сторона-моя')¹.

Как неотчуждаемое представляется отношение лица к ближайшим предметам, в первую очередь к одежде, которая может трактоваться: а) как абстрактная сущность (концепт, константа) и в этом случае осознаваться как неотчуждаемая принадлежность по функции ('одежда - то, что одевает'); б) как продолжение тела, его неотчуждаемая часть (такой тип отношения реализуется в динамике, ср. russk. *схватить кого-либо за руку/за рукав*); в) как предмет собственности, т.е. как отчуждаемый объект, способный к смене посессоров; отношение лица к локусу обитания, который может (в случае индивидуального обладания) рассматриваться и как локус (принадлежность по функции), и как собственно принадлежность; в первом случае возможно "слияние" посессора с его локусом, который осознается как его "продолжение", ср.: Он пришел ко мне в комнату, домой (заметим, что наименование локуса может в этом случае элиминироваться, поскольку отношение посессор - локус заключено в самом глагольном словосочетании, ср.: Он пришел ко мне 'вшел в мой локус' / Он подошел ко мне 'приблизился'); язык дифференци-

рует понятие локуса для единичного и множественного посессора: так, наименования территориальных единиц, соотносимых обычно с множественным посессором, могут соотноситься и с единичным посессором, если такая связь осознается не только как территориальная, но и функциональная (ср. ... мой труд вливается в труд моей республики); отношение к конкретному жилищу может трактоваться как отношение неотчуждаемости только в том случае, если посессор представлен в полном объеме, ср.: мой дом (индивидуальный) - мне отремонтировали дом, но: мой дом (коммунальный) - *мне отремонтировали дом (возможно только: нам отремонтировали дом); отношение лица к ряду других предметов, "ближайших" к лицу (набор соответствующих концептов - констант - в значительной степени определяется этническими и социальными факторами): к домашней утвари, предметам личного обихода, в архаичных коллективах - к орудиям труда, оружию, в современном мире - к различным документам, удостоверяющим личность (паспорт, визитная карточка и т.п.).

Родственные и некоторые другие отношения лица - "обладателя" к лицу - "обладаемому" могут осознаваться языковым менталитетом не только как отношения часть - целое (см. выше), но также и как отношения собственности (принадлежности и обладания), нашедшие свое отражение в семантике глагола типа russk. *обладать, взять (в жену); принадлежать, отдаваться; др.-русск. поять женя, польск. rojać za żopę* и т.п.

Отношение принадлежности, "вхождения", может быть выражено не только категориальными средствами (притяжательными местоимением и прилагательным), но и рядом некатегориальных средств: родительным принадлежности (обычно не употребляемым для обозначения частичного владения, ср. *сын Петра/*город Петра*; подобное сочетание становится возможным, если речь идет не о частичном владении объектом коллективного обладания, а о единичном обладании - принадлежности по функции: *город Петра 'город, построенный Петром'*); предикативными конструкциями: это платье - мое, это платье принадлежит мне, это платье ношу я (подобные конструкции невозможны с "чисто релятивными" именами, ср.: **эта жена - моя, *этот сын - мой*).

Отношение обладания, "включения" также располагает определенным набором средств для своего выражения; например, конструкции обладания: 'X имеет R' и другие глагольные конструкции включения типа 'X носит (имеет на себе) R', именные словосочетания типа russk. девушка с голубыми глазами, польск. *dziewczyna o jasnych włosach*, а также беспредложные словосочетания типа чеш. *pán s čedivými vlasí*, russk. человек высокого роста (этот способ наиболее продуктивен, если R является абстрактной константой); конструкции включения с именами абсолютно неотчуждаемых объектов не могут быть употреблены без атрибута, поскольку отношение включения входит в картину мира; польск. **ten pan ma oszy, чеш. *pán vlasí, слвц. *člapík s obáti, чеш. *žena na nohách, *holčička v katech*, польск. **górník w ubraniu roboczym*. Такие конструкции с именами абсолютно неотчуждае-

мых объектов являются конструкциями обладания лишь формально, по сути они указывают лишь на таксономические отношения (на признак абсолютно неотчуждаемого объекта обладания, являющийся характерной особенностью посессора).

Отношение включения может быть выражено также словообразовательным способом с помощью прилагательных соответствующей семантики, которые могут указывать как на собственно обладание (для относительно неотчуждаемых объектов, ср. *детный*, *женатый*, *усатый*, *бородатый*), так и на "обладание признаком R" (для абсолютно неотчуждаемых объектов, ср. *длиннорукий*, *сероглазый*, *прямодушный*). При этом указание на признак абсолютно неотчуждаемого объекта обладания содержится и в тех моделях, где отсутствует имя признака, ср. русск. *носатый* 'с большим носом', чеш. *nohatý* 'с длинными ногами' в сопоставлении с *усатый* 'имеющий усы', *rohatý* 'имеющий рога' и т.п.

Глагольные, именные и словообразовательные модели могут выражать также идею "необладания": *у Петра нет ноги*, *человек без ноги, безногий*; прилагательные, образованные от имен абсолютно неотчуждаемых объектов, употребляются часто в переносном значении, обозначая "необладание" соответствующей функцией объекта, а не самим объектом, ср. *бездушный*, *бессердечный* 'не способный к состраданию', *безрукий* 'не умеющий выполнять ручные работы'; *безмозглый* 'не способный думать' и т.п.

Обладание негативным признаком объекта, а также необладание объектом могут быть выражены и лексическим способом, с помощью прилагательных, существительных и глаголов, имплицитно содержащих в своей семантике указание на соответствующую часть тела, признак которой (несовершенство выполняемой ею функции) приписывается самому посессору: прилагательные типа *хромой* 'с поврежденной ногой', *косой* 'с косыми глазами', *слепой* 'с невидящими глазами', *лохматый* 'с непричесанными волосами', а также *лисий* 'без волос', *голый* 'без одежды', *босой* 'без обуви'; прилагательные, характеризующие животных по цвету шерсти: *гнедой*, *каурый* и т.п.; существительные, обозначающие человека по цвету волос: *блондин*, *бронет*, *шатен*; глаголы типа *хромать*, *косить*, *седеть* и т.п.

Для диахронической типологии способов выражения притяжательности в праславянском языке, отдельных его диалектах и современных славянских языках важнейшей является проблема, поставленная Н.С.Трубецким², который показал, что в старославянском в парадигму склонения существительных, обозначающих одушевленные лица, входила притяжательная форма, лишь в позднейших славянских языках (в том числе и в поздних изводах церковнославянского) постепенно переосмыслившаяся как форма притяжательного прилагательного. На основе применения критериев формализованного описания к аналогичному выводу приходят и в новых исследованиях по древнерусскому языку. В частности, в последнем словаре древнерусского диалекта берестяных грамот все подобные именные формы снабжены составителем (А.А.Зализняком) особой пометой³. В грамотах XI-XIII вв. это такие формы, как: *братень от братъ* (в *братни долгъ*), *божии от богъ*

госпожъ от господъ (жена вола і твоя), женень от жена, княжъ от кназъ, козин от коза, отечъ от отецъ, посадничъ от посаднику, робии от робъ, Иванъ от Иванъ, Ик(в)ль от Икевъ, Ратьсл(в)ль от Ратьславъ, Сдославъ от Сдославъ по архаическому типу наряду с большим числом производных от личных имен с суффиксами -инъ и -ово: Ильинъ, Ивановъ и т.п. Вхождение особой посессивной формы этого типа в парадигму имени также имело место в старочешском и сохранилось до настоящего времени в словацком и лужицком языках, хотя по отношению к фактам этих языков, как и сербскохорватского, типологически отчасти с ними сопоставимого в этом плане, возможны и другие решения. На основании всех перечисленных древних и современных языков наличие особой именной формы посессива предлагается для праславянского, в котором соответственно не реконструируется родительный падеж в притяжательной функции. В этом отношении (и по характеру суффиксов некоторых притяжательных форм) обнаруживается значительное сходство праславянского с такими архаическими индоевропейскими диалектами, как лувийский и тохарский. Возможно, что это явление праславянской грамматики отражает общеиндоевропейские черты, сохраненные в названных диалектах.

Однако в большинстве современных языков остались лишь следы древней ситуации в преобразованной форме. В ряде языков в функции древних парадигматических притяжательных форм имени выступают притяжательные прилагательные. Согласуясь с существительным в роде, числе и падеже (или в роде и числе – в болгарском языке), притяжательное прилагательное образует вместе с ним посессивную конструкцию, выраждающую значение принадлежности, например, чеш. Čárkovo dílo, kovářův těch;польск. Zosina książka, ojśów koń; скрв. Јевгенијево ухо, братова кућа; болг. Илиев поглед, дядова ръка; русск. бабушкин самовар, Колъкины рассказы и т.д.

В чешском языке притяжательные прилагательные образуются от одушевленных существительных м.р. (обычно от имен лиц, реже – от названий животных) посредством присоединения суф. -'ýv, -ov-(a), -ov-(o): bratr – bratrův, bratrova, bratrovo; Jan – Janův, Janova, Janovo; от существительных ж.р. – присоединением к основе существительного суф. -in: dcera – dcérin, dcérina, dcérino; Libuše – Libušin, Libušina, Libušino. Кроме этого в чешском языке имеются притяжательные прилагательные на -í: divčí 'девичий', rybí 'рыбий', ovčí 'овечий' и т.п. Они образованы, главным образом, от названий животных и, в отличие от прилагательных на -'ýv/-ov-, выражают принадлежность определенной группе лиц или животных. Чешские словосочетания с притяжательными прилагательными могут выражать и другие отношения. Так, они употребляются в качестве названий улиц, учреждений и прочих названий по имени и в честь кого-либо: Smetanova třída, Jungmannova třída, Karlův most и др. Конструкция с притяжательным прилагательным может также выражать объектные, временные и локальные отношения: Husovo upálení, Husova doba, Jiráskův kraj. Субстантивированные притяжательные прилагательные м.р. на -ovi (им.п. мн.ч.) употребляются для

названий членов семьи и супружеской пары: *učitelovi*, *Jarobovi* 'семья учителя', 'семья Яроша'. К притяжательным прилагательным восходят женские фамилии на *-ová* (*Nětěcová*); несклоняемые фамилии на *-ů* (*Janků*, *Pavlů*); географические названия на *-ov* и *-ín* (*Benešov*, *Miletín*). В древнечешском языке, сохранившем многие черты праславянской модели, сочетания с притяжательным прилагательным употреблялись еще шире, например, при наличии определения к имени посессора: *krev Abelova Spravedlivého* 'кровь Абеля Справедливого', *syn krále Herdóv* 'сын короля Герда'; в сочетании с другими притяжательными прилагательными, одно из которых является определением к другому: *dvoř králov Václavov* 'двор короля Вацлава'; иногда возможно было образование притяжательного прилагательного от имени неодушевленного посессора: *miesto kamenovo* 'каменный город, город из камня'.

В старопольском языке притяжательные прилагательные свободно образовывались от всех одушевленных существительных м.р. с помощью суф. *-ów-*: *stryj* - *stryjów*, *Adam* - *Adamów*. Притяжательные прилагательные от существительных ж.р. имели суффикс *-in-*: *córka* - *córczyn*, *Aniela* - *Anielin*. В современном же польском языке образование притяжательных прилагательных чрезвычайно затруднено. Наиболее живая словообразовательная модель – это присоединение суф. *-in-(-yn-)* к основам личных имен ж.р. на *-a*: *Maryśia* - *Maryśin*, *matka* - *matczyn*. В современном сербскохорватском языке притяжательные прилагательные служат основным средством обозначения принадлежности одному цу, название которого состоит из одного слова и не имеет определений. А.Белич писал, что дух сербскохорватского языка требует, чтобы везде, где это только возможно, было использовано притяжательное прилагательное⁴. Притяжательные прилагательные свободно образуются от всех одушевленных существительных, особенно от личных имен и имен собственных. Они не имеют того архаического оттенка, который характерен для русских притяжательных прилагательных, и употребляются гораздо чаще, чем формы родительного посессивного. Исключение составляют лишь имена собственные на *-iň*, которые чаще употребляются в форме генитива: *Мартића аптека*, *Мијовића кафана*. Родительный падеж имен собственных иных типов сохраняется преимущественно в фольклоре и в поэтических произведениях старых авторов.

В болгарском языке притяжательные прилагательные образуются от одушевленных существительных, особенно часто – от личных имен м.р., а также от имен ж.р. и терминов родства. Используются суф. *-ov-/ev-* и *-ин-*: *Петров*, *братов*, *Пенчев*, *татев*, *Радин*, *майчин*. В болгарском языке, как и в остальных славянских, на базе притяжательных прилагательных, образованных от имен лиц, развились существительные-фамилии. В некоторых случаях наличие параллельных вариантов суф. *-ov-/ev-* используется для дифференциации притяжательного прилагательного и фамильного имени, например, *Кольов* (прилагательное) и *Колев* (фамилия). С другой стороны, известно, что фамильное имя такого типа может без какого бы то ни было дополнительного суффикса функци-

онировать и как притяжательное прилагательное. Так, возможны словосочетания Ботево писмо 'письмо Ботева', Вазово стихотворение 'стихотворение Вазова'. Согласованные сочетания со всеми видами притяжательных прилагательных в болгарском языке очень употребительны. Так же, как в чешском и сербскохорватском языках, они не имеют никакого архаического оттенка. Известны лишь ограничения на употребительность притяжательных прилагательных, образованных от существительных ж.р., не принадлежащих к личным именам и именам родства.

В серболужицких языках имеется группа слов со словообразовательными формантами *-ow-*, *-in-*, *-n-*, которая может оцениваться как особые посессивные формы имени существительного, продолжающие праславянское употребление. Подобно притяжательным, они характеризуются грамматическими категориями рода, числа и падежа, что находит отражение в формах согласования с управляемым существительным: в.-луж. *nanowy dom* - *nanowego doma*. Как притяжательные, они употребляются в атрибутивной функции и функции предикативного определения: н.-луж. *zagroda je sotsina*. Одновременно с этим данные слова, подобно существительным, могут иметь при себе определения (притяжательное, местоимение, существительное): в.-луж. *staršeho synowe auto* 'автомобиль старшего сына'. При этом особенностью данной конструкции является употребление атрибута только в род.пад. ед.ч. В серболужицких языках наблюдается конкуренция конструкций с обсуждаемыми посессивами и с родительным приименным: н.-луж. *našego nanoje bydlenje* - *bydlenje našego pana* 'квартира нашего отца'. Посессивы, как правило, образуются от существительных м.р. и ж.р., обозначающих конкретное лицо: в.-луж. *nan* 'отец' - *nanowy*, *Jan* 'Ян' - *Janowy* и т.д. Сочетания же с родительным могут указывать на принадлежность не только известному лицу, но и представителю целого класса лиц⁵.

В современных славянских языках существует два синонимических именных способа выражения посессивного значения - конструкция с притяжательным притяжательным и конструкция с родительным беспредложным. В этом отношении славянские языки делятся на две группы. Одну группу, характеризующуюся преимущественным использованием родительного падежа существительных, составляют русский и польский языки, историческое развитие которых привело к оттеснению на второй план притяжательных притяжательных и к постепенной замене их родительным падежом. Чешский, словацкий, сербскохорватский и словенский образуют другую группу, которая отличается преимущественным употреблением (без стилистических ограничений) притяжательных притяжательных, тогда как использование родительного падежа здесь, как правило, мотивировано формальными условиями - наличием определений, невозможностью образования притяжательных и пр.

Что касается болгарского языка, то он тоже может быть включен во вторую группу, поскольку притяжательное притяжательное там является продуктивной категорией. Но в отличие от перечисленных языков, болгарский не имеет конструкции с родительным беспредложным, ей соответствует конст-

рукция с предлогом *на* и общим падежом, качественно отличающаяся от беспредложного сочетания с генитивом.

Специфика славянской формы синтаксического выражения категории посессивности связана с общей тенденцией славянского синтаксиса к глобальному выражению категорий высказывания, с дезактивацией субъекта и нечетким разложением на словосочетания. Это отчетливо видно в старославянских текстах: *съ отврѣзыи очи слѣпоомоу* (И.11.37); *ѹрѣза ємоу очо* (Мф.26.51); *възложиша на главу ємоу* (И.19.2) и пр. Подобные конструкции трудно разложимы на бинарные словосочетания: *Возложил ему + Возложил на голову?* или *Возложил на голову + ему?* или *Возложил ему + на голову?* Между тем в греческих текстах в этих конструкциях регулярно представлен родительный падеж, объединяемый с управляемым словом в одно словосочетание. В старославянском тексте возможны синонимические конструкции подобного типа с различным порядком слов: *отврѣзыи очи слѣпоомоу* (И.11.37) – *отврѣзе ємоу очи* (И.9.14) – *ѹрѣза ємоу очо* (Мф.26.56) – *ємоуже ѹрѣза Петъръ очо* (И.18.36).

Особенно очевидно факт принадлежности конструкций с дательным падежом всему высказыванию выявляется в ситуациях с именованием, при лексеме *имя*: *градъ ємоу же имя Наца-реть* (Л.1.26) *Іоанъ есть иꙗмъ ємоу* (Л.1.63) и под. Однакоср. формы *ъвихъ иꙗмъ твое улѣкъ* (М.17.6); имена *ваша* написаны *сѧть нѣбѣхъ* (Л.10.20). Если бы на выбор формы не влияло отношение к высказыванию как целому, то было бы возможно **имена вами*, **имя твѣ* в примерах последнего типа. Эта особенность синтаксических форм посессивности сохраняется в славянских языках до сих пор: ср. русск. *Я им сосед,* но не **Им сосед ушел.*

С идеей семантической цельности славянского высказывания связана в содержательном плане и суть славянской рефлексивизации, объединяющей активный субъект и принадлежащий ему объект. См. *иꙗде же ись и оѹченци его въ въси Кесаріи Филипповы.* и на пяти въпрашаще оѹченники с во м (Мф.8.27), в греческом языке в обеих конструкциях одинаково употреблен родительный падеж местоимения третьего лица: *αυτῆς.*

Таким образом, рассмотрение посессивности на фоне содержательной структуры высказывания в целом заставляет пересмотреть традиционную точку зрения на синонимичность ряда конструкций в старославянском языке при переводе с греческого, на неустойчивость этих форм и т.д. Такие примеры как *и граждане ємоу ненавидѣахъ его* (Л.19.14, Ассем. ев.) и *граждане его* (Мариинск. ев.); и *косы сѧ еи рѣцѣ* (Мф.8.15, Савв.) и *єи рѣцѣ* (Зогр. Мариинск. Ассем.) не свидетельствуют об эквивалентности конструкций в старославянском языке, о которой можно было бы говорить в том случае, если бы тексты не были переводными, поскольку переводчик мог идти за греческим или за языком перевода.

Исследования синтаксических форм выражения посессивности показали, что наиболее интересным типологически в этом плане оказалось посессивное значение дательного падежа, до сих пор рассматривавшегося исследователями в основном на материале одного языка. Между тем именно употребление да-

тельного посессивного структурирует весь славянский ареал. Существуют ситуации, когда во всех славянских языках будет употреблен дательный падеж (см., например, бытийные конструкции с "имя"); существуют ситуации, когда дательный падеж характеризует только группу языков: см. польск. *Zmarł mi ojciec*, чеш. *Umřel mi otec*, слвн. *Umrol mi je oče*, но русск. У него умер отец.

Насколько можно судить по нашим данным, славянские языки образуют непрерывную цепь от русского, где употребление дательного посессивного крайне ограничено, до южнославянских языков, где дательный посессивный начинает играть роль постоянного приименного посессива, не зависящего от синтаксической структуры высказывания. Поэтому для выявления функций дательного посессивного в каждом из славянских языков мы предлагаем следующий синтаксический критерий.

1) Дательный падеж мы можем считать приименной формой посессивности лишь в том случае, если любая замена управляющего имени не заставляет изменить форму падежа. См. Я видела памятник Льву Толстому, но *Я читала роман Льву Толстому.

2) То же о сказуемом: Я им сосед, но *Им сосед ушел.

3) Дательный падеж не должен определяться глагольным управлением: Я дал ему книгу.

Для типологического сравнения имеет смысл привлечь румынские конструкции.

В румынском, равно как в болгарском, сербскохорватском и словенском, существуют несогласованные именные конструкции с личными и возвратными местоимениями в дативе. Они имеют в современном языке ограниченную сферу употребления, являясь, в основном, достоянием поэтического и книжного стиля. В то же время они довольно часто встречаются в языке современной публицистики, что по-видимому, говорит о тенденции к возрождению этой конструкции в румынском. Особенно употребительны словосочетания, состоящие из существительного, местоимения в дативе и прилагательного в функции определения к существительному: *viața-i furtunoasă* 'его (ее) бурная жизнь'. Семантика имен объектов обладания в словосочетаниях этого типа, как и во многих других случаях, связана прежде всего с так называемой сферой лица: *ochii-mi* 'мои глаза', досл. 'глаза мне', *fiii-ți* 'твои сыновья'. В современном языке местоимения в дативе могут сочетаться в рассматриваемых структурах только с именем в номинативе и аккузативе. На более ранних стадиях развития языка возможны были также сочетания с именами в генитиве: *finții-ți* 'твоего существа'. Наиболее употребительны формы местоименных энклитик ед. числа (-*mi*, -*ti*, -*i*); формы множественного числа (-*ne*, -*vă*, -*le*) являются устаревшими;ср. *leafa-le* 'их жалованье', *casa-vă* 'ваш дом'. На ранних стадиях существования румынского языка эти формы широко употреблялись, в то время как теперь лишь в отдельных говорах можно встретить конструкции типа: *mereti în treabă-vă* 'идите по вашим делам'. В аромунском рассматриваемая конструкция с дательным посессивным широко распространена и сейчас: ср. *casile-ți* 'твои дома', *case-lă* 'их дома'.

Нельзя не упомянуть о сочетаниях некоторых существительных, преимущественно имен родства, с притяжательными местоимениями, где имя стоит в неопределенной форме, а притяжательное местоимение присоединяется к нему при помощи дефиса: *taică-sa* 'его мать', *nevastă-tea* 'моя жена'. Эти сочетания, вероятно, достаточно архаичны, поскольку они не допускают форм с артиклем и образуют столь тесное единство, что часто воспринимаются носителями языка, как одно слово. Отсюда такие сочетания слов как, например, *tăsa băiatului*, досл. 'его мать мальчика'.

Особый вопрос - употребление в румынском притяжательных местоимений с некоторыми предлогами и предложными словами, типологически сходное с древнейшим употреблением, восстанавливаемым для пространственных имен в балто-славянском: рум. *înainte-mi* 'предо мной', *asupră-i* 'на него (нее)', *deasupră-mi* 'надо мной', *împotrivă-le* 'против них', *împrejurii-mi* 'вокруг меня'.

В румынском, как и в славянских языках, очень широко распространены глагольные конструкции с дательным посессивным, причем особенно употребительны словосочетания с личными и возвратными местоимениями в дативе: рум. *ti-am strîns lucrurile* 'я собрал свои вещи', *oprindu-i calul* 'останавливая его лошадь'; чеш. *potrásil jí ruku, kazil si oží*; польск. *uratował życie pacjentu, złamał sobie nogę*; скрв. *то ми срце пара, врача врачи очи не вади*; болг. *отрязаха му ухото, си бърснат главите и пр.*;ср. также русск. *пожал ему руку, порезал себе палец*.

Различаются: а) конструкция с винительным падежом имени объекта обладания и дативом имени посессора (примеры см. выше) и б) конструкция с именительным падежом объекта обладания и дативом имени посессора: рум. *brațele îi săzgiră* 'руки у него (у нее) опустились'; польск. *zginął ti zegarek*; чеш. *nohy ti uklouzly*; скрв. *му срце бије*; болг. *ми растат крила*. Исключение составляет лишь современный русский язык, в котором при объекте обладания, выраженном именительным падежом, посессор может быть назван только сочетанием предлога *у* с родительным падежом: У меня прошал аппетит.

Разновидностью глагольной посессивной конструкции с дательным падежом имени посессора являются конструкции с предложенными сочетаниями, включающими имя объекта обладания: польск. *patrzyłem jej w oszu*; скрв. *љубити некоме у руку*; болг. *пада му в краката*; русск. *заглянул ей в лицо и пр.*

Имеются также глагольные посессивные конструкции с винительным падежом имени посессора: польск. *boli mię głowa*, чеш. *boli mě hlava*, скрв. *боли ме глава*, болг. *болят ги краката*, рум. *td doare capul*. Русское соответствие в этом случае включает в свой состав *у + род. пад.*: У меня болит голова.

Семантика имен объектов обладания, в основном, совпадает с кругом, очерченным Ш.Балли⁶, т.е. с так называемой "сферой лица", которая включает в себя очень большое количество понятий, связанных в той или иной степени с человеком. Кроме терминов родства, различных имен релятивной семантики и названий животных, в большинстве случаев в роли

объектов обладания выступают имена неодушевленные. Сюда относятся названия частей тела; одежды и ее деталей, укращений; жилища человека и его убранства; собственности; домашней утвари, еды, питья, орудий, оружия; характерных особенностей человеческой внешности; изображений человека; особенностей характера, духовных и душевных качеств, мыслей, чувств, ощущений и других проявлений человеческого разума и психики; выражений чувств и проявлений воли; характерных особенностей материального, духовного состояния человека, его личности, его отношения к человеку, обществу, к природе, ко времени, к пространству; занятий человека; рутинных действий, различных действий и проявлений человеческого существа; временных отрезков человеческой жизни; пространственных ориентиров; особую группу образуют конструкции с именами действия, где местоимение в дативе указывает, в частности, на соотнесенность отглагольного имени с возвратным глаголом.

В славянских языках конструкцию с дательным посессивным образуют глаголы, обозначающие действие, которое затрагивает (чаще всего физически) часть объекта и тем самым - объект в целом. В румынском (а также в известной степени в болгарском) круг предикатов шире, к ним относятся и такие глаголы, которые не могут входить в рассматриваемую конструкцию в большинстве славянских языков:ср., например, рум. *le-am simțit zgomotul* 'я услышал их шум' (досл. 'им шум') и чеш. *uslyšel jejich volání*, рум. *ți-am luat pălăria* 'я взял твою шляпу' (досл. 'тебе шляпу') и польск. *wziąłem twoją kapelusz*.

Для глагольных конструкций с дательным посессивным характерна возможность случаев их неоднозначной интерпретации типа рум. *ți-am adus pălăria* 'Я принес тебе шляпу' и 'Я принес твою шляпу'; скрв. *Сриče mu zalupa* 'У него сердце забилось' и 'Его сердце забилось'; болг. *Ладна ми шапката* 'У меня упала шапка' и 'Моя шапка упала' и пр.

В современных славянских языках, особенно в русском, не редко возможны синонимические пары, образуемые дативной и генитивной конструкциями:ср. русск. *поцеловал ей руку* - *поцеловал ее руку*, чеш. *zalíbal jí ruce* - *zalíbal její ruce* и т.п. Эти пары не являются полными дублетами. В то время как в местоименной (или именной с родительным падежом) конструкции посессивное значение передается через грамматическую зависимость имени посессора от имени объекта обладания без всякой связи с действием, в глагольной конструкции с дательным падежом подчеркивается отношение лица и действия, через которое выражается связь двух объектов со значением посессивности. Объектная глагольная конструкция менее категорично подчеркивает идею посессивности, чем соответствующая местоименная или именная. Для современного русского языка характерна тенденция к переразложению глагольно-именных словосочетаний с посессивным дативом, приводящая к тому, что господствующей становится именная конструкция с посессивным генитивом. Это связано как с общим процессом экспансии родительного падежа в субстантивных словосочетаниях, так и с ростом количества и употребительности самих субстантивных словосочетаний различных

структурных типов. Активно протекавшие в русском литературном языке уже в XIX в. эти процессы еще более активизировались в наше время.

Анализ синтаксических средств выражения посессивности выявил совмещение посессивного значения с другими грамматическими категориями – факт, рассматривавшийся ранее на материале русского и многих неславянских языков. Однако именно такое категориальное совмещение имеет место в конструкциях с дательным падежом во всех славянских языках. Наиболее часты наложения локативности и экзистенциальности: чеш. *Na roukou ti seděl ptáček*. Одним из компонентов структуры с дательным падежом является 'для' – как бенефактивной, так и негативной семантики: чеш. *Narodil se ti syn*, польск. *Włosy ti posiwiąły*.

По мере развития славянских языков от общего для балто-славянского и других архаических индоевропейских диалектов типа выражения обладания посредством глагола 'быть' к типу, где используется глагол 'иметь', возникают и глагольные конструкции, развивающиеся в аналитический перфект (как в хеттском и ряде других родственных языков). Например, в чешском и словацком встречается конструкция, состоящая из глагола 'иметь', винительного падежа объекта обладания и согласованного с ним в роде, числе и падеже пассивного причастия прошедшего времени совершенного вида: чеш. *Já těm nakázalo, abych ti řekal*, слвц. *Mám polievať uvarený*. В словацком языке эта конструкция уже считается литературной, в чешском она широко употребляется в разговорной речи, но остается в субстандарте. Подобную причастную посессивную конструкцию можно встретить и в польском языке: *Paznokcie miała przycięte krótko*.

В болгарском и македонском языках также есть посессивный перфект, представляющий собой сочетание глагола *имам* с пассивным причастием прошедшего времени на *-н/-т* и именем объекта обладания в общем падеже (или – в случае личного местоимения – винительном падеже). В македонском возможно употребление *имам* + причастие от переходного глагола без объекта: *Имала ли родено она порано?* Известны случаи согласования причастия с именем объекта: *Свиња да имаш врзана со долга ортома; Во тој грб имало некој дервиш за-копан*. Редко, но засвидетельствованы случаи употребления в составе данной конструкции причастий от непереходных глаголов: *имам дойдено, имам одено, имам*. В болгарском языке положение обсуждаемой конструкции гораздо менее стабильно, чем в македонском. Она часто встречается в народных говорах и в разговорном языке, но литературного гражданства еще не получила. Однако в письменном научном и канцелярском стиле сочетания *имам* с причастиями на *-н/-т* возможны: *Ние имаме допуснати много грешки; Той има изработен материал и пр.* В болгарской разговорной речи отмечены редкие случаи несогласованного причастия, имеющего форму ср.р. ед.ч.: *Тук имаме посочено елен-рогач.* Редки также случаи употребления *имам* + причастие без объекта: *Имате ли написано?* На основании этих фактов можно сделать вывод о том, что в настоящее время в разговорной болгарской речи происходит процесс перехода конструкции с *имам*

+ причастие на *-н/-т* из свободного синтаксического сочтания слов в аналитическую глагольную форму⁸.

В русском языке пассивное причастие прошедшего времени проникает в конструкцию "у + род.пад. + быть": У него уже прочитана вся литература; У меня деньги отложены; У нас решено. Семантическое сходство этой конструкции с западноевропейским посессивным перфектом несомненно. В зависимости от переходности или неперходности глагола, от которого образовано причастие, от наличия или отсутствия в предложении грамматического подлежащего, от наличия или отсутствия согласования причастия с именем объекта, в русском языке и его говорах выделяется несколько структурных разновидностей конструкций с посессивным перфектом⁹. Общее значение причастных конструкций рассматриваемых типов – состояние в настоящем, являющееся результатом действия, совершившегося в прошлом. Посессивность означает принадлежность этого состояния (результата действия) субъекту действия, действие представляется как принадлежащее субъекту, находящееся в его владении. В этом смысле субъект действия может быть назван посессором.

Новые проблемы, вставшие перед исследователями посессивности в славянских языках, оказались тесно связаны с самим пониманием посессивности как категории, определением ее содержательного статуса. В настоящее время, как представляется, можно говорить о трех пониманиях посессивности. Согласно первому из них, наиболее широкому, актанту принадлежит все, что в данный момент входит в сферу его "личной заинтересованности", поэтому это толкование очень широко (твой отец, твоя нога, твоя чашка, твоя актриса, твоя Москва и т.д.). Согласно второму, актанту принадлежит то, что находится в его постоянном и буквальном владении, но может быть отчуждено. Руки, глаза и пр. не входят тогда в сферу посессивности, ср. польск. *Adam ma dom* —> *Dom jest Adama*, но *Adam ma dwie ręce* —> **Dwie ręce wą Adama*; *Adam ma kłopoty* —> **Kłopoty wą Adama*. Таким образом, язык отличает не зависящую от актанта "неотчуждаемую принадлежность" и действительное обладание (допускающее и отчуждение).

Согласно третьей концепции, разделяемой авторами доклада, в пределах категории посессивности различаются ядро и периферия. В содержательное ядро входит принадлежность постоянная, закрепленная за владельцем. Однако принадлежность отчуждаемая и неотчуждаемая, составляя ядро, при этом различаются – как концептуально, так и в языковом выражении. Периферию категории посессивности составляют конструкции, выражающие небуквальную принадлежность: Мой Пушкин, Это – его поэт, Пошел на свой футбол и т.д. Все эти случаи в содержательном плане представляют собой коннотативные пучки, сформировавшиеся в рамках посессивности, в этих конструкциях представлены определенные прагматические значения, ранее для славянских языков не сопоставлявшиеся. В свою очередь, различие "отчуждаемой" и "неотчуждаемой" принадлежности способствовало более полному выявлению сходств и расхождений в так называемой "картине мира", также не рассматривавшейся для славянских языков в полном объеме. Все

эти категории оказались доступными для лингвистического анализа лишь при том, что исследование вышло за привычные рамки примененных словосочетаний к синтаксической структуре высказывания.

ЛИТЕРАТУРА

¹Иванов Вяч.Вс. Диахроническая и синхроническая типология притяжательных конструкций с неотчуждаемыми пространственными служебными именами// Лингвотипологические исследования. М., 1973. Вып. II. Ч. 2; Он же. К типологии развития славянских и индоевропейских предлогов и послелогов // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973..

²Трубецкой Н.С. О притяжательных прилагательных (*possessiva*) староцерковнославянского языка// Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987.

³Зализняк А.А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения// В.Л.Янин, А.А.Зализняк. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977-1983 годов. М., 1986. С. 260-306.

⁴Belić A. Gramatika srpskohrvatskog jezika. Beograd, 1932. II. S. 93.

⁵Ермакова М.И. Категория посессивности в серболужицком языке. Некоторые особенности ее выражения// Славянское и балканское языкознание. Вып. 9. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 1986.

⁶Bally Ch. L'expression des idées de sphère personnelle et de solidarité dans les langues indo-européennes// Festchrift L.Gauchat. Aarau, 1926.

⁷Конески Б. Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје, 1966. С. 316-319.

⁸Георгиев В. Възникване на нови сложни глаголни форми със спомогателен глагол "имам"// Изв. на Ин-та за български език, 1957. Кн. 5.

⁹Кузьмина И.Б., Немченко Е.В. Синтаксис причастных форм в русских говорах. М., 1971; Матвеенко В.А. Некоторые особенности структуры страдательно-безличных оборотов в русских говорах// Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. М., 1961. Вып. II.

Е. И. Демина

ПРИНЦИПЫ ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ПАМЯТНИКОВ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Необходимость синтеза данных, предоставляемых памятниками славянской письменности, с одной стороны, материала современных народных говоров - с другой, для воссоздания истории языка отдельных славянских народов, истории их литературного языка и исторической диалектологии привлека-

ет внимание ученых-славистов к поиску новых путей исследования, ранее не применявшийся методологии лингвистического анализа. Важное место в этих поисках по праву может быть отведено обращению к лингвистической географии, к разного рода опытам лингвогеографической интерпретации данных памятников письменности, в достаточно широком объеме отразивших локальные особенности живой народной речи. Принципы и методы такой интерпретации, сами направления исследований в этой области, их теоретическая база только начинают разрабатываться и нуждаются в критическом осмысливании.

1. Одним из перспективных направлений исследований можно считать использование материала четко датированных и локализованных памятников письменности позднего средневековья, отразивших достаточно полно народную речь определенной местности, с целью проецировать на географическую карту выявленные в этих памятниках диалектные различия на разных уровнях языковой системы. Речь идет о распространении известных положений и методов лингвогеографического изучения современных говоров как важного звена диалектологических исследований на материал более ранних эпох с целью решения той же в принципе задачи – задачи создания лингвистических карт отдельных регионов, в идеале – лингвистических атласов того или иного синхронного среза в истории данного языка¹. Создание историко-лингвистических карт и атласов может придать глубокую историческую перспективу современных диалектным картам, представленному на них территориальному распределению изоглосс наиболее значительным и старинных диалектных различий. Естественно, что такого рода исследования могут быть осуществлены только в том случае, если письменное наследство прошлого данного народа включает в себя достаточное число территориально и хронологически локализованных текстов, отражающих местные особенности народной речи. К таким, по общему признанию, относятся прежде всего памятники деловой и бытовой письменности, хотя и в них не всегда наблюдается однозначное соответствие между письменным языком и говором создателя данного текста.

По ряду исторических причин не все славянские народы обладают таким наследием. Так, в силу пятивекового османского ига и господства турецкого языка в административной сфере оно слабо представлено в Болгарии. В то же время, например, советские исследователи отмечают, что сокровища памятников русской деловой и бытовой письменности XVI и ХУП вв. представляет все основные древнерусские территории, что позволяет поставить задачу составления лингвистических атласов этих столетий². При этом могут привлекаться и тексты, вышедшие из-под пера носителей литературного языка, которые почему-либо воссоздавали диалектный колорит³. Особенno надежной при изучении отраженных в тексте особенностей местного диалекта представляется периферийная актовая письменность, документы, написанные вологжанами, калужанами и под., поскольку в XVI–ХУП вв. так назывались уроженцы и постоянные жители Вологды или Калуги⁴, а также жители соответствующих уездов⁵. И хотя сетка обследования на картах, составленных по материалам пись-

менных источников, особенно ранних, получается более разреженной, чем при обследовании современных говоров, а ареалы картографируемых явлений очерчиваются нередко лишь весьма приблизительно, историко-ареальное изучение определенного региона, сами карты, построенные на материалах древней письменности, "могут иногда дать более значительный материал для исторической диалектологии русского языка, чем картографирование данных современных говоров, поскольку известно, что позднейшие явления могут стирать или представлять в измененном виде более ранние явления"⁶.

Отдельные наблюдения такого рода, главным образом над материалом лексических диалектных различий в памятниках ХУІ-ХУП вв., дающих при их проекции на карту достаточно четкие и информативные изоглоссы, уже имеются. Они позволяют сделать важные выводы исторического и историко-культурного характера, бросают свет на лингвогеографическую ситуацию в России этого времени, на проблему диалектного членения русского языка, соотношение в нем обще-русских и местных лексических единиц. В то же время, многие стороны подобного анализа нуждаются в дальнейшем теоретическом изучении.

Наиболее уязвимым оказывается решение вопроса, насколько можно доверять показаниям того или иного источника как отражающего диалектные черты именно данной местности, т.к. локализованность рукописи того или иного текста отнюдь не всегда свидетельствует о локализованности говора ее создателя, который в принципе может быть выходцем из иной местности и носителем иной частной диалектной системы. Нельзя не учитывать и того влияния, которое на него могли оказать принятые образцы письменного общения (делового, бытового, канцелярского и под.), а также и общие представления о грамотности.

На эту сторону проблемы неоднократно обращалось внимание. Так, оценивая лингвистическую значимость изданных материалов частной переписки ХУП-ХУШ вв. как источников по истории русского языка, Г.А.Хабургаев пишет: "...обращение к самим материалам частной переписки сразу же разочаровывает, ибо обнаруживается, что диалектная принадлежность авторов, а точнее - писцов "грамоток", как правило, остается неизвестной. Даже те случаи, когда о личности корреспондента имеются данные, не спасают положения"⁸. Но прав и С.И.Котков, отмечая, что "став на позиции рецензента, пришлось бы, по-видимому, отказаться от изучения древнерусских диалектов по памятникам письменности, поскольку эти последние, за самыми редкими исключениями, формально не локализованы"⁹.

2. Очевидна необходимость создания методики анализа, которая позволяла бы судить о лингвистической информативности привлекаемого для лингвогеографических целей источника, прежде всего о том, находится ли его язык в однозначном соответствии с какой-либо коммуникативной единицей времени своего создания (и какова территориальная локализация этой единицы) или же присущие ему диалектные особенности гетерогенны, связаны с несовместимыми на лингвогеографической карте ареалами. Иными словами, необходима ме-

тодика определения диалектной основы языка изучаемого текста и выявления инодиалектных напластований на эту основу.

Решение этой сложной задачи особенно важно в тех случаях, когда исследователь имеет дело с нелокализованными (а нередко и недатированными) памятниками славянской письменности, к тому же дошедшими до нас во многих списках. Оно предполагает комплексный подход к анализу материала, синтез данных историко-культурных, палеографических, сравнительно-текстологических, собственно лингвистических и лингвогеографических наблюдений. Действительно, необходимо датировать изучаемые рукописи (здесь в комплексное решение проблемы вступает палеография), показать формальную и генетическую соотнесенность привлеченных к исследованию списков между собой, наметить путь реконструкции особенностей первоначального текста, выделить списки, наиболее близкие к нему (здесь на первый план комплексного исследования выступает сравнительно-текстологический и лингво-текстологический анализ), определить диалектную основу языка первоначального текста (именно на этом этапе в решение проблемы вступают данные современной лингвогеографии). Решение последней задачи явится основой для локализации конкретных списков данного текста по лингвогеографически интерпретированным отклонениям от исходной системы. Естественно, при этом учитываются сведения о географии рукописей, их палеографических особенностях, о скрипторских центрах эпохи, приписки и иные проясняющие судьбу рукописи данные.

Опыт подобного исследования был предпринят автором настоящего доклада в трехтомной монографии, посвященной одному из памятников болгарской письменности ХУП в., впервые отразившем в широком объеме особенности живой новоболгарской народной речи, — Тихонравовскому дамаскину ХУП в.¹⁰ Здесь, в частности, была поставлена задача определения диалектной основы отраженного в дамаскинах книжного болгарского языка на народной основе и, соответственно, разработана и применена на практике методика решения данной задачи. В качестве инструмента анализа при этом использовался материал современной лингвогеографии, в области которой в Болгарии достигнуты фундаментальные результаты. Учитывая, что в данном направлении исследований делаются самые первые шаги, считаем целесообразным вынести на обсуждение некоторые возникшие в процессе работы проблемы теоретико-методологического характера, а также примененную нами с целью решения указанной выше задачи методику лингвогеографической интерпретации материала.

Наиболее важной в теоретико-методологическом отношении представляется необходимость четкого разграничения двух задач, предполагающих обязательную последовательность своего решения. Это, во-первых, задача определения диалектной основы языка первоначального текста, во-вторых, задача выявления и соответствующей интерпретации тех диалектных черт, которые наслойлись на язык первоначального текста в процессе его переписки и которые позволяют судить о говоре переписчика (переписчиков). Исходной посылкой решения обеих задач является проведение сравнительного линг-

во-текстологического анализа дошедших до нас списков текста, изучение истории движения текста по спискам. В первом случае целью этого анализа будет выявление языковых особенностей, совпадающих в списках, прошедших независимый путь развития от общего оригинала, и, следовательно, присущих этому оригиналу, а также выявление списков, наиболее в языковом отношении адекватных ему. Во втором случае, цель анализа - отталкиваясь от выявленных языковых особенностей первоначального текста, определить пласт наслойений, отличающих данный список.

Как ясно из сказанного выше, первой должна решаться задача определения диалектной основы языка первоначального текста. Локализация конкретных рукописей по отклонениям говора переписчика от исходной системы - это следующий, предстоящий этап исследования. Хотелось бы предостеречь от методологических, на наш взгляд, неверной практики, когда, исходя из каких-либо экстралингвистических данных (обычно записи, оставленной в рукописи, или места ее находки и хранения), исследователь четко локализует место ее создания и ее языки (что, заметим, в принципе далеко не всегда совпадает), а затем, экспериментировав какие-то языковые особенности из других, аналогичным образом локализованных и текстологически не соотнесенных рукописей и сопоставив полученные данные с современной лингвогеографической картиной, делает отсюда выводы о динамике явления в пространстве, о сдвиге изоглосс и т.п. Такая методика применена, например, в работе В.Шаура "О развитии значений болгарского предлога *из*", где рассмотрены примеры употребления предлогов *из* и *из* по 10-ти дамаскинам и сделаны выводы о территориальной приуроченности этих предлогов в XVII-XVIII вв., причем эти выводы основаны на не аргументированной автором локализации конкретных рукописей вне исследования и учета текстологических данных о их взаимоотношении¹¹.

Постановку и решение задачи определения диалектной основы языка исследуемого текста мы рассматриваем как один из важнейших аспектов филологического истолкования текста, включающего в себя весь комплекс проблем, в своей совокупности позволяющих оценить отраженные в нем языковые особенности, стратифицировать их в хронологическом, территориальном, историко-культурном, социолингвистическом и иных аспектах и, в конечном счете, определить их значение для исторической грамматики данного языка¹².

Подобного рода филологический комментарий, содержащий оценку текста как лингвистического источника, по нашему глубокому убеждению, должен по возможности обязательно сопровождать издание этого текста. Поэтому при издании такого недатированного и нелокализованного памятника новоболгарской письменности, как Тихонравовский дамаскин XVII в., содержащего текст, дошедший до нас во многих списках, был рассмотрен круг текстологических проблем, связанных с происхождением и эволюцией новоболгарского текста статьей включавшихся в дамаскины-сборники поучительных слов, апокрифов, проповедей, из "Сокровища" (1557-1558) греческого автора Дамаскина Студита, а также славянских источников, с выявлением формальных и генетических взаимоотношений этих

сборников, их классификацией, определением путей реконструкции новоболгарского текста этих статей и списков, наиболее адекватного оригиналу¹³; круг палеографических¹⁴, историко-культурных и социолингвистических проблем, связанных с появлением и функционированием письменности на основе живой болгарской речи XVII в., ее местом в истории болгарского литературного языка, характером нормы отраженного в ней книжного языка на народной основе¹⁵. Это и позволило в итоге поставить задачу определения диалектной базы языка первоначального новоболгарского текста, в качестве наиболее адекватного представителя которого, как показал проведенный анализ, может рассматриваться Тихонравовский дамаскин.

Примененная нами методика решения данной задачи основана на убеждении, что как недатированный текст может быть на основе данных специального анализа включен в хронологический континуум, так и народный идиом, взятый за основу языка данного текста, может быть включен в континуум территориальный (или может быть доказано отсутствие его однозначного соответствия какой-либо реальной коммуникативной единице прошлого). С этой целью он рассматривается как объект лингвогеографического анализа и соответственно исследуется.

Как при определении места того или иного списка среди других списков данного текста имеет смысл опираться на анализ дифференцирующих группы списков чтений, так и при исследовании диалектной основы языка текста целесообразно исходить из диагностических, дифференцирующих группы территориальных диалектов явлений. Особенно показательны в этом отношении изоглоссы, входящие в пучки двучленных диалектных различий, принимаемых за основу диалектного деления данного языка. Исходя из первоначального допущения, что народный идиом, положенный в основу языка данного текста, мог принадлежать любому диалектному ареалу исследуемой языковой территории, последовательно выявляется, каким своим вариантом, каким соотносительным членом представлено в изучаемом тексте соответственное явление, образующее каждое из таких диалектных различий¹⁶. Основанные на этих данных выводы подкрепляются затем анализом всего круга диалектных различий, отраженных в тексте.

Исходным принципом, которым мы руководствовались при решении поставленной задачи, был принцип подхода к письменному источнику как к обычному информатору. Необходимо было по возможности "заставить ответить" этот текст на все те вопросы программы сбора материала, с какими создатели Болгарского диалектологического атласа¹⁷ (а также авторы других лингвогеографических исследований, содержащих карты изоглосс) обращались к живым носителям того или иного говора. Этот принцип, на наш взгляд, должен соблюдаться во всех случаях, когда к материалу древнего текста, широко отразившего живую народную речь, обращаются с целью его использования как источника лингвистических и особенно лингвогеографических данных. Действительно, только выборка материала историко-лингвистического источника по программам атласов сделает его сопоставимым с диалектным ланд-

шфттом, отраженным на современных лингвогеографических картах.

Однако только собрать материал отраженных в древнем тексте вариантов диалектных различий, релевантных для диалектного членения современной языковой территории, отнюдь не достаточно. "Расшифровка" этого материала, его включение в современный диалектный ландшафт – задача весьма сложная, требующая выработки особой процедуры анализа. Вне такой специально и последовательно осуществляющейся процедуры лингвогеографической интерпретации выявленных фактов они могут быть неверно расценены исследователями.

Так, например, давно уже известно, что текст новоболгарских дамаскинов XVII в. содержит в себе как западноболгарские, так и восточноболгарские особенности. Ученые по-разному пытались объяснить этот факт. Одни из них, например Л. Милетич, видели причину этого явления в том, что оригинал новоболгарского текста на литературном (церковном) языке сербской правописной редакции был написан в Западной Болгарии, откуда в списках постепенно продвигался на восток, "оставляя в новых списках, если идти к востоку, все более и более слабые следы первоначального языка и правописания"¹⁸. Другие исследователи полагают, что "влияние дамаскинов, созданных в западноболгарских литературных центрах, имело существенное значение для новоболгарских дамаскинов, возникших в восточных землях"¹⁹, и в результате этого влияния "еще в первоначальном тексте новоболгарской редакции встречались как восточные, так и западные черты, и к этой основе переписчики добавляли особенности своих восточных или западных диалектов"²⁰. Все эти объяснения объединяет мнение о смешанной, гетерогенной основе языка новоболгарского текста XVII в.

Расписывание текста Тихонравовского дамаскина по Вопроснику Болгарского диалектологического атласа²¹ (с использованием также и иных источников) выявило, однако, удивительную картину. Оказалось, что в значительном числе случаев, когда то или иное двучленное диалектное различие представлено в новоболгарском тексте своим восточноболгарским вариантом, этот вариант последовательно проведен по всему тексту. Так, например²², диалектное различие в судьбе бывшего редуцированного [ъ] в сильной позиции последовательно представлено вариантом [ъ], ср.: бъч⁴ва, сънь, дъждъ, вънь, тък⁴мо, пръсьхне, лъжно; в судьбе бывшего [ъ] под ударением – вариантом [ъ], ср.: пъть, зъбы, съдъ, мъка, мъжъ, бръж⁴е, мъдра, събота, скъпо, заръча, стъпки, бъде, късать, испъди, тръбы, гъбата, гъсто, същи и под. (под влиянием книжной традиции, а именно правил ресавской орографической школы, отмечаются также написания с ё типа: пъть, мбъжъ, сбъдъ); диалектное различие, отражающее праславянский дублет чекам/чакам – вариантом чакам, ср.: почакай; диалектное различие, связанное с судьбой согласного со слоговым r (цръвен, цръвен/червен) – вариантом -чръ-, ср.: чръвени, чрънь, чёрна, чёр⁴веи, чръв⁴е, чръпах⁴, на-чёр⁴по^х, чёр⁴кова (и цркva под влиянием книжной традиции) и под.; диалектное различие в ударении в форме 2 лица повелительного наклонения – вариантами типа станѝ, станёт^е,

ср.: мълчъ, кажъ, почнъ, грижъ се, чинъ, Ѹзмъ, кѣпъ, хватъ, крѣпъ се, сторѣ, трѣпъ, пазъ се, махнъ се, работъ, тегли, течъ, бавъ, скрѣбы, бѣдѣте, ѹдѣте, сѣдѣте, тръгнѣте, прости, пазѣте, повнѣте, врънѣте се, фрѣлѣте, любѣте и под.; диалектное различие в форме им. падежа личного местоимения 1 л. ед.ч. - вариантом *аз* и *азе*; в форме 3 л. ед.ч. - вариантом *той*; диалектное различие в образовании описательной формы повелительного наклонения, обозначающей запрещение производить действие, - вариантом со вспомогательным глаголом *недей*, *недѣйтѣ*, ср.: недѣи се прогнѣва, недѣи пѹща, недѣйтѣ рѣ, недѣйтѣ правы и под.; диалектное различие в обозначении понятия 'горячий' (*горещ* или *хежък*) - вариантом *горещ*, ср.: горѣца пѣщь, горѣща смола, горѣщи въглища и под.; диалектное различие в обозначении реалии 'нижняя одежда, которая надевается прямо на тело' (*кошуля* или *риза*) - вариантом *риза*.

Аналогичным образом, целый комплекс двучленных диалектных различий, представленных в новоболгарском тексте своим западноболгарским вариантом, также последовательно проведен по всему тексту. Так, например, диалектное различие, связанное с произношением гласного в слове *жълт* (*жълт*, *жът/желт*), представлено орфограммой *жълт-*, ср.: жъти, жътици, жъльчи, пожъти; диалектное различие в виде ударного гласного на месте дрб. А в слове *хѣден* (*хѣден*, *хаден*, *хѣден/хѣден*) - орфограммой *хѣд-* ср.: жѣдны, жѣдень; диалектное различие, проявляющееся в отсутствии/наличии чередования [á]~[é] после бывшего палатального [ч] перед мягким слогом в слове *чаша* - вариантом *чаши*; отсутствие/наличие аналогичного изменения после палатального согласного и согласных [ж], [ч], [ш], [ч] перед мягким слогом или мягким согласным - вариантом без чередования, ср.; пиғаницы, піғани, Газъдеть, Гаре, Гадрила, тоғагите, Гасли, Гаремъ, разъясны и под.; диалектное различие в месте ударения у двусложных существительных среднего рода ед. числа - вариантом *мѣсо*; ср. также отсутствие повелительной частицы *кума*, наличие лексемы *камо*, предлога *низ* и др.

Очевидно, что такая картина не могла сложиться в процессе неуправляемого движения текста по спискам, в итоге спонтанных усилий не связанных между собой писцов. Действительно, если принять, например, гипотезу Л. Милетича, пришлось бы признать, что в результате постепенного, под рукой отдельных писцов, стихийного отказа от исходных западноболгарских особенностей и замены их восточноболгарскими, одна часть западноболгарских черт последовательно оставлялась, а другая столь же последовательно изменялась, уступая место восточноболгарскому варианту двучленного диалектного различия. Это невероятно, если не имеет подкрепления в реальной языковой ситуации в ареале распространения новоболгарских дамаскинов XVII в.

Анализ взаимной конфигурации изоглосс описанных выше диалектных различий в современных болгарских диалектах показал, что, хотя все они в той или иной своей протяженности входят в общий пучок с изоглоссой по Ѹ, принятой в болгарской диалектологии в качестве критерия основного диалектного деления болгарской языковой территории, и, следо-

вательно, сложились относительно давно, во всяком случае, до XVII в.²³, их взаимное расположение на лингвогеографической карте характеризуется значительным разбросом²⁴. Это навело нас на мысль на первом этапе анализа временно отвлечься от всей совокупности выявленных фактов и локализовать диалектную основу книжного болгарского языка XVII в. по каждому из рассмотренных диалектных различий в отдельности, последовательно шаг за шагом от карты к карте исключая тот ареал, с которым в свете данного отраженного в новоболгарском тексте соотносительного варианта двучленного соответственного явления эта основа не была связана. Такая процедура анализа дала возможность все более и более сужать район возможной локализации диалектной базы книжного болгарского языка XVII в., исключая из дальнейшего рассмотрения отдельный восточно- и западноболгарские ареалы различной конфигурации.

Операция последующего наложения таким образом составленных карт позволила выделить ареал, где в принципе могли сосуществовать все представленные в новоболгарском тексте варианты диалектных различий. Им оказался ареал центральных (в том смысле этого термина, какой вкладывает в него Р.И.Аванесов - см. примечание 24) говоров в районе Средней Старой Планины в ятевой изоглоссной зоне в составе бывшей Ловечской епархии с центром в треугольнике Тетевен-Етрополе-Луковит.

Как показало дальнейшее исследование, по этому ареалу (или в непосредственной близости от него) проходят и изоглоссы явлений, представленных в новоболгарском тексте обоими вариантами двучленных диалектных различий (как с подавляющим преобладанием одного из вариантов, так и с их равноправным функционированием). Это, например, изоглоссы таких диалектных различий, как место ударения в 1 л.ед.ч. бесприставочных глаголов I и II спр.: рекъ, рекѣ и рекб, рекъ; окончание настоящего времени 1 л. ед.ч. бесприставочных и приставочных глаголов I и II спр. -м/не -м: пъстимъ - пъста, юдемъ - ѹдб, ѹда, тръпъ - тръпа, мόльимъ се - мόлю се, м ла се, донесъмъ - донесъ, донесъ, довръши - довръша и под.; окончание 1 лица мн.ч. настоящего времени глаголов I и II спр. -ме, -мо/-м: ст римѣ - ст римъ, в димъ - в димъ, в в деме - в в демъ и под.; наличие/отсутствие морфемы -то в формах относительных местоимений и наречий: който и кой, дето и де и под.; глагол чувам наряду с более редким пазя в значении 'беречь, сохранять, выраживать'; глагол найда наряду с редким намеря в значении 'найти' и под.

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что все соотносительные члены рассмотренных выше диалектных различий были присущие конкретному диалектному ареалу XVII в. и изначально сосуществовали в книжном болгарском языке XVII в. Это имеет локализующую диалектную основу этого языка силу, связывая ее с указанным выше ареалом. В то же время, поскольку ни один из пунктов этого ареала не обладает всей совокупностью отмеченных языковых особенностей, но вместе с тем все они известны говорам данного ареала в целом, мы выдвинули гипотезу, согласно которой в основу

книжного болгарского языка XVII в., отраженного в Тихонравовском и других дамаскинах, легло народно-разговорное койне, интердиалект населения городов и близлежащих монастырей в составе развитой уже в XVII в. в экономическом и культурном отношении, пользовавшейся определенными привилегиями турецких властей Ловечской епархии. Основу этого койне и составили говоры района Тетевен-Етрополе-Луковит.

Как известно, этот район Ловечской епархии, подчиненной тырновскому митрополиту, был в XVII в. центром оживленной книжно-литературной деятельности. Здесь находился ряд крупных монастырей, являвшихся наиболее значительными в XVII в. скрипториями. Это Етропольский монастырь св. Троицы ("Варовитец"), Тетевенский монастырь св. Илии, Гложенский монастырь св. Георгия, Троянский монастырь Успения св. Богородицы, монастырь "Ястреб" у Ловеча, Враческий монастырь св. 40 мучеников и Калугеровский монастырь у Ботевграда, а также ряд известных монастырей в соседних епархиях.

Культурный расцвет книжных центров этого ареала не был случайным. Район Средней Старины и Средней Горы был в XVII в. довольно развитым в экономическом отношении. Уже в XVI-XVII вв. в районе Етрополе интенсивно велась разработка рудных месторождений, шла добыча железа, олова, серебра, процветали ремесла, торговля. В этой горной местности было довольно чистое болгарское население. Эллинизм не смог здесь пустить корни. Богослужение велось на славянском языке. Грамотность в XVI-XVII вв. здесь была болгарской. Активно развивалось гайдуцкое движение. Население епархии принимало участие в Тырновском восстании против османских поработителей 1598 г.²⁵ Все это подтверждает наше предположение о возможности существования здесь уже в XVII в. народно-разговорного наддиалектного койне как средства коммуникации населения городов и прилегающих к ним монастырей, которое и легло в основу книжного болгарского языка XVII в.²⁶

С целью проверить правильность этой гипотезы на следующем этапе исследования мы привлекли к лингвогеографическому анализу весь корпус выявленных в тексте соотносительных членов, представляющих диалектные различия на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, словообразовательном и лексико-семантическом уровнях. Как свидетельствуют данные т. IV Болгарского диалектологического атласа, именно эти варианты диалектных различий, в том числе многочленных, в полном соответствии с ожидаемым оказались характерными для говоров интересующего нас ареала. Ср., например, следующие отраженные в новоболгарском тексте соотносительные явления на уровне фонетики: қакъвъ, такъвъ-зи; лъжъ; момъкъ; тънъкъ; дошъль; тъмно; лёко; болень; дъно; жъне; жътва; често; наше, вाशе; коё; ключъ; лютъ, не-длъга, неволъга; агне; набълька и абълька; къща; ѿдежда; помнишь и побнишь; нокъте, лакъте; векъе и вече; вътръ; ёдинъ; мнъгъо; носятъ; нема; ѿгънъ; заборави; ръцъ; ѿвъцете; на уровне морфологии: м.р. сущ. *pепел*; формы мн.ч. сущ. типа гáдове, гáдове лъвъвсе; коне, дни, варвáре, жътвáре, римлъгане; корабе, мрámоре, пирóне; распределение счетных и

несчетных форм мн.ч. сущ. м.р.: двѣ магѣсника, двѣ мѣжъ, трѣтѣ бѣсоове, три царіе, сыншве сѣд'мъ, двѣ льва, сед'мъ тел'ци, три днї; формы мн. числа въжѣта; колѣне и колѣна; членные формы бѣсть, мѣсть, домѣтъ, крѣвть и крѣв'та; роговете, вратарете; колѣнѣте и колѣната; наличие род.-вин. форм личных имен м.р.: найдѣ прохора, въ кѣпище бѣга јѣблона; совокупность форм личных и указательных местоимений; отсутствие действительного причастия прошедшего времени на -л от основы имперфекта; окончания действительных причастий прош.вр. в ударной и безударной позиции -е: былѣ, дошлѣ; стбрыле, нахраниле и под.; на уровне синтаксиса: место отрицательной частицы при краткой местоименной форме и простой глагольной форме по типу *аз те не виждам*: никой го не смыслюва, тїе го не видеть; местоимения *свой* и *негов*, краткая форма *си* при указании на то, что объект принадлежит подлежащему предложению; на уровне словообразования вариант *камик*; на лексическом и лексико-семантическом уровнях варианты *дѣщеря*; добитьк и *стока*; *ток* и *гумно*; *синор*; *стомна*; *пирон*; *дим*; *псе*, мн.ч. *псета*; *косъм* и *влакно*; *плесница*; *зеле*; *рало*; *котел*; *викам* 'громко кричать' и *викам* 'призывать, звать'; *бѣрзам* 'торопиться', *ища*, *ща* и *искам* 'хотеть'; отрицание *нешта* 'не хочу'; *суча* 'сосать из женской груди'; сладък 'вкусный' и сладък 'сладкий'; чест 'частый'; *сичките*, *синца* 'все' и др.

Некоторые явления, например, старинные лексемы *кладенец* и *вѣбел*, отмеченные в новоболгарском тексте, а ныне встречающиеся лишь в отдельных изолированных пунктах, в XVII в., возможно, имели более широкое распространение. Следовательно, локализация диалектной основы книжного болгарского языка XVII в. по совокупности значительного числа отраженных в нем вариантов диалектных различий в то же время, как представляется, позволяет судить о движении изоглосс отдельных явлений.

Таким образом, проведенное исследование позволяет отказаться от мнения о смешанной, гетерогенной диалектной основе новоболгарского текста и признать, что его язык основывается на народном идиоме, функционировавшем в XVII в. как реальная коммуникативная единица. Лингвогеографическая интерпретация данных новоболгарского текста фактически позволила нам получить информацию о совокупности важных в типологическом отношении языковых особенностей этого языка. Тем самым был сделан определенный шаг в обнаружении одной из исторических языковых реальностей²⁷, что важно для истории болгарского языка, истории его литературной формы и исторической диалектологии, а также имеет и самостоятельное познавательное значение.

Полученные на этапе определения диалектной основы оригинала новоболгарского текста данные являются базой для последующей локализации языка конкретных рукописей дамаскинов по выявленным в них отклонениям от исходной системы. Локализованные таким образом рукописи, как и материал аналогичным образом изученных памятников другого происхождения (что, безусловно, дело не скорого будущего), могут затем послужить источником данных для составления лингвогеографических карт болгарского языка XVII в., скорее карт

-схем, с выделением лишь отдельных диалектных зон, где распространялась новоболгарская письменность.

Необходимо подчеркнуть, что результат описанного выше исследования мог оказаться иным, если бы диалектная основа книжного болгарского языка XVII в. была гетерогенной, основанной на говорах диалектных зон, несовместимых на лингвогеографических картах. Это также явилось бы положительным итогом исследования, т.к. позволило бы судить об отсутствии однозначного соответствия языка новоболгарского текста реальной коммуникативной единице XVII в. и тем самым пролило бы свет на характер этой основы. Кроме того, в ходе такого анализа можно было бы выделить в тексте отдельные диалектные пласти существующих особенностей, что немаловажно для интерпретации его языка и использования полученных данных в историко-лингвистических исследованиях.

3. Если первая из описанных нами выше методик лингвогеографической интерпретации данных памятников славянской письменности относится к палеолингвогеографии, а вторая выступает прежде всего как важнейшая составная часть метода филологического истолкования текста, как инструмент определения характера и территориальной отнесенности диалектной основы его языка, то еще одна из методик, на которых хотелось бы остановиться в данном докладе, имеет целью непосредственно решение конкретных вопросов истории языка и исторической диалектологии и фактически восходит к шахматовской традиции. Она основана на известном принципе подхода к материалу диалектологических атласов как к развернутой в пространстве диахронии. Исходя из этого принципа можно попытаться включить те или иные особенности языка древнего текста в число синхронно отраженных на картах атласа диахронных состояний, найти их место на "оси последовательности", на которую "нанизываются" реконструируемые исследователем этапы развития данной особенности языковой системы во времени.

Такое исследование связано с исторической интерпретацией отраженных на картах современного диалектного атласа данных, причем подключаемый к этой картине материал письменного источника может восполнить один из этапов в эволюционной цепи, а также бросить свет на абсолютную хронологию явления. Так, например, отраженная в новоболгарских дамаскинах XVII в. система модальных категорий болгарского глагола, для которой характерно наличие целого ряда особенностей (отсутствие причастия на -л от основы имперфекта и включающих его в свой состав форм, совпадение пересказывательных форм для аориста и имперфекта, отсутствие пересказывательных форм для настоящего, будущего времени, перфекта и повелительного наклонения, эмфатических пересказывательных форм, более тесная сфера функционирования и семантики этих форм и др.)²⁸ демонстрирует, на наш взгляд, один из ранних этапов становления этой системы. Следующим этапом можно считать систему некоторых западных говоров, в которых также отсутствует причастие на -л от основы имперфекта и, соответственно, включающие его в свой состав формы, но уже представлены пересказывательные формы для

презенса, футурума и перфекта. Далее на оси последовательности могут быть помещены говоры восточные, развившие специально причастие на -л от основы имперфекта и включающие его в свой состав формы, и, наконец, как наиболее продвинутая – система современного болгарского литературного языка.

Другой пример. Анализ изоглосс на картах Болгарского диалектологического атласа в сочетании с данными письменных источников позволил нам предположить, что система средств относительного подчинения в болгарском языке прошла в своем развитии через этапы: относительные местоимения и наречия указательной основы на *io (иже, ӈаже, ӈеликъ, иде же и под.) → вопросительные местоимения и наречия в функции средств относительного подчинения → формальное отграничение относительных местоимений и местоименных наречий от вопросительных с помощью специальной морфемы -то (-со, -ко)²⁹. Следы первого этапа – изменяемое относительное местоимение от старой указательной основы: *ахит*, *ахата*, *ахото*, *ахите* – зафиксированы в говоре с. Тихомир Кырджалийской околии (пункт 4556 т. I БДА). Второй этап, на котором, как можно думать, сформировалось множество лексических вариантов форм вопросительных местоимений и наречий, выступающих в функции относительных местоимений, представлен изоглоссой, доносящей до нас сведения о судьбе одного из синтаксических балканализмов в болгарском языке. Мы имеем в виду сконструированную нами по данным тт. III и IV БДА изоглоссу "наличие/отсутствие употребления наречия места в качестве относительного местоимения", которая делит болгарскую языковую территорию на два диалектных массива. В восточном в качестве относительного местоимения 'который' употребляются различные формы местоименного наречия места: *дето*, *дека*, *където*, *де*, *дей*, *дено* наряду с более редкими формами *кой*, *къйто*, в западном – вопросительное местоимение *што*. Наконец, о третьем этапе позволяет судить еще одна сконструированная нами по данным БДА изоглосса "наличие/отсутствие морфемы -то в формах относительных местоимений". Этот этап развития, охватывающий только восточноболгарские говоры, видимо, протекал в условиях формирования различий между восточными и западными говорами, поскольку изоглосса этого синтаксического балканализма проходит по территории, где отмечен целый пучок старинных изоглосс, в частности, изоглосса по ՚, а также граница некоторых этнографических и фольклорных различий³⁰. Переходное от второго к третьему этапу состояние зафиксировано в новоболгарских дамаскинах XVII в., где в качестве равноправных вариантов представлены два ряда относительных слов: с одной стороны, формы типа *къйто*, *дето*, *што*, эксплицитно указывающие на относительное подчинение, с другой – относительные слова типа *кой*, *де*, *що*, формально совпадающие с вопросительными местоимениями и наречиями, что могло отмечаться в XVII в. в зоне вибрации по этим двум изоглоссам.

Уже приведенный в данной работе материал свидетельствует о тех больших возможностях, которые дает синтез данных источниковедческих и лингвогеографических исследований. В то же время, как неоднократно отмечалось, значительные до-

стижения современной диалектологии и лингвогеографии историками языка используются слабо. Примеры упомянутых в этом отношении возможностей можно обнаружить в исторических очерках любого славянского языка³¹. Внимание к лингвогеографической интерпретации данных памятников славянской письменности, рассмотрение их через призму современных диалектных атласов и других лингвогеографических материалов, может благотворно сказаться на развитии исторической грамматики славянских языков и других историко-лингвистических дисциплинах. Задача моделирования "хронотопо-изоглосс" на основе ретроспективного сравнительно-исторического изучения данных лингвистической географии и широкого привлечения материала письменных источников была поставлена Р.И.Аванесовым на VII Международном съезде славистов в Варшаве³². Без сомнения, синтез данных письменных источников и лингвогеографических штудий - это тот резерв, обращение к которому позволит вывести изучение истории языков славянских народов на новый этап.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ср. опыт такого исследования: A. Dees. *Atlas des formes et des constructions des chartes françaises du 13 siècle. Avec le concours de P.Th. van Reenen et de J.A. de Vries*. Tübingen, 1980.

² Филин Ф.П. Некоторые проблемы реконструкции древнерусских диалектов// Славянское языкознание: У Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 385.; Котков С.И. Памятники русской письменности и историческая диалектография// ВЯ, 1975, № 2. С. 14.

³ Котков С.И. Указ. соч. С. 14.

⁴ Хабургаев Г.А. Локальная письменность XVI-XVII вв. и историческая диалектология// Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969. С. 125.

⁵ Котков С.И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии. М., 1963. С. 24.

⁶ Чайкина Ю.И. Из истории диалектных границ в связи с заселением Северной Руси// ВЯ, 1976, № 2. С. 107.

⁷ Ср., например: Дерягин В.Я. Из истории лексических изоглосс в говорах Архангельской области// Этимология. 1966. М., 1968; Коткова Н.С. Историко-лингвистические свидетельства древней владельческой формулы// Русский язык. Источники его изучения. М., 1971; Чайкина Ю.И. Указ. соч.; Судаков Г.В. Лексические диалектизмы и диалектные объединения языка Московской Руси// ВЯ, 1985, № 5. С. 83-93.

⁸ ВЯ, 1969, № 3. С. 142.

⁹ Котков С.И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1974. С. 49.

¹⁰ Демина Е.И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. С., 1968, 1971, 1985. Ч. I - III.

- ¹¹ Šaur V. Zur Bedeutungsentwicklung der bulgarischen Präposition из// Zeitschrift für Slawistik, 1976, Bd.XXI, № 6. S. 814-819.
- ¹² Ярцева В.Я. О принципах построения исторической грамматики языка// ВЯ, 1986, № 6. С. 9.
- ¹³ Демина Е.И. Указ. соч. Ч. I. Филологическое введение в изучение болгарских дамаскинов.
- ¹⁴ Демина Е.И. Указ. соч. Ч. II. Палеографическое описание и текст.
- ¹⁵ Демина Е.И. Указ. соч. Ч. III. Тихонравовский дамаскин как памятник книжного болгарского языка XVII в. на народной основе.
- ¹⁶ Формулировку этих понятий и соответствующие теоретические установки см.: Аванесов Р.И. О двух эспектах предмета диалектологии// Общеславянский лингвистический атлас. М., 1965. С. 25-26.
- ¹⁷ Български диалектен атлас. С., 1964, 1966, 1974, 1981. Т. I-4.
- ¹⁸ Милетич Л. Коприщенски дамаскин. Новобългарски паметник от ХУП век. Български старини. С., 1908. Кн. II. С. X.
- ¹⁹ Велчева Б. Към установяване на взаимоотношенията и диалектната основа на новобългарските дамаскини// Български език, 1961. Кн. 5-6. С. 413.
- ²⁰ Орешков П. Различия между двѣ български дамаскина// Сборник в чест. на проф. Л.Милетич. С., 1912. С. 318-323.
- ²¹ Стойков Ст. Програма за събиране на материали за български диалектен атлас/ Трето доп. изд. С., 1969.
- ²² Примеры из текста с соответствующей документацией ко всем описываемым в докладе явлениям, их анализ, карты изоглосс, данные о картах БДА, библиографические данные см. в кн.: Демина Е.И. Тихонравовский дамаскин... Ч. III, гл.Ш.
- ²³ Мирчев К. Историческа граматика на българския език. С., 1963. С. 108.
- ²⁴ Подобная ситуация не является чем-то исключительным. Поэтому Р.И.Аванесов наряду с полярными диалектами, существенным признаком которых является наличие специфических соотносительных языковых черт, по которым они выделяются и противопоставляются друг другу, выделяет также центральные говоры, характеризующиеся совмещением специфических черт разных полярных диалектов. См.: Аванесов Р.И. О двух аспектах предмета диалектологии. С. 30-31.
- ²⁵ См.: Демина Е.И. Тихонравовский дамаскин..., ч. III. с. 190-192, здесь и библиографические данные.
- ²⁶ О возможности существования таких койне уже в период позднего средневековья см., например: Десницкая А.В. Роль

устных койне в истории образования албанского литературного языка. М., 1974.

27 Ср.: "если наша наука должна быть исторической, она должна стремиться обнаруживать исторические реальности" (Пизани В. К индоевропейской проблеме// ВЯ, 1966, № 4, С. 5).

28 Дъомина Е. Към историята на модалните категории на българския глагол// Български език, 1970. Кн. 5. С. 405-421; Оча же. К вопросу о генезисе модальных категорий болгарского индикатива// Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков. М., 1973. С. 13-17.

29 Демина Е.И. Из болгарского исторического синтаксиса. 2. Морфема *-то* как средство указания на относительное подчинение в сложных предложениях в языке дамаскинов XVII века// Изследвания върху историята и диалектите в българския език. С., 1979. С. 131-137; Оча же. Тихонравовский дамаскин... Ч. III. С. 170-178, здесь и карта.

30 Младенов М.Сл. Ятовата граница в светлината на новиданни// Славистичен сборник. С., 1973. С. 254-256.

31 Конкретные примеры см.: Бернштейн С.В. Размышления о славянской диалектологии// Славянское и балканское языкознание: Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 1986. С. 5-8.

32 Аванесов Р.И. К вопросам периодизации истории русского языка// Славянское языкознание: VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 13-15.

A. B. Десницкая

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ВЗАЙМОСВЯЗЕЙ И ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ БАЛКАНСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Понятие лексических заимствований принадлежит к числу тех, без которых, казалось бы, немыслимо само выдвижение проблемы балканского языкового союза, каковая, при всем различии подходов к ее изучению, остается проблемой языковой общности, возникающей в результате исторического взаимодействия нескольких более или менее генетически различных языков. Самоочевидным является прежде всего тот факт, что осуществление языкового взаимодействия возможно только через посредство словесного материала, который усваивается говорящим в первую очередь, и благодаря которому создается основа для взаимопонимания в любых условиях билингвизма (или мультилингвизма). Применительно к взаимосвязям языков Балканского полуострова этот факт кажется как бы лежащим на поверхности явлений и, возможно, именно поэтому вопросы, возникающие при его изучении, могут казаться лишенными теоретической перспективы. И действительно, в сравнении с проблемой вторичности образования грамматических сходств, изучение которых прежде всего определяет сложившийся к настоящему времени статус балканистики как особой лингвистической дисциплины, концентрирующей

внимание на понятии так называемого "языкового союза", утверждение о том, что соответствующие языки обладают значительным количеством общих лексических элементов, представляется троизмом, не вызывающим к себе интереса с точки зрения теории.

Между тем, следует вспомнить о том, что основатель "балканской лингвистики", Кр. Сандафельд, начал изложение в своем знаменитом труде именно с выявления соответствий между заимствованными из языка в язык элементами лексических систем, составивших как бы фундамент, над которым надстроились обнаруженные сходства в области грамматики. Более того, в понимании Сандафельда изучение лексических заимствований, обилие которых характеризует отношения, сложившиеся между языками балканского ареала, может определить "меру воздействия, которое эти языки оказывали друг на друга и тем самым дать основания для суждения о воздействиях нелексического характера"¹, т.е. иначе говоря, дать отправные моменты для определения путей образования общих явлений грамматического свойства.

Эта мысль, выраженная Сандафельдом со свойственным ему лаконизмом, представляется мне очень глубокой и направленной на постижение самой сущности тех явлений, которые дают основание усматривать в языковой ситуации, веками складывавшейся в балканском ареале, образование лингвистической общности особого типа.

Между тем, в типологически ориентированном балканском языкоznании, каковым оно стало в особенности за последние десятилетия, доминирующее значение приобрел интерес к grammatischer Seite схождений между балканскими языками и проблема балканской лингвистической общности в целом стала трактоваться в основном как проблема типологического сближения языковых систем, осуществляющегося на уровне морфосинтаксиса. При таком подходе вопрос о лексических связях стал отодвигаться в область как бы периферийной тематики и тем самым выводиться за пределы релевантных для собственно балканистических исследований проблем. Поскольку лексические взаимосвязи балканских языков оказались отнесенными к поверхностному уровню явлений, изучаемых балканистикой, то и соответствующая проблематика стала казатьсяся элементарной и лишенной теоретической глубины. Что касается конкретно-исторической стороны отношений между балканскими языками, с наибольшей яркостью отразившейся в богатстве, многообразии и сложных переплетениях их общего словарного достояния, то она меньше интересует тех современных балканистов, которые в основном увлечены размышлениями о типологическом статусе нескольких явлений из области синтаксиса и морфологии, составляющих репертуар грамматических балканализмов.

Ограничение предмета "собственно балканстики" областью грамматической типологии вполне определенное выражение получило в работах Х. Бирнбаума. В своей известной статье 1965 г., посвященной характеристике "балканославянского" языкового типа (не отождествляемого автором с понятием южнославянского)², Бирнбаум констатировал снижение интереса к проблемам лексики, характерное для "собственно

балканстики" (*die eigentliche Balkanologie*), получившей дальнейшее развитие после выхода знаменитого труда Сандфельда. Он объяснил это тем, что лексические заимствования играют при выделении признаков балканского языкового союза лишь "добавочную роль" (*eine zusätzliche Rolle*), хотя и не лишенную известной важности, в сравнении с общими определяющими признаками грамматического характера³. И далее: "Чисто лексические изоглоссы малозначимы для определения наличия языкового союза"⁴. Этую же мысль Бирнбаум четко сформулировал снова в относительно недавнем теоретическом докладе: "Я не считаю ни фонетику, ни лексику конституирующими сферами, в равной мере с грамматическим (морфосинтаксическим) строем участвующими в образовании ареально-типовологических языковых группировок, то есть языковых союзов. Иначе говоря, относительно большее количество бросяющихся в глаза совпадений в морфологии или в синтаксисе по меньшей мере трех соседствующих языков (из которых, по крайней мере, два не являются близко родственными) достаточно, как я полагаю, для того, чтобы говорить о языковом союзе или о конвергентном развитии, ведущем к образованию подобной группировки. Поэтому фонологические и лексические балканские признаки (*Balkanmerkmale*) могут считаться избыточными или даже просто сопровождающими явлениями, которые, правда, также следует перечислять и изучать"⁵.

Аналогичный взгляд на соотношение лексических взаимосвязей балканских языков с известным набором грамматических сходств, рассматриваемых как "союзообразующие" (*sprachbundbildende*) признаки различных рангов ("ранги" устанавливаются автором чисто количественно - в зависимости от того, в скольких языках соответствующие явления представлены), последовательно проведен в известной книге Х.Шаллера "Балканские языки", представляющей собой один из новых опытов обобщенного изложения проблем балканского языкоznания. Шаллер делит "балканизмы" (или "общности балканских языков" - *Gemeinsamkeiten der Balkansprachen*) на "союзообразующие" (*sprachbundbildende*) и "не союзообразующие" (*nicht sprachbundbildende*). К первым он, в отличие от Бирнбаума, относит, помимо морфологических и синтаксических сходств, также фонетические. Ко вторым - лексические, область которых он без достаточных оснований ограничивает греческими и турецкими заимствованиями⁶. Краткий раздел о лексических соответствиях балканских языков помещен в книге с характерной оговоркой: хотя лексические соответствия балканских языков и не являются "союзообразующими", их все же следует принимать во внимание"⁷.

В общих суждениях отдельных авторов о лексических сходствах балканских языков можно иногда встретить поверхностные утверждения, основанные на традиционных представлениях о характере и причинах словарных заимствований. Кроме того, не может не сказываться частое использование устарелых данных, в сущности не выходящих за пределы списков лексических заимствований, приведенных в труде Кр.Сандфельда, с характерной для последнего преувеличенной оценкой роли грецизмов⁸.

Проблема лексических связей между балканскими языками не является лежащей в одной плоскости, и изучение ее не

может ограничиваться рамками обычного культурно-исторического метода изучения словарных заимствований. С лингвистической точки зрения в иноязычной лексике, усваивавшейся балканскими языками на протяжении многих столетий их контактного существования, можно обнаружить различия, определяющие положение и соотношение отдельных ее слоев внутри словарных систем. Можно говорить о типологии лексических взаимосвязей между балканскими языками, причем такая типология, будучи исторически обоснована, могла бы стать интегрирующей частью теории языковых союзов. Разумеется, подобного рода типология, основанная на учете положения лексических единиц внутри системы и исторических путей их проникновения из языка в язык, окажется, в сущности, производной от типологии социально-исторических ситуаций, складывавшихся в процессе общения народов Балканского полуострова на протяжении ряда столетий. Поэтому она по своим критериям будет существенно отличаться от типологии морфосинтаксической и фонетической. Как и словарный состав вообще, она будет более тесно связана с содержательной стороной языка и с конкретными историческими условиями его существования в определенной этнической среде, ограниченной географически и хронологически.

Можно наметить два основных типа проникновения иноязычной лексики, обнаруживаемые в истории формирования словарных систем балканских языков.

А. Хорошо известный тип так называемых культурных заимствований, т.е. в основном, обозначений для новых понятий, отражающих введение в жизненный обиход ранее не известных реалий или новых понятийных систем идеологического характера. Этот тип лексических взаимосвязей между языками, отражающий конкретные условия политических, экономических и культурных отношений между народами, может быть обозначен как культурно-исторический. Момент двуязычия может сопутствовать и содействовать развитию такого рода лексических взаимосвязей, но не является в принципе обязательным и определяющим. Проникновение такого рода лексики из языка в язык – как непосредственно, так и через промежуточную среду третьего языка – может осуществляться независимо от наличия или отсутствия прямого контакта этносов, говорящих на различных языках.

Б. Явление массированного проникновения из одного языка в другой лексических слоев, принадлежащих к самым различным семантическим сферам, в том числе и из области обозначения элементарных понятий. Этот тип, связанный с действием процессов взаимодействия этносов, может быть обозначен как этно-исторический.

Если для первого из указанных типов определяющим моментом можно считать действие тенденции к обогащению словарного состава языка новыми лексическими единицами, отражающими новые материальные или идеологические реалии, или же вносящими добавочные характеристики стилистического порядка, то для второго рода процессов момент этот в принципе мог не играть особой роли. Определяющим для него был потокообразный характер вливания в лексическую систему одного языка элементов лексической системы другого, в основ-

ном безотносительно к тому, представляли ли реалии, обозначавшиеся привносимыми словами, хотя бы некоторую степень новизны. Массовое проникновение иноязычной лексики могло иметь следствием образование синонимических дублетов или даже вытеснение соответствующих элементов исконной лексики. Момент двуязычия должен был быть в подобных лингвистических ситуациях обязательным условием.

Процессы первого типа являются постоянно действующими на всем протяжении истории любого языка. Свообразие балканских языков, возможно, заключается в особенно большой интенсивности распространения лексических взаимосвязей культурно-исторического характера, что обусловливалось длительным контактным сосуществованием народов их носителей в ареале Византийской империи, а также в составе одного государственного целого в период турецкого господства на Балканах.

С другой стороны, случаи массового проникновения иноязычной лексики, охватывающие круг элементарных понятий, не могут считаться явлением, универсально распространенным в языках мира. Этно-исторические взаимосвязи в области лексики характерны лишь для части языков балканского ареала и притом хронологически связаны с этногенетическими процессами относительно отдаленного прошлого. Тем не менее для выявления конкретных источников и путей образования балканской лингвистической общности изучение их представляет значительный интерес.

Положение в лексических системах иноязычных элементов указанных двух категорий может существенно различаться. Первые могут во многих случаях (хотя и не всегда) более или менее отчетливо выделяться как привнесенные из другого языка, т.е. могут в той или иной степени сохранять статус "заемствований". Вторые же всегда существуют в полном слиянии с генетически унаследованной лексикой, широко используются в деривации и самими говорящими обычно воспринимаются как базовые элементы лексической системы.

В балканistique обычно не проводится различия между теми и другими, которые в равной мере рассматриваются как словарные заимствования вообще. Между тем при постановке вопроса об исторических путях сложения лексических систем отдельных балканских языков и об их соотношении учет этого различия представляется имеющим существенное значение.

Б языках балканского ареала, в котором на протяжении только последних двух тысячелетий сталкивались, пересекались и наслаждались одна на другую различные этнические, государственные, культурные и, соответственно, также различные языковые традиции, выделяются многие лексические слои — древнегреческий, палеобалканский, латинский, средне- и новогреческий, итальянский, восточнороманский, албанский, славянский, турецкий. В результате длительных и разнообразных этнокультурных и лингвистических контактов лексика каждого из балканских языков представляла собой к началу XX столетия своеобразное сочетание генетически унаследованного словарного фонда с многочисленными иноязычными элементами, качественное и количественное соотношение которых, характер и степень включения в систему подлежат

специальным исследованиям. Все это составляет тот конкретный лингвистический фон, без учета которого в сущности невозможно решать грамматико-типологические проблемы балканского "языкового союза".

В настоящее время лексические системы всех балканских языков, в особенности в их литературных формах, подвергаются очень сильным изменениям. Помимо естественного процесса выпадения устаревающей лексики, связанного с исчезновением из жизненного обихода соответствующих реалий, надо учитывать тенденции и факторы, способствующие более или менее заметному изживанию балканской лексической специфики, начало действия которых обозначилось еще в XIX в. С одной стороны, значительное количество иноязычных элементов устраняется из лексики литературных языков в результате сознательно проводимой политики националистического пуранизма. С другой стороны, продолжает развиваться процесс распространения культурной лексики интернационального характера. Но это уже особая тема, не относящаяся собственно к балканистике. Предметом балканистики является исторически сложившаяся общность балканских языков, процессы образования которой действовали в периоды, предшествовавшие созданию современных национальных государств.

Исторический подход, не отделимый от содержания и задач балканистики, предполагает дифференцированное рассмотрение исторических судеб отдельных слоев иноязычной лексики, внедрившихся в отдельные балканские языки и, соответственно, по отношению к каждому из языков рассмотрение исторического соотношения компонентов, вошедших в его словарный состав. При этом выявляется и указанное выше различие типов вхождения иноязычных элементов в отдельные языковые системы, а также хронологические рамки соответствующих процессов.

* * *

Сказанное выше может быть проиллюстрировано на примере латинской лексики, элементы которой разными путями и в разной степени вливались в словарный состав отдельных балканских языков. Речь будет идти не о поздних латинских заимствованиях, но о том воздействии, которое оказывала живая народная латынь в период многовекового господства Римской империи.

Из числа балканских языков южнославянские были в наименьшей степени затронуты латинским влиянием. Когда VI-VII вв. н.э. началось расселение славян по областям Балканского полуострова, римского владычества в его прежнем виде уже не существовало и латынь более не выступала в качестве имперского языка. В западной части полуострова уже распались все институты бывшего римского управления. В Восточной империи основным языком был греческий, а употребление латинского лишь частично сохранялось в сферах администрации и военного командования.

При новой лингво-этнической ситуации, которая возникла в связи с приходом на Балканы огромных масс славянского населения, латинский язык, потерявший свой прежний престижный статус, уже не мог играть роль активно действующего фактора. Занимая земли в западной и восточной частях

полуострова, славяне имели дело уже не с "римлянами" в собственном смысле слова, но, помимо греков и остатков иллирийских и фракийских племен, с многочисленным романизированным населением, говорившим на слагавшихся уже восточно-романских языках. Начался процесс образования новых балканских народностей, осуществлявшийся в условиях разного рода межэтнических контактов и взаимодействий, иногда приобретавших характер ассимиляции целых этнических пластов, оставлявших свои следы в виде субстратных явлений.

В ранее романизованных областях, подвергшихся славянизации, романская речь уступала место славянской, по всей вероятности, постепенно (исторический пример умирания далматинского языка является достаточно наглядным), и остатки романской лексики, восходящей к лексике народно-разговорной латыни, могли удерживаться в словарном составе победивших юнославянских языков. Словарное богатство юнославянской речи имело в значительной мере самодовлеющий характер и проникновение в нее латино-романских элементов было, вероятно, количественно ограниченным, тем не менее изучение соответствующих фактов представляет определенный интерес, как с точки зрения истории самих балканославянских языков, так и в аспекте изучения исторических путей формирования лингво-этнической ситуации во всем балканском ареале.

Для западной части балканского славянства речь идет прежде всего о вкраплениях в лексику сербо-хорватского и словенского языков отдельных элементов языка романизованного населения Далмации, остатком которого была так называемая далматинская латынь, дотянувшая свое периферийное существование до XIX в. После того как начало исследований в этой области было положено трудами М.Бартоли и П.Ско^{ка}, указанный вопрос продолжает привлекать к себе внимание⁹. Сходные задачи стоят при исследовании латинского и романского вклада в лексику болгарского и македонского языков¹⁰.

Внимание к общебалканскому аспекту проблемы латинских элементов в лексике юнославянских языков было привлечено на 1-м Международном Конгрессе балканистических исследований уже более 20 лет тому назад. В докладе "К изучению проблемы средневекового славяно-романского симбиоза и его лингвистических результатов" И.Манкен выдвинула задачу комплексного изучения исторических славяно-романских контактов и их влияния на сложение языковых отношений во всем балканском ареале¹¹.

Существует, однако, и вопрос о более древнем слое латинских заимствований в балканославянских языках, имеющий исторический аспект общеславянского значения. Речь идет о давно известном в науке факте существования небольшой группы слов латинского происхождения, представленных помимо южных и в других славянских языках. К этим заимствованиям культурного характера относятся названия некоторых реалий: болг. бања, мак. бања, с.-х. бања, слов. bâňja, ср. русск. укр. бања (в западнослав. языках это слово представлено с иной семантикой производного характера) - из нар.-лат. *bānēa, *balnia (мн. от лат. balneum, из греч. βαλανεῖον);

с.-х. *млін*, слов. *mlini* 'мельница', ср. русск. диал. *млин*, чеш. *mlýn*, польск. *mlyn* - из нар.-лат. *molinus* (ср. алб. гег. *mlin*-); болг. диал. *кошуля*, с.-х. *кóшула*, слов. *košúľa* 'рубашка', ср. укр. *кошуля*, польск. *kosszula* и др.; болг. *оцёт*, с.-х. *ծատ* 'уксус', ср. русск. диал., укр., белор. *бцет*, чеш., польск. *oset* и др.

Характерно, что к числу таких слов принадлежат и обозначения ряда реалий собственно южноевропейского (средиземноморского) происхождения: болг. и мак. *бывол*, с.-х. *бывð*, слов. *bivol*, ср. русск.-ц.-сл. *бивол*, русск. *буйвол*, укр. *буївіл*, чеш. *bivoł* и др. - из лат. *bubalus*; болг. *мъст*, с.-х. *мѣст*, слов. *mest* 'виноградное сусло', ср. русск. *мост*, др.-чеш. *mest* - из лат. *mustum*; болг. и мак. *череша*, с.-х. *црѣшна* 'черешня', ср. русск. *черешня*, польск. *trzeźnia*, *czeresznia* и др. - из лат. *cerasus* 'вишня' (дерево).

Со сферой народных верований и обычаяев связаны такие древние латинские заимствования, как болг. *кбледа* 'рождество, сочельник', с.-х. *къледа*, ср. русск. укр. *коляды* 'колядование, канун рождественского праздника', чеш. *koleda*, польск. *kolęda* 'колядка' - из лат. *calendae* 'языческий обряд, связанный с началом года'; болг. *руса́лия* 'неделя перед троицей' (ср. греч. *ρουσάλια* 'троица'), с.-х. *руса́ле* 'троица', ср. др.-русск. *руса́лия* 'языческий праздник весны' - из лат. *Rosália* 'праздник роз' (который у римлян был связан с культом предков и представлял собой весенний поминальный обряд); болг. *кум*, с.-х. *күм*, ср. русск., укр., белор. *кум* и др. - их нар.-лат. *comptater*. Ср. в том же значении русск. диал. *кмотр*, чеш., польск. *kmotr*, рум. *ci-mătru*, алб. *kontër*. К этой же сфере может быть отнесено название ритуального (первоначально) хлеба: болг. *погача*, слов. *rogáča*, ср. русск. *погач* - из нар.-лат. *focacea* 'испеченнное на открытом огне'.

Естественно полагать, что такого рода заимствования, с древних пор распространявшиеся в славянском языковом мире и свидетельствующие о раннем ознакомлении славян со средиземноморской материальной и духовной культурой, могли быть усвоены в эпоху еще не нарушенных контактов южной части славянства с остальными славянскими племенами. Это могло произойти уже при первых встречах славян с римлянами, где-то на северных границах империи, еще до начала их переселения на юг.

Здесь перед нами яркий пример древних заимствований культурного характера, распространявшихся путем устного общения в народной среде.

Другой характерный пример лексических взаимосвязей культурно-исторического типа представляет вхождение латинских элементов в словарный состав греческого языка. В результате длительных культурных и политических контактов между двумя большими народами античности в греческих языках (главным образом в ранневизантийский период) проникло немало латинских заимствований¹². Распространению латинского языкового влияния в особенности способствовали такие политические события, как включение грекоязычных областей в состав Римской империи и позднее (в 330 г. н.э.) перенос центра империи в Константинополь. Следует упомянуть о

том, что в Восточноримском государстве, уже после отделения его от Запада, некоторое время еще сохранялись римские административные традиции.

Латинское влияние на греческий язык, начало действия которого относится к III в. н.э., наибольшей силы достигло в период IV-VI вв. н.э. и проявилось преимущественно в терминологии, связанной со сферами государственной администрации, права и военного дела. Слова и выражения, употреблявшиеся в этих сферах, проникали и в народно-разговорную речь. Разумеется, ими не ограничивалось воздействие на нее латинского языка эпохи империи. Как выразительно воспроизводит лингвистическую ситуацию того времени Л. Зуста:

"...сама повседневная жизнь должна была приводить каждого грека, даже если он не говорил по-латински, в соприкосновение с латинскими выражениями и понятиями, с римскими словами, изделиями, обычаями, установлениями. Латинские надписи на придорожных столбах, на монетах, бытовые и деловые отношения с гарнизонами, должностными лицами, с путешественниками, а также разного рода профессиональная деятельность в латиноязычных областях империи, все это должно было уже с самого начала римского господства иметь своим результатом проникновение в греческий язык латинских заимствований"¹³. Свидетельством этого процесса является наличие в греческом языковом обиходе таких заимствованных из латинского языка слов, как νομίσμα 'монета' (из *nūm̄s̄is*), πλούτης 'рыбный садок' (*piscina*), φούρνας 'печь' (*fornax*), βέστια 'одежда' (*vestis*) и др.

Однако здесь, разумеется, не приходится говорить об одностороннем процессе языкового влияния. Взаимодействие латинского и греческого языков было обоядным, как это естественно должно было произойти в условиях длительного co-существования двух высокоразвитых культур в рамках одного государственного целого.

Нет нужды говорить здесь о большом влиянии, оказанном греческой культурой на материальную и, в особенности, на духовную жизнь римского народа, в результате чего латынь обогатилась многими греческими заимствованиями. Следует лишь подчеркнуть, что позднее, уже в византийском центре империи, возникла новая языковая ситуация, при которой стал характерным частичный греко-латинский билингвизм. На уровне высоких речевых жанров функции двух языков распределились следующим образом: в административной, судебной и военной сферах еще преобладала в течение некоторого времени латынь; в областях духовной культуры греческий продолжал сохранять свой статус богатого традициями литературного языка. Распределение языков в повседневном общении естественно зависело от этнического состава населения в обеих частях империи.

Если свести историческую сложность взаимодействия двух великих языков античного мира к элементарным понятиям лингвистической науки, то можно охарактеризовать это взаимодействие в хронологических рамках античного и ранневизантийского периодов как взаимообмен лексическими заимствованиями, который, рано начавшись, продолжался относительно долго. Сложившиеся в этот период лексические взаимосвязи

зи латинского и греческого языков можно характеризовать как взаимосвязи культурно-исторического типа.

Существенно отличался от этого типа лексических взаимосвязей характер проникновения латинских элементов в словарный состав албанского языка, который можно определить как "этно-исторический". Большинство латинизмов, в очень значительном количестве усвоенных предками албанцев в период римского господства на Балканах, стало интегральной частью албанской лексики. Латинское происхождение имеют не только многочисленные албанские существительные, в том числе обозначения ряда элементарных понятий, но также многие прилагательные, глаголы, отдельные числительные, наречия, предлоги, а также многие словообразовательные элементы.

Албанский язык, который в настоящее время большинством албановедов считается происходящим из южноиллирийского, пережил в период римского владычества, т.е. в первые века новой эры, критический период своей истории. Ко времени массового распространения народной латыни в западной части Балканского полуострова относятся существенные преобразования в структуре того палеобалканского языка, который явился исторической основой албанского. Действие многочисленных звуковых изменений, включая изменения положения ударения, разрушило не только унаследованную систему флексивных окончаний, но и внутреннее соотношение элементов основ. Во всей морфологической структуре произошли сильнейшие преобразования. Наряду с аналитическими тенденциями действовали, однако, также синтетические, что привело к частичной регенерации флексий, распределемых, однако, по новым принципам грамматической организации. В результате коренных преобразований возникла исторически зафиксированная албанская языковая структура, уже не соответствовавшая древнему типу индоевропейской структуры, но обнаружившая черты нового индоевропейского языка. Ее своеобразие по сравнению с многими другими современными индоевропейскими структурами состоит в заметном преобладании вновь развившегося синтетизма над аналитическими образованиями.

Латинский лексический слой, вошедший интегральной частью в словарный состав албанского языка в период его формирования на южноиллирийской основе, подвергся, наряду с унаследованной лексикой, упомянутым выше видоизменениям. Именно этим прежде всего отличаются латинские заимствования от других воспринятых албанским языком в более поздние периоды иноязычных элементов. Имеется в виду не только их морфологическая усеченность, вызванная отпадением окончаний, но также делающая их с трудом узнаваемыми измененность всего фонетического корпуса. Напр., *gēg. rān(ë)*, тоск. *rérë* ' песок', из лат. *arēna*; *kal* ' лошадь' из лат. *caballus*; *fe* ' вера' из лат. *fidēs*; *fqi* ' сосед' из лат. *vi-cīnus*, *fjalë* ' слово' из лат. *fabula*, *shum(ë)* ' много, очень' из лат. *sūm̄ta*; *kijtoj* ' вспоминаю' из лат. *cogitō* ' думаю'. Наряду с фонетическими, могли происходить и существенные семантические изменения, напр. *pyll* ' лес' из лат. *palus*, *palūde(m)* ' болото' (*palude* > **padule* > **peyl* > *pyll*).

Характерной особенностью латинского лексического слоя в албанском языке является чрезвычайная широта, разнообразие составляющих его элементов. В этой статье нет возможности проиллюстрировать примерами различие семантических сфер, к которым принадлежит вошедшая в древнеалбанский язык латинская лексика. В нее входят обозначения социально-исторических понятий, термины родства, обозначения частей тела, явлений природы, предметов домашнего обихода. Ею затрагиваются животный и растительный мир (домашние и дикие животные, культурные и дикорастущие растения). Латинские наименования имеют типы поселений и вообще многие понятия из области хозяйственной жизни. Помимо обозначений различного рода реалий, многочисленные латинизмы представлены также в сфере понятий, связанных с духовной жизнью человека, в старейшей терминологии христианской религии. Кроме того, в албанский лексический состав вошло много глаголов, обозначающих большей частью элементарные повседневные действия, прилагательные, передающие общие качественные определения и др. В большинстве затронутых ею сфер латинская лексика представлена наряду и на равных с унаследованной, имеющей, как можно предполагать, юно-илирийское (во всяком случае индоевропейское палеобалканское) происхождение.

Среди албановедов распространено мнение о том, что латинские элементы проникали некогда в албанский язык как обозначения новых реалий, с которыми древних албанцев знали римляне. Однако против этой точки зрения говорит прежде всего характер семантики латинского лексического слоя. Не приходится сомневаться в том, что преобладающая часть понятий, которые в албанском языке передаются словами латинского происхождения, была хорошо известна предкам албанцев задолго до их встречи с римлянами. Можно заметить, что в числе слов, относящихся к социальной сфере, отсутствуют специальные обозначения римских административных учреждений и войсковых подразделений, а также воинских званий, иначе говоря, отсутствуют именно те заимствованные слова, которые могли бы обозначать действительные новшества, внесенные римским управлением. Можно полагать, что подобные заимствования некогда существовали, но со временем они вышли из употребления, вместе с исчезнувшими реалиями былой римской государственности. Остались лишь слова более долговечной значимости, например *qytet* 'город' (из лат. *civitas*, *civitātē(m)*), *mbret* 'король, султан' (из лат. *imperātor*), *fshat* 'деревня, поселение' (из лат. *fossātum* 'поселение, окруженное рвами') и др. Некоторые из таких слов могли заменить в свое время исконные илирийские слова со сходным значением.

Если рассматривать характер древних латинских элементов албанского языка без какой-либо предвзятости, естественным является вывод о том, что этот лексический слой принадлежит к основным составляющим частям албанского слова. Тем не менее, весь комплекс вопросов, связанных с латинскими элементами в албанском, принадлежит к сложным проблемам начальной истории этого языка, древние ступени которой не освещаются письменными источниками. Приходится

гипотетически реконструировать путь развития албанского из неизвестного иллирийского языкового состояния и роль в этом процессе реально засвидетельствованных латинских лексических элементов. Вопрос этот имеет свою историю, причем различия точек зрения продолжают сохраняться. Обзор литературы вопроса и подробное изложение моей попытки нового решения указанной проблемы дается в другой работе¹⁴.

Предлагаемое решение вкратце состоит в следующем: албанский в его историческом виде образовался в результате слияния двух иллирийских языковых слоев, из которых один (речь населения приморских равнин и плодородных долин, колонизованных римлянами) был сильно романизован. Чисто иллирийская речь горных племен наслалась на полуроманизованный язык иллирийского населения приморской равнины, которое несколько столетий непосредственно находилось под римским управлением. Именно этим может быть объяснен субстратный характер латинских элементов албанской лексики. Эти элементы, вошедшие в исторический албанский язык в период его формирования, по их происхождению и по их языковому статусу не могут быть приравниваемы к обычным лексическим заимствованиям культурно-исторического характера, каковыми являются латинизмы славянских и греческого языков. Латино-албанские лексические связи представляют тот тип лексических связей, который был выше обозначен как этно-исторический.

* * *

Различение типов лексических связей может быть проведено применительно ко всем слоям словарных заимствований, в разное время, в разных количественных соотношениях и в различной диалектной дистрибуции проникавших в балканские языки на протяжении их многовекового контактного существования.

К числу важных проблем балканистики принадлежит вопрос о роли славянских элементов в формировании лексических систем восточнороманских языков, а также о месте славянских элементов в лексической системе албанского языка.

Опираясь на авторитетные разработки румынских исследователей¹⁵, можно определить процесс проникновения мощного слоя славянской лексики народного (не книжного) характера в восточнороманские языки, в частности, в дакорумынский, как яркий пример этно-исторического взаимодействия лексических систем, осуществлявшегося в условиях билингвизма.

Как пишет Г. Михээлэ, "в румынском языке существует целый ряд лексических слоев славянского происхождения, которые проникали в различные эпохи и из различных славянских языков и диалектов, как устным путем, так и через посредство письменности, а также канцелярий и администрации. Старейший и наиболее важный слой состоит из слов, восходящих к эпохе славяно-румынского билингвизма, к тому времени, когда дакийские славяне постепенно, будучи ассимилированы румынами, утратили собственный язык, передав, однако, румынскому целую серию своих слов. Эта эпоха может быть приблизительно датирована периодом между VI столетием (время появления славян на румынской территории и на Балканах) и концом XI - началом XII столетий..."¹⁶ Семантические сферы,

охватываемые этим лексическим слоем, который включает существительные, прилагательные, глаголы, наречия, частицы, широки и разнообразны по содержанию. Это прежде всего хозяйственная жизнь села. Представлены названия орудий труда, предметов домашнего обихода. Наряду с этим имеются также названия частей тела человека и животных, обозначения природных явлений, несколько терминов родства, названия из области социальной жизни, а также обозначения физических и психических качеств, глаголы широкого употребления и др.

Характерно, что многие из входящих сюда лексических единиц обозначают так называемые элементарные понятия и во всяком случае имеют базовый для словарного состава характер, например: *hrană* 'пища', *vrēte* 'время', *vîrf* 'верх, вершина', *veak* 'век, столетие', *obraz* 'лицо, личность; щека', *râna* 'рана', *nisip* 'песок', *zărī pl.* 'заря', *sfăt* 'совет', *drag* 'дорогой, милый', *iubi* 'любить', *hrani* 'питать', *sfătui* 'советовать' и др.

А.Росетти считает, что, при наличии романской основы румынского языка, славянский элемент явился, тем не менее, его важным конститутивным элементом. "Румынский – это романский язык, испытавший сильное юнославянское влияние. Славянский элемент создает, наряду с (древне)балканским элементом, своеобразие румынского языка в сравнении с другими романскими языками"¹⁷. И специально о словаре: "Славянское влияние на румынский язык особенно заметно в области словаря, в который славянские элементы проникли в большом количестве. Они частично заменили слова иного происхождения, в частности, латинские... Проникновение славянских элементов в румынский язык может быть объяснено, в первую очередь, билингвизмом, романизацией большой массы славян, а также обстоятельствами экономического, политического и культурного характера, при которых произошло образование первых румынских государств к северу от Дуная"¹⁸. Благодаря контакту со славянами" произошло смешение романского населения со славянским"¹⁹. Славяне овладевали романской речью, внося в нее свою лексику и фонетические особенности.

Вряд ли можно, однако, согласиться с А.Росетти, определяющим славянское влияние на румынский язык как "случай суперстрата". Скорее наоборот, исчезнувшая славянская речь сыграла для румынского языка роль вторичного лингвистического субстрата (если вообще целесообразно пользоваться терминами "субстрат" и "суперстрат", которые часто используются в очень неопределенных значениях). Во всяком случае лексические связи восточнороманских языков с юнославянскими имеют определенно выраженный этно-исторический характер. Это относится, конечно, только к лексике, распространявшейся в процессе устноречевого общения в народной среде. Заемствования книжного характера вообще, а также связанные с влиянием администрации и церкви (в том числе и проникавшие в порядке устного общения), следуют относить, разумеется, к фактам культурно-исторического происхождения и значения.

Сходные проблемы встают и при изучении юнославянских элементов в лексике албанского языка. По этому вопросу также существует довольно значительная литература²⁰.

Славянское население, проживавшее когда-то на албанских землях, утратило свой язык в результате процессов ассимиляции, оставив, однако, следы в виде многочисленных топонимов, а также в виде значительного слоя славянской лексики, влившегося в словарный состав албанского языка, с разной степенью распространения его по диалектам. Благодаря тому, что семантическую сферу славязмов, проникших в албанский язык, составляли в основном понятия, связанные с сельской жизнью, а также наименования элементарных действий и качеств, часто снабженные характерной для просторечья эмоциональной окрашенностью, далеко не вся славянская по происхождению лексика, представленная более или менее широко в диалектах, вошла в современный албанский литературный язык. Однако многие славянские по происхождению лексемы вошли в базовую часть албанского словаря, например, *bisedë* 'беседа, разговор', *rend* 'ряд, порядок', *nevojë* 'необходимость, нужда', *rob* 'раб, пленник; член семьи (в северных говорах)', *grusht* 'кулак, удар кулаком; переворот (политический)', *trup* 'тело', *vazhdë* 'след', *krahinë* 'область', *qudë* 'удивление, чудо', *gërmadë* 'развалина', (*i*)*vobëg* 'бедный, убогий', (*i*)*vrazhde* 'жестокий, супротивный', *gëlltët* 'глотать', *vërtit* 'вертеть', *neverit* 'пренебрегать', *mërzit* 'докучать', *porosit* 'поручать', *vikës* 'кричать', *grabit* 'грабить' и др.

Славянские элементы входили в албанскую лексику в основном уже после завершения фонетических процессов древнеалбанского периода, которые, как было отмечено выше, радикальным образом видоизменили фонетический облик латинских слов. Существенно важное для основного диалектного членения албанского языка явление южноалбанского ротацизма также почти не захватило славянскую лексику. Можно считать, что главный поток славянских элементов начал влияться в албанский язык не ранее конца I тысячелетия н.э., когда албанская морфологическая и фонологическая системы были уже вполне сложившимися в соответствии с их исторически засвидетельствованным (памятниками, начиная с конца XV в.) состоянием. Ранее я уже имела случай писать о том, что длительное и мирное сосуществование албанцев и славян, их тесное экономическое и культурное общение, длительное состояние двуязычия и, наконец, полная языковая ассимиляция одного из этносов (славянского) – таковы были исторические условия, определившие вхождение в албанский язык славянского лексического слоя. Албанские славязмы – это в основном не культурные термины, но слова повседневной жизни, которые сохранились при этническом и языковом слиянии. Поэтому "здесь можно говорить не о "заемствовании" в обычном смысле слова, а скорее об оседании целых лексических пластов ассимилированного языка"²¹.

Иначе говоря, и в данном случае характер лексических связей может быть определен как этно-исторический. В отличие от дакорумынского языка, в албанском не обнаруживается заметных следов влияний, которые могла бы оказать славянская письменность периода раннего средневековья.

Ярко выраженный культурно-исторический характер имело вхождение греческой лексики в словарные системы языков Бал-

лканского полуострова, продолжавшееся с той или иной степенью интенсивности во все периоды истории данного ареала. Это определялось большим влиянием греческой культуры в различных ее проявлениях, распространявшимся в странах Юго-Восточной Европы, начиная с античной эпохи, особенно интенсивно в период существования Византийской империи, и, наконец, также во времена турецкого господства, когда греческая церковь продолжала удерживать свои идеологические позиции в среде православного населения, а элементы греческого быта сохранялись в жизни балканских народов, будучи адаптированы и турецкими завоевателями.

Нет нужды и возможности останавливаться на этом вопросе более подробно, однако необходимо подчеркнуть, что греческая лексика именно *занимствовалась*, обогащая словарный запас терминологией из определенных областей материальной и духовной культуры, но не вливалась в результат процесов этнического характера.

Как указывает Х.Михэеску, глубоко и детально исследовавший факты греческого влияния на сложение словарного состава восточнороманской речи, ни в античную, ни в византийскую эпохи греческий этнос массированно не проникал в северные и вообще во внутренние области Балканского полуострова; присутствие его было характерно для поселений, расположавшихся вдоль морских берегов, преимущественно для городов, где греки ископон веков проявляли активность в сферах торговли и ремесел²². В отличие от римской колонизации, которая направлялась в области, благоприятные для сельского хозяйства, сферой греческих интересов за пределами собственно грекоязычного ареала было море и хозяйственная деятельность, в особенности торговля, на его берегах. Среди множества греческих заимствований, усвоенных балканскими языками, с обработкой земли связаны только термины садоводства и огородничества – областей, в которых греки с древних времен выступали учителями других народов.

Далеко не всегда заимствование греческой лексики культурного характера осуществлялось путем непосредственных контактов с грекоязычным населением. Греческие культурные и языковые влияния распространялись по всему балканскому ареалу, а не только в пограничных с Грецией областях. Сила этих влияний была столь велика, что в орбиту их, в качестве передатчиков греческих навыков, знаний, идеологических понятий и, соответственно, их словесных обозначений, вовлекались все народы, участвовавшие в жизни этого ареала, начиная от римлян и кончая турками. Сложность изучения, казалось бы, ясной проблемы греческих заимствований, заключается в том, что многие греческие лексемы проникали в словарные составы отдельных языков через иноязычную среду – латинскую, славянскую, турецкую, подвергаясь в ней определенным фонетическим и семантическим изменениям. Это касается, в основном, греческих лексических элементов, распространявшихся в народной речи. Распространение книжной лексики и, в частности, обширного пласта лексики церковной, а также некоторых терминов, унаследованных от былой византийской государственности, составляет особую проблему.

Наличие относительно большого количества грецизмов является одной из характерных черт, определяющих своеобразие лексического фонда, который может быть обозначен как общебалканский. Однако не следует, как мне кажется, преувеличивать, как это нередко имело и имеет место в балканской лингвистике, значимость этого факта. Нельзя не учитывать того, что грецизмы в преобладающей их части составляли довольно тонкий слой периферийной в семантическом отношении лексики, легко подверженной устареванию и выпадению²³.

Наибольшее количество грецизмов впитали в себя словарные системы восточной части южного славянства²⁴. Помимо языковых влияний, осуществлявшихся в пограничных областях путем непосредственных контактов греческого и славянского населения, большое значение имели политические, экономические и культурные взаимосвязи народов в период исторического сосуществования средневековых болгарских царств с Византийской империей. Болгарская языковая среда играла также посредствующую роль в процессе распространения грецизмов к северу - в дакороманский языковой ареал.

Х.Михэску в следующих цифрах определяет соотношение прямых и опосредованных византийско-греческих заимствований, входивших в румынский язык на протяжении VI-XV столетий: из общего количества 278 единиц можно выделить 22 прямых заимствования, 254 опосредованных славянской языковой средой и 2, пришедших через средневековую латынь. Из 22 прямых заимствований 3 представлены только в македо-романском (аромунском). Среди остающихся 19 прямых заимствований - 9 терминов коммерции, 4 военных термина, 3 названия растений и животных и 3 церковных термина. Из 254 грецизмов, пришедших через посредство славянской речи, 142 относятся к области церковной терминологии, 47 - термины социальной организации, 10 названий растений и животных и, наконец, 3 термина строительного искусства²⁵. Древнегреческие заимствования в албанском языке, исследованные А.Тумбом²⁶, составляют около 20 единиц. В этом небольшом списке, лишь незначительно пополненном в результате последующих исследований, заметное место занимают названия садово-огородных растений; есть несколько технических терминов. Эти факты указывают на характер культурного влияния, исходившего от греков.

Византийско-греческие и новогреческие элементы албанской лексики продолжают нуждаться в специальном исследовании²⁷. Существенное значение должно иметь ограничение новогреческих заимствований узко локального характера, представленных только в периферийных южноалбанских говорах, распространенных в зонах непосредственных контактов албаноязычного и грекоязычного населения, от грецизмов, являющихся общеалбанским языковым достоянием. Важно исследовать время и источники проникновения в албанскую лексику грецизмов византийского и турецкого периодов, с выделением прямых заимствований и опосредованных, в том числе пршедших через латино-романскую, славянскую и турецкую языковую среду. Постановка этих вопросов была уже намечена в трудах Э.Чабея²⁸, определившего основные семантичес-

кие сферы, к которым принадлежат грецизмы албанского языка (церковная лексика; некоторые названия из области народных обычаяев и мифологии; социально-историческая терминология; ремесла; предметы домашнего обихода; одежда; садово-огородные растения; охота и др.)²⁸. В количественном отношении греческий слой албанской лексики значительно уступает латинскому и славянскому. Культурно-исторический характер этого слоя сомнений не вызывает.

В целом значение греческих элементов для формирования общебалканского лексического пласта полностью определяется той культурной ролью, которую греческий язык не представлял играть на Балканах, при всех превратностях судьбы, постигших Грецию²⁹. Практическое владение греческим языком, как языком делового и культурного общения, было на протяжении многих столетий широко распространено среди более подвижной части населения балканских стран, главным образом среди городских жителей. Следует учитывать и влияние греческого духовенства и вообще греческой церковной пропаганды, активно распространявшейся, в частности, среди православной части албанского населения, а также среди аромун.

Если использовать популярную в современной лингвистике терминологию "стратов", то влияние греческое лексики, скавшееся на развитии словарных составов балканских языков, скорее всего можно определить, как "адстратное", которое, при его относительной широте, не было, однако, глубоко проникающим. Ограничивааясь, в основном, словарной периферией, оно редко захватывало организующие слой лексических фондов.

"Суперстратом" можно назвать турецкие элементы, в большом количестве проникавшие в лексику всех языков Балканского полуострова в эпоху турецкого владычества и заметным образом определявшие то, что можно считать балканской спецификой в области лексики.

Историко-культурный характер и значение процесса распространения этих элементов раскрыл еще в 30-е годы балканист П. Скок, выдвинувший оригинальное и важное положение об "ориентальном урбанизме", принесенном турками на Балканы, и о его преемственных связях с сохранявшимися элементами византийской культуры. "Именно благодаря этому словарь всех балканских языков оказался наводненным турецкими элементами. Терминология одежды, пищи, строительства домов и, в особенности, различных ремесел, вся эта богатая терминология, за немногими исключениями почти однаковая повсюду, имеет ориентальное происхождение"³⁰. И в другой статье: "Турки культивировали балканский урбанизм на ориентальной основе"³¹.

В задачи изучения турецких элементов балканских языков входит немало проблем исторического характера, существенно важных не только для балканистики, но и для истории отдельных языков, в том числе и турецкого. В настоящее время наиболее важным, как мне кажется, является изучение вопроса о функционально-стилистической роли турцизмов в конкретных лексических системах и на разных социальных уровнях речевого общения. Важен также вопрос об ареалах преимущественного сохранения турцизмов в живом употреблении.

Культурно-исторический характер отражаемых турцизмами языковых связей, сам по себе, не вызывает сомнений, и в этом отношении их роль вполне сходна с ролью греческих лексических заимствований, хотя последние не были столь многочисленными. Релевантность именно турецких и греческих лексических заимствованных элементов особо подчеркивает Х.Шаллер в своем обзоре балканистической проблематики³². Между тем, если ставить задачу раскрыть и проследить источники и пути формирования балканской языковой общности, представляется необходимым учитывать и исследовать весь сложный комплекс исторических отношений и взаимосвязей между балканскими народами, получивших наиболее заметное для наблюдения выражение в различии типов лексических соответствий, среди которых глубинные представляются не менее важными для характеристики балканского языкового союза как исторически сложившейся общности, чем соответствия, лежащие на поверхности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Sandfeld Kr. *Linguistique balkanique*. P., 1930. P.15.

² Birnbaum H. *Balkanslavisch und Südslavisch. Zur Reichweite der Balkanismen im südslavischen Sprachraum*// Zschr. f. Balkanologie, III, 1965.

³ Ibid. S. 17-18.

⁴ Ibid. S. 26.

⁵ Birnbaum H. *Tiefen- und Oberflächenstrukturen balkanlinguistischer Erscheinungen*// Ziele und Wege der Balkanlinguistik. Berlin-Wiesbaden, 1983. S. 45.

⁶ Schaller H.W. *Die Balkansprachen. Eine Einführung in die Balkanphilologie*. Heidelberg, 1975. S. 123.

⁷ Ibid. S. 172.

⁸ В этой связи приходится отметить, что большая часть приведенных Сандфельдом албанских грециизов не входит в реальную лексическую систему албанского языка. Использованные автором материалы были в основном заимствованы из устаревших источников, отразивших лексику в основном периферийных говоров южноалбанского языкового ареала (в частности, албанских говоров на территории Греции).

⁹ Обзор современного состояния исследований см. в кн.: Solta G.R. *Einführung in die Balkanlinguistik*// Darmstadt, 1980. S. 142-158.

¹⁰ См.: Милев А. Латинските имена в българския език// Български език. VII. Кн. 1. 1957. С. 55; см. также: Симеонов Б. Към въпроса за ранните латински заемки в старобългарски// Славянска филология. 10. 1968. Из более старой литературы: Romanski St. Lehnwörter lateinischen Ursprungs im Bulgarischen// Jahresbericht des Instituts für rum. Sprache zu Leipzig. XV. 1909; Scheludko D. Lateinische und rumänische Elemente im Bulgarischen// Balkan-Archiv. Leipzig, 1927. III.

11 *Mahnken I.* Zur Problematik der mittelalterlichen slavisch-romanischen Symbiose und ihrer sprachlichen Auswirkungen// *Actes du 1er Congrès Intern. d. Ét. Balk. et Sud-Est-Européennes*. Sofia, 1968. VI. P. 600. и сл.; см. также: *Mahnken I.* Slavisch und Romanisch im mittelalterlichen Dubrovnik. *Zschr. f. Balkanologie*. I. 1963.

12 Латинским элементам греческой лексики посвящена довольно большая литература, обзор которой дан в труде: *Mihăescu H.* La littérature byzantine, source de connaissance du latin vulgaire// *Revue des Etudes Sud-Est-Européennes*. Buc., 1978. Т. XVII. 2; 1979. Т. XVII. 1. - В этом труде автор также специально исследовал латинские элементы в греческой лексике военного дела, выявленные им по памятникам византийской литературы.

13 *Zgusta L.* Die Rolle des Griechischen im römischen Kaiserreich// *Die Sprachen im Römischen Reich der Kaiserzeit*. Köln; Bonn, 1980. S. 134.

14 См.: *Десницкая А.В.* Албанская литература и албанский язык. Л., 1987.

15 См.: *Rosetti A.* Istoria limbii române de la originea pînă în secolul al XVII-lea. Buc., 1968, а также ряд других исследований того же автора, специально посвященных проблеме влияния южнославянских языков на румынский (1940-1964 гг.); *Mihăilă G.* Imprumuturi vechi sud-slave în limba română// *Studiu lexico-semantic*. Buc., 1960, и др. - Из более ранних трудов см.: *Densusianu O.* Histoire de la langue roumaine. Р., 1902. Т. 1. Заслуживает внимания также интересный труд русского ученого: *Яцимирский А.И.* Румынско-славянские очерки. Из славяно-румынских наблюдений // Изв. II Отд. Импер. Акад. наук. Пб., 1904. Т. IX. Кн.2.

16 *Mihăilă G.* Éléments slaves des parlers daco-roumains // *Revue Roumaine de Linguistique*. Т. X. № 1-3. 1965. P. 215.

17 *Rosetti A.* Istoria limbii române. Р. 268.

18 *Ibid.* Р. 312.

19 *Ibid.* Р. 290.

20 Специально см.: *Miklosich F.* Albanische Forschungen. I. Die Slavischen Elemente im Albanischen// *Denkschriften d. phil.-hist. Cl. d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien*, 1870; *Селищев А.М.* Славянское население в Албании. С., 1931; *Jokl N.* Slaven und Albaner// *Slavia. Rocn.* XIII. 1934-1935; *Десницкая А.В.* Славянские заимствования в албанском языке// Славянское языкознание: V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963; *Она же*. Славяно-албанские языковые отношения и албанская диалектология // Славянское языкознание: VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968.

21 *Десницкая А.В.* Славянские заимствования в албанском языке. С. 27.

22 *Mihăescu H.* Influența grecească asupra limbii române pînă în secolul al XV-lea. Buc., 1966. Р. 45.

²³ Сказанное, разумеется, не относится к современной научной терминологии, оперирующей строительными элементами греческого происхождения. Речь идет, в основном, о словах народной речи, соответствия которых характеризуют уровень лексической общности, достигнутой языком балканского ареала на протяжении их контактного развития, начиная от эпохи античности и вплоть до эпохи становления современных национальных языков.

²⁴ Библиографию этого вопроса см. в кн.: *Schaller H.W. Bibliographie zur Balkanphilologie*. Heidelberg, 1977. S. 81-94.

²⁵ *Mihăescu H. Influența grăcească...* P. 188.

²⁶ *Thum A. Altgriechische Elemente des Albanesischen* // *Indog. Forsch.* XXVI. 1909.

²⁷ О греческих элементах албанского языка вообще см.: *Uhlisch G. Zur Problematik der griechischen Lehnwörter im Albanischen* // *Actes du 1-er Congrès Intern. d. Et. Balk. et Sud-Est-Européenes*. Sofia, 1968; *Eadem. Die griechischen Lehnwörter im Albanischen* // *Das Altertum*. Bd. 15. H.3.. 1969.

²⁸ См.: *Çabej E. Studime gjuhësore*. Prishtinë, 1976. III.

²⁹ Греческий язык "не переставал быть средством распространения высшей цивилизации (*il veicolo d'una civiltà superiore*) как в период римского владычества, так и позднее в византийскую эпоху, и даже более того, во времена османского владычества. Греческой церкви удалось объединить и распространить однородное религиозное сознание (*una ottogenea coscienza religiosa*) среди значительной части балканского населения и противопоставить его в качестве культурной альтернативы влиянию ислама, привнесенного турками" (*Banfi E. Linguistica Balcanica*. Bologna, 1985. P. 85.).

³⁰ *Budimir M., Skok P. But et signification des études balkaniques* // *Revue Internationale des Études Balkaniques*. I. Beograd, 1934. P. 6.

³¹ *Skok P. Restes de la langue turque dans les Balkans* // *Revue Internationale des Études Balkaniques*. II. Beograd, 1935. P. 253.

³² *Schaller H.W. Die Balkansprachen*. S. 172.

ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНСКОЙ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Синтез истории языка и истории народа – одна из основных задач лингвистики.

В.В.Виноградов [1]

Проблема взаимосвязи истории языка с историей народа остро встал в начале XIX в. В русском языкоznании ее поставил Ф.И.Буслаев, основоположник исторического изучения русского языка. Проблема была лишь поставлена, но не решена даже в первом приближении. Так, например, Л.А.Майков в объемистом труде "История сербского языка в связи с историей народа (М., 1857) фактически лишь объединил "под одной крышей" очерк истории сербского народа с историей сербского языка по памятникам письменности.

Внутреннее содержание развития нашей науки XIX-XX вв. сводится к уточнению задач, предмета и методов лингвистики, что отразилось в сосредоточении внимания на языке как объекте изучения. Это проявилось в постепенном ограничении языкоznания от геологии и философии, антропологии и этнографии, от собственно истории народа и государства, от истории литературы, эстетики и педагогики.

На смену синкретизму истории вообще пришло различение истории и филологии, филологии и языкоznания, последнее расщепилось на синхроническое и диахроническое (историческое) языкоzнание.

Требование изучать язык "сам по себе" и "для себя" отнюдь не означало непонимание того бесспорного факта, что язык вне общества не существует, не означало отказа от проблем связи языка с историей народа, но привело к необходимости различать внешнюю и внутреннюю историю языка. Под последней И.А.Бодуэн де Куртенэ, предложивший такое разграничение еще в 1870 г., понимал историческую грамматику, под первой – историю народа, географическое распространение языка и т.п.

Дальнейшее развитие науки об истории языка приводит к ее расчленению на две вполне самостоятельные научные дисциплины историко-лингвистического цикла: историческую грамматику, ориентированную на внутреннюю историю языка, на эволюцию его внутренней структуры под действием "давления системы" и историю литературного языка, ориентированную на внешнюю историю его социальных функций, историю "социального давления" на коллектив составителей и хранителей текстов данного литературного языка, на историю его текстов. Новая научная дисциплина зародилась в недрах славистики, на материале истории славянских литературных языков (В.В.Виноградов, Б.Гавранек, А.А.Шахматов, А.И.Соболевский, Н.С.Трубецкой и др.). Дивергенция наук историко-филологического цикла сопровождалась уточнением их предмета и неуклонным совершенствованием приемов и методов анализа служной системы "язык – общество". Осознание того, что проблема связи истории языка с историей народа теперь может решаться лишь как комплексная, требующая координации усилий

историков и филологов, лингвистов и литературоведов, с одной стороны, а с другой, - накопления разнообразного фактического материала, все острее и острее ставит задачу синтеза и является, вероятно, стимулом формирования и развития науки об истории литературного языка. Однако по мере уточнения ее предмета, и успехов других отраслей историко-филологического знания, выяснилось, что она в состоянии охватить лишь некоторую часть проблемы взаимосвязи между историей языка и историей народа; решение общих проблем функционирования и эволюции сложной системы "язык - общество" остается вне пределов ее компетенции.

Дальнейшее развитие языкоznания привело к еще большему размежеванию внутренней и внешней лингвистики. Первая все больше и больше углублялась в проблематику внутреннего устройства языка, что привело к формированию методов и приемов системно-функционального подхода ко всем явлениям языка, освоение которых превратило лингвистику в своего рода pilot science, науку-эталон для многих представителей других наук гуманитарного цикла.

Внешняя лингвистика, все более и более углубляясь в изучение проблем социальной природы языка, оформилась в социолингвистику. Теперь социолингвистика стала третьим направлением лингвистических исследований наряду с компаративистикой и синхроническим языкоznанием [2]. И только в славистике ее объем составляет свыше 15 тысяч библиографических точек [3]. Формирование и развитие социолингвистики - не только реакция на крайности "наивных структуралистов", будто бы не желающих понять социальную сущность языка, но и результат последовательного проявления тенденции эманципации собственно лингвистики от филологизма, биологизма, логицизма, психологизма... и социологизма, начатой еще в конце XIX в. Внутренним стержнем этого процесса является не забвение тех или иных аспектов языка, по своей природе весьма сложного явления, а именно углубленное осознание этой сложности и многоаспектности. Так, освобождение от психологизма приводит к формированию и развитию психолингвистики, освобождение от социологизма и социологизаторства, нередко, действительно наивного, - к социолингвистике. Намечается дальнейшее расщепление последней на синхронную и диахроническую социолингвистику.

И может быть, настало время возложить на плечи диахронической социолингвистики решение фундаментальной задачи В.В.Виноградова о синтезе истории языка и истории народа? В настоящем докладе обсуждается возможность построения славянской диахронической социолингвистики как составной части диахронической социолингвистики вообще.

Ограничение новой научной дисциплины рамками славянского материала позволит ей опираться на прочный фундамент знаний, которыми располагает современная славянская филология, как целый комплекс славяноведческих наук. Построение прежде всего славянской диахронической социолингвистики представляет значительный общенациональный интерес потому, что именно на славянском материале с особой глубиной проявляются основные закономерности динамики взаимоотношений между историей языка и историей народа.

Специфика славянского языкового материала сводится к следующим положениям.

Во-первых, минимум расстояния между славянскими языками и диалектами. Нет ни одной группы и.т.е. языков, где бы общность составляющих ее членов была столь разительной. Различие между славянскими языками ничуть не больше различий между отдельными диалектами французского, итальянского или немецкого языков.

При этом, если романские языки близки в своей "книжной части", испытывающей постоянное давление книжной латыни, то славянские - в разговорно-бытовой, где сходство можно объяснить лишь общностью происхождения. До сих пор сохраняется возможность взаимопонимания между славянами, без настойательной необходимости перевода или перехода на тот или иной общепонятный язык. Нет ни одного фонетического явления либо грамматической категории, которые могли бы принципиально отличать славянские языки друг от друга. Поразительны размеры материальной общности инвертаря общеславянских морфем, лишь незначительно и вполне регулярно изменяющих свой звуковой облик от диалекта к диалекту.

Во-вторых, относительная молодость праславянского и живых славянских языков. Несмотря на самые изощренные методы сравнительно-исторического языкознания, относительной и абсолютной хронологии, удается реконструировать не более пяти диалектных различий, идущих глубже V в. н.э. Готские заимствования (III-V в. н.э.) и имя Карла Великого (742-814) ведут себя как исконные слова, подчиняясь тем же закономерностям, которые привели к членению славянских языков на три группы: король - крал - krol (как город, корова, ворона, ворон, сорока и т.п.). Основные различия между славянскими языками сложились относительно поздно, лишь к XIV в. Первая письменная фиксация славянской речи (Кирилл и Мефодий, всего 11 веков тому назад) отражает состояние языка, близкое к праславянскому. Таким образом, язык древнейших памятников письменности, за минимальным вычетом диалектных различий, может служить надежным отправным пунктом для реконструкции истории не только болгарского, послужившего в свое время народно-разговорной основой кирилло-мефодиевских оригиналов, не только южных, но и восточных и западных славянских языков.

Это и обусловило тот факт, что язык кирилло-мефодиевских переводов и построенный на его фундаменте книжнославянский воспринимается как свой родной почти всеми славянскими народами на протяжении многих веков.

В-третьих, общность тенденций внутреннего развития. История всех славянских языков неоспоримо свидетельствует о том, что одни и те же изменения, одни и те же процессы языковой эволюции охватывают рано или поздно весь славянский языковой мир, всю Славию, идут, принципиально, в одном и том же направлении и по весьма схожим образцам. Во всех славянских языках пали в весьма схожих позициях редуцированные гласные, развивается категория одушевленности и т.п. Поразительное сходство современных славянских языков, таким образом, - результат не только унаследованной праславянской общности, но и параллельного развития. Процессы

обоснобления, дифференциации, дивергентии славянских языков и диалектов искони уравновешиваются процессами конвергентными, хотя тысячелетняя история ставила разного рода препятствия и барьера славянскому единению. Экстраглигвистические факторы благоприятствовали развитию скорее дивергентных, чем конвергентных процессов, постоянно дробя Славию на различные географические, экономические, культурно-исторические, административно-политические регионы и ареалы. Сохранение общих тенденций внутреннего развития во всех славянских языках может объясняться лишь тем, что истоки этих тенденций восходят к общему для них праславянскому состоянию, к праславянскому языку не столь отдаленному прошлого.

Следовательно, язык, собственно языковое родство славянских народов и может служить центральным интегрирующим фактором славистических знаний, составляющих предмет славянской диахронической социолингвистики, нацеленной на выявление динамической взаимосвязи между историей языка и историей народа-носителя этого языка, осознающего свою языковую общность. Ср. классическое определение славянской филологии: славянская филология есть культурно-историческая дисциплина, изучающая язык и все, что проявляется в языке (В.И.Ягич, Г.А.Ильинский и др.).

И, наконец, в-четвертых, видимо, с осознанием языкового родства связано наличие общего самоназвания (славяне), адекватное этническому самосознанию. Если у других индоевропейцев такое общее самоназвание скорее относится к далекому прошлому (кельты, иллыры, ария, фракийцы), то для славян общее самоназвание остается жизненным на протяжении всей фиксированной истории вплоть до наших дней. Любопытно, что ближайшие соседи славян и их родственники по языку балты не имеют общего самоназвания.

По свидетельству византийских и арабских писателей и географов, франкских и германских хроник, славяне VI-Xвв. представляли собой широкую этническую общность, основанную на относительной общности языка и этнического наименования "славяне", хорошо известного всем трем ветвям славянства [4, с. 103].

Сознание этно-культурного единства, опирающегося на языковую близость, у славян ощущалось в эпоху, непосредственно предшествующую переселению на Балканы. Родо-племенной строй не сопровождался племенным партитуляризмом, а скорее наоборот. Лишь позже, в связи с формированием феодальной формации образуются первые славянские государства, когда формируются славянские народности, начинает проявляться партитуляризм в рамках общеславянской идеи [5].

Козьма Пражский (начало XII в.) осознавал себя славянином, говорящим на славянском языке, употребляя термин "славяне" как синоним чехов при противопоставлении их немцам, но чувствовал себя чехом, противопоставляя "чешскую страну" Руси, Болгарии и даже Моравии.

Польский хронист того же времени, Галл-Аноним противопоставлял поляков чехам, русским и даже поморянам-язычникам, но ярко отражал чувство славянского единства: "...Польша является северной частью земли, населенной славянски-

ми народами... Земля славянская тянется от сарматов... до Дании.., от Фракии... до Баварии... на юге... ограничена пределами Адриатического моря...".

Точно так же мыслил Нестор-летописец (начало ХП в.): "по мнозех же временех сели суть Словени по Дунаеви... и от тех словен разидоша по земле и прозвавшаяся имены свои-ми, где седеше на котором месте... Морава, Чеси, Хровате Белии и Серебъ и Хорутане Ляхове, Поляне, Лутчи, Мазавша-не, Поморяне, Поляне (по Днепру) Древяне, Дреговичи, По-ложане, Словене (около озера Илмеря), Север ... И тако разидеся словенъский язык тем же и грамота прозвася, Словенъская. Словенскъ языкъ и русъский един есть".

Эпоха феодализма, процессы образования славянских народностей и государств, религиозные противоречия в связи с расколом христианской церкви должны были усиливать партикуляризм, ослабляя идею славянской взаимности. Но она, бесспорно, продолжала существовать, оказывая определенное интегрирующее влияние на историческую жизнь славян (участие Болгарии в христианизации Руси и Сербии, кирилло-мефодиевские традиции в Чехии и роль последней в христианизации Польши и т.п.) [4, с. 112-113].

Этническое и языковое родство славян как объективная реальность и есть то основание, на котором базируется идея славянской солидарности, являющаяся объективно закономерным продуктом исторического развития славянских народов. Ее социально-интегрирующая сила особенно возросла в эпоху перехода от феодализма к капитализму, как мощнейшего фактора "славянского возрождения" в связи с процессом формирования славянских наций, пробуждением национального самосознания и бурным развитием национальной культуры славянских народов. Она, идея славянской солидарности, становилась знамением борьбы за национальную и культурную независимость, в ней черпалась сила и уверенность в победе: "Нас с Русима сто миллиона", - говорила маленькая Черногория, борясь за свою независимость.

Славяне, в силу исторически сложившихся условий, позже других народов Западной Европы вступили на путь развития капитализма. В связи с этим относительно поздно начался и процесс формирования славянских наций. Процесс формирования буржуазных наций в Западной Европе шел в условиях централизованных государств, выступавших в качестве ведущего фактора национальной интеграции. Здесь до сих пор понятия нация и государство выступают как синонимы.

Славянские нации формировались в рамках многонациональных государств, в условиях национально-освободительной борьбы. Здесь ведущим фактором национальной интеграции выступал язык [6]. И если на Западе переход к капитализму, сопровождавшийся серией буржуазных революций, выдвинул "национальную идею" интеграции в рамках государства, то у славян - идею славянской взаимности" как непременного условия и важнейшей составной части "национальной идеи" интеграции языкового коллектива, преобразующегося в нацию. "Народ, не имеющий никакого другого сплачивающего элемента, имеет, однако, таковой в своем литературном языке!" - писал Людевит Штур, объединивший борьбу за единый литературный язык словаков с борьбой за национальное единство и

независимость."Българино, не ее мами, знай свой род и език!" – призывал Отец Паисий, – учи ее на своя език!" В условиях национально-освободительной борьбы славянских народов именно борьба за свободу родного языка была первойшей и важнейшей национальной задачей, важнейшим условием борьбы за национальный суверенитет. Здесь именно "формирование языковой общности и национального самосознания обуславливало постановку проблемы государственности" [7].

Традиционно проблема взаимосвязи истории народа с историей языка изучается односторонне, в плане влияния общества на развитие языка. Бытует мнение, что язык лишь "чутко реагирует" на возрастающие потребности развивающегося общества, сам же язык остается лишенным не только атрибута саморазвития, самодвижения, но и тем более влияния на развитие общества. Славянский материал диктует иную постановку проблемы: необходимо вскрыть закономерности сложной системы "язык – общество", выявить механизмы взаимодействия языкового и общественного развития, выяснить не только роль общества в языковой эволюции, но и роль языка в истории славянских народов. История Польши, например, дает ярчайшее свидетельство ведущей роли языка в процессе формирования польской нации. На протяжении почти полутора столетий польский литературный язык, сформировавшийся в донациональный период, был единственным, и этому единству не смогли помешать условия раздела и государственные границы Пруссии, России и Австрии [8]. Бессспорно, "не только общество и общественное сознание влияет на язык, но и язык, в свою очередь, оказывает известное влияние на развитие общества и общественное сознание" [9]. Общественное сознание, в данном случае, идея славянской взаимности есть результат языкового родства, "влияния языка", с одной стороны, и важнейший фактор его развития, – с другой. Сила и направление воздействия славянской идеи на язык и общество детерминируется "социальным заказом", общественно-историческими потребностями, интересами тех социальных групп, которые использовали славянскую идею в жизненной борьбе. Исторический анализ идеи славянской взаимности в таком тройском аспекте и может стать центральной задачей славянской диахронической социолингвистики. Это, прежде всего, история кирилло-методиевской идеи в социолингвистическом аспекте, социально-исторические и лингвистические предпосылки ее зарождения, реализации и история ее традиций в развитии славянских языков, духовной культуры и общественно-политической жизни.

Сюда же можно отнести и идею общеславянского литературного языка от Юрия Крижанича до А.Пухмайера и Юнгмана, Яна Геркеля и Матия Майера, М.Гатталы и А.Будиловича.

Значительный социолингвистический интерес представляет вопрос о социально-политических условиях возникновения и развития панславизма, а также славянофильства как важнейшего идеиного течения России XIX в. и его роль в создании "Славянских благотворительных комитетов", игравших положительную роль в национально-освободительной борьбе южных славян.

Преобразование "славянской идеи" в славистику, славянскую филологию, в науку о славянах (XVIII-XIX вв.), опиравшуюся

шуюся на университетские кафедры и международный славистические издания, бесспорно, "отвечало требованиям культурного и социального развития славян, было необходимой составной частью славянского возрождения, одним из средств выхода из феодального средневековья" [10], теоретическим и идеологическим обоснованием народно-освободительной борьбы, процесса формирования славянских наций и национальной культуры [11]. В рамках истории славяноведения большой интерес представляет динамика "социального заказа" постановки и решения научных задач славистики. Почему, например, кирилло-мефодиевская проблематика сразу же стала центральной в славянской филологии, с чем связана периодичность обострения споров о народно-языковой основе кирилло-мефодиевского языка и его названии? Каковы социолингвистические критерии разрешения спорных вопросов? Почему именно в славистике отмечаются наибольшие достижения в области реконструкции праязыка, истории литературных языков и др. Было бы интересно сравнить постановку и решение схожих проблем в славистике и, скажем, в романской и германской филологии.

Славянская диахроническая социолингвистика, рассматривая определенные историко-славистические знания как целостный интегрированный объект, как сложную систему взаимосвязанных явлений и процессов, должна базироваться на принципе системности. Здесь следует вспомнить, что именно славянский языковой материал послужил колыбелью и первым пробным камнем системно-функционального подхода ко всем явлениям языка, методологического принципа, ставшего знамением лингвистического мировоззрения ХХ в.

На VI Международном съезде славистов Д.С.Лихачев впервые в науке поставил проблему "древнеславянские литературы как система" [12], вызвавшую плодотворную многолетнюю дискуссию. Опираясь на ее результаты, можно поставить проблему системности в диахронической социолингвистике. В данном случае в центре внимания исследователя встанет процесс прогрессирующей интеграции славянских народов и их культуры в межславянском и внутриславянском, региональном и общеевропейском, а также - в международном масштабе.

Можно различать два типа такой интеграции, проявляющейся весьма различно на разных этапах социальной эволюции. Так, в основе польской государственной доктрины лежит легендарно-мифологическая концепция интеграции, восходящая к "Полесской хронике" Виценция Кадлубека (ХII - нач. ХIII в.), вводившего польское прошлое в контекст мировой истории вплоть до легенд о победе поляков над войсками Александра Македонского и Юлия Цезаря. Такой же характер имеет теория Москвы как третьего Рима, восходившая к идее псковского старца Филофея. К этому типу интеграционных факторов относится "История славено-българска" Паисия Хилендарского, а также "славянская идея" славянских будителей ХУШ-XIX вв.

Если интеграционные факторы первого типа остаются в сфере идей, концепции и теорий, то ко второму типу можно будет отнести все конкретные, длительные и противоречивые процессы взаимного сближения народов, их языков и культур.

Эти процессы, как правило, имеют конвергентно-дивергентный характер: выигрыш интеграции в одном сопровождается дивергенцией, ослаблением связей в другом и - наоборот. Так общий переход славян на стадию феодализма включал их в сферу европейских народов, со всеми культурно-историческими, политическими и идеологическими последствиями. Но этот процесс сопровождался образованием отдельных славянских государств и народов, формированием истоков специфики их культуры и языка. Общий процесс христианизации славянских народов как построение общеидеологического фундамента феодального строя привязывал славян к двум соперничающим эпицентрам средневековой европейской культуры - Риму и Византии, разделил Славию на две зоны (*Pax Slavica Latina* и *Pax Slavica Ortodoxa*) как составные части двух культурно-исторических ареалов.

Общий процесс обретения письменности, непосредственно связанный с процессами христианизации и образованием феодальных государств, обусловил возможность создания общего для всех славянских народов книжного языка. Однако эта возможность реализовалась лишь частично. Книжно-славянский язык кирилло-мефодиевской традиции интегрировал лишь часть южных и восточных славян, пожалуй, еще резче проведя границу между двумя культурно-историческими ареалами славянства. Интегрирующий характер этого языка получал своеобразное проявление в общем у всех славян то как разрешение папой Иннокентием IV глаголического богослужения по католическому обряду (1248 г.), то как фонематический принцип древнечешской орографии Яна Гуса и борьба за права чешского языка в церковном обиходе и т.п.

Общий процесс перехода от феодализма к капитализму сопровождался формированием славянских наций и национальных литературных языков. Разные национальные языки художественно-культурного общения, пришедшие на смену международной латыни и книжно-славянскому, ослабили границы между двумя ареалами, способствовали распространению общего типа литературы, чему, бесспорно, содействовал процесс межславянского взаимодействия и посредничества и прежде всего, - на стыке ареалов. Это - польско-украинско/белорусское эстетическое и языковое сближение, затем - украинско/белорусское воздействие на русскую литературу и язык как подготовка польского влияния. Позже - непосредственное польское воздействие как почва для западноевропейского влияния и, наконец, интеграция русской литературы с европейской и мировой литературой, ее влияние на язык и литературу южных славян, затем - на всех славян и мировую литературу.

Такого рода процессы схождений, интеграции могли действовать и при наличии или даже усилении иных различий. Так, именно в эпоху усиления религиозно-философской несовместимости польско-восточнославянских доктрин теологического и государственного характера, наблюдается усиление языкового и эстетического взаимодействия. Польские писатели XVI-XVII вв. проявляют глубокий интерес к восточнославянской мифологии, фольклору, истории и культуре, а восточнославянские писатели - к польской литературе, духовной и материальной культуре. Киево-Могилянская Академия как

форпост восточнославянской образованности явилась рассадником и передатчиком польской и вообще "латинской" литературы и культуры восточным славянам.

Иной подтип взаимосвязей характеризует отношения между тем или иным феноменом истории культуры и сопряженными явлениями и институтами. Так, например, интенсивность развития письменности у того или иного славянского народа зависела от судеб государства и церкви. В случае утраты автокефальной церкви и государственности, развитие письменности приостанавливалось (ср. историю Болгарии под игом фанариотов и Турции). Победа контреформации в Польше и Чехии привела к упадку письменности, литературы и языка.

Как заметил Н.И.Толстой [13], канун национальной эпохи характеризуется множественностью областных литератур и вариантов литературно-письменных языков. Переход от народности к нации сопровождается мощной тенденцией к единству литературного языка, стремлением преодолеть даже религиозные барьеры (ср. деятельность Вука Караджича, Людевита Штура и др.). Победа вуковского направления в развитии литературного языка у сербов сопровождалась окончательной победой романтизма (Бранко Радичевич и др.), пришедшего на смену ложноклассицизму (Йован Хаджич).

Еще один подтип взаимосвязи явлений духовной культуры обусловлен собственно внутренней логикой эволюции данного явления. Так, например, "вся эволюция русской поэзии от Державина до Маяковского совершенно внутренне логична и осмысlena, так что ни один из моментов этой эволюции не нуждается в выведении" из внелитературных фактов, - заметил Н.С.Трубецкой, - но в то же время, конечно, не случайно хотя бы то, что расцвет символизма совпал с предреволюционным периодом" [14].

Диахроническая социолингвистика и должна выявлять иерархическую сеть взаимосвязей возникновения и развития именно данных языковых проявлений, форм, концепций, текстов и т.п. как между собой, так и с общественно-исторической реальностью своего времени, его мировоззрением и другими видами духовной жизни и практической деятельности, в исследовании факта не самого по себе, а в связи с целой системой явлений, составляющих общественно-исторический процесс в мировом, либо общеславянском или региональном масштабе.

Понятийный аппарат диахронической социолингвистики включает в себя следующие понятия.

1) Социум, общество, социальный коллектив, связанный в нечто целое определенным единством целей и задач длительного или краткосрочного социального взаимодействия. Объем социума в принципе детерминируется общностью задач и реальностью социального взаимодействия (микро-, макро- и мегасоциум). Это может быть семья, село или город, хозяйственное или культурное предприятие, фабрика или университет, историко-культурный ареал Восточной и Центральной Европы либо страны СЭВ и т.п. [15].

2) Социальное взаимодействие, интеракция неотделима от языкового взаимодействия, осуществляемого путем речевого взаимодействия. Последнее в принципе возможно лишь в рамках одного, данного языка.

3) Речевое взаимодействие, реальная или потенциальная возможность речевого общения создает особое целостное образование, языковой коллектив, социалему [9], реальную, либо потенциальную [15]. Объем социалемы зависит от интенсивности речевого взаимодействия.

Совокупность славянских языков и диалектов, допускающих потенциальную возможность межславянского речевого общения, и представляет собою потенциальную социалему на протяжении всей истории славянства. В эпоху феодализма реальной социалемой был территориальный диалект, а в случае отсутствия либо утраты государственности и (или) автокефальной церкви даже общенародный язык становился скорее потенциальной социалемой, чем социалемой реальной.

Переход к товарному производству капиталистической формации обусловил усиление внутринациональных и международных интеграционных связей. Национальная консолидация приводила к превращению потенциальной социалемы общенародного языка в реальную, к конвергенции и нивелировке территориальных диалектов, к подъему народного языка до уровня литературного национального языка [16]. Общая тенденция трансформации потенциальной социалемы в реальную и породила идею общеславянского литературного языка, облегчала интеграционным силам переход через церковные и государственные границы, содействуя успеху штурмовщины, союзу Вука Карадича и Людевита Гая, успеху Адама Мицкевича и Юлиуса Словацкого и т.п.

4) Языковое взаимодействие может осуществляться с помощью одного или нескольких языков. Отдельные представители данного социума могут быть представителями двух или нескольких социалем. Это билингвы. Межъязыковое взаимодействие осуществляется лишь в процессе речевого взаимодействия билингвов. Славянско-греческий и славянско-латинский билингвизм увеличивал греческую и латинскую социалемы, обеспечивая социальное взаимодействие в сфере соответствующих культурно-исторических ареалов.

Наличие общеславянской потенциальной социалемы обустроило широкое распространение диглоссии в самых различных ее проявлениях. Это, прежде всего, гомогенное двуязычие в истории всего культурно-исторического ареала Pax Slavica Ortodoxa. Книжно-славянский язык, "находившийся в принесенных из Болгарии текстах" (Н.С.Трубецкой), был воспринят как свой в Киевской Руси. В эпоху новоболгарского возрождения русский литературный язык как бы возвращал болгарам усвоенные через книжно-славянский язык южнославянские элементы, которые не могли не восприниматься "своими" в Болгарии. "Прошедший через горнило русского литературного языка церковно-славянский словарный материал в русском обличии является тем мощным звеном, который связывает современный болгарский литературный язык с общеславянской литературно-языковой традицией" [14]. Грамматика Милетия Смотрицкого (Вильна, 1619) длительное время поддерживала сосуществие диглоссии во всем ареале Восточной и Центральной Европы от Вильно и Киева, Москвы и Львова, ее знали Белград и Нови Сад.

Несколько иной тип диглоссии представляла языковая ситуация Словакии, где в функции литературного языка длительное время выступал чешский язык.

Чешско-польская диглоссия первого этапа христианизации Польши оставила весьма заметные следы в польском литературном языке. Особый тип диглоссии имел место на стыке двух культурно-исторических ареалов: польско-восточнославянская (украинско-белорусская) диглоссия порождала своего рода "переходные" тексты, порой отличающиеся лишь транслитерацией латинской графики на кириллическую и наоборот, что не могло не содействовать сближению польского и восточнославянских литературных языков, а через русский литературный язык - к сближению с южнославянскими литературными языками. Может быть, этим и следует объяснить тот факт, что в истории славянских литературных языков наблюдается взаимопомощь, а в истории романских - конкуренция, хотя славяням и не удалось создать единый литературный язык.

В различных социально-коммуникативных условиях речевой реализации язык выступает в виде относительно целостных образований: язык устный и письменный, язык и наречие, территориальный диалект, отдельный говор и т.п., язык и социальный диалект, профессиональный жаргон, стиль подъязыка науки и т.п. Такого рода языковые образования можно подвести под более общий термин, лингвему [9].

Фундаментальные понятия диахронической социолингвистики - социум, социалема и лингвема - выступают в качестве трех осей ординат, на которые опирается социальная история языка во всем ее объеме [16].

Во главу угла диахронической социолингвистики выдвигается социалема, в которой перекреивается социальное и языковое.

Социалема, языковой коллектив, в рамках которого осуществляется обмен социальной информацией, речевое взаимодействие на данном языке или диалекте, на данной лингвеме вообще, может выступать в качестве исходной единицы языковой эволюции, "клеточки" диахронической социолингвистики. Социалема, степень интенсивности речевого взаимодействия между ее членами, количественные и качественные изменения ее контингента детерминируются внешними, прежде всего социальными условиями. Сама социалема детерминирует функционирование и развитие своего языка, социализирует, присваивает, либо отвергает те или иные варианты языковой техники, как спонтанно порождаемые эволюционирующей системой данного языка, так и проникающие из родственных лингвем. Сюда же относится процесс присвоения иноязычных заимствований вплоть до целостной лингвемы.

За известными конвергентно-дивергентными процессами развития языков стоят конвергентно-дивергентные процессы социалем. Конвергируют либо дивергируют не языки сами по себе, а их социалемы. Контактируют не языки, а социалемы. Социалема любого языка может в силу тех или иных исторических условий сократить свой объем до минимума и, в концеп-концов исчезнуть. Собственно стал мертвым не полабский язык, а его социалема.

Расширение социальных функций литературного языка осуществляется путем подъема социального статуса его социа-

лемы. Не язык сам по себе, а его социалема овладевает новыми общественными функциями, добивается расширения сфер обслуживания для своего языка. "Давление общества" на развитие языка осуществляется через "давление" на его социалему путем изменения объема, социально-этнического содержания и данной социалемы, путем перераспределения социального статуса контактирующих социалем в рамках данного социума.

Социалема, собственно люди, языковой коллектив, владеющий литературным языком, и тексты, создаваемые ими и хранящиеся в том или ином аппарате их памяти, - вот что составляет предмет истории литературного языка. Основным и наиболее надежным способом расширенного воспроизведения социалемы является школа. Опорной социалемой создающегося или реформируемого литературного языка должна служить та или иная реальная народно-разговорная основа.

Создать литературный язык значит, прежде всего, создать определенный объем текстов и социалему, призванную осуществлять функции сохранения и расширенного воспроизведения этих текстов. Опорной социалемой созданных Кириллом и Мефодием текстов, послужило славянское койнэ города Солуни. Социалему древнейшего языка славянской письменности составили ученики Кирилла и Мефодия, ученики их учеников. Только Климент Охридский, в организованных им школах, подготовил около 3500 учеников. В истории литературного языка может произойти смена опорной социалемы (сдвиг диалектной и социальной базы). История литературного языка - динамика объема и социально-этнического содержания его социалемы, динамика объема и содержания его текстов. Социалема литературного языка определяет характер и направление интегрирующих связей [16] с другими коллективами, а тем самым и характер развития литературного языка, динамику содержания его текстов. Это может быть связь с предшествующими поколениями, связь с древней культурой, тенденция сохранения условий понимания текстов, составленных старшими поколениями (ср. спор между каравазинистами и шишковистами, Вука Караджича с Йованом Хаджичем и т.п.). Иной характер имеют интегрирующие силы, направленные на связь с другими представителями своего культурно-исторического ареала (ср. различие между сербским и хорватским в рамках сербско-хорватского литературного языка). Противоположное направление имеет тенденция усиления интернациональных связей с представителями своего народа, своей нации. Это процесс демократизации литературного языка. И, наконец, интегрирующие силы могут отражать постоянные или временные связи представителей данного народа и носителей его литературного языка с другими народами в различных сферах социального (экономического, политического, культурного и т.п.) взаимодействия. Это проявляется как процесс интернационализации литературного языка, как отражение международных связей (с греками Византии и латинской культурой Западной Европы, с голландскими кораблестроителями и немецкими учеными, с французскими и итальянскими мастерами культуры и т.п.). Интернационализация и демократизация литературного языка - лишь обратная сторона и следствие соответствующе-

го изменения социально-этнического содержания его социалемы.

Цель диахронической социолингвистики состоит в выявлении динамики системообразующих связей, способствующих самосохранению и саморазвитию сложной системы "социум-социалема - лингвема", "социальное - языковое взаимодействие". Задачи диахронической социолингвистики заключаются в выявлении закономерностей изменения объема и социально-этнического содержания социалем в связи с изменением объема и содержания социального взаимодействия соответствующих социумов, с одной стороны, и отражение этих процессов на структуре и иерархии соответствующих лингвем - с другой.

В сфере внимания диахронической социолингвистики должны постоянно присутствовать различного рода процессы социализации языка и отдельных элементов, интегрирующая роль языка в процессе социализации личности, социума, народа и нации, в формировании народного самосознания.

В качестве методологического регулятива диахронической социолингвистики выступают принципы системности и историзма. Аспект самодвижения и самосохранения эволюционирующей системы "язык - общество" составляет основное содержание диахронической социолингвистики. "Социальное давление" обуславливает как изменение языка, так и его устойчивость, сохранение состояния коммуникативной пригодности. Главное в диахронической социолингвистике - интегративный метод, нацеленный на вскрытие сети интегративных связей. Не только общество является средой обитания языка, но и язык - средой обитания общества и человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.В. Слово о филологическом образовании // Вестник высшей школы, 1967, № 11. С. 50.
2. Brozović D. Sociolingvističke zadaće u slavenskom gezičnom svijetu. Knj. referata. 8 Medunar. slav. kongr., 1, Zagreb, 1978. S. 120.
3. Brang P., Züllig M. Kommentierte Bibliographie zur slavischen Soziolinguistik. Bern, 1982, Bd. 1.
4. Королюк В.Д. К вопросу о славянском самосознании в Киевской Руси и у западных славян в X-XII вв. // История, культура, фольклор и этнография славянских народов. М., 1968.
5. Литаврин Г.Г. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX-X вв. // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1983.
6. Миллер И.С. Формирование наций: Комплексное изучение и сопоставительный анализ // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. С. 7-8.
7. Марков Д.Ф. Славистика как комплекс научных дисциплин // Методологические проблемы истории славистики. М., 1978. С. 7.
8. Стрекалова З.И. О роли языка в процессе формирования польской науки. Формирование наций... С. 163.
9. Дешериев Ю.Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории. М., 1977. С. 5.

10. Георгиев Э. Об основных этапах развития славистики в славянских странах. Методологические проблемы... С. 93.
11. Смирнов Л.Н., Венедиктов Г.К. Формирование национальных языков зарубежных славян// Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы: Итоги и перспективы исследований. М., 1979.
12. Лихачев Д.С. Древнерусская литература как система// Славянские литературы: VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968.
13. Толстой Н.И. Культурно- и литературно-исторические предпосылки образования национальных языков// Формирования чаций... С. 126.
14. Толстой Н.И. Мысли Н.С.Трубецкого о русском и других славянских литературных языках// Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Калинин, 1981. С. 113.
15. Журавлев В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
16. Журавлев В.К. Проблемы истории славянских литературных языков// Сов. славяноведение, 1984, № 3.

A. A. Зализняк

ДРЕВНЕНОВГОРОДСКИЙ ДИАЛЕКТ И ПРОБЛЕМЫ ДИАЛЕКТНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПОЗДНЕГО ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Берестяные грамоты открыли перед лингвистами картину древненовгородского диалекта XI-XV вв., которая не могла быть восстановлена на основании известных ранее фактов (между тем в свете берестяных грамот многие свидетельства старых памятников и современных говоров получают ясный смысл).

К концу 1986 г. в Новгороде было найдено 680 берестяных грамот (тот же диалект отражают и 23 грамоты из Старой Руссы). Совокупная длина этого корпуса текстов достигла уже около 10400 слов (без учета цифр; для сравнения укажем, что, например, длина Пространной Русской Правды — около 3900 слов). Объем словаря берестяных грамот достиг 2400 лексем.

Уникальность берестяных грамот как лингвистического источника определяется: 1) их древностью; 2) их подлинностью; 3) близостью их языка к живой разговорной речи; 4) неофициальным, бытовым характером содержания подавляющего их большинства; 5) вполне удовлетворительной для лингвистических целей точностью их археологического (прежде всего дендрохронологического) датирования — в среднем порядка четверти века. Особо ценные грамоты раннего периода (XI — начало XIII в.); их более 250. Вопреки распространенному заблуждению, берестяные документы не являются малограмматными записями. Напротив, большинство из них написано тщательно и с умением; особенность лишь в том, что их графико-орфографические системы часто отличаются от книжной — в основном взаимозаменимостью букв *т* и *о* и букв *ь* и *е* (или *ѣ*).

Необходимо подчеркнуть, что ранний древненовгородский диалект – это вторая по времени после старославянского зафиксированная письменно форма славянской речи. Если же учесть литературный и переводной характер старославянских текстов, то древненовгородский диалект оказывается древнейшей формой повседневной, не литературной славянской речи, непосредственно отраженной сколько-нибудь представительным корпусом записей. Для сравнения напомним, что обычную ("стандартную") форму древнерусского языка из подлинных документов XI – начала XIII в. представляют в сущности лишь Мстиславова грамота (ок. 1130 г., 156 слов) и запись о покупке Бояновой земли на стене киевского Софийского собора (XII в., 64 слова), причем эти два текста носят официальный характер и потому не могут быть прямым отражением разговорной речи. Все прочие памятники данной формы языка списаны (или созданы) в более позднюю эпоху.

Анализ берестяных грамот, ряда других памятников (пергаменных грамот, летописей) и современных диалектологических данных позволяет заключить, что в древней Новгородской земле отчетливо различались западные говоры (соотносимые с псковскими кривичами) и восточные (соотносимые с ильменскими словенами). Сам Новгород и прилегающие к нему районы находился в зоне контакта этих двух групп говоров. Этот контакт начался не позднее IX в. и был весьма интенсивен; соответственно, на протяжении нескольких веков здесь складывался особый смешанный тип говоров, в котором соединился ряд важнейших западных черт с некоторыми восточными. Именно он отражен в подавляющем большинстве берестяных грамот и может быть обозначен как древненовгородский диалект в узком смысле слова. В период независимости древненовгородского государства этот диалект, по-видимому, приобрел также функции общеновгородского койне, т.е. мог в той или иной мере использоваться во всех областях государства (в особенностях в городах).

Одним из главных сюрпризов, которые принесло изучение берестяных грамот, оказался тот факт, что максимум диалектной специфики (всех уровней) обнаруживают не поздние, а ранние берестяные грамоты. Иначе говоря, древненовгородский диалект в XI – XII вв. отличался от "стандартного" древнерусского заметно сильнее, чем в XIV – XV вв. Сближение реализовалось здесь в основном в форме постепенного роста в древненовгородском диалекте удельного веса ильменско-словенских элементов (которые с самого начала гораздо меньше отличались от "стандартного" древнерусского, чем севернокривические).

Такая картина эволюции означает, что формирование характерных особенностей древненовгородского диалекта относится к очень древней эпохе (в большинстве случаев дописменной), т.е. мы сталкиваемся здесь с проблематикой процессов, обусловивших расщепление позднего праславянского языка.

Ниже кратко рассматриваются важнейшие конкретные черты древненовгородского диалекта. Поскольку в настоящей работе нас прежде всего интересуют древнейшие диалектные соотношения, основное вниманиеделено тем особенностям, кото-

рые отражены уже в ранних берестяных грамотах, т.е. сформировались не позднее XII в.

1. В сфере исторической фонетики главная отличительная черта древненовгородского диалекта - отсутствие эффекта так наз. второй палатализации заднеязычных (Зализняк 1986, § 25-28), ср. *кѣлъ* 'целый', *хѣръ* 'серый', *на Лугѣ*, *на Нѣжѣкѣ* и т.п. (здесь и ниже древненовгородские примеры для упрощения приводятся в нормализованной графике). Даные берестяных грамот с полной определенностью подтвердили в этом пункте тезис С.М.Глускиной об отсутствии второй палатализации в северо-западных говорах русского языка (Глускина 1966). Как показывают современные диалектные данные (прежде всего характер распространения корней *кеп-* 'цеп', *кед-* 'cedить', *кев-* 'цевка'), эта черта принадлежала в первую очередь западным говорам. Иначе говоря, в состав древненовгородского диалекта она вошла со стороны северных кривичей.

Отсутствие второй палатализации отличает древний севернокривичский и древненовгородский диалекты не только от остальных восточнославянских, но и от всех прочих славянских вообще. Очевидно, предки кривичей (по крайней мере северных) отделились от основного массива славян раньше, чем осуществился процесс второй палатализации.

Что касается ильменско-словенских говоров (не смешанных), то для них диалектные данные заставляют предполагать наличие второй палатализации. По крайней мере в корнях этот эффект здесь вполне регулярен. На стыке основы и окончания, по-видимому, очень рано началось выравнивание основы, устранившее данный эффект. Вполне вероятно, что раньше всего это выравнивание осуществлялось в говорах, сохранившихся с севернокривичскими. Но следует учитывать также, что тенденция к выравниванию основы могла иметь и более древние истоки - общие со словенским языком, где рано произошло точно такое же выравнивание (ср. также постепенное развитие этого процесса во многих сербскохорватских говорах и в словацком).

2. В древненовгородском диалекте не было также палатализации в сочетаниях **kv*, **gv* в позиции перед *ѣ*, *i*, *ь*, ср. *кѣтъ* 'цвет', *гѣзда* 'звезда'. По данным диалектологии, это тоже черта севернокривичских говоров (непосредственно совпадавших здесь с западнославянскими языками). В ильменско-словенских говорах (не смешанных) в этих случаях выступал обычный для южных и восточных славянских языков рефлекс (*ч*, *з*).

3. Фонема *x* не подверглась в древненовгородском диалекте так наз. третьей палатализации. Практически это сводится к тому, что слово 'весь' сохранило здесь основу *въх-* во всей парадигме, например: *въхо* 'всё', *въху*, *въхѣ*, *въхѣмъ*. Из системных соображений эту особенность тоже естественно связывать с западными говорами; ср. также отмеченную в писцовых книгах XV в. деревню *Вховѣжъ* (<*Въховѣжъ*>) в Дубровенском погосте Шелонской пятины, близ границы с Псковской землей.

4. В древних севернокривических говорах праславянские **tl*, **dl* дали *кл*, *gl*. Попытки ряда исследователей объяснить соответствующие примеры вторичными процессами в на-

тоящее время должны быть отвергнуты: материал здесь давно уже не ограничивается словоформами перфекта типа *сустрѣкъли*, *блюгли*, а включает также значительное число имен (и продолжает расти по мере новых изысканий): *херегло*, *хагло*, *егла* (и *егль*), *мочигло* 'болото', *клещ* 'лещ', кроме того, отмеченные в источниках XV в. топонимы *Еглино*, *Егольское*, *Виглино*, *На Пияглицах* (ср. пошеконское *вопиялица* 'пиявка'), *Сеглицы* (ср. польск. *Siedlice*, *Siedlce* и т.п.), *Суглица* (ср. чешск. *vudlice* 'сулица', 'рогатина') и др., антропоним *и гличинич*. В лингвистической литературе указаны также эстонские *vigel* (Р.ед. *vigla*) 'вили', *tugel* (Р.ед. *tugla*) 'жидкое мыло', 'щелок', явно заимствованные из древнепсковского. Сохранение взрывного элемента в сочетаниях **tl*, **dl* очевидным образом связывает севернокривические говоры с западнославянскими языками. В ильменско-словенских говорах (не смешанных) **tl*, **dl* дали л - как в южнославянской группе и в основной части восточнославянской.

В древненовгородском диалекте, по-видимому, сосуществовали оба типа рефлексов (например, *привегли* и *привели*); материал берестяных грамот по данному пункту пока еще слишком ограничен. Обследование топонимики новгородских пятин, отраженной писцовыми книгами XV в., показывает, что топонимы с *кл*, *гл* (типа *Клещино*, *Еглино*, *Виглино*) встречались во всех пятинах. При этом, однако, в восточных пятинах (Бежецкой, Деревской, Обонежской) с ними активно конкурировали топонимы с *л* (типа *Лещово*, *Елино*, *Еловица*, *Вилино*), тогда как в западных пятинах (Шелонской и Водской) таких топонимов практически не было. Можно полагать, что в самый ранний период словоформы с *кл*, *гл* были распространены в древненовгородском диалекте достаточно широко, но в дальнейшем их почти полностью вытеснили словоформы с *л*.

5. Инновацией, охватившей всю территорию древненовгородского государства, было совпадение фонем *ц* и *ч* (цоканье). Как берестяные, так и пергаменные памятники ярко отражают это явление с самого начала письменной эпохи.

В севернокривических говорах развилось также смешение *с'*, *з'* соответственно с *ш'* и *х'*. В древненовгородский диалект оно проникло лишь в незначительной степени (имеется всего несколько берестяных грамот, где отразилось это явление).

6. Согласно убедительной гипотезе С.Л. Николаева, в древнекривическом диалекте праславянские **tj*, **dj*, **sj*, **zj* дали соответственно *k'*, *g'*, *x'* и *j'*, которые впоследствии перед задними гласными отвердели (отсюда, например, псковские диалектные *сустрѣкать* 'встречать', *рогать* 'рожать', *вѣхать* 'вешать'). Такое развитие означает совпадение рефлексов **tj* и **dj* с *k* и *g*, находящимися "в позиции второй палатализации" (т.е. перед *ё* или *и*). В славянском мире эта особенность представлена только в западнославянских языках; ср., например, польск. *świeca* (*c < tj*) и *rzece* (*c < k*). Разница лишь в том, что в этих языках эволюция продвинулась на шаг дальше, чем в древнекривическом: возникли свистящие. Таким образом, древнекривический диалект отражает в данном пункте не что иное, как древнейшее состояние той же системы, которая характеризует западнославянские языки. Ильменско-словенские говоры имели в рассматриваемых

случаих обычные для восточнославянской зоны рефлексы: *ч*
 (= *ц* в силу цоканья), *х*, *ш*, *ж*.

Древненовгородский диалект, судя по показаниям берестяных грамот и других источников, в основном воспринял в данном пункте ильменско-словенские рефлексы; ср. уже в древнейших берестяных грамотах такие примеры, как *хочу* (или *хою*), *прихажаи*, *прашии*, *кохахъ* и т.п.

Лишь в одном частном случае рефлексы кривичского типа получили значительное распространение. Речь идет о сочетаниях **stj* и **zdz* (с которыми совпали также соответственно **skj* и **zdj*): их кривические рефлексы были, очевидно, [ш'к'] и [ж'г'], ильменско-словенские – [ш'ч'] (= [с'ц']) и [ж'дж']. Как можно полагать, в древненовгородском диалекте рефлексы обоего рода сосуществовали. Для звонкого сочетания свидетельством допустимости [ж'г'] является написание *жг*, известное из очень многих древненовгородских памятников, в том числе даже церковных. Для глухого сочетания аналогичным свидетельством служат случаи взаимной мены *щ* и *шк*, отмеченные в берестяных грамотах и в летописи (Зализняк 1986, § 30); они говорят о том, что *щ* могло читаться как [ш'к'].

7. Ранние берестяные грамоты недвусмысленно указывают на то, что в древненовгородском диалекте праславянские сочетания типа **tъrt* перешли в тип *търтъ*; ср. уже в древнейших грамотах такие примеры, как *смърьди*, *смърьда*, *хъльтое*, *хъльтъкъ*, *Търтъцина*, *Мълъвотицъхъ*, *Чърнѣка* и т.п. В дальнейшем вторая гласная таких сочетаний "прояснялась" или падала по общим правилам для редуцированных; отсюда чередование типа *бороть* – *бортъ*, *верех* – *верха*.

Судя по диалектологическим данным, очагом этой инновации являются севернокривические говоры. Отсюда она распространялась на древненовгородский диалект. Восточной части ильменско-словенских говоров она практически чужда.

8. Для древненовгородского диалекта был характерен переход *вл' > л'* (например, *Иколъ*, *присталивати*); в ряде слов отмечен также переход *мл' > н'* (например, *на зени*, *енючи*; в слове *захонъе* 'захолмье' представлен аналогичный переход при исходном *лм'*). Диалектные данные указывают на севернокривическое происхождение этих инноваций. Не исключено, что тенденция к устраниению сочетаний *вл'*, *мл'* находится в некоторой отдаленной связи с отсутствием таких сочетаний (кроме позиции начала морфемы) в древних диалектах западнославянской зоны.

9. По данным диалектологии, сочетании **vъjь* развивалось в одних кривичких говорах в *ий*, в других в *эй*; в ильменско-словенских говорах оно давало *ой*. Хотя это различие отчетливо проявляется лишь после падения редуцированных, его предпосылки несомненно сформировались существенно раньше. Как показывают берестяные грамоты (и другие источники), в древненовгородском диалекте сосуществовали все эти рефлексы, но преобладал западный рефлекс *ий* (встречался также его стяженный вариант: *я*), например, *голуби*, *други*.

10. В древнекривичском диалекте фонема *ё* реализовалась как относительно открытая гласная (или дифтонг с открытым конечным элементом), в ильменско-словенском – как закрытая гласная (или дифтонг с закрытым конечным элементом). Первый сближался, таким образом, в этом пункте прежде все-

го с польским, второй — с древним южнорусским, словенским и сербскохорватским. В древненовгородском койне XIV–XV вв., вероятно, преобладала реализация восточного типа.

11. В ильменско-словенских говорах в какой-то момент их истории сформировалось противопоставление фонем *ô* (закрытого) и *ɔ* (открытого), причем распределение этих фонем, как было установлено еще Л.Л.Васильевым и А.А.Щахматовым, практически тождественно распределению фонем *ø* и *ø̄* в словенском языке. Вполне допустимо, таким образом, предположение о генетическом единстве истоков данного распределения. Напротив, в говорах кривичского происхождения данное противопоставление, по-видимому, вообще не сформировалось. В древненовгородском койне XIV–XV вв., вероятно, преобладала система с различением *ô* и *ɔ*.

12. Самая яркая морфологическая особенность древненовгородского диалекта — окончание *-e* в И.ед. (но не в В.ед.!) мужского рода твердого *o*-склонения. Оно представлено не только у существительных, но также у прилагательных, местоимений, причастий, в именной части перфекта, например: *Петре, смъре, хлѣбе, свободьне, саме, погублене, привезле, възле*. Эффект первой палатализации перед этим окончанием отсутствует (т.е. его здесь не было или он был устранен в результате выравнивания основы); примеры: *Уентѣгѣ, замѣке, лихе, въхе 'весь'*; особый интерес в этом отношении представляет словоформа *кѣ-то 'кто'* (ср. *кѣ-то* в остальных славянских диалектах).

В берестяных грамотах XI — нач. XIII в. окончание *-e* безусловно господствует; окончание *-o* встретилось в этот период лишь в очень немногих грамотах, причем часть из них ориентирована на книжный язык или написана не новгородцами. В XIII–XV вв. процент примеров с окончанием *-o* постепенно повышается, однако даже и в XV в. окончание *-e* все еще преобладает.

В *i*-склонении в И.ед. во все периоды представлено только окончание *-o*: *полъ, синъ*. В И.ед. *jo*-склонения выступает *-o* (не *-e*), например, *господарь, конь*.

Данные исторической и современной диалектологии указывают на то, что окончание И.ед. *-e* было свойственно в первую очередь севернокривичским говорам и именно из них вошло в древненовгородский диалект. Словоформа *псе 'пёс'* дошла в псковских говорах до наших дней. Ильменско-словенские говоры (не смешанные) имели в И.ед. окончание *-o*.

Показания берестяных грамот заставили отвергнуть ряд предлагавшихся ранее гипотез о происхождении псковско-новгородского окончания *-e* в И.ед.

Все гипотезы о развитии конечного *-o* в *-e* чисто фонетическим путем отпали ввиду того, что ни в каких других грамматических формах, кроме И.ед. *o*-склонения, перехода *-o* в *-e* не было; ср. последовательное сохранение *-o* в В.ед., Р.мн., Д.мн., М.мн. и т.д., в словоформе *мзъ*, в И.ед. *i*-склонения (*синъ* и т.д.), в И.ед. причастий типа *давъ, възъмъ* (<**dāvus, *uzim̥us*).

Гипотеза о слиянии конечного *-o* со связкой **je* (или **e*), типа **bylo je > byle*, не может объяснить: 1) каким образом окончание *-e*, которое при такой предыстории должно было стать показателем предикативности, смогло вытес-

нить *-о* у существительных и местоимений (ср. *хлѣбъ*, *Петре* и т.п., *вѣхе*, *саме*, *кето*); 2) почему процесс смены окончаний в И.ед. захватил *o*-склонение (*хлѣбъ*) и не захватил *и*-склонения (*синь*), *jo*-склонения (*коно*) и причастий типа *давъ*, *вѣзъмо*.

Гипотеза о происхождении *-e* из звательной формы наиболее успешно противостоит указанным выше трудностям. Однако она заставляет нас предположить, что окончание звательной формы, первоначально актуальное лишь для части существительных, смогло вытеснить исконное окончание именительного падежа не только у всех существительных, но также у местоимений, прилагательных и причастий. Едва ли можно указать какие-либо типологические аналогии подобной экспансии.

С нашей точки зрения, в настоящее время имеется лишь две жизнеспособные гипотезы относительно рассматриваемого окончания.

Вч. Вс. Иванов выдвинул гипотезу (Иванов 1985) о том, что древнерусские формы на *-e* восходят к праиндоевропейскому *casus indefinitus*, следы которого сохранились в хеттском, тохарском и некоторых других языках (отсутствие эффекта первой палатализации должно быть объяснено ранним выравниванием основы). Определенную трудность составляет здесь необходимость признания того, что этот глубокий архаизм сохранился только в одном из древних славянских диалектов, не оставил следов в других диалектах. Дополнительного объяснения требует также отсутствие *-e* в *jo*-склонении.

Другая гипотеза (основная идея которой возникла при обсуждении данной проблемы С.Л. Николаевым, В.А. Дыбо и автором настоящей работы) состоит в том, что праславянское конечное **-os* первоначально дало не *-o*, а гласную типа *-a* (среднего ряда). Впоследствии **-a* совпало с *-o* во всех древних славянских диалектах, кроме севернокривичского, где оно дало *-e*. Что касается **-jos*, то его рефлекс повсеместно совпал с *-o*. Совпадение севернокривичского рефлекса такого **a* с обычным (т.е. смягчающим) *e* произошло позднее первой палатализации и раньше появления псковского яканья: "якающие" написания типа *Иевъ*, *дворъ* (<*Иеве*, *дѣбре*) в псковских памятниках показывают, что конечная согласная основы здесь уже была смягчена.

Саму возможность сохранения особого рефлекса лишь в одном из многих диалектов подтверждает, например, история **-ō*, которое дало особый рефлекс (в конечном счете *-ā*) лишь в сербскохорватском, а у остальных славян совпало с *-o*.

К сожалению, других классов словоформ с конечным **-os*, на которых можно было бы проверить данную гипотезу, практически нет. На **-os* оканчивались *s-neutra* типа *слово*, однако как раз в восточнославянской зоне они чрезвычайно рано перешли в тип *o-neutra* (с Р.ед. *слова* вместо *словесе* и т.д.), т.е. утратили свою специфику. Окончания 1 лица мн. числа презенса (см. ниже, п. 24) несколько напоминают окончания И.ед. муж.: ср. псковско-новгородское *-ме* с *-мо* в большинстве других диалектов. Тем не менее эта форма все же непоказательна, поскольку в праславянском она несомненно была вариативной: существовали еще варианты *-мо*, *-ми* (с другой стороны, *-ме* представлено также и за пределами кривичского ареала).

При данной гипотезе отпадает необходимость предполагать аналогичное выравнивание основы в словоформах И.ед. типа *замъке*, *въхе*, *кето*. Однако для древненовгородских звательных форм типа *Марке*, *братке*, *архистратиге* (которые, как и И.ед., обнаруживают *κ*, *г*, *х*, а не *ч*, *ж*, *ш*) предположение о выравнивании основы остается необходимым (или следует признать здесь просто совпадение звательной формы с И.ед.).

Независимо от того, какая из двух указанных гипотез ближе к истине, окончание *-е* в И.ед. – это особенность, выделяющая древний северокривический диалект среди всех остальных славянских, причем ее истоки восходят по меньшей мере к праславянской эпохе.

13. Уменьшительные с суф. *-ък-* от имен собственных *о-склонения* в раннем древненовгородском диалекте морфологически оформлены как *masculina* (не как *neutra*), например: *Жадъке*, *Жиръке*, *Иванъке* и т.п. (не *Жадъко* и т.п.). Эта черта северокривического происхождения. Как *masculina* такие имена обычно оформляются также в западнославянских языках, ср., например, польск. *Janek*, *Wojtek* и т.п. В ильменско-словенских говорах (не смешанных) имена этой группы оформлялись как *neutra*: *Иванъко* и т.п. Такое же оформление представлено в Юго-Западной Руси и в южнославянских языках.

14. В ранних берестяных грамотах в Д.ед. муж.р. у имен собственных и терминов родства с окончанием *-у* конкурирует *-ови*, например: *мужеви*, *Рожънѣтови*, *Вишъкови*, *Михалеви*. В грамотах XI – нач. XII в. окончание *-ови* даже преобладает. Напротив, в грамотах XIII–XV вв. этого окончания уже практически нет.

Данные исторической диалектологии показывают, что окончание *-ови* вошло в древненовгородский диалект из западных говоров. Эта инновация очевидным образом связывает древнекривический диалект, с одной стороны, с Юго-Западной Русью, с другой – с западнославянскими языками. Ильменско-словенским говорам (не смешанным) окончание *-ови* было чуждо (оно практически исчезло здесь даже у слов прежнего *и-склонения*). В этом отношении они совпадают с сербско-хорватским языком и с основной массой говоров словенского языка.

15. В Р., Д. и М. падежах *а-склонения*, в отличие от "стандартной" древнерусской системы – Р.ед. *куни*, *землѣ*, Д.М.ед. *кунѣ*, *земли*, – в раннем древненовгородском диалекте выступает существенно иная система: Р.ед. *кунѣ*, *землѣ*, Д.М.ед. *кунѣ*, *землѣ* (с полностью обобщенным окончанием *-ѣ*). В берестяных грамотах XI – нач. XIII в. (по данным на 1986 г.) в Д.М.ед. отклонений от этой системы еще нет вообще, а в Р.ед. отмечено, если не считать грамот книжного характера или неновгородского происхождения, лишь два примера с *-и* в твердом варианте (из более, чем 80) и два с *-и* в мягком (из 24). В XIII–XV вв. количество отклонений от указанной ранней системы постепенно возрастает.

Ранняя древненовгородская система *а-склонения* не может быть непосредственно отождествлена ни с древней северокривической, ни с древней ильменско-словенской.

Для псковских говоров реконструируются по меньшей мере две относительно ранние системы: 1) Р.ед. *куни*, *земли*, Д.М.ед. *кунѣ*, *земли*; 2) Р.ед. *кунѣ*, *земли*, Д.М.ед. *кунѣ*, *землѣ*.

ли. Для системы 1 характерно частичное, для системы 2 – полное совпадение Р.ед. с Д.М.ед. В этих системах *ja*-склонение уподобляется *i*-склонению (земли как *soli*), тогда как твердый и мягкий варианты различаются. Сходный путь развития (со взаимовлиянием *ja*- и *i*-склонений) представлен в западнославянских языках; ср. в особенности систему, сложившуюся в северо-восточных польских говорах и в литературном польском: Р.ед. *trawy, ziemi, soli*, Д.М.ед. *trawie, ziemi, soli*.

Для восточных ильменско-словенских говоров реконструируется система, вошедшая впоследствии в литературный язык: Р.ед. *куни, земли, Д.М.ед. кунѣ, землѣ*. В ней сохранено различие падежей, но унифицированы окончания твердого и мягкого вариантов. В более западных районах, в частности, близ Селигера, существуют говоры с системой аналогичного типа, в которой, однако, обобщены окончания мягкого варианта: Р.ед. *женé, земlé, Д.М.ед. женá, земlli*. Очевидно, древней ильменско-словенской системе была свойственна тенденция к унификации твердого и мягкого вариантов, при сохранении противопоставления падежей. Это тот же тип развития, который характерен для словенско-сербской зоны. В этой зоне отчетливо преобладает выравнивание по мягкому варианту; однако имеются и такие группы говоров, где выравнивание проходило по твердому варианту.

Древненовгородская система XI–XII вв. соединяет в себе инновационные тенденции севернокривичской и ильменско-словенской систем, причем обе эти тенденции доведены здесь до своего логического завершения: совпали окончания как разных падежей, так и разных вариантов склонения (твердого и мягкого). Новое окончание *-ѣ* в Д.М.ед. типа *землѣ* явно имеет восточное происхождение. Что касается окончания *-ѣ* в Р.ед. типа *кунѣ*, то к этой инновации ведет как развитие "селигерского" типа (выравнивание по мягкому варианту), так и севернокривичская тенденция к совпадению Р.ед. с Д.М.ед. Итак, если само появление новых форм (Д.М.ед. типа *землѣ* и Р.ед. типа *кунѣ*) можно приписать ильменско-словенским механизмам выравнивания между твердым и мягким вариантами, то разнонаправленность этого выравнивания в разных падежах можно объяснить только воздействием севернокривичской тенденции к совпадению падежей.

16. В сочетаниях с *три, четыри* И.В.мн. *а*-склонения всегда имел в древненовгородском диалекте окончание *-ѣ*: *три гривиънѣ, четыри кунѣ, три кадьцѣ* (от *кадьца*) и т.п. (Это окончание поддерживалось здесь также исконным *-ѣ* в сочетаниях типа *дѣвѣ кунѣ*.)

Вне сочетаний с числительными в И.В.мн. *а*-склонения обычно тоже выступало окончание *-ѣ*, но в твердом варианте в этом случае встречалось также (хотя и реже) окончание *-и*; например: *кунѣ* и реже *куни*.

Замены исконного *-и* на *-ѣ* в Р.ед. (бес *кунѣ*), в И.В.мн. с *три, четыри* (*три кунѣ*) и в И.В.мн. без числительного (*кунѣ*) системно связаны между собой; сочетания с *три, четыри* образуют в этой цепочке как бы среднее звено (ср. наступившее впоследствии переосмысление таких сочетаний как содержащих Р.ед., а не И.В.мн.). Наиболее вероятным очагом этой цепочки инноваций являются западные ильмен-

ско-словенские говоры, находившиеся в контакте с кривичскими. В составе древненовгородского койне в первых двух случаях окончание *-ѣ* было обязательным, а в третьем - факультативным.

Вся эта группа инноваций очевидным образом сходна с соответствующими инновациями в словенско-сербской зоне (где в И.В.мн. *a*-склонения очень рано обобщилось окончание мягкого варианта).

17. В древненовгородском диалекте рано выявились тенденция к замене *-и* на *-ѣ* также в В.мн. у *o-masculina* и далее, к введению такого же *-ѣ* и в И.мн. этого класса имен (вместо исконного *-и*).

Материал берестяных грамот (заметно пополнившийся в данном пункте за счет находок 1984-1986 гг.) показывает, что в В.мн. новое окончание *-ѣ* в XII в., по-видимому, уже преобладало над *-и*, а в И.мн. (у существительных) оно конкурировало с *-и*. Однако в перфект новое окончание *-лѣ* (вместо исконного *-ли*) проникает лишь существенно позже - в начале XIV в.

Развитие окончания *-ѣ* в В.мн. муж.р. сходно, как и в случае с формами *a*-склонения, с аналогичным процессом в словенско-сербской зоне. Распространение этого окончания на И.мн. - более поздняя локальная новгородская инновация.

Заметим, что сходная тенденция получила определенное развитие также в ряде южнобелорусских говоров, где отмечаются словоформы И.В.мн. типа *дубѣ*, *сталѣ* и (реже) типа *хусткѣ* (ДАБМ, карты №95 и 99). Здесь, однако, это сравнительно позднее явление (что видно из твердости *л* в *сталѣ* и т.п.); генетической связи с древненовгородской эволюцией в данном случае, вероятно, нет.

18. В древненовгородском диалекте раннего периода представлена чрезвычайно архаичная система членного склонения прилагательных: почти во всех формах, имеющих в именном склонении однофонемное окончание, в членном склонении выступает то же самое окончание + соответствующая форма (полная или сокращенная) местоимения **jъ*. Отметим некоторые из древнейших окончаний (в твердом варианте): жен.р. - Р.ед. *-ѣѣ*, Д.М.ед. *-ѣи*, И.В.мн. *-ѣѣ*; муж. и ср.р. - Р.ед.-аго, М.ед. *-ѣмъ*. Влияния местоименного склонения в начале письменной эпохи еще практически нет (в отличие от "стандартного" древнерусского, где очень рано появляются, в частности, окончания *-ѣ*, *-ои*, *-ого*, *-омъ*). В данном отношении древненовгородский может быть сопоставлен по архаичности только со старославянским. Показательно, что в членном склонении прилагательных успели отразиться такие инновации, как *-ѣ* в Р.ед. и И.В.мн. жен.р. Это указывает, с одной стороны, на очень раннее появление этих инноваций, с другой стороны, на длительное сохранение отчетливой морфологической членности форм адъективного склонения.

Самое раннее из наблюдаемых в этой сфере изменений состоит в том, что уже в XI-XII вв. в Р.ед.жен. наряду с *-ѣѣ* появляется *-ѣи*, т.е. вариант, совпадающий с Д.М.ед. жен. Аналогичный процесс происходит и в местоименном склонении, ср. Р.ед. *еи*, у *ней* в берестяных грамотах XII в. Таким образом, в женском роде совпадение Р.ед. с Д.М.ед. захватывает уже не только именное, но также адъективное и

местоименное склонение. Очагом такого развития являются западные говоры. В восточных говорах Р.ед. жен. сохранял двусложные окончания (не совпадающие с Д.М.ед.). Для сравнения укажем, что совпадение Р.ед. жен. с Д.М.ед. в адъективном и местоименном склонениях — характерная черта западнославянских языков, их несовпадение — черта южнославянских языков и украинского.

Лишь с рубежа XII и XIII вв. в берестяных грамотах обнаруживаются первые признаки влияния местоименного склонения на адъективное. Так, окончания *-ои* (-*ei*) в М.ед. жен. адъективного склонения и *-емъ* в М.ед. муж. впервые отмечены на рубеже XII и XIII вв., *-ого* в Р.ед. муж. — в конце XIII в., *-ои* в Р.ед. жен. — в начале XIV в. (впрочем, материал берестяных грамот здесь пока еще весьма ограничен). Отметим, что адъективного окончания Р.ед. жен. *-оѣ* древненовгородский диалект не знал вообще.

19. Большой интерес представляет отмеченное в нескольких берестяных грамотах окончание Р.ед. *-ога* (вначале в местоименном, позднее и в адъективном склонении): *моега* №82 (конец XII в.), *тога* №222 и 227 (рубеж XII и XIII вв.), *боургалскога* №288 (1-я пол. XIV в.). В современных говорах окончание *-ова* (*молодоба*, *стáрова* и т.п.) наблюдается только в районах, входящих в древнюю территорию расселения ильменских словен. Ср. также в памятниках, переписанных на севере Руси: *другога*, *оу* города *Вручога* в Лаврентьевском списке летописи (под 945 и 977 г.), *осмога*, *милога* в Ипатьевском списке (под 1074 и 1202 г.). Таким образом, спорадическое *-ога* в берестяных грамотах — это ильменско-словенская черта. В древненовгородском койне это окончание, по-видимому, всего лишь допускалось; нормой все же было *-ого* в местоименном склонении и *-аго* (позднее *-ого*) в адъективном.

Замена *-ого* на *-ога* (под влиянием именного склонения) — инновация, общая у древних ильменско-словенских говоров со словенским и сербскохорватским языками (где эта инновация отмечается с самого начала письменной истории, в частности, во Фрейзингенских отрывках) и неизвестная остальной части славянского мира.

20. В притяжательных прилагательных на *-ин-* от основ на *к*, *г*, *х* в древненовгородском диалекте уже в дописьменную эпоху был аналогичным путем устранен эффект первой палатализации, например: *Настъкин-*, *Лукин-*, *Михин-*. Эта инновация очевидным образом связана с отсутствием чередований в *а*-склонении: ср. такую же особенность в словенском и словацком языках, где тоже нет чередований в *а*-склонении; в языках, где эти чередования сохранились, данной инновации нет (как, например, в чешском) или она проведена лишь частично (как, например, в сербскохорватском). В Юго-Западной Руси данной инновации не было (ср. *Юнчин-*, *Ольжин-* и т.п.).

21. В берестяных грамотах в системе неэнклитических форм местоимений последовательно представлены: Д.М. *мънѣ* (>*мнѣ*), *тобѣ*, *собѣ*; Р.В. *мене*, *тебе*, *себе* (начиная с середины XIV в. изредка встречаются также *меня*, *тебя*, *себя*).

Словоформы Д.М. *тобѣ*, *собѣ* (с огласовкой *о*) явно вошли в древненовгородский диалект из западных говоров. Древне-

кривичский диалект совпадает в этом отношении, с одной стороны, с диалектами Юго-Западной Руси, с другой - с польским и чешским. В ильменско-словенских говорах (не смешанных), очевидно, с древности выступали словоформы *д.м. тебѣ, себѣ* (с огласовкой *e*), т.е. такие же, как в южнославянских языках (а также словацком и лужицких). Считать северновеликорусские *тебѣ, себѣ* развивающимися вторично (на месте прежних *тобѣ, собѣ*), независимо от южнославянских языков, можно лишь исходя из заранее принятого тезиса о существовании монолитного правосточнославянского языка.

22. В раннем древненовгородском диалекте в 3-м л. ед. и мн. чисел презенса *-ть* в большинстве случаев отсутствует, например: *живе, възмѣльви, почъну* 'начнут', *платя* 'платят' (может отсутствовать также *-сть*: *е'есть*, *въда* 'даст'). Эта черта сохраняется и в дальнейшем, хотя процент примеров с *-ть* со временем несколько возрастает.

Судя по данным современных говоров, это черта западного происхождения. Отсутствие *-ть* в двух числах и в обоих спряжениях ставит древние севернокривические говоры в уникальное положение внутри восточнославянской зоны, поскольку до сих пор в остальных говорах этой зоны *-ть* (-*т*) либо просто сохраняется, либо утрачено лишь в части форм. Ильменско-словенские говоры (не смешанные) утраты *-ть* практически не знают; они отражают архаичный тип, максимально противопоставленный севернокривическому.

23. В императиве мн. и дв. чисел в древненовгородском диалекте еще в дописменную эпоху обобщились окончания *-ите, -та*, например: *идите, крините, могите, берита* (вместо *идѣте* и т.д.). Данных о том, какие говоры были очагом этой инновации, нет. Отметим лишь, что такое же направление выравнивания представлено в словенском и сербскохорватском языках, а также в западнославянских языках (кроме чешского). Напротив, противоположное направление выравнивания - с обобщением *-ѣте, -ѣта* (типа *молѣте, молѣта*) - представлено в юго-западной части восточнославянской зоны и в болгарском.

24. В памятниках кривичского ареала и новгородских употребительна словоформа 1 л. мн.ч. *есме*; она 4 раза встретилась также в берестяных грамотах. Изредка окончание *-ме* отмечается в памятниках и у других глаголов (см. Соболевский 1907, с. 161). Это окончание находит параллель в чешском и словацком (отчасти также в среднеболгарском). Напротив, окончание *-мо*, характерное для Юго-Западной Руси и южнославянских языков, в новгородских памятниках отсутствует.

Лексические и синтаксические особенности древненовгородского диалекта мы в настоящей работе не рассматриваем.

* * *

Приведенный перечень явлений позволяет сделать ряд выводов общего характера.

Древненовгородский диалект XI-XII вв. предстает как продукт длительного взаимодействия древнего севернокривического и древнего ильменско-словенского диалектов, между которыми имелось значительное число различий.

Древний севернокривичский диалект не мог быть ответвлением того диалекта, который бытовал в Юго-Западной Руси и лег в основу "стандартного" древнерусского языка. Между этими двумя диалектами уже в XI-XII вв. имелся целый ряд существенных различий (а именно, в пунктах 1-8, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 24 нашего списка). Лишь некоторые из них в принципе могли успеть сформироваться в IX-X вв.; значительная часть этих различий с необходимостью должна быть отнесена к праславянской эпохе. Таким образом, различия между этими диалектами противоречат концепции правосточнославянского языка как генетически монолитного ответвления от праславянского языка.

Гораздо лучше соответствует выявленным ныне фактам концепция Г.А.Хабургаева, согласно которой в определенный момент развития праславянского языка наиболее отчетливо выделились две диалектные группы – северная и южная (Хабургаев 1980, § 51-52). Основное уточнение, в котором нуждается эта концепция, состоит лишь в том, что к северной группе относились не все говоры древненовгородской территории, а только кривичские.

Таким образом, вырисовывается следующая картина. С одной стороны, выделяется северная (точнее, северо-западная) группа диалектов, включающая польский, севернолехитские, лужицкие и севернокривичский. При этом севернокривичский диалект в ряде отношений оказывается самым архаичным представителем всей группы (что связано с ранним отрывом его носителей от родственных племен).

С другой стороны, выделяется юго-восточная группа диалектов, включающая болгарский, сербскохорватский, словенский, ильменско-словенский и южные диалекты восточнославянской зоны. Внутри этой группы обнаруживается, в частности, ряд изоглосс, объединяющих словенско-сербскую зону с ильменско-словенским диалектом и не включающих при этом диалекта Юго-Западной Руси; см. выше пункты 11, 15, 19, 21, 23 (возможно, также 16 и 17). Это значит, что гипотеза о простом расщеплении единой юго-восточной группы на южную и восточную была бы лишь огрубленным отражением фактов. В действительности к моменту географического разделения южных и восточных славян внутри юго-восточной группы уже существовало племенное дробление и начали формироваться различные (в том числе перекрестные) межплеменные языковые связи.

Между двумя основными группами протянулся пояс диалектов переходного или смешанного характера. К их числу относятся древненовгородский, южнокривичский (где, по-видимому, на первоначальные кривические черты наложился мощный пласт явлений южного происхождения), словацкий, до некоторой степени также чешский. По всей вероятности, к этому же типу следует отнести древние ростово-суздальские говоры, поскольку по данным археологии население этой территории включало ильменско-словенский и кривичский элементы.

Специфические черты, общие для всех восточнославянских диалектов, очевидно, складывались, как и предполагал Г.А.Хабургаев (Хабургаев 1980, § 58-60), уже в эпоху совместного существования соответствующих племен на восточнославянской территории.

ЛИТЕРАТУРА

Глускина 1966 - *Głusquina Z. O drugiej palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych w rosyjskich dialektach północno-zachodnich*// *Slavia Orientalis*, rocz. XV (1966).

ДАБМ - Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.

Зализняк 1986 - Зализняк А.А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения// Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977-1983 гг.): Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951-1983 гг.). М., 1986.

Иванов 1985 - Иванов Вяч.Вс. Отражение индоевропейского casus indefinitus в древненовгородском диалекте// *Russian Linguistics*, vol. 9 (1985), N 2-3.

Соболевский 1907 - Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. М., 1907.

Хабургаев 1980 - Хабургаев Г.А. Становление русского языка. М., 1980.

Е. А. Земская

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ РАЗГОВОРНЫХ ЯЗЫКОВ

0. Для современного языкоznания характерен повышенный интерес к изучению разговорных языков (РЯ), т.е. особых лингвистических формаций, обслуживающих неофициальную сферу общения городских жителей, владеющих литературным языком.

Этот объект в русской лингвистической традиции принят называть термином разговорная речь - РР (см. литературу, названную в примечании 4), хотя правильнее его было бы называть термином разговорный язык, поскольку он характеризуется особенностями системно-языкового характера [1]. Показательно, что для называния аналогичного явления в других языках используются термины, включающие слово "язык": hovorová čeština, běžné mluvený jazyk, Umgangssprache и др.

Интерес к спонтанной устной неофициальной речи отличает языкоznание разных стран [2]. Исследование разговорных языков выделилось в особую лингвистическую науку - коллоквиалистику (термин введен В.Д.Девкиным) [3].

Интенсивно развивается исследование славянских разговорных языков, особенно русского [4], польского и чешского [5]. Настало время подвести итоги и наметить перспективы дальнейших исследований. Рассмотреть всю проблематику, стоящую перед коллоквиалистикой славянских языков, в одной статье невозможно. В этой статье мы охарактеризуем пять проблем, представляющих, с нашей точки зрения, первостепенный интерес как для общей коллоквиалистики, так и для коллоквиалистики славянских языков. Назовем эти проблемы:

1. Построение типологии славянских литературных языков с учетом места РЯ в структуре национального языка;
2. Проблема разговорных универсалий, выявление особенностей, специфических для славянских РЯ;
3. Изучение истории РЯ по данным письменности определенных жанров;
4. Создание бан-

ка данных РЯ; составление словарей отдельных славянских РЯ по материалам записей естественной живой речи; 5. Изучение сходств и различий между такими сферами коммуникации, как разговорный язык/поэтический язык; исследование того, как в РЯ реализуется поэтическая (по Якобсону) функция.

1. Разговорные языки занимают в структуре различных славянских языков неодинаковое место.

Построение типологии славянских литературных языков с учетом характера РЯ и его места в структуре национального языка, только начато [6]. Разработка этой проблематики в сравнительно-типологическом плане представляет первостепенную задачу.

Проблематика этого рода разрабатывалась в трудах Вл. Барнета, который построил классификацию славянских литературных языков, учитывая такие признаки, как характер РЯ, его происхождение, а также место РЯ в структуре национального языка. По мнению Вл. Барнета, в основе разговорного языка в различных славянских языках может лежать литературный язык, интердиалект или диалект. В докладе на VIII Международном съезде славистов "Коммуникативные сферы и формы существования языка в славянских языках" Вл. Барнет предлагаёт такую типологию славянских литературных языков: 1) РЯ – это адаптация литературного языка (русский, польский, украинский); 2) РЯ – это адаптация субстандарта (македонский, словацкий); 3) РЯ – это адаптация интердиалекта и его возвведение до функции субстандарта (чешский, ср. обecná čeština); 4) РЯ – это субстандарция некоторых диалектов (хорватский, верхнелужицкий).

Чтобы показать, как именно может соотноситься РЯ с соседствующими языковыми формациями, сопоставим русскую и чешскую языковую ситуацию. Выбор для сопоставления именно этих двух языков объясняется рядом причин. Основные из них: чешская языковая ситуация довольно хорошо изучена; сходство, обнаруживаемое при сопоставлении русской и чешской ситуации, оказывается на самом деле различием.

Чешская языковая ситуация отличается большой сложностью, что объясняется в значительной мере причинами исторического характера [7, с. 68], при этом не существует единого мнения в понимании этой ситуации, т.е. разные ученые по-разному интерпретируют состав языковых формаций, обнаруживаемых в современном чешском языке, и их функции. Основная специфика чешской ситуации состоит в том, что в ней наряду с литературным языком (*spisovná čeština*) и диалектами существует специфическая формация *obecná čeština* (далее О.С.), место которой в составе общенародного языка и характер функционирования разных лингвисты толкуют различным образом. Кроме того, выделяют чешский разговорный язык (*hovorová čeština*), о статусе и функциях которого также идут споры; некоторые ученые считают его одним из функциональных стилей литературного языка (Я.Хлоупек).

О.С. отличается и от литературного чешского языка, и от разговорного чешского языка целым рядом особенностей в сфере фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса [8]. Она используется в условиях непринужденного общения и этим напоминает русский разговорный язык. Однако характер отличий,

которые имеет О.С., скорее сближает ее с русским просторечием, тогда как состав носителей резко отличает от русского просторечия. Русским просторечием пользуется горожанин, не владеющий нормами литературного языка, как правило, не имеющий образования или недостаточно образованный [9]. О.С. используют и образованные чехи, прежде всего уроженцы Праги и собственно Чехии. О.С. - это территориальный чешский интердиалект, овладевший сферой неофициального общения на части территории функционирования чешского языка. Вот как пишет об этом Яр.Белич: "Для значительной части нации литературный язык является обычным коммуникативным средством, как правило, лишь в письменных текстах (при чтении, в письмах и т.д.), если же он используется в устных высказываниях, то только лишь в официальных (например, в лекциях, особенно заранее написанных, а отнюдь не импровизированных). В обычном же повседневном разговоре в большей степени, чем у других культурных народов (выделено мною. - Е.З.) говорят нелитературно, я имею здесь в виду не столько доживающие старые диалекты, сколько использование интердиалектов, в особенности интердиалекта *obecná čeština*, а также той неустойчивой формы, сочетающей элементы литературные и нелитературные, употребление которых отмечается и в тех случаях, когда мы могли бы ожидать использование разговорного литературного языка, а иногда и в официальных высказываниях, в школе и т.д." [10, с. 80].

Однако, по многим свидетельствам, жителям, например, восточной Моравии, О.С. кажется "некультурной", "неграмотной", что напоминает отношение к городскому просторечию в русской языковой среде.

Таким образом, если в русской ситуации сферу городского неофициального общения удовлетворяют литературный РЯ и просторечие, разделенные между собой по составу носителей (горожанин - носитель литературного языка/горожанин, не владеющий нормами литературного языка), то в чешской языковой ситуации городское неофициальное общение обслуживает О.С. и другие интердиалекты [11], а не РЯ, как в русской языковой ситуации. Граница между О.С. и чешским РЯ проходит и по линии ситуаций, и по линии пользователей, но она определяется не степенью образованности этих лиц, не их владением/невладением литературным языком, но скорее местом их рождения [12]. Кроме того, О.С. и чешский РЯ различаются и сферами употребления. Последний ближе к литературности, официальности, это формация более "высокая", более престижная, чем О.С. [13]. Положение осложняется и тем, что разговорный чешский язык - формация молодая и многим лингвистам она представляется искусственным образованием. Неустойчивость положения литературного РЯ по сравнению с О.С. отмечает и Я.Белич [14].

Рассматривая современную чешскую ситуацию, Г.П.Нешименко выявляет динамику, ее характеризующую. Ослабление роли диалектов приводит к усилению наддиалектных формаций, меняется статус О.С., которая "в последнее время начинает рассматриваться не как интердиалект, соотнесенный с определенными группами территориальных диалектов, т.е. в аспекте его региональной маркированности, а (по мере усилия

вающейся экспансии его в Моравию) как престижная форма существования чешского национального языка, обслуживающая сферу непринужденного повседневного общения (функциональная закрепленность) " [7, с. 75].

Для языка современного города характерно возрастание роли устной публичной речи [15]. При этом создаются и активизируются специфические жанры общения, не существовавшие ранее. Благодаря широкому использованию технических средств (в первую очередь телевидения) язык массовой коммуникации получает все большее распространение, прямо-таки "входит в дом". При этом возникает потребность некоторые жанры публичной "телевизионной" речи (прежде всего – интервью) сделать не слишком официальными, придать им черты непосредственности и непринужденности. В чешской ситуации это создается использованием элементов О.С. При этом подобные элементы применяют не только интервьюируемые, но и журналисты, проводящие интервью. По наблюдениям Г.П.Нещименко, не желая слишком отличаться в своей речи от собеседников, они порой допускают значительные отклонения от литературной нормы, употребляя грамматические формы и фонетические черты, свойственные О.С. Этот факт обращает на себя внимание слушателей и вызывает у некоторых из них недовольство [16]. Последнее обстоятельство еще раз показывает нам различие между чешской и русской языковой ситуацией, отличие между О.С. и русским просторечием.

При общении на русском языке также возникают такие жанры телевизионного общения, которые можно считать в известной мере промежуточными. Общение является публичным, его показывают по ТВ на всю страну, но сам жанр интервью для того, чтобы производить воздействие на слушателей и зрителей, должен иметь черты непосредственности, неофициальности, даже некоторой интимности. Интервьюируемый может быть и носителем литературного языка, и носителем просторечия или диалекта. Он использует лингвистическую формацию, соответствующую его языковой компетенции. Однако интервьюер, желая не нарушить неофициальность общения, все-таки не может использовать грамматические и фонетические черты просторечия. Чтобы "подыграть" собеседнику, интервьюер может употребить некоторые черты РЯ, и обычно он это делает. Использование же элементов просторечной морфологии, синтаксиса или фонетики абсолютно недопустимо.

Приведенные примеры показывают, чем функционирование русского РЯ и городского просторечия отличается от функционирования таких формаций, как О.С. и чешский РЯ.

В работах, посвященных чешской языковой ситуации, выдвигается тезис о конкуренции различных формаций в рамках одних и тех же коммуникативных сфер. В соответствии с этим выделяются такие формации, как "смешанные тексты", "смешанная речь" [17], которые используются в некоторых ситуациях, характерных для общения людей в эпоху НТР. Спонтанное интервью, беседы на производстве, телекомментарии спортивных и других событий – вот те жанры, для которых особенно характерны "смешанные тексты".

Отметим, что аналогичные наблюдения делаются и по отношению к русскому языку. Как оценивать эти новые явления,

присущие устной публичной речи современного города? Позволяет ли создавшаяся ситуация говорить о возникновении гибридных формаций, как новых компонентов модели национального языка, или эти явления следует рассматривать только в аспекте культуры речи – как нарушение норм использования литературного языка? Ответы на эти вопросы требуют внимательного анализа большого количества фактов [18]. Без исследования обширного фактического материала разработка этой в высшей степени актуальной проблематики невозможна.

Итак, выявление ситуационных моделей, характеризующих отдельные славянские языки, определение места и условий функционирования в них разговорных языков – находимая предпосылка построения типологии славянских литературных языков.

2. При сопоставительном изучении славянских языков особое значение приобретает проблема разговорных универсалий [19]. Не будем подробно касаться этой проблематики, так как ей был посвящен наш доклад на VIII съезде славистов. Предстоит изучить целый ряд вопросов. К числу важнейших относятся такие: имеются ли типические особенности, отличающие славянские РЯ от неславянских? Всегда ли сходство книжных литературных славянских языков сопровождается сходством строения их РЯ? Все ли разговорные универсалии, выявленные в настоящее время, присущи всем славянским РЯ?

Итогом этих исследований должно стать построение сопоставительного труда "славянские разговорные языки". Этот труд мог бы быть выполнен коллективом лингвистов разных славянских национальностей, ибо работа над разговорным языком всегда требует не только хорошего знания языка, но и безукоизненной интуиции в области непосредственного владения РЯ, которой, как правило, обладают лишь носители языка.

3. Один из актуальных и недостаточно изученных – вопрос об истории разговорных языков. Вопрос этот представляет особую сложность ввиду того, что основная форма существования РЯ – устная, и, следовательно, мы можем непосредственно наблюдать РЯ лишь в современности: только изучение современного языка дает нам достоверные знания о структуре и особенностях функционирования РЯ, ибо звучавшая речь прошлых веков до нас не дошла.

Очевидно, что устная речь генетически предшествует письменной и, следовательно, разговорные языки – явление глубокой древности. Встает вопрос: когда возникают разговорные языки как особые лингвистические формации? Другой вопрос: когда возникают те особенности разговорных языков, которые отличают их в настоящее время?

Разговорные языки в разных славянских странах возникали в разное время. Это зависело от времени становления национального языка, от конкретной языковой ситуации, свойственной тому или иному славянскому языку.

Уяснение путей формирования РЯ должно вестись ретроспективным методом: путем выявления структурных черт, свойственных современным РЯ, в тех жанрах письменности прош-

лых эпох, которые обладают основными экстралингвистическими признаками, свойственными РЯ: неофициальность (непринужденность), неподготовленность, непосредственность. Эти признаки характерны для частной переписки, записок, мемуаров, дневников.

Остановимся подробнее на вопросе о времени возникновения русского РЯ.

Высказывалось мнение, что русский РЯ начал складываться в 20-30-е годы XIX в. [20]. С этой точкой зрения трудно согласиться. Л.И.Баранникова основывает свое предположение только на фактах лексики. Но РЯ – это системное образование. Едва ли не главные его особенности лежат в области синтаксиса. Поэтому основывать мнение о времени возникновения РЯ только на фактах лексики неправомерно.

Обратимся к синтаксису. Исследователи русского синтаксиса отмечали большую историческую устойчивость некоторых синтаксических черт, типичных для разговорного языка XX в., что дает возможность говорить об известном панхронизме РЯ [21, с. 59], о "исторической стабильности" его структурных черт [22, с. 16]. Наблюдения над древнейшим периодом истории русского языка позволяют обнаружить некоторые особенности синтаксиса, относящиеся прежде всего к области порядка слов, свойственные как отдаленным периодам истории русского языка, так и современному РЯ. К таким чертам относится, в частности, постпозиция одиночного согласованного определения (местоимения и прилагательного) [23], столь характерная для современного РЯ. Более широкий круг синтаксических явлений, аналогичных тем, которые характерны для современного РЯ, подвергнут изучению в работах Л.А.Глинкиной [24].

Рассмотрим подробнее несколько явлений из области синтаксиса РЯ, находящих отражение в "нестрогих" жанрах русской письменности XVIII в. [25]. Многие важнейшие черты, отмечаемые в современном РЯ, в XVIII в. были свойственны синтаксису непринужденного общения. Сюда относятся такие явления, как употребление в функции номинации глагольных конструкций с относительным местоимением (такие конструкции могли включать и инфинитив, и *verbum finitum*) типа современного: *Принеси чем писать* (ручку, карандаш...); *Убери на чем гладила//* (одеяло); *А где чем вытираться?*

Вот примеры из переписки XVIII в.: "принуждена на счет доходов занимать *чем жить*" (письма Е.М.Румянцевой); "...*обедали в селе Глотове, что могла приготовить Теодора*" (ДФ). Отмечены в переписке XVIII в. и номинации, состоящие из косвенного падежа существительного (без управляющего существительного) типа современных: *За двадцать две и круглый* (батон за 22 копейки); *От кашля есть у вас?* (лекарство от кашля).

Из архива Румянцевых: Я приехала, он мне подал на немецком языке на четырех листах написано, кто читал, тот находит, что безумия его нету признаку.

Как типическая черта современного РЯ отмечалось, что Им.п. существительного употребителен в зависимой позиции при глаголе, другом существительном или числительном. Это явление наблюдается и в языке XVIII в. Приведем примеры.

При глаголе: Мы здесь из доброй воли едим ножи деревянные (Рм); доход состоит главной - вино виноградное, дрова и охота (Пш); Стала эта земля оседать и с лесом, несколько сажен опускатаца в реку (Зд).

При существительном или числительном: А вчера я отправила 12 дюжин стульев: одна дюжина с плетеными задками соломою, четыре дюжины необитые подушки и задки, а семь дюжин с кожаными подушками (Рм). Отметим, что в этом высказывании в аналогичной позиции употребляются то косвенные падежи, то именительный.

... вчера из Петербурга приезжий сказывал, что в новый год было произложение в сенаторы, Ватковский, Г.Брюс, Ступишин, Н.Щербатов (Рм).

Числительные в Им.п. при существительном: А нас препоручают тутового гвардизона афицеру с командою 24 человека салдат (Зд); Александру Семенычу пожалованы деревни в Польше 3.000 душ (Рм).

Типическая черта синтаксиса полипредикативного высказывания современного РЯ - интерпозиция союза: союз (или союзное слово) может располагаться внутри подчинительной части [26, с. 395-397]. Эта особенность синтаксиса засвидетельствована в языке XVIII в. В составе изъяснительных конструкций:

Медаль, что тебе государыня послать изволила, им это не очень приятно было (Рм), ср.: Им (это) не очень приятно было, что тебе государыня изволила послать медаль; Шпагу что вздумал продавать, очень хорошо, да, думаю, что здесь никто не купит (Рм), ср.: Очень хорошо, что вздумал продавать шпагу; ...на будущую зиму где буду жить Бог знает (Рм); ср.: Бог знает, где буду жить на будущую зиму.

Во всех этих случаях в абсолютное начало высказывания вынесена актуализированная тема (о чем пойдет речь) - о медали, о шпаге, о будущей зиме. В конец же вынесено само сообщение (рема), наиболее семантически значимая часть высказывания.

Такое словорасположение характерно и для современного языка - говорящий кратко сообщает, о чем пойдет речь, потом (в интерпозиции) вводит пояснения к теме и заканчивает рематической частью. Ср. из современной РР: *Саша/ что приедет завтра/ это ложный слух//; Пьесы/ что ты мне купил/ большое тебе спасибо//.*

Интерпозиция союзов возможна и в других типах высказываний: Да потверждается вам, чтобы вы жили тихо, смирно... також и с соседями чтобссор и драк не делали (С.).

Таким образом, язык нестрогих памятников XVIII содержит многие такие существеннейшие черты синтаксиса, которые свойственны современному РЯ. В значительной степени они объясняются теми же причинами, что и особенности современного разговорного синтаксиса. Речь строится без предварительного обдумывания, что влечет за собой такую тенденцию словорасположения, как свободное ассоциативное присоединение частей высказывания по мере их появления в мысли. Иными словами эту особенность называют: поэтапное построение высказывания. Говорящий часто начина-

ет с актуализированной темы сообщения, выдвигая ее в абсолютное начало высказывания (наиболее важный предмет мысли, о котором пойдет речь). Приведем в этой связи наблюдения А.Я.Ярина о соотношении явлений номинации и предикации в изученных им памятниках письменности. Рассматривая высказывание "Ивана Сергеевича Тургенева жене я рад во всем детям ее помочь зделать, и за удовольствие почитаю" (ИГ), начинающее новый абзац и новую смысловую линию и выступающее как ответ на реплику с просьбой о помощи детям жены Тургенева (ср. иной порядок слов: Я рад помочь во всем сделать жене Ивана Сергеевича Тургенева, детям ее), А.Я.Ярин делает "вывод о том, что « в рассматриваемых предложениях некнижного характера сама номинация приобретает черты коммуникативного процесса, основной чертой которого является уточнение, "сужение" денотативной области. Конечной целью этого "сужения" может быть определение, характеристизация объекта или наименование "объекта" как результат психологического поиска, начатого в более широкой области ("Ивана Сергеевича жене - детям ее") » [25, с. 54].

Уже приведенные факты показывают, что определенные жанры письменности прошлого содержат многие из тех особенностей, которые мы привыкли связывать лишь с современной устной РР. Напомним факты, установленные И.Н.Кручининой в частной переписке XIX в. (письма К.М.Батюшкова, П.А.Вяземского, А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, Л.Н.Толстого и др.) [27], представляющие явление интерпозиции главной части высказывания (по типу современного: Значки я рада что купила, ср. с обычным: Я рада, что купила значки). Интересно, что грамматическая наука XIX в. такие конструкции оценивала как не соответствующие норме [28]. Это показывает, что уже в XIX в. нормы книжного литературного языка и особенности разговорного синтаксиса воспринимались как противопоставленные.

Выявление в памятниках письменности прошлых эпох особенностей, характеризующих современные разговорные языки в сфере синтаксиса, морфологии, лексики, фонетики, т.е. относящихся ко всем уровням языковой системы, - важнейшая и увлекательнейшая задача. Решение ее покажет, как именно и в какой исторический период складываются основные признаки разговорных языков, какие из них обладают наибольшей исторической устойчивостью. Это позволит установить корреляции между теми экстралингвистическими признаками, которые характеризуют РЯ как лингвистические формации, обнаруживаемые в специфических коммуникативных условиях, и определенными жанровыми особенностями письменных текстов.

4. Охарактеризуем кратко еще одну задачу, без решения которой невозможно исследование многих из рассмотренных выше проблем: необходимо создавать и постоянно пополнять корпус данных РЯ. Для этого надо организовать систематическое проведение магнитофонных и ручных записей речи лиц разного возраста, разных профессий, разных полов в различных ситуациях. Необходимо записывать РЯ в разнообразных жанровых воплощениях (монолог, диалог; речевые миниатюры; ситуационный диалог, информационный диалог; языковое существование, городские стереотипы и др. [29]). Соз-

дание на основе этих записей хрестоматии отдельных славянских литературных языков – необходимое условие дальнейшего развития коллоквиалистики как отдельных славянских языков, так и сопоставительной. К настоящему времени не все славянские языки представлены разговорными хрестоматиями [30]. На основе данных, заключенных в разговорных хрестоматиях, можно будет приступить к составлению словарей РЯ, что является одной из настоятельнейших задач коллоквиалистики.

Создание Словаря РЯ, основанного на реальных материалах живой естественной речи, – до сих пор остается задачей будущего. Ни один славянский язык еще не имеет такого словаря [31].

5. РЯ как особая сфера коммуникации противостоит поэтическому языку (ПЯ). Рассмотрение этого противопоставления составляет проблематику особого рода, стоящую особняком в ряду перечисленных проблем. Эта проблематика важна в теоретическом и практическом отношении. Она отвечает тому интересу к человеку, которое характеризует современное языкознание, и необходима для разработки общей проблемы "язык и человек". Без анализа творческого подхода человека к языку исследование этой важнейшей проблемы будет неполным.

РЯ – функционирует в условиях неподготовленности, непривыченности, что вызывает известное небрежение к форме речи, тогда как принципиальное отличие ПЯ – установка на форму, повышенное внимание к форме. Несмотря на эти различия разговорного и поэтического языков и связанных с ними коммуникативных сфер, исследователи не раз отмечали известный параллелизм между определенными структурными особенностями разговорного и поэтического языков [32]. Продуктивный подход, объясняющий черты сходства между данными лингвистическими феноменами, предложен И.И.Ковтуновой, которая исходит из анализа условий коммуникации, в которых реализуются разговорный и поэтический языки: "Коммуникативная ситуация внутренней речи по ряду признаков совпадает с коммуникативной ситуацией разговорной речи... Спонтанность вытекает из самой природы внутренней речи. Непосредственное участие говорящих в акте коммуникации связано с тем, что адресатом во внутренней речи часто является сам говорящий. Если же адресатом служит другое лицо, то воображение говорящего приближает его, как бы ставит его в ситуацию непосредственного общения... Сильная опора на внеязыковую ситуацию во внутренней речи вытекает из полной известности говорящему предмета речи и присутствии в его сознании в момент речи всей экстралингвистической ситуации ... В той мере, в какой лирическая поэзия моделирует внутреннюю речь, в ней открывается возможность свободного функционирования речевых форм и языковых единиц, общих для внутренней и разговорной речи" [33, с. 189–190].

РЯ по-разному соотносится с художественным языком. Существуют художественные системы, прямо ориентированные на РЯ, имитирующие или стилизующие его. От них резко отличается лирическая поэзия, занимающая особое место среди художественных систем. "Лирическая поэзия – единственный

жанр, в котором регулярное употребление формально «разговорных» средств языка не является результатом имитации разговорной речи.., но непосредственно вытекает из ряда определенных коммуникативных предпосылок, характеризующих и устную разговорную речь, и внутреннюю речь поэта" [33, с. 190].

Итак, РЯ и ПЯ имеют сходства и различия в условиях коммуникации, которые предопределяют формальное сходство их некоторых структурных черт, обычно совмещающееся с их различной функциональной нагрузкой. Такой вид соотношения можно назвать квазизоморфизмом. Изучение явлений квазизоморфизма между РЯ и ПЯ покажет, как именно условия коммуникации формируют языковые сферы.

Обратимся к другому аспекту сходства между РЯ и языком художественной литературы.

Обычному повседневному устному общению, ведущемуся на РЯ, тоже может быть свойственна установка на форму [34], т.е. поэтическая функция (по Р.Якобсону) [35], и это обстоятельство сближает разговорный язык с художественным.

Как именно реализуется поэтическая функция в обычном общении на РЯ? Какие формы воплощения она получает? Существуют ли специфические приемы реализации установки на форму, отличающие разговорный язык от поэтического? Эти вопросы ждут исследования.

Иной круг вопросов связан с проблематикой сопоставительного изучения этого аспекта славянских РЯ. По отношению к современному русскому РЯ была предпринята попытка выявить и охарактеризовать способы воплощения установки на форму, характеризующие наше время (60-80-е годы). Соответствующие факты описаны под названием "языковая игра" [36]. Свойственны ли аналогичные явления другим славянским РЯ? Каковы черты сходства и различия между различными славянскими РЯ в создании и использовании приемов речевого комизма? Что составляет национальное своеобразие отдельных РЯ, а что является реализацией каких-то общих моделей? [37].

Ответы на эти вопросы требуют специальных исследований в области отдельных славянских языков. Результатом могло бы быть построение сопоставительной поэтики славянских РЯ.

ЛИТЕРАТУРА

1. См. об этом: Русская разговорная речь. М., 1973. С. 22-23 (Далее – РРР-73); Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981. С. 5. См. также: Скребнев Ю.М. Исследование русской разговорной речи// ВЯ, 1987, № 1. С. 153.

2. Разнообразие изучаемой при этом проблематики показывает сборник статей: *Impromptu Speech: A Symposium/ Ed. by Nils E. Enkvist, Åbo, 1982; см. рецензию на этот сборник: Daneš Fr., Müllerová O. O vyzkumu nepřipravených mluvených projevů// Slovo a slovesnost, 1984, N 4. S. 321-327.*

3. Скребнев Ю.М. Введение в коллоквиалистику. Саратов, 1985.

4. Назовем лишь некоторые книги, посвященные этой проблематике: Кожевникова Н. Спонтанная устная речь в эпической прозе. Пр., 1971; Земская Е.А. Русская разговорная речь. Проспект. М., 1968; Русская разговорная речь. М., 1973 (PPP-73); Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978 (PPP-78); Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981 (PPP-81); Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983 (PPP-83). Критический анализ этого цикла работ дан в обзоре: Скребнев Ю.М. Исследование русской разговорной речи. (Обзор трудов Института русского языка АН СССР) // ВЯ, 1987, № 1; Инфантова Г.Г. Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи. Ростов-н/Д., 1973; Сиротинина О.Б. Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974; Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976; Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1979 (PPP-79); Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Лексика/ Под ред. О.Б. Сиротининой. Саратов, 1983.

5. См., например: Müllerová O. Komunikativní složky výstavby dialogického textu. Пр., 1979; Wybor tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa/ Pod red. B.Dunaja. Kraków, 1979; Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia/ Pod red. Wł.Lubasia. Katowice, 1978, 1; Katowice, 1980, 2. Cz. 1-2; Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa/ Pod red. B.Dunaja, Kraków, 1984, 2; Badania języka mówionego w Polsce i w Niemczech/ Red.B.Dunaj et al. Kraków, 1986.

6. См.: Jedličká A. Problematika typů současných spisovných jazyků slovanských z hlediska jazykové situací// Československé přednášky pro VIII Mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Пр.; Academia, 1978; Idem. Spisovní jazyk v současné komunikaci. Пр., 1978; Едличка А. Проблематика нормы и кодификации литературного языка в отношении к типу литературного языка// Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М.; Наука, 1978; Chloupek J. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno, 1986; см. рец. Нещименко Г.П. на эту книгу (в печати).

7. См. об этом: Нещименко Г.П. Функциональное членение чешского языка// Функциональная стратификация языка. М.; Наука, 1985.

8. См.: Hronek J. Obecná čeština. Пр., 1972.

9. См.: Городское просторечие. Проблемы изучения. М.; Наука, 1984.

10. Bělič J. Bojujme za upevňování šíření hovorové češtiny. - Český jazyk a literatura, 1959, ročn. 9, N. 10. С. 436.

11. См.: Chloupek J. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno, 1986.

12. Приведу в дополнение устно высказанное мнение лингвиста, уроженца г.Брно, долгое время живущего в Праге, относящееся к 1977 г., который утверждал, что О.Č. он никог-

да не пользуется и что его раздражает, когда пражцы позволяют себе говорить на О.С. в официальной ситуации.

13. См.: *Hausenblas K. Styly jazykových projevů a rozvrstvení jazyka// Slovo a slovesnost*. 1962. N 3.

14. См.: *Bělič J. Současná vývojová dynamika uvnitř českého jazykového celku// Československé přednášky pro VII Mezinárodní sjezd slavistů. Pr., 1978. S. 17; Sgalí P. Znovu o obecné češtině// Slovo a slovesnost. 1962. N 7.*

15. См. сб. статей: *Разновидности устной городской речи. М., 1988.*

16. "... соединение литературной лексики с выборочными элементами морфологии (обычно флексиями) и фонетики обиходно-разговорного языка может шокировать некоторых носителей литературного языка, в особенности из числа тех, кто в неофициальной обстановке использует некоторый из интердиалектов (в Моравии) ..." - см. *Нещименко Г.П. Функциональное членение...*, с. 82.

17. См.: *Нещименко Г.П. Функциональное членение..., с. 75; Wieliczko K. Живая речь в условиях массовой коммуникации. Спортивный комментарий на русском и польском языках. Poznań, 1982; Badania nad językiem telewizji polskiej: Studia metodologiczne i opisowe. W-wa, 1985. S. 187.*

18. Представляет интерес для исследования этой проблемы типология языковых ситуаций, предложенная М.М.Гухман, см.: *Функциональная стратификация языков. М.; Наука, 1985. Заключение. С. 234-235.*

19. Проблема разговорных универсалий привлекает к себе внимание ученых, см., например: *Скребнев Ю.М. Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи. Дис... докт. филол. наук. М., 1971; Алисова Т.Б. Константы языкового развития и типология романских языков// Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1980. № 1. С. 3-12; Jachnow H. Universalität der Sprachmittelverwendung in gesprochener Sprache// Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev, 1983. Köln; Wien, 1983; Иванова К. Универсалното и специфичното в диалога// Български език. XXX. 1980. Кн. 5. С. 392-399; Земская Е.А. Общее и различное в структуре разговорной речи ряда славянских и неславянских языков// Славянской языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983. С. 135-152; Leinonen M. Finnish and Russian as they are spoken: from linguistic to cultural typology// Scan-do-Slavica. 1985. Т. 31. Р. 117-144.*

20. См.: *Баранникова Л.И. О месте разговорной речи в функциональной парадигме русского языка// Функциональная стратификация языка.*

21. См.: *Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.*

22. См.: *Лаптева О.А. О структурных компонентах разговорной речи// РЯНШ. 1985. № 5.*

23. См.: *Лаптева О.А. Расположение одиночного качественного прилагательного в составе атрибутивного словосочетания в русских текстах XI-XVII вв. Автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1963.*

24. Глинкина Л.А. К проблеме диахронического изучения русской разговорной речи. Доклад, прочитанный на семинаре "Язык города" в Челябинском университете в 1979 г.; *Она же*, К проблеме соотношения замещенных и незамещенных синтаксических позиций в древнерусском синтаксисе// Проблемы семантики предложения: выраженный и невыраженный смысл. Красноярск, 1986. С. 100-103.

25. Используем материалы и наблюдения, содержащиеся в работе: Ярин А.Я. Некнижные синтаксические конструкции в бытовых документах второй половины XVII века. Дипломная работа. МГУ, 1986. В примерах из этой работы приняты следующие сокращения: ДФ - Д.И.Фонвизин. Отрывки из дневника четвертого заграничного путешествия// Собр. соч. М.; Л., 1969. Т. 2; ЗД - Своеручные записки княгини Н.Б.Долгорукой, дочери г. фельдмаршала графа Б.П.Шереметьева. Спб., 1913; ИГ - И.Б.Голицын - Вл.Бор.Голицыну. Памятники московской деловой письменности XVIII в. М., 1981; Рм - Письма гр. П.А.Румянцеву от его родителей. 1745-1768 гг. Спб., 1900; ПШ - Письма И.И.Шувалова к сестре его родной, кн. П.И.Голицыной, урожденной Шуваловой. 1763-1771// Москвитянин, 1845. Ч. 5. № 10. Отд. 1; С - Письма В.И.Суворова крестьянам// Я.О.Кузнецов. Из переписки помещика с крестьянами. Вологда, 1904.

26. См. PPP-73.

27. См.: Кручинина И.Н. Об одном способе линейной организации сложного предложения// Синтаксис и норма. М., 1974; *Она же*. Элементы разговорного синтаксиса в произведениях эпистолярного жанра// Синтаксис и стилистика. М., 1976.

28. См.: Новаковский В. Синтаксический курс русского языка. СПб., 1860: "Не принято, впрочем, ставить главное предложение среди второстепенного, чтобы не вышло странное подчинение главного предложения второстепенному". Цит. по: Кручинина И.Н. Об одном способе... С. 238.

29. Ср. характеристику этих и некоторых других жанров в кн.: PPP-78.

30. Хрестоматии польского РЯ были названы в примечании 4; русского языка - примечании 3. См. также публикации записей городской речи русского Севера: Спонтанные тексты разговорной речи в транскрипции/ Отв. ред. Л.А.Вербицкая, А.С.Герд. Л.; Изд. ЛГУ, 1983. Ч. I; Л., 1984. Ч. 2; Л., 1984. Ч. 3.

31. В настоящее время существуют лишь двуязычные словари, включающие - хотя бы по названию - факты русского РЯ. Это: Koester S., Rom E. Wörterbuch der modernen russischen Umgangssprache. Russisch-Deutsch. München, 1985. Этот словарь основан на данных художественной литературы и совмещает разговорную лексику с жаргонизмами, вульгаризмами, просторечием, областными словами и иными внелитературными элементами. См. также: Гринева Е.Ф., Громова Т.Н. Словарь разговорной лексики французского языка. М., 1986. Этот словарь содержит в переводах французских слов лексику русского РЯ.

32. См., например: Ревзина О.Г. Некоторые особенности синтаксиса поэтического языка М.Цветаевой// Семиотика уст-

ной речи. Лингвистическая семантика и семиотика. Тарту, 1979, II. С. 89-106; PPP-81. С. 7-9; Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. Автoref.дисс...докт. филол. наук. М., 1983; Он же. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986.

33. См.: Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М., 1986.

34. См., например, учение Л.П.Якубинского о поэтическом гlossemosочетании: "...творческое гlossemosочетание (и самый процесс, и его результат) имеет для тех, кто образовывает данное новое сочетание (или его воспринимает) самостоятельную ценность, независимо от той практической цели, которую это гlossemosочетание могло бы осуществить. Деятельность творческого гlossemosочетания является в данных случаях самоцелью, и она (деятельность) как таковая удовлетворяет тех, кто ее осуществляет (Якубинский Л.П. О поэтическом гlossemosочетании [1919 г.]//Избр. работы: Язык и его функционирование. М., 1986. С. 193.) См. также: Григорьев В.П. Поэтика слова. М., 1979. С. 46-47.

35. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика// Структурализм: "за" и "против". М.: Прогресс, 1975.

36. См. PPP-83, гл. "Языковая игра". Ср., впрочем, мнение Ю.С.Скребнева о том, что языковая игра не относится к сфере РЯ: Скребнев Ю.М. Исследование русской разговорной речи// ВЯ, 1987. № 1. С. 151-152.

37. См. в этой связи: Buttler D. Polski dowcip językowy. W-wa, 1974.

В. В. Лопатин, И. С. Улуханов

СТРУКТУРА СЛАВЯНСКОЙ МОРФЕМЫ В СИНХРОННОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

В славистике последних десятилетий достигнуты определенные успехи в синхроническом изучении морфемного строя современных славянских языков. Описаны виды морфем, структура корневого и аффиксальных морфов, явления алломорфии и принципы идентификации морфем, морфонологические явления в словоизменении и словообразовании¹. Значительно беднее результаты, полученные до сих пор в области славянской диахронической морфемики. Несистематизированные сведения в этой области можно извлечь в основном только из существующих этимологических словарей, как праславянских, так и словарей отдельных славянских языков, и из немногих монографических исследований по историческому словообразованию славянских языков. Обобщающие исследования в этой области, как и необходимые предшествующие им систематизирующие работы описательного характера, отсутствуют. Поэтому на данном этапе развития славистики мы можем только поставить некоторые проблемы, касающиеся специфики славянского морфемного строя в его историческом развитии и в связи с современным состоянием (в настоящем докладе речь пойдет о словообразовательных аффиксах).

I. Центральной проблемой развития аффиксальной системы славянских языков нам представляется проблема формирования и функционирования вторичных, усложненных по структу-

ре, аффиксальных морфов (суффиксальных и префиксальных) на базе более простых, первичных морфов; проблема эта непосредственно связана с вопросами алломорфии, идентификации аффиксов, разграничения морфов одного аффикса, с одной стороны, и разных аффиксов, - с другой.

В современных славянских языках аффиксальные словообразовательные морфы большей частью вторичны по структуре. Такие вторичные морфы (их называют еще производными², составными или сложными³ аффиксами) выделились преимущественно в результате переразложения основ. Большое разнообразие вторичных аффиксальных морфов дает русский язык, на материале которого мы прежде всего и покажем их специфику.

Вторичные аффиксальные морфы уже синхронически легко членятся (при сопоставлении их с другими морфами) на более короткие отрезки. Таковы, например, отрезки *-тель-* и *-ск-* в морфе *-тельск-*, *-ов-* и *-ич* в морфе *-ович*, *-л-* и *-к-* в морфе *-лк(a)*. Будем называть подобные морфонологически значимые, но не обладающие самостоятельной семантической значимостью линейные отрезки морфов (представляющие собой последовательность фонем или однофонемные) субморфами⁴.

Большинство субморфов является по своему происхождению (что, впрочем, легко осознается и синхронически) самостоятельными морфами: ср., например, агентивный морф существительных *-тель* и морфы относительных прилагательных *-ск-*, *-н-*, абстрактных существительных *-ств-*, сочетание которых дает вторичные морфы *-тельн-*, *-тельск-*, *-тельств(o)*; суффиксальный морф прилагательных *-оч-* (ленточный, откормочный), состоящий из субморфов *-оч-* (выводимого из суффиксального морфа существительных *-к(a)*) и *-н-*. Небольшая часть субморфов – фонетического или морфонологического, неморфного, происхождения: таковы, например, субморфы *-ев-* в суффиксальных морфах *-еск-*, *-еств(o)*, *-о-* в префиксальных морфах типа *во-, со-, подо-, обо-*, а также вставной *-[j]-* в *-ееск-* (вердиеевский, ср. шекспировский) и *-айн-* (шоссейний, ср. озёрний).

Вторичные морфы могут характеризоваться большей или меньшей степенью сложности: ср., например, суффиксальные морфы существительных *-ик*, *-ник* и *-льник* (дождевик, градусник и кипятильник), *-иц(a)*, *-ниц(a)* и *-тельниц(a)* (теплица, сокровищница и плевательница), *-и[j]-*, *-ни[j]-* и *-ени[j]-*; глагольные морфы *-ова-*, *-ирова-* и *-изирова-*.

Становление вторичных аффиксальных морфов (для суффиксальных морфов это явление часто трактуется как "левое наращение" или "передняя вариация" суффиксов⁵) происходит в ходе исторического развития словообразовательных систем под действием ряда общих причин, основными из которых являются: 1) тенденция к большей формальной выразительности значащих единиц языка: более длинный морф как носитель определенного значения формально выразительнее, чем более короткий, особенно одно- или двухфонемный⁶; 2) тенденция к формальной (в плане выражения) экспликации семантических и сочетаемостных различий морфов (как будет показано ниже, многие вторичные морфы отличаются от соответствующих первичных семантически и по сочетаемости с основами определенных грамматических классов слов); 3) чисто мор-

фонологическая причина - необходимость приспособления аффиксальных морфов к производящим основам определенной фонологической структуры. Значимость перечисленных факторов, однако, нельзя считать абсолютной, и проявляются они избирательно. Так, если на базе суффиксов прилаг. *-н-* и *-ск-* развились разнообразные вторичные морфы, то суф. *-ов-* вторичных морфов, возникших в результате "левого наращения", не дал; из глагольных суффиксов, совпадающих с тематическими элементами основ, суф. *-а-/а[j]-* и *-ова-/у[j]-* развили вторичные морфы (*-ива-, -ва-, -нича-, -ствова-, -ирова-, -изирова-*), а суф. *-и-/∅*, *-е-/е[j]-* не развили их.

Вторичные аффиксальные морфы, в составе которых выделяются субморфы, совпадающие с самостоятельными первичными морфами, вступают с этими морфами в разнообразные отношения.

1. Вторичный морф может не отличаться от соответствующего первичного морфа ни по своей семантике, ни по сочетаемости с основами слов определенных частей речи. Такой вторичный морф относится к тому же словообразовательному аффиксу, что и исходный первичный морф, и, следовательно, к тому же словообразовательному типу, отличаясь от первично-го морфа по своей морфонологической или (реже) семантической (в пределах одной и той же мотивирующей части речи) сочетаемости. Таковы, например, суффиксальные морфы *-ива-/ва-/а-* в глаголах, мотивированных глаголами, *-ова-/изова-/ирова-/изирова-* в отыменных глаголах, *-онок/-чонок* (ср. *поварёнок* и *барчонок*), *-ич/-ович* и *-н(а)/-иничн(а)* (в отчествах), *-ик/-чик* в уменьшительно-ласкательных существительных, *-тель/-иттель* в отглагольных существительных (ср. *победитель* и *спаситель*), *-ер/-онер* (ср. *костюмер* и *милционер*), *-к(а)/-шк(а)/-ушк(а)* в типах существительных с мутационными значениями - отглагольных (ср. *соска*, *крышка* и *игрушка*) и отадъективных (ср. *матроска*, *промокашка* и *раскладушка*), *-к(а)/-овк(а)* в существительных со значением женскойности (ср. *лентяйка* и *плутовка*), *-ск-/еск-* как в типе отыменных прилагательных (ср. *братский* и *дружеский*), так и в отглагольных (ср. *колдовской* и *жульнический*); таковы же префиксальные морфы с конечным гласным субморфом *-о-* по отношению к соответствующим морфам без этого субморфа. О некоторых различиях в семантической сочетаемости таких морфов можно говорить, например, для морфов *-ан(е)/-чан(е)*: последний сочетается только с основами, имеющими местное (локальное) значение - названиями населенных пунктов и др., первый же - еще и с названиями лиц - основателей религиозного учения (*магометане*, *лютеране*); для морфов прилагательных *-ий/-аич*: последний сочетается только с основами названий животных (*кошачий*), а первый - также с личными основами (*медведежий*, *казачий*, *вдовий*).

2. Вторичный морф может обособляться от соответствующего первичного морфа либо семантически (выражая, как правило, более узкое значение), либо по своей частеречной сочетаемости с мотивирующими основами, либо по обоим этим признакам. Сюда относятся следующие случаи:

а) Семантическое обособление вторичного морфа, приводящее к формированию особого словообразовательного аффикса и, следовательно, особого словообразовательного типа,

например: субъективно-оценочные суффиксы *-ушк(а)* (безударный: *голбушка*) и *-оньк(а)* (*рученька*) выражают чистую ласкательность, в то время как соответствующий первичный субъективно-оценочный *-к(а)* – уменьшительно-ласкательное или уменьшительно-уничижительное значение; суф. *-охоньк-/ашеньк-* (*здоровёхонький/здоровёшенький*) и *-усеньк-* (*малюсенький*) выражают большее усиление признака и большую экспрессию, чем суф. *-еньк-* (*беленький, слабенький*); суф. *-няк* обособляется от *-ак*, сочетаясь с основами тех же частей речи, что и *-ак*, но выражая более узкое по сравнению с ним значение – собирательное или вещественное (*молодняк, дубняк, известняк*).

б) Сочетаемостное (частеречное) обособление вторичного морфа, не сопровождающееся семантическим обособлением. При этом вторичный морф принадлежит тому же аффиксу, что и соответствующий первичный, но лишь в одном из словообразовательных типов, в то время как первичный морф, сочетаясь с основами разных частей речи, выступает в разных словообразовательных типах. Ср., например, типы существительных с суффиксами местного (локального) значения *-иш(е)* (при мотивации существительными: *пожарище*) и *-иш(е)/-лиц(е)* (при мотивации глаголами: *зимовище, училище*); типы существительных с суффиксами отвлеченного признака *-и[j]-* (мотивирующее – прилагательное: *радиущие*) и *-и[j]-/и[j]-/ени[j]-/ти[j]-* (мотивирующее – глагол: *доверие, терпение, хранение, развитие*), *-ств(о)* (мотивирующее – прилагательное: *богатство*) и *-ств(о)/-тельств(о)* (мотивирующее – глагол: *производство, разбирательство*); типы прилагательных – отсубстантивных с суф. *-ив-/лив-* (*правдивый, завистливый*) и отглагольных с суф. *-ив-/лив-/чив-* (*последний морф – только в этом типе: льстивый, ворчливый, вспильчивый*); типы прилагательных с суф. *-[н']-* (мотивирующее – существительное: *соседний, верхний, вечерний*) и *-[н']-/ш[н']-* (мотивирующее – наречие: *ближний, здешний, вчерашний, внешний*).

в) Обособление вторичного морфа как в семантическом, так и в сочетаемостном (частеречном) отношении; такие вторичные морфы, как и в случае а, формируют особый аффикс и особый словообразовательный тип (типы). Таковы, например, мутационные суффиксы существительных *-ик* (с предметно-личным значением носителя признака, мотивирующее – прилагательное: *старик, дождевик*), *-ник* (с предметно-личным значением отношения к предмету при мотивации существительным либо с предметно-личным агентивным значением при мотивации глаголом или существительным: *градусник, помощник, насмешник, окучник*), *-щик/-чик* (с предметно-личным агентивным значением при мотивации глаголом, с личным значением отношения к предмету при мотивации существительным или с личным значением носителя признака при мотивации прилагательным: *бомбардировщик, летчик, табунщик, буфетчик, красновщик*), *-льник* (с предметным агентивным значением, мотивирующее – глагол: *будильник*) и *-льщик* (с личным агентивным значением, мотивирующее – глагол: *бурильщик*); суффиксы существительных *-ость* (со значением отвлеченного признака, мотивирующее – прилагательное, редко глагол: *старость, жалость*), *-имость* (со значением способности к действию, мотивирующее – глагол: *горимость, заболеваемость*).

и -енность/-нность (со значением состояния как результата действия, мотивирующее - глагол: задолженность, сработанность).

Картину, сходную с той, которая показана здесь на материале современного русского языка, - сходную и по разнообразию самого инвентаря аффиксальных морфов, и по характеру соотношения морфов первичных и вторичных - мы найдем и в других современных славянских языках. Если же мы теперь бросим на эту многообразную картину ретроспективный взгляд, то увидим, что подавляющая часть инвентаря славянских словообразовательных аффиксов сформировалась в сравнительно поздние эпохи, начиная с праславянской и в ходе дальнейшего самостоятельного развития отдельных славянских языков.

II.1. Круг аффиксов, восходящих к предшествующим эпохам (общиендоевропейской, балто-славянской), на славянской почве существенно пополнился (хотя ошибочно было бы представлять историю славянских аффиксов только как расширение их состава, поскольку возможна была - в разные эпохи - и утрата аффиксов, прежде всего первичных типа *-vъ<* и.е. **-so*, *-to<* и.е. **to* и др.; некоторые аффиксы были недолговечны и эпизодичны). Современный уровень разработки славянского исторического словообразования не позволяет дать полную картину развития славянских словообразовательных морфем, поэтому ограничимся отдельными примерами.

Что касается праславянского фонда аффиксов, то его реконструкция является реальной задачей, решение которой подготовлено как классическими праславянскими "морфемариями" (В.Вондрак, А.Мейе, А.Вайян), так и более поздними исследованиями (Ф.Славский, О.Н.Трубачев, Ж.Ж.Варбот, М.Войтала-Щвежовская и др.). Основой для такой реконструкции должен быть, естественно, реконструированный праславянский лексический фонд. При этом реконструкция праславянского морфемного фонда должна дать гораздо менее гипотетичный результат, нежели реконструкция праславянского лексического фонда, - в силу большей регулярности и распространенности словообразовательных единиц по сравнению с лексическими.

Опираясь на существующие источники, можно с большой степенью вероятности говорить о праславянском происхождении многих широко распространенных славянских суффиксов - таких, как *-vъje*, *-eъje*, *-ostъ*, *-batъ*, *-nіkъ*, *-bъ*, *-oba*, *-išće* и мн. др.

Специального исследования требует вопрос о том, в какой мере славянские морфемы отражают диалектные отношения праславянской эпохи⁸. Большинство суффиксов возникло в результате процессов, происходивших в составе исконной лексики (о них см. ниже), суффиксальные заимствования праславянской эпохи единичны (*-*arъ*, *-*egъ*).

А.Мейе, описавший процессы возникновения древнейших славянских суффиксов, полагал, что "почти все продуктивные славянские суффиксы в историческую эпоху сложились на славянской почве"⁹.

Актуальной задачей славистики является описание возникновения новых аффиксов в период существования отдельных славянских языков¹⁰. Необходимо прежде всего установить время их появления. Хронология аффиксов изучена недостаточно.

Отметим некоторые из вторичных аффиксальных морфов, относительно которых в литературе по русскому историческому словообразованию имеются сведения о времени их первоначальной фиксации в памятниках: -итель - XI в.¹¹, -ива- - -чат-, -оват-, -енн- - не ранее XIV в.¹⁴, -чив- - XV в.¹⁵, -аст- - XVI в.¹⁶, -нича- - по-видимому, XVII в.¹⁷, суффиксальные морфы глаголов и прилагательных с заимствованными субморфами (см. ниже) - XVIII-XIX вв., префиксы *недо-*, *небез-* - XVIII в.¹⁸.

II.2. В работах по праславянскому словообразованию по историческому словообразованию отдельных славянских языков показаны основные пути возникновения новых аффиксальных морфем. Новые суффиксы чаще всего возникают, как известно, путем переразложения - отхода к суффиксу части производящей основы. Этот постоянный процесс описан совершенно недостаточно.

Выявлен далеко не весь массив славянских суффиксов, состоящих из нескольких субморф и возникших путем переразложения. Далеко не для всех выявленных суффиксов определен характер тех отрезков основ мотивирующих слов, которые входят в состав новых суффиксов и превращаются в субформы. Обобщение материала существующих исследований показало, что такой субморф гораздо чаще восходит не к формальным (морфонологическим), а к функционально или семантически значимым компонентам мотивирующих слов. Такими компонентами являются: а) тематические элементы основ мотивирующих слов - глаголов (например, **a* в -ак-, **i* в -итель) и имен (**a* в -ав-, **i* в -ив-, *-й- в -ык-¹⁹), б) конечные суффиксы основ мотивирующих слов - существительных (например, *-l- и *-dl- в -лиш-, -tel'- в -тельн-, -ьс- в -чив-, -ник- в -нича-, -аг- в пол. -arni(a) и мн. др.); прилагательных (-ын- в -ыник-, -ыниц-); причастий (чаще всего суффиксы причастий прошедшего времени - пассивных, например, -ен-/ -н- в -енъе, -еник, -енность, -нность, -нец, -енец; -т- в -тие, и активных на -л-: в -лын-, -лыник; реже - суффиксы причастий настоящего времени - пассивных: -ом- в -омец, вычленяемом только в слове *птомец*, -им- в -имость и активных: *-qб- в -ачк-, ср. *болячка*, *вертячка*). Некоторые субморфы могут восходить одновременно к формально тождественным, но функционально различным элементам. Так, субморф и в суффиксе -ив- восходит к тождественным тематическим гласным основ разных частей речи, ср. *милость* - *милостиви* и *любити* - *любивши*; субморф л в -лын и -лыник восходит к суффиксам имен и причастий -л-; субморф н в -нец - к суффиксам существительных и пассивных причастий прошедшего времени и т.п.

Роль процесса переразложения в истории славянского словообразования (уже с праславянской эпохи) очень важна; этим путем возникло подавляющее большинство суффиксов, имеющихся в одних славянских языках и отсутствующих в других, например, восточнославянский -щик/-чик; укр. -чук в называниях невзрослых лиц: *шевчук*, *ковальчук*; пол. -atek и -atko: *wrątek*, *kawałek* и мн. др.; особенно многообразны различия между славянскими языками в составе вторичных субъективно-оценочных и экспрессивных суффиксов: рус. -ишк- (до-

мишко), -атин(a) (кисятина), польско-белорусский *-isch(a)*: польск. *ciotuchna*, белор. *матухна*, болг. -ленце: *носленце*, -отия (мъчнотия), в.-луж. -ңс(a)/-енс(a): *tołkańca*, *tešenča* и мн. др. (вторую – меньшую – группу суффиксальных морфов, имеющихся лишь в части славянских языков, составляют заимствованные морфы)²⁰.

Вместе с тем, в отдельных славянских языках параллельно происходили, по всей вероятности, полностью тождественные процессы образования новых суффиксов. Результатом явились тождественные морфы, возникшие в разных славянских языках после их выделения из праславянского; таковы, по-видимому, морфы *-овск-* (пол. *-ośk-* и т.д.), *-итель* (*-icie[21]* и др.

Все стадии и особенности процесса образования новых морфов посредством переразложения заслуживают специального описания на материале всех славянских языков²². Результатами такого описания явились бы не только полные данные о происхождении славянских суффиксов, но и выводы, важные в теоретическом отношении: во-первых, были бы выявлены причины языковой эволюции, заключающиеся в актуализации разнообразных (в том числе и опосредствованных) связей, ставших образцами для возникновения новых единиц словообразования; во-вторых, были бы показаны диахронические причины синхронных различий между формально близкими аффиксами. В данном докладе мы имеем возможность рассмотреть эти две проблемы на ограниченном материале.

Присоединение одного суффиксального морфа к другому всегда создает возможность возникновения нового морфа, однако далеко не каждая такая возможность реализуется. Например, сочетание морфа прилагательного *-н-* и морфа глагола *-е-* в русском языке не стало (в узуальной лексике) самостоятельным морфом – в отличие от польского (ср. *twardy* – *twardnieć*, *blady* – *blednieć*), хотя возможность появления такого суффикса сохраняется и в русском и реализуется в окказионализмах (ср. окказ. *гулкнеть*²³), а сочетание *-ов-* + *-е-* не стало самостоятельным морфом ни в русском, ни в польском языках, хотя окказиональные образования возможны и в этом случае: *сизоветь* (К.Федин), *почковеть* (Д.Зуев). Многие последовательности морфов, не функционировавшие в качестве единого морфа в древнерусском языке (ср. отмеченные Ж.Ж.Варбот последовательности *-nъk(v)*, *-enъk(a)*, *-lъk(a)*, *-etъk(v)*, **-lъj(e)*, *-pъnik(v)*, *-pъliv(v)* и др.²⁴), не стали таковыми и в современном языке (соответствующие морфы не отмечены в академической "Русской грамматике" 1980). По-видимому, далеко не всегда можно указать причины превращения или непревращения той или иной последовательности морфов в единый морф: реализация части существующих возможностей – одна из особенностей языковой эволюции. Однако можно указать факторы, способствующие образованию нового морфа посредством расширения фонемного состава существующего морфа.

Один из факторов уже был указан – это значимость и отчетливая выделимость морфа, превращающегося в субморф нового (вторичного) морфа. Г.О.Винокур писал по этому поводу: "Конечные звуки основы могут отходить к составу суффикса лишь при определенных условиях. Важнейшее из них со-

стоит, по-видимому, в том, чтобы отходящая к суффиксу часть основы в момент этого отделения сама по себе составляла известное звуковое единство, то есть сама была бы *живой морфемой*, а не случайным звукосочетанием. При этом условии отделение такого звукового комплекса от основы не разрушает ее, а лишь изменяет ее производный характер и возвращает ее к предшествующему состоянию, например, *хлеб, хлебный, (хлеб-н)-ик* и затем *хлеб-ник*²⁵.

В этом высказывании, в сущности, отмечается второй фактор, способствующий возникновению нового морфа: мотивированность того слова, основа которого "передает" свой морф новому морфу (например, мотивированность слова *хлебный*, основа которого содержит морф *-н-*, вошедший в качестве субморфа в морф *-ник*). В случае такой мотивированности имеют место отношения опосредованной (*хлеб - хлебник*) и непосредственной (*хлебный - хлебник*) мотивации, и первое из них становится моделью для образования новых слов; причем при наличии двух видов связи (опосредованной и непосредственной) этот процесс не поддается единственной интерпретации, ср. регулярно осуществляющую в "Этимологическом словаре славянских языков" двоякую трактовку образования слов типа **čel'adъnikъ* ("Производное с суф. *-ikъ* от прилаг. **čel'adъnъ...* или с готовым суф. *-nikъ* от **del'adъ*²⁶"). Естественно, что выход из употребления непосредственно мотивирующего слова (в данном случае прилагательного с суф. *-н-*, ср., напр., утраченное *помощьни* при *помощьнику*) означает превращение опосредованной мотивации в непосредственную и возникновение вторичного морфа. Аналогичные явления имеют место и при утрате семантической связи мотивированного слова с непосредственно мотивирующим.

Вместе с тем следует отметить, что субморф вторичного форманта не во всех случаях восходит к морфу и образование нового морфа не всегда осуществляется по модели опосредованной мотивации. Так, уже в праславянском возможны были вставки гласных звуков между согласными на морфемном шве, ср. **golnъ-→*golēnъ* и др.²⁷ Морфонологическими причинами вызвано появление многих вторичных морфов в период раздельного существования славянских языков; так, морф *-[j]n-* (шоссейный, купейный и т.п.), сочетающийся с основами несклоняемых существительных на гласную, возник, по-видимому, по аналогии со словами на *-[j]nый*, мотивированными существительными с основой на *[j]* (ср. аллейний, галантерейний, репейний и мн. др.) или унаследован от устаревших форм типа *кофей*.

В очень редких случаях новые морфы возникают путем контаминации морфов — исконных (рус. *-члив-* в *бранчливый* возник путем контаминации *-чив-*, ср. *браничливый*, и *-лив-*, ср. *бранликий* — видимо, не без влияния слов типа *ворчливый*); реже — исконных и иноязычных: пол. *-eda* в *gawęda, bajęda*, возникшее, как полагают, посредством контаминации исконного *-da* с *-enda, выделенным из иноязычных слов типа legenda, agenda*²⁸.

Особый случай расширения суффиксальных морфов представляют собой суффиксальные образования (прилагательные и глаголы) с использованием иноязычных по происхождению субморфов, восходящих к суффиксам западноевропейских языков (пре-

имущественно французского и немецкого). Таковы в русском языке суффиксальные морфы, возникшие на базе исконно русских суффиксов прилагательных -н- и -ск-/ -еск- и глагольного суффикса -ова-: -альн- (напр., формальный), -иальн- (принципиальный), -уальн- (процессуальный), -арн- (элементарный), -орн- (иллюзорный), -озн- (религиозный), -иен- (прогрессивный), -онн- (дистанционный), -ональн- (национальный), -абельн- (комфортабельный), -ичн- и -ическ- (типичный и типический), -анс- (африканский), -ианс- и -[ja]нск- (вольтерянский), -ирова- (блокировать), -изова- (характеризовать), -изирова- (идеализировать). Закрепление в русском языке таких прилагательных и глаголов и становление на русской почве (в результате переразложения основ) соответствующих вторичных суффиксальных морфов относится к XVIII-XIX вв., причем одни из них, напр. морфы -альн-, -онн-, -ичн- и -искн-, фиксируются уже с самого начала XVIII в., другие же, напр. -озн-, -иен- — только с XIX в.²⁹.

Становление большинства таких вторичных морфов не связано с их семантическим обосблением, так что перечисленные глагольные морфы обслуживают те же словообразовательные типы отыменных глаголов, что и исходный морф -ова-, объединяясь с последним в один суффикс; то же касается большинства перечисленных адъективных морфов, хотя их частеречная сочетаемость уже, чем у исходных морфов -н- и -ск- (последние способны сочетаться не только с основами существительных, как эти вторичные морфы, но и с основами глаголов, а морф -н- также и с основами других знаменательных частей речи). Семантическое обосбление затронуло из перечисленных вторичных морфов только морфы -абельн- и -ианс-/-янск-. Первый из них специфицировался как средство выражения способности или пригодности к чему-л.: ср. комфортабельный, транспортабельный или новообразования последнего полустолетия — разг. диссертабельный, читабельный, причем, как показывает последнее, семантическое сужение суффикса сопровождается расширением его частеречной сочетаемости в сферу отглагольного словообразования. Суффикс же -ианс-/-янск- выделился как средство выражения (при мотивации собственными именами) принадлежности к идеиному или научному направлению, течению, связанныму с определенным историческим лицом: кантианский, вольтерянский и т. п.³⁰. В этом своем качестве указанные морфы формируют особые, самостоятельные словообразовательные типы прилагательных.

Процесс становления новых вторичных суффиксальных морф продолжается в XX в. и происходит на наших глазах. Приведем некоторые типичные русские примеры.

В русской разговорной речи и просторечии первой половины XX в. появился вторичный суффиксальный морф -ловк(а), сочетающийся с основами глаголов (грабиловка, забегаловка, заводить 'побуждать переступить какие-л. нормы, границы' — заводиловка) и с усеченными основами прилагательных, также совпадающими с глагольными основами (учредительное собрание — учредиловка, заградительный отряд — заградиловка, уравнительный подход — уравниловка). Морф -ловк(а) возник путем своеобразной контаминации суффиксальных морфов -лж(а), имеющего такую же, как у -ловк(а), сочетаемость (ср. ми-

галка, зажигалка) и -овк(а) (ср. концовка, листовка, голодовка и т.п.); начальный субморф -л- характеризует его, как и ряд других вторичных суффиксальных морфов, как морф повокальный³¹. При этом, если в отадъективных образованиях морф -ловк(а) не приобрел семантико-функциональной специфики и стал еще одним из морфов супф. -к(а), наряду с морфами -анк(а), -ашк(а), -лк(а), -шк(а) и др., то в сфере отлагольного словообразования этот вторичный морф семантически обособился, приобрел специфические значения, ставшие основанием для выделения двух продуктивных словообразовательных типов, окрашенных стилистической сниженностью и неодобрительной либо пренебрежительной экспрессией. Это, во-первых, тип образований со значением 'место, учреждение, характеризующееся определенным действием' (забегаловка, грабиловка, обдираловка, охидаловка 'приемная; стоянка общественного транспорта') и, во-вторых, тип со значением 'явление общественного быта, характеризующееся определенным нежелательным действием' (заводиловка, обещаловка, расташиловка).

Во II половине ХХ в. на базе супф.-ун и -к(и) оформился особый вторичный суффикс отлагольных существительных -ук(и), выступающий, наряду со старым словом бегунки 'легкая повозка, санки', в новых словах ползунки 'одежда типа комбинезона для детей, еще не умеющих ходить' и ходунки 'приспособление типа вожжей для обучения маленьких детей ходьбе'. В составе этого форманта выступают флексии мн.ч., относящие слова на -унк(и), как и многие другие существительные *pl.tant.*, к разряду названий "сложных" (имеющих две или более одинаковые части) предметов.

В русском языке нашего времени активизировалась возможность образовывать существительные со значением отвлеченного действия или состояния непосредственно от именных основ, минуя глагол. В результате произошли следующие изменения в суффиксальной подсистеме существительных: во-первых, появились новые суффиксальные морфы -овани[j]- (дождевание, снегование, бороздование, моржевание), -ировани[j]- (комбинирование, рулонирование), -изаци[j]- (гибридизация, диспансеризация, диспетчеризация) и, во-вторых, расширилась частеречная сочетаемость старых морфов -аци[j]- и -овк(а), сочетающихся теперь, наряду с глагольными основами, с основами существительных (рубрикация, индексация, дизеляция; метровка, буртовка, процентовка; то же в префиксально-суффиксальных образованиях: раскадровка, расчесовка и т.п.). Все эти типы образований характеризуются значительной продуктивностью в сферах специальной терминологии и профессиональной речи.

Аналогичная тенденция проявилась и в подсистеме суффиксальных прилагательных. Так возникли типы отыменных прилагательных с суффиксами, структурно тождественными суффиксам страдательных причастий или вторичными по отношению к этим суффиксам (при отсутствии соответствующих глаголов): тип отсубстантивных суффиксальных прилагательных с новым вторичным суффиксом -ирован- (купированний, дипломированний, квалифицированный, эрудированный) и типы префиксально-суффиксальных отсубстантивных и отадъективных прилага-

тельных с префиксом *за-* и суффиксальными морфами *-ённ-* (получившим возможность сочетаться с именными основами) и новым вторичным морфом *-ованн-*: *заснежённый*, *залесённый*, *загазованный*, *заторфованный*, *закомплексованный*, *закислённый*, *забытовлённый* и т.п. Эти префиксально-суффиксальные типы характеризуются значительной продуктивностью в специальной терминологии, в газетно-публицистической речи.

Учитывая, что словообразовательный суффикс составляет единый словообразовательный формант вместе с определенной системой флексий мотивированного слова, следует обратить внимание также на факты постепенного "расщепления" первоначально одного словообразовательного средства на два форманта, характеризующиеся разными системами флексий при семантических и сочетаемостных различиях. Таковы в русском языке суффиксы *-ов*, *-ин* (с системой флексий "притяжательного" склонения и значением притяжательности: *отцов*, *дядин*) и *-ов(ый)*, *-ин(ый)* (с системой флексий основного, "адъективного" склонения прилагательных и относительным значением: *грешивый*, *сосновый*, *лошадиний*). Формирование особого форманта *-ов(ый)* относительных прилагательных исследователи относят к XIV–XV вв., а особого форманта *-ин(ый)* – к XVII–XVIII вв.³²

Особым синтаксико-словообразовательным процессом является превращение падежных флексий мотивирующих слов (существительных, прилагательных) в суффиксы мотивированных ими наречий (*бегом*, *смолоду*, *по-видимому* и т.п.).

П.3. Процессы возникновения славянских префиксов более разнообразны. Древнейшие славянские префиксы (*при-*, *за-* и т.п.), как известно, восходят к наречиям, определявшим глагольное действие³³. Такие префиксы являются общими для всех славянских языков. С этим древним распространенным процессом сходен новый и малораспространенный процесс превращения в префиксы верхнелужицких наречий *won*, *nutř*, *dele*, *horje*, *preč*, передающих значения немецких префиксов: *won hic - ausgehen*, *nutř r̄jíšć - hineinkommen*³⁴. Основная же масса исконных префиксов, не имеющих общеславянского распространения, возникла двумя путями: в результате соединения двух значимых единиц (префиксов, частиц) в единый префикс; в результате использования предлогов функции префикса.

Каждый из этих процессов имеет в свою очередь по две разновидности. Одна из разновидностей первого процесса – объединения значимых единиц – представляет собой полную аналогию описанному выше образованию новых суффиксов в результате переразложения морфем и соединения их в новую морфему. Так возник, например, префикс *обез-*, имеющийся в восточнославянских и южнославянских языках и отсутствующий в западнославянских: последовательность префиксов *о-* и *без-*, выступающая в глаголах, непосредственно мотивированных глаголами (*бесчестить* – *обесчестить*) и опосредованно – именами (*честь* – *обесчестить*), стала функционировать в качестве единой морфемы в глаголах типа *обезжирить*, непосредственно мотивированных именами (*жир* – *обезжирить*)³⁵. Значение вторичного префикса *обез-* представляет собой сумму значений префиксов *о-* ('совершенность') и *без-* ('лишние', спр. *бесчестить* – ' лишать чести').

Вторая разновидность процесса соединения значимых единиц в единый префикс - это образование нового префикса из служебного слова (частицы *не*) и префикса того слова, которому оно предшествует: *не безопасный* → *небезопасный*, *не доплатить* → *недоплатить*. Значение новых префиксов *небез-*, *недо-*, в отличие от значения приставки *обез-*, не равно сумме значений составляющих единиц: присоединение частицы *не* к слову и превращение префикса этого слова в компонент вторичного префикса является результатом преобразования значения отрицания признака (*не безопасный*) в значение небольшой степени признака (*небезопасный*), а значения отрицания дополнительного действия (*не доплатить*) в значение неполноты действия (*недоплатить*).³⁶

Второй источник пополнения состава префиксов - предлоги. Новое слово при этом возникает на базе предложно-падежного сочетания, предлог которого превращается в префикс. Возможны две разновидности этого процесса: 1) превращение предложно-падежного сочетания в новое слово без изменения морфемного состава (морфемы изменяются лишь функционально); 2) возникновение нового слова, не тождественного исходному словосочетанию, но включающего в свой состав слова этого словосочетания.

Обе возможности существовали в праславянском языке:ср. например, превращение в наречия праславянских предложно-падежных сочетаний типа **jъz kóni* (ср. рус. *искони*), **jъz poli* (ср. рус. *исполу*), **jъz prvā* (ср. рус. *исперва*), **jъz vñnē* (ср. рус. *извне*), **jъz kqdu* (ср. пол. *zkqd*), **jъz ne-nada* (ср. болг. *изненада*) и т.п.³⁷ или многочисленные праславянские префиксально-суффиксальные образования типа **bezl' u dъje*, **bezl' u dъnu(jъ)*.³⁸

Превращение предложно-падежных словосочетаний в новые слова осуществляется постоянно: возникают новые наречия (см. типы префиксально-суффиксальных наречий, продуктивных и в современном языке: *по-хорошему*, *дочиста* и мн.др.), предлоги (типа *ввиду*, *вроде*, *насчет*, возникших в XVIII, XIX вв.³⁹) и т.п. Возможны окказиональные образования существительных из сочетаний "предлог + существительное" ("Смешной старикашка, - подумала Майя, - откуда-то из довоеволюции". - И. Грекова). Однако новых префиксов путем слияния предложных сочетаний давно не создается: в новых словах используются старые префиксы. Отмечаются лишь (уже в XIX в.) окказиональные существительные со сравнительно новым префиксом *после* (Вы преспокойно себе почивали, с самого *послеобеда*. - Ф. Достоевский; В *послевойну* пахали поверху. - Ю. Фоменко; Есть у тебя ближайшая цель на *послешко-ли*? - Комс. пр., 13 марта 1979 г.) и окказиональным префиксом *сквозь-* (Базаром и закисью, / *Сквозь* - сном и весной.../ Здесь кофе был пакостный, / Совсем овсяной! - М. Цветаева).

Гораздо продуктивнее идет процесс образования новых префиксов из предлогов в словах, не совпадающих с исходным словосочетанием. Так, в XVIII в. возникли префиксы *противо-*, *сверх-*, *после-*, в XIX в. - *около-*, *вне-*, *внутри-*, *через-* - в составе префиксально-суффиксальных и чисто префиксальных прилагательных, соотносительных с сочетаниями "пред-

лог + существительное": сверх штата - сверхштатный и т.п.⁴⁰ В современном русском языке возник новый префикс *вдоль-*: ср. сельскохозяйственный термин *вдольрядный*, окказ. *вдольбереговой* (К.Ваншенкин). Этот процесс продолжается, ср. также окказионализмы как *вокругфутбольная среда* (Сов. спорт, 22 февр. 1970 г.), *сквозьстенный проем* (устная речь).

III. Одной из задач исторического словаобразования славянских языков является изучение происхождения семантических и сочетаемостных различий между первичными и вторичными аффиксами. В предварительном порядке можно наметить некоторые причины возникновения указанных различий.

Сочетаемостные и семантические различия между вторичным и исходным (первичным) морфом имеют место в тех случаях, когда у вторичного морфа сохраняются семантические и/или сочетаемостные свойства усложняющего морфа, превращающегося в субморф вторичного морфа. Так, у вторичных морфов *-льник-*, *-щик-*, *-льн(я)*, *-льн(ий)*, *-лив-*, сочетающихся только с глагольными основами, сохраняются сочетаемостные свойства морфа *-л-*, выступающего в отглагольных словах (на *-ло* из **-dlo*) или в причастиях на *-л*, ср. *хранити* - *хранило* - *хранильникъ*. В составе морфов существительных *-ни[j]-* и *-ени[j]-* сохраняются морфонологические закономерности сочетаемости причастных суффиксальных морфов *-ен-* и *-н-* с основами глаголов⁴¹.

Семантическое "наследие" морфа *-ник* можно заметить у вторичного морфа *-ница(ть)*: последний выступает в составе только глаголов, означающих действия (занятия, поступки), субъекты которых являются одушевленными (обычно это лица). Суф. *-ница-* имеет, таким образом, более узкое значение, чем суф. *-и-, -а-*, выступающие в мотивированных глаголах, означающих любое действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим именем. Такое сужение значения явно восходит к значению лица, которое свойственно суф. *-ник* в составе существительных со значением лица. От этих существительных с помощью суф. *-а-* были образованы глаголы, послужившие затем (в XVIII в.) образцом для возникновения суф. *-ница-* путем переразложения: *модник* - модничать и т.п. В результате объединения значений морфов *-ник* и *-а-* возникло значение 'действие лица' у морфа *-ница-*.

Несомненно влияние семантики отглагольных прилагательных с суф. (по происхождению - причастными) *-енн-/ -нн-* и *-ом-/ -им-* на семантику возникших уже в XX в. вторичных суффиксов существительных (соответственно) *-енность/-нность* и *-имость*: значение первого - 'состояние, возникающее в результате действия, названного мотивирующим глаголом' (задолжать - задолженность, сработать - сработанность), значение второго - 'свойство, проявляющееся как способность к действию, названному мотивирующим глаголом' (гореть - горимость, заболевать - заболеваемость).

С другой стороны, в ряде случаев можно говорить о формировании вторичных аффиксальных морфов в результате своеобразного "семантического притяжения" аффиксов. Сюда относятся: 1) слияние в одном вторичном морфе морфов одинаковой семантики; таковы, напр., в русском языке морфы *-ёж(a)* (кормёжка; ср. платёж и варка), *-вор(a)* (детвора; ср. листва и мошара), *-стви[j]-* (спокойствие; ср. упрямство и

радущие), -оныши (змеёныши; ср. козлёнок, где -ён- из прасл. *-ęt-, и малыш), -чан(e) (тамбовчане; ср. рязанцы и северяне), -чик (стаканчик; ср. хлебец и садик), -очки(a) (с повторением первичного суффикса -к(a): чёрточка, ср. бороздка); 2) слияние первичных аффиксов, тяготеющих друг к другу вследствие характерной для них сочетаемости. Так возник, напр., русский вторичный суффиксальный морф отглагольных прилагательных -тельск- (издевательский, пресмыкательский и т.п.), который восходит к сочетанию лично-агентивного суффикса существительных -тель с суффиксом относительных прилагательных -ск-, сочетающимся в русском языке прежде всего с названиями лиц; поэтому и морф -тельск- характеризуется сочетаемостью только с такими глагольными основами, которые обозначают действия лиц.

Актуальной задачей остается выявление и систематизация всех процессов возникновения сочетаемостных и семантических различий между исходными и вторичными морфами, а также тех процессов образования морфов, в результате которых таких различий не возникло. Эта задача тесно связана с более общей задачей, далекой пока от решения, — разработкой принципов идентификации морфов применительно к диахронии.

Намеченными в настоящем докладе вопросами изучения синхронной структуры славянских аффиксов и процессов ее формирования, далеко не исчерпывается, конечно, проблематика славянской синхронной и тем более исторической морфемики. В частности, структура славянского аффикса и, естественно, корня должна быть изучена не только с "морфно-субморфной", но и с фонологической точки зрения. Надежная база для такого изучения создана в индоевропейском сравнительно-историческом языкознании. Синхронное и диахроническое изучение фонемной структуры морфемы предполагает постановку многих нерешенных вопросов — от синхронных принципов определения этой структуры до выявления степени связи фонемной структуры морфемы с ее функцией (ср. реконструирование Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Ивановым "такого древнейшего состояния общеиндоевропейского языка, при котором структура морфемы не определялась ее функциональным назначением"⁴²).

Созданию теории исторической морфемики славянских языков препятствует, как уже отмечалось, недостаточная изученность исторических изменений в структуре и функционировании различных типов славянских морфем. Поэтому предпосылкой создания славянской исторической морфемики должно быть создание историко-этимологических словарей славянских морфем и морфемных словарей современных славянских языков.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Bosák J., Buzássyová K. Východiská morfémovej analýzy (morfematika, slovotvorba). Bratislava, 1985; там же обзор исследований по морфемике современных славянских языков.

² См., напр.: Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в словообразова-

нии и формах существительного и прилагательного. М., 1964.
С. 382 и др.

³ См., напр.: Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
С. 289, 295 и др.; Пастушенков Г.А. Так называемые "сложные" суффиксы в современном русском языке// НДВШ. Филол. науки, 1974, № 1; ср. различие вторичных ("приименных") и составных суффиксов в кн.: Варбот Ж.Ж. Древнерусское именное словообразование. М., 1969.

⁴ О субморфах см.: Чурганова В.Г. О предмете и понятиях фономорфологии// Известия АН СССР. Серия лит. и языка, 1967, № 4. С. 366-367; Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. С. 81; Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977. С. 57-60.

⁵ См.: Крушевский Н.В. Очерк науки о языке. Казань, 1983. С. 82.

⁶ На эту тенденцию обратил внимание А.Мейе, говоря о становлении праславянских "сложных" суффиксов. См.: Мейе А. Указ. соч. С. 276.

⁷ Wojtyła-Swierzowska M. Prasłowiańskie nomen agentis. Wrocław etc., 1974.

⁸ Кравчук Р.В. Дифференциация праславянских культурных диалектов по данным словообразования. Минск, 1983.

⁹ Мейе А. Указ. соч. С. 275.

¹⁰ См., напр.: Башкович Р. Развитие суффиксов в южнославянской языковой группе// Башкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М., 1984.

¹¹ Sławski F. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego// Słownik prasłowiański. T. II. Wrocław etc., 1976. S. 52.

¹² См.: Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982. С. 175.

¹³ См.: Лобанов С.И. Из истории имен существительных с агентивным суффиксом -щик (XIV-XVII вв.): Автореф. дисс... канд. филол. наук. М., 1950; Ковалик И.И. Вопросы словообразования имен существительных восточнославянских языков в сравнении с другими славянскими языками: Автореф.дисс... докт. филол. наук. Львов, 1961; Зверковская Н.П. Суффиксальное словообразование русских прилагательных XI-XVII вв. М., 1986. С. 30, 78.

¹⁴ Зверковская Н.П. Указ. соч. С. 74, 75.

¹⁵ Варбот Ж.Ж. Указ. соч. С. 163, 164.

¹⁶ Зверковская Н.П. Указ. соч. С. 77.

¹⁷ Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Глагол, наречие, предлоги и союзы. М., 1964. С. 106-112.

¹⁸ Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного. С. 525.

19 Ср. превращение тематических элементов в словообразовательную морфему: суффикс *-ов-*, восходящий к тематическому элементу **ои*, представленному в основах косвенных падежей основ на **й* (напр., *бездомови*); интерфикс *-о-* сложных слов, восходящий к тематической гласной **о*.

20 Подробнее см.: Лопатин В.В., Улуханов И.С. Сходства и различия в словообразовательных системах славянских языков// Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983. С. 173-175.

21 *Sławski F. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego// Słownik prasłowiański. T.II. S. 52; Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbanczyk S. Gramatyka historyczna języka polskiego. PWN, 1955. S. 176, 177.*

22 Применительно к русскому словообразованию такая задача была поставлена Г.О.Винокуром еще 40 лет назад: "Вопрос об исторической почве, на которой возникают вариантические виды суффиксов, - это очень большой вопрос русского словообразования, подлежащий особому монографическому изучению" (Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию //Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 433).

23 Новое в русской лексике. Словарные материалы - 77. М., 1980. С. 43.

24 Варбот Ж.Ж. Указ. соч. С. 96, 99, 103.

25 Винокур Г.О. Указ. соч. С. 433, 434.

26 Этимологический словарь славянских языков. М., 1977. Вып. 4. С. 42.

27 Варбот Ж.Ж. Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984. С. 206.

28 *Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbanczyk S. Gramatyka historyczna języka polskiego. S. 177.*

29 См., напр.: Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного. С. 364-375, 382-399; Авилова Н.С. Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени (глаголы с заимствованной основой). М., 1967. С. 16 и след.

30 Вне этого словообразовательного типа суффиксальный морф прилагательных *-ианск-* сочетается только с основами астрономических собственных имен (*марсианский, венерианский*), и, таким образом, этот морф в целом характеризуется очень узкой сочетаемостью.

31 См.: Русская грамматика. М., 1980. Т. 1. С. 422.

32 См.: Зверковская Н.П. Указ. соч. С. 42, 49.

33 *Němec J. O slovanské předponě po- slovesné// Slavia, 1954. Roč. XXIII. Seš. 1; Топоров В.Н. Локатив в славянских языках. М., 1961. С. 272, 340.*

34 *Sewc H. Gramatika hornjoserbskeje rěče. Budyšin, 1968. S. 185.*

35 Черепанов М.В. О словах со сложной приставкой *обез-* (*обес-*) в русском литературном языке// Русский язык в школе, 1960, № 4.

36 Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного. С. 525-527; Кропачева А.М. Об условиях образования приставки *недо-* у глаголов// Грамматический строй современного русского языка. Куйбышев, 1964; Черепанов М.В. О формировании структурно-семантического типа образований со сложным префиксом *недо-* в русском языке// Уч. зап. Саратовского гос. пед. ин-та, 1965. Т. 43.

37 См.: Этимологический словарь славянских языков. М., 1983. Вып. 9. С. 8-12.

38 См.: там же. Вып. 2.

39 См.: Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги. М., 1967. С. 95, 137, 159.

40 См.: Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного. С. 527-538, 541-544, 548-552.

41 См.: Варбот Ж.Ж. Древнерусское именное словообразование. С. 94, 95, 103, 191.

42 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. 1. С. 251.

Г. П. Нещименко

ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Рассматриваемая проблема относится к важнейшим, узловым задачам современной лингвистической науки. Будучи многоаспектной, она вбирает в себя целый комплекс остроактуальных вопросов, решение которых имеет большое теоретическое, а также практическое значение, в частности, для определения направленности языковой политики, прогнозирования языкового развития. В течение последнего пятидесятилетия проблема дифференциации национального языка не выпадала из поля зрения ученых; отдельные ее аспекты широко обсуждались и на международных форумах - съездах славистов, социологических конгрессах и т.п. Результатом многолетних усилий исследователей явилось создание теоретической концепции. В докладе мы остановимся лишь на самой общей ее характеристики, акцентируя те аспекты, которые, на наш взгляд, нуждаются в корректировке или же допускают альтернативное решение с учетом коммуникации в обществе.

Проблема функциональной дифференциации национального языка обычно рассматривается в двух ракурсах:

а) опосредованно, т.е. через призму отдельно взятых идиом и их места в общей модели языка. При этом чаще всего предметом изучения является литературный язык как основная, наиболее престижная форма существования языка, "святая святых" этнической общности. Впрочем, начиная с 60-х годов, все более возрастает интерес к разговорной речи в самых различных ее проявлениях;

б) непосредственно, когда внимание фокусируется на строении системы как таковой, с учетом ее онтологических параметров (выявление инвентаря составляющих ее компонентов) и архитектоники.

Независимо от исходного ракурса видения проблемы в целом преобладает следующая интерпретация строения национального языка, излагаемая нами схематически.

1. Национальный язык представляет собой монолитное единство (система систем / метасистема / архисистема / диасистема и пр.) взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом форм его существования.

2. Формы существования национального языка неравноценны по своему статусу. В зависимости от параметров внутриструктурных (характер нормы и ее эволюции в языке) и социолингвистических (например, численность и социальный состав носителей и т.п.) они выстраиваются иерархически в виде своего рода пирамиды. М.М.Гухман предлагает для обозначения стратификационной модели языка термин-понятие "функциональная парадигма" [2]. Основание пирамиды составляют необработанные, преимущественно устные формы, а ее вершину - "формы обработанные, сублимированные" [2, с.230], т.е. литературный язык как наиболее престижная, стабильная, кодифицированная, полифункциональная (а, следовательно, и лексически самодостаточная) форма существования национального языка, используемая в качестве национально-репрезентативного, общеэтнического средства общения, своего рода "кристаллизующего ядра".[8, с. 28].

3. Численность уровней (страт) модели не является раз навсегда данной, она может варьироваться по языкам, в истории одного и того же языка; различия могут наблюдаться и в пределах разных регионов одного и того же, даже весьма компактного языкового континуума. По мнению М.М.Гухман [2, с. 230], исходная стратификационная модель включает всего лишь два страта (при учете оппозиции обработанность-необработанность, спонтанность), однако под влиянием экстралингвистических и внутрилингвистических факторов это первичное членение может развертываться за счет образования главным образом промежуточных страт.

4. Для подавляющего большинства современных славянских языков характерна трехъярусная модель (территориальные диалекты - обиходно-разговорная речь - литературный язык), где на промежуточной ступени находятся интегрированные наддиалектные идиомы, используемые в сфере повседневного не-принужденного общения. Так, для русского языка выделяются и противопоставляются друг другу три основные компонента:

литературный язык – общерусское койне (просторечье) – диалекты [6, с. 54]. Стратификационные модели славянских языков приводятся в публикациях [2; 4; 7; 8].

Важной особенностью данной концепции является расширенное толкование литературного языка с включением в его состав так называемого "разговорного литературного языка" (чеш. *hovorová čeština*). Тем самым разговорная речь расчленяется на два идиома: более престижный (входит в состав литературного языка) и менее престижный, со сниженным социолингвистическим статусом (например, просторечье для русского языка).

По единодушному мнению исследователей, разговорный литературный язык используется активными носителями литературного языка в сфере непринужденного повседневного общения. При определении же статуса данного идиома в составе литературного языка взгляды ученых расходятся. Так, Е.А. Земская полагает, что русская разговорная речь является особой, отличной от кодифицированного литературного языка системой [18, с. 18], особым литературным языком [9]. О.А. Лаптева [10] также относит ее к некодифицированной сфере употребления литературного языка. Таким образом, по мнению обеих исследовательниц для литературного языка допустима противопоставленность по признаку "кодифицированность – некодифицированность". В чешской лингвистике преобладает оценка феномена *hovorová čeština* как функционального стиля литературного языка; ср. работы Б. Гавранека, Я. Белича, Фр. Травничека, Я. Хлоупека и др. А. Едличка [7, с. 15, 39 и др.] квалифицирует его как особый функциональный слой, особую форму в рамках литературного языка (кодифицированного), приближающуюся, по сути дела, к самостоятельной форме существования языка. По мнению Я. Белича [29, с. 40], данный функциональный стиль имеет более высокий ранг, чем другие стили литературного языка, со временем он должен стать разговорным литературным языком всей чешской нации.

Большой вклад в разработку стратификационной модели национального языка внесли чешские лингвисты (в особенности Б. Гавранек), плодотворно разрабатывавшие принципы системно-функционального анализа, провозглашенные Пражской лингвистической школой. В таблице № 1 (таблицы помещены в конце доклада) приведена для наглядности обобщенная модель чешского национального языка, реконструируемая на основе работ чешских лингвистов [11, с. 74].

Данный тип стратификационной модели национального языка может быть определен как онтолого-таксономический, поскольку он воспроизводит иерархическую упорядоченность инвентаря форм существования. Вертикальная градация идиомов, синхронно совмещенных в системе языка, отражает их историческую эволюцию и, в частности, фиксирует убывание региональной маркированности идиомов, а также возрастание их общеэтнической значимости. Важно подчеркнуть, что данная модель основывается на учете взаимосвязей, существующих внутри языковой системы.

Рассмотренная нами выше теоретическая концепция оказалась и оказывает по сей день большое влияние на направленность научных исследований и языковой политики, предопределив

деляя повышенное внимание к изучению и культивированию литературного языка, наращению его полифункциональности, в частности, за счет внедрения последнего в сферу непринужденного повседневного общения. Вместе с тем апробация теоретической концепции на конкретном языковом материале, с учетом синхронного функционирования языковых идиомов в системе коммуникации в обществе, прежде всего коммуникации устной (ср., например, фронтальные исследования диалектов, городских койне, обиходно-разговорной речи, осуществлявшиеся чешскими учеными с середины 60-х годов), позволила "высветить" ее уязвимые точки, обнаружить такие аспекты языковой коммуникации, которые ею не могли быть объяснены. Было установлено, в частности, что в устной речи идиомы в своем первозданном виде практически не реализуются; особое распространение здесь получают так называемые смешанные тексты, произвольно комбинирующие элементы разных идиомов. Таким образом, становилось очевидным, что подход на уровне языка необходимо было дополнить подходом на уровне речи, с учетом реального состояния языковой коммуникации в этносе.

* * *

Применение коммуникативного подхода открыло новые перспективы в решении проблемы функциональной дифференциации национального языка, позволило получить более многомерное и менее схематичное представление о строении и функционировании его системы. Если при построении онтолого-таксономической модели система национального языка интерпретировалась в аспекте внутрисистемных взаимосвязей между формами его существования, то при коммуникативном подходе эта же система была рассмотрена под ракурсом взаимоотношений не только внутри системы языка, но и с другой системой, системой коммуникативной, т.е. она воспринималась и через призму языкового обеспечения коммуникативных потребностей общества. Правомерность подобного подхода очевидна, так как именно коммуникативная функция и является основной функцией языка. Иными словами, социально-коммуникативный "заказ" предопределяет отбор языковых средств (разумеется, с учетом реально существующих внутриязыковых закономерностей и возможностей). Как справедливо отмечает В.Барнет [12, с.27], при оценке языковой ситуации соответствующей общности необходимо принимать во внимание не только структурное расположение национального языка, но и функциональную упорядоченность его языковой ситуации.

Наличие причинно-следственных взаимосвязей между коммуникативной и языковой системами позволяет экстраполировать (разумеется, не механически) схему членения коммуникативного континуума на континуум языковой, т.е. национальный язык. Именно эта задача и будет нами рассматриваться ниже.

Для установления организационного принципа строения системы национального языка релевантны, однако, далеко не все те параметры, которые учитываются при типологии коммуникативных ситуаций. Ср. по этому поводу: "С учетом социальной и языковой ситуации славянских общностей социально-релевантными представляются коммуникативные ситуации, обусловленные комбинацией факторов публичность/непубличность обстановки, официальность/неофициальность го-

всяющего по отношению к теме и слушателю. Социальное отношение коммуницирующих играет некоторую роль при выборе языковых средств, а не языковых идиомов" [12, с. 27].

Слишком "густой" коммуникативный фильтр (детальный учет микроситуаций общения, ролевых взаимоотношений между коммуницирующими, конкретной тематики и пр.) важный для выявления правил отбора языковых средств при построении высказывания, неэффективен, однако, при решении более общих задач, поскольку создает дробное, мозаичное представление о характере языкового обеспечения коммуникации, ведет к построению громоздких, многоступенчатых моделей национального языка. В этом случае целесообразнее оперировать обобщенными, комплексными коммуникативными категориями, называемыми нами "коммуникативными ареалами", для выделения которых первостепенную значимость имеют такие параметры, как характер общения (официальный/неофициальный), адресат (массовый, т.е. публичный, и даже общеэтнический/индивидуальный). Совокупность коммуникативных ареалов и составляет целостный коммуникативный континuum.

Понятие "коммуникативный ареал" является вышестоящим по отношению к понятию "коммуникативная сфера", детально разработанному в советской и зарубежной социолингвистике. Так, например, Л.Б. Никольский [13, с. 37] называет шесть коммуникативных сфер: общегосударственная, региональная, местная, производственная, семейно-бытовая, ритуальная (отправление культа). В.Барнет [5, с. 339] оперирует несколько иным набором сфер, релевантных для типологии текстов: 1. общенародное публичное официальное общение; 2. повседневное публичное неофициальное общение (общенародное или же потенциально общенародное); 3. региональное непубличное, неофициальное общение; 4. неофициальное непубличное общение в коллективе, например, профессиональном; 5. неофициальное непубличное общение в семье; 6. конфессиональное культовое общение.

В отличие от коммуникативных сфер, состав которых по справедливому утверждению того же ученого [5, с. 339] исторически изменчив, т.е. отдельные общности могут отличаться друг от друга как количеством, так и значимостью коммуникативных сфер, численность коммуникативных ареалов является константной - речь идет о двух ареалах: ареал "А" - официальное общение, охватывающее высшие коммуникативные функции; ареал "Б" - неофициальное, непринужденное, повседневное общение.

Выделение обоих ареалов допустимо практически для всех этапов жизни этнической общности (лишь на самом раннем периоде ее становления ареал "А" может временно отсутствовать); особым случаем являются так называемые "мертвые" языки, у которых отсутствует ареал "Б" (ср. функционирование классической латыни как международного языка науки). Невзирая на историко-культурную значимость ареала "А", первичным все же является ареал "Б".

Объем высших коммуникативных функций (ареал "А"), их соотносительный удельный вес меняются в зависимости от конкретно-исторических условий существования этноса. Так, на ранних его этапах главенствующую роль играет отправление культа, начальные формы административно-правовой деятель-

ности. Впоследствии появляются и различные виды общенародного общения и, в частности, наука и образование, общественное управление, общественно-политическая сфера, художественное творчество, средства массовой коммуникации и пр., т.е. широкий спектр интеллектуальной деятельности. Для коммуникативного ареала "А" характерна установка на публичное общение (вплоть до общеэтнического), при котором взаимодействие между коммуницирующими либо является минимальным, либо полностью отсутствует (средства массовой коммуникации). Впрочем, частным видом официальной коммуникации является межличностное общение при отсутствии непринужденно-доверительных отношений (различный социальный статус собеседников).

Коммуникативный ареал "Б" включает неофициальное, непубличное, непринужденное общение в кругу семьи, в коллективе, в том числе во время трудовой деятельности и т.п. Оно ориентировано на индивидуального адресата, т.е. на межличностное общение с сопутствующим ему взаимодействием, контактом между коммуницирующими. Думается, что сюда же может быть отнесено и устное народное творчество, изначально не имеющее публичной ориентации.

Выраженная специфичность коммуникативных ареалов "А" и "Б" предопределяет и дифференциацию их языкового обеспечения (установленным фактом является, к примеру, наличие взаимосвязи между нормой коммуникативной сферы и дистрибуцией языковых идиомов [14], см. табл. 2). Таким образом, как коммуникативный, так и языковой континуумы, имеют симметричное двуединое строение.

В силу этого нам представляется целесообразным отказаться от интерпретации национального языка как монолитной иерархической системы в виде своего рода пирамиды, вершину которой "венчает" литературный язык, имеющий тенденцию "узурпировать" все сферы общения. Ср., например, неправомерно завышенную, на наш взгляд, оценку русского литературного языка как такой универсальной разновидности, в функциональном диапазоне которой находится "обслуживание всех сфер общения и выражения (производства, общественно-политической и культурной жизни, науки, быта, субъективных переживаний и т.п.)" [15, с. 327] или же прогностическое предположение о том, что русский литературный язык "имеет тенденцию ... к вытеснению иных разновидностей как средства общения людей, говорящих по-русски" [16, с. 173]. Не ставя под сомнение важность литературного языка как наиболее репрезентативной, полифункциональной формы существования национального языка, мы тем не менее полагаем, что данный идиом имеет свою, достаточно четко очерченную сферу функционирования, обусловленную его внутриструктурными особенностями.

Альтернативным решением является моделирование национального языка как системы, состоящей из двух автономных (но не изолированных жестко), равнообязательных подсистем: языковое обеспечение ареала "А" - языковое обеспечение ареала "Б" ("разговорный язык"). При обозначении первой подсистемы мы намеренно избегаем термина "литературный язык" (в оппозиции к "разговорный"), несмотря на то, что именно

литературный язык и занимает здесь главное положение, поскольку считаем методически некорректным совмещать как рядом расположенные конкретный языковой идиом (литературный язык) и обобщенное понятие ("разговорный язык"), имеющее множественную языковую манифестацию.

Из сказанного выше следует, что для удовлетворения коммуникативных потребностей этноса носителю языка необходимо владеть идиомами из обеих подсистем, поскольку в функциональном отношении они находятся в отношении дополнительного распределения.

Выделяемые в составе национального языка подсистемы имеют достаточно четко выраженную специфику. Это проявляется не только в их функциональной "разведенности" по разным коммуникативным ареалам, но и в ряде существенных внутриструктурных особенностей (см. табл. 3).

Как можно видеть, идиомы обеих подсистем противопоставлены друг другу по ряду существенных параметров, перечень которых, разумеется, не является исчерпывающим. Принципиально важными представляются, к примеру, отличия, связанные с характером организации текста.

Мысль о противопоставленности монологической и диалогической речи в свое время была высказана Л.В.Щербой: "Всякое понятие лучше всего выясняется из противоположений, а всем кажется очевидным, что литературный язык прежде всего противополагается диалектам. И в общем это верно; однако я думаю, что есть противоположение более глубокое, которое в сущности и обуславливает те, которые кажутся очевидными. Это противоположение литературного и разговорного языков... в основе литературного языка лежит монолог, рассказ, противополагаемый диалогу - разговорной речи. Эта последняя состоит из взаимных реакций двух общающихся между собой индивидов, реакций, нормально спонтанных, определяемых ситуацией или высказыванием собеседника. Диалог - это в сущности цепь реплик. Монолог - это уже организованная система облеченный в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Очевидно, что структура реплик (диалог) и структура монолога (литературный язык) будут совершенно разные" [17, с. 115].

* * *

При языковом обеспечении высших коммуникативных функций действует императивная норма, предписывающая употребление в данном ареале общения литературного языка, т.е. идиома, обладающего высокой степенью обработанности, богатым стилистически дифференцированным словарным составом, развитым синтаксисом и пр. Большая стабильность нормы литературного языка по сравнению с разговорными идиомами обуславливает возможность его использования для фиксации, хранения и дистрибуции (как синхронной, так и диахронной) культурных ценностей. Именно литературный язык представляет этнос в его международных контактах. В том случае, если язык этноса по тем или иным причинам не удовлетворяет эти требования, вместо него используется язык иной, с более длительной культурной традицией и, следовательно, более высокой степенью обработанности. Так, у древнечеш-

ского этноса в культурной сфере использовались с конца IX по XI вв. старославянский язык (прежде всего) и латынь; с конца XI вплоть до конца XIII вв. — латынь (отчасти немецкий); в XIV в. в эту сферу подключился чешский литературный язык. Примечательно, что у ряда этносов появлению письменного языка генетически предшествовало использование в сфере высших коммуникативных функций устного культурного языка. Так, уже в X-XII вв. чешский язык, еще не являясь письменным, был тем не менее не только средством бытового общения, но и выполнял функции устного культурного идиома как вспомогательный язык в церкви, в административно-правовой, хозяйственной сфере и пр. Это подготовило почву для качественного скачка в языковом развитии чешского этноса, создало объективные предпосылки для формирования и последующего быстрого развития чешского литературного языка. Аналогичные примеры могут быть приведены и из других славянских языков.

Языковое обеспечение ареала "A" включает литературный язык как в письменной, так и устной разновидностях. По своим структурным особенностям устный литературный язык сочетает специфику устной речи (более свободный порядок слов, упрощенный синтаксис и пр.) с кодифицированной нормой монологической речи. Как справедливо утверждает Д.Брозович, устный литературный язык представляет собой самостоятельный стилевой комплекс языкового стандарта (т.е. литературного языка), а отнюдь не механическую озвученную репродукцию письменной разновидности (чтение вслух и пр.) [21, с.59]. Основной сферой употребления устного литературного языка является официальное общение (массовый или же индивидуальный адресат). Примечательно, что, по имеющимся у нас наблюдениям над чешским языком, устный литературный язык нередко используется при общении малознакомых людей в качестве своего рода маркера престижности их социального статуса, образованности — по мере устранения психологического барьера собеседники обычно сразу же переходят на разговорный идиом.

Следует подчеркнуть, что в лингвистике неоправданно мало внимания уделяется изучению устного литературного языка. Это происходит отчасти потому, что зачастую его неправомерно интерпретируют лишь как "озвученный" письменный язык, о чем уже упоминалось выше. Немаловажным является и то обстоятельство, что на протяжении длительного периода времени существовала известная диспропорция между функциональным диапазоном обеих разновидностей литературного языка. Так, если письменный язык довольно рано приобрел статус общеэтнического идиома, то устный, хотя и был средством публичного общения, но до появления новых каналов коммуникативной связи общеэтнической значимости все же не имел. Думается, что в условиях современной коммуникации благодаря радио, телевидению, активизации общественной жизни (и, в частности, социальной активности населения), одной из первоочередных задач языкового воспитания является именно повышение культуры устного литературного слова. Вместе с тем и сейчас приходится сталкиваться с недооценкой этой важной разновидности литературного язы-

ка, что обуславливается отчасти смещением акцента на так называемый разговорный литературный язык. Позволим себе в этой связи привести слова словенского ученого Й. Топоришича [22, с. 233]: "Многие словенцы литературный язык понимают все еще несколько упрощенно (только в его письменной и устной реализациях) и неохотно мирятся с существованием его двух вариантов (стандартного и разговорного). Разговорный вариант словенского литературного языка в последнее время начинает занимать твердые позиции на театральной сцене. Спокойнее воспринимаются региональные варианты словенского разговорного языка, бытующие в городской среде. Представляется, что диалектные элементы в фильмах и народных песнях никого не смущают по той причине, что в этой ситуации все территориальные диалекты равноправны, в то время как в рамках литературного языка два центральных диалекта (гореньский и доленьский) в форме городского койне с центром в Любляне доминируют над другими диалектами".

В ряду языковых манифестаций ареала "А" нами намеренно не называется идиом "разговорный литературный язык", являющийся, по нашему мнению, наиболее уязвимым и дискуссионным звеном существующей концепции членения национального языка. Ученые, оперирующие этим понятием (а их подавляющее большинство), полагают, что этот идиом представляет собой "непринужденную речь носителей литературного языка" [18, с. 5]. В противовес этой точке зрения мы хотели бы еще раз апеллировать к приведенному выше высказыванию Л. В. Щербы о противоположении литературной и разговорной речи. Примечательно, что Б. Гавранек в 1929 г. также противополагал как функционально, так и по способу реализации литературный язык и так называемый народный (общий, разговорный), утверждая, что обычной формой проявления литературного языка "служит речь связная (монолог), а отнюдь не разговор (диалог)... В подлинном разговоре литературный язык используется - в особенности у нас - редко, в этом случае имеет место всего лишь транспозиция литературного языка либо деформация общего или же разговорного языка" [19, с. 15]. Впрочем, впоследствии позиция ученого изменилась: в более поздних работах он оперирует понятием "разговорный литературный язык", понимая под ним особую стилевую разновидность литературного языка.

В условиях современного общества (а тем более общества социалистического), действительно, происходит массовое приобщение населения к норме литературного языка (через систему образования, различного рода печатную продукцию, средства массовой коммуникации и пр.), тем не менее, по единодушному мнению исследователей, языковой узус непринужденного повседневного общения даже активных носителей литературного языка отнюдь не укладывается в рамки кодификации. Для того чтобы вместить многообразие разговорного узуса в кодификационные предписания, необходимо либо их расширить за счет включения вариантовых элементов, либо признать возможным некодифицированное употребление литературного языка, что, впрочем, отнюдь не безопасно, так как, по сути, это размывает границы литературного языка; ср.: "... литературный язык принимает многое, навязываемое ему разговор-

ным языком и диалектами, и таким образом и совершается его развитие... Но беда, если разнородное, бессистемное по существу новое зальет литературный язык и безнадежно испортит его систему выразительных средств, которые только потому и выразительны, что образуют систему. Тогда наступает конец литературному языку, и многовековую работу по его созданию приходится начинать съезнова, с нуля" [17, с.128]. Как показывает практика, несмотря на оптимистические прогнозы ряда чешских лингвистов о возможности ускоренного "проникновения разговорного литературного языка (*hovorová čeština*) в повседневную речь самых широких слоев... путем продуманного языкового воспитания, пропаганды языковой культуры" [20, с. 441], так и не удалось добиться желаемого. Думается, что вряд ли можно безоговорочно согласиться с констатацией П.Ивича о том, что "каждый москвич говорит на литературном русском языке, а отнюдь не на общем языке (имеется в виду, очевидно, обиходно-разговорный нелитературный язык. - Г.Н.), в Белграде все говорят на литературном сербском языке" [цит. по 8, с. 17]. В этом отношении представляется важным наблюдение Я.Хлоупека: "Из изучения современной языковой ситуации в нашем национальном регионе становится совершенно очевидным, что невзирая на все рационалистические добрые намерения представить разговорный литературный чешский язык (с включением ... обиходно-разговорных форм или без них) в качестве единого культурного языка будущего социалистического общества, носители нашего национального языка считают целесообразным разграничивать литературные языковые средства - для официальной сферы и нелитературные - для сферы неофициальной; в основе последних находится региональный языковой идиом, каковым и является *obecná čeština* на территории Чехии" [8, с.83].

По нашему мнению, наблюдения над разговорным узусом заставляют усомниться в правомерности расширительного толкования литературного языка, с включением в него особого разговорного идиома, в целесообразности искусственного "олитературизования" разговорной речи либо чрезмерного расширения кодификационных нормативов. Как нам представляется, этот идиом (особенно в чешском языке - *hovorová čeština*) во многом был смоделирован теоретически. Симптоматично, что за многие годы, прошедшие со времени лингвистической дискуссии по этому поводу, так и не удалось выявить норму идиома *hovorová čeština* (в отличие, скажем, от идиома *obecná čeština* [ср.: 24]). Очевидно, нет необходимости в угоду теоретической концепции подгонять живое многообразие разговорной речи под норму литературного языка, каким бы престижным этот идиом ни был. Е.А.Земская [18, с. 18] справедливо отмечает, что "исследования последнего десятилетия показали очень существенные различия между РР и КЛЯ. Эти различия столь велики, что объединять их в пределах одной системы нет оснований. РР не может быть включена (вернее, втиснута) в систему КЛЯ". Если сказанное верно для русского языка, то тем более это распространяется на чешский язык с характерным для него существенным отличием между нормой литературного и разговорного языков практически на всех уровнях языковой системы (в том числе в фоне-

тике и морфологии). Сказанное, разумеется, не ставит под сомнение наличие в литературном языке пласта разговорных языковых средств, используемых для стилистического варьирования, а также в качестве своего рода строительного материала для устного литературного языка. Отнюдь не умаляется и значимость литературного языка для обогащения разговорной речи, формирования субстандарта. Имеющиеся в литературе описания нормы разговорного литературного языка, по-видимому, могут быть учтены при характеристике разговорного субстандарта высшего типа (см. ниже), наиболее приближенного к литературному языку, но остающегося все же в рамках разговорной речи.

При разграничении литературного и разговорного языков, видимо, окажутся полезными данные сопоставительного изучения славянских языков, поскольку дистанция между нормами этих языковых идиомов может различаться в зависимости как от внутриязыковых, так и экстраполингвистических причин (вероятно возможно, что чешский язык даст максимальный "разброс" литературной и разговорной норм). Опыт типологии славянской разговорной речи представлен в работе В.Барнета [5].

* * *

Языковое обеспечение ареала "Б" - разговорный язык во всем многообразии его проявлений, т.е. от территориальных диалектов до субстандартных образований.

Следует отметить, что языковая подсистема "Б" не только генетически первична, но именно в ней "рождается" литературный язык, формируются эволюционные изменения, выборочно фиксируемые впоследствии и кодификацией.

Ярко выраженная специфичность разговорных идиомов проявляется в диалогичности текста, в преобладании устного воспроизведения высказывания, в стихийности формирования и развития нормы; ср.: "Диалогическая... речь... соткана из всяких изменений нормы" [17, с. 116]. Особенно важным представляется континуальное развитие нормы разговорных идиомов. В отличие от разговорной речи литературный язык, зародившись в ее недрах, в дальнейшем отрывается от региональной основы, в нем усиливаются именно те структурные особенности, которые связаны с его коммуникативным назначением - быть письменным культурным языком. При этом нередко в силу различных причин происходит смена диалектной базы (ср. болгарский, словацкий, польский и др.) либо даже прерывается нить континуального развития, как в чешском литературном языке, когда в эпоху национального Возрождения была восстановлена норма литературного языка двухвековой давности. В связи с этим в период с XVII по середину XIX в. именно разговорные идиомы были основным компонентом формирования этнического самосознания чешского народа (литературный язык находился в состоянии упадка).

Характерной особенностью разговорной речи является множественность и негомогенность ее манифестации: на одном ее полюсе находятся территориальные диалекты, на другом - формирующийся субстандарт общенародного значения.

* * *

Обе подсистемы, вычленяемые в составе национального языка, имеют изоморфное строение, с дифференциацией языковых идиомов на центральные и периферийные. Соответственно в каждой из подсистем имеется свой центровой, наиболее престижный языковой идиом общезнеческого употребления: для ареала "А" - это литературный язык, для ареала "Б" - формирующийся или уже сформировавшийся субстандарт.

Таким образом, система национального языка имеет в центровое строение.

При установлении престижности языкового идиома учитывается степень соответствия его нормы норме данного коммуникативного ареала. Так, литературный язык, престижный для подсистемы "А", будет непрестижным, а, значит, неконкурентоспособным в подсистеме "Б", где его использование будет восприниматься как гиперкорректность. Справедливо и обратное: использование разговорного идиома в ареале "А", хотя и возможно (при языковой некомпетентности индивидуума), однако оно будет восприниматься как неадекватное коммуникативной норме, как нарушение речевого этикета. Таким образом, функциональная "разведенность" языкового обеспечения обоих ареалов исключает предвзятость, априорность оценки престижности идиома.

Важно отметить, что процесс центрации наиболее быстро развивается в подсистеме "А", где он поддерживается кодификацией, а также естественными интеграционными тенденциями, стимулируемыми в том числе и общественными институтами, заинтересованными в становлении единого общезнеческого (а в моноэтнических странах и общего сударственного) языка, обеспечивающего высшие коммуникативные функции.

В центре подсистемы "А" находится общенародный литературный язык; на периферии, выраженной менее рельефно, региональные варианты литературного языка, если таковые имеются - в этом отношении наибольшей сложностью отличается языковая ситуация в СФРЮ. Что касается чешского языка, то, по мнению Я.Хлоупека [8], здесь имеется моравский вариант чешского литературного языка. Впрочем, А.Едличка [7] полагает, что речь идет не о самостоятельном варианте, а о региональных вариативных элементах. К периферии подсистемы "А" могут быть отнесены те разговорные идиомы, которые используются лицами, не владеющими нормой литературного языка.

Несмотря на многообразие форм реализации разговорной речи, она отнюдь не имеет зыбкой, аморфной структуры. В ней достаточно отчетливо, хотя и не столь стремительно, как в литературном языке, развивается процесс уплотнения, интеграции идиомов, их центрирования.

Существенно, что направленность центрирования в обеих подсистемах одинакова - формирование идиома общенародного значения.

Многообразие разговорных идиомов в известной мере нейтрализуется путем постепенной нивелировки диалектного фундамента, составляющего периферию системы, а также образования интегрированных наддиалектных идиомов.

Отмечая постепенную нивелировку диалектов, ученые тем не менее констатируют, что последние все еще продолжают иг-

ратить важную роль в повседневном общении определенной части населения; регистрируется и факт большой "живучести" произносительных норм: "диалект используется не только в народе... и городская интеллигенция с довольно большим трудом избавляется от диалектных (точнее говоря, территориально обусловленных) артикуляционных навыков в своей литературной речи" [8, с. 73]. Процесс разрушения диалектных структур развивается неравномерно в различных этнических общностях (ср. большую сохранность диалектов в болгарском, польском, русском, словацком языках), в пределах одного и того же этноса. Так, неодинаков темп интеграции диалектов в восточной и западной части чехоязычного континуума: в собственночешских землях этот процесс практически завершился (имеется лишь остаточное диалектное обрамление) формированием интегрированного идиома *obecná čeština* с незначительной региональной вариативностью. По мнению Я.Хлоупека [8], в современной коммуникации диалекты приобретают новую функцию – служат средством проявления семейной, региональной сопричастности, солидарности (своего рода землячества) между старшим поколением и младшим, проживающим уже в городах.

Одним из проявлений действия центростремительных тенденций в данной языковой подсистеме служит становление унифицированных наддиалектных образований – интердиалектов с остаточной региональной маркированностью (ср. просторечье в русском языке, народно-разговорную речь в болгарском, украинском и т.д.; для словацкого языка Й.Ружичка [25, с. 134] квалифицирует данный феномен как общенародное *койне* или стандартный идиом словацкого языка с остаточной региональной окрашенностью – восточно-, западно-, средне-словацкой) и городских *койне*, вбравших в себя элементы разноуровневых идиомов (так, городское *койне* Брно включает элементы литературного языка, идиома *obecná čeština*, среднеморавского интердиалекта и местного диалектного субстрата; [ср. 23]).

Формирование интердиалектов и городских *койне* – важное звено в долговременном процессе становления субстандаarta как общенародного разговорного идиома, в ходе которого один из интердиалектов может расширить коммуникативную значимость и выйти за рамки своего региона. В условиях Чехии это *obecná čeština*, которая повышает свой социолингвистический статус за счет утраты узкорегиональных черт. То, что именно этот идиом смог осуществить как территориальную (в Моравию), так и функциональную (в качестве манифестанта общенародной обиходно-разговорной речи в художественной литературе, радио, телевидении, кино) "экспансию", неслучайно. Данный идиом не только наиболее престижен как обиходно-разговорный язык Праги и большей части чехоязычной территории, его отличает консолидированность нормы, большая структурная близость к литературному языку, генетически восходящему к среднечешским диалектам. Как пишет Й.Гронек [24, с. 107], в Чехии в дошкольном возрасте в подавляющем большинстве случаев активно владеют именно этим идиомом, приобщение к литературному языку происходит несколько позже. Вместе с тем нам представляется ма-

лоубедительным мнение ряда исследователей о том, что *obecná čeština* совершают "экспансию" в сферу высших культурных функций, подкрепляемое примерами из художественной литературы, языка средств массовой коммуникации. Думается, что здесь нет "посягательства" на функции литературного языка, а скорее имеет место аутентичное воспроизведение речевой ситуации непринужденного общения, т.е. своего рода цитации разговорной речи. Что касается языка художественной литературы, то, возможно, прав Я.Горецкий [26, с.119], выводя его за рамки стратификации национального языка как специфический языковой стиль, соединяющий элементы всех языковых форм. В этой же работе ученый предлагает выделять в составе национального языка в качестве общенародных форм литературную, стандартную (с менее строгой кодификацией), субстандартную и диалектную.

Несмотря на автономность рассмотренных выше языковых подсистем, они не только не изолированы друг от друга, а, напротив, взаимодействуют между собой. Это подтверждают случаи проникновения идиомов одной подсистемы на периферию другой. Так, некоторая часть носителей языка (обычно преподаватели-словесники) в силу устойчивых речевых навыков может использовать устный литературный язык при непринужденном общении; в этом случае он функционирует как периферийное средство подсистемы "Б". К периферии подсистемы "А" относится использование разговорных идиомов в официальном общении лицами, не владеющими литературным языком или же владеющими им пассивно.

Более важным представляется межцентровое взаимодействие, приводящее к образованию общенародного субстандарта, не имеющего ни узколокального, ни социального (как у сленгов) ограничения. В чешском языке норма субстандарта в настоящее время еще полностью не сформировалась, однако именно он, очевидно, и станет в дальнейшем новым центром языковой подсистемы "Б", образующимся в результате взаимодействия двух языковых центров: литературного языка и идиома *obecná čeština* в адаптированном виде, с нивелировкой региональных среднечешских черт. При этом литературный язык компенсирует лексическую некомплектность, несамодостаточность обиходно-разговорного языка; включение же элементов последнего (фонетика, морфология, синтаксис, словообразование) делает высказывание менее педагогичным и книжным.

На практике субстандарт манифестируется в виде смешанных текстов, имеющих высокую частотность в речи самых широких социальных слоев, в том числе активных носителей литературного языка, причем их употребление "отмечается и в тех случаях, когда мы могли бы ожидать использование разговорного литературного языка, а иногда и в официальных высказываниях, в школе" [20, с. 436]. Данное обстоятельство поставило под сомнение правомерность "табуирования" этих текстов как проявления низкого уровня языковой культуры, сделало актуальной необходимость пересмотра их статуса в коммуникации и, в частности, вычленения на их основе гибридных языковых идиомов как компонентов модели национального языка. Субстандарт манифестируется в виде двух

(не всегда легко дифференцируемых) ипостасей: а) с преобладанием литературной основы (субстандарт высшего типа); б) с преобладанием обиходно-разговорного языка. Дозирование элементов тех или других идиомов определяется комплексом факторов: а) языковой компетенцией носителя языка; б) социальным статусом; в) коммуникативной ситуацией (тематика, эмоциональная настроенность, обстановка и пр., т.е. тот самый "густой" фильтр, о котором шла речь выше); г) контактом с собеседником и т.д. [11, с. 83; по поводу смешанных текстов см. также 27, с. 194].

Межцентровое взаимодействие проявляется не только в образовании амальгамированных идиомов, но и в сближении и нормы центральных идиомов, поскольку наличие значительной дистанции между ними, как правило, ощущается как коммуникативная дискомфортность. Так, новый литературный чешский язык, сформировавшийся к середине XIX в., в силу архаичности кодификации "роковым образом", по словам В. Матезиуса, [28, с. 442], отдалился от разговорного. Противодействием этому является процесс устранения книжных, архаичных элементов. Вместе с тем нежелательно и чрезмерное насыщение литературного языка узкогеографическими элементами, нарушающее принцип общепонятности литературного языка как важнейшего общегосударственного (и даже международного) коммуникативного средства. Опасность фольклоризации особенно велика для молодых литературных языков (словацкий, белорусский).

Излагая некоторые наши соображения по поводу функциональной дифференциации национального языка, мы хотели бы отметить, что дальнейший "виток" в разработке этой важной научной проблемы, на наш взгляд, будет связан не только с усилением коммуникативного подхода, но и с развертыванием сопоставительного, системно-функционального, изучения языковых ситуаций различных этнических общностей (ср. опыт типологии функциональной стратификации национальных языков в коллективных трудах, выполненных под руководством М.М. Гухман [1; 2]).

Невзирая на типологическую однородность славянских языков, а также действие в целом сходных экстралингвистических факторов (особенно в современном периоде), языковые ситуации славянских стран отличаются многообразием, далеко не всегда сводимым к единому стереотипу. При этом своеобразие проявляется как в архитектонике модели национального языка (численность, аранжировка страт и пр.), так и в конкретных языковых манифестациях этих страт. Различия могут касаться, например, степени длительности литературной традиции (молодые литературные языки — литературные языки с длительной литературной традицией), полноты функциональных стилей литературного языка (ср. функциональную ограниченность лужицких языков), базы литературного языка (опора на диалектную основу для большинства современных славянских литературных языков — опора на донациональный литературный язык-предшественник на примере чешского языка) (наиболее полно разработаны дифференциальные признаки славянских литературных языков — ср. работы Д. Брозовича,

В.В.Виноградова, Е.И.Деминой, А.Едлички, Н.И.Толстого и др.). Важное значение имеют и такие показатели, как комплектность набора языковых идиомов, степень сохранности, а, соответственно, и значимости диалектной основы, скорость протекания интеграционных процессов и формирования наддиалектных идиомов и т.д.

В силу этого при сопоставительном изучении славянских языков оказываются синхронно совмещенные разные этапы эволюции языковой ситуации. Не менее важно и синхронно-диахронное сравнение языковых ситуаций в истории одного и того же языка, поскольку оно позволяет не только проследить направленность развития, но и выявить системные закономерности, существенные для выработки рабочей модели межъязыкового сопоставления [3].

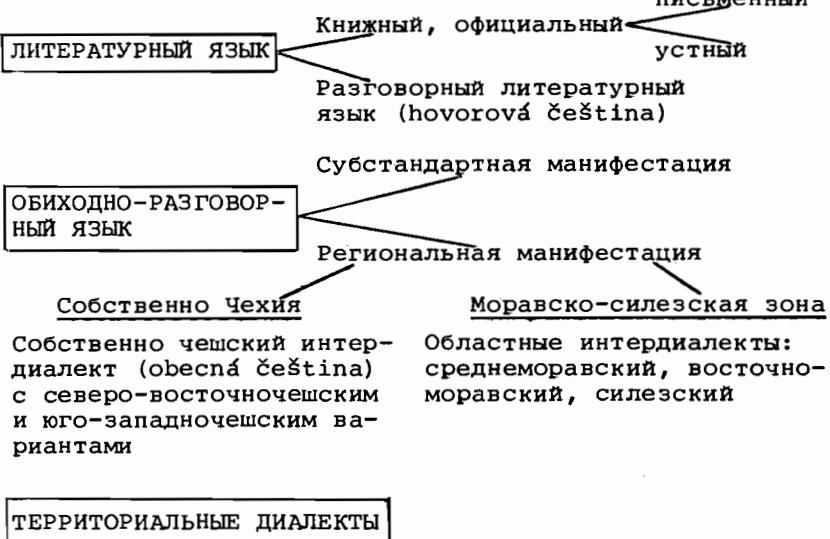
Непременной предпосылкой использования сопоставительно-го метода является единообразное описание языкового фено-мена во всех сопоставляемых языках (или синхронных срезах – при внутриязыковом сравнении) на основе единой программы, единых принципов анализа и синтеза, единого понятий-но-терминологического аппарата [3]. Сказанное, разумеется, не означает "подвертывания" реального своеобразия языко-вого материала под некую единую схему.

К сожалению, зачастую имеющиеся описания языковых си-туаций оказываются несводимыми в силу терминологического разнобоя (ср., например, эквивалентное использование тер-минов "разговорный", "устный"), неадекватной интерпрета-ции объема таких принципиально важных понятий, как "литер-атурный язык", "разговорная речь" и пр.

* * *

Резюмируя, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что, по на-шему мнению, как коммуникативный, так и языковой континуумы имеют симметричное двуединое строение. В соответствии с этим нам представляется целесо-образным моделировать национальный язык как двухцент-ровую систему, состоящую из двух автономных (но не изолированных жестко), равноОбязатель-ных и зоморфных подсистем: языковое обеспечение официального общения (высшие коммуникативные функции) – языковое обеспечение неофициального, непринужденного, по-вседневного общения. Центром первой подсистемы является общенародный литературный язык; центром второй подсистемы – формирующийся или уже сформировавшийся субстандарт. Для обеих подсистем характерно действие центростремительных тенденций – в направлении формирования центрового идиома общего этнического значения. Идиомы обеих подисис-тем взаимодействуют друг с другом на уровне как центров, так и периферий.

Таблица 1.



Чтобы не перегружать таблицу, мы намеренно опускаем такие звенья, как социальные диалекты, функциональные стили литературного языка, членение территориальных диалектов.

Таблица 2.



Таблица 3.

	Языковая под- система "А"	Языковая под- система "Б"
Характер обще- ния	официальный	неофициальный, непринуж- денный, повседневный
Характер адре- сата	массовый (прежде всего)	индивидуальный (прежде всего)
Способ реали- зации текста	письменный/уст- ный	устный (прежде всего)
Характер орга- низации текста	монологический	диалогический
Характер эво- люции нормы	направляемый кодификацией	стихийный
Характер нормы	стабильный	динамичный, множествен- ная вариативность
Характер осво- ения нормы	через языковое воспитание	стихийно
Характер эво- люции идиомов	возможно нару- шение преемст- венности	континуальный
Выбор языко- вых идиомов	императивный	альтернативный*
Инвентарь язы- ковых идиомов	гомогенный	гетерогенный
Скорость цент- рации идиомов	ускоренная	замедленная
Языковое обес- печеие	литературный язык (письмен- ная/устная раз- новидности)	нерегиональный субстан- дартный идиом общеэтни- ческой значимости (в про- цессе образования) наддиалектные образова- ния с остаточной регио- нальной маркированностью: а) интердиалекты (интегра- ция одноуровневых идио- мов - диалектов);

* В некоторых видах текстов в силу специфики их реализации (письма, за-
писки и пр.) степень непринужденности может быть ограничена, что несколько регламентирует выбор языкового идиома. Заметим также, что мы не противопоставляем обе языковые подсистемы по признаку "полифункциональность - монофункциональность", поскольку разговорная речь обеспечивает ряд коммуникативных функций (ср. непринужденное общение на работе и пр., отличающееся использованием пласта профессиональной лексики с включением, например, универсализованных обозначений).

ЛИТЕРАТУРА

1. Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
2. Функциональная стратификация языка. М., 1985.
3. Нещименко Г.П. О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования// Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.
4. Формирование славянских литературных языков: Теоретические проблемы. Сб. обзоров. М., 1983.
5. *Barnet V. Vztah komunikativní sféry a různotvaru jazyka v slovanských jazycích (K sociolingvistické interpretaci pojmu jazyková situace)*// *Slavia*. XLVI. 1977. N4.
6. Баранникова Л.И. О месте разговорной речи в функциональной парадигме русского языка// Функциональная стратификация языка.
7. *Jedlička A. Spisovný jazyk v současné komunikaci*. Pr., 1974.
8. *Chloupek J. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti*. Brno, 1986.
9. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. М., 1981.
10. Лаптева О.А. О некодифицированных сферах современного русского литературного языка// ВЯ. 1966. № 2.
11. Нещименко Г.П. Функциональное членение чешского языка// Функциональная стратификация языка.
12. *Barnet V. Diferenciace národního jazyka a sociální komunikace*// Говорните форми и словенските литературни язици. Скопје, 1973.
13. Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика. М., 1976.
14. *Jedlička A. Tyru norem jazykové komunikace*// *Slovo a slovesnost*. 43. 1982. N 4.
15. Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.
16. Исааков В.В. Некоторые вопросы формирования русского национального языка: Профессору МГУ, академику Виктору Владимировичу Виноградову. М., 1958.
17. Щерба Л.В. Современный русский литературный язык// Щерба Л.В. Избр. работы по русскому языку. М., 1957.
18. Русская разговорная речь. М., 1973.
19. *Havránek B. K funkčnímu rozvrstvení spisovného jazyka*// *Studie o spisovném jazyce*. Pr., 1963.
20. *Belič J. Bojujme za upevnování a šíření hovorové češtiny*// *Český jazyk a literatura*. 1959. R. 259. N 10.
21. *Brozović D. O tipologiji supstandardnih i interdijalekatskih idioma u slavenskom jazičnom svijetu*// Говорните форми и словенските литературни язици. Скопје, 1973.
22. Топоришич Й. Словенский литературный язык// Формирование славянских литературных языков: Теоретические проблемы. М., 1983.
23. *Krčmová M. Běžně mluvený jazyk v Brně*. Brno, 1981.
24. *Hronek J. Obecná čeština*. Pr., 1972.
25. *Ružička J. Z charakteristiky súčasnej slovenčiny. - Jazykovedný časopis*. R. 32. 1981. N 2.

26. Horecký J. K teórii spisovného jazyka// Jazykovedný časopis. R. 32. 1981. N 2.
27. Hauserblas K. Styly jazykových projevů a rozvrstvení jazyka// Slovo a slovesnost. 1962. R. 23. N 3.
28. Mathesius V. Problémy české kultury jazykové// Čestitina a obecný jazykozpyt. Pr., 1974.
29. Bělič J. Vznik hovorové čeština a její poměr k čestině spisovné// Československé přednášky pro IV Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Pr., 1958.

Л. Н. Смирнов

ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ

В последние десятилетия в современном языкоznании проявляется глубокий интерес к изучению языка в его социальной и социо-культурной обусловленности. Об этом свидетельствует заметная активизация социолингвистических разработок, которые важны как в плане раскрытия различных сторон и проявлений взаимосвязи языка и общества, так и в плане более полного и всестороннего познания самого объекта исследования. При таком подходе внутриструктурный анализ языка дополняется изучением его функционирования и развития в определенном социальном контексте. Под этим углом зрения могут рассматриваться различные языковые формации, однако, учитывая особую роль литературных языков в жизни современного общества, в новейших социолингвистических трудах повышенное внимание вполне закономерно уделяется "специфической проблематике литературного языка" [1]. Само толкование сущности литературного языка не может быть исчерпывающим без обращения к экстралингвистическим, социальным признакам. В связи с этим можно напомнить меткое высказывание Б. Гавранека о том, что всякое исследование о литературном языке несет в себе "определенные элементы социологического познания" [2, с. 71].

Круг социолингвистических проблем, связанных с изучением функционирования и развития современных славянских литературных языков, достаточно широк. Выбор тех или иных вопросов в значительной мере определяется тем, какое содержание вкладывается в понятие "социолингвистика". В этом отношении в научной литературе нет единства мнений: социолингвистика трактуется то как особый раздел языкоznания, то как междисциплинарная область исследования, то как исследовательский метод. Широкий диапазон взглядов наблюдается и в интерпретации предмета социолингвистики как научной дисциплины: от общих отношений между языком и обществом до социальной мотивировки конкретных языковых вариантов и речевого поведения говорящего. Мы исходим из того, что в любом случае речь все же идет о соотношении и взаимосвязи общественных и языковых структур, о социально обусловленных явлениях в языке, в его функционировании и развитии.

Данный доклад не может претендовать на рассмотрение всего комплекса социолингвистических проблем, относящихся к литературному языку; в нем будут освещены лишь некоторые теоретические вопросы, представляющие значительный интерес в плане изучения современных славянских литературных языков, функционирующих в условиях социалистического общества.

Как известно, существенные изменения в политической, социально-экономической и культурной жизни народов, идущих по пути социалистических преобразований, находят определенное отражение и в языковой сфере, в частности, в области функционирования национальных литературных языков. Изучение закономерностей развития языковой жизни народов СССР (в том числе славянских) показало, что в новых социально-коммуникативных условиях в корне меняется характер национально-языковых отношений, появляются новые черты эволюции языковой ситуации, изменяется место и статус литературного языка в общей системе национального языка данного народа, заметно возрастает его общественная роль и социально-культурный престиж как основного и важнейшего общеноционального средства коммуникации, возникают и развиваются характерные особенности массовой речевой практики и т. п. Различные аспекты функционального развития русского, украинского и белорусского литературных языков в советский период получили научное освещение в целом ряде трудов (см., например, соответствующие обзоры в [3]). На материале русского языка было проведено специальное социолого-лингвистическое обследование, результатом которого явилась четырехтомная коллективная монография "Русский язык и советское общество" (М., 1968).

Большой интерес для исследования в социолингвистическом аспекте представляют и литературные языки зарубежных славянских народов. Новейший период их истории связан с эпохой социализма [4-7]. Западнославянские и юнославянские языки уже четыре десятилетия функционируют и развиваются в условиях строительства социалистического общества.

Социолингвистический подход к их изучению, естественно, предполагает, прежде всего, анализ и характеристику экстралингвистических (социальных) факторов, прямо или косвенно влияющих на функциональное развитие этих языков, на складывание новых социально-коммуникативных условий их бытования и использования, на формирование новых требований, предъявляемых обществом к литературному языку. В связи с этим можно указать на ряд общих или сходных моментов: политические и социально-экономические преобразования социалистического характера, приведшие к изменению социальной структуры общества; равноправие наций и народностей и их языков; качественные изменения в идеологии, социальной психологии и общественном сознании; урбанизация и демографические процессы, перестраивающие связи между городом и деревней; демократизация системы образования и просвещения и др. Все это порождает и некоторые типологически сходные или параллельные процессы и явления как общего, так и частного характера в функционировании литературных языков народов социалистических стран (см., например, [8]), в раз-

витии их лексики и словообразования (см., в частности, [9, 10]). Д.Буттлер в связи с этим отмечала: "Примерно однокультурные экономические, социальные и политические условия, в которых в настоящее время развиваются славянские языки, порождают одни и те же группы неологизмов" [10, с. 89].

Одним из важнейших социолингвистических вопросов является вопрос о роли и месте литературного языка в арсенале коммуникативно-языковых средств данного социума. Поэтому необходимо серьезное внимание уделять анализу современной языковой ситуации в изучаемых странах и характерных для них моделей социальной и функциональной стратификации национального (этнического) языка. Это позволит выявить совпадения и расхождения в комплексе форм существования (формаций, идиомов) отдельных языков, обслуживающих определенный социум, а также в их социальной "привязанности", функциональной нагрузке и распределении по коммуникативным сферам. В современных трудах по социолингвистике и по теории литературного языка широко используется понятие "языковая ситуация". В его теоретическую разработку (в литературе представлены различные определения языковой ситуации) значительный вклад внесли советские и чехословацкие лингвисты (Л.Б.Никольский, В.А.Аврорин, А.Д.Швейцер, Г.В.Степанов, А.Едличка, В.Барнет и др.). В интересующем нас аспекте важно подчеркнуть комплексный характер понятия "языковая ситуация" (см. [11, с. 103]). Это значит, что конкретная языковая ситуация определяется не только набором лингвистических компонентов (форм существования языка, формаций, идиомов и т.п.), но и социальными параметрами (среди них можно отметить государственную самостоятельность, национальное равноправие, социальный состав языкового коллектива, сферы и среды употребления разновидностей данного языка и т.п.). Что касается лингвистических компонентов языковой ситуации, то они могут быть описаны в виде стратификационных моделей национального языка (различных схем членения данного языка). В теоретическом плане этот вопрос интересен сам по себе (существуют разные методические подходы к его решению, предлагаются различные опыты членения славянских языков, см., например, [12-16]), но в данном докладе для нас особенно существенно определение роли и места литературного языка в системе остальных разновидностей национального языка. В общем плане доминирующая роль литературной разновидности не вызывает сомнений как в собственно лингвистическом, так и социо-культурном плане. Однако при установлении отношений литературного языка с другими формациями и при интерпретации этих отношений обнаруживаются определенные различия и расхождения, зависящие от конкретной языковой ситуации.

В этом смысле интересна проблема соотношения в рамках национального языка двух его полюсных формаций - литературной разновидности и территориальных диалектов. Иногда она описывается слишком прямолинейно и упрощенно. Широко распространенное в литературе и в принципе правильное общее положение о сильном воздействии литературного языка на местные говоры и их нивелировке не вполне адекватно раскрывает реальную картину взаимодействия этих двух форма-

ций в том или ином конкретном славянском языке. В некоторых языковых ситуациях (например, в чешской) важную коммуникативную роль играют региональные интердиалектные образования переходного характера. Как указывает Я.Хлоупек, в функциональном отношении они находятся между литературным языком и территориальными диалектами, сближаясь в большей или меньшей мере с одним из них и образуя поочередно оппозицию то с одним, то с другим (см. [17, с. 25]). Одним из аспектов рассмотрения данной проблемы можно считать и вопрос об определенном влиянии на нормы литературного языка некоторых групп местных говоров (точнее, некоторых черт, характерных для этих говоров) данного национального коллектива. Иногда оно настолько заметно оказывается в практике коммуникации, что приводит к фактическому расширению первоначальной диалектной базы литературно-языковых норм (по крайней мере, в отдельных звеньях системы норм). Как нам кажется, этот вопрос в настоящее время является актуальным, например, для болгарской и отчасти словацкой языковых ситуаций.

Еще более сложной и важной представляется проблема соотношения литературного языка и различных типов нелитературной разговорной (обычно-разговорной речи). Социальная значимость этой проблемы объясняется тем, что фактически во всех современных славянских языках заметно возросла (или возрастает) коммуникативная роль нелитературных речевых средств, которые по-разному соотносятся с разговорной (устной) формой литературного языка и с диалектной речью. В определенных ситуациях общения (например, в повседневной неофициальной коммуникации) эти средства конкурируют с литературными, иногда проникают в литературное употребление (главным образом через устную разновидность литературного языка). Факты подобного рода хорошо известны, они отмечаются многими исследователями современных славянских языков, ср., например, распространение в чешском литературном языке инфинитивных форм типа *dělat*, *posit* вместо форм на -ti или říct, *péct* вместо форм на -ci, употребление вариантов форм на -ách в местн.п. мн.ч. неодушевленных существительных муж.р.:v *balíčkách*, *na strojmečkách* наряду с формами на -ích; проникновение фонемы í в ряде форм на место é, ср. *lépe* - *líp*, *méně* - *míň* и т.п. Важное значение, на наш взгляд, имеет не только выявление и описание нелитературных элементов, "вторгшихся" в коммуникативное поле действия литературного языка, но и раскрытие социальной мотивации и обусловленности этих явлений. Положение осложняется тем, что в лингвистической литературе не всегда четко и однозначно используются термины "разговорная речь", "разговорность" (то есть при этом не всегда размежевываются разговорные средства нелитературные и литературные). Интересную попытку теоретического осмысления этого вопроса представляет статья Я.Босака [18]. Сильное влияние разговорной речевой стихии на современную языковую коммуникацию приводит к тому, что в отдельных звеньях системы норм литературного языка обнаруживается разрыв между широко распространенным в данном коллективе употреблением слов, словосочетаний, отдельных форм и т.п. и

установками существующей кодификации. Это дает основание утверждать, что в настоящее время "...кодификационная литература устаревает быстрее, чем когда-либо" [19, с. 91].

Большой научный интерес представляет проблематика, связанная с анализом социально обусловленных тенденций развития славянских литературных языков в новейший период. Среди них в литературе обычно отмечаются тенденции демократизации, интеллектуализации, интернационализации [1, 4, 8, 20-23], а также некоторые другие, носящие более частный характер и проявляющиеся, главным образом, в отдельных звеньях языковой структуры или в отдельных стилях литературного языка (например, тенденции терминологизации и детерминологизации, универбизация и мультивербизация, см. [1, с. 170-173, 176]).

Мы остановимся на некоторых вопросах изучения тенденций демократизации и интернационализации, поскольку они, на наш взгляд, являются наиболее типичными для новых социально-коммуникативных условий функционирования славянских литературных языков. По нашему мнению, нуждается в дальнейшей теоретической разработке само понимание тенденций демократизации и интернационализации применительно к современным литературным языкам. Необычайно сложной и практической еще не исследованной является проблема соотношения и взаимодействия этих тенденций.

Тенденция демократизации литературных языков в условиях социалистического общества ярко проявилась и продолжает проявляться в развитии национальных литературных языков (в том числе русского, украинского и белорусского) народов Советского Союза, что неоднократно отмечалось в научной литературе (см., в частности, [24]). В настоящее время она ярко проявляется и в развитии западнославянских и южнославянских литературных языков. С нее начинают описание "характерных черт и главных тенденций развития" современного чешского литературного языка Ф. Цуржин и И. Новотны [4, с. 11-12]. Как отмечает И. Ружичка, "главной чертой" развития словацкого литературного языка в современный период является его "сильная демократизация" [5, с. 10]. Как одну из наиболее важных движущих сил развития современного болгарского литературного языка рассматривает его демократизацию М. Виденов [20, с. 2-4]. В. Кристиек вообще называет демократизацию литературного языка "самой характерной" и "самой важной" чертой развития языков в социалистическом обществе" [8, с. 29, 32]. Из этого можно сделать вывод, что речь идет о важном феномене, в значительной мере определяющем эволюцию национальных литературных языков, функционирующих в условиях социалистического общества. Само понятие демократизации литературного языка трактуется как процесс сближения литературного языка с народно-разговорной или обиходно-разговорной речью. Ср.: "Под демократизацией обычно понимают влияние живой (соответственно, разговорной) речи на литературный язык, в котором начинают использоваться некоторые ее фонетические, грамматические и лексические особенности" [21, с. 122]. Здесь характеризуется несомненно очень важный признак демократизации литературного языка, однако, он все же не в полной мере

раскрывает существо данной тенденции. В условиях социалистического общества демократизация литературного языка представляет собой более сложное и многостороннее явление, тесно связанное с радикальными переменами в политической, социально-экономической и культурной жизни носителей данного языка (в скромном виде наши взгляды по этому вопросу изложены в [25]). Его характеристика должна включать не только лингвистические, но и более широкие социально-культурные признаки. При этом целесообразно, на наш взгляд, учитывать следующие аспекты: социолингвистический, личностный, функциональный и интралингвистический.

Социолингвистический аспект заключается в значительном расширении социальной базы литературного языка, в количественном росте его носителей и в существенном изменении их социального состава (круг образованных людей, активно пользующихся литературным языком, быстро пополняется выходцами из рабочих и крестьян, формируются народная, социалистическая интеллигенция). В этих переменах важную роль играет культурная революция, развитие социалистической системы образования и просвещения, общий подъем культуры всех слоев населения и т.п. Большое значение имеют также современные средства массовой коммуникации. Наконец, следует подчеркнуть резкое увеличение потребности и сфер активного общения людей в процессе их производственной, общественно-политической и культурной деятельности.

Личностный аспект мы усматриваем в сознательном и заинтересованном отношении человека к литературному языку, позволяющему наиболее полно раскрыть себя во всех сферах социального взаимодействия. Знание литературного языка, умение в совершенстве владеть им в соответствии с различными коммуникативными задачами и ситуациями, высокая речевая культура - все это постепенно становится непременным элементом и своеобразным показателем общей личной культуры человека социалистического общества, ср.: [26-28].

Функциональный аспект - это расширение сферы использования литературного языка, его применение во всех областях общественно-речевой практики. В условиях социалистического общества идет заметный процесс функционального развития литературного языка, его потенциальная поливалентность превращается в реальную, что находит свое отражение в широком спектре функциональных стилей литературного языка. Конечно, в зависимости от конкретной языковой ситуации, традиций данного литературного языка и других социально-культурных факторов указанный процесс функционального развития того или иного литературного языка осуществляется по-разному, наблюдаются расхождения в темпах и масштабах этого процесса, в объеме и характере функционально-стилистической дифференциации литературных языков, например: белорусский литературный язык лишь в советский период начал выполнять широкий комплекс общественных функций [29, с. 65]; в словацком литературном языке в социалистический период наиболее активно развиваются и совершенствуются научный и публицистический стили [5, с. 14]. В связи с этим может происходить своеобразное перераспределение

ние социально-коммуникативных "ролей" отдельных функциональных стилей в рамках данного литературного языка, что находит свое отражение в оценке литературно-языковых норм. Как отмечает С.Я.Ермоленко, современная литературная норма украинского языка характеризуется "частичной переориентацией с языка художественной литературы на речевую практику других стилей - публицистического, официально-делового, во всяком случае, критерий авторитетных писателей закономерно уточняется критерием общепризнанных стандартов литературного языка, зафиксированных в языке массово-политической и деловой информации" [30, с. 45]. По наблюдению Я.Босака в новейший период развития словацкого языка "мерилом правильности и наивысшей ценности является уже не стиль художественной литературы.., как это было еще в начале послевоенного периода, а публицистический и научный стили" [31, с. 201].

Интралингвистический аспект заключается прежде всего в изменениях, происходящих во внутренней структуре литературного языка в результате его взаимодействия с различными формациями и типами нелитературной речи (территориальными говорами, идиомами интердиалектного характера, "языком города", социальными диалектами, сленгом и др.), а также в сближении письменной и устной (разговорной) форм литературного языка. В этом аспекте процесс демократизации может затрагивать (с разной степенью интенсивности) все его уровни (лексику, словообразование, синтаксис, фонетику и др.). Другой стороной процесса демократизации является то, что литературный язык сам оказывает значительное влияние на различные нелитературные идиомы и типы речи, используемые данным языковым коллективом.

В этом плане на материале западнославянских и южнославянских языков имеются лишь разрозненные отрывочные наблюдения. Думается, что эта проблематика заслуживает дальнейшего углубленного и систематического изучения.

Существенной стороной процесса демократизации литературного языка является то, что его традиционные и кодифицированные нормы испытывают "давление" массовой речевой практики, в которой, как уже отмечалось выше, большую роль играют нелитературные разговорные элементы. С одной стороны, происходит преодоление известной "закрытости" литературного языка, а с другой стороны, наоборот, "олитературизование" некодифицированных разговорных элементов. Поскольку к активному использованию литературным языком привнесены самые широкие слои народа, их речевые навыки и живое языковое сознание создают предпосылки и основу многих модификаций и новообразований в коллективном языковом узусе. В связи с этим происходит расширение нормативной базы литературного языка. Данный процесс не означает, однако, "снижения" или "утраты" нормированности литературного языка, размыивания его специфики по отношению к другим разновидностям языка данного социума. Чтобы соответствовать новым социально-коммуникативным потребностям общества, литературный язык вбирает в себя инновации, прошедшие проверку современной речевой практикой.

Серьезное внимание в новейшей лингвистической литературе уделяется изучению тенденции интернационализации, столь характерной для современных литературных языков, в том числе и славянских (см., в частности, [4, 20, 32-37]). Наиболее заметно она отражается в развитии лексики того или иностранного литературного языка (к ее проявлениям в этой области относят увеличение числа и широкое распространение иностранных (заемствованных) слов, так называемых международных (интернациональных) слов и морфем, использование последних при образовании новых слов и др., см., например, [1, с. 173]), но может захватывать и другие уровни языковой структуры [32]. Активизация этой тенденции в настоящее время вызвана как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами (резкое увеличение сфер межъязыковых контактов, интенсификация международного и международного общения, развитие международного обмена информацией, потребности унификации и интернационализации терминологии и т.п.). В социалистических странах эта тенденция в значительной мере обусловливается также действием интеграционных процессов в общественной жизни, в области экономики, науки и культуры.

Однако многие вопросы, касающиеся толкования самого понятия языковая интернационализация, лингвистического термина "интернационализм", а также анализа конкретных проявлений данной тенденции на материале славянских литературных языков, еще не получили однозначного решения и достаточно полного освещения.

По нашему мнению, существование процесса языковой интернационализации заключается прежде всего в том, что в результате социо-культурных и языковых контактов в группе родственных и неродственных языков на определенном этапе их развития формируются своеобразные "зоны общности", представляемые интернациональными элементами (интернационализмами), которые охватывают различные звенья конкретной языковой системы, вступая с ней в тесное взаимодействие и оказывая заметное влияние на ее функционирование. При этом к числу интернационализмов относятся не только международные слова (словосочетания, фразеологизмы), но и морфемы (слово- или терминоэлементы). Рассматривая интернационализмы как одно из проявлений межъязыковой общности, как специфическую межъязыковую категорию синхронического плана (см. [32, 36, 37]), не следует трактовать их только как подразряд заемствованных слов. Интернациональные и заемственные слова имеют некоторые сходные черты, но наряду с этим между ними есть и определенные различия [32]. В частности, многие международные слова являются в современных языках новообразованиями, состоящими из интернациональных элементов (типа russk. биотехнология, магнитофон, микропроцессор, словац. biotehnológia, magnetofón, mikroprocesor, болг. биокрем, магнитофон, микротелефон и др.) Они конструируются, как правило, из морфем греко-латинского происхождения, но сами по себе не являются заемствованиями в собственном смысле слова.

Следует отметить, что конкретные проявления тенденции интернационализации на материале современных славянских

литературных языков изучены еще явно недостаточно (в этом плане наиболее подробно описаны процессы интернационализации лексики русского языка, ср. [34, 35]). Заслуживает специального исследования вопрос о количественном составе интернациональных элементов (слов и морфем) в отдельных славянских языках. Ряд интересных проблем связан с выяснением процессов освоения интернационализмов современными славянскими литературными языками. В этом плане можно установить определенные совпадения и расхождения между отдельными языками по степени освоенности и употребительности интернациональных морфем (ср., например, широкое распространение в словацком и чешском языках интернациональных слов с морфемой *-ita*, имеющих значение качества, свойства: словац. *absurdita*, *emocionalita*, *genialita*, *muzikalita* и др. и отсутствие производных данного типа в русском языке, см. соответствующие слова: *абсурдность*, *эмоциональность*, *гениальность*, *музыкальность*), по возможностям "сцепляемости" и комбинирования корневых и аффиксальных интернациональных элементов, по способности сочетаться с морфемами конкретного славянского языка и т.п. Все это определяется взаимодействием внутриязыковых и экстраграмматических факторов. Многие интернациональные элементы настолько глубоко проникают в строй славянских языков, что становятся важными компонентами их лексико-семантической системы, морфемной и словообразовательной структуры слова. Ярким выражением процесса интернационализации является заметная активизация в славянских языках разного рода гибридных образований, в структуре которых сочетаются славянские и интернациональные элементы (речь идет об аффиксальных производных и сложных словах типа русск. *банкротство*, *дефицитный*, *подсистема*, *надклассовый*, *архиважный*, *квазичастица*, *биополе*, *самоорганизация*, *шумопеленгатор* и др.; болг. *бароков*, *дресировач*, *подсекретар*, *безпретенциозен*, *антничастица*, *электроуред*, *свръхкредит* и др.; словац. *absentérstvo*, *normovač*, *nadprodukcia*, *predscéna*, *viacaspektový*, *antihmota*, *bioparenisko*, *elektroliečba*, *minipredajňa*, *úzkoprofilový* и др., см. об этом [38, 39]). С процессом гибридизации связано и образование на базе интернационализмов целых гнезд производных слов в соответствии с типовыми моделями, характерными для данного славянского языка. В рамках подобного гнезда взаимодействуют национальные и интернациональные элементы. При этом в отдельных славянских языках возникающие таким образом гнезда могут совпадать лишь частично, ср., например, русские слова: *интенсивный*, *интенсивно*, *интенсивность*, *интенсификация*, *интенсифицировать*, *интенсифицироваться* и соотносительный ряд словацких слов со сходными и отличающимися звеньями цепочки: *intenzívny*, *intenzívne*, *intenzívnost'*, *intenzifikácia*, *intenzifikovať*; *intenzita*, *zintenzívniť*, *zintenzívňovať*, *zintenzívniť*, *zintenzívnenie*, *intenzifikasičný*. Это еще раз свидетельствует об отсутствии автоматизма в освоении интернационализмов отдельными славянскими языками.

Важное значение в теоретическом плане имеет вопрос о соотношении тенденций демократизации и интернационализации в современных славянских литературных языках. В науч-

ной литературе они обычно трактуются как образующие оппозицию [1, 4], иногда даже как противоборствующие [ср. 22, с. 293]. Такое понимание мотивируется главным образом тем, что интернациональные элементы вступают в конфликт с нормами конкретного национального литературного языка. По мнению В. К. Журавлева, языковая интернационализация "является довольно-таки мощным фактором, действующим против устоявшихся норм национального литературного языка" [22, с. 286–287]. И. Мистрик замечает, что, хотя, интернациональные слова "довольно хорошо акклиматизируются в словацком языке, все же их форма для нашего языка чужда. Эти слова в среднем намного длиннее, чем словацкие слова, и в них встречаются звуки или же сочетания звуков, чуждые словацкому языку или являющиеся в нем периферийными" [40, с. 53]. В ряде работ сближаются или почти отождествляются понятия языковой интернационализации и интеллектуализации, под которой понимается "приспособление языка к тому, чтобы высказывания на нем были определенными и точными, в случае необходимости – абстрактными и были бы способны выразить связь и сложность мышления" [41, с. 38]. В связи с этим некоторые авторы говорят об "интернациональной интеллектуализации, или интеллектуальной интернационализации" [22, с. 280–281]. Понятно, что в таком случае тенденция демократизации противопоставляется тенденции интеллектуализации (интернационализации). Думается, что указанные выше цели могут достигаться не только интернациональными языковыми средствами, но и средствами конкретного национального литературного языка.

Затронутый нами вопрос является дискуссионным, он требует дальнейшего обстоятельного изучения. Во всяком случае, как нам кажется, не следует абсолютизировать противопоставленность тенденций демократизации и интернационализации. В славянских литературных языках на современном этапе их развития национальные и интернациональные элементы находятся в сложном диалектическом переплетении. Поэтому точнее было бы говорить о параллельной реализации названных тенденций, в процессе которой проявляются не только признаки оппозиции, но и черты функционального взаимодействия, взаимодополнения.

Наконец, кратко затронем комплекс проблем, связанных с усилением сознательного регулирующего воздействия общества на языковую сферу и, прежде всего, на область функционального использования и развития литературного языка. Сюда относятся вопросы языковой политики, языкового строительства и языковой культуры. Как известно, применительно к языкам народов СССР эта проблематика разрабатывается советскими учеными уже давно и интенсивно. В последние десятилетия этим вопросам уделяется все большее внимание и в европейских социалистических странах. Одно из свидетельств этого – публикация значительного числа статей, сборников, монографий; проведение специальных конференций (например, в 1976 г. в ПНР, в 1978 г. в НРБ, в 1976 г. и 1985 г. в ЧССР) с последующим изданием материалов этих конференций (см. [42–45]). В этих трудах рассматриваются как теоретические, так и конкретно-практические вопросы языковой по-

литики, языкового строительства и языковой культуры. Серьезное внимание уделяется теоретическому осмыслению этих взаимосвязанных понятий и терминов. Наряду с общностью взглядов по некоторым принципиальным положениям выявляются определенные различия в интерпретации содержания и объема данных понятий, в осмыслении их соотношения и иерархии, в традициях преимущественного употребления того или иного термина и т.д. Что касается постановки и решения конкретных задач культуроречевой, нормализаторской деятельности, то здесь естественное разнообразие подходов и рекомендаций связано также со спецификой развития языковой жизни в отдельных странах. В общетеоретическом аспекте примечательны попытки связать языковую политику с марксистской теорией управления общественными процессами (см. [46]).

Хотелось бы особо подчеркнуть и характерную для новейшей литературы социолингвистическую ориентацию в постановке и решении вопросов языковой культуры. В понятии языковая культура тем самым отражается "социальная обусловленность литературного языка и его роль в общественной коммуникации" [1, с. 11-12]. Важное значение в этом плане имеет изучение различных взглядов по вопросам о соотношении узуса, нормы и кодификации, о разных типах или вариантах норм литературного языка, о его взаимодействии с диалектами и с некодифицированной разговорной речью (в разных языковых ситуациях оказывается неодинаковым статус функционально сходных или аналогичных идиомов, например, таких, как "язык города", сленги, профессиональные диалекты; в отдельных случаях получают широкое распространение специфические образования, например, чешский интердиалектный идиом - *obecná čeština*). В ряде работ данная проблематика вполне оправданно рассматривается не только как часть теории литературного языка, но и как составная часть многоаспектной области языковой политики. Ее обсуждение и изучение происходит на фоне активной заинтересованности различных слоев общественности, что и неудивительно, поскольку "культура родного языка - это и личное дело каждого, и общее дело всех" [47, с. 285].

В аспекте осознания обществом необходимости регулирующего воздействия на современные языковые процессы интересен также анализ социальной направленности нормализаторской деятельности лингвистов социалистических стран, основных задач, стоящих перед ними, перед культурной общественностью и государственными органами (ср., например, специальную программу, принятую в ПНР [48]) этих стран по повышению уровня массовой речевой практики, по языковому воспитанию в интересах дальнейшего развития культуры социалистического общества (в этом отношении существенное значение имеют усилия, направленные на преодоление крайностей языкового пуритана, элитарных тенденций в вопросах языковой культуры и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Jedlička A.* Spisovný jazyk v současné komunikaci. Pr., 1978.
2. *Havránek B.* Teorie spisovného jazyka// Naše řeč. 1969. Č. 2/3.
3. Формирование славянских литературных языков: Теоретические проблемы. Сб. обзоров. М., 1983.
4. *Cuřín Fr., Novotný J.* Vývojové tendenze současné spisovné češtiny a kultura jazyka. Pr., 1974.
5. *Ružička J.* Rozvoj slovenčiny v socialistickom Československu. Br., 1975.
6. *Андрейчин Л.* Из истории на нашето езиково строителство. С., 1977.
7. *Szymczak M.* Język polski w sześćdziesięcioleciu naszej niepodległości (1918-1978)// Poradnik językowy. 1979. Z. 3.
8. *Křístek V.* Paralely jazykového vývoje za socialismem// Československé přednášky pro VIII. Mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Lingvistika. Pr., 1978.
9. *Коломієць В.Т.* Розвиток лексики слов'янських мов у післявоєнний період. Київ, 1973.
10. *Буттерлер Д.* Изменения в современном польском языке на фоне новообразований в соседствующих славянских языках// Македонски јазик. 32-33. 1981-1982. С. 85-93.
11. *Едличка А.* Социолингвистическая терминология в славянских языках// Славянская лингвистическая терминология. Киев, 1984.
12. *Furdal A.* Klasyfikacja odmian języka polskiego. Wrocław, 1973.
13. *Horecký J.* Východiská k teórii spisovného jazyka// Z teórie spisovného jazyka. Br., 1979. S. 13-22.
14. *Utěšený Sl.* K rozrůznění českého národního jazyka// Slovo a slovesnost. 1980. Č. 1.
15. *Нешименко Г.П.* Функциональное членение чешского языка// Функциональная стратификация языка. М., 1985. С. 67-84.
16. *Radovanović M.* Sociolinguistica. Novi Sad, 1986. S. 165-185.
17. *Chloupek J.* Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno, 1986.
18. *Bosák J.* Hovorovost' ako dynamický faktor// Slovenská reč. 1984. Č. 3.
19. *Ondrejovič S.* O vývojových tendenciach súčasnej spisovej češtine// Kultúra slova. Br., 1976. Č. 3.
20. *Виденов М.* Към характеристиката на движещите сили в развой на съвременния български книжовен език// Език и литература. 1977. 2. С. 1-10.
21. *Ницолова Р.* Некоторые особенности языковой ситуации в Народной Республике Болгарии. Zeitschrift für Slawistik. В., 1981. S. 117-124.
22. *Журавлев В.К.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
23. *Buzássyová K., Bosák J.* Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny// Obsah a forma v slovnej zásobe. Br., 1984.

24. Карпенко М.А. Демократизация русского литературного языка в постоктябрьский период и перераспределение лексико-стилистических средств// Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков. Киев, 1977.
25. Смирнов Л.Н. Новый этап демократизации славянских литературных языков в эпоху социалистических преобразований// Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. Киев, 1982.
26. Білодід І.К. Культура мови в духовному світі сучасної людини// Філософська думка. 1977. № 5.
27. Schmidt W. Zum Verhältnis von Sprachkultur und Allgemeinbildung in der sozialistischen Gesellschaft// Sprachflege. Leipzig, 1977. Hf. 7.
28. Скворцов Л.И. Культура языка - достояние социалистической культуры. М., 1981.
29. Журавский А.И. Белорусский литературный язык на современном этапе// Формирование славянских литературных языков. Теоретические проблемы. М., 1983.
30. Ермоленко С.Я. Литературно-письменная и народно-разговорная традиции в развитии современного украинского литературного языка// Формирование славянских литературных языков. Теоретические проблемы. М., 1983.
31. Bosák J. O spoločných tendenciách v rozvíjaní jazykovej kultúry// Kultúra slova. Br., 1980. Č. 6.
32. Акуленко В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка. Харьков, 1972.
33. Акуленко В.В. Лексические интернационализмы и методы их изучения// ВЯ. 1976. № 6.
34. Йиракеч Й. Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке. Структурно-семантическое исследование. Brno, 1971.
35. Jiráček J. Adjektiva s internacionálnimi sufíxálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Brno, 1984.
36. Mistrík J. K procesu internacionalizácie slovenčiny// Jazykovedný časopis. Br., 1973. Č. 1.
37. Mackiewicz J. Co to są tzw. internacjonalizmy?// Język polski. 1984. Z. 3.
38. Martincová O. Tzv. hybridní složeniny jako lexikalní inovace// Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 1974. 13.
39. Смирнов Л.Н., Стрекалова З.Н. К сопоставительному изучению гибридных словосложений в современных славянских литературных языках// Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987.
40. Mistrík J. Moderná slovenčina. Br., 1984.
41. Havránek B. Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura// Studie o spisovném jazyce. Pr., 1963.
42. Socjolingwistyka. I. Polityka językowa/ Red.W.Lubaś. Katowice, 1977.
43. Проблеми на езиковата култура. С., 1980.
44. Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Pr., 1979.
45. Jazyková politika a jazyková kultúra. Br., 1986.

46. Skácel J., Šustek E., Waclavík T. Tvorba a realizace jazykové politiky socialistického státu z hlediska teorie řízení// Jazykovedný časopis. 1984. č. 1.
47. Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
48. Program prac nad kulturą języka polskiego. Ministerstwo kultury i sztuki. W-wa, 1982.

А. Н. Тихонов

СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ
ГНЕЗД ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ)

В формировании и совершенствовании лексико-семантической, фразеологической, словообразовательной, грамматической, стилистической систем русского языка важную роль играли старославянизмы. С ними связано, например, пополнение инвентаря его словоизменительных и словообразовательных морфем, расширение словообразовательной базы, обогащение лексического состава исконно русских гнезд однокоренных слов, появление в нем целых гнезд родственных слов старославянского происхождения. Однако словообразовательные связи и отношения старославянизмов в системе русского языка до сих пор никем не изучались. Остается неясным, как они участвовали в словообразовательных процессах русского языка в различные периоды его развития, какова была их словообразовательная активность, какие типы производных слов создавались на их базе, в пополнении каких лексико-грамматических разрядов слов они оставили заметные следы. Эти вопросы относятся к актуальным проблемам диахронического словообразования.

В диахроническом аспекте большой интерес представляет также исследование взаимодействия однокоренных старославянизмов и исконно русских слов в структуре гнезда. Оно непременно предполагает изучение лексико-семантических и стилистических взаимоотношений непроизводных однокоренных слов, возглавляющих гнезда, выявление их словообразовательных связей в гнезде, определение их словопорождающих возможностей, роли в структурно-семантической организации родственных слов в лексических и словообразовательных гнездах. При диахроническом исследовании этих проблем важно также выявить и охарактеризовать факторы, вызывающие перемещение старославянизмов в структуре гнезда - с периферии в его центр или, наоборот, из его центра на периферию. При этом так или иначе выясняются причины, которые приводят к значительным преобразованиям в гнезде, затрагивающим не только его семантическую, но и формальную структуру.

В современном русском языке представлены уже результаты таких процессов, и не все они носят завершенный характер. Поэтому часто возникают всякого рода сложности в определении синхронных границ словообразовательного гнезда, в установлении словообразовательных отношений родственных слов в гнезде, особенно в тех, в которых старославянизмы

слились в одну семью с исконно русскими образованиями или изобилуют параллельные производные, созданные на базе старославянских и собственно русских производящих слов. Тем не менее в подавляющем большинстве случаев гнездование однокоренных слов старославянского и русского происхождения не вызывает особых затруднений. Для этого оказывается достаточным элементарный семантический анализ на уровне лексических значений слов. Если у двух слов, имеющих один и тот же формальный отрезок (предполагаемый корень), обнаруживается лексико-семантическая общность, общий элемент лексического значения, который выражается этим, общим для них отрезком, то они обычно признаются однокоренными и включаются в одно гнездо. Хотя и непоследовательно и не всегда точно, такие общие элементы в лексических значениях однокоренных слов отражаются в словарных определениях. Поэтому в результате внимательного изучения словарных дефиниций одного или нескольких словарей вполне можно установить лексическую общность родственных слов.

Однако не во всех случаях родственные отношения однокоренных слов выражены ясно и четко в самой системе языка. Дело в том, что в процессе исторического развития гнезда они могут изменяться, ослабляться и, наконец, совсем утрачиваться. Поэтому на каждом синхронном срезе в гнезде наряду с однокоренными словами, между которыми существуют явно выраженные смысловые связи, имеются такие образования, родственные отношения которых настолько ослаблены, что выявление их требует уже глубокого и всестороннего семантического анализа. Нередко на периферии гнезда происходят полные драматизма события, связанные с разрушением гнезда и выходом из него отдельных слов или целых блоков производных слов, претерпевших в результате семантической трансформации оправление и окончательно утративших былье родственные отношения. Процессы эти протекают в течение долгого времени, постепенно распространяясь на разные участки гнезда. Они могут привести к расщеплению гнезда, в результате чего возникает несколько новых гнезд. При этом родственные слова не вдруг лишаются родства, а продолжительно находятся на периферии гнезда или на пограничной полосе между старым и новым гнездом. Изучение явлений, происходящих на периферии гнезда или в пограничной зоне между разными гнездами, может пролить новый свет на нерешенные и трудные вопросы гнездования. В связи с этим подлинную ценность будет иметь только такое описание их, в котором будет даваться оценка фактам, не опрежая самих событий. Незавершенные процессы должны характеризоваться объективно, без попытки придать им характер законченности.

В этом свете представляет большой интерес описание современного состояния словообразовательных гнезд со сложным историческим прошлым. Среди них выделяются гнезда, в которых сплелись корни с чередующимися полногласными (русскими по происхождению) и неполногласными (старославянскими по происхождению). Взаимодействие слов с полногласными и неполногласными корневыми элементами в составе словообразовательных гнезд не подвергалось изучению.

Таких гнезд в синхронной системе словаобразования немного, но они охватывают значительные массивы слов, которые находятся между собой в сложных смысловых и стилистических отношениях, что создает известные трудности при определении синхронных границ гнезд однокоренных слов с полногласными и неполногласными сочетаниями.

Судьба старославянанизмов с неполногласными сочетаниями в русском языке сложилась по-разному. Одни из них, не выдержав конкуренции с русскими словами, вышли из употребления. Ср.: *брег* и *берег*, *брада* и *борода*, *глад* и *голод*, *хлад* и *холод*, *злато* и *золото*, *блато* и *болото*, *влас* и *волос*, *глас* и *голос* и т.п.

Другие, наоборот, вытеснили исконно русские слова. Ср.: *враг* и *ворог*, *храбрый* и *хоробрый*, *жребий* и *жеребий* и др.

Третий семантически отмежевались от русских слов и, выйдя таким образом из конкурентной борьбы, вошли в активное употребление. Ср.: *страна* и *сторона*, *гражданин* и *горожанин*, *прах* и *порох*, *чуждый* и *чужой*, *власть* и *волосъ*, *нрав* и *норов*, *здравый* и *здоровый*, *влачить* и *воловить* и т.п. Рассматривая такие случаи, Г.О. Винокур писал, что в них "каждый член... обладает самостоятельным значением" и, следовательно, в них "имеем дело уже не с вариантами одного слова, а с друмъ в подлинном смысле разными словами"¹. Однако не во всех подобных случаях "семантическая дифференциация не непременно должна быть абсолютной, потому что возможны и промежуточные ее формы": "Дело может обстоять так, что один член параллели обладает тем же значением, что и второй, но сверх этого общего обоим вариантам значение имеет также и еще одно, свое. Вообще в некоторых сравнительно редких теперь случаях (в прежние эпохи они встречаются чаще) у обоих членов параллели могут быть некоторые общие значения, но при непременном условии разности отдельных значений"². Ср., например, *краткий* и *короткий*. Они обозначают 'непродолжительный по времени' (ср. *на короткий срок* и *на краткий срок*; *краткий разговор* и *короткий разговор*). Кроме того, прилагательное *короткий* означает: '*недлинный*' (*короткая палка*, *короткие волосы*), а *краткий* в этом значении сочетается только со словом *путь*; '*отрывистый*' (*короткий удар грома*); '*быстрый и решительный*' (*короткая расправа*); '*близкий*' (*в коротких отношениях*). В свою очередь, *краткий* обладает значениями '*сжато изложеный*' (*краткий курс истории*), '*звуки речи, противоположные долгим*' (и *краткое*).

По наблюдениям Г.О. Винокура, "очень часто эта дифференциация относительно слаба и проявляется лишь в том, что один член параллели представляет собой фигулярное употребление значения первого члена, как, например: *преступить* или *переступить*, *оградить* или *огородить*, *страх* при *сторож* и т.п."³ Очевидно, следует еще отметить, что семантические различия в таких случаях нередко сопровождаются стилистическими различиями, а также различиями в объеме лексических значений, что проявляется в неодинаковой их сочетаемости с другими словами или в каких-либо иных свойствах рассматриваемых слов.

Так обстоит дело с непроизводными старославянанизмами в их соотношении с исконно русскими параллелями. Иная кар-

тина наблюдается в словообразательных гнездах, в которых в отношениях производности (в словообразовательных парах) находятся производные (аффиксальные и сложные) слова с полногласием и неполногласием.

Здесь встречаются различные случаи. Гнездо возглавляет старославянское по происхождению слово. Все производные в нем являются исконно русскими образованиями. Соответствующее исходному слову полногласное существительное выступает как устаревшее слово (иногда квалифицируемое словарями еще и как просторечное) и находится на периферии гнезда:

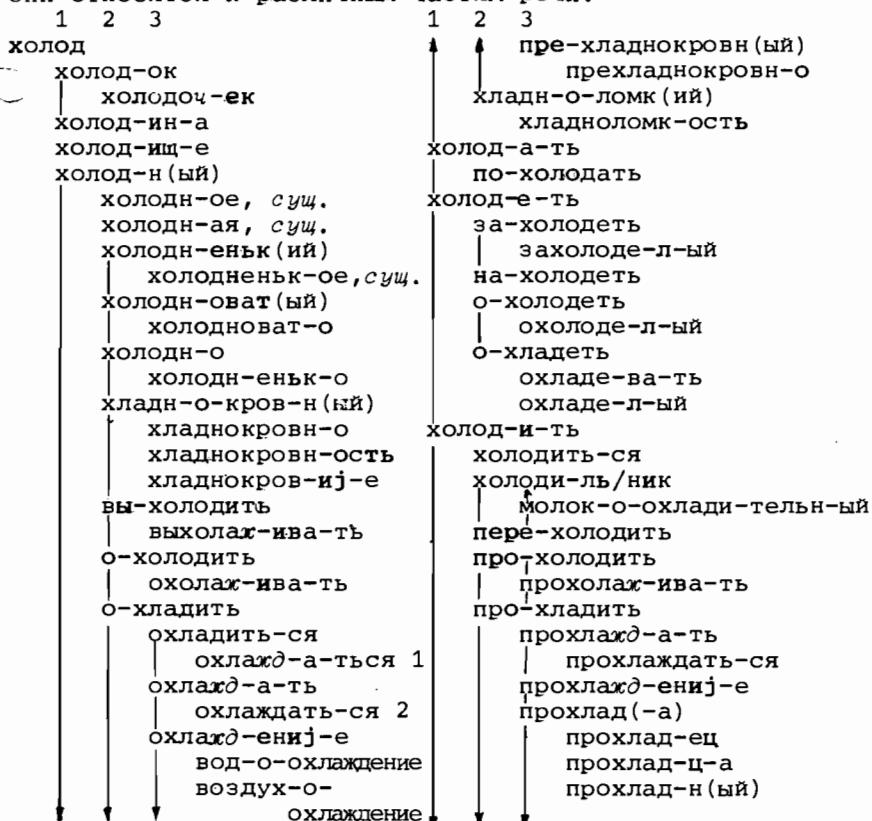
жребий

- жереб'ј-ов(ый) [жеребьевый]
- жеребъёв(-ка) 1
- жеребъёв-щик 1
- жереб'ј-ов(ка) 2 [жеребьёвка]
- жеребъёв-щик 2

жеребий, устар. и прост.

Наоборот, в большинстве случаев в качестве исходных употребляются полногласные непроизводные слова, а непроизводные слова с неполногласным сочетанием вытеснены на периферию гнезда. На разных ступенях гнезда размещены производные слова как с неполногласием, так и с полногласием.

Они относятся к различным частям речи.



1	2	3	1	2	3	
охлади-тель			прохладн-о-			
воздух-о-			прохладн-ость			
охладитель			прохлади-тельн (ый)			
масло-о-						
охладитель			прохладительн-ое,			
молоко-о-			сущ.			
охладитель			рас-холодить			
пар-о-						
охладитель						
охлади-тельн (ый)			холод-о-стойк (ий)			
охладительн-о			холодостойк-ость			
охлажд-ённ(ый),						
прич.-прил.						
охлаждённ-о						
охлаждённ-ость						
пере-охладить			хлад/агент			
переохладить-ся			хлад-о-агент			
переохлажд-а-ться 1			хлад-о-бойня			
переохлажд-а-ть			мяс-о-хладобойня			
переохлаждать-ся 2			хлад-о-комбинат			
переохлажд-е-ниј-е			хлад-о-стойк (ий)			
по-охладить			хладостойк-ость			
воздух-о-охлади-			хлад-о-техника			
тельн-ый			хлад-о-транспорт			
хлад-о-ящик			хладотарнспорт-н-ый			
хлад, устар.			хлад-о-централь			
хлад-н(ый)			хладн-о			
			хладн-ость			
			хлад-е-ть			

Гнездо дано в сокращениях. В нем 165 производных слов. Явно преобладают исконно русские образования с полногласным сочетанием оло – 95. Однако и образования с ла также занимают значительное место – 66. Все употребительные слова восходят к стилистически нейтральному *холод*. Вариант исходного слова *хлад* в синхронном словообразовании не принимает участия. Созданные на его базе *хладний*, *хладно*, *хладность*, *хладеть*, как и само производящее, являются устаревшими. Поэтому, например, не составляют словообразательной пары, несмотря на формальную близость, *хладеть* и *охладеть*. В современном русском языке стилистически нейтральные слова не образуются от стилистически сниженных слов.

Среди производных слов в гнезде имеются параллельные образования. Ср.: *охолодеть* и *охладеть*, *охолодить* и *охладить*, *прохолодить* и *прохладить*; ср. также: *холодостойкий* и *хладостойкий*. Из приставочных слов наиболее употребительными являются неполногласные варианты. В "Словаре русского языка" (М., 1981–1984) *охолодеть* и *охладить* даются как устарелые, а *прохладить* имеет помету "с.-х." (*прохоло-дить* семена).

Параллельные образования могут иметь различия в семантике, в стилистической характеристике, сфере применения. Ср. *хладнокровный*: 1. Равнодушный, безразличный, безучастный. Хладнокровные девицы (Гоголь). // Выражающий такое состояние. Хладнокровная наружность запорожца (Гоголь). Хладнокровный тон (Станюкович). 2. Сохраняющий самообладание; спокойный, сдержанный. [Командир] всегда хладнокро-

вен и спокоен (Гаршин). // Выражающий спокойствие, сдержанность. Хладнокровный вид. Хладнокровный тон. // Лишенный излишней горячности, пылкости. В высшей степени обладал он терпеливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью (Куприн) и **холоднокровный**: 1. Устар. То же, что хладнокровный (в 1 и 2 знач.). Хладнокровный генерал В союз славянов вербовал (Пушкин). □ **Холоднокровный**, в знач. сущ. Соль сипал тот, кто был смелее; Холоднокровный союзил (Филимонов). 2. Спец. С непостоянной температурой тела, меняющейся в зависимости от внешней среды. О живых организмах. **Теплокровные животные** произошли от **холоднокровных** (Туров).

У производных слов с полногласием и неполногласием не совпадает морфемный и морфонологический инвентарь, используемый при образовании от них слов. Ср.: **охолодеть** (форма на -ва- не образуется) и **охладеть** - **охлад-ва-ть**; **охолодить** - **охолож-ива-ть**, но: **охладить** - **охлажд-а-ть**, **охлаждениј-е** и **прохолодить** - **прохолаж-ива-ть**, но: **прохладить** - **прохлажд-а-ть**, **прохлажд-ениј-е**.

В рассматриваемых гнездах корень - общий элемент всех родственных слов - выступает в двух своих разновидностях, образуемых чередованиями **оро** - **ра**, **ере** - **ре**, **оло** - **ла**, **оло** - **ле**. По справедливому мнению В.В.Лопатина, "с синхроническим словообразовательной точки зрения... мена полногласных и неполногласных сочетаний должна рассматриваться как чередование **оро** - **ра**, **ере** - **ре**, **оло** - **ла**, **оло** - **ле** в корнях слов, являющееся, как и все чередования, используемые в словообразовании, дополнительным различительным средством, сопутствующим аффиксации и словосложению"⁴. Введение понятия чередования позволяет правильно определить состав однокоренных слов, их словообразовательные связи и взаимоотношения, место и роль каждого полногласного и неполногласного слова в структурной организации гнезда.

Там, где непроизводные старославянисмы семантически не отмежевались от исконно русских непроизводных слов, во главе гнезд обычно выступают последние. Ср. золото и злато, дерево и древо, город и град, волос и влас, ворота и врати, серебро и сребро, голова и глава, берег и брег, дорогой и драгой, молодой и младой и т.п. В конкуренции исходных более устойчивыми оказались исконно русские слова, поддерживаемые на родной почве всем гнездом. Старославянское влияние на уровне гнезд больше сказалось в системе производных. Однако и в гнездах старославянские элементы занимают скромное место. Собственно заимствованные производные слова старославянского происхождения малочисленны. Основной массив производных слов со старославянскими приметами главным образом состоит из образований, возникших уже на русской почве. См. состав таких производных в приведенном выше фрагменте гнезда **холод**, особенно сложные слова: **хладноломкий**, **смазочноохлаждающий**, **воздухоохлаждаемый**, **воздоохлаждение**, **воздухоохлаждение**, **воздухоохладитель**, **маслоохладитель**, **молокоохладитель**, **пароохладитель**, **воздухоохладительный**, **молокоохладительный**, **хладагент**, **хладокомбинат**, **хладотехника**, **хладотранспорт**, **хладоцентраль** и т.п.

В гнезде дерев(о) также преобладают производные с исключительно русским вариантом основы дерев- - 50 слов, тогда как старославянский вариант основы древ- использован лишь в 30 производных словах. Слова с основой древ-: древесина, древесинник, древесинный, древесиноведение, дельта-древесина; древесный, древесница, одревеснеть, одревеснение, раздревеснеть, древесно-волокнистый, древесно-декоративный, древесно-кустарниковый, древесно-массный, древесно-слоистый, древесно-стружечный, древовал, древовидный, древогриз, древолаз, древонасаждение, древообделочный, древообделочник, древообделочница, древообразный, древостой, древоточец, однодревка, чешуедрев.

В современном русском языке все они восходят к слову дерево и семантически вытекают из него. Ср. толкования их в словарях: дерево - деревянный шест...; древесина - ...часть дерева или кустарника; древесный - прил. к дерево; древовидный - имеющий вид дерева; деревонасаждение - посадка деревьев; древостой - совокупность деревьев, образующих лес или участок леса и т.п. В связи с этим следует признать противоречивой отсылку в статье "Древо..." в семнадцатитомном "Словаре современного русского литературного языка" (М.; Л., 1950-1965) к обоим словам: "Древо... Первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову дерево, дерево: древовидный, деревонасаждение, деревообделочный и т.п.". Однако при толковании этих слов в определениях встречается лишь слово дерево: "Древовидный. Имеющий вид дерева. Древонасаждение 1. Посадка деревьев. 2. Посаженные деревья". Старославянизм дерево характеризуется: "Устар. и в поэтической речи. Дерево". Несмотря на это в данное гнездо включены: "Древесный. 1. Относящийся к дереву, принадлежащий ему. 2. Получаемый, добываемый из дерева. Древесница. Лягушка сем. квакш, живущая на деревьях и кустарниках".

Ср. также по структуре и семантике производные в гнездах: дорогой - дорожавый, дорого, дорожизна, задорого, дорожать, удороожить, удороожать, удороожание... и дражайший, драгоценный, драгоценность и полуодрагоценный (ср. драгой, устар.); здоровый - здоровенький, здоровенный, здоровенный, здоровяк, здоровышка, здороветь, виздороветь, виздоравливать, выздоровление, оздороветь, оздоровить, оздоровливать... и здравница, здравница, заздравный, здравоохранение, здравотдел, здравпункт, горздрав, облиздрав, здравствовать... (здравий, устар. - здравие); берег - бережок, береговой, береговик, береговушка, бережной, набережный, набережная, побережный, побережье, прибережный, прибережье, берегоукрепительный, крутобережный, левобережный, левобережье... и безбрежный, безбрежно, безбрежность, безбрежие, прибрежный, прибрежница, прибрежье (ср. брег, устар.) и т.п.

Довольно сложные отношения сложились в гнезде голова/глава. У исходных слов имеются общие значения. Ср.: голова - 1. Верхняя часть тела человека, верхняя или передняя часть тела животного, содержащая мозг. Голова болит. Пока-

чать головой. 3. *Разг.* Руководитель, начальник, глава в каком-л. деле и глава¹ - 1. *Высок. устар.* То же, что голова (в 1 знач.). 3. Тот, кто возглавляет что-л., руководит чем-л., главный, старший над кем-л. Эти значения по-разному реализуются в производных. Слово *голова* участвует в словообразовании преимущественно в 1 значении, а *глава*, наоборот, в 3 значении.

Непосредственно от существительного *голова* образованы: *головка, головочка, головатый, головёнка, головушка, головища, голован, головач, головной, головастый, поголовный, поголовье, головокружение, головоломка, белоголовый* и т.п. Сюда же относятся слова с неполногласием: *безглавый* (обезглавленный, *устар.-поэт.*; ср. *безголовий* - 'обезглавленный', 'очень глупый'), *возглавие* (*устар.* 'изголовье'), *обезглавить* ('отрубить голову'), *двуглавый* (двуглавый орел), *одноглавый* (одноглавый орел), *пятиглавый* (пятиглавый змей), *семиглавый* (змей), *тысячеглавый* (ср. *тысячеголовый*), *треглавый, трехглавый* (трехглавый зверь), *стоглавый* (стоглавая гидра) и др.

С существительным *глава* в значении 'купол церковного здания' соотносятся: *главка* (главки собора), *надглавье* (архит. 'украшение на куполе церкви'), *златоглавый* ('имеющий позолоченную главу, купол'), *золотоглавый, двуглавый* (двуглавая гора) и др.; в значении ' тот, кто возглавляет что-л...': *главарь* (главарь мятежа), *главенство, главенствовать* ('господствующее, руководящее положение'), *возглавить* ('стать во главе кого-, чего-л., взять на себя руководство кем-, чем-л.') - *возглавиться, возглавлять, возглавляться, обезглавить* ('лишить главы, руководства') - *обезглавливать, обезглавливаться, обезглавливание, обезглавление, обезглавленный; одноглавый* (одноглавая церковь), *пятиглавое, пятиглавый* (пятиглавая церковь), *семиглавий* (семиглавая церковь), *стоглавый* (стоглавая Москва), *трехглавый, трехглавый* (трехглавая гора, трехглавая церковь) и др.

Таким образом, исходные слова гнезда *голова/глава* не во всех своих значениях участвуют в словообразовании. Различные их лексические значения имеют неодинаковую словообразовательную активность.

Полногласные и неполногласные параллели выступают в качестве исходных слов и в гнезде *короткий/краткий*:

коротк(ий)

корот-еньк(ий)
| коротеньк-о 1
коротк-оват(ый)
| коротковат-о 1
| коротковат-ость
коротк-о
| корот-еньк-о 2
| коротк-оват-о 2
коротк-ость
корот-ыш
| коротыш-к-а

кратк(ий) [вариант исходного слова]

крат-еньк(ий)
| кратеньк-о 1
кратч-айш-ий
| на-кратчайший
кратк-о
| крат-еньк-о 2
кратк-ость
в-кратц-е
со-крат-и-ть
| сократить-ся
| сокращ-а-ться 1

1 ↑	2 ↑	3 ↑
в-коротк-е		
на-коротк-е		
ультра-короткий		
корот-а-ть		
коротать-ся		
корота-н'ј-е		
с-коротать		
у-коротать		
о-корот-и-ть		
окорач-ива-ть		
окорачивать-ся		
под-корот-и-ть		
подкоротить-ся		
подкорач-ива-ться 1		
подкорач-ива-ть		
подкорачивать-ся 2		
подкорачива-ни-е		
у-корот-и-ть		
укоротить-ся		
укорач-ива-ться		
· · · · ·		

1 ↑	2 ↑	3 ↑
сокращ-а-ть		
сокращать-ся 2		
сокращ-ени-е		
сократ-им(ый)		
сократим-ость		
не-сократимый		
сократи-тельн(ый)		
сократительн-ость		
сокращ-ённ(ый)		
сокрашённ-о		
сокрашённ-ость		
по-сократить		
под-сократить		
подсократить-ся		
подсокращ-а-ть		
кратк-о-времен-и(ый)		
кратковременн-о		
кратковременн-ость		
кратк-о-сроч-н(ый)		
краткосрочн-ость		
краткосрочн-ик		

Заслуживают также внимания лексико-семантические и словообразовательные отношения в гнездах типа: ворон - вороненок, ворониха, воронов, вороновые, ср.: вран (*устар.*) - врановые (в зоологической терминологии употребляется наряду с сущ. вороновые); молоко - молочко, молочишко, молочник (*сосуд*), молочник (*торговец*), молочный, безмолочный, молоковоз и т.п., ср.: млечко (*устар., поэт.*) - млечный, млечник, птицемлечник, млечкопитающие; голос - голосок, голосишко, голосище, голосистый, голосовой, безголосий, отголосок, подголосок, голосовать, голосить, заголосить, звонкоголосий, многоголосий..., ср.: глас (*традиц.-поэт. 'голос' в 1, 4 и 6 значениях; "Словарь русского языка"*). - М., 1981-1984) - гласить, глашатай, возгласить, возглас, превозгласить, провозгласить, огласить, огласка, разгласить, безгласний, безгласность, отглас, громкогласний, многогласний, козлогласовать, разногласний, сладкогласний, тихогласний и т.п.; золото - золотко, золотце, золотишко, золотой, золотистый, золотистость, золотеть, золотить, визолотить, зазолотить, озолотить, перезолотить, золотодобивающий, золотоискатель и т.п., ср.: злато - (*устар., поэт.*) - златой, златистый; златоверхий, златоглавий, златокрылый, златоуст, златить, злачёный, озлатить, позлатить, златокованый, златотканый, златошвейный и т.п. В таких гнездах стилистическая маркированность непроизводных старославянизмов во многих случаях одновременно является и сигналом нарушения их смысловой соотносительности с русскими родственниками. Не все производные в них разделили судьбу своих производящих. Значительная часть производных от старославянизмов (в связи с перемещением последних на периферию гнезда) укрепила свои контакты с исконно русскими словами, стоящими во главе гнезда.

Непроизводные слова с полногласными и неполногласными сочетаниями, полностью разошедшиеся семантически, образуют разные гнезда. Таковы гнезда хранить и хоронить. Ср.:

хоронить	хранить
хоронить-ся	хранить-ся
по-хорониться	хран-ениј-е
с-хорониться	сам-о-хранение
за-хоронить	храни-тель
захоран-ива-ть	хранитель-ниц-а
захорон-ениј-е	храни-л/иц-е
пере-захоронить	храни-тельн-ый
перезахорон-ениј-е	о-хранить
пере-хоронить	охран-я-ть
перехоран-ива-ть	охранять-ся
по-хоронить	охран-ениј-е
при-хоронить	по-хранить

Сюда же: ворочать - ворочаться, заворочаться, наворочаться, поворочаться, проворочаться, разворочаться, ворочание, заворочать, наворочать, отворочать, переворочать, поворочать, проворочать, разворочать, сворочать и вращать - вращаться, повращаться, вращение, круговоротение, столо-вращение, вращательный, круговращательный, токовращатель; но: воротить - воротиться и возвратить - возвратиться, возвращать, возвращаться, возвращение, невозвращение, невозвращенец, невозвращенка, невозвращенчество, возврат, возвратный, невозвратный, невозвратность, безвозвратный, безвозвратно, невозвратимый, невозвратимость и т.п.; полностью разошлись с ними семантически: извратить - извратиться, извращать, извращаться, извращение, извратитель, извращенный, извращенность; отвратить - отвратиться, отвратить, отвращаться, отвращение, отвратимый, отвратимость, отвратительный, отвратный..; раззвратить - раззвратиться, раззвращать, раззвращаться, разверт, раззвратник, раззвратница, раззвратный, раззвратитель, раззвратничать, раззвращенный..; совратить - совратиться, совращать, совращаться, совращение, совратитель, совратительница, совратительный; превратный - превратно, превратность; превратить - превратиться, превращаться, превращать, превращение и т.п. Лишенные общего для них производящего и каких-либо ясных общих семантических элементов, префиксальные блоки одной корневой общности распались на несколько гнезд с своим самостоятельным, вполне автономным смысловым центром.

С точки зрения гнездования представляет определенный интерес группа однокоренных полногласных и неполногласных слов, которые отличаются друг от друга не только такими чередующимися в корне сочетаниями, но и дополнительными по-слекорневыми элементами. В современном русском языке они не находятся в словообразовательных отношениях и потому

составляют самостоятельные гнезда. Ср. гнезда средний, середина, середка, середняк:

средн(ий)

средн-еньк-ий
средн-е
средн-ик
средн-евик
о-средн-и-ть
| осредн-я-ть
у-средн-и-ть
| усредн-я-ть
средн-е-арифметический
средн-е-век-ов-ый
средн-е-век-ов/ск(ий)
 средневековск-и
· · · · ·

середк(а)

середоч-к-а
по-середк-е

середин(а)

середин-к(а)
| серединоч-к-а
середин-н-ый
по-середин-е
середин(а)
 средин-н(ый)
| срединн-о-ключичный
по-средин-е

середняк

середняч-ок
середняч-к-а
середняч-еств-о
середняц-к(ий)
| бедняцк-о-середняцкий
осередняч-и-ть
осереднячить-ся

Единичны случаи, когда в синхронной системе словообразования употребляется лишь полногласный вариант исходного слова. Все производные слова в гнезде также имеют корень с полногласием. У некоторых производных слов есть коррелятивные с ними неполногласные образования, образующие самостоятельные гнезда. См., например, гнездо *городить*:

городить

горож-ениj-е
городъ-б-а
за-городить
| загораж-ива-ть
| заграживать-ся
загород-к-а
· · · · ·

ср. заградить

| загражд-а-ть
| заграждать-ся
загражд-ениj-е

о-городить

огородить-ся
| огораж-ива-ться 1
огораж-ива-ть
| огораживать-ся 2
| огоражива-ниj-е
огород-а
огорож-а

ср. оградить

оградить-ся
| огражд-а-ться 1
огражд-а-ть
| ограждать-ся 2
огражд-ениj-е
оград(-а)
| оград-к-а

1 2 3

1 2

Ср. также: *перегородить* - *перегораж-ива-ть*, *перегоражива-ться* 1, *перегородить-ся*, *перегораж-ива-ться* 2, *перегоражива-ниj-е*, *перегородк(а)*, *перегородоч-к-а*, *перегородч-к-ий*, *перегородч-ат-ий*, *перегород-а*; *переградить* - *перегражд-а-ть*; *преградить* - *прегражд-а-ть*, *преграждать-ся*, *прегражд-ениj-е*, *преград-а*.

Выявленные выше особенности гнездования, характерные для слов с чередующимися полногласными и неполногласными сочетаниями, проявляются и в других типах исконно русских слов, имеющих старославянские соответствия. Так, окончате-

льно разошлись семантически прилагательные *чужой* и *чуждый*. И в современном русском языке они, конечно, составляют разные гнезда. Этому никак не мешает тот факт, что старославянизм *чуждий* когда-то был синонимичным исконно русскому *чужой*. Однако в этом значении он вышел из употребления, и словари фиксируют его с пометой "устар.". Ср. эти гнезда: *чуж(ой)* - *чуж-ое*, *чуж-ак*, *чужач-ок*, *чужач-к-а*, *чуж-бина*, *в-чуж-е*, *от-чуд-и-ть*, *от-чужд-а-ть*, *отчужд-ени-е* и т.п. и *чужд(ый)* - *чужд-о*, *чужд-ость*, *чужд-а-ть-ся*, *по-чуждат-ся*.

Сюда же: *невежа* (одиночное слово, не имеет производных) и *невежд(а)* - *невеж-еств(о)*, *невежеств-ен(и)*, *невежественн-о*, *невежественн-ость*, *с-невеж-нича-ть*.

Итак, в современном русском языке однокоренные старославянские и свои исконные слова находятся в сложных семантических и стилистических отношениях, что определяет их положение, место и роль в словообразовательном гнезде. Собственно русские слова, семантически равноправные со старославянismами, в большинстве случаев удержались во главе гнезда, а стилистически ущербные их старославянские соответства переместились на периферию гнезда. Лишь в отдельных гнездах на исходной ступени выступают оба варианта - исконно русское слово и старославянism, и вокруг каждого из них группируются свои производные. При этом отдельные слова одинаково могут рассматриваться как производные от исконно русского слова и старославянизма. В случаях полностью семантического расхождения исходное русское слово и уже ставший несоотносительным с ним старославянизм формируют самостоятельные гнезда.

Изучение лексических гнезд, в которых переплелись судьбы старославянismов и исконно русских слов, важно не только для нужд собственно словаобразования и лексикологии (особенно исторической). Оно необходимо для решения целого ряда проблем, связанных с исторической семасиологией, историей литературного языка. В.В. Виноградов писал: "Наблюдения над эмоциональной окраской слов, над характерной для них системой смысловых ассоциаций, над их тенденцией к сочетанию с определенными группами лексем также существенны для узнавания церковнославянismов. Легче всего производить такие опыты путем сопоставления эмоционального ореола и смысловых ассоциаций слов в пределах одного лексического "гнезда". Например, в лексемах *дар*, *даровать*, *даровитый*, с одной стороны, и, с другой: *даровой*, *даром*, *подарок* и т.п. нетрудно вскрыть разные истоки ассоциативных течений. То же в таких группах: *верить*, *доверять*, *веритель*, *верительные письма* и т.п. - *веровать*, *правоверный*, *старовер* и т.п.; *корить*, *укорять* и т.п. - *укоризна*, *покорить*, *покорный* и т.п.; *мудрить*, *мудрений*, *умудриться* и т.п. - *мудрый*, *мудрец* и т.п."⁵

Роль старославянismов в словообразовательной системе русского языка нуждается в глубоком и всестороннем историческом освещении. В то же время проблемы взаимоотношения старославянских и русских слов в словообразовательном аспекте должны быть предметом разнообразных и разносторонних синхронических исследований: в современном русском языке представлены бесспорные, вполне отстоявшиеся результа-

ты этого взаимодействия, которые позволяют подвести определенные итоги в развитии явлений и описать их современное состояние. В обоих планах исследования наиболее перспективным и плодотворным представляется гнездовой подход к изучению материала. В структуре гнезда отражаются все важнейшие связи и отношения однокоренных старославянских и русских слов. Поэтому гнездо как единица описания позволяет лучше систематизировать языковые факты и выявить закономерности, действующие в большом лингвистическом пространстве.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Винокур Г.О. О славянизмах в современном русском литературном языке// Винокур Г.О. Избр. работы по русскому языку. М., 1959. С. 452.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Лопатин В.В. Мена полногласия и неполногласия в словообразовании современного русского языка// РЯШ. 1970. № 6. С. 64.

⁵ Виноградов В.В. К истории лексики русского литературного языка// Виноградов В.В. Избр. труды: Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 28.

Н. И. Толстой, С. М. Толстая

НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И СТРУКТУРА СЛАВЯНСКОГО РИТУАЛЬНОГО ТЕКСТА

Народная этимология обычно изучается как чисто языковое явление, состоящее в том, что этимологически изолированные, непрозрачные (лишенные внутренней формы) слова, чаще всего иноязычные, получают семантическую мотивировку (приобретают внутреннюю форму) на основе их сближения с со звучными им другими словами, что внешне выражается в их звуковой и/или семантической модификации (ср. russk. *пиджак*/ 'спина' ← *спинжак*; польск., укр., белор. *мазера*, *мазена* 'неряха' ← собств. имя *Мазепа*/ 'мазать'¹). Между тем лежащий в основе народной этимологии принцип семантического притяжения (аттракции) созвучных слов (независимо от их этимологического родства) имеет более общий характер и составляет одну из важнейших особенностей ряда архаических фольклорных и ритуально-магических текстов, которую можно назвать *этимологической магией*, смыкающейся с другими, неязыковыми (ритуальными, мифологическими) видами магии. На эту экстралингвистическую, мифopoэтическую функцию народной этимологии, на ее значение для анализа структуры и семантики архаических культурных текстов, равно как и лежащей в их основе народной психологии и картины мира, уже обращалось внимание. Около ста лет тому назад замечательный болгарский ученый И.Д.Шишманов в монографии "Принос към българската народна етимология" привел боль-

шой фольклорный, этнографический и лексический материал болгарской и других славянских культурных традиций и предложил его первоначальную систематизацию по тематическому и жанровому принципу: народный календарь, демонология, народная медицина, ономастические легенды и т.п.² К сожалению, исследования в этом направлении не были продолжены ни на болгарском, ни на ином славянском материале, а ценные наблюдения И.Д.Шишманова и собранная им коллекция фактов не получили дальнейшего осмысливания ни со стороны чисто лингвистической, ни со стороны фольклорно-этнографической. В наше время интерес к такой тематике заметно возрос в связи с развитием этнолингвистического направления в изучении древней славянской духовной культуры, прежде всего ее наиболее архаических мифопоэтических и языковых форм³, а также в связи с работой над "Этимологическим словарем славянских древностей"⁴.

Обилие материала по народной этимологии и этимологической магии, содержащегося в фольклорных источниках (особенно в текстах так называемых малых жанров) и этнографических описаниях (записи обрядов, верований, мифологии), ставит перед исследователем задачу выработки определенных принципов его систематизации и интерпретации. Приемы, применяемые в собственно лингвистических работах по народной этимологии, оказываются здесь явно недостаточными ввиду большей сложности самого объекта: в качестве единицы описания в данном случае выступает не лексическая пара семантически сближенных созвучных слов, а, как правило, целый, нередко достаточно пространный текст, в пределах которого только и может быть выявлена мотивировка самого сближения. Это не значит, что лингвистический, собственно этимологический аспект для фольклорно-этнографического материала не представляет интерес, - напротив, этот материал способен значительно расширить рамки народной этимологии как в количественном (большее число слов), так и в структурном (большее число типов) смысле, и пролить новый свет на механизм самого явления народной этимологии и природу "этимологического сознания" носителей языка. Поэтому нахождение, систематизация и собственно лингвистический (формальный и семантический) анализ фольклорно-этнографических фактов народной этимологии остаются насущной задачей науки о языке⁵. Однако это являлось бы лишь первым, в значительной степени внешним подступом к проблеме, способным отразить поверхностный, формально-языковой уровень народноэтимологических текстов.

Второй, более глубокий уровень рассмотрения интересующего нас явления связан с анализом народной этимологии и этимологической магии как мифопоэтического приема, включающегося в сложную семантическую и поэтическую организацию целого текста, т.е. связан с изучением функций народной этимологии в структуре текста. И, наконец, третий уровень (или аспект) рассмотрения предполагает выход за пределы вербальных текстов и обращение к ритуально-магическим формам поведения, к обрядовым "текстам", мифологии и верованиям, необязательно имеющим языковое выражение или устойчивую текстовую форму. Роль народной этимологии (этимологической магии) в текстах этого типа может быть раз-

личной: от мотивирующей совершаемые действия [ср. болг. среднегорск. При первом кормлении ребенка грудью по-витуха держит над матерью сито с кусочком хлеба, чтобы ребенок был всегда сыт - "да е сито детето" (Вак. СОПМ, 57); южн. сербск. сретечскоожупск. Первый хлеб кладут в сито, чтобы был сытый год (сита година), (Ник. ПВОСЖ, 126) или представления (центр. полесск. На Ивана Купала солнце купается), приметы (центр. македонск. Если ребенок рождается на заходе солнца (заод солнце), он будет заходиться (ке заоди) плачем, Ков. НАМ, 48), запреты (полесск. На Паликопу (св. Пантелеймона - 27.VII ст. ст.) нельзя в поле работать: будэ палаты копи) и т.п.] до генерирующей, т.е. порождающей обрядовые действия (ср. зап. полесск. волынск. Чтобы жито хорошо трубило [шло в трубку], во время сева трубят в трубки).

Можно говорить, таким образом, о языковой, мифопоэтической и ритуально-магической функции народной этимологии и соответственно - о трех аспектах ее изучения: в рамках лингвистики (лексикологии и этимологии), в рамках поэтики (структуре текста) и в рамках духовной культуры (обрядность, верования, мифология).

К текстам, изобилующим примерами этимологической магии и народной этимологии или даже в значительной степени построенным на их основе, относятся такие малые фольклорные формы, как разного рода приметы, толкования сновидений, запреты и предписания (точнее, их мотивировки), заговоры, загадки и т.п., т.е. тексты не повествовательного, а ритуально-магического характера. Из повествовательных жанров могут быть названы в этой связи ономастические (топонимические и антропонимические) и этиологические легенды. Каждый тип текста, имеющий свою особую поэтику и функцию, накладывает свой отпечаток на содержащиеся в нем этимологические фигуры и формулы. В каждом типе текстов народноэтимологические сближения занимают разное место и по-разному соотносятся с другими поэтическими приемами.

Наиболее естественную и внутренне обусловленную позицию занимает народная этимология в приметах, построенных по схеме "Если *x*, то *y*", предполагающей причинную связь между *x* и *y* (*x* → *y*), например: вост. полесск. черниг. Если кто-либо до Благовещения *повісіть* на дворе белье, то в селе *вішальнікі* будут; русск. Кто на Палея (св. Пантелеймона - 27.VII. ст. ст.) работает, у того гроза хлеб спалит (Даль ПРН, 890); полесск. брест. Як прошла Пречиста (15.VIII или 8.IX ст.ст.), то стала ў рэце вода чиста. Со звучные компоненты обеих частей такого текста принимают на себя семантическую и символическую интерпретацию этой связи, ее мотивировку. Разумеется, символическая связь между частями такого текста может не иметь поддержки в языковом тождестве или сходстве (ср. русскую примету: Если на Рождество небо звездное, будет урожай грибов), в таком случае мотивировка остается за пределами текста. Формула "Если *x*, то *y*" далеко не всегда воплощается в тексте приметы в своем полном, развернутом виде, но ее логический смысл сохраняется и в свернутой конструкции типа русских календарных примет: Феодор *Студит землю студит*; На *Студита студит*

ха; Сечень (февраль) сечет зиму пополам; В апреле земля преет; Со дня Руфа земля рухнет [оттаивает]; Василий Патрийский землю парит; На Карпа карпа ловятся; На Тихона солнце идеттише и птицы стихают; Макрида мокра — и осень мокра; Борис и Глеб — поспел хлеб; Св.Сила прибавит мужику силу; Со Спаса Преображения погода преображается; На Луна льны лупятся; Покрова — или листом, или снегом покрет и т.д.

К формуле "Если x , то y " ($x \rightarrow y$) в сущности могут быть сведены и тексты, называемые запретами (схема: Нельзя делать x , а то будет y или: Не делай x , чтобы не было y) и предписаниями (схема: Следует делать x , чтобы был y или: Делай x , чтобы был y), а в конечном счете и тексты, формулирующие некий обычай, правило поведения, особенно если они снабжены мотивировкой целевого или причинного характера (схема: Принято делать x , чтобы y или: Принято делать x , т.к. y). Те же по содержанию календарные и другие приметы нередко имеют вид запрета, предписания или "обычая", ср. примеры, собранные в последние годы в Полесье: На Благовищенне и на Антония хлеб не печуть [пекут], щоб росы не застекать; по той же причине не ставят изгородей — щоб не загородить дощь; На Кривую середу [в среду перед Троицей] не мона [нельзя] полоць, бо покривее [покривится] стебло ў жыты; У падъ [фаза луны] не зачинают робить, як бы падае ўсё, шо будеш робить. На том же основании сновать старались — под повну [фаза луны], щоб было в утку повно; На молодику у нас не снують, кажуть, оснуй на молодику, дак буде молодое [т.е. редкое] полотно; Полякова у жывала, нычо нэ мона робить, бо будзе палить копи; Празник Сёмен у яки день недели попаде, нельзя весной сеять.

Если формулы запрета, предписания или обычая не содержат синтаксически оформленной мотивировки, то эта мотивировка заключается в самом звуковом повторе, ср. полесск. На Купайлу купаюца, кажуть, русалки; Сонцэ купаецца на Купального Ивана; На Маковея мак светят; На Покрову прикриваюца ўси гадости — ужи и ўси. Земля ўсё прикривае на Покрова; До Ушэства [Вознесения] ўшэсть недель не сновали; На Здзвіжэнне [Воздвижение] сонцэ здвигаецца; кашубск. Na *Strëttappnq përsi strëmin jize pod loda* [На Благовещение первый ручей бежит подо льдом] (Sychta SGK III, 59). Отношение мотивирующего и мотивируемого в формулах такого типа неочевидно: светят ли мак, потому что праздник Маковей, или, наоборот, праздник этимологизируется как Маковей, т.к. светят мак? Это можно обозначить как $x \rightleftarrows y$.

Разновидностью примет можно считать и толкования снов, построенные по стереотипной схеме: "Видеть во сне x означает y ", очевидно сводимой к $x \rightarrow y$. Значительная часть снотолкований построена на звуковой близости x и y : русск. гора (подниматься в гору) — горе; серб. сир 'сыр, брынза' — осиротеть, сирота; русск. печь — печаль, хлопец — хлопоты, девка — дыва, снег — смех, жито — житье, воля — воля, грибы — нужда ("пригребется"), корова — корогви 'хоругви' (т.е. к покойнику), укр. бульба — бульботити 'болтать, сплетничать' и т.д. Число примеров можно многократно увеличить. Семантические сближения этого типа в боль-

шей степени, чем приведенные выше календарные приметы, запреты, предписания и обычай, основаны не на собственно языковом толковании слова (его внутренней формы), а на символическом толковании слова, которое не заменяет общеязыковое, а надстраивается над ним. Вместе с тем, эти символические объяснения не являются индивидуальными, они достаточно устойчивы.

По степени формальной близости семантически притягиваемых слов материал фольклорных и ритуально-магических текстов не отличается от собственно лингвистического. Здесь наблюдаются как случаи полного тождества не только корневых морфем, но и словоформ (*Студит - студит*), и случаи чистой омонимии (*Карп и карп, Сила и сила и т.п.*), так и примеры паронимии, т.е. частичного звукового совпадения, коих большинство. Частым случаем паронимии можно считать созвучие по типу рифмы, которое характерно и для языковой, и для мифопоэтической народной этимологии. Ср. русск. *Федосеевы морозы - худосеи*; *Не всяк Панкрат хлебом богат*; *На Евтихия день тихий*; *Федот тепло дает*; *Стратилат грозами богат*; *На Феклу копай свеклу*; *С Ерастом жди ледяного настата*; *Введение разбивает ледение*; *На св.Прокла поле от росы промокло*; *Илья наробыт гнилья*; сербск. *Благовести - враговести* и т.д.

Крайним случаем паронимии является нулевое, или скрытое созвучие, когда второй член этимологической фигуры представлен в тексте своим синонимом. Например, русск., вост. слав. Если во сне выпал зуб и показалась кровь, то умрет кто-нибудь из близких родственников (кровь - кровный, кревни 'родственник'; кровное родство); На Зилота собирая траву (зелье); полесск. До Пэрэплавной сэрэды [среды на 4-ой неделе после Пасхи] нэльзя купаться (плавать); На Благовіщеннэ не печуть хліб, бо говорять, що буде засуха (спека 'засуха'); сербск. Во сне яйца (*jaja*), яблоки (*jabuke*) или земляника, клубника (*jagode*) предвещают горе (*jayk* 'стенание, стон', *jao!* 'ой!').

Семантическая аттракция может еще дальше отойти от формального (звукового) подобия, когда магическая связь устанавливается между словами, лишенными формального сходства, но обладающими определенным семантическим сходством, т.е. имеющими пересекающиеся значения (содержащими общие семантические элементы). Ср. черногорское поверье: Не вала се *Бијеле неђеље* бријати ни косу резати, јер би онај коме се то ради врло рано морао посиједити [Нельзя на Масляницу бриться и стричься, т.к. тот, кого будут стричь и брить, очень рано поседеет] (Дуч. ЖОПК, 326), где связь между значением 'белый' и 'седой, поседеть' опосредствована семой 'белый', входящей в значение 'седой'. То же в польском мазовецком обычаяе: *Jak się ciasto piecze, osoba, która go w piec kładzie, nie powinna siadać, aby sie nie upiecze, bo opadnie* [Когда пекут тесто, особа, которая кладет тесто в печь, не должна садиться, пока тесто не испечется, а то оно осядет] (Kolb. DW, 42, 399), где глаголы *siadać* и *opadać* (*opadnąć*) связаны общим значением 'опускаться'. Вместе с тем сближения такого типа опираются в определенной степени и на формальную связь, хотя она здесь явно ослаблена и опосредствована: седые волосы могут быть названы *белими*,

а о тесте или хлебе можно сказать, что они осели. Еще труднее восстанавливается формальная связь в болгарском примере: На заход-слънце пък не бива да се дава оцет, защото ще се развали, и так също жерава и квас [На заходе солнца нельзя давать из дома уксус, а то испортится погода (пойдут дожди), также нельзя давать горячие угли и закваску] (Ков. НАМ, 48), однако она существует. Уксус и квас 'дрожжи, закваска' семантически соотносятся с понятием 'ненастъе' (ще се развали), хотя и по-разному: квас - через значение 'мокнуть', которое может трактоваться и как омонимическое и через сему 'кислый, киснуть, скисать', которое присутствует в понятии 'дождь' (ср. русск. кислая погода, серб.-хорв. киша 'дождь' и др.); уксус же связывается с понятием ненастъя лишь через сему 'кислый'. Только эти связи, хотя и не очевидные, позволяют объяснить мотивировку процитированного выше болгарского запрета давать из дома, взаймы после захода солнца уксус и закваску (дрожжи). Что же касается упомянутых в том же тексте углей, то этот запрет по всей вероятности мотивирован, наоборот, опасностью засухи (в соответствии с обычной символикой горячих углей). В последних примерах мы встречаемся, таким образом, с нарушением основного условия народной этимологии - наличия звукового (формального) подобия взаимодействующих слов при отсутствии их смыслового сходства. Здесь мы имеем, наоборот, более или менее явную семантическую близость при неявной, опосредованной и слабо выраженной формальной близости.

С другой стороны, в фольклорно-этнографических текстах широко представлено явление магического взаимодействия таких элементов языка, которые обладают и формальной, и смысловой близостью, т.е., как правило, являются этимологически родственными, и, следовательно, не рассматриваются обычно как объекты народной этимологии⁶.

Для того чтобы этимологически родственные слова (морфемы) могли стать объектом семантического притяжения и этимологической магии, необходимо, чтобы они достаточно далеко разошлись в своих значениях, чтобы их родство перестало ощущаться и они, таким образом, в языковом сознании уподобились этимологически неродственным созвучным словам. Так, например, можно предположить, что корень *втор-* в названии дня недели *вторник*, имевший первоначально значение порядкового числительного, но впоследствии фактически утративший его (в частности, и потому, что в ряду названий дней недели эта семантическая модель не абсолютна), оказался семантически оторванным от того же корня в глаголе *повторить*, где он к тому же означает не 'второй по счету' а 'еще один [раз]' (ср. возможность повторить три, пять, десять и т.д. раз). Нарушение семантической связи привело к тому, что слова *вторник* и *повторить* стали восприниматься как этимологически не связанные и оказались подверженными семантической аттракции наравне с другими, этимологически неродственными словами. Ср. болг. В *вторник* и в *петък* се не годъват. - В *вторник* за да не *повтори*, а в *петък* за да му не е *запето* [Во вторник и пятницу нельзя обручаться. - Во вторник, чтобы это не повторилось, а в пятницу(петък),

чтобы это не было в тягость, насильно] (Чолак. БНС, 41). То же явление можно наблюдать и в украинском приговоре, относящемся к журавлю: Не зви [=зови] ми^ене жураўликом, бо будеиш журиц, ц, а, а зви ми^ене вісёліком, шчоби вісцеі-лиц, ц, а (Каб. СЗЛД, 88), где в первом случае представлена собственно народная этимология (т.е. ложная), а во втором – сближение двух этимологически родственных слов с далеко отстоящими значениями: 'журавль' и 'веселиться'.

Стретость внутренней формы слова *празник* обуславливает его новое притягивание к прилагательному *празен* 'пустой': зап.-болг. видинск. Кога пръв път роди дърво, трябва да се обира делничен ден, а не в *празник*, за да не е *празно* от плод и занапред [Когда в первый раз плодовое дерево даст плоды, нужно их собирать в будний день, а не в праздник, чтобы дерево потом не было бесплодно (празно от плод)] (Гъб. ВВ, 155). Надо полагать, что точно так же внутренняя форма слова *перун* и глагола *пратъ* 'бить, колотить, стирать', благодаря их сопоставлению, взаимно восстанавливаются:ср. полесск. На Благовисны тыжденъ нельзя *прати* – *перуны* ('громы, удары грома') будут бить; нельзя *сновати* – *хмары* ('тучи') сноваться будут.

Семантическая разветвленность корня *благ-* (ср. болг., макед. *благ* 'сладкий', 'кrotкий, мягкий', 'скромный', а также сербск. *благо* 'деньги, имущество', 'скот' и др.) приводит к разнообразным народнопоэтическим истолкованиям названия праздника *Благовец*, *Благовещение*, *Благовести*. В Кюстендилско (Зап. Болгария) "в днях на Благовещение или *Благовец* (25. III ст.ст.) засевают леща и тикви, за да са *благи*" [На Благовещение засеваю чечевицу и тыкву, чтобы они были сладкими] (Люб. БЕ, 14), а в Велесе (Македония) полагают, что на Благовещение змеи выползают из земли и поэтому, "за да бидат *благи* и да не апат, у секоя кука им прават *благо* и ядат" [чтобы они были кроткими и не кусались, в каждом доме им готовят что-то сладкое и едят его] (Шишм. ПБНЕ, 555), в то время как в зоне Битоля (Македония) в тот же день (25. III) девочки старше десяти лет начинают месить хлеб. Это происходит на Благовец для того, чтобы у них всегда был "благ лебот" [сладок хлеб] (Геор. НКС, 78). В Боснии и других сербских этнографических зонах широко распространено поверье, что в канун Благовещения (*Благовести*) горят скрытые клады (*блага*) и тогда можно увидеть, где они зарыты в земле (Фил. ЖОНВН, 131).

К этому же типу аттракции относится магическое сопряжение разных значений глагольного корня *граб-/греб-* 'грести' и 'захватывать': сербск. "Кад чобани увече [уочи Ђурђев дана] дотерају стоку у тор, онда планинка узме *грабуље* и стане *грабити* око њих уз ове речи: "Ја не *грабим* ниције, него своје!". Затим свуда око тора после пепео, да одбије набачене чини на стоку" [Когда пастухи вечером (в канун Юрьева дня) пригонят скот в загон, тогда хозяйка, ведающая молочными продуктами, берет грабли и начинает грести граблями вокруг пастухов, говоря: "Я не захватываю (граблю) ничего чужого, а только свое!"]. Затем она посыпает пеплом вокруг загона, чтобы отвести от скота направленное на него колдовство] (Пет. ЖОНГ, 242); значений корня *віс-/веш-* 'висесть' и 'вешать':польск. "Ježeli w wilje Bożego

Narodzenia po zachodzie słońca wieszając się chusty (bielizna), będą się ludzie wieszać w tym roku" [Если в рождественский Сочельник на закате солнца будет висеть белье для сушки, в наступающем году будут вешаться люди] (Fisch. ZPLP); значений глагола *обилазити* 'пробовать (пишь)' и 'обходить': вост. сербск. "Не ваља мушко да обилази (проба, куша) јело, јер ће га обилазити срећа" [Нельзя мужчине пробовать еду, потому что его будет обходить счастье] (Грб. СНЈП, 186); двух значений глагола *париться*: русск. "В продолжение всего сезона пахарю нельзя будет париться, т.к. парятся на подстилке из соломы, а, по принципу подра�ательной магии, так же может "запариться и хлеб, который будет посеян" (Зерн. ММДК, 24) и т.д.

В ряде случаев этимологическая магия снимает различия между частным, узким, специальным значением слова и его общим, широким значением. Так, эпитетом чистый в календарных названиях (например, Чистый понедельник, Чистый четверг), означающим 'постный', нередко мотивируются действия по наведению чистоты в доме, или обеспечению чистоты посевов; технический термин ткачества сновать может магически взаимодействовать с глаголом сновать в более общем значении разнонаправленного движения (ср. полесские запреты на снование в определенные дни года, мотивируемые тем, что "волки будут сновать у села" или "хмары сноваться будут"); полный в отношении к луне (полнолуние) взаимодействует с полный в общем значении (ср. белор., витебск. "Рыболовные снаряды нужно всегда делать во время полнолуния, будет всегда полная сеть рыбы - Ив. ППКВГ, 208).

Закрепление некоторого слова в терминологическом употреблении ослабляет его связь с родственными словами и, следовательно, создает условия для их вторичного, народноэтимологического сближения. Это явление можно наблюдать, например, на народных названиях праздников, которые подвергаются магическому истолкованию на базе тех корней и слов, которыми они исторически мотивированы: *Сретене* ↔ встреча [в Восточной Сербии, в Тимоке и Болевце существует поверье, что девушка выйдет замуж за того парня, "кога сретне на Сретење", т.е. которого встретит на Сретенье] (Кост. ГОНК, 378), *Введене* ↔ водить (ся) [в Полесье, на Черниговщине "на первый неделе Пилипаўки Вадене"; тогда ужэ гаворатъ - ну пашли валки вадица течками"]; *Воздвижене* ↔ двигать [в Полесье на Западной Пинщине говорят: "после Звіженья добре рукою дэзвигай, гушчэй сеяць"]. Терминологизация полесского слова *забуток* 'хлеб, который забыли вынуть из печи вместе с другими хлебами' вызывает его вторичную связь с глаголом забыть: на Черниговщине "кажуть, не іх забутка, а то забудутъ тебе люди, що ти є дівка, не будуть сватать; нехай той забуток для воробеів, щоб вони забули проса и не іли" (Загл. ХСЧ, 142).

Особенно сильно обособляются и отрываются от родственных слов, превращаясь по существу в их омонимы, названия растений и болезней. И именно они чаще всего подвергаются магическому истолкованию в народных верованиях. Ср. сев. макед., скопск. *дебелика* (растение) → *дебел* 'полный, толстый, тучный': Чтобы быть полными (дебели), опоясываются

травой дебеликой, а чтобы скот тучнел, дебеликой обвязывают и маслобойку (Фил. ОВСК, 398); лепавец (трава) — лепи се 'липнуть, прилипать': девушки, чтобы к ним липли (да се лепат) юноши, опоясываются травой лепавец (там же); сербск. крушевашк. наврат, навала (растения) — навраћати се 'заходить', навалити 'валить валом': "Многи мајстори држе у дућану или носе око себе ушивено у каници наврат и навалу, те би се муштерије навраћале и с послом навалиле" [Многие ремесленники держат в лавке или носят зашитой в своем поясе траву наврат и навалу, чтобы клиенты к ним заходили и с заказами валом валили] (Миј. ЗЕР, 145); боснийск. "На Божиј омре се маслом и медом и рекну: "Пијем масло с огња, да не лежим од огња" [Пью масло с огня, чтобы не лежать с огненной лихорадкой] (Пећо, ОВБ, 371); зап. полесск. дрогичинск. "Як подпальваеш корынью, будэ у дитя корина на язычку". Вообще этимологическая магия, основанная на омонимах (независимо от их происхождения), относится к наиболее распространенным. Ср. белорусск. витебск. "чтобы посевянная пшеница не выросла с головней, нужно сеять её, когда еще в деревне никто не затопил печки. Отправляясь сеять, нужно положить в сеялку головню (обгоревший кусок дерева)" (Ив. ППКВГ, 210); хорватск. чакавск. "Otroku, ki ni grešan, daju pojist tri grasiće ... da bi razagnali grasiću [Непорочному мальчику дают проглотить три горошины.., чтобы разогнать град] (Jadr. Kast, 316), где grasića I 'горошина', II 'град'. Сербские заклинательные тексты из Драгачева, сопровождаемые маханием каким-либо сакральным предметом (свадебным венцом, бёрдом, серпом, ситом и т.п.) и применяемые для отгона градовой тучи, насыщены омонимичными фигурами типа: "Машем ти вијенцем — иди вијенцем", "Брдом те бијем — брдом иди! Брдом ти машем — брдом иди!" (Тол. ЗСЯ 5, 72), где вијенац I 'свадебный венец', II 'горная цепь', брдо I 'бердо' (деталь ткацкого станка), II 'гора'.

Кроме терминологизации, этимологическому притяжению исключительно родственных слов способствует их фразеологизация (характерная и для терминов) и метафорическое употребление. Ср. южн. полесск. ровенск. "В четверг перед свадьбой у жениха и невесты пекутся небольшие ржаные пирожки, которыми взаимно обмениваются дома жених и невеста. В середину пирожков накладывают нетолченый мак. Толочь для этой цели мак считается предосудительным: иначе новобрачные будут "төвктысь циіль свій вік" (Степ. КСЮП, 165); вост. сербск. буджакск. "Велики "магарећи" кашаль лече мlekом од магарице" [Коклюш (=магарећи кашаль) печат молоком от ослицы] (Пан. ЕГБ, 222).

Таким образом, как показывают приведенные выше примеры, в фольклорно-мифологических текстах (в отличие от языка вообще) невозможно разграничить случаи собственно народной (или ложной) этимологии и этимологии "истинной", т.е. семантического притяжения родственных слов, ибо их функции в текстах такого рода совершенно одинаковы и определяются механизмом вербальной магии (любое осознаваемое сходство на уровне формального языкового выражения становится знаком внутренней связи денотатов). Такое неразличение внешнего, случайного звукового совпадения или подобия и внутреннего этимологического родства было бы неверно объ-

яснять "ненаучностью" носителей языка. Оно обусловлено особынностью народного языкового и мифологического сознания, в котором всякое внешнее сходство предполагает, подразумевает, сигнализирует внутреннюю связь и символическое тождество. В данном случае сходство звучания свидетельствует об определенном тождестве смысла, а само соположение сходно звучащих слов в тексте актуализирует их символическую связь и возможность магического взаимодействия.

В то время как обычное языковое сознание как бы игнорирует звуковое тождество омонимов, близость паронимов, не замечает внутренней связи далеко разошедшихся значений одного слова (или корня), значений, связанных отношением метафоры или закрепленных за разными фразеологическими контекстами, древнее мифопоэтическое сознание не только не упускает из виду этих затемненных или стертых в языке связей, но и актуализирует, напрягает или даже воскрешает их, нагружая их дополнительной символической или магической функцией⁷.

Но в отличие от собственно языковой народной этимологии, этимологическая магия затрагивает не только "темные" слова, лишенные внутренней формы. Магической атракции могут быть подвержены и слова с отчетливой внутренней формой, этимологически прозрачные и имеющие очевидные словообразовательные и семантические связи. В то время как народная этимология исходит из единственности внутренней формы и однозначности этимологии, этимологическая магия принципиально допускает множественность этимологических истолкований и семантических притяжений слова не только в разных языковых системах (диалектах), но и в пределах одной системы (культурного диалекта) в разных этнолингвистических контекстах⁸.

Народная этимология может порождать как чисто вербальные тексты (ср. выше приметы, приговоры), так и тексты чисто акциональные (т.е. ритуальные действия и целые обряды) или смешанные (вербально-акциональные). Внеязыковая и внетекстовая функция народной этимологии отчетливо проступает уже во многих примерах, рассмотренных выше, и особенно - в текстах запретов и обычаев, за которыми стоят определенные поверья или мотивированные этимологической магией действия. Наличие самого текста как жанрово определенной устойчивой структуры не является обязательным, и во многих случаях народная этимология порождает непосредственно поверье или ритуал. Например, у хорватов и сербов народноэтимологическая трансформация имени *Bartholomaeus* (*Варфоломей*) в *Vratolomije* (собственно языковой уровень) порождает поверье, что в день этого святого (у православных 11.VI ст.ст., у католиков 24.VIII нов.ст.) никто не смеет лезть на дерево, потому что сломает себе шею (*врат 'шея'*)⁹. И если в Сербии в Груже на *Vratolomu* именно так и поступают - не лезут на дерево и не взираются на кручи (Пет. ЖОНГ, 247), то в Северной Македонии в Скопской Черной горе в селе Раштак на *Brtoloma* вертятся вокруг священного дуба, называемого тоже *Brtolom*, обходят его с зажженными свечами в руках, со священником и с молитвой (Фил. ОВСК, 503-504). В последнем случае название праздника этиологизируется через глагол *врти се 'вертеться'*, *врти 'вер-*

теть'. Этот пример демонстрирует возможность порождения ритуального действия непосредственно (без участия текста) из этимологического осмысления слова. Того же характера уже упоминавшийся болгарский и сербский обычай класть хлеб в сито при первом кормлении или при первом новом хлебе, чтобы были сито детето и сита година или полесский волынский обычай трубить в трубу, чтобы жито трубило (шло в трубку).

Если же народная этимология (Э) оказывается источником и текста (Т), и ритуала (Р), то соотношение всех трех элементов может быть различным: этимология может порождать текст, а текст в свою очередь порождать ритуал ($\text{Э} \rightarrow \text{T} \rightarrow \text{P}$); этимология может порождать ритуал, а ритуал — текст ($\text{Э} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{T}$), этимология может порождать текст и ритуал одновременно, причем текст и ритуал эквивалентны, т.е. являются взаимным переводом, либо само произнесение текста и есть обряд ($\text{Э} \rightarrow \text{T} = \text{P}$), этимология может, наконец, породить независимо текст и ритуал ($\text{Э} \leftarrow \text{P}$). Примером первого типа ($\text{Э} \rightarrow \text{T} \rightarrow \text{P}$) может служить приведенный выше сербский обычай, совершающийся в Груже вечером в канун Юрьева дня: "Кад чобани увече дотерају стоку у тор, онда планинка узме грабуље и стане грабити око њих уз ове речи: "Ја не грабим ничије, него своје!" ... (Пет. ЖОНГ, 242), причем в акциональном тексте представлено одно значение слова грабити ('грести'), а в вербальном — другое ('захватывать'). Второй тип ($\text{Э} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{T}$) репрезентирует другой сербский обычай, исполняемый в день св. Витта (Видовдан — 15.VI ст.ст.). Связывая название праздника с корнем *vid*- 'зрение', сербы из Фрушкой Горы (Срем) выходят в этот день до восхода солнца, собирают руками утреннюю росу, умывают росой глаза и лицо и произносят: "О, Видове, Видовдан, што очима ја видео, то рука ма створио" [О, Видов, Видов день! Что я увидел глазами, пусть то сделаю, сотворю и руками!] (Шкар. ЖОП, 96). Близкий к этому по смыслу обряд-текст ($\text{Э} \rightarrow \text{T} = \text{P}$) засвидетельствован у банатских гер — в этот день матери подводят до-черей с какой-нибудь женской работой в руках к забору и произносят: "Видо, Видовдане, што год очима видим, све да знам радити" [Вид, Видов день, пусть все, что я вижу глазами, я буду уметь делать!] (БХ, 312). Примером независимого порождения верbalного и акционального текста ($\text{T} \leftarrow \text{Э} \rightarrow \text{P}$) может служить обычай варить в день св. Варвары (4.XII ст.ст.) панспермию, т.е. кашу из разных злаков (серб. *варица*) и приговор: серб. "Варварица вари, а Савица лади, Николица куса" [Варвара варит, а Савва холодит, Никола кусает] (Шкар. ЖОП, 97),ср. аналогичные восточнославянские приговоры типа "Варвара заварит, Савва поправит, а Никола гвоздем забьет".

Примеры, подтверждающие важную роль народной этимологии и этимологической магии в порождении и организации традиционных фольклорных и этнографических текстов, можно было бы многократно умножить. Жанровая структура и объем этих текстов могут быть весьма различными, степень выраженности данного приема также может меняться, но при этом сама установка многих текстов на этимологическое заострение (напряжение) не подлежит никакому сомнению. Ср. следующее описание одного из компонентов юрьевского обряда, сделан-

ное Вуком Караджичем: "у Боди се састану по три дјевојке које су већ за удају, па на Ђурђевдан рано отиду на воду, носећи једна у руци проса, а друга у њедрима грабову граничицу, па једна од је двије запита ону трећу: "Куда ћеш?" А она одговори: "Идем на воду, да воде и мене и тебе и ту што гледа про тебе". Онда она запита ону што носи просо: "Шта ти је у руци?" А она јој одговори: "Просо да пресе и мене и тебе и ту што гледа про тебе". Потом упита ону што има грабову граничицу, шта јој у њедрима, а она јој одговори: "Граб, да се грабе и мене и тебе и ту што гледа про тебе". [В Боке Которской на Юрьев день собираются три девушки, которые уже на выданья, чтобы пойти рано по утру по воду. При этом одна из них несет просо (*просо*), а другая за пазухой грабовую (*грабову*) ветку. Затем одна из этих двух спрашивает третью: "Ты куда?" ("Куда ћеш?"), на что получает ответ: "Идем по воду, чтобы вели (на свадьбу. - Н.Т., С.Т.) и меня, и тебя, и ту, что смотрит позади тебя" ("Идем на воду, да воде и мене и тебе и ту што гледа про тебе"). Тогда третья спрашивает ту, что несет просо: "Что у тебя в руке?" ("Шта ти је у руци?"), и та отвечает: "Просо, чтобы пришли просить руки и моей, и твоей, и той, что смотрит позади тебя" ("Просо да просе и мене и тебе и ту што гледа про тебе"). Потом третья спрашивает ту, которая несет грабовую ветку, что у нее за пазухой, и та отвечает: "Граб, чтобы брали (хватали) и меня, и тебя, и ту, что смотрит сзади себя" ("Граб, да грабе и мене и тебе и ту што гледа про тебе")] (Вук ЈОНС, 32). По сути дела весь приведенный текст построен на двух магических и ритуально-поэтических приемах - на трехкратном диалоге и на трехкратной народной этимологии¹⁰.

Народная этимология, имеющая весьма ограниченное распространение в языке как таковом, приобретает функцию одного из наиболее продуктивных приемов организации мифопоэтического и ритуально-магического текста и превращается в особый вид магии, который здесь был назван этимологическим. Благодаря этимологической магии язык оказывается неразрывно связанным с другими компонентами архаических типов культуры и мифопоэтического сознания.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Механизм народной этимологии на материале польского языка тщательно исследован и теоретически осмыслен в кн.: Cienkowski W. Teoria etymologii ludowej. W-wa, 1972.

² Шишманов И.Д. Принос към българската народна етимология// СбНУ. Кн. IX. 1893. С. 443-646.

³ Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса// Ареальные исследования в языкоznании и этнографии. Язык и этнос. Л., 1983. С. 181-190; Он же. Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики// Изв. АН СССР. Сер. литер. и яз. Т. LX. 1982. № 5. С. 397-405.

⁴ Этнолингвистический словарь славянских древностей: Проект словарника. Предварительные материалы. М., 1984.

5 Судя по всему, имеющийся материал по народной этимологии славянских языков (литературных, просторечных, диалектных, фольклорных и других текстов) вполне допускает лексикографическую обработку и представление в виде особого рода словаря (народноэтимологического, ложноэтимологического, мифопоэтического или тому подобных, ср. словари омонимов, синонимов, паронимов, рифм и т.д.). В статье такого словаря раскрывалась бы исходная семантика и "научная" этимология заглавного слова, ставшего объектом народной этимологии (по терминологии В.Ченковского, - слабого), и его новая внутренняя форма (новая этимология), приводилось бы слово или слова, на основе которых произведена этимологизация (по терминологии В.Ченковского, - сильные), с их значением, и минимальные контексты, подтверждающие новое осмысление заглавного слова. При этом заглавное слово может иметь несколько "этимологических" версий. Подобный словарь может быть составлен как для отдельных типов текстов, так и для отдельных языков или культурных традиций, или даже, когда речь идет об архаическом круге текстов, - для славянской традиции (славянских языков) в целом.

6 Исследователями народной этимологии не раз обращалось внимание на относительность противопоставления народной этимологии и научной как ложной и истинной. Различие между ними заключается не в том, насколько они соответствуют действительной истории и этимологии слов (многие слова в этимологическом словаре любого языка могут иметь, как известно, несколько этимологических версий, доказательность которых изменяется со временем), а в том, что научная этимология ищет этимологической интерпретации лексики того или иного языка из чистого интереса к языковой истории и теории и стремится к максимальной исторической (хронологической) глубине, тогда как народная этимология ограничивается прояснением внутренней формы "темных" слов и удовлетворяется ближайшими семантическими сопоставлениями, а этимологическая магия подчиняет этот механизм целям мифопоэтического творчества.

7 То же в сущности происходит в поэтическом сознании и в поэтическом языке (языке поэзии), где из соположения сходных звуковых форм рождается поэтический образ. Различие состоит в том, что сближение в поэтическом тексте имеет эстетическую, а не магическую функцию и является актом индивидуального творчества; оно однократно, ограничено рамками одного текста и в принципе невоспроизводимо (ср. народную этимологию Велимира Хлебникова), тогда как в фольклорно-мифологическом тексте оно более устойчиво, повторяется не только в разных текстах и жанрах, но нередко и в разных традициях.

8 В этом отношении этимологическая магия также оказывается ближе к поэтическим приемам художественного творчества, чем к языковым явлениям народной этимологии. Ср. об аналогичном соотношении внутренней формы слова в прагматическом и поэтическом языке: Шлег Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 141-146.

⁹ На этот пример обратил внимание еще П. Скок, см.: Skok P. O etimologiskom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika// Filologija. 1957. 1; пер.: Скок П. Об этимологическом словаре хорватского или сербского языка// ВЯ. 1959. № 3. С. 92.

¹⁰ Толстой Н.И. Фрагмент славянского язычества: архаический ритуал-диалог// Славянский и балканский фольклор: Этногенетическая общность и типологические параллели. М., 1984. С. 5-72.

СОКРАЩЕНИЯ

БХ - Банатске Хере. Уредио М. С. Филиповић. Нови-Сад. 1958.

Вак. СОПМ - Вакарелски Х. Принос към проучване на семейните обичаи на Панагюрско в миналото// Панагюрище и Панагюрският край в миналото. С., 1961. С. 53-85.

Вук ЖОНС - Каракић Вук Ст. Живот и обичаји народа српскога. Београд, 1957.

ГЕМБ - Гласник Етнографског музеја у Београду. 1926.

Геор. НКС - Георгиева Е. Народен календар от село Смилево (Битолско)// МП. Г. VI. Кн. 4. 1931.

Грб. СРЈП - Гробић С. Српска народна јела и пића из ср. Болевачког// СЕЗБ. XXXII. 1925. С. 169-296.

Гъб. ВВ - Гъбюв П. К. Вървания от Видинско// СБНУ. XXXVI. 1926. С. 155-159.

Даль ПРН - Даль В. Пословицы русского народа. М., 1957.

Дуч. ЖОПК - Дучић С. Живот и обичаји племена Кучка// СЕЗБ. XLVIII. 1931.

Загл. ХСЧ - Заглада Н. Харчування в с. Старосілля на Чернігівщині// Матеріали до етнології. Кн. 3. Київ, 1931.

Зерн. ММДК - Зернова А. В. Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском уезде// Советская этнография. 1932. № 3.

ЗСЗО - Зап. Северо-западного отд. Имп. русск. географ. общ-ва. Вильна, 1910-1914.

Ив. ППКВГ - Иванов В. Приметы и поверья крестьян Витебского у. Витебской г.// ЗСЗО. Кн. 1. 1910. С. 208-213.

Ков. НАМ - Ковачев И. Д. Народная астрономия и метеорология// СБНУ. XXX. 1914. Отд. паг.

Кост. ГОНК - Костић П. Годишњи обичаји у Неготинској Крајини// ГЕМБ. Књ. 31-32. 1968-1969. С. 363-396.

Каб. СЗЛД - Кабайда А. В. Із спостережень над західно-українськими лексичними діалектизмами// Вісник (Львівський держ. унів.). Сер. філол. Вип. 4. 1966. С. 88-93.

Люб. БЕ - Любенов П. Ц. Баба Ега или Сборник от различни вървания, народни лекувания, магии, баяния и обичаи в Кюстендилско. Търново, 1887.

Миј. ЗЕР - Мијатовић С. М. Занати и еснафи у Расини// СЕЗБ. XLII. 1928.

Миј.-Буш. ТРССЛТ - Мијатовић С. М., Бушетић Т. М. Технички радови Срба сељака у Левчу и Темнићу// СЕЗБ. XXXII. 1925. С. 1-168.

МП - Македонски преглед. С., 1924-1943.

Ник. ПВОСЖ - Николић В. Природа у веровањима и обичајима у Сретечкој жупи// Гласник Етнографског ин-та. Књ. IX-X. Београд, 1961. С. 113-137.

Пан. ЕГБ - Пантелић Н. Етнолошка грађа из Буџака// ГЕМБ. Књ. 37. 1974. С. 179-228.

Пет. ЖОНГ - Петровић П. Ж. Живот и обичаји народни у Грузији// СЕЗБ. LVIII. 1948.

Пеђо ОВБ - Пеђо Љ. Обичаји и веровања из Босне// СЕЗБ. XXXII. 1925. С. 359-386.

СБНУ - Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. С., 1889-.

СБФ - Славянский и балканский фольклор. М., 1979-.

СЕЗБ - Српски етнографски зборник. Београд, 1894-.

Степ. КСЮП - Степанец Б. Крестьянская свадьба в южном Полесье// ЗСЗО. Кн. 1. 1910. С. 161-196.

Тол. ЗСЯ-5 - Толстой Н.И., Толстая С.М. Заметки по славянскому язычеству. 5. Защита от града в Драгачеве и других сербских зонах// СБФ. 1981. С. 44-120.

Фил. ЖОНВН - Филиповић М.С. Живот и обичаји народни у Височкој нахији// СЕЗБ. LXI. 1949.

Фил. ОВСК - Филиповић М.С. Обичаји и вервења у Скопској Котлини// СЕЗБ. LIV. 1939.

Чол. БНС - Чолаков В. Български народен сборник. Болград, 1872.

Шиш. ПБНЕ - Шишманов И.Д. Принос към българската народна етимология// СБНУ. Кн. IX. 1893. С. 443-646.

Шкар. ЖОП - Шкарић М.Ф. Живот и обичаји "Планинаца" под Фрушком Гором// СЕЗБ. LIV. 1939.

Fisch. ZPLP - Fischer A. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów, 1921.

Jadr. Kast - Jadrass I. Kastavština// ZNŽO. Knj. 39. 1957.

Kolb. DW - Kolberg O. Dzieła wszystkie. Wrocław etc., 1962.

Sychta SGK - Sychta B. Słownik gwar kaszubskich. Wrocław etc., 1967-1976. T. I-VII.

ZNŽO - Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Izd. JAZU. Zagreb, 1896-.

Материал из Полесья собран авторами или иными участниками Полесских этнолингвистических экспедиций.

B. N. Топоров

К РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНЕЙШЕГО СОСТОЯНИЯ ПРАСЛАВЯНСКОГО

За последние годы исследования в области происхождения праславянского языка (ПС) и его реконструкции характеризуются последовательно возрастающей активностью, тенденцией к все большей конкретности, к нащупыванию того "интимного", особенно "чувствительного" слоя, где отдельный факт отсылает к целому, к общей картине, к концепции, к открытию возможностей новой интерпретации, которая наиболее полно увязывалась бы с пространственно-временными рамками описываемого явления и в наибольшей степени вскрыла бы культурно-историческое содержание целого и раскрываемые через него смыслы.

Не случайно в этой связи и то, что наибольший прогресс в лингвистическом аспекте этих исследований связан с изучением тех языковых элементов, которые с преимущественной непосредственностью отсылают (и поэтому могут рассматриваться как своего рода индексы или - при другом подходе - как тексты) к особенностям структуры пространства, времени, типа культуры, - словарь, особенно топономастические элементы, "культурные" слова, заимствования и т.п. Именно в этой перспективе находит объяснение то особое значение, которое придается теперь составлению словарей (этимологических, исторических, диалектных) и сабиранию топономастического материала, решительно потеснившим "грамматические" исследования (включая, разумеется, и фонетические), преобладавшие в течение длительного предыдущего периода. В этой переориентации, несомненно, нужно видеть знамение времени, одну из тех исторически неизбежных и необходимых "работ", которую призвано выполнить славянское языкознание в ближайшие два-три десятилетия. Формирование нового "состава" ведущих профилирующих проблем и соответствующих дисциплин (в отличие от свойственного младограмматическому периоду преимущественного внимания к фонетике и морфологии, или точнее - к "Flexionslehre") и осознание той роли, которую предназначено сыграть этой новой конфигурации, уже привело и продолжает приводить к быстрому, нередко вполне безболезненному (как бы "само по себе" совершающемуся) "падению" некоторых некогда считавшихся фундаментальными концепций, к преодолению инерции старых схем лингво-исторического мышления и его конкретных построений, которые с позиции современной науки часто представляются робкими, недостаточно гибкими, механистичными. Понятно, что это "суд" нынешнего дня, неизбежно грешащий хотя бы частичным забвением того, что он не последний и что некоторое время спустя сами сегодняшние "судьи" будут в свою очередь "судимы". Но главное, конечно, не в этой функциональной односторонности, являющейся следствием самососредоточенности на тех задачах, которые нужно решать *hic et nunc*, а в том, что сейчас уже можно сказать с достаточной надежностью: начавшийся в славистике приблизительно в 60-х годах нашего века новый этап в исследовании древнейших судеб славян выполнит свое историческое задание, совершил выпавшую на его долю "работу"¹. Во всяком случае многое свидетельствует о складывании той обстановки, которая чревата новыми фундаментальными идеями в этой области и заражает оптимистическим настроением, несмотря на наличие целого ряда весьма существенных отрицательных явлений и вопреки им.

Но прежде чем обозначить эти явления, - два слова о той ситуации, которая определяет интерес к исследованию подобных "далековатых" проблем, их обсуждению, размышлениям над ними. Этот "интерес" двоякой природы: его корни и внутри науки и вне ее. При бесспорном наличии собственных "интересов" в этой области у науки и у "публики" ("непосвященных"), которая пользуется результатами, достигнутыми в науке, есть и там и здесь некая важная общая часть. Она состоит в максималистской по характеру установке на предельное - поиск своих самых глубоких корней, своего начала как крайней временной точки (ситуация *in origine*), нахож-

дение предельно полной генеалогии (*nostalgie des origines*). Исследователь не может отказаться от этой установки, потому что только она и может привести его к самым значительным и наиболее "престижным" результатам (впрочем, и недобросовестный исследователь проявляет свою недобросовестность в постулировании "заявленных" результатов). "Непосвященный", интересующийся проблемами происхождения, пользующийся результатами научных изысканий (пусть в популярном изложении) и сознающий свою собственную - прямую или опосредованную - связь с истоками, также обычно выступает как естественный максималист, находя особое удовлетворение в случае предельной древности и полноты своей генеалогии. По сути дела ничего предосудительного в этом нет, но в ненормальных условиях, при господстве предвзятых убеждений, становящихся скорее делом веры, чем результатом свободного критического исследования явлений, перед некритически настроенным "потребителем" нередко возникает соблазн выбора в качестве истинного решения того, которое он считает наиболее "престижным" (сама "престижность" становится в этом случае как бы критерием истинности). В подобной ситуации часто выступает на сцену та хорошо известная в прошлом и в настоящем "патриотическая" демагогия, цель которой "улучшение" своей генеалогии (разумеется, всегда мнимое), с одной стороны, и с другой, - дискредитация, в частности с помощью обвинений в "антипатриотизме", исследователей, придерживающихся иных нравственных принципов и пришедших к результатам, не совпадающим с "престижными".

Но, оставляя в стороне названные только что сложности, относящиеся, строго говоря, не к сфере науки, но иногда серьезно влияющие на нее, уместно напомнить о тех существенных недостатках, которые присутствуют в значительном количестве в самих научных исследованиях, посвященных происхождению славян, формированию ПС и его реконструкции. Наиболее очевидным проявлением этих "нестроений" (хотя и носящим внешний характер) нужно считать возрастание разногласий в оценке и решении самых основных проблем этой темы. Масштаб расхождений, количество их, упорство в отставании своих концепций при довольно частом игнорировании других, наконец, использование практически одних и тех же фактов как аргументов в пользу противоположных теорий - все это свидетельствует о бесспорных ошибках методологического характера и об известном равнодушии к теоретическим основам решаемой проблемы. Но есть узел, который в наибольшей степени обнаруживает неблагополучие оснований современных концепций происхождения ПС и его носителей. Он определяется двумя близкими по сути, но противоположными по форме явлениями - "независимостью" концепций от фактов и очевидной "способностью" факта быть основанием разных (в том числе и противоположных) концепций - наряду, конечно, с наличием массы "концептуально" нейтральных, не проявленных в отношении той или иной теории фактов, не имеющих пока адекватной интерпретации в свете проблемы происхождения. Именно эта ситуация и оказывается в известном отношении психологически удобной для многих исследователей, поскольку, с одной стороны, факты могут не контролировать (или слабо контролировать) предлагаемые теории, а послед-

ние всегда могут быть подкреплены некоторой совокупностью фактов, с другой стороны.

Подчеркиваемое здесь преимущественное внимание к недостаткам вытекает из необходимости самоопределения проблемы происхождения прежде всего в теоретическом плане: уяснение теоретических оснований проблемы в данном случае не просто желательный излишек или *ratio desideria*, но *conditio sine qua non*. Разумеется, нет никаких гарантий, что эти основания могут быть определены сразу и с достаточной надежностью. Более того, можно утверждать, что их определение достижимо только в результате длительных и целенаправленных усилий. Но, несомненно, существуют звенья, которые уже сейчас могли бы быть обозначены с должной реальностью, и одно из них связано с определением возможного, необходимого и достаточного для формулирования тех или иных общих выводов. Если удастся продуманно поставить вопрос о том, что нужно знать, чтобы данный тезис мог считаться доказанным, то неизбежно начнется процесс дифференциации "фактов" с точки зрения их доказательной силы: кое-что обозначится четче и станет центром кристаллизации теоретически "сильных" заключений; кое-что потеряет свой вес в связи с теорией, которую оно должно было поддерживать; кое-что до времени будет пребывать в нейтральном статусе, когда факты ни подтверждают, ни опровергают выводов, на них основываемых или с их помощью опровергаемых. Иначе говоря, границы нашего знания и незнания, достоверного и недостоверного, уже доказанного, еще не поддающегося доказательству и вообще не доказуемого должны быть уяснены полнее и четче.

Здесь нет необходимости говорить о тех распространенных недостатках, причины которых лежат на поверхности и которые довольно легко могли бы быть исправлены или устранины, — несформулированность задач исследования и вытекающая отсюда неясность задач; несбалансированность аргументов и строимых на их основании общих выводов; смазанность границ между сферой "фактического" и сферой гипотетического; экстенсивно-атомизирующая методика оценки фактов *sub specie* проблемы генезиса ПС; манипулирование имеющимися точками зрения — "голосование" мнений, выбор из них "на глазок" кажущегося наиболее удобным или механическое "суммирование" позиций — вместо самостоятельного и "ответственного" решения; откровенно тенденциозно-волюнтаристские установки и выводы с заранее программируемым результатом, не говоря уже о таких явлениях, как общая поверхность, логическая несостоятельность, наконец, просто неподготовленность к решению поставленной задачи и т.п. (разумеется, эти последние "грехи", строго говоря, не связаны с темой происхождения и реконструкции ПС, но атмосфера исследований в этой области оказалась терпимой или даже благоприятной по отношению к недостаткам этого рода). Отказ от более конкретного анализа этих недостатков и вытекающих из них последствий связан прежде всего с тем, что они характеризуют чаще всего работы невысокого уровня. В свете новых фактов и идей они обнаруживают тенденцию к отступлению или сокращению — количественному по меньшей мере. Во вся-

ком случае сейчас не эти недостатки выступают как главное препятствие и тормоз.

Существуют другие, несравненно более тонкие и замаскированные препятствия, которые нередко выступают как достоинства или как нечто бесспорное, апробированное, не вызывающее сомнений. Для того чтобы осознать их и преодолеть, необходим разрыв с инерцией привычных схем мышления и догмами, сложившимися в этой области, и нужно весьма радикальное переосмысление ряда "основ". Без этого даже наиболее значительные и интересные фактами и идеями исследования в этой области во многих важных отношениях лишаются своей силы. По этой причине целесообразно вернуться именно к "основам" и еще раз обозначить свою позицию и высказать свои соображения как раз перед лицом исследований указанного типа.

Разногласия начинаются уже с терминологией, в частности, с того ее фрагмента, который как бы содержит в себе уже результаты исследования. Но эти расхождения лишь отчасти терминологического характера; главное в них то, что относится к сути дела. Как известно, оценивая характер отношения балтийских и славянских языков, для обозначения общего и сходного в этих двух языковых группах употребляют разные термины (или "квази-термины") - "праязык" (здесь и далее - балто-славянский /б.-сл./), "общий язык", "единство", "общность" ("сообщность"), "эпоха", "параллельное развитие", "вторичное сближение" (конвергенция), сохранение и.-евр. архаизмов и т.п. Считается, что в этом случае речь идет не о терминологической неупорядоченности, но о расхождениях в оценке сущности б.-сл. языковых отношений. Поскольку в истории исследования этих отношений, когда дело доходило до общих выводов, до "последнего" суда, в центре внимания неизменно оказывался выбор между праязыком или единством, или общностью, или эпохой и т.п. как обозначением сути этих отношений, - вся эта ситуация нуждается в анализе.

Совершенно очевидно, что основная ее черта - именно терминологическая путаница. В том ракурсе, который только и может быть важным для лингвиста в связи с рассматриваемой проблемой, форма единства (типы его реального воплощения) не обладает абсолютным статутом, но исключительно относительным. Зато смысл понятия "единство" в данном случае абсолютен. Основной вопрос б.-сл. языкоznания - вопрос о родстве, и поэтому прежде всего важно знать, было оно или нет, и лишь во вторую очередь возникает вопрос о форме этого "единства", которая уже не может затрагивать самое идею родства, и вопрос о соотношении б.-сл. "единства" с другими возможными "единствами" в генетической эволюции и.-евр. языка и его потомков. Лишь в том случае, когда "единство" объясняется не генетически (по крайней мере, в основном) и признается вторичным, вопрос перестает быть терминологическим по преимуществу. Но тут, конечно, нужно помнить, что многие (и в их числе самые авторитетные) специалисты, пользовавшиеся термином "единство" или "эпоха", положительно решали вопрос о б.-сл. родстве.

В этом смысле следует настаивать на том, что "праязык", "единство", "эпоха", "общность" вполне могут быть все-го лишь синонимами понятия генетического "единства", выбор между которыми обусловлен меняющимися "метрологическими" конвенциями, естественной эволюцией метаязыка, с помощью которого описывается одна и та же языковая реальность, вы-ступающая как объект исследования. Через три года после выхода в свет знаменитой книги Мейе ("Les dialectes indo-européens", 1908), в 1911 г. Эндзелин, конечно, не мог держаться за термин "праязык" и предпочитал говорить об "эпохе" (или "единстве"). В этой мере метаязыка нужно четко различать две стороны. Одна из них чисто формальная ("с аришина переходят на метр"), и поэтому можно со всей ответственностью сказать, что Шлейхер и Эндзелин одинаково оценивали характер отношений между балтийскими и славянскими языками. Другая сторона аппелирует к содержанию понятия "единство", и здесь Шлейхер и Эндзелин стоят на разных позициях (хотя их едва ли можно назвать противоположными): первый из них ставит более жесткий критерий "единства", чем второй, допускающий единство и при наличии вариантов и даже очевидных расхождений, иначе говоря, при принятии негомогенности разных частей единства. При этом очень важно, что Эндзелин, как правило, не брал на себя смелость делать "последние" заключения, исходя из того, что в ходе развития балтийских и славянских языков кое-что утрачено навсегда, а кое-что пока не открыто. Но и упомянутая выше вторая сторона проблемы отражает не столько кардинальные изменения в понимании соотношения балтийского и славянского элементов, сколько новые тенденции в общетеоретических представлениях о феномене языкового единства. Таким образом, усвоение термина "единство" применительно к б.-сл. проблеме по происхождению было прежде всего "метаязыковой" операцией, но, разумеется, она ориентировала исследователей и на анализ структуры (характера, типа) этого "единства", который не мог иметь места во времена Шлейхера. Для последнего (и именно в этом его историческая заслуга) основным был пафос открытия (или поступления) языковых "единств" – начального и.-евр. праязыка и промежуточных праязыков (или "Sprachgemeinschaften"). Для современной же лингвистики в еще большей степени, чем для Мейе или Эндзелина, характерно внимание к типологии языковых единиц с точки зрения их места на шкале "единое" (предельно монолитное) – "разнообразное" (предельно дисперсное), и каждый языковед легко может привести примеры, когда диалекты единого языка обнаруживают между собой значительно большие расхождения, чем два разных языка. Нужно твердо помнить, что при решении генеалогических вопросов, т.е. того, что необходимым образом связано с идеей родства, органически укоренено в нем, важнее всего то, что языки А и В "братья", а не то, что они могут быть ни в чем (кроме наличия общих "родителей" и всего, что непременно следует из этого) не похожи друг на друга: похожесть облегчает вскрытие родства, но не предрешает его.

Имея в виду сказанное и говоря pro domo sua, автор этих строк может и себя причислить к сторонникам теории б.-сл.

праязыка, единства, эпохи и т.п., если речь идет о решении главного вопроса б.-сл. языковых отношений. Едва ли нужно сомневаться в том, что такова же позиция всех тех, кто так же решает этот основной вопрос. И здесь уместно напомнить о недавно высказанном и представляющемуся справедливым мнении одного специалиста: "Хотя это может показаться парадоксальным, мне кажется, что нет принципиальной разницы между точками зрения сторонников и противников существования единого балто-славянского праязыка (исключая лишь самые крайние точки зрения). Недаром Я.Эндзелин, составивший подробный список балто-славянских изоглосс, воздерживался от термина "славяно-балтийский праязык", предпочитая ему термин "славяно-балтийская эпоха", а Я.Розводовский, составивший - в противовес Я.Эндзелину - список балто-славянских расхождений, признавал наличие древнего балто-славянского единства. [...] у нас нет оснований сомневаться в близости индоевропейских диалектов, из которых впоследствии развились балтийские и славянские языки. Поскольку различия между этими диалектами были меньшими, чем между ними и другими индоевропейскими диалектами (что и послужило основой их дальнейшей близости), должен был наступить момент, когда последние различия переросли в различия языковые, а расхождения между будущим протобалтийским и будущим протославянским языками оставались еще в рамках различий диалектных. Назвать это балто-славянским языком, балто-славянским единством, или балто-славянской эпохой - разница не так уж существенна. Важно другое. Можем ли мы найти такие эксклюзивные балто-славянские изоглоссы, которые, во-первых, были бы не единичными, а, во-вторых, занимали бы существенное место в структуре языка"².

Именно поэтому нет возможности согласиться с высказыванием другого видного специалиста, в котором терминологическая "приблизительность" приводит к некорректным, с нашей точки зрения, заключениям: "Если теория балто-славянского праязыка или единства принадлежит в основном прошлому, несмотря на отдельные новые опыты, а весьма здравая концепция независимого развития и вторичного сближения славянского и балтийского, к сожалению, не получила новых детальных разработок, то радикальные теории, объясняющие главным образом славянский из балтийского, переживают сейчас свой бум"³. Если пренебречь парадоксальностью этого высказывания и едва ли уместным в данном случае элементом эмоциональной оценки (одни теории принадлежат в основном прошлому, несмотря на наличие "новых опытов", другая же - "而非" здравая" - к сожалению, не получила новых детальных разработок", ср. также о "буме" радикальных теорий), то основные претензии к сказанному состоят в следующем. Во-первых, никоим образом нельзя считать, что теория б.-сл. праязыка или единства принадлежит "в основном" прошлому. Строго говоря, она продолжает оставаться ведущей и, по сути, даже наиболее популярной, о чем свидетельствуют и непосредственные формулировки, и новые разработки, и интуитивные представления, насколько о них можно судить по соответствующим работам. "Потенциальность" этой теории обнаруживается не в ее сути (общее происхождение из одного ис-

точника), а в терминологии: употребление понятия б.-сл. праязыка осознается сейчас многими как известное огрубление, как слишком тесно связанное с концепцией родословного древа в ее наиболее прямолинейных трактовках. Во-вторых, "весыма здравая" концепция независимого развития и вторичного сближения балтийских и славянских языков для того, чтобы она считалась достаточно аргументированной, нуждается, с одной стороны, в определении содержания и результатов этого независимого развития (несомненно, и то и другое в известной мере может быть определено, хотя, по нашему мнению, оно относится уже именно к наступавшему позднее периоду розного существования этих двух языковых групп) и в доказательстве того, что "вторичному сближению" предшествовала "первичная отдаленность, разъединенность" (эта исходная "разность" балтийского и славянского принадлежит к продуктам умозрительных построений и, по крайней мере, пока должна рассматриваться исключительно в плане логики возможностей)⁴, с другой стороны, теория независимого б.-сл. развития для своего утверждения в качестве правдоподобной научной конструкции нуждается в опровержении и того огромного и чем далее, тем быстрее возрастающего фонда б.-сл. "чистых" соответствий, который объясняется происхождением из генетически единого источника, точнее, в полной переинтерпретации его на новых основаниях⁵. В-третьих, "радикальные теории", объясняющие происхождение славянского из периферийных диалектов балтийского, так же, как и теория б.-сл. праязыка или единства, предполагают, если говорить о главном в б.-сл. проблеме, именно единство происхождения, причем тот макросистема генетического единства, который отмечается лишь в случае отношения "родители - дети" (в этом ракурсе генетическая связь братьев или сестер слабее: она предполагает родителей как посредствующее звено).

Есть еще одна область метаязыка сравнительно-исторических исследований, в отношении которой высказываются критические замечания и выражается недовольство. Речь идет об "обремененности биологическими представлениями, которые сковывают мысль и уводят ее на неверные пути" таких широкоупотребительных и в б.-сл. языкоznании терминов, как "прапородина" или "праязык" и т.п. Поскольку эти слова, действительно, термины, то, пользуясь ими, необходимо соблюдать соответствующие правила их употребления: живое воображение и развитая ассоциативность в данном случае излишни, хотя сама метафоричность некоторых терминов не делает их менее "терминологичными". Большая часть лингвистических терминов имеет длительную историю. Она чаще всего начинается в не языкоznания, но это не может быть само по себе основанием для дискредитации этих терминов. Биологизм плох, когда с его помощью описываются "небиологические" сущности, и поэтому он справедливо критикуется, напр., в случае понимания языка как "организма" и связанных с этим настичивых биологических аналогий. Но в области лингвистической терминологии "биологизм", как правило, нейтрален, и поэтому едва ли стбит возражать против нейтральных по сути дела терминов типа "прапородина" или "праязык", как и род, лицо, одушевленность, родительный падеж и т.п. Впр-

чем, есть лингвистическая сфера, в которой "биологизм" не просто нейтрален, но и принципиально удобен и даже необходим. Речь идет о языковом родстве, и отказываться в этом случае от наиболее "сильной" и биологической по своим истокам схемы родства, от использования таких понятий, как родство, род, родословная, родители, дети, братья и т.п., нет никаких оснований. Родство адекватнее всего описывается именно в этих терминах, и само понятие родства необходимо предполагает и в свою очередь предопределяет именно эти термины. Лишь в том случае, если будет признано, что отношение, которое связывает балтийский и славянские языки, объясняется не из родства, а выводится из каких-то иных оснований (в сугубо теоретическом плане вполне целесообразно ставить проблему неразличимости "генетического" и "типологического" в некоторых предельных ситуациях), можно было бы отказаться от соответствующих терминов, ориентированных на понятие родства, и измерять "близость" объектов в языковом пространстве с помощью иных критериев (в частности, и таких, которые лишены объяснительной силы). Сказанное относится и к понятию родословного древа: пока существует идея родства языков, она неизбежно предполагает и эту схему, представляющую собой инструмент эффективного описания дисcretного в данной области (говоря же об и.-евр., балт., слав. и т.п., мы, несомненно, принимаем эту дискретность за данность и описываем наши выводы на соответствующем языке дискретного). В этом смысле можно говорить о том, что сама схема в принципе остается неизменной, хотя могут сильно меняться представления о порядке и характере связей элементов схемы. Волновая теория, альтернативная данной схеме, несомненно, лучше описывает аспект непрерывного, континуального в отношении между языками и аспект диалектики межязыковых связей, но и она практически не может обойтись без дискретных по своей сути понятий. В этом контексте заявления об исчерпанности (изжитости) теории родословного древа и, более того, о том, что она представляет собой препятствие в исследовании проблем, подобных б.-сл. родству, нужно признать и неосновательными и ошибочными.

Одним из принципиальных недостатков современных исследований о происхождении ПС, его реконструкции и о типе древнейших б.-сл. связей следует признать неразличение заключений эмпирического уровня ("факты") и уровня теоретических построений (конструкты, модели). С первого взгляда может показаться, что различие между этими уровнями применительно к изучаемой проблеме слишком умозрительно и им можно пренебречь. Это пренебрежение нередко и демонстрируется - обычно "бессознательно" и во всяком случае неявно, но иногда и осознанно и явно: "Эпоха структурного моделирования в последние два десятилетия ощутимо коснулась и праславянского языка, в чем-то притормозив полноту достижения его оригинальных особенностей, потому что в моделировании, в конструировании "непротиворечивой" модели как никогда проявляется это *reductio ad absurdum*, упрощающее, а не обогащающее наши представления о предмете" и тут же: "Верно замечено, что праславянский язык - не искусственная модель, а живой многодиалектный язык"⁶. Совершенно несомнен-

но, что ПС некогда был живым языком, обладавшим определенными диалектными различиями (которые, однако, не нарушали его единства в той мере, в какой он противопоставлялся как целое "прабалтийскому", "прагерманскому" и т.п.), но описание ПС (а оно есть единственная реальность, представляющая "живой" язык) не есть живой язык, но модель (и, как всякая модель, "искусственная", что в ней как раз и ценно), и эта модель описывает не непосредственно живой язык, но результаты приложения к нему моделей "первичного" уровня, что само по себе предполагает уже различие первично-эмпирического и "идеализированного". Само противопоставление "живого" языка (кстати, *мертвого* и не засвидетельствованного текстами, но целиком реконструируемого) и "непротиворечивой" модели (нужно пояснить, что свойство непротиворечивости относится к логической структуре самой модели, а не к описываемому "живому" языку), несомненно, следствие недоразумения или заблуждения и во всяком случае пренебрежения историческим опытом науки вообще. Можно напомнить, что наука о природе Нового времени, как она возникла в XVII в., приобрела новый статус именно потому, что на место "факта" (естественного объекта) и наряду с ним поставила *иdealизированный* объект, который не мог быть ни чем иным, как сконструированным объектом-моделью "факта". Без этой идеализации ни одно из научных заключений о "факте" не могло бы иметь всеобщего характера. Не случайно, великие законы природы, открытые в XVII в., были следствиями и результатами этой идеализации, предполагавшей как раз конструирование первых образцов "непротиворечивых" моделей, а сознательность выделения "теоретического" уровня в науках о природе подтверждается свидетельствами Галилея, Гюйгенса, Декарта, Спинозы, Гоббса, Лейбница и др. Понятно, что сравнительно-историческое языкознание и, в частности, та его часть, которая занимается реконструкцией языка, не может пренебрегать этим опытом. Отдельные неудачи на этом пути не меняют сути дела. Во всяком случае нет оснований сомневаться в том, что решение фундаментальных задач сравнительно-исторического языкознания (а проблема происхождения и реконструкции ПС относится к их числу) не может быть достигнуто вне соответствующих теоретических оснований.

Пренебрежение теоретическими основаниями, в некоторых ситуациях до поры терпимое, в случае проблемы происхождения славян и реконструкции ПС оказывается совершенно недопустимым. Даже простая пассивность в этом отношении приводит к кардинальному искажению всей картины именно потому, что означенная проблема, по нашему мнению, не принадлежит к числу простых и тривиальных, но предполагает некоторые экстремальные обстоятельства и удовлетворительно может быть решена на совокупности материалов, выходящей за пределы только ПС, и при новом понимании хронотопической ситуации, объясняющей появление ПС. И в том и в другом случае возникает тема балтийского языкового типа, на которой необходимо хотя бы ненадолго остановиться, напомнив ряд существенных положений, высказывавшихся в предыдущих работах⁷.

Многие направления в исследованиях балтийских языков за последние годы (б.-сл. проблема, гидронимия балтийского типа, балтийские заимствования в славянских языках и славянские в балтийских и т.п.) приводят к результатам, позволяющим, кажется, сформулировать тезис о зависимости самого понятия "балтийский" (прежде всего в том, что касается его внутреннего содержания) от тех пространственно-временных координат, которыми это понятие описывается. Наиболее рельефно изменения в понимании таких сущностей, как балтийское состояние, балтийский тип, балтийская модель и т.п., выступают как раз в связи с резким нарушением традиционно принимавшихся временных и пространственных рамок "балтийского". Традиционные представления все более и более расходятся с новыми реальностями и открывающимися перспективами. Это фатально возрастающее неблагополучие в увязке традиционной картины с новыми фактами и новыми интерпретациями обнажило два направления "прорыва" - со стороны более древнего и.-евр. состояния и со стороны хронотопически более поздних (чем балтийский) типов, прежде всего - славянского (ПС).

Обычно в индоевропеистике и балтистике исходили (явно или прикровенно) из того, что между общебалтийским или даже просто неким архаичным вариантом балтийского типа и общеиндоевропейским существовал определенный временной разрыв (иногда даже указывалась, - разумеется, без особых оснований, - его длительность: два-три тысячелетия), который должен быть заполнен каким-то отличным от "общеиндоевропейского" и "общебалтийского" лингвистическим содержанием, впрочем, никогда не выявлявшимся. Предполагалось, что со временем этот разрыв будет заполнен, и, конечно, нельзя исключать этой надежды полностью (по крайней мере, в отношении некоторых фрагментов системы) и сейчас. Однако пока этот предполагаемый разрыв заполняется более чем слабо, что и дает дополнительные основания сомневаться в его реальности (во всяком случае в связи с целым рядом явлений) и допускать, что перед нами еще одно фантомное порождение. В самом деле, когда устанавливаются новые факты (напр., грамматические), квалифицируемые как наиболее архаичные для балтийского состояния, они обычно сразу же ложатся в то, что можно назвать и.-евр. языковым горизонтом. И обратно: многие и.-евр. реконструкции, предложенные в последнее время и выступающие именно как реконструкции, реально представлены в балтийских языках, хотя обычно и выступают в более позднем морфонологическом коде. Из этой ситуации могут быть сделаны два вывода, противоположных лишь на поверхности: 1) "балтийское" языковое время растягивается за пределами общебалтийского по направлению к более древнему состоянию и за пределы современных балтийских языков по направлению к хронологически и типологически более поздним языковым формациям (ср. славянские языки как "дети" балтийских, т.е. как принципиально иная, более продвинутая во времени генерация, а не просто как "немного менее древние языки"); 2) "балтийское" языковое время срессовывается, стремится к нулю, ср. возможность понимания балтийских языков (разумеется, в определенных фрагментах) не только как образа-транс-

формации индоевропейского древнего типа, но в определенных пределах как сам этот тип.

Парадоксальность балтийского оказывается в известной степени сродни эдиповой ситуации. Принимая на себя роль сына по отношению к отцу (и.-евр. пражзыку), он во многом равноценен ему, равновременен в лингвистическом (а не хронологическом!) измерении (ситуация - отец в маске сына). Вместе с тем, выступая в роли брата (по отношению к ПС), балтийский, будучи представителем более архаичной генерации, фактически реализует другую (по сравнению с традиционной) схему - "отец" : "сын". В обоих случаях балтийский как бы занижает свой возраст: он существует наряду со своим предком (и.-евр.) и со своим потомком (ПС). Эта ситуация, экстраординарная среди живых языков и никогда не отмечавшаяся среди известных и.-евр. языков, вынуждает совершенно по-новому взглянуть на всю проблему заимствований в б.-сл. языкоznании. В связи с такой "протеичностью" балтийского следует подчеркнуть еще два положения: 1) при естественном развитии балтийского типа у него еще будут свои потомки ("младшие братья" ПС), которые могут более или менее существенно отличаться от исторически засвидетельствованного потомка - ПС; 2) языки "отец" и языки "сын" (т.е. балтийский и ПС) находились в течение всего достоверно известного времени их истории на смежных территориях, что наиболее естественным образом должно трактоваться как указание на существование некоторого единого в языковом отношении ареала, проще - на б.-сл. сосуществование.

Именно в этой точке рассуждений и возникает вопрос о соотносимом с "балтийским" временем "балтийском" пространстве, который приобретает особое значение в сопоставлении с вопросом о "славянском" хронотопе. При движении против течения времени поражают резкие перемены в соотношении "балтийского" и "славянского" пространств. Несмотря на относительность подсчетов и возможность (и даже необходимость) дальнейших уточнений, оказывается, что в настоящее время площадь, занимаемая славянами, превышает площадь, занимаемую балтийскими народами (ок. 130 тыс. км²), приблизительно в 180 раз (!); даже если пренебречь пространством, которое было колонизовано в последние века в Азии, площадь, обитаемая славянами, превышает балтийскую территорию в несколько десятков раз. Соответственно славянское население (не принимая во внимание говорящих на славянских языках не-славян) превосходит балтийское население приблизительно в 80 раз (!). Но такое соотношение сформировалось уже на глазах истории. Полторы тысячи лет назад, в V - начале VI в. н.э., все обстояло иначе: славяне, согласно наиболее авторитетному и наиболее распространенному мнению (нагляднее всего оно представлено в картах-реконструкциях), в это время занимали довольно узкую полосу между верховьями Вислы и Средним Днепром⁸. По площади она в несколько раз (3-4?) уступала территории, заселенной балтами (в общих чертах - от низовьев Вислы до Подмосковья и от бассейна Зап.Двины до устья Десны и Сейма). При этом очень существенно, что по своей наиболее протяженной северной границе Славия этого периода непосредственно при-

мыкала к Балтии, никакими сколь-нибудь существенными природными границами от нее не отделяясь. Правдоподобно, что вся территория от южного побережья Балтийского моря до Карпат в это время сохраняла еще черты значительного этноязыкового единства, тесной связи между составляющими ее компонентами. Все это, естественно, не препятствует признанию определенных различий между балтийским и славянским языковым типами. Но это был последний период, когда уже выревший как самостоятельная целостность славянский языковой тип еще сохранял "формальную" связь с некогда общей в лингвистическом отношении территорией.

Высказываемая здесь точка зрения могла бы получить поддержку в предположении (более чем вероятном) о том, что в V-VI вв. н.э. в Славии было достигнуто некое "критическое" состояние, которое только и могло найти себе разрешение в "демографическом" (если говорить очень приблизительно и огрубленно) в з р ы в е , положившем конец этноязыковому единству и целостности Славии. Разумеется, унаследованное единство и одинаково направленные тенденции языкового развития продолжали сохраняться и даже - в течение определенного времени - преобладать над тенденциями к дифференциации, но решающий шаг, ведущий к распаду былого единства, был сделан, и бесспорным (хотя и косвенным) свидетельством этого стала лавинообразно распространяющаяся экспансия славянского населения во все без исключения стороны от Славии - на северо-запад вплоть до Дании и за Эльбу почти до Рейна, на юго-запад вдоль Дравы и Дуная, вплоть до предальпийского ареала, на юг на Балканы вплоть до Пелопонесса, Крита и окрестностей Константиноцоля, на восток, за Днепр, вплоть до Дона, на северо-восток, в' Верховья Днепра, Зап.Двины, в район Пскова, Новгорода и далее.

Этот славянский "взрыв", вызванный, несомненно, не только внешними обстоятельствами эпохи "Великого переселения народов", но и соотношением внутренних факторов, характеризовавших Славию, привел к резкому изменению этнической и лингвистической карты Европы. Характерно, что именно в это время славяне были впервые достоверно замечены "посторонними" свидетелями (Йордан, VI в.)⁹, обозначены, в общих чертах дифференцированы и стали характеризоваться как "великий народ", "многочисленнейший народ" и т.п. Славянский феномен, явленность славян "внешнему" миру приурочены именно к этой эпохе первоначальной и, так сказать, всеобщей их экспансии в VI-VII вв. Уже в течение ближайшего века славянская территория по своим размерам сравнивается с балтийской и вскоре начинает превосходить ее. Описываемой картине, нужно думать, могут быть поставлены в соответствие и другие факты, из которых здесь достаточно отметить три. В о - п е р в ы х , самая ранняя из археологических культур, достоверно связываемых со славянами, относится к тому же периоду V-VII вв. - пражско-корчакский тип, распространение которого совпадает в принципе с очерченными выше границами Славии (ср. также более южный пражско-пеньковский тип)¹⁰; из этого, разумеется, нельзя делать вывода ни о том, что отдельные славянские инфильтрации не могли проникать в области гшеворской или черня-

ховской культуры, ни о том, что в ретроспективной череде археологических культур этого ареала предки славян не могли связываться с более древними типами, напр., тышинецким¹¹ и др. Во - в торых, именно в VI-VII вв. выделяющиеся из более раннего этноязыкового и территориального единства или общности впервые, как можно судить по имеющимся фактам, в качестве еще близкого, но уже отчуждающегося и ставшего самостоятельным элемента, славяне проникают в балтийские области на северо-востоке некогда единого б.-сл. ареала (Верхний Днепр, бассейны Немана, Зап.Двины, Оки). Этот новый тип взаимоотношений "балтийского" и "славянского" как расходящихся между собой компонентов сложился и впервые был осознан именно в VI-VII вв. н.э. (до этого контакты могли предполагать другую схему - одна часть "своих" входит в отношения с другой частью "своих"). В свое время К.Буга проницательно заметил первые следы этих контактов, как они отразились в языке балтов и славян, и правильно датировал их. Тут же следует заметить, что этот "первый" зримый б.-сл. контакт как раз и склонны иногда толковать как "вторичное" сближение балтийского и ПС. Это толкование нужно признать ошибочным: никакого территориального и этноязыкового "расхождения", предшествующего этому контакту не было (или оно остается неизвестным); более того, само осознание б.-сл. контакта и есть свидетельство оформления двух этноязыковых комплексов и их дальнейшего расхождения уже в качестве самостоятельных единств. В - т р е - т ь и х, с эпохой этих "первых" контактов связано распадение "центрального" прибалтийского¹², давшего начало литовскому, латышскому и другим будущим "восточнобалтийским" языкам, находившимся в VI-VII вв. н.э. как раз на территории экспансии славян в северо-восточном направлении. Очевидно, эта экспансия привела в движение лято-литовские племена, расширявшие свою территорию к северо-западу и вошедшие в контакт с ранее находившимися здесь балтийскими племенами (курши, земгалы, селоны).

В связи с этим периодом "первых" контактов славян и балтов в верховьях Немана, Зап.Двины и, вероятно, отчасти севернее естественно возникает вопрос о том, что это были за славяне. Самое простое при имеющихся данных разнородного характера решение заключалось бы, видимо, в том, что это были выходцы из северо-западной Славии, сидевшие до того в Среднем Повисленье (во всяком случае к западу от истоков Припяти) и наиболее тесно связанные с балтийскими племенами южно-пруссского пояса. Можно думать, что они двинулись приблизительно из того места, где Буг впадает в Вислу (район современной Варшавы, само имя которой - и корень и словообразовательный элемент - может быть объяснено из балтийского источника), на северо-восток, в обход припятского Полесья справа и мазурских озер слева, по направлению (разумеется, лишь с определенной вероятностью) на Белосток, Гродно, вост. Литву, сев.-вост. Белоруссию, Латанию и далее. Выбор северо-западной Славии в качестве исходного пункта описываемого движения на северо-восток мотивируется разными соображениями - и негативного характера (славяне, сидевшие к западу от Вислы, в большой излучине, двинулись за Одер и Эльбу; население северо-вост-

точной Славии расширяло свою территории по Десне, к Оке и Дону), и позитивного характера (некоторые языковые особенности племен, устремившихся на северо-восток обнаруживают "западнославянские" черты, о чем могут свидетельствовать и отдельные этнонимы, ср. вендов, следы которых сохранились в вост. Прибалтике¹³ /Chron. Livon. X, 14 и др./, словен, кривичей). Новейшие исследования А.А.Зализняка о древнем новгородском диалекте по данным берестяных грамот с несомненностью вскрывают в нем некоторые "западнославянские" черты и позволяют, судя по всему, думать о заселении Псковщины и Новгородчины именно с юго-запада, вероятно, из южной Прибалтики и примыкающих к ней земель. Память о "западном" происхождении, кажется, долгое время сохранялась в Пскове и Новгороде, и западные связи этих двух центров Северо-Западной Руси (торгово-экономические, религиозно-идеологические, отчасти относящиеся к социальному устройству, к литературным мотивам и т.п.) по-своему продолжают эту память. Наличие же в этом ареале балтийских следов в гидронимии и правдоподобных балтийских элементов среди археологических данных (ср. культуру ранних длинных курганов на Псковщине) дает основание полагать, что среди устремившихся в эти места племен из северо-западной Славии и смежных ареалов могли быть и отдельные представители балтийского языкового типа (можно напомнить, что позже склонный путь на восток проделала некоторая часть пруссов, нашедшая себе пристанище на Гродненщине). Ранее высказанное предположение о возможной "балтийской" кривичей нашло теперь новое выражение на независимых основаниях¹⁴. Если кривичи, действительно, были по происхождению балтами (ср. этно-культурный элемент *kriv-* в старом Вильнюсе), постепенно славянанизированными в полосе от Зап.Двины до северного Подмосковья, то это могло бы в известной мере характеризовать как близость балтийского и славянского элемента в ту эпоху (V-VIII вв.), так и относительную легкость в переходах между ними в языковой и культурной сфере¹⁵.

В то же время значительная часть населения Славии устремилась к югу и, несомненно, достигла Среднего Подунавья, Паннонии. Принимая во внимание исторические судьбы этого ареала в V-VII вв. (отход гуннов на восток в приазовские степи и, наоборот, приход остготов из Причерноморья на Балканы и далее в Среднее Подунавье, откуда в 467 г. они направляются в Италию, гибель Западной Римской Империи, появление в Паннонии лангобардов и призванных ими аваров, уход лангобардов на юг /с 568 г. они уже оказываются в северной Италии/ и т.п.), едва ли можно говорить о наличии устойчивого славянского населения в этих местах раньше середины VI в.¹⁶. Пребывание на Среднем Дунае было очень важной страницей в ранней истории славян и надолго запомнилось им. Вместе с тем эти земли привлекали в сех, кто оказывался в этом районе Европы (Паннония была как бы трамплином, откуда совершались "прыжки"-вторжения в Италию и на Балканы), и обладание ими было связано со слишком большими испытаниями: именно поэтому возможные планы "перебазирования" Славии на Средний Дунай в достаточно полной мере осуществлены не были, и славянское население уходило из этих мест в основном или на восток (анты), на Средний

Днепр, или на юг, на Балканы (наличие многих языковых и мифо-ритуальных соответствий между балтийской и южнославянской традициями можно понимать как своего рода перенос южной границы Балтии, ставшей позже южным рубежом Славии, еще дальше на юг, на Балканы, где обнаруживаются последние следы "балтийского" прибоя).

Память славян о Дунае в народной традиции и ранней летописной (Нестор) относилась именно к этой эпохе VI-VII вв. (и несколько позже, может быть, до прихода венгров), и нет никакой необходимости допускать наличие славян (именно как славян) здесь с и.-евр. эпохи; представляется также сомнительной схема ухода славян с Дуная на север и нового возвращения в более позднее время. Новейшие исследования о "глубине" актуальной мифopoэтической памяти упорно называют 300 лет как обычный ее предел, и если это верно, то естественно, что на рубеже I и II тысячел. н.э. она сохранилась еще в Славии и даже, видимо, за ее пределами. Во всяком случае неоднократно отмеченные в Литве гидронимы (и названия других уроцищ, напр., луга) типа *Dunobjus*, *Dunajus* и т.п., апеллятивы *dunobjus*, *dunajus*, *donaicus*, *danoicus*, *dujonelis*, *dūnavēlis* (к формам с -v-ср. лтш. *dūnava*: слав. *Dunavъ*) и др., сохраняющие и архаичные значения ('большая вода' и т.п.), популярность соответствующих мотивов в литовском фольклоре – всё это может быть истолковано как славянские заимствования лишь в узком и довольно условном смысле этого понятия. Скорее речь должна идти об исключительной "проницаемости" всего пространства между Дунаем и Балтикой, предполагающей определенный уровень близости ("симпатии") разных частей всего этого ареала (также следует помнить, что элемент *Dun-* был актуален для балтов и в связи с названием двух великих рек Балтии – Днепра и Зап.Двины)¹⁷.

Славия V–VII вв. с теми хронотопическими характеристиками, которые были приведены (частично) выше, является ключевой проблемой этногенеза славян, происхождения ПС и, следовательно, его реконструкции именно на этом этапе его развития. Именно с этих пор начинается явленная история славян, и лингвистические реконструкции получают опору в контролирующих санкциях становящихся всё более конкретными и определенными пространственно-временных характеристик. Но вместе с тем эта эпоха весьма существенна и для истории Балтии или Балто-Славии, хотя скорее в "негативном" плане (дифференциация, размежевание, отпадение). Поэтому, возвращаясь к намеченному теме "балтийского" пространства, уместно попытаться охарактеризовать его применительно к более ранним эпохам, чем V–VI вв. н.э., хотя сделать это придется в самой краткой форме.

Прежде всего пространство древней Балтии не только существенно превышает описанную Славию, но и вообще очень велико (можно даже сказать – неправдоподобно, видя в этой неправдоподобности указание на общую парадоксальность ситуации). Теперь никто не сомневается в том, что максимальный балтоязычный ареал, реконструируемый на основании гидронимических данных, охватывает территорию во много раз большую, чем ареал балтийских языков в историческую эпоху. "Новооткрытые" расширения ядра этого ареала обнаружи-

ваются к востоку и юго-востоку (вплоть до верховьев Волги, Средней Оки, бассейна Сейма), к югу (за Припять и до прикарпатских территорий и далее на запад вплоть до Судет), к западу (вплоть до Шлезвига и Гольштейна, не говоря уж о пространстве к западу от Вислы, в Висло-Одерском междуречье). Разумеется, что в отдельных случаях возможны корректизы, и кое-где уместно говорить о "балтообразной" (или "балтоидной") гидронимии. Тем не менее, два обстоятельства, видимо, не вызывают особых сомнений: 1) языковой материал, лежащий в основе "балтийской" гидронимии в высокой степени един как по своему инвентарю, так и по своим времененным характеристикам (эта "изохронность" предполагает или наличие древнего языкового единства всей этой обширной территории, устойчивость языковой ситуации, или, напротив, некий этно-языковый "взрыв", приведший к распространению единой гидронимии на пространном ареале, видимо, в сжатые сроки); 2) "балтийская" гидронимия практически, по крайней мере, на уровне словообразовательных типов и в значительной степени в корнеслове) совпадает с "центральноевропейской". А это (как, впрочем, и обратная формулировка: "центральноевропейская" гидронимия распространяется и на область балтийских языков - настоящую и прошлую) и должно толковаться как знак присутствия в Прибалтике (по меньшей мере) древнего "центральноевропейского" типа гидронимии, т.е. одного из наиболее архаичных типов и.-евр. речи среди тех, что доступны реконструкции¹⁸. Если вспомнить, что балтийские языки в целом сохраняют в наибольшей полноте по сравнению с другими с временными и.-евр. языками (даже с новогреческим, удержавшим старое -ε в Nom. Sg. определенных именных основ) древнее и.-евр. наследие, окажется, что оба аргумента отсылают к одной идее - к признанию балтийских языков и их ареала своего рода "заповедником" древней и.-евр. речи.

В этом контексте особенно важным было бы определение восточных, юго-восточных и южных границ "балтийского" пространства в древности. На востоке устойчивая гидронимическая граница балтийской гидронимии, проходящая в Подмосковье, не описывает полностью возможной ситуации. Существуют факты (от правдоподобных до бесспорных), позволяющие думать о еще большей продвинутости балтийского элемента на восток в довольно широких временных пределах: 1) наличие ряда изолированных гидронимов балтийского типа за пределами устойчивой восточной границы балтизмов (напр., на Оке, в Рязанской обл. и восточнее); 2) наличие балтизмов в волжско-финских языках; 3) наличие древнейшего слоя балтизмов в "общефинском"; 4) существование правдоподобных "культурных" балтизмов у народов Среднего Поволжья; 5) возможные балтийские следы в археологических культурах - от III-II тысячел. до н.э. до именьковской культуры IV-V - VII-VIII вв. н.э., связываемой с балтийским элементом¹⁹, при том, что уже фатьяновская культура в ряде случаев обнаруживает не только удивительные аналогии с культурами южной Прибалтики, но и может быть, кажется, понята как результат инфильтрации этих культур к востоку.

Есть и еще одна важная совокупность свидетельств о границах балтийского пространства на востоке, юго-востоке и

юге – распространение этнонимического элемента **Galind-* (эти свидетельства тем более важны, что они связывают доисторическое прошлое этих территорий с некоторыми вполне реальными историческими событиями). Как известно, этот элемент обнаружен далеко к югу и востоку от исторической Галиндии, а именно в полосе польско-чешского пограничья, на северных подступах к Карпатам и Судетам, на правобережье Припяти, перед северной границей Волынской возвышенности, в брянско-орловском ареале, в Поочье и в бассейне Москвы²⁰. "Правильность" расположения этого элемента в пространстве, образующего огромную дугу, которая, что очень важно, практически включает в себя и большую часть Славии (целиком восточную ее половину и часть западной, исключая лишь юго-западный ее угол), позволяет думать, что элемент **Galind-* в данном случае, действительно, фиксирует старую границу распространения балтийского языкового элемента. Названия с другим балтийским этнонимическим элементом **Frīs-*, располагающиеся приблизительно таким же образом, подтверждают, видимо, сказанное²¹. Реальная хронология появления рефлексов балт. **Galind-* вдоль указанной дуги в целом неясна, но, например, для примеров из Поочья (верховья Оки, Угра) можно думать о III–VI вв. н.э., связывая их с распространением в этих местах мослинской культуры. Возможно, важнейшим материальным подтверждением именно такого расположения юго-восточной границы балтийского пространства в это время нужно считать контакты балтов и иранцев (алан), как они раскрываются для V–VI вв. распространением изделий с выемчатыми эмалями. Учитывая направление распространения этих изделий из Прибалтики, где они своими корнями восходят к более древним местным типам²², можно отчетливо представить себе этно-языковую ситуацию в этом ареале в указанное время. Она свидетельствует о непосредственном контакте балтов и иранцев, не осложненном участием славянского элемента. В известной степени это подтверждает и языковой аспект этих контактов. Для примеров с элементов **Galind-* вдоль более южных и западных участков дуги правдоподобно предположить примерно ту же хронологию, в частности, опираясь и на данные об участии галиндов, вовлеченных вестготами, а, может быть, и вандалами в экспансию в юго-западном направлении.

При принятии указанных границ Балтии в первой половине I тысячел. н.э. (и предположении, что они в этом виде сложились, видимо, еще на несколько веков раньше) получают объяснение и некоторые другие важные факты или, по крайней мере, требуют увязки с характеристиками балтийского хронотопа. К числу этих получающих объяснение явлений относятся фрако-балтийские и иллиро-балтийские соответствия (вплоть до совпадений) в области топонимии, причем оказывается, что балтийское пространство практически непосредственно граничит с фракийскими и иллирийскими территориями (и, следовательно, для достаточно раннего времени участием в этих контактах славян можно пренебречь), а также некоторые особенности в распределении т.наз. "древнеевропейской" гидронимии. Оказывается, что два крупнейших (и по числу примеров и по разнообразию типов) скопления "древнеевропейской" гидронимии находятся на территориях, практи-

тически непосредственно примыкающих к зоне распространения балтийской гидронимии, а именно - в северной части междуречья Эльбы и Рейна и в области между Дунаем и сев.-вост. Адриатикой, к которой, между прочим, близко подходил юго-западный выступ Славии (скопление "древнеевропейской" гидронимии в Средней Италии в данном случае не рассматривается)²³. Расположение этих двух очагов древней гидрономии относительно третьего, чуть ли не самого мощного, скопления в юго-вост. Прибалтике ("балтийское" ядро), безусловно, характеризует структуру всего ареала "древнеевропейской" гидрономии - при том, что между этими тремя очагами находятся "разреженные" зоны этого типа гидрономии, в частности, и в Славии, где соответствующие примеры есть, но в принципе они и редки и маловыразительны. Тот факт, что "балтийское" пространство не только характеризуется "древнеевропейской" гидронимией, но и является одним из основных и наиболее представительных носителей ее, дает основания настаивать на реальности и конкретности балтийского этно-языкового комплекса в течение всего I тысячел. до н.э., и это по меньшей мере (в этой связи смело можно было бы говорить и о II тысячел. до н.э., хотя для этого времени грань между позднеиндоевропейским и оформляющимся балтийским типом становится труднозаметной). Во всяком случае применительно к I тысячел. до н.э. можно говорить и о конкретном содержании в развитии балтийского языкового типа. Едва ли будет большой ошибкой отнести к середине этого тысячелетия оформление расхождений между двумя диалектными областями - центрально-балтийской и периферийно-балтийской, юго-западная часть которой уже несла в себе некоторые черты, которые позже стали содержанием исподволь формирующегося ПС (ср. в этой перспективе связи ПС с германским, итальянским, позже и кельтским).

Все эти проблемы и соответствующие рассуждения снова возвращают нас к вопросу о соотношении балтийского и славянского хронотопов и свойственных им языковых типов - балтийского и ПС. При сопоставлении легко обнаруживается ряд обстоятельств, определенно свидетельствующих о преимущественной древности балтийского элемента. Этнические балтийские названия стали известны истории на тысячу-половину лет раньше, чем славянские (невры, V в. до н.э., эстии, I в. н.э.; галинды и судины, II в. н.э. /при том, что эти два этнонима сохранились еще более тысячелетия/ - первые славянские этнонимы, VI в. н.э.); балтийская гидронимия по своему типу несравненно древнее славянской: она регулярно обнаруживает свой архаичный и.-евр. характер, тогда как славянская почти утратила подобный тип, заменив его назованиями более позднего и "домашнего" типа (отчасти это касается и соотношения ономастических систем); языковая дифференциация балтийских языков (соответственно пространства) существенно глубже дифференциации славянских языков, что предполагает значительно более долгий путь развития; вместе с тем темпы развития славянского языкового типа (напр., в таких важных областях, как структура слова, глагол, имя) были намного быстрее, чем в случае балтийского²⁴; балтийское языковое пространство не только значительно превышает славянское (для достаточно ранней эпохи), но и облада-

ет принципиально иным характером: оно непрерывнее, аморфнее, проницаемее, если угодно, пассивнее (меньшая энергетичность), наконец, оно менее жестко и реже получает конкретные этноязыковые спецификации; археологические культуры, связываемые с балтами с достаточной очевидностью, фиксируются с несравненно более раннего времени, чем бесспорно славянские археологические культуры²⁵. Характер более поздних языковых контактов балтийских и славянских языков, в частности, определяемый для значительной территории как наложение более позднего славянского материала на раннюю балтийскую подоснову, которая в свою очередь объясняет отчасти такие явления, как аканье, яканье, некоторые типы палатализации и т.п., также ориентирует на "старшинство" балтийского языкового типа.

Все это и позволяет говорить о "молодости" славянских языков и о "древности" балтийских. И "молодость" и "старость" в данном случае понятия, конечно, относительные. Если отвлечься от проблемы соотношения дискретного и непрерывного и от этнолингвистических реальностей, оба языка в известном отношении одинаковы по своему возрасту (так сказать, все от Адама). Но в другом отношении проблема "молодости"–"старости" требует более строгого и "взвешенного" решения: исследователь не имеет права пренебрегать этноязыковыми, историко-культурными, психологическими и вытекающими из оппозиции "абсолютное"–"относительное" реальностями. В противном случае возникает опасность, двигаясь по временной оси в прошлое и поддавшись обольшающему "обаянию" непрерывного, "проскочить" ту грань, которая отделяет "уже славянский" от "еще не славянского", и при определенной лихости и бесконтрольности дойти до той стадии, где уже никакая этнолингвистическая таксономия вообще невозможна. Имея в виду именно эти "взвешенные" решения, к тому же поддержаные конкретными фактами, надежные и верифицируемые, и только в указанном здесь смысле, предлагается, во-первых, говорить о "молодости" славянского и "древности" балтийского (ср. контраст между ПС, сохранявшимся при всех частных различиях в общих чертах до XII-XIII вв. и во многих отношениях легко реконструируемым или даже просто транспонируемым из материала исторически засвидетельствованных языков, и "прабалтийским", который, если он только не фикция, перестал существовать тысячелетия на два раньше) и, во-вторых, не говорить о славянском применительно к тому времени, от которого в нашем распоряжении нет никаких свидетельств, кроме "общих соображений", "здравого смысла" и ложно понятых патриотических интенций²⁶, ибо щедрость на нули и любое форсирование в таких случаях не помогают, а вредят установлению научной истины. Зато успехи в области этнолингвистических, культурно-исторических и археологических исследований создают реальную основу для достижения более глубоких и надежных результатов²⁷.

В сравнительно-историческом языкоznании, к сожалению, нередко возникают иллюзии, вытекающие из пренебрежения к пространственно-временным аспектам или из своего рода "эгалистических" установок, когда исходят из того, что все и.-евр. языки (независимо от того, хорошо или плохо сохра-

нили они старое наследие) - уже нечто принципиально отличное от того, что восстанавливают как и.-евр. прайзик (или диалектный констининум), и что все ветви его равным образом "отстают" во времени от языка-«отца». Подобные иллюзии - общий грех и неизбежное следствие того научного умонастроения, при котором исследователь слишком жестко и прямолинейно отделяет себя (субъект), здесь и теперь от другого (объект), там и тогда. Чаще, чем обычно полагают, эта позиция приводит к деформированию ряда важнейших проблем в некоторых областях современной гуманитарной науки исторического цикла и, в частности, к забвению логики многокомпонентных таксономий. Исследователь с похвальной целью лучшего, более объективного, описания фактов отключает себя от них, выходит из сферы взаимного контакта с ними (я не то, что мною изучается). Эта во многих непредельных случаях оправданная позиция грозит кризисом, когда речь идет о предельной ситуации. «Балтийский» в предлагаемом здесь понимании как раз и возвращает нас к этой экстремальной категории случаев: сгущение парадоксов в связи с ним сигнализирует о сопротивлении материала выводимым из него схемам, о протесте против, казалось бы, естественных, но, по сути своей, чрезмерных допущений. В связи с «балтийским», именно так понимаемым, категориями времени и пространства уже не могут трактоваться только как внешние рамки языкового развития. Они сами участники, творцы и результат (одновременно субъект и объект) этого развития - и тем в большей степени, чем очевиднее нетривиальность их поведения в связи с балтийским материалом.

Усвоение подобных взглядов дает определенные основания для научного оптимизма. Оно позволяет, в частности и в некоем идеальном аспекте, трактовать балтийские языки не только как отдаленного потомка и наиболее достоверного из современных языков продолжателя и свидетеля и.-евр. речи (и здесь они должны сопоставляться не с санскритом или готским, но с хинди или английским), но и как самое эту речь в действии, хотя и ограниченную рядом существенных факторов. Разумеется, эта точка зрения не противоречит иному, дополнительному по отношению к данному, аспекту проблемы - балтийские языки как новая языковой тип (*sub specie* эволюции). При всем этом следует иметь в виду и психологическую ситуацию «самоопределения» субъекта, являющегося одновременно и объектом эволюционного, временного ряда. Так, можно думать, что носители древнейшей и.-евр. речи, восстанавливаемой в статусе и.-евр. прайзыка, будучи спрошенными о своем «подлинном» языковом состоянии, совершили бы ту же ошибку, что и наши современники (напр., говорящие на современных балтийских языках и - соответственно - исследователи этих языков), сказав, что их язык лишь остаток, продолжение, рефлекс чего-то более старого, цельного, единого, совершенного и завершенного. Конечно, в каком-то смысле сходное применимо и к другим современным и.-евр. языкам. Но все-таки все они, взятые в контрольной точке сегодняшнего состояния, отделяются от балтийских языков некоей существенной гранью: последние обладают очевидным преимуществом и в архаичности и в консервативности, именно они задают меру отклонения от и.-евр. тип-

па, и в имплицируемой ими градации в этом отношении им нет равных. Поэтому было бы некорректно говорить о других языках то, что не сказано в первую очередь о балтийских.

Все сказанное здесь о балтийском не может не приниматься во внимание и при обсуждении славянского и прежде всего происхождения и реконструкции древнейшей его языковой формы - ПС. Для двух языковых типов L_1 и L_2 в состоянии t_{prae} . (согр. балт. и слав.), являющихся не только генетически связанными, но общепризнанно наиболее близкими между собой (по сравнению с языками L_3 , L_4 , ..., L_n), во-первых, всегда находившихся на смежных пространствах, во-вторых, и восходящих к несомненному языковому единству-общности в состоянии t_{prae} . (и.-евр. или одно из следующих за ним), в-третьих, должно постулироваться общее единое языковое пространство, и элементарная логика вынуждает из двух мыслимых решений - один язык (общий предок L_1 и L_2) или два "одинаковых" языка этого единого пространства (из которых один - предок L_1 , другой - предок L_2) - выбрать первое, т.е. признать, что точное описание ситуации предполагает существование единого языка на едином языковом пространстве (допущение двух языков в этом случае было бы ненужным умножением объекта).

Встает вопрос о том, как понимать этот единый язык - как остаток еще и.-евр. единства или как какое-то более узкое и следующее за ним во времени единство. С "праязыково-центричной" точки зрения, разумеется, имеет свой резон и первое из указанных решений, которое, однако, основано на операции "сужения" (т.е. игнорирования большей части всего массива и.-евр. идиом). С "балто-" и "славяно-центричной" позиции, конечно, целесообразнее второе решение, которое "сильнее" первого хотя бы потому, что связано с более близким к балтийскому и славянскому типам временным срезом. Это второе решение оказывается предпочтительным и в свете той ситуации, которая характерна, напр., для II тысячел. до н.э. (вплоть до рубежа с I тысячел.): и.-евр. речь в виде уже "индивидуализированных" и сильно продвинутых в своей эволюции идиом представлена анатолийскими, греческими, индийскими, иранскими языками во всяком случае; носители этих языков (к ним, несомненно, можно отнести и кельты) заняли крайние по отношению к б.-сл. "центр" позиции - Средняя Азия (возможно, Причерноморье), Иран, Индия, Малая Азия, юг Балкан, Архипелаг, атлантическая зона Зап. Европы; б.-сл. языковой тип остается невыявленным, но он связан с устойчивой территорией и, как это известно из данных о современных б.-сл. языках, с особой консервативностью и архаичностью: современные балтийские языки (а отчасти и славянские) на эволюционно-временной оси развиваются гораздо медленнее названных выше и.-евр. языков и "отстают" приблизительно на две тысячи лет. В этих условиях, после отделения анатолийского, индийского, иранского, греческого и др. языков, и.-евр. "остаток", который составляет очень небольшую часть всего исходного и -евр. языкового пространства и соответствующего лингвистического типа и из которого возникли балтийские (или балто-славянские) языки, с точки зрения последующего развития не может пониматься иначе, чем общий источник.

ни к балтийских и славянских языков (восходят ли к нему какие-либо другие языки, остается неизвестным).

Но это общее и достаточно "сильное" утверждение об исходном и "преимущественном" родстве балтийского и славянского еще не претендует на конкретное определение отношений между этими двумя языковыми типами: пока предлагаемое описание не "взвешено", не направлено, "безвекторно". Но обращение к "балтийскому" хронотопу в его соотношении со "славянским", о чем говорилось выше, дает возможность единонственного в настоящий момент надежного, как нам кажется, истолкования: в эволюционной цепи "балтийский" хронотоп предшествует "славянскому" и должен рассматриваться как "родимое" место последнего. "Роды" произошли поздно, но были быстрыми и удачными, и дитя со временем переросло родителя, развили немало нового, но вместе с тем неся в себе и архаичнейшее родительское наследство, отлившееся в оригинальные ("славянские") формы.

Такая картина соотношения "балтийского" и "славянского" объясняет и некоторые внутренние факты, напр., отсутствие (точнее, невыявленность) праславянских заимствований в балтийском и "прабалтийских" в славянском. "Невыявление" в данном случае апеллирует к та^{ко}й близости языков, которая не оставляет места для тех зазоров ("разрывов"), той языковой "дистанцированности", которые только и позволяют говорить о заимствованиях. "Отсутствие" заимствований говорит о другом: в сравнительно-историческом языкознании (в отличие, напр., от наиболее продвинутых опытов современной диалектографии) нет инструмента (осторожнее - нет попыток найти его) для опознания "аутических" заимствований, из себя в себя, из одной части данного языка в другую его часть. В таком случае понятие заимствования оправданно заменяется другим понятием - проницания/проницаемости, предполагающим большую произвольность, легкость, мотивы вкуса и лингвистических преференций, если угодно дух импровизации, актуальности *ad hoc'овых* ситуаций (ср. аналогии в индивидуальном речевом поведении с актуализацией ранее не использовавшегося резерва, с "автозаимствованиями" и "автозапретами" и т.п.). Именно поэтому трудно согласиться с тем, как нередко используются факты языковых различий (прежде всего в лексике) при доказательстве или - чаще - опровержении языкового родства. Конечно, лексика представляет собой очень подвижный, чуткий ("отзывчивый") индекс, фиксирующий малейшие сдвиги, имеющий дело с большими тонкостями. Но в эпоху, когда стало аксиомой, что любое языковое единство (не только и.-евр., б.-сл., балтийское, славянское, русское, "орловско-курское" и т.п.) предполагает многообразие и различия, не отменяющие, однако, идеи единства, странно в попытках опровержения именно б.-сл. единства делать главный акцент на различиях и планировать "анти-Траутмана". Такой словарь различий был бы полезен во многих отношениях (и, между прочим, для лучшего уяснения "инфра-структуры" б.-сл. единства), но доказательством отсутствия б.-сл. единства при наличии "старого" Траутмана он не мог бы стать ни в каком случае (как не мог бы быть опровергнут тезис единства языка индивидуума указанием возрастных сдвигов в его лексике). Плодотворность

же выявления различий и их интерпретации состоит прежде всего в возможности на их основании углубить языковую "родственную" перспективу, опознать более ранние стадии расходящихся явлений²⁸, лучше понять "меру" и характер постулируемого единства. И, наконец, нужно помнить, что вопрос "ближайшего" родства решается принципиально не количеством сходств, а степенью их глубины, так сказать, их интимным слоем: сын может быть ни в материнской, ни в отцовской, а в проезжего молодца, - и все-таки он сын своих родителей.

И еще одно замечание о соотношении "балтийского" и "славянского" языковых типов в связи с нередкими "внешними" аналогиями. Достаточно поверхностного сравнения "балто-славянского" с двумя другими постулируемыми и.-евр. единствами - индо-иранским и итало-кельтским, - чтобы убедиться в принципиальной ложности этих аналогий, если иметь в виду "равноправие" обеих составных частей каждого из этих единств. Индийский и иранский, италийский и кельтский, несмотря на естественные различия между членами каждой из этих пар, принципиально гомогенны и по своей языковой структуре, и по их лингвистическому времени, и по типу того языкового пространства, с которым они связываются. Никому из исследователей не приходило в голову выводить индийский из иранского или иранский из индийского, италийский из кельтского или кельтский из италийского. Такая проблема возникла только в связи с отношением балтийских и славянских языков - и, нужно думать, не на пустом месте, как не на пустом месте возникло и предположение об укорененности будущего ПС в кругу наиболее открытых "западным" влияниям древних западнобалтийских диалектов (юго-западной части "периферийного" балтийского пояса), получающее доверие и новые аргументы в свою пользу во все более расширяющемся кругу ученых²⁹.

Наконец, при обсуждении вопроса о том, как можно и нужно интерпретировать соотношение "балтийского" и "славянского" языковых типов, едва ли допустимо отвлекаться от анализа соотношения некоторых реальностей духовного порядка, характеризующих жизнь носителей этих языковых типов и отраженных в данных самих этих языков. К сожалению, именно эта область, помогающая проверить многие из утверждений, основанных на чисто лингвистических данных, и существенно уточнить и конкретизировать картину б.-сл. "общежития" (точнее, той "балтийской" жизни, с оригинального продолжения, развития и выбора новых путей которых началась самостоятельная жизнь славянства), не пользуется популярностью у исследователей и не привлекается при обсуждении б.-сл. вопроса. Это положение тем нетерпимее, что в настящее время весьма многое могло бы быть представлено в качестве материала, отражающего общие б.-сл. переживания в духовной и социально-экономической жизни. Не имея возможности развивать здесь эту тему, приходится ограничиться беглым обозначением очень небольшой части таких архаичных сходств. В области мифа и ритуала внимание должно быть обращено прежде всего на "основной" миф (его участников /*Per(k)-in-, *Vel-/, сюжет, символику), на мифологические существа "добожественного" или даже демонологического уровня (*kaik-, *bauk-, *gab-, *bud-/i/n-,

*vel-/*vil-, *aus-in-, *ragan- и т.п.), на ритуалы годового и жизненного цикла и "разыгрываемые" в них смыслы и ставящиеся им в соответствие символы (святой огонь, святая вода, "игра" солнца и т.п.), не говоря уж о значительной общности ритуальных предметов. В области социальнойно-экономических институций существенно общее ядро, определяемое такими концептами, как *valst- : *volst-, (pa-)gast- : *(po-)gost-, *vieš- : *vbsv, *šeim- (*saim-) : *sēm-, *žent- (ср. *gent-): *zēt-, *zno-t- : *snat-t-, *rad-rod-, *nam- : *dom-, *draug- : *drug-, *talk- : *tolk-, *mald-en-ik- : *mold-en-vcv-, *jaun- : *jun-, *kreiv- : *kriv- и т.п. и даже *deiv- : *div- и под. Итогом этих соопоставлений, их венцом мог бы быть перечень реконструируемых общих текстов - "основного" мифа, ряда фрагментов из других мифов и ритуалов (ср. песни об Усиныше и "авсеневые" песни), отдельных колядочных текстов кумулятивного типа, загадок, фразеологизмов и т.п.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Особое значение имела дискуссия по б.-сл. вопросу на IV Международном съезде славистов в Москве в 1958 г. Именно тогда были высказаны некоторые предложения, которые стали основным содержанием последующих исследований, - в положительной или в отрицательном плане. Настоящий текст - краткое подведение ряда результатов тридцать лет спустя.

² См.: Откупщиков Ю.В. Балтийский и славянский// Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литературы: К IX Международному съезду славистов. Сб. статей. Л., 1983. С. 59-60.

³ См.: Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики// Славянское языкознание: IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983. С. 238.

⁴ Можно вполне согласиться с вариантами взаимного расположения балтов и славян с III тысячел. до н.э. до 2-ой половины I тысячел. н.э., предлагаемыми О.Н.Трубачевым (указ. соч., с. 260-261) на четырех картах: нигде и никогда балты не отделены кем-либо от славян.

⁵ Здесь уместно сделать два существенных разъяснения. Одно относится к логике научного доказательства: есть определенный количественный и качественный порог, после которого объяснение совпадений в сравниваемых объектах исходным единством (два "отпечатка", предполагающих общий оригинал) проще и естественнее, чем предположение о многократно воспроизведомой игре "случая" (если только, конечно, не ставить под сомнение и тем более под запрет само понятие исходного единства). Другое разъяснение связано с необходимостью резкого ограничения претензий "эксклюзионистов": требование учитывать в качестве доказательных только эксклюзивные б.-сл. сходства несостоительно по тем же причинам, по которым, выражаясь на языке "логики родства", при доказательстве общего происхождения двух

родных братьев нельзя требовать, чтобы их сходные признаки не повторялись у кого-то еще из родственников.

⁶ См.: Трубачев О.Н. Указ. соч. С. 235.

⁷ Ср., напр., заметку автора этих строк: Категории времени и пространства и балтийское языкознание// Балто-славянские исследования 1980. М., 1981. С. 11-15 и др.

⁸ Помимо картины, типичной для традиционной "автохтонистской" концепции, целесообразно помнить и о новых точках зрения, в той или иной степени варьирующих место и размеры Славии; ср., напр.: Godłowski K. Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzenienia Słowian w V-VII w. n.e. Kraków, 1979; Davies N. God's playground. A history of Poland. N.Y., 1984. V. 1; Miodowicz K. Współczesne koncepcje lokalizacji pierwotnych siedzib Słowian. Dane językoznawcze // Prace etnograficzne. 1984. Z. 19. S. 7-49; Schenker A.M. Were there Slavs in Central Europe before the Great Migrations?// IJSLP. 1985. V. XXXVI-XXXVII. P. 359-374, не говоря о более ранних работах (напр., К.Мошинского); ср. также Łak J. Migracje Słowian w kierunku zachodnim w V/VI-VII wieku n.e./ Studia Historica Slavo-Germanica 1977. T. 6. S. 3-30 и др. К хронологии ПС, в частности к акценту на V в. н.э., см.: Lamprecht A. Praslovanština a její chronologické členění// Československé přednášky pro VIII. Mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Pr., 1978. S. 141-150.

⁹ См.: Mačinskij D.A. Die älteste zuverlässige urkundliche Erwähnung der Slaven und der Versuch, sie mit den archäologischen Daten zu vergleichen// Ethnologia Slavica. 1971. T. VI. S. 51-70.

¹⁰ См.: Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. С. 101 и сл.; Он же. Восточные славяне в VI-XIII вв. М., 1982. С. 10 и сл.; Русанова И.П. Славянские древности VI-VII вв. М., 1976; Gimbutas M. The Slavs. London, 1971 и др.

¹¹ Ср.: Gardawski A. Zagadnienie ciągłości osadniczej, kulturowej i etnicznej w międzyrzeczu Odry-Dniepru od II okresu epoki brązu do VI/VII wieku n.e./ I Międzynarodowy Kongres archeologii słowiańskiej. Wrocław etc., 1968. S. 215-240 (а также табл. V. S.229) и др. См. также: Кухаренко Ю.А. Полесье и его место в процессе этногенеза славян// Ibid. С. 241-254 и др. работы того же автора.

¹² См.: Mažiulis V. Apie senovės vakaru baltus bei ju santykius su slavais, ilirais ir germanais// Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981. P. 5-11.

¹³ См.: Зеленин Д.К. О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода// Доклады и сообщения Института языкознания АН. М., 1954. № 6; Labuda G. Udział Wenetów w etnogenezie Słosian// Etnogeneza i topogenezja Słowian. Warszawa, Poznań, 1980. S. 32 и др.

¹⁴ См.: Давидан О., Мачинская А., Мачинский Д. О роли балтов в формировании культуры Северной Руси VIII-X вв. (по данным летописей и археологии)// Проблемы этнической

истории балтов: Тезисы докладов. Рига, 1985. С. 57–58. Следует, однако, иметь в виду уточнение, связанное с этимологическим объяснением этонима кривичи (б.-сл. *krēiçō-, от *kreiō- 'отделяю', 'отрезаю' и т.п.,ср. у-крайнаця, польск. kresowcy и т.п.), см. Gołąb Z. The Origin and Etymology of Old Russian *Kriwici*// IJSLP, 1951. V. XXXI–XXXII. P.167–174.

15

Именно эта ситуация языковой интерференции всегда существовала между балтийским и славянским ареалами и всегда определяла и контролировала на стыках игру сходного и различного, конструируя соответствующие схемы (механизмы) пересчета. Иначе смотрит на эту проблему А. Ванагас: *Vanagas A. Lietuvių hidronimų semantika// LKK. XXI. 1981. P. 138–141.*

16

Сказанное не исключает возможности предыдущих более частных инфильтраций, между прочим, и на территории к северу от Нижнего Дуная (видимо, уже во 2-ой половине II в. н. э.).

17

К проблеме "Дунай" см.: Мачинский Д.А. "Дунай" русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии// Русский Север. Л., 1981. С. 110–171; Vanagas A. Dėl Lietuvos upių vardų *Dunojus* ir *Dniepras* kilmės// LKK. VIII. 1966. P. 173–182 и др.

18

См.: Schmid W.P. Baltische Gewässernamen und das vorgeschichtliche Europa// IF. 1972. Bd. 77. Hf. 1. S.1–18; Idem. Baltisch und Indogermanisch// Baltistica. 1976. VII(2). P. 115–122 и последующую дискуссию.

19

См.: Крайнов Д.А. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатяновская культура. II тысячелетие до н.э. М., 1972; Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969; Он же. Памятники балановской культуры. М., 1976 и др.; ср. также: Gimbutas M. The Balts. L., 1963 (ср. карту) и ряд работ Х.А.Моора.

20

Ср. лишь некоторые примеры: *Golanda* (Hist. Langob., VIII в., в основе которой утраченное сказание о происхождении лангобардов, середина VIII в., страна в р-не польско-чешского пограничья; чеш. *Holedeč* (< *Golędъcъ) и под.; *Golensizi* Географа Баварского (ок. 870 г.), *gradice Golen-siczeshe* Вроцлавской буллы 1155 г.; названия по дуге от правобережья Припяти до Москвы: Голядин, Голяда, Голяхье, Голядь, Голяди, Голядинка, Голедянка, Голедина, Голядина отвершки, Голяцкие земли и т.п., не говоря уж об упоминании голяди на Протве в 1058 и 1147 г.

21

Мнение, согласно которому топонимы с элементом *Prus-* в Чехии и Словакии объясняются энергичной деятельностью по переселению пруссов (см.: Labuda G. Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters// Otázky dějin Střední a Východní Evropy. Brno, 1971. S. 19–24), верно лишь отчасти.

22

См.: Корзухина Г.Ф. Предметы убора с выемчатыми эмальями V–первой половины VI в. н.э. в Среднем Поднепровье. Л., 1978. С. 51–62 и др.; Седов В.В. Восточные славяне... С. 44–45 и др.

²³ См.: *Udolph J. Zur frühen Gliederung des Indogerma-nischen// IF 1981. Bd. 86. S. 30-70* (карта на с. 60).

²⁴ Ср. эволюцию слоговой структуры, важной в том отношении, что она теснейшим образом связана с сутью фонетических процессов. На всем протяжении истории балтийских языков - видимой и реконструируемой - сохранялась (говоря в целом) одна и та же, условно - и.-евр., модель слога. В славянских же языках эта модель была сначала заменена моделью с открытыми слогами, а после гетерогенной моделью, сочетающей открытость и закрытость слогов.

²⁵ И это верно даже при "сверхкритических" решениях или при выдвижении новых концепций "балтийского", см.: *Седов В.В. Ранняя этническая история балтов// Проблемы этнической истории балтов... С. 92-95* и др.

²⁶ Тем не менее, в сугубо практическом плане и исключительно в виде гипотез, конечно, уместно попытаться определить мыслимый правдоподобный хронологический горизонт славянского этноса или ПС или, может быть, - точнее, того "субстрата" этих понятий, на котором зиждится "бесспорно славянское". Для пишущего эти строки такой гипотетической и "рабочей" вехой служит середина I тысячел. до н.э. (а для балтийского - середина II тысячел. до н.э.).

²⁷ Ср.: *Birnbaum H. Common Slavic: Progress and problems in its reconstruction. Columbus (Ohio), 1978.*

²⁸ Благоприятные условия для более глубоких и дифференцированных реконструкций создают и различия иного рода. Если в начале XX в. считалось, что балтийский и славянский противостоят друг другу почти как два монолита и переходные явления отсутствуют, то теперь положение в этом отношении коренным образом изменилось: выявлен широкий круг эксклюзивных балто-южнославянских (см. выше) и балто-северославянских связей (см.: *Непокупный А.П. Балто-северославянские языковые связи. Киев, 1976*), не говоря уж о "переходных" между балтийским и славянским зонами контактов. - Впрочем, конечно, не нужно забывать и о продолжающемся возрастании числа б.-сл. лексических соответствий, не учтенных Траутманом. Речь идет о многих десятках (если не сотнях) примеров. Кроме того, и старые и новые примеры нередко становятся более информативными и доказательными *sub specie* б.-сл. проблемы (напр., при учете словообразовательных фактов, с одной стороны, и фразеологических сочетаний, с другой; при использовании методики "семантических" оценок в решении генетических вопросов и т.п.). См.: *Мартиков В.В. Православянская и балто-славянская суффиксальная деривация имен. Минск, 1973; Он же. Балто-славянские лексико-словообразовательные отношения и глоттогенез славян// Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. М., 1978; Он же. Балтийский лексический ингредиент православянского языка// Acta Baltico-Slavica. 1984. Т. 14* и др.

²⁹ См. новую интересную попытку: *Zeps V.J. Is Slavic a West Baltic Language?// General Linguistics. 1984. V. 24.*

N 4.P.213-222. Она могла бы быть подкреплена многими другими фактами и предложениями. К пространственно-временной конкретизации западно-балтийско-славянских связей см.: Antoniewicz J. Bałtowie zachodni w V w. p.n.e. - V w. n.e. Pojezierze etc., 1979. S. 21 и сл., особ. 34.

O. H. Трубачев

СЛАВЯНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ И ПРАСЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА

Вместо предисловия

О важности изучения языка для понимания культуры сказано много. Все разделяют мнение, что, по мере углубления в древность эта важность возрастает. Известная крайняя гипотеза Сэпира-Уорфа о том, что язык вообще моделирует представления людей, т.е. их культуру (ср. новую работу [1]), вызвала не один только интерес, но и энергичные возражения. Сейчас положение в науке сбалансировалось в том, скорее, негативном смысле, что мы по-прежнему не очень хорошо знаем объяснительную силу данных языка и прежде всего - его лексики для исследования истории и культуры народа. То, что значение этих данных реально и даже очень велико, обычно допускается - как бы за неимением лучшего (этим "лучшим" всегда считались письменные памятники) - для древних эпох. Но кажется все-таки необходимым отставать мысль, что значение данных языкоznания, лексикологии, этимологии для подлинного понимания культуры абсолютно во все времена, в том числе и в современную эпоху, изобилующую письменными источниками. Вышесказанное уместно подкрепить примером из современного языка, не обязательно из славянского, даже лучше не из славянского, что поможет яснее увидеть эту универсальную важность раскрытия состава и смысла слова для понимания любой культуры. Для затравки нам послужит пример - название романа Мопассана "*Bel-amî*", собственно, прозвище его главного героя. У нас это произведение давно перевели под названием "Милый друг", хотя такой перевод, по моему, вызывает некоторое смущение у лиц, знающих французский язык, потому что франц. *bel*, *beau* значит только 'красивый, прекрасный' и в сочетании с *amî* 'друг', казалось бы, ничего другого не должно было означать, кроме как "прекрасный друг". Но это настолько не подходило в данном случае, что переводчик стал искать выход из положения и прибег к приблизительному переводу "милый друг". Переводчик ошибся. Он не понял слова, словообразования, которое здесь явилось выражителем особой культуры понимания отношений между людьми. *Bel-amî* - индивидуальное образование в речи одного из персонажей, но социально-культурная обусловленность этого новообразования очевидна. Это название в романе дает главному его герою девочка-подросток. Девочка сознавала различие возрастных рангов, существовавшее между ней и обаятельным взрослым мужчиной, она хотела, но не могла назвать его "*amî*", и она прибегла к способу, который диктовала окружающая французская языковая и культурная действительность - я имею в виду способ выражения противопос-

тавления подлинно родственных и неподлинно родственных отношений между людьми: *père* 'отец', *mère* 'мать', *fil*s 'сын', *fille* 'дочь', *frère* 'брать', *sœur* 'сестра' и *beau-père* 'тесь', свекор, отчим', *belle-mère* 'теща, свекровь, мачеха', *beau-fils* 'пасынок, зять', *belle-fille* 'падчерица, сноха, невестка', *beau-frère* 'шурин, золовка, свояк, деверь', *belle-sœur* 'невестка, золовка, свояченица'. Французский язык, называя свойственных, брачных, т.е. некровных родственников, обозначает их как бы отцом, матерью, сыном, дочерью, братом, сестрой, причем эту их неподлинность он знаменует в своем, французском духе лестным, учтивым эпитетом *beau*, *bel*, что значит вообще только 'прекрасный', но в данной системе культурно-языковых отношений это прежде всего значит 'неподлинный, ненастоящий', сигнализирует дистанцию между отцом и "прекрасным отцом", т.е. по-просту 'не-отцом'. Тот же способ учтивого обозначения неподлинности отношений представлен и в мопассановском *bel-amî* (обратим внимание в связи с перечисленными терминами свойства и на полуслитное написание *bel-amî* у Мопассана!). Теперь нам понятна его языковая и связанныя неразрывно с ней - культурая сущность. Для окончательного понимания полезно иметь в виду, что при этом нашел выражение аналитизм французского языка, который может иметь в русском иноструктурный - синтетический эквивалент, и, дабы покончить с устаревшим буквализмом передачи *bel-amî* - "милый друг", мы переведем "*Bel-amî*" Мопассана русским обозначением неподлинного друга - "Дружок".

Сила традиции велика, и роман будет продолжать выходить под прежним неправильным названием. Но для нас важен главный результат: безотносительное значение данных языка для понимания культуры. Впрочем, эта вступительная французская притча, возможно, еще пригодится нам в дальнейшем и своей антитезой *amî* - *bel-amî* для правильного понимания других подобных противопоставлений ('подлинный' - 'неподлинный') и их имплицитного смысла 'свой' - 'не свой', включая и случаи эксплицитного выражения этого основополагающего смысла противопоставления, особенно интересные для нас.

1

Тема праславянской культуры (на базе славянской этимологии и ономастики), можно считать, восходит к теме состава праславянского словаря, представленной в качестве моего доклада на V Международный съезд славистов - тоже в Софии, в 1963 г. [2], т.е. двадцать пять лет назад. Тогда реально-семантический подход был для нас подчиненным, второстепенным, а в центре внимания автора находились структурно-словообразовательные и изоглоссные исследования.

Сейчас мы обращаемся к реально-семантическому аспекту и берем за его основу не категории внешнего мира и вытекающие из них абстракции, как это делали цитировавшиеся нами тогда Дорнзайф и Бак (за более подробными справками позволю себе отослать читателя к тексту своего доклада 1963 г.), и начинаем не с бога и религии (как это сделал Касарес). Последнее представляется определенной идеологи-

ческой передержкой даже для современного языка (или, может быть, испанский составляет здесь исключение?), но и для древности, в частности - для праславянской, этот второй подход (последовательность, иерархизация), как это ни странно, обернулся бы определенной модернизацией и анахронизмом.

Мы начинаем с человека и выражений (praslavianskikh и более древних) его отношения к главным моментам его жизни (рождение, смерть), к его статусу среди себе подобных - прежде всего - и в окружающем мире вообще. Разумеется, не приходится и думать о том, чтобы охватить в едином обзоре сразу все отношения человека ко всем моментам и объектам, да это и не было нашей задачей. Задача состоит в том, чтобы выявить главное, что в известной степени гарантируется правильным определением ключевого слова, каким для древних славян и их культуры было слово (и гнездо) 'свой'. Как мы можем представить себе это сейчас, древний славянский человек стремился понять себя и все с собой связанное. Таким образом, цель наших далеких предков не так уж далека от неизменной высшей цели самой высокой науки также нашего настоящего и будущего - познать самого себя. Не зная этого завета современной им античной греческой учености, носители праславянского языка выражали приблизительно те же стремления.

Выбор такого именно аспекта - взгляд древнего славянина на себя самого и на свои отношения к остальному окружающему миру - позволил уделить одно из центральных мест гнезду слов и понятий 'свой', многообразно манифестирующееся на славянском и индоевропейском материале. Если добавить, что при этом достигается хотя бы в какой-то степени взгляд на праславянскую культуру изнутри, глазами и умами ее носителей, то можно согласиться, что это предмет, достойный внимания науки.

Несколько предвосхищая часть дальнейших рассуждений, все же отметим, что при рассмотрении темы "Культура" аспект, выраженный кратко противопоставлением 'свое' - 'не свое', приобретает основное значение, ибо что такое культура (лат. *cultura* буквально - "возделывание", а у Чехов до сих пор есть хороший пурристический синоним-калька *vzdělanost*, *vzdělání* 'культурность, культура') как не возделывание, культивация своих отношений, потребностей, возможностей ко всем мыслимым объектам. При взгляде на культуру как на 'свой' комплекс представлений, отношений, навыков применительно к себе и к окружающему миру становится доступнее мысль о важности не только эксплицитной, но и имплицитной, всепроникающей культурной дихотомии 'свое' - 'не свое'. Вместе с тем при всей кажущейся универсальности этого культурного противопоставления имеет смысл сосредоточиться на его наиболее ярких - эксплицитных проявлениях, которые отмечаются для индоевропейского, а в рамках индоевропейского, по-видимому, наиболее полно - в славянском. Это не может не вызвать у нас в памяти все тот же образ концентричности в отношениях между славянским и всем остальным индоевропейским этноязыковым пространством - концентричности, к которой мы приходили и в продолжающихся разысканиях поэтногенезу славян.

Как и исследования по этногенезу славян, так и исследования в области праславянской культуры в немалой степени вырастают из нашей многолетней работы над праславянским лексическим фондом при подготовке Этимологического словаря славянских языков, 13-м выпуском которого заканчивается праславянская лексика на К-. Однако трудно да и не обязательно ограничивать свои суждения о праславянской культуре несколько произвольными рамками словарного алфавита от А до К (хотя это и имеет свои удобства, поскольку есть возможность опереться на уже готовые, достаточно оригинальные этимологически и построенные, это следует отметить специально, с постоянным вниманием к культурному аспекту выпуски нашего ЭССЯ). Больше того, хотя нечто подобное и планировалось нами первоначально, соблюсти это не удалось, и читатель, надеюсь, нас не осудит за то, что он не получит педантичный отчет об итогах исследования культуры праславян в ЭССЯ от А до К. Это не означает, конечно, что мы полностью избегаем говорить о "культурных" итогах ЭССЯ А-К, если они покажутся нам заслуживающими читательского интереса. Мы равным образом привлекаем спорадически и славянский материал от L до Ž, опираясь на свой опыт прежних исследований в области происхождения славянской лексики материальной и духовной (специально - языческой) культуры. Однако, даже если читатель и уверился в том, что интерес к истории культуры не был чужд автору этих строк раньше (ср. и итоговую статью [3], где уже выдвигалась проблема этимология и история культуры), мы все же не вправе затушевывать наметившееся различие между исследованиями по лексико-семантической реконструкции (этимологии), где реконструкция культуры сводится в основном к наличию культурного фона (план реалий), и исследованиями, где главный сюжет - реконструкция самой культуры. Существуют различные градации сочетания одного и другого, но преобладают все-таки работы по этимологии с моментами культуры при практически полном отсутствии, скажем, лингвистических опытов реконструкции целых фрагментов культуры или таких же работ, претендующих на раскрытие духа древней культуры.

Только в отношении прозрачных поздних слоев культурной лексики можно утверждать (хотя и это представляется не вполне основательным оптимизмом), что "анализ и комментирование связи между историей языка и историей общества - это легкое, увлекательное и часто весьма поучительное дело" [4]. Большинство же исследователей слишком хорошо знает, как затрудняется это "легкое" дело сложностью семантических изменений, в которых, по распространенному мнению, преобладает отсутствие регулярности и закономерности. Однако все изменения значений слов (даже так называемые "окказиональные") по-своему закономерны, все дело в нашем знании или, чаще, незнании всего семантического контекста, который состоит не только из лингвистических, но и из культурных звеньев. Естественно, что лингвисту приходится трудно в тех случаях, когда семантическая мотивация носит интердисциплинарный характер, т.е. не только и не столько языковой, сколько культурный (*kulturbedingt*). К этому надо присовокупить и не всеми в нужной степени сознаваемую

непрямолинейность собственно языкового отражения внеязыковой действительности. Так, с точки зрения "однонаправленной" языковой семантической эволюции непонятно, например, как получилось значение нем. *nüchtern* 'трезвый', которое заимствовано из лат. *nocturnus* 'ночной', ведь 'трезвый' – это попросту 'непьяный', ср. лат. *sobrius* в отношении *ebrius*, или – 'сухой, давно не пивший, жаждущий', как допускают для слав. **terzvъ*. Когда не помогает и лингвистическая типология такого рода, остается прибегнуть к культурной истории (которая, к счастью, известна в данном случае); последняя подсказывает, что *nüchtern* – слово монастырское, ср. развитие в той же среде у смежного лат. *matutinus* 'утренний' значения 'неевший, голодный' [5]. Еще скромнее выглядят собственно лингвистические возможности раскрытия эволюции семантики, например, нашего слова *токсический*, *токсичный* 'ядовитый, отравляющий'. Это в общем международное слово попало в русский, по-видимому, через франц. *toxique* из греческого. Но в греческом оно прочно связано с гнездом *τόξον* 'лук, *arcus*' – *τοξικός* 'лучный'. Впрочем, у Аристотеля отмечается употребление *τοξικόν* в значении существительного – 'яд, которым смачивают стрелы' [6], вторичность этого употребления ясна из формы среднего рода по причине согласования этого первоначального прилагательного с субстантивом *φάρμακον*: *τοξικὸν φάρμακον*, буквально 'лучный яд, яд для лука'. Это тот случай, когда лингвистически "окказиональное" семантическое изменение обретает полную закономерность в контексте культурной семантики.

2

Прежде чем вступить *in medias res*, необходимы некоторые методологические уточнения. Поскольку в дальнейшем придется так или иначе касаться обсуждаемых в литературе проблем классификации и хронологии, необходимо заранее разъяснить свое априори сдержанное к ним отношение, на первых порах – не вдаваясь в детали, а с общеметодологических позиций. Классификационные и периодизационные схемы обычно занимают видное место в исследованиях, эффект точности особенно усиливается, если, например, периодизация выражается в точных датах летосчисления. Но ведь и здесь позво-лительно робкое сомнение вроде того, что обязательно ли, например, считать век XIX в истории культуры абсолютно идентичным календарному XIX веку. И это, пожалуй, не самое главное. Склонность к классификациям и схематизму побуждает исследователя делить факты на релевантные и иррелевантные (несущественные, менее важные), причем последние он подчас опускает и тем самым как бы превышает собственную компетенцию, моделируя и – обедняя предмет исследования, и кончает тем, что изучает уже не объективную данность, а собственную схему. Потому что и хорошая схема, и правильный закон беднее самой плохой и неправильной действительности. Теперь, пожалуй, о наиболее важном – о границах предпринимаемой в исследованиях сегментации изучаемого объекта. Нередко изучаемый объект не умещается в рамках, отведенных ему исследователем, и при этом не всегда можно сказать, что исследователь закрывает на это глаза или просто не видит этого несоответствия; нет, он соглаша-

ется с этим и просит смотреть на свою схему (или классификацию) как на "рамочную конструкцию" (есть теперь такой удобный термин), а ниже (как, впрочем, и выше) исследователь забывает об оговорках и ограничениях и уже хочет, чтобы читатель верил в реальность рамок его рамочной конструкции, как верит в нее он сам. К примерам мы еще вернемся.

Конечно, многим из этих упрощений мы обязаны прошедшей эпохе структурализма, который учил резко делить все на ревантное – неревантное, оппозиции ставить выше субстанций, а превыше всего ценить "строгость" описания. Но что такое строгость? – Это опять все та же контрастная черта схемы там, где реальная картина сплошь и рядом предъявляет полутона и нечеткий переход. Здесь уместно вспомнить слова Витгенштейна: "Является ли вообще смазанное понятие понятием? Является ли неясный снимок фотографией человека? Да и всегда ли полезно заменять неясную фотографию четкой? Не окажется ли зачастую неясная именно тем, что нам нужно?" [7]. Поэтому, вероятно, заранее лучше допустить, что нечеткость очертаний, границ, классов по крайней мере не менее реальна, чем четкость, и даже встречается в действительности гораздо чаще; в особенности это относится к так называемым хронологическим периодам, их смене и принципиальной, как мы полагаем, нестрогости их границ. Опирая такими понятиями, как "нестрогость", трудно выглядеть убедительным, но это уже скорее феномен из области исследовательской (и читательской) психологии, когда резкая смена (весьма условных) этикеток, например, (1) "индоевропейский" – (2) "prasлавянский" как бы имплицирует столь же резкую смену одного соответствующего периода другим, чего на самом деле, конечно, не было. Как было на самом деле, трудно сказать, и, чем больше об этом пишут и публикуют, тем все труднее. Создается впечатление, что пробиться к истинному пониманию можно, лишь преодолев большинство устоявшегося, канонизированного в этой области. Здесь, чтобы не повторять кое-что из положений своей серии "Языкознание и этногенез славян" (критика теорий "непротиворечивой модели" праславянского, исходного славянского единства, *reductio ad unum* и т.д.), скажу лишь, что по-прежнему рассматриваю индоевропейский как фон и предысторию славянского. В соответствии с этой лингвистической концепцией направление реконструкции от славянской и праславянской культуры к праиндоевропейской представляется мне естественным. Надеяться, что спорные вопросы, поднятые, в частности, мной, очень скоро будут решены в желательном для автора духе, вряд ли можно. Я, например, писал и считаю, что не совсем корректно продолжать постулировать (постпопурировать) какое-то одноразовое начало диалектного членения. Членение на диалекты изначально, а в книге Гамкрелидзе и Иванова [8, II, с. 865] по-прежнему говорится о начале диалектного членения общепраиндоевропейского языка и делается попытка датировать это членение V–VI тысячелетием до н.э., – время, конечно, отдаленное, но ведь постпозиция диалектного членения сомнительна в принципе. По-прежнему исследования в основном протекают в направлении прямолинейной реконструкции общей древности. К славянскому языковому и культурному материалу подходят, имея в руках пред-

варительно заготовленный индоевропейский вопросник (*questionnaire, inventory, Fragebogen*) и проверяют, соответствует ли славянский образ культуры, например, в мифологии, обще индоевропейской модели, сожалением отмечая при этом некоторые лакуны в индоевропейском наследии славян [9]. Можно почти с уверенностью утверждать, что во всей новейшей литературе вопроса мы вряд ли найдем попытку проекции (пра)славянских "лакун" в праиндоевропейскую древность, а между тем введение именно этого аспекта, наверное, весьма освежило бы исследование, обогатив его проблематику тем, что можно назвать диалектологией культуры. Обращает на себя внимание то, что, например, о региональных славянских микрокультурах или культурных ландшафтах считают возможным говорить применительно к позднему средневековью (ср. ряд работ Х.Бирнбаума, Лос-Анджеles, приуроченных к IX Международному съезду славистов). Что же касается праславянской эпохи, то по-прежнему, казалось бы, *consensus omnium* можно выразить словами Р.Якобсона: "Относительное языковое единство и незначительная диалектная дифференциация славянского мира вплоть до конца I тысячелетия н.э. и, в частности, значительное лексическое единобразие славянских дохристианских верований подтверждает предположение существенного единства культа первобытных (*Primitive*) славян" [10]. Едва ли можно в настоящее время продолжать некритично принимать это заключение, в котором почти каждый пункт нуждается в корректировке.

Исследование культурного выражения посредством специальной лексики (*Kulturwörter*, культурные слова) известно уже давно. При этом речь идет о массе слов, нередко - ограниченного веса и употребления. Этим объясняются поиски, проводимые наукой последнего времени по выявлению словарных единиц более высокого порядка, которые, несмотря на свою малочисленность, помогали бы достижению основной цели - раскрытию духа культуры: ключевые слова. Можно говорить о типах ключевых слов и о типах культур, что делает понятной важность первых для изучения последних. В качестве примера ключевого слова и культурного понятия полезно привести др.-инд. *ṛtā-*, само толкование значения которого вырастает в философскую проблему, поскольку речь идет об универсальном космическом законе, всеобщей истине, мировом порядке [11, с. 139, 142 и сл.]. Ясно, что такое сложное и обобщенное понятие предполагает долгое предшествующее развитие и поэтому сочетается с утонченно развитым мировоззрением. Тем самым отсутствуют данные, которые бы оправдывали, скажем, реконструкцию ключевой позиции др.-инд. *ṛtā-* и его праграммы для индоевропейской древности. Несмотря на существующие догадки о корневом родстве *ṛtā-* и праслав. **r̥ēdъ* 'ряд, порядок' [11, с. 152], ни это последнее, ни родственное слав. **por̥ēdъkъ* 'порядок' не претендуют на роль ключевого слова славянской культуры, что распространяется вообще на всю терминологию порядка и закона в славянском лексиконе и славянской культуре: все это слова нужные, но не поднимающиеся выше ограниченной сферы употребления. Раньше подобные факты однозначно толковали как доказательство славянского анархизма, чему способствовали и предания самих славянских этносов, с огорчением кон-

статировавшие наличие у них того, что, скорее, подходит под рубрику **ne-r̥edъ*, чем **r̥edъ*. Но в том, в чем другие ничего, кроме анархизма, видеть не желали, мы видим архаизм, древность, много большую, чем *r̥tá-* в соцветии своих все-ленских смыслов, формирование которых современно, конечно, более развитому и, тем самым, более позднему обществу. Впрочем, среди употреблений древнеиндийского (или - несколько шире - индоиранского) *r̥ta-* хочется обратить внимание на некоторые, если не ошибаюсь, не нашедшие места в обстоятельнейшем очерке В.Н. Топорова. При этом выделяются, как нам кажется, в качестве наиболее древних значений этого слова не вышеперечисленные и не "истина в самом широком плане", а довольно конкретные: *r̥tá-* 'подлинный, настоящий' и его оппозит *áryta-* 'неподлинный, ненастоящий'. Сюда относятся этнические названия *"Avaarto"* (*Ptol.*), *Anartes* (*Caesar*) на территории Дакии, в северной Венгрии, там же - '*Avaarto-fónitos*' (*Ptol.*) и, наконец, след., по-видимому, уже чисто индоарийского (прандийского) **r̥ta-br̥(i)ta-* 'настоящие наемники', реконструируемого нами на основании *Eteobrotos* у Равеннского Анонима, собственно - греч. 'Етено-бротов', в азиатском Боспоре, где индоар. *r̥ta-* калькировано греческим *ἐτεός* 'истинный, верный'. Любопытна здесь этническая сущность *r̥ta-/arta-*, которая отличает - в еще большей степени - и его греческий синоним *ἐτεός* (что касается анатотов в Дакии, то они, по сведениям древних авторов, напр. *Caes.*, *De bello Gallico*, - кельты или смешанные племена, но со временем Эфора известно, что Скифия граничила с Кельтикой, а зона этих контактов примыкала, по-видимому, к Карпатам). Еще в начале нашего очерка мы заинтересовались, правда, при совсем иных обстоятельствах (хотя и тогда, как и сейчас, речь шла о человеческих отношениях) противопоставлением 'подлинный' - 'неподлинный', а также его имплицитно выраженной сущностью 'свой' - 'не свой'. Думается, именно эту уловимую семантику др.-инд. *r̥tá-* можно, в первую очередь, отнести к (преобразованным) архаизмам индоевропейского, причем скорее его семантики, чем лексики. Эксплицитно-лексически этот архаизм представлен в и.-е. **w̥yēt-*, на совершенно особую роль которого уже обращали неоднократно внимание другие исследователи, ср., напр. [12] (с авторами хочется полностью согласиться, когда они указывают на архаизм оборотов, сохранившихся в современных славянских языках: *свои*, *свои люди*, но присываемая ими (а раньше них Бенвенистом) индоевропейскому **w̥yēt-* семантика 'свой брачный класс' выглядит излишне специализированной). Прямым продолжением и.-е. **w̥yēt-* является слав. **svojoj*, ключевая позиция которого в славянской лексике и культуре представляет собой удивительный степенью своего сохранения архаизм. Собственно, именно лексико-понятийное гнездо слав. **svojoj* дает возможность аналогичной реконструкции и и.-е. **w̥yēt-* как ключевого слова еще более древней культуры. Таким образом, если считается возможным говорить о ключевых терминах отдельных тематических групп лексики, как это делают применительно к словам **sqdъ*, **r̥edъ* в языке древнего славянского права [13], то слав. **svojoj* представляется нам ключевым словом славянской и праславянской

кой культуры в целом, принимая во внимание его уникальное сочетание, синкретизм прономинальных функций и различных родоплеменных терминологических истоков (с развитием также в терминологию родства, жизненного статуса, самосознания и праведной смерти, подробности в силу их значительности для исследуемого предмета будут обсуждены ниже), т.е. фундаментальную архаичность, в соединении со столь же редкостной неугасающей активностью и по-прежнему живыми связями с категориями самосознания и мировоззрения славян как древнего, так и нового времени. Достаточно вспомнить страстное обращение к болгарам Паисия Хилендарского (XVIII в.) в его "Истории славеноболгарской": Ты, болгарине, не прелащаи се! Знаи свои родь и газикъ. Модель 'свой род' - несомненно, праславянская и праиндоевропейская, и даже если индоевропейская реконструкция слав. *rodъ (*ordъ?) вызывает ряд затруднений и если праславянскому словосочетанию *svoјъ rodъ предшествовало в том же значении и.-е. *sъdъ- geno- (что не представляется обязательным для всех ветвей индоевропейского), то абсолютна лишь сохранность члена *sъdъ-. Неугасающая активность слав. *svoјъ вплоть до современных славянских языков - это тоже не пустые слова. Замечательно, что и в современном русском словарном составе слово *свой* входит в первые три десятка наиболее частотных слов (А.Ф.Журавлев в Институте русского языка АН СССР проделал по моей просьбе соответствующую проверку по частотным словарям Э.А.Штейнфельдт и Л.Н.Засориной; результат: 27-ая/28-ая позиция слова *свой* в общем частотном списке). По всей видимости, мы имеем здесь дело со словом огромной не только языковой, но и социально-культурной значимости, и атрибуция этому слову функции ключевого слова культуры в целом не будет преувеличением. В праслав. *svoјъ - и.-е. *sъdъ- никогда не стиралась адресованность к человеку, заданная этимологией слова (об этом см. ниже). То, что вышеизложенное далеко от банальности, доступно определенной, хотя и косвенной проверке. Проблема ключевых слов на протяжении ряда лет занимала участников боннского лингвистического коллоквиума, издавшего затем серию "Европейские ключевые слова" [14; 15]. Вся серия посвящена примерно пятидесяти отобранным важнейшим словам "нашей европейской современности", духовной и общественной сферы, исследуются слова и понятия 'благородный', 'работа, труд', 'культура' и др. Отдельные наблюдения представляют несомненный общий интерес, в частности, в плане теории языкового отражения действительности; так, мы узнаем, что именно выражение *common sense* 'здравый смысл' поднялось до уровня ключевого слова английского языка [14, с. XII]. Предостеречь от прямолинейных заключений поможет, далее, вывод, что ни в одном из высококультурных западноевропейских языков в роли ключевых слов не выступает ни англ. *intelligence* 'разум', ни его синонимы [14, с. 18]. Но главный для нас вывод сделаем мы сами: насколько можно судить по доступным мне томам серии "Europäische Schlüsselwörter", в обследованных языках Западной Европы нет никакого намека на ключевую позицию слова и понятия 'свой' и чего-либо отдаленно напоминающего преемственность и.-е. *sъdъ-,

и это вдвойне любопытно в сравнительном и типологическом отношении, поскольку мы там имеем дело с индоевропейскими языками, а относительно некоторых из этих языков в последнее время даже выдвигаются с разных сторон положения об особой их архаичности в индоевропейском плане (здесь отметим кратко лишь работы Поломе о германских языках).

3

Таким образом, не лишне указать на различия между исторической лексикологией и историей, особенно реконструкцией культуры. Для исторической лексикологии характерна ориентация на культурные слова, термины, практически вообще всю лексику. Отсюда в идеале историческая лексикология языка – это прежде всего исчерпывающая инвентаризация и классификация его словарного состава. Ср. труд по русской исторической лексикологии В.Кипарского с довольно подробными списками *Erbwörter* – *Fremdwörter* – *Neubildungen*[16]. Этого недостаточно, как мы выяснили выше, для реконструкции древней культуры, потому что, если историческая лексикология – инвентарь, то реконструкция древней культуры – это реконструкция духа культуры. Здесь многое решает уже упоминавшаяся выше установка на ключевые слова, а отнюдь не полнота инвентаря всех лексических средств выражения культуры, что позволяет пойти на преднамеренную, допустимую неполноту и избирательность в отношении последних. Раскрытие духа культуры приближает нас к проблеме реконструкции древней идеологии, убеждает в том, что аспект самосознания и мировоззрения – главнейший аспект человеческой культуры, в том числе культуры древних славян. Поэтому мы и впредь будем реагировать критикой или конструктивной контраргументацией на рассуждения, подобные нижеследующим: "Не существовало единого праславянского народа, а также мы не можем допустить существование чувства славянской этнической общности" [17, с. 414]. "Носители этой новой *lingua franca* начали теперь усваивать профессиональное название склавин (неславянского происхождения) в качестве самообозначения, в результате чего создалась иллюзия, что этническое сознание существовало давно, в отдаленные праславянские времена" [17, с. 423]. Мы располагаем сейчас фактами, говорящими о том, что не только в средневеково-праславянскую эпоху, но и в предшествующие эпохи существовало и получало разные выражения этническое и – его предшественник – родовое самосознание.

Капитальная индоевропейско-славянская культурная оппозиция 'свое' – 'не свое' побуждает нас ближе заняться обоями членами оппозиции и их древними истоками и осмыслением. Средоточием индоевропейского самосознания было **z̥e-*/ **z̥o-*, а его оппозит воплощал как бы отрицательное самосознание, в иных (лингвистических) терминах – был функционально и семантически маркирован. Это порождает быструю смену, вообще – неустойчивость, пестроту выражения данного члена оппозиции, которому незыблемо противостоит, прослеживаясь до самых древних времен, положительное и.-е. **z̥e-*/ **z̥o-*. Определенным непониманием этой лингвистической маркированной сущности отличается рассуждение Дюмезиля, когда он разбирал оппозиты ведийского *sva* 'сии' с их

главным значением 'чужой' и более специальными 'гость', 'враг', 'дикарь' (*ari*, *áraṇa*, *dásā*, *dasyu* и т.д.). Он твердится в догадках о понятии 'чужой', готов искать в нем "позитивный смысл", но ввиду разошедшейся терминологии, а также по общим соображениям допускает, что 'чужой' - поздний продукт ума [18, с. 178-179]. Но это, конечно, ошибочный путь с самого начала; 'чужой' - это прежде всего не позитивная семема, он издревле воплощает негативное самосознание ('не свой'), а остальное - упомянутую пестроту - взгляд современного лингвиста быстро распознает как естественную недолговечность, стираемость, быструю сменяемость экспрессивно отмеченного оппозита 'чужой, не свой и т.д.'. Надо сказать, что недостаточно конструктивными оказываются и суждения Бенвениста на эту тему, когда он приходит к выводу, что "нет 'чужого' самого по себе" что 'чужой' всегда предстает в более конкретной ипостаси 'врага', 'чужестранца' или 'гостя' [19, с. 368]. Но с еще большим правом, особенно после сказанного выше, мы можем констатировать, что 'враг', 'чужестранец', 'гость' (список ипостасей 'чужого' можно продолжить и дальше: 'дикарь', см. Дюмериль, выше) - это всякий раз вторичные конкретные манифестиции фундаментального значения 'чужой' = 'не свой', выражавшего отрицательное самосознание человеческого рода.

Мы не случайно заговорили о роде, *scire licet* с его роде, продуктом идеологии которого является функционально-семантическое содержание и.-е. **s̥ye-*, слав. **vnojъ*. Отмечаемая до сих пор такая черта слов. **vnojъ*, russk. свой как отсутствие противопоставления коллективности и индивидуальности (я - свой, мы - свой, при нем. *ich* - *mein*, *wir* - *unser*) представляет собой выдающийся и еще не в полной мере оцененный индоевропейский архаизм славянского языка и культуры, знаменующий собой живую традицию первоначальной этимологии и.-е. **s̥i-* и изначальной идеологии рода, о которой см. также ниже. Таким образом, и.-е. **s̥uo-s* 'свой' "лежит вне категории лица", как верно отметил Бенвенист [19, с. 361], больше того, оно может быть правильно понято лишь при признании примата коллективности. Это подводит нас к этимологии и.-е. **s̥ye-* как расширения первоначального **s̥i-* 'род, рожать', обоснованной, например, у Семерены [20, с. 42 и сл.]. Правда, эта концепция еще нуждается в дальнейшем развитии, скажем, постулат "существования имени **s̥i-*" у Семерены [20, с. 45;ср. еще 21, с. 187] может показаться голословным ввиду наличия откровенно от глагольных, причастных названий сына и.-е. **s̥ini-*, **sutoj-* с корнем **s̥i-*. Эта глагольная сущность и.-е. **s̥i-* позволяет иначе оценить и доместоименную адъективность и.-е. **s̥uo-s* 'свой' ← 'родной, родовой' ← 'родить', рассматривая **s̥uo-s* как стадию *pronomēn* = *praenomen* (ср. то, что говорится у нас далее о первоначальной атрибутивности).

примиримого противостояния, сообщаются между собой и мирно уживаются, четкое разделение труда всегда вторично и как правило проблематично. Огромное большинство феноменов культуры и их языковых выражений производно и вторично (что прямо относится к методике избирательности в истории и реконструкции культуры и методике ключевых слов, ср. выше). Сама языковая номинация реалий при детальном рассмотрении способна обескуражить своими проявлениями некой цикличности. Так, в споре о том, какой принцип номинации вернее - "имя раньше вещи" (*nomina ante res*, A. Goetze apud Knobloch [22]), причем имеется в виду ситуация, когда слова первоначально обозначали другие вещи, а не те, которые они стали обозначать потом, - или принцип "имя после вещи" (*nomina post res*, см. Кноблох [22], близкие мысли о естественном "отставании" традиционной терминологии культуры от реального прогресса самой культуры развивались и в нашей книге "Ремесленная терминология славянских языков" 1966 г.), - в этом споре, как кажется, не остается другого выхода, кроме как признать относительную спра-ведливость обоих принципов.

Древние славяне, продолжавшие жить в стадии индоевропейской родоплеменной организации, были, несомненно, земледельцами, и реконструкция культуры почерпнет при этом больше из данных языка, свидетельств лексики, а также ономастики, чем из позитивистской истории, принимающей на веру рассказы византийских историков, церковных и военных деятелей о славянах как бездомных бродягах, лесных жителях и грабителях (ср. исследования по славянской топонимии в Греции, убедительно показавшие, что славяне здесь занимались корчеванием, земледелием и даже торговлей для сбыта излишков своего земледельческого производства, см. [23; 24]). Добавим, что всю соответствующую культурную терминологию славяне принесли с собой на крайний юг Балканского полуострова как уже готовую. Преимущественно земледельческая культура славян оказывала влияние на формирование также других, неземледельческих культурных понятий и терминов, что ведет свое начало в принципе еще к индоевропейскому (примеры того и другого будут даны ниже). Но говорить о славянах только как о земледельцах нельзя, правильно сказать, что это земледельцы-скотоводы. Но и это определение будет неполным, если не упомянуть о сезонном собирательстве славян (примеры - ниже), занятиях, безусловно, более древнем, чем земледелие. Занятия доземледельческого периода продолжали сохраняться у славян наряду с земледелием. То же и в еще большей степени можно утверждать о древних индоевропейцах, скотоводах и земледельцах. Отрижение Марией Гимбутас самобытных корней земледелия индоевропейцев ("The hypothetical PIE language does not reflect pre-agricultural conditions" [25, с. 193]) объясняется недостаточным знанием свидетельств языка и произвольным толкованием свидетельств археологии.

Земледелие у славян принадлежит к числу индоевропейских традиций, т.е. носит очень древний характер. Исследователи отмечают, что среди основных славянских земледельческих терминов нет ни одного надежного балто-славянского

новообразования [26, с. 131]. Уже указывалось, что древнейшее славянское производное с суффиксом *-'an-* это **sedl'anę*, которое обозначает оседлую, преимущественно земледельческую группу населения [27, с. 15]. При всей древности земледельческой культуры славян и наряду с ней, сохраняется еще более архаичная культура собирательства, терминология которой у славян обнаруживает даже относительные новообразования, в частности, среди лексики заготовки впрок листьев и веток деревьев и кустарников на корм скоту, ср. **brvščob'lānъ* (и варианты), название плюща и бересклета, < **brv̥sati*, **brv̥skati* 'счесывать, сбрасывать' (ЭССЯ, вып. 3, с. 59–61). В общем только славянское распространение имеет одно специальное название породы дуба – **bēstīnъ*/**bēstīna*, хотя на его базе даже реконструировали и.-е. **kesmo-s* 'обрывание листьев', сюда же, в конечном счете. **bēsatī*, русск. *чесать*, в смысле 'обрывать, счесывать (листья)' (ЭССЯ, вып. 4, с. 88). Из этой терминологии собирательства, пожалуй, только название дерева **grab(r)ъ* соотносимое со слав. **grebtī* в указанном выше значении 'сгребать, срывать', имеет также индоевропейские диалектные соответствия в близких названиях деревьев: др.-прусск. *wosi-grabis* 'бересклет', умбр. *Grabovius*, собственно 'дубовый', эпитет Юпитера, макед. γράβιον 'факел' (< 'дубовый'?) (ЭССЯ, вып. 7, с. 99). Кроме этой лексики собственно собирательства как занятия, более древнего, чем земледелие, имеются языковые, лексические следы специально доземледельческих значений, в том числе и в земледельческой терминологии. Они имеют в наших глазах принципиальную важность, потому что могут показать самобытную природу земледелия (вырастание из доземледельческих занятий), например, у индоевропейцев. Ведь известно, что, если кто-либо желает, как Гимбутас, обосновать приход индоевропейцев в Европу извне и их чисто кочевнический быт, то этот исследователь стремится сделать акцент на том, что индоевропейцы переняли земледелие и его лексику у других; Гимбутас, в частности, как мы цитировали выше, отрицает в праиндоевропейском языке отражение "доземледельческих условий" [25, с. 193]. Однако такие отражения есть, и они нуждаются в дальнейшем изучении. Ярко земледельческий, культурный отпечаток несет на себе индоевропейское название семени – **zētēn-*, собственно, 'сеемое, то, что сеют', прекрасно сохранившееся в слав. **zētēr*, русск. *семя*, мн. *семена*, ср. новообразование праслав. диал. **na-zētъje* (польск. *nazieñie*, укр. *насіння*) с тем же корнем. Ясно, что доземледельческое название "нeseемого" семени растения должно было быть принципиально другим, и мы находим его в заимствованных истоках слав. **koporja* 'конопля' – др.-инд. *kāpa-* 'зерно, семя, крошка', индоир. **kana-*, сюда же греч. κόπις 'пыль', лат. *cinis* 'зола, пепел', ср. далее, греческое название семени, семечка, зернышка, с чертами экспрессивности (ЭССЯ, вып. 10, с. 191). Семантика доземледельческого названия семени ясна (насколько само наличие такого названия установимо, потому что в ряде случаев его просто нет): 'пылинка, порошинка'.

Но особенно показателен случай с и.-е. **ag-* 'гнать и т.д.' и его гнездом, будучи прямым свидетельством в пользу самобытности, незаимствованности индоевропейского зем-

леделия и существования собственных доземледельческих истоков индоевропейской культуры земледелия и его терминологии. Эта лексика с корнем **ag-*, правда, полностью отсутствует в славянском, но данное обстоятельство лишь служит примером диалектной сложности индоевропейского словарного состава. Р. Анттила продемонстрировал в своем этюде, что корень **ag-* объединяет не только земледельческую и скотоводческую терминологию (**ag-ro-* 'скотоводческий выгон' и 'пахотное поле'), но и лексику собираательства и охоты [28]. После этого нельзя видеть в и.-е. **agro-* земледельческий термин без собственной предыстории; еще меньше оснований считать этот индоевропейский термин ближневосточным заимствованием (ср. шумер. *agar* 'орошаемая территория, нива') или постулировать на таком материале "связь и.-е. земледелия с методами обработки земли в Шумере" (см. [8, т. II, с. 877], где дается и.-е. *a^kro-* 'поле', 'нива', но ср. [8, т. II, с. 868], где называется **Hakro-* 'невозделанное поле').

Индоевропейско-славянская эволюция терминологии земледелия отразила как чисто языковые процессы, так и развитие самих реалий. Достаточно вспомнить эпизод с бороной, для которой в ряде индоевропейских (западных) языков имелось название **o^ketā* или **o^ketā*, ср. др.-в.-нем. *egida*, лит. *e^kēbⁱos*, неизвестное в славянском, который имеет свое, только славянское название **borna* [29, с. 285–286]. Такая смена, если она, действительно, имела место, могла бы опираться и на данные культурной типологии, и на показания этимологии. Ясно, что более древнее название борона можно было бы синхронизировать с более древним типом реалий, каким была примитивная борона, а вернее – ствол ели в качестве борона. Более новой и сложной технически бороной оказалась, как известно, четырехугольная рама с решеткой, усаженной многими зубьями, обеспечивавшими более эффективное размельчение почвы, для чего потребовалось производное от более экспрессивной глагольной основы **bher-* 'резать, вспарывать'. Перенос 'борона' → 'решетчатая дверь' косвенно подтверждает реальный аспект реконструкции, т.е. то, что праслав. **borna* обозначало более совершенную четырехугольную борону (подробнее см. ЭССЯ, вып. 2, с. 204–206). Смелое предложение В. Борыся считать живым продолжением вышеупомянутого и.-е. **o^ketā* славянское **o^ketvъ*, которое он восстанавливает на базе блр. *acēcъ* (и т.д.) 'сушильня для сполов', russk. dial. *ocētъ* то же, польск. dial. *jesieć* 'решето, сито' (см. [30; 31]), как раз упирается в реально-семантические трудности, поскольку лексическому арханизму (славянское продолжение и.-е. **o^ketā?*) приписывается инновационное значение 'четырехугольная борона-решетка с зубьями', надо сказать, ни где у слав. **o^ketvъ* не засвидетельствованное.

Здесь нет ни возможности, ни необходимости равномерно обозревать славянскую терминологию, например, злаковых, однако имеет смысл выделить отдельные эпизоды или связи, на которые следует обратить внимание в реконструкции древней земледельческой культуры славян. Недостаточно исследовано русское название невымолачиваемой пшеницы *Triticum spelta* – *поблба*, которое, при всей скучности (и даже отсутствии) данных по истории слова, очевидно, продолжает еще праслав.

диал. **pṛlba*, особое суффиксальное производное на *-b-* от того же корня, что и лат. *pūls*(основа *pult-*) 'каша из полбы', *pultāre* 'толочь' (отношение к нем). *Spelt*, *Spelz* 'польза, *Triticum spelta*' не совсем ясно, носр. ссылку Иеронима, IV-V вв., на происхождение лат. *spelta* "из паннонского", а также указание на невымолачиваемость зерна как на характерный признак полбообразных сортов пшеницы, см. [5, с. 723]). Присутствие здесь - в связанным виде - особого индоевропейского глагола 'толочь, молотить', отличного от распространенных в славянском **telkt'i*, **pṛxati*, **moltiti*, а именно - и.-е. **pel-/pṛl-*, было бы, в случае правильности сближения, еще одной изоглоссной связью праславянского языка и культуры с культурой Центральной Европы.

Вообще в освещение вопроса об отношении индоевропейцев и их культуры к (центральной) Европе внесено немало путаницы, так сказать, общими усилиями археологов и лингвистов последних десятилетий. Достаточно сослаться на уже упоминавшуюся М. Гимбутас, которая в пределах одной небольшой журнальной статьи отмечает сначала, что овца и коза господствуют в домашнем скотоводстве всего неолита Юго-Восточной Европы и что там наличествует в то же время шерсть [25, с. 188]; в этих констатациях она, вероятно, права как археолог, выступая против Гамкрелидзе и Иванова, утверждающих обратное относительно овцы-козы-шерсти в Европе. Как известно, по Гимбутас, цивилизация доиндоевропейской Европы ("Древней Европы") носила земледельческий характер. Естественно поэтому наше удивление, когда чуть дальше [25, с. 192] Гимбутас говорит опять о "хозяйстве с наличием овец и коз" (*ovicaprid economy*), в очагах зарождения отнюдь не земледельческой, по ее концепции, - курганной индоевропейской культуры на Востоке. Куда проще и в соответствии с существованием исконноиндоевропейских слов, обозначающих овцу и шерсть-волну, допустить без лишнего скепсиса вероятие древнего пребывания индоевропейцев именно в Центральной и части Юго-Восточной Европы. Что касается названия козы, то общего индоевропейского названия нет, имеются региональные, и такое положение можно объяснить отчасти древней диалектологией, отчасти - запретами языка. Табуизацией мотивируют отсутствие единого и вообще - древнего названия охоты, хотя наличие и важность самой охоты в древности неоспорима. Правда, на этот феномен отсутствия древнего имени "охота" можно взглянуть также иначе, с позиций языковой эволюции, попытавшись, скажем, понять это отсутствие как стадиальное явление, в данном случае - невыработанность общих, родовых обозначений. Процесс формирования общего названия протекает, в свою очередь, так, как это можно наблюдать на примере с индоевропейским названием рода (человеческого): появлению субстантива предшествует появление атрибута.

Влияние земледелия, земледельческой культуры проникло еще в древности в другие области культуры и жизни. Если взять только гнездо славянского глагола **kopati*, то в нем оказывается и название земли, суши - **korpna*/**korpno*, буквально 'то, что (легко) копается', первоначально земледельческий термин, как и итальянское **trsā* (лат. *terra* 'земля'), собственно 'сухая', как полагают, ирригационный тер-

мин (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 43). Естественно, что в этом же гнезде находится слово **korakъ*, обозначающее раскорчеванный лес; поучительно, что именно из него получено румынское *corac* 'дерево (вообще)', что говорит о важности корчевания леса для славянского земледелия и о том, какое воздействие это имело на соседних носителей балканской латыни — пракрумын (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 13–14). Вторжением земледельческой терминологии и системы понятий уже в социальную сферу оказывается судьба слова **korylъ/*korulъ/*korulъ* 'ненужный, лишний отросток (который отрубают, вырывают)', а также 'внебрачный ребенок' — тоже от **korati*, здесь — 'отрубать' (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 30 и сл.).

Порождением земледельческой идеологии оказывается, в свете новой этимологии, русск. *колдун* 'чародей', первонациально 'тот, кто закручивает колосья (со злым умыслом)', вместе с другим словом *колтун* — из **koltunъ* (см. ЭССЯ, вып. 13, с. 185, 191).

Характерно, что глагол **grebtъ*, русск. *грести*, истоки которого уходят еще в практику собирательства — 'сгребать, срывать' (ср. то, что выше кратко сказано о **grabъ*, дерево граб), попал в терминологию гребли, передвижения по воде с помощью весел непосредственно из понятийной сферы обработки земли, ср. об этом Мейе у Фасмера [33, I, с. 454]. Но случаются и обратные влияния и притом значительные, например, — со стороны терминологии передвижения по воде на терминологию обработки земли. Это оказалось возможным при введении усовершенствования в способ обработки земли. Так, колесный плуг показался человеку древности плытым при сравнении с сохой, которая тащилась с трудом. Отсюда — слав. **plugъ* (**plu-g-*: **pluti*, **plovq* 'плыть', ср. **stru-g-*), послужившее источником герм. **plōga-* [32, с. 175 и сл.]. Обратный путь заимствования — из германского в славянский [5, с. 545; 33, III, с. 287] все-таки маловероятен, в частности, по формально-фонетическим причинам, поскольку герм. **plōga-* в таком случае необъяснимо в плане германского передвижения согласных, а для немецких слов, содержащих *pf* (*Pflug*), еще Хирт предполагал заимствованное происхождение. В немецкой литературе в связи с этим говорили о герм. **plōg-* как о слове, "доримского происхождения, полученным из дунайского региона" [5, с. 545], что вполне согласовалось бы с нашей концепцией среднедунайского праславянского ареала. Предположение о кельтском источнике [34, с. 437] отпадает ввиду сохранения и.-е. *r*- в начале слова, хотя такое предположение и могло бы опереться на Плиния, который приводит слово *plaumorati*, название двухколесного устройства на языке местного населения *in Raetia Galliae*. Сюда же примыкает *plovum aut aratum* в лангобардских законах VII века. Оба эти слова (*plaumorati*, где *rati pl.* — 'колеса', и *plovum*) имеют отчетливо индоевропейский, но не германский облик (ср. выше) и вместе со слав. **plugъ* образуют изоглоссную зону в Центральной Европе, где культура земледелия носила древний характер (ср. сказанное выше о полбе и ее названиях) и постоянно совершенствовалась. Вообще древнейший деревянный плуг, как считают, был найден в Восточной Фризландии (север ФРГ) и отнесен к середине IV тыс. до н.э. [35; 36], после чего трудно согласиться с

мнением, что "в Европу плуг проникает из Древнего Востока лишь не ранее середины II тысячелетия до н.э." ([8, т. II, с. 690], с литературой).

Занимаясь изучением архаизмов и инноваций культурной эволюции, среди которых при реконструкции культуры видное место занимают архаизмы мышления, мы, со своей стороны, приходим к идее изначальности идеологии рода у славян (ср. об этом [37, *passim*]). Сюда, к идеологии рода, восходит и из нее объясняется древняя индоевропейская антитеза двух глаголов 'знать', во многом слаженная и трудно восстановимая и вместе с тем сохраняющая весьма отчетливые следы своей первоначальной природы, в частности, в славянском. Речь идет о слав. **vēdati* 'знать (главным образом - вещь)' < и.-е. **uoid-* 'знать' < 'воспринимать зрением', с одной стороны, и слав. **znatī* 'знать (главным образом - человека)' < и.-е. **ǵnō-* 'знать', которое мы считаем этимологически тождественным и.-е. **ǵen-*, **ǵnō-* 'родить, быть в родстве' [38, с. 154 и сл.]. Повторяя сейчас это положение о единстве **gen-I* и **gen-II*, мы хотели бы подчеркнуть его происхождение из идеологии рода и подкрепить это ссылкой на гениальность формулы Паисия Хилендарского - *знаи свои роды*, которая воспроизводит существеннейший - еще индоевропейский - контекст (**ǵnō-* *z̥yō-ǵenom*). Сюда же относится свидетельство словоупотребления активного до сих пор русск. знаться (с кем-либо) с значением - не 'знать, *scire*', а 'быть в близких отношениях, общаться (о людях)', в котором, на удивление, до сих пор прослышивается позиция нейтрализации между **gen-I* 'быть родственным' и **gen-II* 'знать', что говорит об их этимологическом единстве. В общем сюда же относится слав. **priznati*, русск. признать, которое - особенно в контекстах типа признать свое, признать своим, признать за собой, признаться, будучи, с одной стороны, продолжением и.-е. **ǵen-II*, обнаруживает, с другой стороны, и несомненные связи с **ǵen-I* и его родовой идеологией. К. Уоткинс, специально занимавшийся русским *признаться* [39], к сожалению, совершенно не касается ни этой последней, ни проблемы **gen-I* - **gen-II*, хотя не без основания заключает свои рассуждения следующими словами: "Современное русское высказывание Он признался продолжает, таким образом, непрерывно и с замечательной точностью словесное поведение общества, возможно, давностью в семь тысяч лет" [39, с. 523].

Касаясь некоторых дальнейших архаизмов мышления, обратим внимание на коренное различие славянско-индоевропейских названий дня и солнца. Речь идет о том, что белый свет, свет, не имеющий прямого источника (рассеянный свет, как мы бы сказали сейчас), воспринимался как нечто совершенно отличное от солнечного света. Наблюдения по этому поводу содержатся у Б. А. Рыбакова [37, с. 248, 368]. Белый небесный свет, дневной свет и вообще день имеют названия - слав. **dnyъ*, и.-е. **di-/*dej-*, тогда как солнце обозначается иначе - слав. **svitъce*, и.-е. **sul-/*začel-*. Для современного человека противопоставление между обоими понятиями практически отсутствует, но для наших предков оно имело фундаментальный характер, кажется, недооцениваемый современной мифологической наукой. Я имею в виду утвержде-

ния о том, что представление о боге ясного неба у индоевропейцев – **d̥i̥eu̥s* – развивалось в представление о боге солнца [40, с. 2]. Видимо, осторожнее и правильнее будет говорить о Зевсе/Юпитере только как о боге (ясного) неба. То, что здесь имеет место некое индоевропейско-славянское своеобразие, а отнюдь не универсалия, следует из сравнения с финноугорскими языками, где известно одинаковое обозначение дня и солнца, ср. венг. *nap* 'день; солнце', фин. *päivä* 'день; солнце'.

На одно главное название ясного неба (выше) у индоевропейцев приходился целый ряд различных названий облачного, пасмурного неба, которые впоследствии часто становились названиями неба вообще. Здесь остановимся на одной модели, обозначавшей предмет экспрессивно, через отрицание. Сюда, как мне кажется, можно отнести слав. **nebo* (**nebes-*), и.-е. **nebhos-/nebhes-*, сложение отрицания *ne-* с корнем **bhōs-* 'сияющий, сверкающий' (откуда **bhoso-* 'обнаженный, босой', слав. **bosъ*), собственно, расширение на *-s-* корня **bho-/bhā-* 'сиять, сверкать', далее, сюда же – арм. *amp*, *amb* 'облако' < и.-е. **n̥-bh-ō-* с отрицанием в ступени *n̥-* и нулевой ступенью того же корня *bh-*; наконец, и.-е. **ne-bhl-* / **ne-bh̄l-* (корень тот же, что в слав. **bēlъ*, русск. белый), откуда герм. **nebula-* (нем. *Nebel* 'туман'), лат. *nebula* то же. Остается добавить, что слова эти обычно объясняются иначе, от и.-е. **nebh-* 'влажный' [41, с. 315], но нам представилась типологически более заманчивой идея предполагаемого сложения и противопоставленности 'не-ясного', пасмурного неба 'ясному' небу. Древнее воззрение на звезды как на 'стоящие светила', отраженное в и.-е. **(ə)ster-* 'звезда', возможно, оставило свой след в слав. **gvězda*, если последнее – из и.-е. **gh̄oij-stā* (см. гипотезу в ЭССЯ, вып. 7, с. 182). Какая из двух семантических реконструкций и.-е. **mēnes-/menes-*, слав. **mēseš-* 'месяц, луна' адекватнее древней культуре и ее идеологии: 'уменьшающийся' (от известных повторяющихся фаз возрастаания – уменьшения, свойственных только этому небесному телу) или 'измеритель' (от способа счисления времени, в основу которого положена упомянутая периодичность луны)? Нам кажется более вероятным первое [42, с. 5-6], в то время как в литературе по-прежнему популярно второе решение [43].

За чертой видимого мира – неба и земли – древнему человеку виделся иной мир, куда уходили свои и чужие. Это рождало образ трудноодолимого рубежа на безвозвратном пути. Глубоко укоренились въззрения, согласно которым в тот мир переправляются через воду [44]. Опираясь на эти моменты типологии, попытаемся пересмотреть соответствующие случаи, которые также имеют самое прямое отношение к архаизмам мышления. Еще Мейе отмечал народность славянского названия рая – **rajъ*, его дохристианскую, языческую природу [45, с. 411]. Очень популярная этимология слав. **rajъ*, объясняющая его как заимствование из иранского, ср. авест. **rāy-* 'богатство, счастье' [33, т. III, с. 435], вызывает все больше сомнений. Иранское слово не обладает признаками религиозного термина (кстати, греческое название рая, ставшее впоследствии интернационализмом с этим значением, – *parábētōs* – продолжает совсем другой иранский прототип).

Напротив, одна исконнославянская этимология, встретившая критику Фасмера, кажется нам заслуживающей внимания: речь идет о родстве *rajv и *rojv, *rěka. Следует только уточнить отношение ближайшеродственных форм *rojv и *rajv; вокализм *rajv обнаруживает продление, а оно указывает на производность, т.е. *rajv(*rōj-) не 'течение', а 'связанный с течением', возможно, что-то в смысле 'заречный', что лучше отражает существо представления. Это одновременно ответ на критическое замечание Фасмера, что "в русской гидронимии не сохранилось никаких следов употребления *рай* в значении 'река, течение'". Их и не нужно было ожидать, во-первых, учитывая высказанное о том, что *rajv - не 'река', а производное от такого названия, а, во-вторых, потому что перевод слова *rajv в *termina sacra* мог уже тем самым повлечь за собой запрет на первичные апеллативные употребления. И последнее: *rajv принадлежит к гнезду исходно глагольной лексики с развитой апофонией *rej-/ *roj-/ *rōj-/ *jv- / *jv-rjv (можно внести соответствующую поправку в толкование *jv-rjv < *jvr-ɔjv < *jur- в ЭССЯ 8, с. 237; что касается польск. *wyraj* 'место, куда улетают птицы на зиму', то оно может быть белорусизмом, из *wy-rjv, а его приставка вариантна в отношении к *jv-rjv).

Через водный поток, за которым находился "заречный" *rajv, перевозили мертвых, обозначавшихся, похоже, именно в этой ситуации с помощью слов. *navъ или *navъjv, которое объясняют преимущественно в связи с чеш. *inaviti* 'убить, уморить', но последнее само производно от *navъ. В этих обстоятельствах приходится вспомнить о забытой мысли Котляревского, упоминаемой с сомнением еще у Нидерле [46, с. 211, примеч. 2, и с. 363, примеч. 1], о связи слав. *nauv* 'мертвый' с названием корабля - греч. ναῦς, лат. *navis*,ср. образ лодки перевозчика Харона. В последнее время вторичное осмысление и.-е. *nāv-s 'корабль, судно' → 'смерть' допускают (без упоминания Нидерле и Котляревского) Гамкрелидзе и Иванов [8, т. II, с. 825]. Поломе считает и.-е. *nāv-s 'корабль, лодка' и *nāv-s 'смерть, мертвый' абсолютными синонимами [47, с. 14], однако это еще не окончательное решение вопроса. Обращают на себя внимание удивительно тождественные производные от *nāv-s I и *nāv-s II, ср. напр. и.-е. *naçio- 'корабельный' (есть в крито-микенском*) и формально тождественное слов. *navъjv 'мертвец' (см. выше), может быть, последнее восходит к значению 'лодочный' ~ 'в лодке погребаемый'? Думается, что и.-е. *nāv-s было первоначально обозначением не всякого корабля или лодки, оно было более высоким словом, чем и.-е. *ploçiom 'судно' (греч. πλοῖον, гл. обр. - 'грузовое, транспортное, торговое судно'). Более высокая стилистическая функция *nāv-s 'корабль' находит подтверждение в однокоренных обозначениях храма - греч. ναῦς и в связях с христианской церковной архитектурой и ее терминологией, ср. слова *неф* (< франц. *nef* (стар.) 'корабль', *nef d'église* 'церковный неф', лат.

* Однако, по мнению микенолога П.Илиевского, Скопие (устное сообщение), последнее значило скорее 'храмовый', а не 'корабельный'.

navis 'корабль'), корабль применительно к части храма. Если храм - это в каком-то смысле 'дом мертвых', то **nāis*, возможно, прежде всего - 'корабль мертвых', так что лексика, обозначающая корыта и прочую домашнюю утварь - кимр. *poe*, норв. *nō* [47, с. 14] здесь не поможет прояснению.

5

Изучая мировоззрение древних славян, мы должны не покидать единственный верный путь – все время возвращаться к точке отсчета – человеку и его месту в окружающей действительности, к этой основной дихотомии 'свое' – 'не свое'. Это, как кажется, даст нам возможность хотя бы немного продвинуться в изучении ряда проблем, в частности социальной организации самих славян, а также откроет некоторые непосредственные выходы к проблемам индоевропейской мифологии. Понятно, что средоточием 'своего' был для славянина род и терминология родства. Этим словом охватывались издревле те, которые отчасти и до нашего времени входят в понятие *свои*, *свои люди*. Поскольку 'свой', **svojъ*, **sъo-* – это атрибут 'родной, родовой' (см. выше), сюда, к **zi-/sъo-*, относятся и сугубо этимологические индоевропейские случаи **sūpъ* (**sū-pi-*, см. также выше), **sestra* (**sъe-ar-*, и.-е. 'своя женщина, женщина рода'), и, так сказать, собственно славянские случаи, в которых наличие **sъo-* легко читается без этимологии и наблюдается семантика как бы "приравнивания" к своим, своему родству, – то, что мы привыкли обозначать, может быть, не совсем верно исторически, словом свойство, брачное родство – слав. **svekry*, **svekru*, **svabstvъ* 'своячница', **svatъ*.

Особенно показательно и близко, думается, к первоначальной семантике и.-е. **sъo-* – такое праславянское относительное новообразование, как обозначение свободы в смысле '(полноправного) состояния своего (человека)': **svoboda*. Близкое, но в деталях отличное обозначение с в об оды как своей особенностиср. в др.-инд. *svādhīnatā*,ср. сюда несколько более самобытное семантически греч. *έθος* (**suedho-*) '(свой) обычай' и *έθνος* 'племя, народ'. Совершенно иная природа названий свободы в балтийском, ср.лит. *laissvē*, собственно 'дозволенность', и даже в германском, ср. гот. *freis* и др. 'свободный' <'приятный, любовь', хотя именно в германском имелось название большой семьи, рода – гот. *sibja* < и.-е. **sъe-bh-*, близкое и слав. **svojъ*, и слав. **svoboda* (характеристику индоевропейских синонимов 'свободный' см. [48, с. 1336-1337]). На этот способ формирования понятия 'свободный' – не из 'освобожденный, избавленный', а 'принадлежащий к этнической группе' уже указывали в литературе (ср. напр. [19, с. 356]). Правда, несмотря на ясную семантическую характеристику и.-е. **sъe-bh-*, лежащего в основе **svoboda*, а также некоторых индоевропейских племенных названий (свебов/швабов и др.), все – с первоначальным значением этнической совокупности 'своих (людей)', приходится встречать интерпретации, которые идут вразрез с этой характеристикой. Я имею в виду довольно популярную (хотя и маловероятную) этимологию **slovēne* < **svobēn-* 'член родственной группы', в частности – вариант этой этимологии, согласно которому реконструируется исход-

ное **sue/obho-* с значением 'особый, особняком стоящий' [49], нечто совершенно невероятное для семантики племенного названия эпохи родового строя, а равно и для семантики **sue-*. 'Особенность, отдельность' - поздняя, во всяком случае - вторичная семантическая черта гнезда **sue-*, **suebho-*, ст.-слав. *сөв* и т.д. Далее, не случайно упоминаемая нами неоднократно дихотомия всего видимого и воображаемого мира на 'свое' и 'не свое' уже одной своей сущностью налагает запрет на попытки выявить следы **suebh-* в теонимии (как это делают в случае с хетт. *-хера-*, выступающим в сложных названиях духов, богов, авторы [8, т. I, с. 303, примеч. 1]). *Ergo*, нельзя о боже сказать 'свой'; этот запрет, вероятно, действовал и в славянской и в индоевропейской древности. Наоборот, о смерти, благовидной с точки зрения 'своих' родовых и этических норм, можно было сказать 'своя смерть', ср. русск. *умереть своей смертью*, лит. *savo mirtimi mirti*, с помощью которых восстанавливается бесспорно индоевропейская фразема и этическая норма **suo-* + **mrtm* + **mer-/mor-*. На это уже давно обратили внимание, реконструируя наряду с и.-е. **mrt-* 'смерть' (лит. *mirtis*, лат. *mors/mortis*) также и.-е. **sъi-mrt-* 'своя смерть' (слав. **sъmrtъ*), см. [33, т. III, с. 686], с литературой. Своя, естественная смерть была взыскием и не всегда достижимым благом, с точки зрения индоевропейской древности, а то, что отдельные ветви индоевропейцев, например, германцы, особенно скандинавы, развили религию пессимистического толка, по которой лучшая смерть - это смерть на поле брани, не может считаться индоевропейским архаизмом. Полезно отметить тонкий, едва заметный переход и.-е. **sъi-mrt-* от значения 'свой смерть' к значению 'хорошая смерть' - переход всегда вторичный, как вторична и сама эволюция этого противопоставления (см. далее). Здесь только отметим, что **sъi-mrt-* представляет собой как бы позицию нейтрализации взаимоотношений и.-е. **su-/sъo-* 'свой' и **sъi-* 'хороший, добрый', т.е. тем самым свидетельствует об этимологическом тождестве обоих **su-*.

Экспансия и трансформация **su-* 'свой' → 'хороший' - не единственный случай эманации первоначального и.-е. **su-*, глагольной основы, обозначавшей деторождение и плодовитость, давшей также индоевропейское название свиньи (как плодовитой свиноматки) - **sъi-s*, слав. **svinъja*, скот оседлого земледельца. Хотя существует мнение о связи индоевропейского диалектного названия дождя **su-* (греч., тохар., др.-прусск., алб.) с глаголом **seu-/sъi-* 'выжимать, выдавливать' (см. в последнее время [8, т. II, с. 679]), все-таки трудно исключить языковую и понятийную связь с рождением (из первоначального 'рождать влагу'?). Здесь вспоминаются относимые к трипольской и старобалканской культуре женские фигуры с чашей, выражавшие, вероятно, моление о дожде. Точно так же к др.-инд. *vinoti* 'давать, выжимать' относят название божественного растения и напитка - др.-инд. *वृता-* [50, III, с. 505], хотя высокий религиозный статус растения и сока из него тоже не позволяет, возможно, ограничиваться одними техническими значениями (при надлежность сюда и др.-инд. *vîte* 'рождать' в отдаленной перспективе?).

В предыдущем изложении неоднократно упоминалась важность оппозиции 'свой' - 'не свой' для понимания праславянской и индоевропейской идеологии и культуры. Важность эта состоит еще и в том, что эксплицитная пара 'свое' - 'не свое' открывает собой целый ряд еще должным образом не раскрытых аналогичных импликаций, пронизывающих культуру. Поскольку оперирование оппозициями неизменно популярно в лингвистике и в культурологии со времен структурализма, сами оппозиции отмечаются достаточно часто, но, кажется, не раскрыт дух и генезис этих оппозиций. Во всяком случае в новом труде Гамкрелидзе-Иванова не отмечена как раз оппозиция 'свое' - 'не свое', которая представляется нам исходной. Дело в том, что она не просто более важна, чем оппозиция 'хороший' - 'плохой', она лежит в основе последней, как более относительной типологически. Относительность оппозиции 'хороший' - 'плохой' хорошо понимала русская народная мудрость: что русскому здорово, то немцу - смерть. *Ergo*, хорошо то, что свое.

Индоевропеисты рассматривают противопоставление домашних и диких животных, культурных и дикорастущих растений, но при этом упускают из виду, что здесь перед ними всего лишь реализация (импликация) главного противопоставления 'свое' - 'не свое'. Правда, дихотомия формировалась не всегда в духе противопоставления 'своего', 'домашнего' и 'не своего', 'дикого'. Перед лицом яркого культурного импорта - а таковыми были заимствованные культурные породы животных и т.п. - привычная "дикая" фауна окружающей природы оказалась в положении 'своей'. Ср. ряд случаев, когда дикие животные носят исконно славянские названия, а домашние животные, особенно (вначале) новые их породы имеют названия, заимствованные из других языков: слав. **korva*, кельтского или иллирийского происхождения (ЭССЯ, вып. 11, с. 106 и сл.), при исконном **sǫrna*, обозначающем дикое рогатое животное леса; **kotъ*, европейский импорт около середины I тысячелетия н.э., при исконно славянском названии дикой кошки **stъbjь* (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 209 и сл., с. v. **kotъ*; в дополнение к старославянской и польской формам можно теперь назвать болг. диал. *стéбал* 'дикая кошка', открытые несколько лет тому назад [51]).

Мировоззренческая важность оппозиции 'свой' - 'не свой' настойчиво переводит нашу реконструкцию древних представлений в план антропоцентристической картины мира, побуждая нас критически взглянуть на известные трехчастные построения индоевропейской картины мира, ср. в последнее время Гамкрелидзе и Иванов - о "Верхнем", "Среднем" и "Нижнем" мире [8, т. II, с. 490, 537, 538]. Упомянутые ученые преследуют цель выявления древнейших представлений индоевропейцев, но, говоря о названиях птиц, они относят самих птиц к существам "Верхнего мира" на основании реконструкции 'птица' ← 'летающее по воздуху', которую имеет смысл признать умозрительной и модернизирующей. Так, этиология не подтверждает приписываемых древнему человеку воззрений на птиц как на существа "Верхнего мира". Напротив, есть данные для того, чтобы построить совсем иную типологию, основываясь на последовательных показаниях этимологии: слав. **r̥ptica*, **r̥ptvka*, **r̥ptakъ* ~ лат. *ritus* 'маль-

чик, детеныш', *putillus* 'птенец'; слав. **orbъ*, сюда же греч. *бръс* 'птица' - к и.-е. **er-/or-* 'рождаться, происходить, возрастать, подниматься'; авест. *vîš* 'птица', 'курица', сюда же лит. *vištę* 'курица' - не к и.-е. **ue(i)-* 'дуть' [8, т. II, с. 537: **Hue(i)-*], а к и.-е. **uei̯-s-* 'высаживать, выводить'. Реконструируемый выше этимологически принцип номинации 'птицы' как 'детеныша' свидетельствует, что праславянин (и древний индоевропеец) воспринимал птиц со своей точки зрения, как бы приравнивая их к себе, к своему опыту, и наделяя эти отличные существа чертами антропоморфизма ('птицы' = 'детки').

Если мы, например, встречаем довольно многочисленные употребления слова *борода* в названиях различных растений или выражение *завить бороду* - о народном обычаяе окончания полевых работ ("последний сноп не скручивается, а вяжется на корню и убирается цветами". Даль I², с. 116), то нам представляется ясным, что все это антропоморфные метафоры, основанные на первичном обозначении человеческого подбородка - несколько заостренной нижней части лица и растительности на ней - и.-е. **bhardhā* от **bher-/bhor-* 'острый, резать'. Считать, что праслав. **borda*, и.-е. **bhardhā* образовано от **bhar-* 'ячмень' (так см. [52], вслед за Т.Марки) едва ли верно. Аналогичный изложенному способ номинации допустим и для др.-инд. *śmaśru* - 'борода', если из **sm-aśru*, где *sm-* - служебная частица (префикс), а *aśru*-(**akru*-) - опять-таки 'острое' (иначе - [52]). Весьма древней антропоморфной метафорой в сфере хозяйственной деятельности может быть и слав. **dolnъ* 'ладонь', а также 'ток, гумно' (см. ЭССЯ, вып. 5, с. 64). Широко известны антропоморфические переносы названий частей человеческого тела на объекты земного ландшафта. К этому следует добавить возросшее вероятие широкой метафоричности древнего словоупотребления [53], более того - глубокую метафоричность всего языка [1, с. 8, 23].

Вышеизложенной концепции антропоцентрической метафоричности древних представлений об окружающем мире определенно противостоит в современной научной литературе то, что можно назвать преувеличенной космизацией человеческих и этнических отношений, а главным образом - традиций о них (я имею в виду утверждения, что скифская генеалогическая легенда Геродота полностью лишена этнической семантики и представляет собой космогонический миф [54]).

В общем актом слишком категорической атрибуции выглядит популярная в сравнительной мифологии теория Дюмезиля и его школы о трехчастной древней картине мира и трехклассности древнего общества, ср. [18, *passim*]. Фактическая реальность явно не умещается в эти схемы сакримальной троичности. Собственные утверждения Дюмезиля о единстве цивилизации ариев существенно ослабляются его же признаниями, что религия даже внутри Ригведы не могла быть единообразной, трехфункциональность в мире богов то и дело вынужденно признается стирающейся и расщепляющейся, троичная структура общества (жрецы, воины, скотоводы-земледельцы), оказывается, просто не соответствует действительному разнообразию вариантов его структуры, когда число классов то равняется двум, то четырем (перечисленные

выше плюс ремесленники), то, наконец (и это наиболее приемлемый древнейший вариант) – налицо крайняя нечеткость, вплоть до отсутствия классовой общественной структуры. Тройчное структурирование индоевропейского общества и индоевропейской картины мира все меньше удовлетворяет запросам науки, которая испытывает острую нужду в раскрытии эволюции названных выше феноменов – в историческом плане и в более последовательном допущении того, что можно назвать диалектологией мифологии и диалектологией социальной структуры – в плане описания традиций.

6

Трезвые голоса против "шаблонной организации религии", неизменно трехчленного деления общества сквозь тысячелетия и слишком большого упрощения схемы по Дюмезилю раздаются и из среды приверженцев "новой сравнительной мифологии", ср. [47, с.1 и сл.]. Наиболее распространенная методика состоит в соотнесении и наивозможно полном совмещении частных индоевропейских пантеонов и общего индоевропейского пантеона. Поскольку это не только не удается осуществить полностью, но при этом вскрываются также значительные лакуны в частных пантеонах, имеется стойкая тенденция рассматривать эти лакуны как "утраты" индоевропейских древностей в латинском, греческом и др. Применительно к *perkʷino – "индоевропейское божество походов и военного дела" это расценивается как "полное исчезновение в греческом пантеоне" и "полная потеря в итальянском" [8, т. II, с. 793, 797]. Заметим, что именно латинский и его мифология признается в современной индоевропейской сравнительной мифологии наиболее архаичной стадией, что априори допускает мысль распространить эту архаичность и на эти лакуны.

Что касается так называемого славянского пантеона, то трудности его реконструкции и возведения к индоевропейскому пантеону происходят не от дефектности источников, а от того, что уместно считать культурной стадией. Божества (и их названия) в принципе – продукт культурной и идеологической сублимации (имеется в виду то, что скрывается за мифологическим феноменом "рождения богов"). Поэтому в тех нередких случаях, когда мы имеем дело у славян с означенными выше "лакунами", методологически важно избегать поспешных заключений об "утратах" и других подобных натяжек. Гораздо естественнее и логичнее предположить у праславян в этих случаях отражение архаической стадии. Несмотря на настойчивые поиски "индоевропейского наследия" в славянском пантеоне, все-таки наиболее реалистично считать, что у славян продолжалась, причем так и не завершилась сублимация более низовых антропоморфных анимистических представлений и их обозначений. Поэтому для древнеславянских верований более присуще наличие относительно примитивной магии, колдовства (ср. выше о *kʷyl̩dunъ/*kʷltunъ), которые имеют свои индоевропейские корни, напр. лексическое гнездо *čara* 'колдовство' < и.-е. *kʷer- 'делать' (см. ЭССЯ, вып. 4, с. 22–23, в.в. *čara III), *kōbъ 'гадание', '(злой) рок' (ЭССЯ, вып. 10, с. 101). Характерны для славян также сезонные обряды вроде того, который обозначает-

ся названием соломенной куклы на проводах весны - **kostro-*
ba, **kostroba*, **kostroma* (см. ЭССЯ, вып. 11, с. 163). Естественно, что процветали суеверия, которые выражались в вере в злых духов - **kykymora*, **kukimora* (ЭССЯ, вып. 13, с. 94, 261), в приметы, ср. например **kъёбъ*, русско-церковнославянское название жребия, судьбы из первоначального 'чох', сюда же **kъёbiti*, **kyxati* (ЭССЯ, вып. 13, с. 247). Эти суеверия могли проявляться порой неожиданным для нас образом, что немало затрудняет работу этимологов. Так, в слав. **korma* 'корма судна, *puppis*', **kormidlo* 'кормовое, рулевое весло', не получивших до сих пор убедительной этимологии, просматривается теперь связь с **kormiti* 'кормить, давать корм, пищу' (более глубокое погружение главного - кормового весла воспринималось в духе магии кормления водной стихии).

Что касается бога Перуна, то необходимо с осторожностью воспринимать попытки прямо связывать его славянское имя с другими индоевропейскими теонимами. Наряду с теонимом **Perunъ* в славянских языках представлено нарицательное, апеллативное **perunъ* 'тот, кто бьет, поражает', мотивированное глаголом **pertи*, **rъq* и выступающее в качестве конкретного, в ещественном (с элементами одушевления, ср. суффикс имени деятеля *-inъ*) обозначения грома с молнией. Никогда не следует забывать, что утверждение древнерусского сонма языческих божеств во главе с Перуном всего на восемь лет опередило официальное принятие христианства на Руси. Унификация языческого культа, приданье ему вида единонаучального пантеона были безусловным нововведением для создания запоздалого противовеса христианству, а также для упорядочения нестройной массы архаических локальных культов сил неба и земли, бытовавших у славян с давних времен.

Еще менее основательны попытки увидеть индоевропейский архаизм в имени **stribogъ*, выделяя в первом компоненте проявление и.-е. **pater* 'отец'; впрочем, и объяснение всего имени **stribogъ* как иранизма [55] тоже спротивично. Это имя - славянское новообразование с использованием слова **bogъ* после соответствующего древнеиранского (скифского) религиозного влияния в сложении с типичной для славянских сложных имен императивной формой славянского глагола **sterti*, **stъrъq* 'распространять, простирать', ср. аналогичную структуру другого праславянского теонима-неология **dadjъbogъ*. Под ними подразумевались одушевленные силы природы. Анимизм в названиях ветра проявляется вообще довольно ярко в разных индоевропейских языках, ср. и.-е. **gent-*, **gētr-*, собственно 'веятель, дующий', производные с агентивными суффиксами *-nt-*, *-tr-*. Воображение древнего человека наделяло душой, анимизировало всю окружающую природу. Человек не отделял себя от природы, на-против, ему виделись узы родства, которые связывали его прежде всего с другими "живыми душами" - животными. Индоевропейцы не составляли в этом исключения, лучшее тому доказательство - известные названия индоевропейских племен, образованные от названий животных, ср. 'Ариабес' 'аркадяне', родственное греч. *άρκτος* 'медведь', *Cherubsci*, название германского племени, родственное герм. **herut-* 'олень',

название народа даков – *Δάος*, *Δάκος*, ср. фригийское *baos* 'волк' [56, с. 117], *Σάκας*, скифское племя, собственно – "принадлежащий к тотему олена", ср. осет. *sag* 'олень' [57, с. 179]. Можно привести и другие примеры, но и этих достаточно, чтобы показать причастность древних индоевропейцев к тотемизму, однако в современной западноевропейской науке существует удивительная боязнь тотемизма, сравнивая лишь с боязнью матриархата; ср. подробнее [58, с. V и сл.].

Возвращаясь к соотношению архаизмов и инноваций в миро-восприятии славян, отметим, далее, что принадлежность теонимов **stri-bogъ* и **da(djь)-bogъ* к культурным и инновациям славян, а не к индоевропейским архаизмам яствует из их современности интенсивным иранским культурно-лингвистическим влияниям, которые нельзя датировать старше скифской эпохи (VII–V вв. до н.э.). Наличие в составе этих теонимов семантически уже готового к этому времени компонента *-bogъ 'deus'* показывает также, что их образование близко ко времени расцвета соответствующей развитой славянской антропонимии типа **bogu-xvalъ*, **bogo-danъ* и т.п. (ср. о них как о теофорных именах [59, с. 206, 218]). Таким образом, развитая славянская теонимия – своеобразный продукт развития славянской антропонимии, имен людей, и благодаря четкому выявлению иранских влияний в последней можно в известном смысле датировать первую. Трезвое разграничение архаизмов и инноваций позволяет не допустить недооценки одних за счет других. Собственно говоря, и индоевропейские классические антропонимы типа **ievi-kleiez-*, хотя их обычно реконструируют в праиндоевропейской форме, – тоже продукт относительно позднего развития и региональных изоглосс. Уместны, наконец, сомнения в праязыковой древности сложного теонима *i.-e.*diēus-pater* 'небесный отец'; идентификации последнего с праслав. **stri-bogъ* (из **patri-*) более чем сомнительны. Инновацией – заимствованием скифского времени оказывается и слав. **sva-rogъ*, принадлежность которого к культу солнца, а также сохранность *s-* этимологического позволяют принимать только этимологию из др.-инд. **svaṛ-ga-* 'небо' (как 'солнечный путь').

Сказанное делает понятным наш острый интерес к антропонимии, в частности – праславянской, поскольку она проливает свет не только на развитие языка, но и на формирование культуры и причем – не в меньшей степени, чем изучение лексики, обозначающей культурные реалии, не в меньшей, – если иметь в виду вскрытие духа культурной эволюции. Последняя находит выражение в эволюции позиции имени собственного (и прежде всего – имени человека) как в языке, так и в культуре (специально см. [60]).

Следовательно, формирование религиозных понятий – не обязательно древнейшее явление в культурной эволюции, равным образом изоглоссы из области религиозной терминологии – это нередко относительно поздние или вторичные феномены. Так, для славяно-иранских языковых отношений отмеченного выше времени (грубая датировка – около середины I тыс. до н.э.) как раз свойственно формирование понятий из религиозной сферы и соответствующих влияний, из которых мы для краткости выделили выше только **bogъ 'deus'*. С другой стороны, исследователи наблюдают отсутствие славяно-иранских

соответствий в названиях природы (вода, тина, дождь, времена года) [61]. Такие очевидно древние соответствия, обозначающие явления природы, напротив, встречаются, например, в латинско-славянских языковых отношениях, ср. такое значительное соответствие как лат. *pal-ud-*: слав. **polovodъje*. Древность латинско-славянских культурных и языковых отношений весьма значительна (предположительно - II тыс. до н.э.). Что касается религии, то к этому отдаленному времени относятся древнейшие ее формы, например, молчаливое почитание, но подробнее об этом - ниже.

7

Итак, проблема индоевропейского наследия и славянского развития остается одной из главных для нас. По ряду причин предметом особенно напряженного внимания становится именно индоевропейское наследие, ибо, не будучи засвидетельствованным, праиндоевропейское состояние, вернее - его картина, подвержены наибольшему изменению в науке, что связано всякий раз с пересмотром материала и идей. Этот пересмотр индоевропейского наследия необходим не только сам по себе, он нужен для правильного понимания славянского развития.

В труде Гамкелидзе-Иванова выдвигаются положения о сходстве индоевропейской цивилизации с ближневосточными цивилизациями, о наличии у праиндоевропейцев ранга жрецов, иначе говоря - жреца-царя, "священного царя", "как в древних восточных цивилизациях"; специально говорится о 'славе' воина и об индоевропейцах как воинственных племенах [8, т. II, с. 751-752, 834, 884-885; 62, с. 26]. При этом уже априори уместен вопрос, - является ли эта картина подлинной праиндоевропейской реконструкцией или, скажем, транспозицией в праиндоевропейской прошлой письменных традиций отдельных развитых индоевропейских культур? То, что мы имеем здесь дело с последним, вытекает, кроме наших собственных лингвистических наблюдений, из самостоятельных наблюдений некоторых археологов, которые трезво предостерегают против популярных преувеличений в современных воззрениях на древнюю индоевропейскую культуру. В этом смысле очень поучительна недавняя статья Роулетта "Свидетельства археологии о раннеиндоевропейских племенных вождях" [63]. Автор подвергает сомнению реконструкцию института 'царей' у древних индоевропейцев, полагая, что значением и.-е.

**reğ* - было 'вождь', но еще более древним, исходным состоянием было наличие безназачальной (*acephalous*) социальной группы; любопытно, что автор приравнивает топоры к предметам регулярного обмена (*trade axes*), отмечает существование захоронений вождей без воинских атрибутов (боевых топоров), напротив, в ряде случаев - с наличием ремесленных орудий. Автор приходит к выводу, что в большинстве групп индоевропейской культуры шнуровой керамики Европы отсутствует четко выраженный класс воинов, зато ремесленное, неземледельческое производство наличествует в больших размерах, "чем палеолингвисты отмечали до сих пор". Вряд ли возможно игнорировать следующее заключительное положение: "Относительная

несвязанность (*disassociation*) боевых топоров с вождями и высокое положение женщин предполагает, что производная модель царей-воинов, возглавляющих общественные группы, подвластные мужчинам, не может быть точным представлением об индоевропейском обществе" [63, с. 214].

"Царь-жрец", или "священный царь" - это, по-видимому, такое же преувеличение, излишне прямолинейная транспозиция в праиндоевропейскую древность, как только что упомянутые "царь-воин", его "слава" и "воинственность" в ее классическом понимании. Наличие царя-героя, прославляемого поэтическими традициями "героического века" (ср. гомеровская, арийская и другие частные классические индоевропейские традиции), а также жреца, громко прославляющего небесное воинство как некий аналог воинства земного, и в целом весь этот "героический век" до сих пор, как кажется, больше тормозили, чем углубляли наше понимание истинной индоевропейской общественно-культурной эволюции, побуждая принимать за исконную древность то, что было лишь рядом инноваций. Так, именно инновационный смысл терминологии восхваления и прославления, в частности жреческого, выпукло отражает праславянское новообразование **pēti*, **pojō* 'петь' на базе **rojō*, **pojiti* 'поить, давать пить', resp. 'совершать возлияния' [64]. Эта славянская этимология полезна тем, что методом внутренней, парадигматической реконструкции (**rojō* 'даю пить' → **rojō* 'восхваляю, воспеваю') демонстрирует принципиальную вторичность ритуальной практики жертвоприношения — восхваления, тем самым подготавливая нас к принятию исторически очевидного положения, что ритуал восхваления — отнюдь не самая древняя стадия общения славян и индоевропейцев с божеством. Отпечаток вторичности лежит и на других древних синонимах такого рода, ср. отношения др.-инд. первичного *juhōti* 'лить' и вторичного *hávate* 'призывать'. Восстановливаемая нами в итоге лакуна на месте будущих индоевропейских глаголов 'восхвалять, прославлять, воспевать' объективно свидетельствует против изначальности песнопений и славословий. Вместо нее мы нащупываем иную, несомненно, более архаичную стадию безмолвного почтения. Воспоминания об этой древней эпохе и ее отличной идеологии находятся в глухих намеках Библии на неизначальность прославления имени божьего, ср. Быт. 4: у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога].

Идеология молчаливого почитания божества нашла выражение в замечательной исключительной славяно-латинской изоглоссе, которую по праву можно считать стадиально древнейшей изоглоссой религиозной терминологии: слав. **govēti* с его набором значений 'поститься', 'хранить почтительное молчание', 'воздерживаться', 'благоприятствовать' — лат. *favēre* 'благоприятствовать, быть милостивым; хранить молчание' (см. ЭССЯ, вып. 7, с. 72–73). Важность этого старого лексического соответствия состоит в том, что оно является далеко еще не использованным наукой свидетельством о древнейшей, видимо, стадии религиозной практики и соответствующих представлений, которую уместно для кратко-

сти назвать стадией *fave*re, отметив ее современность другим – элементарным славяно-латинским соответствиям и новообразованиям из лексики природы, что важно в плане относительной хронологии и не противоречит условной абсолютной датировке славяно-латинских изоглоссных связей III тысячелетием до н.э. Для нас ясно, что и в сфере религии славяно-латинские отношения древнее и элементарнее более развитых и потому более поздних славяно-иранских и славяно-индоарийских отношений в сфере идеологии и религиозной лексики; последние уже созвучны духу упоминавшейся выше героической эпохи. Терминология молитвы, гимна, песнопения как правило вторична. Это мы наблюдали на этиологическом выявлении судьбы слов. **rēti*, russk. *петь*. Другие ученые на другом индоевропейском языковом материале также поднимали вопрос о том, что семантика 'молитва, молиться' восходит обычно к иной, более элементарной, так, лат. *precāri* 'молиться' значит, собственно, 'просить'. Более запутан случай с разветвленным соответствием хетт. *mald-*, лит. *meldžiù*, *melsti*, арм. *malt‘em* и слов. **modlit-**i*, и все-таки и здесь есть очевидные выходы в предрелигиозную семантику ввиду значения (хетт.) 'торжественно заявлять', а особенно – герм., др.-в.-нем. *meldōn* 'заявлять, обнаруживать', и едва ли прав исследователь, считающий, что "пресловутое религиозное содержание в германском совершенно поблекло" [47, с. 11]. Правильнее считать, что его кристаллизация еще не осуществлялась в данном германском *verbum dicendi*. Сказанное несколько меняет и воззрения на природу языкового табу: ученые, кажется, больше привыкли считать, что языковые запреты практикуются относительно уже существующей лексики. В этом допустимо усомниться, выдвинув в духе развиваемых здесь мыслей положение о том, что запреты старше слов. Может быть, именно примату табуистичности, его преодолению и обыгрыванию с древних времен язык обязан своей глубоко имманентной метафоричностью, которую на каждом шагу помогает вскрывать этимология (**tis-* 'муха' ← 'серая', **tus-* 'мышь' ← 'серая', **tis-* 'мох, плесень' ← 'серое', *(e)dont- 'зуб' ← 'едящий' и т.д. и т.п.).

В полном соответствии со сказанным мы считаем боязнь или нежелание прямого именования людей стадией, предшествующей развитой антропонимии. Для нас относительная бедность славянской и латинской антропонимии знаменует тем самым более архаическую культурную стадию, а богатство греческой, древнеиндийской и "хвастливой" кельтской антропонимии уже целиком принадлежит к более поздней в культурно типологическом отношении героической эпохе. Восхваление богов и героев, вместо популярного преувеличения этого феномена в научной литературе, как и преувеличиваемая воинственность – объект прославления, должно занять свое место в общей культурной типологии и эволюции. Образно говоря, стадия *fave*re сменилась стадией *hávate* (ср. выше также о слов. **rēti*) и, дабы посеять вполне уместный, как нам кажется, скепсис в отношении незыблемости и изначальности индоевропейской воинской 'славы', эту часть своих рассуждений закончим, указав читателю на загадку двух (омонимичных?) и.-е.**kley-*: **kley-I* 'слышать' (**klegos-*

'слава', **klutos* 'знаменитый, прославленный') и **Kleu*-II 'струить, смывать', и, заканчивая данный эпизод, спросим, долго ли можно еще довольствоватьсь решениями Покорного, если их можно вообще считать "решениями": "*Erweiterung einer Wurzel Kel-*" (*ad *Kleu*-I) и "*Vielelleicht Erweiterung eines Kel-* 'feucht, пав'" (*ad *Kleu*-II), см. [41, с. 605, 607].

Проблема индоевропейского наследия или индоевропейских "утрат" в славянской терминологии и культуре предстанет в совершенно недвусмысленном свете, если мы полностью отдадим себе отчет в реальности древней безымянности божеств, духов и в ее намеченной кратко выше древней идеологической, табуистической, в целом – общекультурной основе. И здесь нам также приходит на помощь латинский, прежде всего – со своим термином и понятием *pītem* 'м о л ч а л и в ы й знак, кивок, проявление божественной воли' → 'божество'. Если даже *pītem* – собственно латинское производное от *piō*, все равно оно как бы знаменует собой д р е в н е е о т с у т с т в i e (запрет на употребление) термина, а значит – архаизм в духе стадии *favere*. Что касается лат. *deus* 'бог', то оно этимологически и по показаниям родственных соответствий в других языках с их значениями 'день', 'небо', 'дневной, небесный (свет)' исторически совершенно не претендует на универсальность, т.е. в своем общем значении 'бог' несомненно вторично (даже в тех языках, где абсолютно представлено только значение 'бог', как в балтийских, ср. лит. *dīvas*, имеются косвенные следы древнейшего небожественного значения, ср. заимствованное из балтийского фин. *taivas* 'небо'). Все это равносильно признанию, что единого общего индоевропейского термина 'бог' нет и быть не могло. Только в этом – твердо отрицательном смысле следует решать проблему слов. **divo*, которое некоторые исследователи до последнего времени считают деградировавшим семантически ('злой дух') первоначальным славянским названием бога (см. [65], дальнейшую литературу и анализ, отделяющий это *divo*, напр. в "Слове о полку Игореве", от исконного **divo*/**divo* 'чудо', см. в ЭССЯ, вып. 5, с.35). В какой-то мере прояснению здесь, действительно, мешает абсолютный омоним слов. **divo*/**divo*, этимологически – 'зрительное чудо, *miraculum*' (при слов. **čudo* – 'чудо, воспринятое на слух'). В остальном редкое и достаточно позднее др.-русск. *дивъ* 'птица, предвещающая несчастье' (Слово о полку Игореве) не может претендовать на собственные индоевропейские источники; нереален здесь и древний иранизм скифского времени, который, скажем, отражал бы зороастрийский дуализм *daiva*- 'злой дух' - *ahura*- 'всесильное божество', поскольку ни ир. *daiva*-, ни зороастризм не засвидетельствованы для скифского и осетинского (ср. труды Абаева, цитируемые в [66, с. 79]). Единственное, что остается, – это признать в др.-русск. *дивъ* с отмеченным значением заимствование через тюркское посредство западноиранского, персидского слова *dēv* 'демон' [33, т. I, с.512].

Значительный материал по проблеме оппозиции 'называемое, названное, то, что можно назвать' – 'неназванное, неизреченное, невыразимое, т.е. священное', имеющей самое прямое отношение к архаической стадии *favere*, представляется этимология славянского названия вещи: **věktv* (ст.-слав.

въшть прѣура, чеш. *věc*, русск. *вещь* – из церковнославянского, родственное гор. *wāihts* 'вещь', нем. *Wicht* 'существо', далее – греч. *έπος* 'слово', лат. *vōx* 'голос' [33, т. I, с. 309]. Точнее, слав. **věktъ* продолжает **cek-to-*, преобразованное из **ik-to-*, ср. причастие др.-инд. *ik-tá-* 'сказанный'. Все, что охватывается понятием **ik-to-*, – это 'то, что названо или что можно назвать', и сама природа такого именования подразумевает наличие еще и других сущностей, которые назвать нельзя, даже если это *oppositum* не сформулировано вроде отрицательного др.-инд. *anukta-* 'несказанный, невысказанный'. Даже если в оппозиции к **ik-to-* мы получим практическое отсутствие термина, что очень возможно, ясно, что именно под этим подразумеваются высшие, священные понятия, в наибольшей степени окруженные запретом упоминания. В этом позитивно усмотреть еще одну импликативную оппозицию 'свое' – 'не свое' (здесь: 'неизреченное, неназываемое') и дополнительную аргументацию невозможности приложения 'своего' (напр. **vædēh-*) к высшему, запретному, т.е. к теонимии. И вся эта картина противопоставленности сферы вещей названных и сферы высоких, умалчиваемых понятий, в свою очередь, хорошо укладывается в древнюю стадию молчаливого почитания, *favere* (отметим большую самобытность славянского способа обозначения вещи как 'названного', в чем отразился архаизм мышления; иной способ наблюдается в нем. *Ding* или франц. *chose* 'вещь' из первоначального '(судебное) решение, решение совета').

Эпоха молчаливого, благоговейного почитания высоких сущностей должна была породить чувство высокой ответственности слова, называющего вещь, а тем более – имени и самого акта нарекания, который формулировался как 'возлагание имени', насколько это явствует из этимологии слав. **jytę* в его отношении к и.-е. **en-men-/*(a)nō-men-* (см. ЭССЯ, вып. 8, с. 227–228). Критики такой этимологии указывали на отсутствие здесь глагольного корня (Семерены, письменно), имея в виду, вероятно сочетания типа и.-е. **nō-men* + **dhē-* 'класть имя/нарекать', тем не менее, аномалия словообразования позволяет видеть здесь, в сочетании предлога-приставки *en*, *ab* и суффикса *-men-*, значительный архаизм. Другой, еще более важный архаизм из числа разобранных выше, – это, конечно, вторичный и производный характер 'славы' в упомянутую древнюю эпоху, а равно и сопряженной с ней воинственности. Напротив, древнее ремесло порождало очень ранний обмен, весьма заинтересованный в наличии путей, дорог, обнаруживающих разнообразную и развитую терминологию (см. [67]). Мы не будем входить в детали этих довольно разнообразных индоевропейских названий путей сообщения, отметим лишь то, что представляет для нас интерес. В названиях дорог и путей нередко просвечивает техника их создания, прокладывания, связь с рельефом (ущелья, горные проходы), почти нет случаев, основанных на терминологии звериных троп или путей прогона скота, значит, особое наименование охотничьих путей или дорог скотоводов практически отсутствует. Важно и то, что практически отсутствует понятие 'военная дорога', и это надо понимать так, что военные похо-

ды всегда направлялись по путям, уже разведанным и проложенным торговцами. Следовательно, древние дороги - это торговые дороги по преимуществу.

Идеи древнего обмена в смысле обоюдного одаривания воплотились в архаической индоевропейской глагольной и именной лексике: *dō- 'давать/брать' (ср. [8, т. II, с. 752-753]), производное *dōro-m 'дар'. Самый древний наш глагол купли - слав. *kriti/*krnqtī (русск.-цслав. *крити* 'купить'), вполне возможно, представляет собой расширение очень емкого индоевропейского слова-понятия *ker- 'делать' (ср. форму греч. πράπτειν 'покупать', отражающую и.-е. лабиальный задненебный *k̥*), как известно, выступающего в высоких сферах поэзии и магии, что само по себе уже говорило бы о древнем престиже торговли (идея об исходном*^(s) ker- 'резать', имеющая в виду зарубки как способ учета, см. ЭССЯ, вып. 12, с. 161, ослабляется характером реконструируемого задненебного в и.-е. *k̥rei-/ *k̥rī-). Кроме данного древнейшего индоевропейского глагола купли, унаследованного славянским, можно отметить другой достаточно старый глагол *vēniti 'совершать выкуп', 'давать выкуп', обладающий ареальными латинско-славянскими связями. Завершить это перечисление, свидетельствующее о богатстве терминологии и о древности занятия, можно наиболее поздним из праславянских терминов - *kripiti, заимствованным из германского. Обращение к древнему обмену, торговле для нас отнюдь не случайно, так как оно дает возможность шире взглянуть на то, что поколениями ученых трактовалось только в одном смысле - в духе "воинственности" древних индоевропейцев, взять хотя бы эти "боевые топоры" (*battle axes*, *Streitäxte* западной литературы по индоевропеистике), которые теперь допускают трактовку и как модные единицы торгового обмена (*trade axes*) в общем, как и керамика. Древнейшие формы торгового обмена интересны для нас еще и потому, что по своему способу в чем-то примыкают к уже разобранной выше архаической стадии молчаливого религиозного почитания. Я имею в виду потенциальную внешнюю аналогию с примитивной молчаливой торговлей, практиковавшей обоюдное выставление товаров, артефактов. Здесь весьма поучителен факт существования уже в хеттском языке глагола *ištahh-* 'стоить, иметь цену', собственно, тождественного и.-е. *steh-/ *stā- 'стоять' [68, с. 323, 332], что уполномочивает нас трактовать вообще производную семему 'стоять' как восходящую к исходному 'стоять' (напоказ, для обоюдного обмена), когда словесный торг еще не вошел в силу. Понятно, что это несколько меняет взгляд и на наше русск. *стбть*, позволяя углубить его оригинальную хронологию, а не сводить все дело к поздним культурным влияниям и калькам, напр. лат. *constare* 'стоять' (ср. так [33, т. III, с. 769]).

Чем больше думаешь о тезисе изначальной "воинственности" индоевропейцев, который объединяет сейчас таких разных индоевропеистов, как М.Гимбутас и Гамкрелидзе- Иванов, тем больше остается впечатления, что мы этим обязаны в немалой степени терминологическому гипнозу (нем. "Kriegerstand" и т.п.) и мощному обаянию классических литературных традиций вроде древнеиндийской с ее нескончаемыми по-

вествованиями о подвигах кшатриев. Определяло древнюю жизнь индоевропейцев все же нечто совсем другое - то, что пока остается в тени, по крайней мере - для многих исследований по индоевропеистике. Ремесленное производство, берущее свое начало в неолите, культурный обмен с его сетью дорог - вот, что было главным, а не военные походы и даже не миграции. Инфильтрации отдельных групп населения, конечно, происходили, но и для них, как и для культурного обмена, первым условием было то, что сейчас принято обозначать словами мирное сосуществование. Даже для Малой Азии, которая явно была вторично индоевропеизирована (по традиционной терминологии - "завоевана" индоевропейцами), специалисты считают более реальным говорить об инфильтрации малочисленных групп людей. Тем более это относится к областям старого заселения в Европе, что и будет пояснено ниже на одном примере, более близком к славянам. Пример этот небезинтересен также тем, что принадлежит к области сотрудничества языкоznания и археологии - сотрудничества, которое в глазах многих необходимо, но стоит только спросить, как его осуществлять и чего от него ожидать, сразу открываются либо слишком разнообразные, либо чересчур упрощенные представления. Чересчур упрощенные - это когда и от языкоznания, и от археологии ждут в принципе одинаковых ответов на одни и те же вопросы. Но обе науки достаточно специфичны, чтобы надеяться получить от них одни и те же ответы. Заранее можно сказать, что ответы языкоznания и археологии на одни и те же вопросы будут по большей части неоднозначными, и методологически важно уметь работать с этими разными ответами, уметь извлекать из них объективную информацию.

На Международном конгрессе археологов-славистов в сентябре 1985 г. в Киеве в одном из докладов рассматривалась этническая принадлежность носителей чернолесской археологической культуры в Среднем Поднепровье. Докладчик-археолог склонялся к тому, что носители этой культуры, скорее, не были славянами, но просочились сюда из Карпато-Дунайского бассейна. Для большей убедительности археолог ссылался также на мою книгу "Гидронимия Правобережной Украины" (М., 1968), потому что в этой книге допускается происхождение ряда украинских речных названий из древних индоевропейских языков Балкан - иллирийского, фракийского. Но коварная память подсказывает тут другой случай, когда другой виднейший археолог доказывал в 1979 г. славянскую принадлежность той же самой чернолесской культуры, подкрепляя это ссылками на ту же самую книгу по гидронимии Правобережной Украины, где для Среднего Поднепровья приводится довольно много славянских водных названий древнего вида. Ситуация может показаться довольно шекотливой, особенно для любителей ригористических ответов: или балканские индоевропейцы, или славяне. А дело в том, что на таком древнем этническом перекрестке, каким была Правобережная Украина, было и то, и другое, и третье. Ведь где-то здесь, по-видимому, осуществлялись также древнейшие палеобалкано-балтийские контакты, относимые Дуридановым к III тысячелетию до н.э., в которых не участвовали славяне (сидели тогда значительно западнее). В результате разновременных ин-

фильтраций все эти этносы или их части оказались рядом друг с другом. Сосуществование языков, этносов и культур — вот чему учит нас сравнительный, совокупный опыт наших наук, древнее мирное сосуществование имело место гораздо чаще, чем обычно думают, предпочитая говорить о миграции целых этносов и об испепеляющих военных походах. Вместе с тем отрадно, что сейчас все больше говорят о полиэтничности ископаемых археологических культур, например, если иметь в виду более близкие к славянам, — о трех этнических компонентах шеворской культуры, о полиэтничности черняховской культуры.

Ремесло развивалось, и в I тысячелетии до н.э. у славян началась металлургия железа, сначала — на базе повсеместного болотного железняка; культурные импульсы здесь могли исходить от западных соседей (напр. в кузнецном деле), но основная терминология складывалась почти исключительно оригинальная — **želēzo*, **dъtъna*, **blizna* — в значении 'сталь, наваренные полосы металла', ср. об эпизоде железа у славян [69, с.7 и сл.]. Напротив, название серебра вместе с его культурой пришло к славянам более длинным путем — от восточных индоевропейцев, с Северного Кавказа [69, с. 5-6]. Знакомство с металлами — как хозяйственными важными, так и благородными (ср. слав. **zolto*, исконный индоевропейский диалектный термин для золота) — не меняло основного характера культуры славян, которая оставалась "деревянной", как и у большинства древних индоевропейцев Европы, в отличие от более южной, средиземноморской каменной культуры. Не было общего древнего родового названия металла вообще, но из этого не следует делать какие-то выводы по характеру культуры. Были, правда, родовые термины со значениями 'дерево' и 'камень' — праслав. **dervo* и **kamty/-tene*, но уже второе из этих двух древних слов оказывается при этимологической проверке весьма специальным названием, по-видимому, не всякого камня, а камня острого: и.-е. **akten-/a&kton-* < **a&k-* 'острый' [70]. В сущности нет ничего странного в признании того, что индоевропейский, по-видимому, не имел родового названия камня вообще, а то название, которое довольно широко распространено и реконструируется в форме **a&k(ə)tēn-* 'чуть острое', скорее всего обозначало конкретный острый и твердый камень — кремень, важнейший камень эпохи камня. В таком случае и.-е. **ak(ə)tēn-* и слав. **kamty* лишь вторично стали обозначать камень вообще, а освободившееся место лексемы для кремня было занято в славянском более новым словом **kremty/-tene* (образованным по той же модели, см. ЭССЯ, вып. 12, с.121); кстати, местными диалектными образованиями оказываются слова со значением 'кремень' и в других индоевропейских языках. Здесь мы сталкиваемся с явлением, которое требует осторожности, поскольку трудно трактовать его однозначно. Более или менее уверенно можно утверждать, что вряд ли отсутствие общего, родового термина свидетельствует об отсутствии соответствующей реалии во внеязыковом плане культуры; перед нами один из случаев недостаточности терминологии и в целом — непрямолинейного языкового отражения действительности. Так, индоевропеисты отмечают, что нет индоевропейского названия врага вообще,

но мы сейчас можем более или менее удовлетворительно истолковать эту пестроту и нестабильность обозначений врага в духе развернутых выше положений о маркированности, экспрессивности и известной неустойчивости этих частных импликаций базового значения 'не свой, чужой', знаменующих негативное самосознание. Иначе обстоит дело в случае с отсутствием индоевропейского названия оружия вообще. Здесь суть, по-видимому, не в том, что постоянно совершенствовалось оружие-реалия [8, т.П., с. 739], да и сам процесс этого совершенствования был, кажется, наоборот, медленным, и оружие тысячелетиями оставалось традиционным. Дело в том, что потребность в родовых терминах пришла далеко не сразу или вообще долго отсутствовала и нужды номинации и коммуникации вполне удовлетворяли атрибутивы 'острое', 'коляющее', 'режущее'. Но мы еще вернемся ниже к этому принципиальному вопросу отнюдь не одних только терминов вооружения.

8

Подвижность и оседлость - капитальная культурная оппозиция, в то же время нет ничего более относительного, чем эта оппозиция. И у кочевников-скотоводов подвижность отнюдь не имеет характера беспредельных миграций, но укладывается в рамки сезонных отгонов и ограничивается традиционными этническими ареалами. Со своей стороны, "оседлость" древнего подсечного земледелия тоже весьма относительна. Только чрезвычайные обстоятельства могли побудить любой этнос - кочевнический или оседлый - покинуть привычный ареал ради дальней миграции. То, что произошло в первой половине I тыс. н.э. и осталось в истории как "великое переселение народов", принадлежит своему времени и не может быть распространено на все эпохи, тем более - включая неолит, как это умозрительно происходит в ученых исследований. Соответственно этому в научной литературе наметились две противостоящие версии - в основном немецкая, которая постулирует безотносительные извечные миграции, и, как ее противоположность, итальянская, которая миграции практически исключала [29, с. 95]. Любая крайняя концепция оставляет необъясненными или неправильно объясненными часть фактов, и все-таки до сих пор немалое из того, что относили на счет миграций, обязано своим перемещением обороту артефактов, изделий древнего ремесла, т.е. обмену, который мог далеко заносить топоры, керамику, но также и обычаи, т.е. моду, тогда как люди, производители и покупатели, оставались жить на своих местах.

Все изменилось, в том числе, казалось бы, самые укоренившиеся и священные обычай, в их числе такой важнейший, как погребальный ритуал. Собственно, речь может идти о двух основных обрядах - ингумации (трупоположении в землю) и кремации (трупосожжении) и их взаимоотношении. При всем разнообразии взглядов, даже те из исследователей, кто предпочитает говорить об очень древнем зарождении кремации - в IV тыс. до н.э. и относит ее к характернейшим признакам древнеиндоевропейского ареала в Центральной Европе [71], в общем склонны видеть в ней новшество. Может быть, что эта датировка непомерно удревнена, а динамика самого

явления при этом затмнена. Обратим внимание на указание археолога-слависта на "резкое изменение" погребального обряда, а именно - на смену трупоположения на сожжение трупов в предскифское время - IX-VIII вв. до н.э.[37, с.267]. В общем даже из скучных сведений составляется довольно ясная картина возникновения кремации в более южных странах и постепенного продвижения ее - как рациональной моды - на север: "В Риме сосуществовали обычай ингумации и кремации трупов, причем, по свидетельству Плиния, кремация считалась нововведением..."[8, т.II, с.829] "... кремация, сменяющая ингумацию ... распространяется постепенно преимущественно из более южных, придунайских районов, где она известна с начала бронзового века, по направлению к северу" ...[8, т.II, с.830]. "Сожжение не только умершего, но и его скота и имущества, предполагаемое обрядом кремации, могло бы первоначально представлять собой необходимую защитную меру против распространения чумы"[8, т.II, с.831]. Следовательно, санитарно-гигиеническое назначение кремации ясно, ср. и [47, с.15]. Во все времена очагом губительных эпидемий была Азия, ее южные районы, там же естественно предполагать и первоначальное возникновение такой меры против вспышки эпидемий, как сожжение трупов. Но в общих культурно-исторических и этногенетических связях, интересующих нас, важно видеть распределочность этих двух центров - азиатского, южного центра возникновения обряда кремации и центра обитания индоевропейских племен в Европе, куда кремация пришла с юга и успешно распространилась как полезное новшество вторично. Таким образом, не имеет смысла сомневаться в существовании давних и дальних культурных связей и влияний между (Передней) Азией и индоевропейской Европой, но характер этих связей (как в эпизоде с кремацией) не дает оснований для внеевропейской локализации самого индоевропейского ареала. Что касается кремации как культурного новшества, то ее идеологические последствия могли быть значительными, и кажется, что язык сохранил нам свидетельства этого. Речь идет о названиях огня, точнее - о том из них, которое, видимо, возникло в индоевропейском как неологизм, реакция языка на культурную инновацию. Мы имеем в виду слов. **ognь* и его родственные соответствия в лит. *ignis*, лтш. *igunis*, др.-инд. *agnī-*, хетт. *agni-*, лат. *ignis* - слово, как видим, представленное широко, хотя и не повсеместно, если принять во внимание заметное отсутствие в греческом и германском. Несмотря на большую близость отдельных форм между собой, между ними имеются и различия в вокализме, которые влияют на реконструкцию общей праформы и на этимологию, которой, оказывается, до сих пор практически нет. Последнее обстоятельство у "первой вокабулы", какой можно считать индоевропейское название огня, могло бы не удивлять, но есть соображения относительно более корректной реконструкции, которые как будто помогут нам продвинуться и в вопросе этимологии этого важного слова. Начнем с реконструкции общей праформы, в качестве которой предлагают и.-е.**egnīs/*

ognis* [33, т. III, с. 118–119; 41, с. 293]. Ясно, что такая праформа не может объяснить всех перечисленных форм; так, совершенно неубедительно истолкование начального балт. *u-* как "редукции" исходного балт. *a-* (= и.-е. *o-*), как, впрочем, и лат. *i- < e-* (даже по чисто внешнему рисунку *ignis* напоминает нам, скорее, случайноозвучное *ignotus* < *in + gnōtus*, позволяя допустить предшествование **ingnisi*). Понятно поэтому возвращение к реконструкции и.-е. **ugni-s*, см. [72]. Но возврат этого автора в то же самое время и к старому этимологическому сближению с праслав. **qgle* "уголь" не представляется перспективным в содержательном отношении и побуждает продолжать поиски. Ряд лингвистов принял, вслед за Мейе, культурно-историческую характеристику *огнь*, *ignis* как названия культового, религиозного, почитаемого, жертвенного огня, в отличие от другого индоевропейского названия огня как простого явления природы, представленного якобы в греч. πῦρ, ср. [73, с. 410]. Но и эта характеристика оставляет нас в неведении относительно собственной этимологии **огнь*; кроме того, возможны и сомнения относительно очерченных у Мейе первоначальных функций двух индоевропейских названий огня хотя бы в том смысле, что второе из них (греч., арм., герм., хетт., частично – в слав.) тоже не чуждо ритуально-религиозных связей, ср. его родство с лат. *pūris* '(ритуально) чистый', др.-инд. *rūpāti* 'очищать' [74, II, с. 390–391]. Последняя этимологическая связь позволяет осмысливать название огня и.-е. **reog*/rinos* как первоначальный атрибутив 'чистый, очищающий'.

Возвращаясь к слав. **огнь* и т.д., отметим новую попытку двух наших индоевропеистов проэтимологизировать его как древнюю диссимилированную редупликацию **gn̥-gn̥-i-* (у авторов – **k̥n̥-k̥n̥-i-*) → **η-gn̥-i-* (у авторов – **η-k̥n̥-i-*) [8, т. I, с. 257, примеч. 4], однако я и здесь не вижу существенного прогресса в прояснении состава слова. Можно согласиться с Хэмпом, Гамкрелидзе и Ивановым, что непротиворечиво объяснить тождество форм слов. **огнь*, лит. *ignis*, лат. *ignis*, др.-инд. *agni-* удается, лишь приняв диссимилятивную утрату назального элемента в первом слоге, т.е. соответственно – слав. **o[n]gn̥y*, лит. **u[n]gn̥is*, лат. *i[n]gn̥is*, не говоря о древнеиндийской форме, которая в данном случае правильно отражает предшествующее **ugni-s*, лежащее в основе также всех остальных форм этого названия огня. Не требуется большого воображения, чтобы идентифицировать этот носовой слогообразующий сонант в начале слова со словообразовательной точки зрения как отрицание "не-". Данная констатация налагает определенные ограничения на идентификацию второго, основного члена этого словосложения, которым мог быть, по нашему мнению, индоевропейский корень, представленный в слав. **gniti*, русск. *гнить*. Наше сравнение затрудняется тем, что корень обычно восстанавливается в форме и.-е. **ghneḱ-*, с придыхательным задненебным, откуда др.-в.-нем. *gnītan* 'растирать', греч. χύει 'Фаинέει' (Гесихий), однако наверняка существовал другой, более древний вариант с чистым звонким задненебным (очевидно, что речь идет об экспрессивной лексике, и введение придыхательности здесь означало усиление экспрессивности), который, как это бывает с более древними формами, сохранился в древнем

сложении - **n-gni-s* и в виде остатков - в германской лексике с корнем **kni-* (обычно с расширениями) в значениях 'жать, давить, щипать, резать', ср.[75, с.49 и сл.; 5, с.381-382]. После этого семантическая реконструкция этого названия огня будет как бы 'не-гниющий', и нам остается здесь вспомнить о тех культурных предпосылках, которые вызвали такое обозначение огня: так мог называться, вероятнее всего, ритуальный огонь, пожиравший останки умершего, и вполне возможно, что первоначально так назывался только огонь погребального костра. Вывод культурно-исторический: и.-е. **p̥gnis* явилось языковым неологизмом, отразившим нововведение кремации. Вместе с этим напрашивается другой вывод, не менее значительный в плане характеристики мышления древнего человека: оба индоевропейских ареальных обозначения огня - **p̥gnis* и **reǵor*, которые обычно трактуются как общие (родовые) термины 'огонь', таковыми вначале не были, поскольку этимология обнаруживает у них природу атрибутивов ('не-гниющий', 'очищающий').

Мы возвращаемся к дихотомии подвижность - оседлость (которую собственно говоря, мы и не покидали, разбирая выше случай, когда культурный феномен - обряд кремации и его языковые отражения - распространился через сложившиеся этнические пределы, аналогии чему известны и из лингвистической географии нового времени). Мы стремимся показать реальный неригористический характер этого противопоставления, подобно тому как реально нечеткими оказываются некоторые из рассмотренных выше делений и классификаций. Иными словами гораздо чаще приходится наблюдать вместо укладов в чистом виде - оседлость с чертами подвижности и подвижность с чертами оседлости. Показательно, что оба общественно-культурных уклада имеют с древних времен свои понятия и термины 'дом' и даже 'город'. Конечно, - и эта мысль является одной из главных во всем нашем анализе проблем этимологии в связи с проблемами культуры - этимологическая реконструкция и тут выявляет вместо родовых субстантивов первоначальные специализирующие атрибутивы. Есть примеры названия построек, в том числе жилых, где рядом с идеей недвижимости существует идея первоначальной подвижности, ср. слав. **jata* 'хижина, шалаш, сарай', а также 'стая, стадо', этимологически тождественное др.-инд. *yatám* 'ход' (см. ЭССЯ, вып. 8, с.182), далее - слав. **vēža*, название дома, башни и т.п., этимологически - производное от **vezti* 'везти', обозначавшее повозку, дом на колесах [33, т. I, с.285; 76, с.470]. В качестве курьеза можно указать на то, что, например, русск. *стадо, стая* - достаточно древние названия подвижной по преимуществу группы животных и птиц - образованы от и.-е. **stā-* 'стоять', как и слав. **stanō*, русск. *стан*, одно из древнейших названий стоянки, жилья человека (и.-е. **stāno-*). У слав. **domъ* (русск. *дом* и т.д., и.-е. **doməs*) очень сильны социальные коннотации, что побудило в свое время Бенвениста высказаться отрицательно о связи с греч. *βέμω* 'строить', но, собственно, и у продолжений такого явно строительного названия, как и.-е. **ghordho-* (ср. ниже о названиях города), встречается значение 'семья' (гот.).

Древнее славянское домостроительство отличалось наличием прямоугольных землянок и полуземлянок с печью в углу, что хорошо документируется не только археологией, но и словообразовательно-этимологическим анализом такого праславянского названия дома, как **kǫtja* с его четкой семантической связью с углом, даже специально — с печным углом (см. подробно ЭССЯ, вып. 12, с.70 и сл., там же — карта 2 с совмещением лингвогеографических и археологических данных). Впрочем, традиции полуземляночных жилищ возводятся еще к индоевропейскому [25, с.189, 197]. Сходные и очень красноречивые свидетельства языка о земляночном и даже ямном характере древних жилищ мы получаем и со стороны германского материала, ср. гор. *badi*, нем. *Bett*, англ. *bed* 'постель, ложе' из первоначального 'вырытая яма' (ср. совершенно иную семантическую мотивацию славянских синонимов **lōže*, **postel'a*, **o(b)drъ* [76, с.478]). Ср. и недавно предпринятый опыт словообразовательно-семантической реконструкции англ. *open*, нем. *offen* 'открытый' как наречия **i-ro-nē* "в то время, когда германские двери открывались не скобу, а вверх" [77]. Земляной, земляночный дом обозначает и слав. **xata*, что подтверждается всем комплексом сведений о нем, начиная с этимологии от иранского 'выкопанное (в земле)' и кончая разнообразными 'земляными' коннотациями украинской хаты (см. ЭССЯ, вып. 8, с.21-22). Довольно интересна тема "окно дома", потому что индоевропейского названия окна не было, как не было и самой реалии, а главным и единственным отверстием примитивного индоевропейского дома была дверь, древнее индоевропейское название которой хорошо засвидетельствовано. У германцев окна появились, видимо, поздно, поскольку отсутствует общегерманское название окна, а позднее часть германцев прибегла к метафорическому обозначению окна как 'глаза' (англ. *window*), другая же их часть переняла реалию вместе с названием у римлян (нем. *Fenster*) [78, т.2, с.534]. Общеславянское название окна, напротив, существует с праславянского времени (**okno*), но и оно является местной инновацией, в принципе напоминающей английское название (**oko*: **oko*).

С праславянского времени сохранились языковые свидетельства о наличии у славян жилищ с двускатной кровлей, ср. истолкованное еще Брюкнером **krokъy/*krokvve* 'конструкция из кровельных балок в форме А' как производное от **krokъ* 'шаг' (см. ЭССЯ, вып. 12, с.183-184). Помимо землянок, существовали и наземные постройки, ср. представленное в части славянских языков **kolъna*, собственно прилагательное из вероятного словосочетания **kolъna xу́ba*, производное от **kolъ*, т.е. что-то вроде 'дом на столбах' (см. ЭССЯ, вып. 10, с.168-169). Любопытным свидетельством достаточно древней техники наземного, столбового строительства может служить выявленное нами праслав. **kuna II* со значением 'столб', 'колода', но также и 'оковы', 'кузница', которое допускает интерпретацию как старое (нетематическое) причастие прошедшего времени страдательного залога **kunъ < *kočno-*, при более распространенном причастии **kovano* от **kovati*; к этому и.-е. **kočno-* 'битый (кол, свая)' мы относим такие древнейшие названия городов, как лит. *Kaiñas*, греч.

("парагреческое") Ка^{ин}ос (в Карии и на Крите) (ЭССЯ, вып. 13, с. 104–105; важно отметить индоевропейскую ценность свидетельства праслав. *kina II ← *kinnъ, помогающего раскрыть этимологию этих названий городов из первоначального 'столбовая/свайная постройка', древность этих отношений видна из отсутствия -n-ового причастия в литовском; существующие этимологии *Kainas*, о которых см. [79, I, с. 231], крайне неубедительны). Даже такая реалия, как ключ (от дома) реконструируется не только для праславянского (*kl^hisъ, см. ЭССЯ, вып. 10, с. 50–52), но и – диалектно – для праиндоевропейского, спр. *klē̃uisъ на базе лат. *clavis* и греч. κλῆς с этим значением, хотя речь могла идти только об очень примитивном ключе, который был сродни клюке и форму которого лучше всяких реконструкций можно восстановить с помощью выражения: *журавли* *ключом* *летят*.

На фоне подавляющего большинства праславянских жилищ-землянок наземная бревенчатая постройка выглядела 'высоким домом', была культурно маркирована, и если должна была возникнуть необходимость более или менее эквивалентно передать инокультурное понятие 'дом бога', то таким эквивалентом, разумеется, не могла быть земляночная *kqtja (о которой см. выше), для перевода иноязычной лексемы 'дом бога' предпочтительнее название высокой постройки, а именно праслав. *хорътъ – др.-русск. *хоромъ*, русск. *хоромы* мн., в диалектах обозначающее жилое деревянное строение (с дополнительным семантическим оттенком – 'высокое'), крышу, навес на столбах (см. ЭССЯ, вып. 8, с. 74, 75). Но поскольку и это домашнее слово не очень подходило, особенно на первых порах, прибегли к заимствованию, так появилось слово *съркъ. Христианизация застала у древних славян ситуацию, известную, с отличиями, и у других древних индоевропейцев, живших вдалеке от Ближнего Востока и в своих культурах сил природы еще не знавших храмовых зданий. Хотя некоторые этнические культуры начали потом выражать это понятие синтетическим способом – 'дом бога, *Gotteshaus*', первоначально идея храма зародилась, по-видимому, на открытом пространстве, независимо от жилого дома, во всяком случае у индоевропейцев. Это хорошо видно на всем различии семантики и идеологии лат. *templum* и *domus*. Первое из них – это, скорее, как бы храмовое пространство, освященное, огражденное пространство, ничего общего с домом – первоначально – не имеющее, а этимологически продолжающее, вероятно, и. – е. *ten-tlo-m 'натянутая основа ткани', также с развитием религиозно-этических значений 'учение, правило', лит. *tiñklas* 'сеть' (существующая корневая этимология *templum* < и. – е. *temp- < *ten- [74, II, с. 659] представляется уже недостаточной). Таким образом, у индоевропейцев были дома людей, но не было домов бога, и это представляет собой одно из крупных отличий их древнейшей культуры от древневосточных цивилизаций, где существовали не только храмы, но даже храмовые города-государства (о других различиях, выражавшихся во вторичном появлении как раз у индоевропейцев выраженного жречества, института вождей и сжигания трупов было сказано выше). Отметить это представляется важным, по-

тому что сейчас настаивают на сходстве древней индоевропейской цивилизации и древневосточных цивилизаций [8, т. II, с. 884-885].

Одним из наиболее замечательных культурных феноменов является история термина 'город'. Его реально-семантическая эволюция беспрецедентна, она, можно сказать, не имеет себе равных, особенно, если взять крайние, уродливые формы урбанизации и ее дистанцию от первоначального ядра понятия. Работать над реконструкцией древней основы такого понятия нелегко, здесь слишком бросаются в глаза и охотно отмечаются местные различия. В Международный конгресс археологов-славистов 1985 г. обсуждал положение о том, что единого пути градообразования не было даже в рамках восточнославянского ареала. В пользу этого положения был приведен значительный конкретный материал, который нельзя игнорировать, но все-таки почему же тогда не только у восточных, но у всех славян результат градообразования, при всем его местном различии, был обозначен одним и тем же праславянским словом **gordъ*, откуда правильные рефлексы *город*, *град*, *gród* и т.д. Эту общность нельзя недооценивать, ее смысл, во-первых, в одинаковом именовании всеми славянами результата градообразования (региональные вторичные, главным образом западнославянские термины-кальки с немецкого *Stadt/Statt* 'место' вроде *město, město, mісто* и влияние магдебургского права я считаю возможным здесь игнорировать, так как и они не смогли целиком заслонить и вытеснить древнее славянское название, хотя и сузили его функционально иногда до объема понятия '*Schloss, Festung*'), во-вторых, смысл общности славянского наименования города - в общности представлений, относящихся к этому феномену культуры. Но термин праслав. **gordъ* 'город', как известно, имел значительную индоевропейскую историю и соответствия по крайней мере в некоторых индоевропейских языках, объединяющиеся вокруг **ghordh-/ *ghordh-*: фригийское *-gordum/-zordum* 'город' в сложении *Manegordum, Manezordum*, др.-инд. *gr̥ha-* 'дом, жилище' (замечательно функционирование новоиндоарийского *-garh* в роли, близкой нашим *-город*, *-град*, в урbonии Индостана), алб. *garth, -dhi* 'изгородь', гот. *gards* 'дом', др.-исл. *garðr* 'ограда, двор', др.-сакс. *gard* 'огороженный участок'. Таким образом, при всех возможных оговорках, приходится признать, что к индоевропейской древности восходит, как это ни парадоксально, не только название дома человека, но и название города; последнее не следует модернизировать, как, впрочем, и скептически недооценивать тоже. В отдельных примерах значения 'дом' и 'город' как бы нейтрализуются (см. выше), но возможно, что это вторичные явления. Любопытно, далее, отметить наличие триады 'дом' - 'село' - 'город' не только в праслав. **domъ- *vъsъ- *gordъ*, но (в задатках) уже в праиндоевропейском, причем в роли названия села, селения выступают иногда сливающиеся с понятием 'дом, жилье', но никогда не смешиваемые с понятием 'город' продолжения и.-е. **yek-*, **yik-*, **yoik-*: др.-инд. *vís-* 'жилище', авест. *vīs-* 'деревня, род', греч. *oīkos* 'дом', алб. *vis* 'место', лат. *vicus* 'селение, деревня', гот. *weihs* 'деревня', слав. **vъsъ*. То, что четко характеризовало ин-

доевропейское название города, или, как сейчас иногда говорят, - "предгорода", "начального города", было этимологическим значением 'огороженный, огражда'. Сходный признак, но только не ограждения, а насыщенного вала наличествует у другого древнего индоевропейского регионального названия города: лит. *pilis* 'замок, город', лтш. *pils* 'замок', др.-инд. *rigr-* 'укрепленный город', греч. πόλις 'город'. Совершенно очевидно, что этот семантический признак укрепления, ограждения с самого начала отсутствовал в названиях селения, куда относятся уже приведенные и.е. *χείκ-/*ցիկ- и другая древняя региональная группа названий, представленная в лит. *káimas* 'деревня', лтш. *c̄em̄s*, греч. ιώπη 'деревня', гот. *haims* 'деревня'. Открытость, неогражденность селения, деревни, в противоположность городу, с самого начала подчеркивалась производностью названий от глаголов, означавших 'входить, пребывать в гостях' (*χείκ-/Ցիկ-), 'покоиться' (*κοῦμ-)(попутно отметим наличие не только праславянских, но и индоевропейских корней такого института сельской жизни, как община, ср. праслав. *gromada/*gramada, др.-инд. grāma- 'толпа, деревня, община', см. ЭССЯ 7, с. 103). Так что нынешнее противостояние города и деревни коренится еще в индоевропейских временах. К тому же, обычно связываемое с выделением города ремесло датируют теперь с так называемой неолитической революции.

Славянский город не монолитен; в его составе намечаются почти всюду две части: особое укрепленное ядро (город в собственном смысле) и более аморфное окружающее поселение (выше это было вскользь упомянуто на примере западнославянских пар *masto* - *grbd* и близких, иная номинация двухчастных городов как 'городов-двойников' встречается на Востоке, на Кавказе, ср. древний двойной город на месте Темрюка, Цхум - древний Сухуми, Диоскуриада, двойная крепость Тавриз, см. подробнее [80, с.115-117]). Нечто подобное наблюдается и у восточных славян, только здесь общий термин *город* сохранил свою позицию и не оттеснен неологизмом 'место', как на западе, соответственно иначе имеется и срединное городское ядро. Не стремясь охватить все различные его наименования, остановимся на одном из них, так сказать, характерном русском слове *кремль*, истории которого тоже уходят в праславянскую древность, хотя слово это выразительно диалектное даже для восточнославянского ареала. Собственно, этимологически со словом русск. *кремль*, праслав. *диал. *kremъ* как названием города в городе, отгороженного пространства, откуда связь с корнем *krem-/*krom-, все ясно (см. ЭССЯ, вып. 12, с.117-118). Противоположных попыток, скажем, объясняющих *кремль* как иноязычное заимствование, скорее, немного, ср. одну из них, относящую слово к балтизмам (литературу см.: ЭССЯ, вып. 12, там же). Лично мне пришлось столкнуться еще с одной подобной версией, толковавшей слово *кремль* как культурное заимствование. Я вступил в дискуссию с автором версии и, возможно, сумел убедить его в противном, судя по тому, что в печатном варианте его доклада то, против чего я выступил в дискуссии, отсутствует (см. [81]). Инцидент можно было бы считать исчерпанным, но я думаю, что научная сторона спора может представить общий интерес, а публичный

характер диспута дает мне право на его изложение. Венский профессор К.Г.Менгес в своем докладе на 3-ем зальцбургском славистическом коллоквиуме по проблемам этимологии (Зальцбург, ноябрь 1984 г.) высказал, между прочим, предположение, что слово *кремль* представляет собой "алтайизацию" (ср. тюрк. *kärmän* 'крепость, город') слова, восходящего к древнеанатолийскому названию обожженного кирпича. В устной дискуссии по докладу я указал на ряд лингвистических несоответствий в авторских построениях. Некоторое проникновение тюркского термина *kärmän* имело место главным образом на древнерусском юге, начиная с известного Аккермана (Белгород-Днестровский) и кончая парой *Mankerten* 'большая крепость, большой город', - название, данное степняками Киеву (на Руси не привилось), и *Kertendik*, буквально 'городок, малая крепость', которое сохранилось как остаточный коррелят с забытым *Mankerten*, ср. отсюда и сегодня город Кременчуг ниже по Днепру. Но как раз на (древне)-русском юге слово и название *кремль*, Кремль неизвестны, ареал *кремль* размещается значительно севернее, где нет, в свою очередь, никаких признаков проникновения в русскую географическую номенклатуру или appellативную лексику данного тюркского слова (к русскому языковому ареалу и к ареалу слова *кремль* практически не имеет никакого отношения факт некоторого распространения интересующего нас тюркского слова в тюркских и нетюркских языках Поволжья, ср. чuvашское *karman*, откуда черемисское (марийское) *karman* [82, с.256], ср., далее, марийское *Uyartman*, буквально 'Новый город', калька русского названия Нижний Новгород [33, т. III, с. 73]).

Этими немногими и по необходимости скучными штрихами я стремился показать возможности этимологии для реконструкции внешней и внутренней жизни, т.е. материальной и духовной культуры, древних славян. То, что вся наша нынешняя культура в основе своей есть продолжение длинного ряда предшествующих стадий культуры, в общем известно, хотя общая культурная важность наших исследований, как приходилось уже с сожалением констатировать в самом начале, порой не слишком очевидна и для специалистов, не говоря уж о широкой общественности. Необходимо и дальше разъяснять не исчерпанные еще возможности нашей науки. Я приведу в связи с этим один крайний пример из области славянской этимологии и ее воздействия на массовые представления о древних славянах и их культуре. Мне лично этот простой пример кажется и убедительным, и актуальным. В Киеве, в парке на берегу Днепра стоит скульптурная группа - памятный знак в честь основания города Киева, сооруженный в 1982 г. в ознаменование 1500-летия города Киева: летописные братья Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбедь стоят на ладье (автор монумента - скульптор В.Бородай). Девушка Лыбедь раскинула руки, как крылья в полете; ее имя художник-скульптор осмыслил в связи со словом *лебедь*, и это продиктовало ему образ птицы. Сравнить имя *Либедь* и слово *лебедь* значит предложить этимологию. Весь вопрос в том, что скульптор пошел на поводу неверной этимологии, и тысячи людей, гуляя, созерцают теперь результат этой неверной этимологии, воплощенный в скульптуре. Если бы скульптор

знал правильную этимологию, то изобразил бы не "царевну-лебедь" а Улыбу (Лыбедь - улыбаться, суффикс, как в чернядь и под.), т.е. скорее - кругло лицую девушку-славянку, и это было бы в согласии не только с этимологией имени (к сожалению, не зафиксированной пока даже в наиболее полном словаре, см. [33, т. II, с. 538-539]), но и с антропологией, изучающей мезокранных брахицефальных славян - обитателей Поднепровья.

Как мы уже заявляли в начале работы, нас в большой степени интересует взгляд древнего человека на себя и свою культуру, возможность воссоздания древней, во многом антропоцентрической и антропоморфной картины мира праславянской эпохи. В итоге мы можем сказать, что видим древнего славянина, праславянского индоевропейца как человека, мыслящего себя только в связи со своим родом и видящего все вокруг в свете этой необходимой дихотомии 'свое' - 'не свое' и все свои знания о внешнем мире измеряющего собой и своим опытом ('птицы' = "детки") и наделяющего своими особенностями все предметы и явления. Здесь еще нет острого осознанного интереса человека к самому себе (античные и общечеловеческие достижения "человек - мера всех вещей" и "познай самого себя" лишь дремлют в этой ранней идеологии), но здесь нет еще и развитой религии.

При всем антропоцентризме и антропоморфизме мышления, знания древнего славянина о себе как о человеке были, естественно, невелики и приблизительны. Характер этих знаний и обозначений, касающихся человеческого организма, обнаруживает все ту же всепроникающую метафоричность, которая, как уже отмечалось, вообще свойственна человеческому языку и которая неизменно раскрывается при этимологизации. Если, например, старочешская письменная культура уже знала теорию Галена о кровообращении [83, с. 70], то праслав. **kry*/**krъve*, как, впрочем, и исходное и.-е. **krij-* - это прежде всего 'кровь' с очащающимся (из раны)', т.е. кровь видимая, и только в этом смысле можно понимать наличие явной индоевропейской рифмы **kru*- ~ **sru*- 'струиться'; кровообращения праславянская древность не знала (ЭССЯ, вып. 13, с. 69-70). Глубоко метафоричным было представление о здоровье здорового человека; оно основывалось либо на лестном сравнении с 'хорошим, добрым деревом' (praslav. **sъ-dorvъ*), либо на идее единства, как в случае с праслав. **cēlъ* < и.-е. **kai*-l-i-, где **kai*- - 'один, единственный', ср. также праслав. **cęglъ* 'один, единственный' (см. ЭССЯ, вып. 3, с. 176, 179-180). Сходную природу метафоры, иногда даже гиперболической, обнаруживают названия костей, частей скелета человека; так, праслав. **bedro*, название бедра, бедренной кости, этимологизируется из первоначального прилагательного **bedrъ* 'бьющий, колющий', к тому же, речь идет о самой длинной кости человека (см. ЭССЯ, вып. 1, с. 179). Праслав. **borkъ* 'плечо' и **bvrkъ* 'ус' оказываются этимологически тождественными и основанными на идее гиперболической метафоры ("усы до плеч") и, кроме того, вообще на вторичности появления особой идеи, понятия 'усы' (см. ЭССЯ, вып. 3, с. 128-129). Эта идея как бы инновационна в праславянском, поскольку в индоевропейском понятия 'усы',

вероятно, не было вообще, а главный термин для усов - праслав. **ǫsъ* - как оказалось, восходит к и.-е. **otəsos* 'плечо'.

Древний славянин слабо дифференцировал внутренне болезни, так, праслав. **dъbna*, этимологически тождественное **dъbno* 'дно', квалифицирует просто как "донные, нижние" самые различные суставные, кишечные и другие заболевания (см. ЭССЯ, вып. 5, с.173). Зато в отношении внешних частей тела и их заболеваний наш древний предок порой проявлял большую наблюдательность и располагал очень детальной терминологией даже в сравнении с современным человеком,ср. очень специальный термин **gluzъkъ* 'уголок глаза' (чеш. *hlízek*, русск. *глузг*, ЭССЯ, вып. 6, с.156), более того - специальными древними названиями нагноений в этом уголке глаза, ср. праслав. **grv̥tēždžь* (сербохорв., словен., русск.-цслав., см. ЭССЯ, вып. 7, с.158), а также **kapra* (см.ЭССЯ, вып. 9, с.148-149).

Сказанное дает основание для вывода о преобладающей атрибутивности древнего мышления и его языкового, в нашем случае - раннепраславянского, индоевропейского языкового выражения в полном соответствии с идеологическими предписаниями иносказательности, запретов, умолчания; субъектное воплощение атрибутивов и соответственно - субстантизация в языковом плане - носили начальный характер или отсутствовали (обращает на себя внимание, что субстантивы как правило этимологизируются как атрибутивы). В согласии с этими наблюдениями и примат функции или синкretичных функций выступает на первый план перед ее субъектным и классовым воплощением (при начальном отсутствии последнего, т.е. имеет место нечто противоположное постулируемому Дюмезилем "расщеплению" первоначально единых классовых функций). Четкость классовой структуры - поздняя черта культуры. Трехчастная общественная структура (жрецы - воины - земледельцы/скотоводы), к тому же, понятая в духе статичности новой сравнительной индоевропейской мифологии, совершенно не адекватна изучаемому объекту в его сложности.

Статичность классификаций и "строгость" структурных схем нанесла уже значительный ущерб исследовательской мысли в области выявления индоевропейской эволюции тем более, что уже успела выработаться привычка к этим "классическим" методам и понятиям и преодолевается вся сложившаяся таким образом традиция воззрений не без большого труда. Взять хотя бы язык в целом, основу всех наших реконструкций древнейшей культуры. Важно видеть, что он развивался и развивается в общем согласии с развитием других аспектов культуры, а именно: основа языка всегда демократична, но в ходе развития она обязательно (в том или ином объеме и масштабе) подвергается сублимации (чтобы не быть голословными, вспомним - из вышеизложенного, что сублимация - это тенденция развития также верований человека от примитивных культов к развитой религии). Коммуникационные потребности людей обязательно выдвигают задачу создания наддиалектной формы языка, этой предтечи письменного, литературного языка, в отличие от последнего существовавшей всегда - и в праславянскую эпоху, и регионально - в индоевропейскую эпоху (так называемая "древнеевропейская" гидронимия - это продукт древнеевропейской наддиалектной формы

языка, откуда и ее "бездialectность"). Всякий язык развивается циклично (в том числе литературный, т.е. наиболее рафинированный наддиалектный, и это важно отметить, поскольку из-за обилия узкопрофессиональных исследований в проблематике генезиса литературного языка неясностей накопилось побольше, чем разъяснений): первоначальная магистраль развития ведет к аристократизации (которая неизменно сопряжена с выработкой наддиалектной формы), аристократизация же в определенный момент завершается кризисом, после чего возникает обратная, уравновешивающая тенденция развития - к демократизации языка. Сейчас все труднее становится понимать идею Мейе о как бы раз навсегда данной аристократической индоевропейской лексике. Понятие эволютивности категории в ней отсутствует, как отсутствует оно и в теории Дюмезиля о трехчастной структуре идеологии и общества древних индоевропейцев. В любом аристократизме в конце концов налицоствует и рассматривается демократическая основа.

9

Мы завершаем свое изложение двумя-тремя наблюдениями по социальной истории древних славян в надежде, что это не будет понято как недостаток внимания с нашей стороны к социальному аспекту языка; в языке все социально, и на этом понимании построено наше предшествующее изложение проблем славянской этимологии и праславянской культуры. Социальные наблюдения, на которых мы намерены сосредоточиться здесь, должны показать специфику славянской (praslavянской) ситуации, а одновременно с этим - рискованность слишком поспешного выдвижения универсалий на базе неполного лексико-семантического материала. Возьмем, например, проблему обозначений раба, при этом - для удобства - сополагая славянские данные с достаточно общим этюдом на тему "раба" у Бенвениста [19, с.369]. Совершенно справедливо его наблюдение, что "единого обозначения для понятия раба нет ни в индоевропейской семье в целом, ни даже в некоторых диалектных группах". Раб поставлен вне общества, он всегда "чужой". Уже в этом видна недостаточность или односторонность базы наблюдений Бенвениста с характерным для него отсутствием славянских данных. Он привлекает опыт тех индоевропейских и неиндоевропейских культур, которые получали рабов из военнопленных (попутно называемые им ст.-слав. *плѣнь*, *плѣнити*, *плѣнникъ* лишь очень косвенно относятся к славянской терминологии рабства, суть которой состоит в другом). Далее Бенвенист становится особенно категоричен: "... раб обязательно чужестранец: у индоевропейских народов была лишь экзодулия". Дальше идут примеры лат. *service 'раб'* - вероятно, из этруссского, франц. *esclave 'раб'* < 'славянин' и англосакс. *wealh 'раб'* < 'кельт' и окончательный приговор автора: "Итак, каждый язык заимствует название раба у другого". Но ведь универсальное заключение может рушиться, если окажется, что не "каждый". Так оно, собственно, и есть. Обращаясь к славянскому материалу, мы понимаем, что на него (а возможно - не только на него, ср. и исконно балтийское название раба лит. *vér-*

gas, связанное с *vārgas* 'нужда, бедность') это правило не распространяется; таковы показания истории и этимологии славянских слов **orbъ*, **otrokъ*, **xolръ*, которые все являются этимологически названиями детей, малолетков, подростков, т.е. возрастными обозначениями из сферы терминологии родства и все они, подчеркнем, - исконные, незаимствованные слова. Праслав. **xolръ*, например, находясь в теснейшем родстве с праслав. **xolstъ*, названиями холостого, неженатого, представляет собой суффиксальное производное от глагола **xoliti* в значении 'стричь очень коротко' (см. ЭССЯ, вып. 8, с.61, 62-63, 64-65). Аналогии этому возрастному обозначению могут быть найдены и в античном мире,ср. греч. *ιερός*, *ιερος* 'мальчик, сын' от *ιείρω* 'стричь', как и сам древний обряд острожения волос у подростков, см. [84, с.117]. Ср. и сведения о детстве и юности св.Вячеслава (Вацлава), князя чешского, в его Житии: *И върастѣ ѿтрокъ Іаковы оѣмѣти єиу волосъ* [85, с.142]. Ясно, что мы имеем здесь дело со следами обряда инициации - посвящения подростка в юноши. Обряд этот целиком коренился в идеологии и практике древнего рода. Ясно также, что древний род, целиком занятый своими жизненными проблемами, еще не приобрелся к позднейшему миру войн, военных грабежей и захвата пленных. Похоже, что и здесь, как и в других рассмотренных выше случаях, индоевропейский "героический век" ослепил западных (и некоторых из наших) индоевропейцев, отождествивших его с древнейшим, праиндоевропейским состоянием. Но древнейшим было другое, и это другое, кажется, лучше сохранил славянский. Свое мнение на этот счет я изложил до сих пор только во внутреннем отзыве на работу историка М.Б.Свердлова; автор любезно отразил это в своем печатном тексте, поэтому позволю себе процитировать оттуда [86, с.22 (сноска)]: "В отзыве на нашу работу О.Н.Трубачев сделал очень важное замечание, которое свидетельствует о больших возможностях лингвистики в дальнейшем изучении имманентного генезиса отношений господства и подчинения в праславянском обществе: "Генезис термина **xolръ* - 'холоп' из явно возрастного обозначения и некоторые другие связи с терминологией родства помогают дополнительно понять проблему рабства или, вернее, квазирабства у славян и в Древней Руси. Мы не найдем у славян обозначения 'раб' из первоначального 'иноплеменник', как в некоторых других языках...".

Другой пример - слова **pravъda* и **krivъda* - показывает, как легко историки языка и компаративисты проходят мимо реально-семантической динамики слова, не замечая ее и как, наоборот, важно, а главное - возможно выявление именно динамического смысла, а не приблизительно-абстрактного значения, если мы ставим задачу реконструкции древней культуры. Соответствующие сведения в общем уже изложены в статье **krivъda* в нашем ЭССЯ, вып. 12, с.175-177. Там же достаточно подробно толкуется и слово **pravъda*, поскольку между ними наличествует очень тесная взаимосвязь и оппозиция, без учета которой просто нельзя правильно понять ни одно, ни другое в отдельности. В литературе преобладает тенденция считать **krivъda* производным от прилагательного

*krivъ и соответственно *pravъda - от прилагательного *pravъ. Это можно объяснить лишь непониманием отглагольности модели производных с суффиксом -ьда, а также формальной, словообразовательной связи этого -ьда с глагольной темой -iti. Следовательно, *krivъda и *pravъda - производные от глаголов *kriviti и *praviti. Здесь особенно помогает свидетельство слова и значения *krivъda, сохранившего очень четко свою первозданную процессусальность ('проступок', 'неправедное действие'). Это очень важно, потому что у слова *pravъda эта процессуальность со временем несколько пригасла, что послужило поводом для не вполне адекватных толкований праслав. *pravъda и его продолжений как слов с несколько абстрактным значением 'истина' или 'справедливость' [87], умозрительность чего слишком очевидна для нас теперь. Во всяком случае это не только нельзя называть семантической реконструкцией, но и для относительно позднего хронологического уровня древнерусской юридической терминологии подобное толкование не подходит как адекватное семантическое описание. А это очень существенно, потому что точное семантическое описание хотя бы др.-русск. *правъда* желъзо как 'испытание (каленым) железом' уже открывает прямой путь к реконструкции праслав. *pravъda как 'правеж', т.е. процессуальный термин древнего славянского права. Лишь забвение древних понятийных и словоизводных связей постепенно привело к тому, что современному человеку-носителю языка даже нелегко теперь понять суть отличия значений, скажем, русских слов *правда* и *истина*. Но современный лингвист обязан увидеть вторичность этой синонимизации между ними, должен уметь "снять" ее как лишнее напластование с тем, чтобы увидеть за ним древние, прикрытые связи.

Реконструкция древней культуры - тема слишком обширная даже для большой книги, и автор настоящей работы хорошо понимал это, видя свою задачу в том, чтобы обратить внимание читателя не только (и не столько) на конкретные факты языка и культуры, но и на важнейшие узловые вопросы, без пересмотра которых можно продолжать топтаться на месте, даже имея в руках первоклассный фактический материал. Наука об индоевропейцах курьезным образом напоминает нам временами практику самих индоевропейцев древности, которые опутывали себя традиционными запретами на слова. В немалой степени это относится к западной индоевропеистике, где некоторые важные темы табуизированы или встречают дружное отрицание. Специалист по социолингвистике М.Алиней в своей уже цитированной нами книге специально говорит о нежелании англосаксонской научной литературы обсуждать проблему тотемизма, поскольку она ассоциируется с марксизмом и историческим материализмом и связана с матрилинейностью родства, т.е. матриархатом [58, с. V и сл.]. Действительно, сейчас - и притом не только на Западе - преимущественно пишут об индоевропейской патриархальной семье, хотя думается, что и в этом сложном вопросе "героический век" заслонил индоевропеистам более древние индоевропейские реальности. Это касается и новых больших исследований по индоевропеистике, а временами даже находит выход в научную публицистику вроде статьи в "Вестнике АН СССР", которая не-

давно попалась мне на глаза [88]. Автор явно путает собственное раздражение и тон научной полемики, его контраргументы либо вульгарны (античные сведения о женовладеющих императрицах в России и королев в Западной Европе), либо могут быть пересмотрены (напр. об отсутствии экономического доминирования женщин в древности). Вывод автора как нельзя более категоричен: "У историков нет фактов, позволяющих говорить, что матриархат существовал в прошлом". Что же, таким историкам можно порекомендовать расширить круг чтения, сославшись, по крайней мере, на уже называвшуюся нами статью американского археолога Роулетта [63, с.202, 204], который, обследуя разные группы индоевропейской культуры шнуровой керамики, находил неоднократные подтверждения высокого общественного положения женщин, сравнительно с мужчинами, причастности женщин к ремеслу (*crafts-woman*), о чём свидетельствовали орудия ремесла в качестве загробных даров женских погребений (- это к вопросу об отсутствии экономического доминирования женщин в древности).

Реликты древнего матрилинейного счета родства, вероятно, обнаруживает анализ лексико-семантического гнезда индоевропейской глагольной основы **si-* 'рождать (прежде всего - о женщине)' (см. у нас выше), и постепенный переход на патрилинейность и патриархальность не уменьшает важности иной предшествующей стадии. Иногда, впрочем, существование этой матриархальной стадии допускают, но с оговоркой, что это не так уж важно, потому что было в "додоиндоевропейские времена" [20, с.158]. Но мы сейчас являемся свидетелями того, как стремительно углубляет современная индоевропеистика свою хронологию, что заставит пересмотреть и утверждение о "додоиндоевропейском" возрасте матриархата.

Заканчивая, мы должны отметить, что, несмотря на большую проделанную работу и интерес исследователей к проблеме, все еще слишком сильна традиция анахронической модернизации, давление схемы на понимание фактического материала (привычное распространение отдельных развитых или хорошо изученных относительно поздних традиций - древнеиндийской, латинской, греческой - на всех индоевропейцев), и слишком еще недостаточно выявлено то, что должно быть специальной целью исследования - реальная исходная база и динамика развития духовной, материальной и социальной культуры индоевропейцев, в их числе славян.

ЛИТЕРАТУРА

1. Friedrich P. The language parallax. Linguistic relativism and poetic indeterminacy. Austin, 1986. P.16.
2. Трубачев О.Н. О составе праславянского словаря: (Проблемы и задачи)//Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963.
3. Трубачев О.Н. Этимология славянских языков// Вестн. АН СССР. 1980. № 12. С. 80.
4. Herman J. The history of language and the history of society. On some theoretical issues and their implica-

tions in historical linguistics// *Acta linguistica Academiae scientiarum Hungaricae*. XXXIII. 1-4. 1983. P. 5.

5. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. B., 1967. S. 515-516.

6. Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. T. IV-1. P., 1977. P. 1124.

7. Wittgenstein L. Philosophical investigation. Oxford, 1953. P. 34.

8. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I-II. Тбилиси, 1984.

9. Polomé E.C. The Slavic gods (отд. отт.).

10. Jacobson R. Slavic mythology// Funk and Wagnalls standard dictionary of folklore, mythology and legend/Maria Leach, ed. N.Y., 1972². P. 1025.

11. Топоров В.Н. Ведийское *rta-*: к соотношению смысловой структуры и этимологии// Этимология. 1979. М., 1981.

12: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. К истокам славянской социальной терминологии// Славянское и балканское языкознание. М., 1984. С. 96.

13. Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов)// Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978. С. 221 и сл.

14. Europäische Schlüsselwörter. Wortvergleichende und wortgeschichtliche Studien, herausg. vom Sprachwissenschaftlichen Colloquium (Bonn): J.Knobloch et al. München, 1964. Bd.II. Kurzmonographien. I. Wörter im geistigen und sozialen Raum.

15. Europäische Schlüsselwörter, herausg. vom Sprachwissenschaftlichen Colloquium (Bonn): J.Knobloch et al. München, 1967. Bd. III. Kultur und Zivilisation.

16. Kiparsky V. Russische historische Grammatik. Heidelberg, 1975. Bd.III. Entwicklung des Wortschatzes.

17. Pritsak O. The Slavs and the Avars// Estratto da: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. XXX. Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto medioevo. Spoleto, 1983.

18. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.

19. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.

20. Szemerényi O. Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages (=Acta Iranica. Textes et mémoires. Téhéran;Liège, 1977. V. VII.).

21. Трубачев О.Н. [Рец. на:] Szemerényi O. Studies in the kinship terminology... Этимология. 1979. М., 1981.

22. Knobloch J. Nomina post res// Festschrift für Hugo Moser. Düsseldorf, 1969.

23. Malingoudis Ph. Zur fröhslavischen Sozialgeschichte im Spiegel der Toponymie// *Études balkaniques*. 1985. N 1.
24. Малингудис Ф. За материалната култура на раннославянските племена в Гърция// Исторически преглед. Год. XLI. Кн. 9-10. 1985.
25. Gimbutas M. Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans// *The Journal of Indo-European studies*. V.13. Nos. 1-2. 1985.
26. Gołąb Z. Kiedy nastąpiło rozszczepienie językowe Bałtów i Słowian?// *Acta Baltico-Slavica*. XIV. 1981.
27. Трубачев О.Н. Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на -ěnинъ, -janинъ// Этимология. 1980. М., 1982.
28. Anttila R. Deepened joys of etymology, grade a (and ä)// *Journal de la Société finno-ougrienne*. 80. 1986. Р. 15 и сл.
29. Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.
30. Boryś W. Słowiańskie relikty indoeuropejskiej nazwy brony (wsch. słów. osetъ, pol. jesień a ide. *oketā)// *Acta Baltico-Slavica*. XVI. 1984. S. 57 и сл.
31. Popowska-Taborska H. Z dawnych podziałów Słowiański-szszyszny. Słowiańska alternacja (*j*)e- : o-. Wrocław etc., 1984. S. 59-60.
32. Мартынов В.В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963.
33. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка/ Пер. с нем. и доп. О.Н.Трубачева. М., 1964-1973. Т. I-IV.
34. Hahn V. Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. New ed. Amsterdam, 1976.
35. Neckel G. Die Frage nach der Urheimat der Indogermanen// *Die Urheimat der Indogermanen*. Herausg. von A.Scherer. Darmstadt, 1968. S. 174-175.
36. Meyer E. Die Indogermanenfrage// *Die Urheimat der Indogermanen*. Herausg. von A.Scherer. Darmstadt, 1968. S.277.
37. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.
38. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
39. Watkins C. On confession in Slavic and Indo-European// *Indo-European studies III*. Cambridge, Massachusetts, 1977.
40. Polomé E.C. The study of religion in the context of language and culture// *The Mankind quarterly*(в печати).
41. Pokorny J. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern-München, 1959. Bd. I.

42. Трубачев О.Н. Реконструкция слов и их значений// ВЯ 1980. № 3.
43. Ivănescu G. Numele lunii în limbile indoeuropene// Studii și cercetări lingvistice. XXXVI. 5.1985. P. 416 и сл.
44. Polomé E.C. Muttergottheiten im alten Westeuropa. H.Jankuhn-Festschrift (Bonner Jahrbücher 1985). S. 15.
45. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
46. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956.
47. Polomé E.C. Der indogermanische Wortschatz auf dem Gebiete der Religion// Indogermanische Gesellschaft-Symposium. Innsbruck, 1985.
48. Buck C.D. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages³. Chicago; London, 1971.
49. Gołąb Z. About the connection between kinship terms and some ethnica in Slavic (The case of *Sırbi and Slověne)// International journal of Slavic linguistics and poetics. XXV-XXVI. 1982. P. 168.
50. Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1956-1976. Bd. I-III.
51. Балкански Т. Стéбал - древно и съвременно название на дивата котка// Български език. XXVII. 4. 1977. С. 343 и сл.
52. Иванов Вяч.Вс. Индоевропейские этимологии. З. К индоевропейским названиям бороды// Этимология. 1983. М., 1985. С. 162-163.
53. Цихун Г.А. К реконструкции праславянской метафоры // Этимология. 1984. М., 1986. С. 211 и сл.
54. Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 1985. С. 48.
55. Cornillot F. L'origine iranienne du nom générique de "dieu" en slave// Die Sprache. 27. 2. 1981. P. 167 и сл.
56. Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. 2. Aufl. Wien, 1976.
57. Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор. М.; Л., 1949. 1.
58. Alinei M. Dal totemismo al cristianesimo popolare. Sviluppi semantici nei dialetti italiani ed europei. Torino, 1984.
59. Milewski T. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław etc., 1969.
60. Трубачев О.Н. Праславянская ономастика в Этимологическом словаре славянских языков. Вып. 1-13. Этимология. 1985. М., 1988.
61. Schelesniker H. Die Schichten des urslavischen Wortschatzes// Anzeiger für slavische Philologie. Bd. XV-XVI. 1984-1985. S. 77 и сл.

62. Gamkrelidze T.V. and Ivanov V.V. The Ancient Near East and the Indo-European question: temporal and territorial characteristics of Proto-Indo-European based on linguistic and historico-cultural data// The Journal of Indo-European studies. V. 13. Nos. 1-2. 1985.
63. Rowlett R.M. Archaeological evidence for early Indo-European chieftains// The Journal of Indo-European studies. V. 12. Nos. 3-4. 1984. P. 193 и сл.
64. Трубачев О.Н. Следы язычества в славянской лексике. 1. trizna. 2. pěti. 3. kovy// Вопросы славянского языкознания. М., 1959. Вып. 4. С. 135 и сл.
65. Rudnyckyj J. Slavic terms for 'god'// Antiquitates Indogermanicae. Innsbruck, 1974. P. 111-112.
66. Трубачев О.Н. Из славяно-иранских лексических отношений// Этимология. 1965. М., 1967.
67. Коломиец В.Т. Названия дорог в индоевропейских языках// Этимология. 1984. М., 1986. С. 95 и сл.
68. Języki indoeuropejskie/ Pod red. L.Bednarczuka. W-wa, 1986. T. I.
69. Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян. VI// ВЯ. 1985. № 5.
70. Hamp E.P. On the notions of 'stone' and 'mountain' in Indo-European// I.L. V. 3. N 1. 1966. P. 85.
71. Яновайте M. Некоторые замечания об индоевропейской прародине// Baltistica XVII (1). 1981. С. 66 и сл., passim.
72. Hamp E.P. Lithuanian ugnis, Slavic ognь// Baltic linguistics/ Ed. Magner and Schmalstieg. University Park and London, 1970. P. 75 и сл.
73. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého². Pr., 1971.
74. Walde A. und J.B.Hofmann. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1965-1972. Bd. I⁴-II⁵.
75. Falk Hj., Torp A. Wortschatz der germanischen Spracheinheit. 5. Auflage. Göttingen, 1979.
76. Trubačev O.N. Die urslawische Lexik und die Dialekte des Urslawischen// Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Bd. 34. H.4. 1981.
77. Szemerényi O. English open, German offen, and a problem for the Wörter und Sachen theory// Festschrift für Johann Knobloch (=Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Bd. 23). Innsbruck, 1985. P. 469 и сл.
78. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in 5 Bänden. München, 1979.
79. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg;Göttingen. Bd. I-II.

80. Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье// Этимология. 1979. М., 1981.

81. Menges K.H. Das Problem der "gelehrten Volksetymologie". Einige slawische und altaische Etymologien// Die slawischen Sprachen. Salzburg, 1984. Bd. 6. S. 45 и сл.

82. Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Turksprachen. Helsinki, 1969 (=Lexica Societas Fenno-Ugricæ XVII. 1).

83. Slova a dějiny/ Pod vedením I.Němce. Pr., 1980.

84. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.

85. Medieval Slavic lives of saints and princes, ed. M.Kantor. Ann Arbor, 1983 (=Michigan Slavic translations 5).

86. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983.

87. Цейтлин Р.М. О значениях старославянских слов с корнем *праб-*// Этимология. 1978. М., 1980. С. 62.

88. Першиц А.И. Матриархат: иллюзии и реальность// Вест. АН СССР. 1986. № 3. С. 59 и сл.

УКАЗАТЕЛЬ СЛОВ И ИМЕН (алфавитный порядок ЭССЯ)
(цифры обозначают страницы)

* <i>ağ-</i> , и.-е. 304-305	Δᾶιος 317
* <i>ağ-ro-</i> , и.-е. 305	<i>deus</i> , лат. 321
* <i>akmen-</i> , и.-е. 325	* <i>di-/*dei-</i> , и.-е. 308
<i>amp</i> , <i>amb</i> , арм. 309	* <i>djeu̯s-pater-</i> , и.-е. 309, 317
<i>Anartes</i> (<i>Caesar</i>) 299	* <i>divo</i> , праслав. 321
* <i>Avařtoš</i> (<i>Ptol.</i>) 299	<i>diue</i> , др.-русск. 321
* <i>ánryta-</i> , др.-инд. 299	* <i>divo/*divo</i> , праслав. 321
* <i>Αριάδης</i> , греч. 316	* <i>đō-</i> , и.-е. 323
<i>badi</i> , гот. 330	* <i>dolnъ</i> , праслав. 314
<i>bed</i> , англ. 330	* <i>domъ</i> , праслав. 329, 332
* <i>bedro</i> , праслав. 335	* <i>dvbna</i> , праслав. 336
<i>bel-ami</i> , франц. 292-293	* <i>dvmtъna</i> , праслав. 325
<i>Bett</i> , нем. 330	* <i>dъnъ</i> , праслав. 308
* <i>bhardhā</i> , и.-е. 314	* <i>egnis/*ognis</i> , и.-е. 327-328
* <i>bлизна</i> , праслав. 325	<i>Eteobroton</i> (<i>Rav.Anon.</i>) 299
* <i>bogodanъ</i> , праслав. 317	Ἐθνος, греч. 311
* <i>boguxvalъ</i> , праслав. 317	Ἐθος, греч. 311
* <i>bogъ</i> , праслав. 316, 317	<i>favēre</i> , лат. 319
* <i>borda</i> , праслав. 314	<i>freis</i> , гот. 309
* <i>borna</i> , праслав. 305	* <i>gen-</i> , и.-е. 308
* <i>broščel'anъ</i> , праслав. 304	* <i>ghordho-/*ghordhō-</i> , и.-е. 329, 332
* <i>bvrkъ</i> , праслав. 335	* <i>gluzvko</i> , праслав. 336
* <i>cěglov</i> , праслав. 335	* <i>gniti</i> , праслав. 328
* <i>cělъ</i> , праслав. 335	* <i>gordv</i> , праслав. 332, 333
* <i>čara</i> , праслав. 315	* <i>gověti</i> , праслав. 319
* <i>česemino</i> , праслав. 304	* <i>grab(r)v</i> , праслав. 304
* <i>čudo</i> , праслав. 321	* <i>gromada/*gramada</i> , праслав. 333
* <i>da(djv)bogъ</i> , праслав. 316, 317	* <i>grvměždžb</i> , праслав. 336

- **gvězda*, праслав. 309
haims, гот. 333
 **xata*, праслав. 330
Cherusci, герм. 316
 **xoliti*, праслав. 338
 **xolkъ*, праслав. 338
 **xolstъ*, праслав. 338
 **xormъ*, праслав. 331
ištaħħ-, хетт. 323
 **jata*, праслав. 329
 **jbmę*, праслав. 322
 **jbrojō*, праслав. 310
káimas, лит. 333
 **kamy/-mene*, праслав. 325
 **kapra*, праслав. 336
Kaīnas, лит. 330
Kaūnōc, парагреч. 330
 **kley-*, и.-е. 320-321
 **klēuis*, и.-е. 331
 **kł'ūdъ*, праслав. 331
 **kobъ*, праслав. 315
kolduн, русск. 307
 **kolvna*, праслав. 330
ňamъ, греч. 333
 **konopja*, праслав. 304
 **korakъ*, праслав. 307
 **korylъ/*korylъ/*kopylo*,
 praslav. 307
 **korvna/*korvno*, праслав. 306
 **korva*, праслав. 313
 **kostroba/*kostroba/*kostroma*,
 praslav. 316
 **koto*, праслав. 313
 **kotja*, праслав. 330
кремль, русск. 333-334
 **kremty/-mene*, праслав. 325
 **krniti/*krnqti*, праслав. 323
 **krivođa*, праслав. 338-339
 **kroky/-kъve*, праслав. 330
 **kru-*, и.-е. 335
 **kry/*krove*, праслав. 335
 **kuna II*, праслав. 330
 **kupiti*, праслав. 323
кофроc, греч. 338
 **koldunъ/*koltunъ*, праслав. 307, 315
 **korma*, **kormidlo*, праслав. 316
 **kvšъ*, праслав. 316
 **kykymora/*kukumora*,
 praslav. 316
laisvė, лит. 311
Либедь, др.-русск. 334-335
mald-, хетт. 320
malt' em, арм. 320
meldōn, др.-в.-нем. 320
meldžiū, *melsti*, лит. 320
 **mēsēcъ*, праслав. 309
 **modliti*, праслав. 320
 **mus-*, и.-е. 320
vāðs, греч. 310
 **nasēnъje*, праслав. 304
 **naujo-*, и.-е. 310
 **nāu-s*, и.-е. 310
navis, лат. 310
 **navo(jv)*, праслав. 310
Nebel, нем. 309
 **nebo*, праслав. 309
nebula, лат. 309
nef, франц. 310
 **ngni-s*, и.-е. 328-329
nüchtern, нем. 296
nūmen, лат. 321
offen, нем. 330
 **ognъ*, праслав. 327-329
 **oketā*, и.-е. 305
open, англ. 330
 **okvno*, праслав. 330
 **orbo*, праслав. 338
ɔrvic, греч. 314
 **orblъ*, праслав. 314
 **osetъ*, праслав. 305
 **otrokъ*, праслав. 338
 **qsъ*, праслав. 336
paludem, лат. 318
 **perkūno-*, и.-е. 315
 **Perunъ*, **perunъ*, праслав. 316
 **peçor/*punos*, и.-е. 328, 329
 **pēti*, **pojg*, праслав. 319, 320
 **pilis*, лит. 333
plaumorati (Plin.) 307
 **ploçjom*, и.-е. 310
 **plugъ*, праслав. 307
побба, русск. 305
пòлъc, греч. 333
 **polovodъje*, праслав. 318
 **porędъkъ*, праслав. 298
 **pravoda*, праслав. 338-339
признаться, русск. 308
puls, лат. 306
punāti, др.-инд. 328
пýр, греч. 328
pur-, др.-инд. 333
pūrus, лат. 328
 **pôlba*, праслав. 306
 **pôtica/*potôka/*pôtakъ*,
 praslav. 313
 **rajbъ*, праслав. 309-310
 **reg-*, и.-е. 318
 **rêdъ*, праслав. 298
 **rodъ*, праслав. 300

<i>rtá-</i> , др.-инд. 298-299	* <i>svojo</i> , праслав. 299-300, 302, 311
* <i>rta-br(i)ta</i> , индрарийск. 299	* <i>svabstv</i> , праслав. 311
<i>Σάκαλ</i> 317	* <i>svdorvn</i> , праслав. 335
* <i>sedl'ane</i> , праслав. 304	* <i>svlnce</i> , праслав. 308
* <i>sestra</i> , праслав. 311	* <i>svmrty</i> , праслав. 312
* <i>sěmę</i> , праслав. 304	* <i>synv</i> , праслав. 311
<i>sibja</i> , гот. 311	* <i>svrna</i> , праслав. 313
* <i>slověne</i> , праслав. 311	<i>śmaſtri-</i> , др.-инд. 314
<i>svbta-</i> , др.-инд. 312	- <i>šera-</i> , хетт. 312
<i>Spelz</i> , нем. 306	<i>tántrat</i> , др.-инд. 331
<i>стадо</i> , русск. 329	<i>templum</i> , лат. 331
<i>стая</i> , русск. 329	* <i>ten-tlo-m</i> , и.-е. 331
* <i>stāno-</i> , и.-е. 329	* <i>terzvvn</i> , праслав. 296
* <i>stanv</i> , праслав. 329	<i>tiñklas</i> , лит. 331
<i>стóть</i> , русск. 323	точеский, русск. 296
* <i>stribogv</i> , праслав. 316, 317	<i>τοξιδες</i> , - <i>бн</i> , греч. 296
* <i>stvbjv</i> , праслав. 313	* <i>uei̯k-/ui̯k-/uoikō-</i> ,
* <i>su-</i> , и.-е. 302, 311, 312, 340	и.-е. 332, 333
* <i>sij-mrt-</i> , и.-е. 312	* <i>uei̯s-</i> , и.-е. 314
* <i>sipni</i> , и.-е. 302, 311	* <i>uent-</i> , и.-е. 314
* <i>su-s</i> , и.-е. 312	* <i>uesu-kleues-</i> , и.-е. 317
* <i>suto-</i> , и.-е. 302	* <i>uetr-</i> , и.-е. 316
* <i>sue-</i> , и.-е. 299-300, 301-302, 312	* <i>vēdati</i> , праслав. 308
* <i>suebho-</i> , и.-е. 311, 312, 322	* <i>vēktv</i> , праслав. 321-322
* <i>sue-sr-</i> , и.-е. 311	* <i>vēniti</i> , праслав. 323
* <i>sko-s</i> , и.-е. 300, 302, 311, 312	* <i>věža</i> , праслав. 329
<i>svādhinatā</i> , др.-инд. 311	<i>vīš</i> , авест. 314
<i>svar-ga-</i> , др.-инд. 317	<i>vištā</i> , лит. 314
* <i>svarogv</i> , праслав. 317	<i>wyraj</i> , польск. 310
* <i>svatv</i> , праслав. 311	* <i>vobv</i> , праслав. 332
* <i>svekrv</i> , * <i>svekry</i> , праслав. 311	*(<i>a</i>) <i>ster-</i> , и.-е. 309
* <i>svinbja</i> , праслав. 312	* <i>znati</i> , праслав. 308
* <i>svoboda</i> , праслав. 311	* <i>zelēzo</i> , праслав. 325

E. A. Хелимский

ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРАСЛАВЯНСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА ПАННОНИИ

С точки зрения как славянского, так и венгерского языкоznания, богатейшим историко-языковым источником является фонд славянских заимствований (апеллятивов и топонимов), проникших в венгерский язык в период, хронологически близкий к завоеванию венграми Среднего Подунавья (895-900 гг.).

Возможность выделения этого древнейшего фонда среди всей массы венгерской лексики славянского происхождения, наиболее полно представленной в словаре И.Книжики [Kniezsa 1974] и "Историко-этимологическом словаре венгерского языка" [TESz], а также в топонимических работах [Mélich 1925-1929; Kniezsa 1938, 1943; Stanislav 1948; Györgyffy 1963-1987; Kiss 1983 и др.], определяется в первую очередь фонетическими критериями. Представляется целесообразным осуществлять такое выделение¹ поэтапно. Во-пер-

вых, к древнейшему фонду с уверенностью можно отнести те заимствования, в которых (а) отражаются славянские носовые гласные, утрата которых в центральном ареале славянских диалектов произошла не позднее XI в. [Бернштейн 1961: 241–246; Stieber 1979: 46–48], см. также ниже; (б) слав. с субституируется через венг. *-cs-*, *-t²*, что связано с отсутствием в древневенгерской системе фонем аффрикаты /c/ – ее появление и распространение относят к X–XIII вв. [MNУТ 113; Mollay 1982: 218]. Эти два диагностических признака позволяют получить следующий этимологический перечень (то-понимика учтена в нем, вероятно, неполно). Славянские реконструкции даны по ЭССЯ (буквы *a–k*) или в записи, принятой в ЭССЯ; значения венгерских слов указаны сокращенно, даты их первой фиксации в памятниках и словарях приведены преимущественно по TESz и [Kiss 1983], отдельные принадлежащие автору этимологические корректизы и дополнения здесь специально не оговариваются.

*bledъ > ДВ *bälind → *belendēs* (ок. 1380) 'распутный'
(вторичная форма *beléndes* – по контаминации с *beléndek* 'белена')

- *blqdrъ > *bolond* (1372/1448) 'сумасшедший'
- *bobovьсъ > *Babót* (1217) МН (м.Дьер-Шопрон)
- *bojevьсъ (?) > *Bajót* (1202) МН (м.Комаром)
- *Boręta > *Berente* (1323/1332) МН (м.Боршод-Абауй-Земплен)
- *cerъ > *csér* (1193) 'чернильный дуб'
- *cerъje > *csérje* (1358/1364) 'кустарник, заросли'
- *cérъ (или *cérъ, Pl.) > *csér* (1138/1329) 'цеп'
- *césarъ > *császár* (1233) 'император'
- *cěva > *csévē* (1548) 'цевка, шпулька'
- *cěvъ (*cěvъ) > *cső* (1319) 'труба'
- *čqbrъ (см. ЭССЯ sub *čqbro) > *csombor* (1220/1550)

'чабрец *Satureia hortensis*'

- *dqbovъ/a/o > *Dombó* (1278) МН (м.Шомодь; Трансильвания)
- *dqbrava (или *dqbrovъ/a/o) > *Dombrb* (1291) МН (Трансильвания)
- *dqga > *donga* (1233) 'клепка, изогнутая доска в бочке'
- *drqgrъ > *dorong* (1291/1294) 'дубина, жердь'
- *glqbъko (?) > *Galambok* (1231) МН (м.Зала)
- *golqbъ (*golqbъ) > *galamb* (1165) 'голубь'
- *gqba > *gomba* (1138/1329) 'гриб'
- *gqdъсъ (?) > *Gondoc* название горы (м.Зала)
- *gręda > *gérēnda* (1321/1323) 'балка, брус'
- *grędilъ (ЭССЯ: *grędēlbъ) > *gérēndēly* (1363) 'дышило плуга'
- *grędъ > СВ *gérēnd* (1346) 'чердак, стропило; возвышение'
- *grqba > *goromba* (ок. 1456) 'грубый'
- *grqdъ > диал. *gorond* (1330/1505) 'холмик; кочка, остров на болоте'

- *grqdъje > диал. *gorongya* (1893) 'ком земли' (видимо, вторично литер. *göröngy* с экспрессивным преобразованием)
- *kqd(e)rъ > диал. *kondor* (1075/1217) ' кудрявый, курчавый '
- *kqkoljъ > *konkoly* (1193) 'куколь, растения Agrostemma githago или *Lolium temulentum*'
- *kqsvъ > *konec* (1181/XVI в.) 'кусок (пренебр.)'
- *krqgrъ > *korong* (1274) 'диск, круг (сыра, гончарный)'
- *krqpa > *Korompa* (1113) МН (Словакия, слвц. *Krupá*)

- **ledjanъ* (или **lędjenъ*) > СВ *lengyen* (1130-40/XII-XIII вв.)
→ *lengyel* 'поляк'
**lędnica* > *Lendence* гидроним (м. Зала)
**lędnikъ* > ДВ **lindnik* → *lēdněk* (1471) ~ диал. *lēnděk*
'вика *Vicia'*
- **lętja* > *lēncs * (1325) 'чечвица'
**l gg * > *Long* (1350) МН (м. Боршод-Абауй-Земплен)
**l gka* > *lanka* (1217/1270) 'пологий склон, (СВ) луг около водрэма'
**l gav c * > *Lank c * (1273) МН (м. Шомодь)
**m c b * (?) > диал. *mancs* (1792) 'деревянный мяч'
**morav c * > *Mar t* (1113/1410) МН (Словакия, слвц. *Zlate Moravce*)
**m ka* > *munka* (1138/1389) 'работа, (СВ) м ка'
**n m c b * > *n m t * (1130-40/XII-XIII вв.) 'немец'
**obrq b * > *abroncs* (1467) 'обруч'
**q tora* > диал. *ontora* (1649) 'нарезка в клепках бочки'
**q t k * > диал. *ontok* (1635) 'уток, поперечная нить ткани'
**pa q k * > диал. *p nk* ~ *ponk* (XVIII-XIX вв.) 'паук'
**p t k * > диал. *p nt k* (1138/1329) 'пятница' (вторично
лит. *p nt k*)
**porq (iti)* > *parancs-ol* (1372/1448) 'приказать'
**pot g * > *pating* (1577) 'гуж, особ. для крепления плу-
га к оглоблям'
**pr d * > *porond* (1530) 'арена; (СВ) песок, коса'
**pr gg * > диал. *porong* (1493) 'рама ткацкого станка; (СВ)
одна из составных частей мельничной запруды'
**pr str g * > СВ *pisztrong* (1261) → *pisztr ng* (вторичная
форма) 'форель'
**r d * > *r nd* (1248) 'ряд, порядок'
**r b (iti)* > *romb-ol* (1621) 'разрушать; (СВ) рассекать,
разрубать'
**r b ka* > СВ *roncska* (ок. 1495) 'сосуд для жидкости
(с ручкой)'
**selme* > *sz lem n* (1135) 'продольная балка крыши, об-
решетина'
**s bota* > *szombat* (1002/1109) 'суббота'
**s bra * > *Szomp cs* (1214) МН (м. Зала)
**s s d * > *szomsz d* (1322) 'сосед'
**sv t (iti)* > *sz nt- l* (1372/1448) 'святить'
**sv t * > *sz nt* (1156) 'святой'
**sv r tja* > *sz r enc * (1275) 'судьба; удача, счастье'
**t z zad * > диал. *tenzsola* (XIX в.) 'оглобля'
**t z pa* > *tompa* (1135) 'тупой'
**tr g ba* > диал. *toromba* (1463) 'охапка соломы'
**tr d * > ДВ **turund* → *torongy* (1585) 'язва'
**v z * > СВ *venz* (1257) → *v nic* (вторичная форма) 'вяз'
**x le ba* > *Helemba* (1234) название острова на Дунае
**x r  any* (?) > *Herenc ny* (1303) МН (м. Ноград)
**z b ro* > *Zombor* (1298) МН (м. Боршод-Абауй-Земплен)
 b ry*/ b ry*(?) > *Zsombor* (1332/1337) МН (Трансиль-
вания)

Несмотря на некоторое однообразие этого перечня, обус-
ловленное преобладанием структурно однотипных славянских
этимонов с *q* и * *, в нем весьма последовательно отражаются
все основные закономерности фонетической рефлексации, ха-

рактерные для заимствований раннего периода (см. о них ниже). Редчайшие отклонения от закономерностей объясняются специфическим фонетическим окружением (особенно влиянием предшествующего губного согласного на гласный) и вторичными изменениями в венгерском языке и отдельных его диалектах³; как показали наши результаты и как отчасти будет продемонстрировано в дальнейшем изложении, фактически почти не возникает необходимости связывать отклонения с особенностями тех или иных славянских диалектов-источников.

Во-вторых, к древнейшему фонду правомерно будет отнести и те заимствования, в которых при отсутствии рефлексов слав. *c, *g и *č выполняются другие характерные для приведенного перечня нормы фонетической субSTITУции. Разумеется, в целях контроля должны учитываться и филологические данные: поскольку древневенгерский лексический материал в целом хорошо отражен в памятниках XIII-XV вв., отчасти и в более ранних, то из слов, впервые фиксируемых в XVI в. и позднее, целесообразно привлекать (и то с осторожностью) лишь те, которые до сих пор сохраняют узко специальный или диалектный характер. Исторические и историко-культурные критерии могут приниматься во внимание в той мере, в какой они исходят из бесспорных фактических данных, а не из более или менее субъективных предположений о соотнесенности заимствования с определенными историческими событиями⁴.

Составленный на основе изложенных принципов словарь ранних славянских заимствований насчитывает от 500 до 650 апеллятивов⁵ и несколько сот топонимов (для сравнения: в словаре И. Книжи рассмотрено в общей сложности около 1500 надежных и проблематичных славянских заимствований венгерского языка, куда не входят культурные заимствования из литературных славянских языков новейшего времени).

Для квалификации этого древнейшего фонда следует принять во внимание факты истории и данные сравнительного славянского языкознания. К моменту прихода древневенгерских племен в Среднее Подунавье эта территория имела преимущественно славяноязычное население, наиболее густое в задунайских областях (собственно Паннония, прежние владения Прибины и Коцела), многочисленное в Трансильвании и сравнительно редкое на Дунайско-Тисской равнине и в бассейне Тисы [Györffy 1959: 31; Popović 1961: 202–210; Sós 1969, 1973; Пеняк 1972; Трубачев 1983: 250 и др.]. Присутствующая в ряде работ венгерских историков недооценка славянского автохтонного этнического компонента и пересценка аварского (ближкого к древним венграм по хозяйственному и социальному укладу и быстро с ними слившегося) встречает серьезные возражения, см. [Simonyi 1955: 333–334; Bálint 1984: 118; Леваи 1986]. Следует иметь в виду, что государство аваров всегда строилось на своеобразном аваро-славянском симбиозе [Шушарин 1971: 75–76; Fritze 1979]; что этнополитическая ситуация после разгрома этого государства могла в IX в. привести к значительной языковой ассимиляции аваров славянами [Szöke 1960: 111; Мог 1962: 267]; наконец, что многие т. н. аварские древности Венгрии имеют в действительности славяно-аварское и даже преимущественно славянское происхождение [Седов 1979: 126–128].

Судьба славянского населения Венгрии довольно четко прослеживается по археологическим материалам из Задунавья: для конца IX – последней четверти X в. отмечаются только раздельные погребения славян и венгров, с конца X в. при сохранении раздельных погребений начинают встречаться славянские предметы в венгерских и венгерские – в славянских захоронениях, для конца XI в. характерным становится использование славянами и венграми одних и тех же погребальных полей (с пустой разделяющей полосой); кроме того, в XI–XII вв., местами до XIII в. отмечаются этнически смешанные кладбища. Наконец, в последующий период установление этнической принадлежности покойников по погребальному обряду и предметам материальной культуры становится невозможным [Fehér 1957: 15–28; ср. Váňa 1954]. Эти наблюдения, сохраняющие силу и в свете археологических исследований последних десятилетий, дают четкую картину постепенного слияния местного славянского и пришлого венгерского населения. Поскольку языком-победителем в этой ситуации оказался венгерский (а могло бы быть и наоборот – вспомним историю Болгарии), полностью уместна характеристика языка славянского населения как субстратного по отношению к современному венгерскому языку и, соответственно, оценка выделенного нами древнейшего фонда славянских заимствований как лексического субстрата.

Субстратный язык славянского населения Паннонии и других областей исторической Венгрии применительно к интересующему нас периоду (X–XII вв.) можно, по-видимому, характеризовать как один из позднепраславянских диалектов или группу таких диалектов (к вопросу об относительном единстве этого языка мы вернемся ниже), как часть общеславянского языкового континуума той эпохи, когда бассейн Дуная еще не разделялся, а связывал между собой различные группы славян. Такая характеристика существенно расходится со взглядами ряда исследователей – как венгерских, так и славянских – которые тем или иным путем элиминируют панноно-славянский язык, либо приравнивая его к одному из славянских соседних языков, либо вообще предполагая чисто адстратное происхождение всех славянизмов венгерского языка, в том числе и древнейших (см. об этом далее). Однако среди множества точек зрения о хронологических рамках пракславянского периода наиболее содержательным лингвистически представляется отнесение его конца ко времени, "où les différentes langues slaves perdirent pour toujours la faculté de participer toutes ensemble à des changements communs", т.е. к эпохе падения слабых еров – X–XII вв. [Troubetzkoy 1922: 217–218]; ср. также [Дурново 1932; Топоров 1959; Birnbaum 1979].

Этим определяется значение венгерского языка для славистики как источника – фактически единственного⁶ – для исследования особенностей славянского языка Паннонии (сам не будучи славянским, венгерский язык является его наследником) и как источника для позднепраславянской реконструкции. Хотя констатация этого факта со времен Фр. Миклошича прочно утвердилась в славянском языкоznании, объем и способ использования венгерского материала вряд ли могут быть

признаны удовлетворительными. Ранние заимствования в венгерском языке (как, впрочем, и в румынском, и в албанском, и в финском) лишь эпизодически упоминаются в славянских этимологических словарях (из общеславянских словарей они – и то далеко не в полной мере – отражены только у Фр. Миклошича и в неоконченном труде Л. Садник и Р. Айцетмюллера). Не лучше обстоит дело и с использованием историко-фонетических импликаций. Так, в фундаментальном труде Дж. Шевелева [Shevelov 1964], где свидетельствам соседних со славянскими языками удалено особенно много внимания и, в частности, широко привлекаются данные венгерского языка, не менее половины ссылок на эти данные содержит серьезные неточности. Ср.: 1) "the earliest Hung borrowings from Sl manifest the same principle of rendering both Sl *o* and *a* by *a*" (p. 155) – в действительности венгерский язык отражает слав. *o* как *a* [ɛ], но слав. *a* как долгий á [ã]; 2) венгерское отражение яти характеризуется как "ē (open vowel)" (p. 170) – на самом деле в древневенгерском различались ā и ē (ныне совпавшие в лит. ē [ē]), но имеющие разные рефлексы в венгерских диалектах), и на месте слав. ё обычно обнаруживается закрытый ДВ ē; 3) венг. *megye* 'область' "goes back to Sl *medja or *meža; later, Hung borrowed this word again but this time with the later B[ul]g reflex of *dj*, notably žd: Hung *mesgye* [méžd'e] 'boundary'" (p. 216) – согласно принятым взглядам, двойственность типа *megye/mesgye* имеет диалектную, а не хронологическую природу, причем вариант с рефлексом болгарского типа признается по крайней мере не более поздним, чем вариант с *gy* (об иной возможности объяснения этой двойственности см. ниже); 4) чередование в венг. *alma* 'яблоко', Pl. *almák* сопоставляется с метатонией в слвц. *mesto*, Pl. *mestá* (p. 542) – не учитывается, что это чередование возникло вследствие сокращения долгого гласного в абсолютном ауслауте: **almá*, **almák* > *alma*, *almák*, см. [MNYT 166]; 5) "in Hung -a yielded -u and -ā yielded -ū ~ -i in the eleventh century, after which both were lost, recalling the rise and loss of jers in Sl" (p. 624) – в действительности процессы -a > -u и -ā > -ū ~ -i произошли существенно раньше: они затронули венгерскую лексику финно-угорского происхождения, но не славянские и даже не более ранние тюркские заимствования, а к древневенгерскому периоду можно отнести лишь утрату ауслаутных *u*, *ū*, *i*, как восходящих к **a*, **ā*, так и содержащихся в заимствованных словах (ср. *tők* 'тыква' < слав. **tyky*).

Ниже мы – с неизбежной краткостью – охарактеризуем основные закономерности рефлексации в ранних венгерских заимствованиях из панноно-славянского, в первую очередь с точки зрения их вероятных импликаций для позднепраславянской фонетической реконструкции.

В о к а л и з м . Типичная (без учета специальных фонетических позиций и вторичных процессов) рефлексация отражена в табл. 1 и 2.

Таблица 1. От славянского к древневенгерскому

СЛАВЯНСКИЙ		ДРЕВНЕВЕНГЕРСКИЙ			
Традиционное обозначение	Фонетический характер в ПаниС	Без сингармонизации		При сингармонизации	
		Неконечная позиция	Ауслаут	Неконечная позиция	Ауслаут
*a	ā	ā	ā > å	ä	ā > ä
*o	å	å	å	ä	ä
*ě	ē (ë)	ē	Нет прим.	ā	Нет прим.
*e	e (ε)	ä	ä	å	å
*u	ū > u	1. ū; 2. u	Нет прим.	Нет примеров	
*ъ (слабый)	ь > Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
*ъ (сильный)	u > ъ	u	-	i/ü	-
*y	ŷ > y	1. ï; 2. i/ü	i > Ø	1. ï; 2. u	i > Ø
*i	ï > i		-	u	-
*ъ (слабый)	ь > Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
*ъ (сильный)	i > ъ	i/ü	-	u	-
*ø	un > ū (> ū)	un	Нет прим.	Нет примеров	
*ę	in > ī (> ē)	in	in	un	Нет прим.

Таблица 2. От древневенгерского к современному венгерскому

ДРЕВНЕВЕНГЕРСКИЙ		СОВРЕМЕННЫЙ ВЕНГЕРСКИЙ		ОФОГРАФИЧЕСКОЕ НАПИСАНИЕ
ā	á	á	á	á
ä	ä	ä	a	a
é	é	é	é (здесь é)	é (здесь é)
ě	ě, диал. ï	ě, диал. ï	é (здесь é)	é (здесь é)
ä	é	é	é (здесь é)	é (здесь é)
ū, uw (в закр. слоге)	u, в односложах ū	u, resp. ú	u, resp. ú	u, resp. ú
u	o	o	o	o
í	i, в односложах ï	i, resp. í	i, resp. í	i, resp. í
i	e	e	e (здесь ё)	e (здесь ё)
ü8, üw (в закр. слоге)	ü, в односложах ū	ü, resp. ū	ü, resp. ū	ü, resp. ū
ü	ö	ö	ö	ö
āw, áw (в закр. слоге)	ó	ó	ó	ó
äw, èw, äw, ïw, iw (в закр. слоге)	ö	ö	ö	ö

Судьба еров. На месте "слабых" **v*, **b* в первых слогах (в т.ч. в конце слова) в заимствованиях не обнаруживается вокалических рефлексов. Само по себе это обстоятельство не могло бы служить доказательством раннегопадения слабых еров в ПаннС, поскольку сам венгерский язык пережил фонетические процессы, в высшей степени сходные с процессами утраты славянских еров (ср. *bér* 'плата' < тюрк. **berū* ~ **beri*; *barom*, Acc. *barm-ot* 'скот' < тюрк. **ba-**rūm*) и, весьма вероятно, происшедшие не без славянского влияния. Однако такой пример, как *reték* 'редька' < **redky* указывает, что заимствованная форма уже не содержала никакого гласного между **d* (оглушившимся в *t*) и **k*: **redky* > ПаннС **retky* или **ret·ky* > ДВ **rātki* > **rātk* > *reték* (с вторичной вставкой главного, см. ниже).

Высказывалось мнение о том, что венгерский язык отражает различие между слав. *-*v* и *-*b*: парадигматическая заднерядность слова *dérék* : *déréka-* 'талия, поясница' < **dréko*. связана с **v* (а не **b*) в конце славянского слова [TESz 2: 618]. Однако громадное количество контрпримеров вынуждает оценить это предположение скептически.

Сильные еры в венгерском сохраняются (см. табл. 1-2). Интересно, что во многих случаях современный венгерский язык сохраняет парадигматическое чередование рефлексов сильного ера с нулем, полностью сходное со славянскими чередованиями: *járom*, Acc. *járm-ot* 'ярмо' < **arvъtъ* (ср. русск. ярем, ярма). Но видеть здесь непосредственное заимствование морфонологической модели (которое вряд ли мыслимо при контактах неблизкородственных языков) нет нужды, поскольку аналогичное чередование присутствует в *barom* (см. выше) и ряде других слов неславянского происхождения.

В первом слоге и сильный, и слабый еры ведут себя одинаково: *rozs* 'роза' < **rōžb*, *molnár* 'мельник' < **mōlynarjь*, *lén* 'лен' < **lónb*, *pēcér* 'живодер'; (ДВ) пçарь' < **rɒsarjь*. Тем самым можно предполагать такой этап фонетического развития в ПаннС, когда слабые еры в первом слоге сохранялись при утрате их в непервых слогах.

Заслуживает внимания введение неэтимологического гласного, фонетически и морфонологически совпадающего с рефлексом славянского ера, для разбивки ауслгаутных консонантных сочетаний в словах типа *kapor* : *kapr-* 'укроп' < **koprb*, *jászol* : *jászl-* 'ясли, кормушка' < **jasli* (< **ědslī*) (такое же происхождение и у ё в упоминавшемся выше *reték*). Речь, однако, идет о процессе, произшедшем уже на венгерской почве, причем после утраты конечного -*i* в **jasli* и под.

Количество. Один из наиболее существенных выводов, к которому приводит анализ системы вокалической рефлексации, состоит в том, что в ПаннС (а скорее всего, и в соседних с ним славянских диалектах) с достаточной полнотой сохранялись в X-XII вв. количественные различия между первичными долгими **a*, **ě*, **u*, **y*, **i* и первичными краткими **o*, **e*, **v*, **b* (хотя они и сочетались с новыми, качественными различиями), см. об этом уже [Kniezsa 1963а : 96].

Делались попытки объяснить венг. á на месте слав. a тем, что при отсутствии в древневенгерской системе нелабиализированного краткого [a] долгий á оказывался наиболее естест-

венным субSTITУТОМ слав. *а* (краткого), см. [Asbóth 1907: 66] и др. В принципе, сходными соображениями можно пытаться порознь объяснить и все остальные случаи количественно различной субSTITУЦИИ первично долгих и первично кратких славянских гласных. Однако в целом предположение о том, что венгры при заимствовании столь успешно воссТАНавливали уже утраченную исходную долготу (у **a* и **é* – практически всегда, у **u*, **y* и **i* – в значительной части случаев), в то время как на месте исходно кратких гласных долготы никогда не появлялись, выглядит совершенно неправдоподобным.

Обычно считается, что сокращение первичных долгот проходило в диалектно дифференцированном праславянском языке не позднее падения слабых еров, поскольку последнее вызвало в ряде славянских диалектов в определенных акцентных условиях компенсаторное удлинение предшествующего гласного – т.е. создало принципиально новую систему вторичных долгот, лишь фрагментарно соотнесенную с первичной системой [van Wijk 1937; Бернштейн 1961: 230–238; Shevelov 1964: 521; Timberlake 1983]. Данные венгерского языка, которые многие слависты не учитывали вообще, а Дж.Шевелев обходит ссылкой на то, что отражение славянской долготы в венгерском не вполне последовательно [Shevelov 1964: 520], побуждают к пересмотру этого тезиса. Очевидно, "новые долготы" должны рассматриваться как первоначально чисто акцентное явление, как возникновение новых интонаций, накладывавшихся на старые интонации и на еще сохранившиеся количественные различия. Не вдаваясь в обсуждение возможных импликаций и интерпретаций этого факта (проблема осложняется чрезвычайным разнобоем соответствий "новых долгот" в славянских языках, что, кстати, само по себе свидетельствует против архаичности их квантитативной реализации), ограничимся констатацией того, что различий в рефлексации удлинявшихся и неудлинявшихся гласных в ранних заимствованиях не обнаруживается, ср. *bab* 'боб' (при схрв. *ббб*, слн. *ббб*, чеш. *bob*, слвц. *ббб*, пол. *ббб*, укр. *біб*), *ganaj* 'гной' (схрв. *гнđj*, слн. *gnđj*, чеш. *hníj*, слвц. *hnoj*, пол. *gnbj*, укр. *гніj*) и *lapát* 'лопата' (схрв. *лđпата*, слн. *lopáta*, чеш. слвц. *lopata*, пол. *łopata*, укр. *лопáта*). С другой стороны, вторичная долгота отражена в диал. *bór-fa* 'сосна' (из слвц. *бđr*) и ряде других поздних заимствований.

В буквально считанных ранних заимствованиях отмечается краткостный рефлекс слав. **a* или **é* в первом или закрытом последнем слоге (в срединных слогах такой феномен гораздо более част, но объясним процессами, происходившими на венгерской почве): *jégénye* 'пирамидальный тополь' < **agnéðo*, *Katom MN* < **kamēnъ*, *lengyel* 'поляк' < **lēdjanъ* или **lēd-jěnъ*, *médence* 'таз' < **mēdъnica*, *mostoha* 'мачеха' < **mātjeha* (рефлекс **a* в первом слоге аномален и в качественном отношении), *zanbt* 'ракитник' < **zánovětъ*.. Ограниченнность материала позволяет лишь предположить, что эта группа отражает начавшееся сокращение долгот, в особенности в ударном слоге под акцутом (ср. **ágne*, **kátmēnъ*, **mēdъ*, **mātjeha*).

Более сложен вопрос о двойственной рефлексации узких долгих гласных **u*, **y*, **i*, для которых наряду с более частыми долготными рефлексами (ДВ *ü*, *î*, совр. *u/ú*, *i/i'*) неред-

ко находим и краткостные (ДВ *и*, *и*, *Ӧ*, *Ӧ*). Здесь сыграл роль комплекс факторов, среди которых определяющее место принадлежало позиции в слове: краткостные рефлексы решительно преобладают в непервых закрытых слогах (*pásztor* 'пастух' < **pastyrb*, *karácsony* 'рождество' < **körćinu*) и в первом слоге, начинавшемся в славянском со стечения двух согласных (*bélénza* 'дефект в ткани' < **blizna/o*, *szolga* 'слуга' < **sluga*); для открытого первого слога характерен долготный рефлекс (*hiba* 'ошибка' < **xyba*, *ruha* 'одежда' < **ruxo*). Отмечается и ряд расхождений в трактовке слов. **и*, **у*, **Ӧ* между венгерскими диалектами, причем в целом долготные рефлексы более характерны для восточной части Венгрии, а краткостные – для Задунавья (ср. [MNyA, карта 256] для *villa* ~ *vëlla* 'вилка' < **vidla*). Эти особенности распределения рефлексов, а также возможная зависимость от славянских интонаций требуют дополнительного изучения. Во всяком случае, сами колебания в рефлексации долготы у **и*, **у* и **Ӧ* (при чрезвычайной редкости таких колебаний у **а* и **ё*) свидетельствуют о том, что узкие гласные были раньше и сильнее затронуты начавшимся процессом сокращения первичных долгот.

Сингармонизация. Этим термином здесь обозначен переход гласных заднего ряда в передний ряд и наоборот для удовлетворения требованиям гармонии гласных в пределах одного слова; сингармонизации подверглись все давние некнижные заимствования, проникшие в венгерский язык из не знающих вокалической гармонии источников и включавшие разнорядные гласные⁹.

Одно из наиболее существенных новых наблюдений, сделанных в связи с изучением славянских заимствований венгерского языка, состоит в установлении зависимости направления сингармонизации от места ударения в слове-источнике: "гармоническим стержнем" становился ударный гласный. Поскольку подробно механизм действия этого правила и значимость венгерских данных для подтверждения славянской акцентологической реконструкции должны быть освещены в специальной работе (готовится к печати), ограничимся здесь несколькими примерами: *csata* 'битва; (СВ) военный отряд' < **céta*, *szééd* 'обед' < **obédv*; *acél* 'сталь' < **ócelv*; *szélencé* 'коробочка' < **solvniča*; *vacsora* 'ужин' < **vécerjá* (венгерский язык отражает особо архаичную акцентуацию данного слова).

Группы **T oгT*, **T oлT*, **T eгT*, **T eлT* в ПаннС совпадли соответственно с **TraT*, **Tlat*, **TrëT*, **TlëT*, спр. *kalász* 'колос' < **kolsb* и *palást* 'плащ' < **plasčb*, *szérda* 'среда' < **serda* и *ësztérha* 'стрека' < **strexa*, *baráza* 'борозда' < **borzda* и *barát* 'друг' < **bratv*.

Наиболее очевидным образом рефлексы типа *TraT* прослеживаются в непервых слогах, спр. *Nógrád* МН < **novv gordv*, *toklász* 'колосковые чешуи' < **stokolsv*. В первом слоге панноно-славянская рефлексация сильно затемнена процессами, происходившими на собственно венгерской почве; их следует коснуться постольку, поскольку часто они создают внешний эффект отражения дометатетической формы (как в *szérda*) либо полногласной формы восточнославянского типа (как в *kalász*). Во-первых, инициальное сочетание согласных устранилось; ча-

ще всего путем вставки краткого гласного, качественно близкого стоявшему за сочетанием гласному (*kalász*). Во-вторых, гласный второго (и вообще срединного) открытого слога редуцировался до нуля, если при этом не возникало "трудного" сочетания согласных (*szérda* < ДВ **szérēdā*, сп. аналогичное развитие в *zabla* 'удила, узда' < **zobadlo* и др.), или до краткого гласного (обычно *o/ö/o*, реже *a, i*), если полная редукция могла создать "трудное" сочетание (диал. *malogya* 'вид ивы' < ДВ **mälägyd* < ПаннС **mladja* < **moldja*, сп. аналогичное развитие в *palota* 'дворец' < ДВ **pälätå* < **polata*). При этом: а) венгерские диалекты могут расходиться в трактовке некоторых сочетаний как "трудных" или "легких" (сп. *gabona*, диал. *gabna* 'хлебные злаки, зерно' < **gobino*); б) в части диалектов (особенно в западной части Венгрии) при угрозе "трудного" сочетания долгий гласный вообще не редуцировался (*szalonna*, диал. *szalánná* 'сало' < ДВ **sålän(i)nå* < ПаннС **slanina* < **solnina*), см.

[Mórg 1964: 48-51]. Неполная диалектная однородность венгерского литературного языка (базировавшегося на северо-восточном диалекте, но почерпнувшего немалую часть лексики и из говоров Задунавья) создает в этой ситуации достаточно запутанную картину рефлексаций. В-третьих, сокращению мог подвергнуться и долгий гласный, оказавшийся в первом слоге перед сочетанием согласных. Очевидно, наличие/отсутствие сокращения было связано с характером этого сочетания, однако малый объем материала препятствует формулировке точных правил. В случае с рефлексами групп типа **Tort* сокращение наблюдается в *csérësznye* 'черешня' < **cerëb-n'a*, *csorossalja* 'лемех плуга' < **cerslo*, *Garadna* МН < **gor-dina* или **gordbna*, *haraszta* 'сухая листва' < **xvorsta*, *Por-rosszlo* МН < **Perslavv*, *Zalatna* МН < **zoltna* и не наблюдается в *barázda* 'борозда' < **borzda*, *Daráska* МН < **doržbka*, *parázna* 'развратный' < **porzdvna/o*, *zarandok* 'паломник' < ДВ **zárannuk* < **stornoniko*.

Группы **o*гT, **o*лT. Несмотря на ограниченность имеющегося материала, он свидетельствует о том, что метатеза плавных в этих группах обычно (или всегда?) вела не к *raT*, *laT*, а к *roT*, *loT*, сп.: *rab* 'раб, пленник' < ПаннС **rob* < **orbv*, диал. *rabota* 'работа' < ПаннС **robota* < **orbota*, *rækétye* ~ диал. *rakottya* 'дрок Genista; пепельная ива *Salix cinerea*' < ПаннС **rokytje* < **orkytje*, *ladik* 'плоскодонка' < ПаннС **lod-* (суффиксальное оформление неясно; возможно, **lodyka*) < **old-*; **lakma* (откуда производный глагол *lakmározik* 'пировать') < ПаннС **lokoma/o* < **olkoma/o*.

Известно, что во всех славянских диалектах, где рефлексы **o*гT, **o*лT не совпадают с рефлексами **TorT*, **TolT*, они не обладают полной стабильностью. Возможно, примером отклонения для ПаннС является венг. диал. *rásza* 'рассада' – преобразование ДВ **rásad* < ПаннС **razzad* < **orssadv* (хотя нельзя исключить и вторичность á в первом слоге этого слова, поскольку á вместо ожидаемого a мы находим и в *rásza* 'полоса поля, постать', где слов. **postatv* также отражено в преобразованном виде, с переосмыслением и усечением конечного согласного).

Носовые гласные. Стандартные рефлексы слав. **q* и **ɛ* в древнейших заимствованиях – ДВ *in* (совр. *on*) и ДВ *in* (совр. *én*). Видимо, это указывает на фонологические тождества **q* = /*vn/*, **e* = /*vn/*.

Последующая утрата ринезма в ПаннС свидетельствуется слоем (не очень многочисленным) заимствований, в которых **q* отражен как **u*, а **ɛ* – как **é*, ср. *guszar* 'гусак' < ПаннС *guser* < **g̥oserv*, *gúz* 'гуж' < ПаннС *guž* < **g̥ɔž*, СВ *kenēz* 'князь' < ПаннС *kōnēz* или **kvnēz* < **kvn̥ez*, *męszar-os* 'мясник' (СВ также *menszár!*) < ПаннС *m̥esar* или **m̥esar* < **m̥esarj*. Рефлексация **ɛ* в виде долгого ē говорит о том, что долгота **ɛ* сохранилась в ПаннС дольше, чем ринезм.

Из других фонетических инноваций в панноно-славянском вокализме следует отметить **Tъrg* > Тъгт, ср. *górbε* 'кри-вой'; (СВ) горбун, горб' < ПаннС *górbā* < **gorbā*; не исключено, разумеется, что речь в данном случае идет о специфической передаче слогообразующего ɣ. В остальном между рефлексами редуцированных в сочетаниях с плавными и их рефлексами в других сильных позициях существенных различий не обнаруживается.

Консонантизм. Большинство согласных фонем панноно-славянской системы имело прямые аналоги в венгерском языке, и их рефлексы тривиальны, за вычетом редких случаев вторичных изменений уже на венгерской почве (после определенных гласных -*n* > -*ny* и -*l* > -*ly*, спорадически *s* > *c*, ассимиляции и др.).

В заимствованиях отсутствуют следы палатализации на месте утраченного слабого **v*. Судя по *acél* 'сталь' < **očelъ* и под., на месте *-*lv* мы можем предполагать либо *l*, либо слабо палатализованный *l'*, контрастирующий с *l* (ср. *mol* 'моль' < ПаннС **mol'* < **molj*).

Праславянский **v* – фонетически, конечно, **w* – сохранил характер глайда в ПаннС и ДВ, о чем свидетельствуют примеры его вокализации: *oláh* 'румын' < ДВ **ulāh* < ПаннС **wlax* < **volxъ*, диал. *lóka* 'скамья, лавка' < **lavъka*. Невокализовавшийся *w* в дальнейшем приобрел в венгерском языке, как и в большинстве славянских, фрикативный характер.

О судьбе слав. **c* в наиболее ранних заимствованиях (> венг. *cs-*, *-c-*, *-t*) уже говорилось выше. Имеется группа заимствований, являющихся по прочим признакам достаточно ранними, но уже имеющих -*c* (а не -*t*) на месте слав. -*сь* (*kett-rēc* 'клетка' < **kotarъcъ* и др.); эта группа отражает постепенное усвоение этой аффрикаты венгерским языком в X–XII вв.

Значительная часть вторичных явлений в панноно-славянском консонантизме выглядит достаточно тривиальной с точки зрения славянской диалектологии. Последовательно представлен протетический *j* перед **a-*, ср. *járom* 'ярмо' < **arъtmъ*; однако поздние заимствования в славянской этот процесс не охватил, ср. *Érsék* 'архиепископ' < **aršikъ* (при др.-слвц. *jaršik*). Засвидетельствованы также такие фонетические процессы, как **bv* > *b* (*abár-ol* 'обварить' < ПаннС **obar(iti)* < **obvar(iti)*), **nr* > *nđr* (*pondró* 'червячок, личинка' < ПаннС **pondraw* < **ponorvъ*), **bj* > *bl'* (*geréblye* 'грабли' < ПаннС **grebl'a* < **grebja*).

Группа **d l* имеет своим рефлексом венг. *ll*: *villa* 'вилка' < **vidla*, диал. *silla* 'шило' < **śidlo*. Результатом

позиционного преобразования *ll* можно, по-видимому, признать *l* (в положении после согласного: *gérlice* 'горлица' < **gordlica*, *zabla* 'удила, узда' < **zobadlo*) и *ly* (в третьем слоге: *korcsolya* 'коныки; (СВ) салазки для скатывания бочек' < **kvrčVdlo*, *nyoszolya* 'ложе' < **nosidlo*). Примеры со слов. **tl* нам не встретились. Поскольку одновременно с этим мы находим *vitla* 'гибкий прут для плетения' < **vitlo*, очевидно, что развитие **dl* (**tl*) > *ll* произошло не на венгерской почве, а в ПаннС, причем к моменту падения слабых еров этот процесс уже завершился.

Вторая палатализация заднеязычных отразилась в группе слов с *cs-* на месте слов. *c-*, а также в *kōc* 'пакля, кудель, вычески' < СВ *kōlc* < **kłoci* (Pl. к **kłękty*) и *olazz* 'итальянец; (СВ также) француз' < **volsi* (Pl. к **volxv*). Последнее слово (несомненно, чрезвычайно раннее заимствование: первый поход венгров в Италию относится к 899 г.) интересно в двух отношениях. Во-первых, оно указывает на южнославянский эффект второй палатализации - *x* > *s* (ср. зап. слов. *x* > *š*). Во-вторых, оно отражает скорее **vləsi*, чем "нормальное" ПаннС **vlasi*: не может ли это указывать на такой неизвестный диалект-источник, в котором вторая палатализация южнославянского типа сочеталась со свойственным лехитско-лузицкой зоне развитием **Tolt* > *Tlot*?

Рефлексы **dj* и **tj*. Исследователями давно отмечена неоднозначность рефлексации этих групп в славянских заимствованиях венгерского языка. Имеющийся материал выглядит следующим образом:

- bátya* 'старший брат; (СВ) дядя' < (?) **batja*
- диал. *garágya* 'ограда (особенно из навоза)' < **gordja*
- диал. *kútya* 'хижина' < **kötja* (после утраты ринезма)
- lengyel* (СВ *lengyen*) 'поляк' < **lēdjano* или **lēdjénō*
- lēncsé* 'чечевица' < **lētja*
- диал. *malagy* 'болотный кустарник, ивняк' < **moldjv*
- диал. *malogya* 'вид ивы' < ДВ **målāgyå* < **moldja*
- mégye* 'медиа; (СВ) граница' и *mézsgye* (диал. *mezsde*)
- 'межа, граница' < **medja*
- mostoha* 'мачеха' < **matjeha*
- nyüst* (СВ, диал. *nyist*) 'ремиза ткацкого станка' < **nitji* (диал. *pést* 'печь', также *Pest* МН < **pektv*)
- parittyá* 'праща' < ДВ **párātyå* < **portja*
- ragya* (диал. *rogya*) 'оспина, ржавчина' и *rozsdá* 'ржавчина' < **rødja*
- szégye* 'закол для ловли рыбы' < **sēdja*
- szérénsé* 'судьба, удача, счастье' < **sorëtja*¹⁰.

Согласно традиционной интерпретации, слова с *zsd, st* на месте слов. **dj*, **tj* считаются болгаризмами, а слова с *gy, ty* - заимствованиями сербохорватско-словенского типа (см. [Ашборт 1902: 247–266; Мóр 1962: 273] и др.). Не отвергая в принципе такой возможности – или, точнее, возможности того, что славянские диалекты восточной и западной части Венгрии имели разные рефлексы **dj*, **tj* – отметим, что подобная неоднозначность может получить и чисто фонетическое объяснение. Рефлексы типа *zsd, st* обнаруживаются только после краткого гласного (*mostoha, mēzsgye, nyüst, pest, rozsdá*), рефлексы *gy, ty* – всегда после дол-

гого гласного (*bátya*, *garágya*, *kútya*, *malágya*, **malágya*, **parátyna*, *szégyt*) и в двух случаях в качестве варианта после краткого гласного (*tégye*, *ragya*). В положении после славянского носового гласного *dj* отражено как *gy* (*lengyel*), *tj* как *cs* (*lénces*, *szércses*). Данное распределение можно интерпретировать как указание на то, что в ПанНС **dj*, **tj* имели "промежуточное" произношение типа **d'*, **t'* (через подобную промежуточную стадию должны были, вероятно, пройти и диалекты болгарского типа), и при передаче в венгерском языке слабый преконсонантный призвук стирался в позиции после долгого гласного и, как правило, усиливался до полного согласного в позиции после краткого гласного.

Выше практически все внимание было уделено вопросам исторической фонетики. Однако весьма значителен и потенциал данных венгерского языка в качестве источника для уточнения и пополнения праславянской лексической реконструкции. Речь идет, с одной стороны, о консервации ряда лексических и семантических архаизмов, скудно представленных в современных славянских диалектах, с другой стороны, о возможности удостовериться в праславянской древности многих дериватов (если их присутствие в том или ином из современных языков может быть продуктом относительно поздней деривации по продуктивной словообразовательной модели, то для венгерского языка такое объяснение исключается). В качестве иллюстрации укажем лишь на несколько этимологий, содержательно дополняющих материал ЭССЯ:

**berkovica*. Отражено в венг. *barkóca* 'берека *Sorbus torminalis*', но не представлено в собственно славянских материалах, см. [Kniezsa 1974: 82; TESZ I: 252]. Реконструируемая форма - естественное дополнение к имеющемуся в ЭССЯ ряду **berkv*, **berka*, **berkovycь*.

**dъska*. Латино-германская этимология слов. **dъska* позволяет предполагать, что исходно это слово имело форму **dъska*, см. [Мартынов 1963: 61]. Эта не засвидетельствованная форма подтверждается венг. *d szka* 'доска'. Напротив, диал. (преимущественно в секлерских говорах) *doszka* id. отражает слов. **dъska*.

kamorv*. Эта предложенная О.Н.Трубачевым реконструкция гетероклитического *r*-варианта к слов. **kamu* (kamentev*), опирающаяся на словин. стар. *kamor* 'камень' [Трубачев 1972: 10; ЭССЯ 9: 137], отражена, по-видимому, и в *Kámor* - наименовании одной из вершин в горах Б рж нь (м.Пешт) (неубедительны объяснение через пол. диал. *kamor* 'комар', *Kamor* LI, см. [Kiss 1983: 312], и сравнение со слн. *Kamerovic*, см. [Stanislav 1948: II, 252]).

Как мы попытались показать выше, подавляющее большинство ранних славянских заимствований венгерского языка фонетически возводимо к позднепраславянскому диалекту, который по совокупности особенностей во многом близок юнославянским языкам, а также среднесловакскому диалекту, но в то же время вряд ли может быть отождествлен с одним из них (в частности, от словацкого языка его отличает тенденция к слиянию юса малого и ятя, от словенского и сербохорватского - судьба редуцированных гласных, от болгарского - развитие ряда консонантных сочетаний и т.д.).

Большинство отмечавшихся выше расхождений и отклонений в рефлексации естественно связывать либо со вторичными процессами в истории венгерского языка (к сожалению, многие из них, в особенности имеющие диалектный характер, пока не нашли адекватного описания в унгаристике), либо с различными хронологическими этапами в истории субстратного позднепраславянского диалекта, ср., например, начало сокращения акутовых долгот и утрату ринезма. Те расхождения, которые можно было бы связать с внутренней дифференциацией славянского диалектного субстрата, не имеют принципиального характера – они могли касаться акцентуации отдельных слов (ср. *cse'léd* 'батрак', *család* 'семья': слав. **čel'adъ*, **čel'ādъ?*) и длительности исходно долгих гласных верхнего подъема (менее вероятно предположение о диалектно различной судьбе **dj* и **tj*). Но с точки зрения фундаментальных черт фонетико-фонологического строя славянского субстрата древнейшие заимствования в венгерский язык дают вполне однородную картину.

Важнейшим свидетельством относительной однородности этого субстрата является топонимический материал. В диаметрально противоположных точках венгерской языковой территории можно встретить идентичные по своему облику (и вполне отвечающие рассмотренным выше нормам фонетической субSTITУции) топонимы славянского происхождения. Ср. *Beszterce* (Трансильвания, рум. *Bistrița*), *Beszterce(bánya)* (Словакия, слвц. *Banská Bystrica*) и (*Kis*)*beszterce* (м. Баранья) – все из слав. **Bystrica*; *Battyán* (Трансильвания, рум. *Botean*) и (*Szabad*)*battyán* (м. Файер) – оба из **botjanъ* 'аист'¹¹¹; *Valkó* (Трансильвания, рум. *Vălcău*) и *Valkó* (м. Пешт) – оба из **vulkovъ/a/o*; количество примеров этого рода можно многократно увеличить (напротив, среди примеров фонетически расходящихся топонимов одного происхождения – ср. *Varbő* и *Orbó* из слав. **vъrbovъ/a/o* и др. – предшествующими исследованиями не выявлено какой-либо четкой территориальной дистрибуции).

Свидетельствует ли это о том, что границы распространения позднепраславянского диалекта, который мы условно обозначили как панноно-славянский (с учетом того, что Паннония имела наиболее многочисленное славянское население), приблизительно совпадали с границами исторической Венгрии? Данные славянской лингвогеографии склоняют скорее к отрицательному ответу на этот вопрос: речь идет об обширном ареале, заселение которого было связано с различными славянскими колонизационными потоками [Пеняк 1972; Седов 1979: 113] и смежные с которым славянские диалектные области к X веку уже существенно различались между собой. Однако в качестве одной из рабочих версий можно допустить, что основным источником субстратных заимствований в венгерском языке служили не локальные славянские говоры, а некое койнэ, общее для всех славянских групп древневенгерского государства (при том, что исходной диалектной базой такого койнэ скорее всего явилась Паннония). В условиях тесных этнических контактов и массового двуязычия носителями такого койнэ могли быть не только славяне, но и определенная часть венгров. Развивая данную версию, мы вправе пред-

положить, что койнэ могло сложиться еще до прихода в Среднее Подунавье венгров (потребность в нем могла возникнуть еще в государстве аваров); что даже заимствования из внешних по отношению к Венгрии славянских языков, например, древнечешского или древнерусского, должны были осуществляться через посредство койнэ и, следовательно, с соответствующим фонетическим пересчетом; наконец, что межславянское койнэ Венгрии могло сказать заметное влияние на формирование среднесловацкого диалекта и в дальнейшем словацкого национального языка (ср. различные объяснения южнославянских особенностей среднесловацкого диалекта: [Kniezsa 1948; Popović 1960: 34–41, 1961: 211–222; Horálek 1971; Krajčovič 1974]).

Подчеркнем, однако, что выдвинутая версия является одной из возможных интерпретаций сделанных выше наблюдений, но не их предпосылкой.

Как бы то ни было, осуществленная нами реконструкция фонетических особенностей источника древнейших славянских заимствований в венгерском языке свидетельствует о бесперспективности попыток связать все эти заимствования или большую их часть с одним из ныне существующих славянских языков, будь то словацкий [Valló 1897; Stanislav 1948], болгарский [Ашбот 1908; Tóth 1983; Тот 1984] или сербохорватский [Popović 1961]. В основе таких попыток лежат либо идеи об автохтонности соответствующего этноса на занятой венграми территории, либо представления об особо интенсивном культурном влиянии определенного славянского языка на венгерский. Самым негативным образом должна быть оценена гипотеза, согласно которой значительное число славянизмов было усвоено венграми еще до прихода в Среднее Подунавье из древнерусского языка [Munkácsi 1897; Рот 1973]¹².

После работ Я. Мелиха ([Melich 1903] и др.) среди венгерских славистов довольно широкое распространение приобрела концепция гетерогенности славянских заимствований венгерского языка, ср.: "Die slawischen Elemente im Ungarischen bedeuten keinen einheitlichen slawischen Einfluß auf das Ungarische. Die Ungarn hatten nie Berührungen zu den Urslawen, nur zu einzelnen slawischen Völkern und Völkerschaften, die bereits ein selbständiges Leben führten. Deshalb müßte man eigentlich nicht von einem slawischen, ukrainischen, slowakischen, bulgarischen, serbischen, kroatischen, slowenischen usw. Einflüssen sprechen" [Kiss 1973:7]. Основные возражения, которые можно выдвинуть против такой концепции, носят экстралингвистический характер: она преубеждает языковым вкладом славянского этнического субстрата и проецирует в IX–X вв. те языковые границы, которые пролегли через праславянский континуум в соответствии с возникшими позднее границами политическими. Одним из вариантов данной концепции является то или иное распределение исторической Венгрии в IX в. между отдельными славянскими народами и языками, когда, например, постулируется присутствие древних словенцев на западе Паннонии, древних сербов в Альфельде, словаков на севере страны, болгар в Потисье и Трансильвании¹³, восточных славян в верховьях Тисы и под. (см. [Моór 1962; Kniezsa 1963: 43–44]).

В чисто лингвистическом плане концепция гетерогенности оказывается, однако, практически неуязвимой. Язык паннонских славян не обладал никакими абсолютно уникальными в славянском мире фонетическими чертами и был связан множеством изоглосс со своими соседями по праславянскому континууму, поэтому любое из древних заимствований можно уловительно объяснить как словакизм, или болгаризм, или сербокроатизм и т.д. Сходным делом обстоит дело и с лексико-семантическими чертами заимствований. Показательно, что вопрос о происхождении многочисленных славянских заимствований в церковной терминологии венгерского языка обычно решается путем ее весьма условного подразделения на восточно-христианскую, болгарскую по своему происхождению, и западно-христианскую, восходящую к хорвато-словенским источникам [Kiss 1973: 6] (см. также [Tóth 1985] и [Золтан 1986] с акцентировкой роли славяно-болгарской миссионерской деятельности и с недоучетом того обстоятельства, что церковная терминология старославянского языка тесно связана не столько с болгарской, сколько с моравско-паннонской христианской традицией). Конечно, такое подразделение возможно (и даже в целом ряде вариантов); но целесообразно ли оно, если учесть, что славянские прототипы большинства тех венгерских слов, о которых идет речь¹⁴, просто не могли не существовать в языке паннонских славян, христианизация которых началась еще на рубеже VIII и IX вв. [Грот 1881: 82]?

Нет оснований оспаривать возможность культурного и языкового влияния на древних венгров со стороны какого-либо из соседних славянских народов. Но вряд ли есть нужда в том, чтобы, исследуя подобные возможности, уходить от наиболее простого и естественного объяснения ранних славянизмов венгерского языка как заимствований из языка тех славян, которые вошли впоследствии в состав венгерского этноса. Такой уход фактически ведет к неполному использованию тех богатых возможностей, которые предоставляет венгерский языковой материал для праславянской реконструкции.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Следует заметить, что хотя в принципе в предшествующей литературе неоднократно ставился вопрос о хронологизации славянских заимствований венгерского языка и об их древнейшем слое (см. уже [Asbóth 1907]), фактически сепаратное рассмотрение этого слоя, взятого в своей совокупности как единое целое и ограниченного от более поздних напластований, никогда не предпринималось. При этом если, например, И.Книежа в своем фундаментальном труде приводил древне-, средне- и нововенгерские заимствования из славянских источников общим списком, но, по возможности снабжал их хронологическими указаниями, то в целом ряде работ смешение различных слоев ведет к неадекватным историко-фонетическим и историко-культурным заключениям.

² В интервокальной позиции слав. *s* всегда отражается как венг. *-c-*: очевидно, в раннюю эпоху нормой субSTITУции было слав. *-c-* > венг. *-tsz-* с последующим стяжением *tsz* в аффрикату после появления таковой в языке, как и в

собственно венгерских словах (ср. произношение слов *lát-szik* 'кажется', *tetszik* 'нравится', отраженное в старовенгерских написаниях *lacik*, *tecik*).

³ В данной работе автор вынужден в основном обойти вниманием эту исключительно важную, но далеко уводящую нас от собственно славистических проблем тему.

⁴ Ср. мнение о том, что слова *csata* 'битва; (СВ) военный отряд' (слав. *četa) и *rab* 'пленный, раб' (слав. *orbъ) заимствованы из сербохорватского языка в эпоху турецкого ига [Kniezsa 1974: 122, 452].

⁵ Колебания в этой оценке связаны, во-первых, с наличием ряда слов, лишенных четких диагностических признаков и могущих с равным успехом быть и ранними, и поздними заимствованиями; во-вторых, с этимологической проблематичностью некоторых венгерских слов, восходящих к тюркским, романским, немецким и другим первоисточникам либо прямо, либо через славянское посредство (ср. *sátor* 'шатер, палатка', хорошо выводимое и из слав. *šatrv/*šatrv, и непосредственно из тюрк. *čatyr, тюркско-булг. *čatyr). Кроме того, ряд издавна известных венгерскому языку славянismов употребляется в инновационном фонетическом облике в результате повторного заимствования – так, наряду с представленным выше в перечне диал. *tezsola* 'оглобля' имеются диалектные формы *tézsola*, *tézsla* с тем же значением, отражающие славянский источник с утратой ринезма.

⁶ Славянские языковые островки на территории современной Венгрии (словацкие, сербохорватские, словенские) связаны с основными территориями распространения соответствующих языков и сформировались в основном вследствие относительно поздних миграционных процессов.

⁷ При необходимости (и наличии соответствующих данных) в настоящей работе в орфографию вводится разграничение ё и ё, ё и ё.

⁸ В славянских заимствованиях раннего периода не встречается.

⁹ Гласные *i*, *i*, *ё* и *ё* допустимы в венгерском языке и в передне-, и в заднерядных словах.

¹⁰ Среди примеров этого рода часто упоминается и *gatya* 'подштанники'. Это слово, однако, заимствовано скорее из скрв. *gāha*, а не из ПаннС (слав. *gatja), что подтверждают и краткостный рефлекс *a* в первом слоге, и поздняя (1530 г.) первая фиксация слова, см. [EtSz 1104-1110].

¹¹ Венгерские исследователи полагают, что топонимы без суффиксального оформления являются славянскими лишь с точки зрения дальнейшей этимологии, но возникали вследствие собственно венгерской топонимации, см. [Kniezsa 1943: 118-119] и др. Однако при рассмотрении историко-фонетических вопросов этим обстоятельством можно пренебречь.

¹² Хотя некоторые славянismы (например, *górög* 'грек' < *grv̥kъ) могли быть заимствованы венграми еще в Северном При-

черноморье, о восточнославянском или довосточнославянском происхождении основной массы древнейших заимствований не может быть и речи. Не следует и переоценивать длительность и интенсивность древнерусско-венгерских контактов в этом регионе, см. [Шушарин 1971: 94–96].

13

Вопрос о болгарах на юго-востоке Венгрии следует отдельить от того обстоятельства, что Трансильвания и ряд областей к востоку от Дуная постоянно или временно находились под суверенитетом Болгарского государства: было бы странно полагать, что подданными тюрков-праболгар становились лишь славяне, произносившие *žd*, *št* на месте слав.

**dj*, **tj*.

14

Например, *aráca* 'монахиня', *apát* 'аббат', *csoda* 'чудо', *hála* 'хвала', *karácsony* 'рождество', *kérészt* 'крест', *kérészt-él* 'крестить', *malaszt* 'благодать', *pap* 'священник' и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

Ашбот О. Несколько замечаний на сочинение В.И.Ягича об истории происхождения церковно-славянского языка// ИОРЯС. VII. Спб., 1902. Кн. 4. С. 246–320.

Ашбот О. Рефлекс слов вида *трът-трът* и *тът-тът* в ма́льярских заимствованиях из славянского языка// Статьи по славяноведению. Спб., 1908. Вып. II. С. 227–269.

Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.

Гром К.Я. Моравия и мадьяры с половины IX до начала X века. Спб., 1881.

Дурново Н.Н. К вопросу о времени распадения общеславянского языка// Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Sv. 2: Přednášky. Pr., 1932. S.514–526.

Золтан А. О происхождении православного славянского слоя в венгерской христианской терминологии// СЕ. XI. 1986. № 4. С. 5–9.

Левай Б. Ранние славяне на севере Затисского края Венгрии// Palaeobulgarica. X. 1986. N 4. P. 64–67.

Мартынов В.В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры: К проблеме прародины славян. Минск, 1963.

Пеняк С.И. К вопросу о времени заселения славянами Карпатского бассейна// Исследования по истории славянских и балканских народов. М., 1972. С. 68–77.

Ром А.М. Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Вр., 1973.

Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.

Топоров В.Н. Некоторые соображения относительно изучения истории праславянского языка// Славянское языкознание. М., 1959. С. 3–27.

Том И. Славяно-български заемки в унгарския език// СЕ. IX. 1984. № 5. С. 28-36.

Трубачев О.Н. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике// Этимология 1970. М., 1972. С. 3-20.

Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян: Древние славяне по данным этимологии и ономастики// Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983. С. 231-270.

Шушарин В.П. и др. История Венгрии. М., 1971. Т. 1.

Asbóth O. A szlávság a magyar keresztény terminológiában// NyK. 18. 1884. 321-427. 1.

Asbóth O. Szláv jövevényszavak, I: Bevezetés és a küllőnböző rétegek kérdése. Bp., 1907.

Bálint Cs. A Kárpát-medence VI-IX. századi régészeti-néptörténeti kérdései// Bevezetés a magyar Őstörténet kutatásának forrásaiba. I:1. Bp., 1984. 107-120. 1.

Birnbaum H. Common Slavic: Progress and Problems in its Reconstruction. Columbus (Ohio), 1979.

Fehér G. Die landnehmenden Ungarn und ihr Verhältnis zu den Slawen des mittleren Donaubeckens// StSl. 3. 1957. P. 7-58.

Fritze W.H. Zur Bedeutung der Awaren für die slawische Ausdehnungsbewegung im frühen Mittelalter// Zschr. für Ostforschung. 28. 1979. S. 498-545.

Györffy Gy. Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Bp., 1959.

Györffy Gy. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp., 1963-1987. I-III.

Horálek K. Postavení slovenštiny// Slavia. 40. 1971. N 4. S. 537-550.

Kiss L. Ungarisch-slawische Wechselbeziehungen in der Sprache// Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio linguistica. 1973. P. 3-12.

Kiss L. Földrajzi nevek etimológiai szótára. 3. kiad. Bp., 1983.

Kniezsa I. Ungarns Völkerschaften im 11. Jahrhundert// Archivum Europae Centro-Orientalis. IV. 1938. P. 241-412.

Kniezsa I. Kelet-Magyarország helynevei// Magyarok és románok. I. köt. Bp., 1943. 111-313. 1.

Kniezsa I. Zur Geschichte der Jugoslavismen im Mittelslovakischen// Etudes slaves et roumaines. 1. 1948. P. 139-147.

Kniezsa I. Charakteristik der slawischen Ortsnamen in Ungarn// StSl. IX. 1963. P. 27-44.

Kniezsa I. Szláv jövevényiszavaink magánhangzó-kvantitása// NyK. 65. 1963 (a). 77-101. 1.

Kniezsa I. A magyar nyelv szláv jövevényiszavai. 2.kiad. Bp., 1974. I-II.

Krajčovič R. Problém praslovenskej genézy slovenčiny// Slavia. 43. 1974. S. 368-377.

Melich J. Szláv jövevényiszavaink, I: Az óbolgár nyelv-emlékek szokészlete és magyar nyelv szláv jövevényiszavai. Bp., 1903.

Melich J. A honfoglaláskor Magyarország. Bp., 1925-1929.

Miklosich F. Die slavischen Elemente im Magyarischen. 2. Aufl. Wien. 1884.

Mollay K. Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Bp., 1982.

Moór E. Zur Geschichte südslavischer Völkerschaften im Karpatenbecken// StSl. VIII. 1962. P. 267-312.

Moór E. Szláv jövevényiszavaink kvantitatísi anomáliái// NyK. 66. 1964. 43-57. 1.

Munkácsi B. A magyar-szláv etnikai érintkezés kezdetei// Ethnographia. 8. Bp., 1897. P. 1-30.

Popović J. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960.

Popović J. Quel était le peuple pannionen qui parlait μέδος et strava?// Зборник радове Византинолошког института. Књ. 7. Београд, 1961. С. 197-226.

Shevelov G.Y. A Prehistory of Slavic: The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg; N.Y., 1964.

Simonyi D. Die Kontinuitätsfrage und das Erscheinen der Slawen in Pannonien// StSl. I. 1955. P. 333-362.

Sós Á.Cs. Zur Frage der Kontinuität der pannonischen Slaven im 9. Jahrhundert// Das heidnische und christliche Slaventum. Wiesbaden, 1969. S. 153-157.

Sós Á.Cs. Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert. München, 1973.

Stanislav J. Slovenský juh v stredoveku. Turčiansky Sv. Martin, [1948]. I-II. diel, mapové prílohy.

Stieber Z. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. W-wa, 1979.

Szőke B. Über die Beziehungen Moraviens zu den Donaugebiet in der Spätawarenzeit// StSl. VI. 1960. P. 75-112.

Timberlake A. Compensatory Lengthening in Slavic, 2: Phonetic Reconstruction// American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Vol. I: Linguistics. Columbus (Ohio), 1983. P. 293-319.

Tóth I.H. A magyar nyelv bolgár-szláv elemeiről// Dissertationes Slavicae. 14. 1983. P. 135-158.

Tóth I.H. Adalékok a korai magyar-szláv egyházi és kulturális kapcsolatok kérdéséhez// Fejezetek a régebbi magyar történelemből. Bp., 1985. 55-71. 1.

Troubetzkoy N. Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun// Revue des études slaves. 2. 1922. P. 217-234.

Valló A.N. Tót elemek a magyar nyelvjárásokban különös tekintettel a magyarság és szlávság viszonyára történeti, néprajzi és nyelvi alapon. Keszthely, 1897.

Wijk N. van. La décadence et la restauration du système slave des quantités vocaliques// Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen. Aarhus, 1937. P. 373-378.

Váňa Z. Mad'ari a Slované ve světle archeologických nálezů X.-XII. století// Slovenské archeológia.II. 1954. S. 51-104.

СОКРАЩЕНИЯ

ДВ - древневенгерский.

ЛИ - личное имя.

МН - местное название.

ПаннС - панноно-славянский.

СВ - старовенгерский.

СЕ - Съпоставително езикознание (София).

ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков. М., 1974-1985. Вып. 1-12.

EtSz - Gombocz Z., Melich J. Magyar etymologial szótár. Bp., 1914-1944. I-XVII. füz.

MNyA - A magyar nyelvjárások atlasza. Bp., 1970-1974.I-IV.

MNyT - Bárczi G., Benkő L., Berrár J. A magyar nyelv története. Bp., 1967.

NyK - Nyelvtudományi Közlemények (Bp.).

StSl - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Bp.).

TESz - A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Bp., 1967-1976. 1-3.

Р. М. Цейтлин

ЛЕКСИКА СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ X-XI - XIV-XV вв.
(результаты сопоставительного исследования)

Прошедшее нужно изучать не потому,
что оно прошло, а потому, что уходя,
не умело убрать своих последствий.

В.О.Ключевский

Задача сопоставительного исследования лексических систем древних славянских языков по письменным источникам X-XI - XIV-XV вв. была мною впервые поставлена в докладе на IX Международном съезде славистов 1983 г.¹. В настоящем сообщении предельно кратко излагаются основные выводы исследования, проведенного за истекший после IX съезда период.

Главная цель работы состояла в том, чтобы выработать на конкретном материале методику сравнительного изучения лексических систем близкородственных языков.

Назначение сравнительной лексикологии - определение типов конвергентных и дивергентных лексико-семантических процессов, выделение как общих, так и частных лексико-семантических и лексико-стилистических характерных особенностей сравниваемых языков. Ее конечная цель: (1) разрешить или способствовать разрешению узловых вопросов как общей теории лексикологии, так и становления, формирования и развития лексических систем конкретных языков; (2) выделить релевантные лексические признаки языковых систем, важные для уточнения существующих классификаций языков.

Разумеется, в своем конечном результате и в своем идеале сравнительная лексикология должна строиться на данных всех языков во всем многообразии их лексических систем от древности до современности.

Сравнительная лексикология славянских языков как самостоятельная дисциплина славянского языкознания только еще формируется. Ее значение для теории лексикологии как общей, так и частной (славянской) трудно переоценить. Специфика славянской сравнительной лексикологии коренится в феноменальной близости славянских языков, в частности их словарного состава.

Для изучения современных языков эта область славистики имеет и весьма существенное прикладное значение - в практике преподавания современных славянских языков славянам, например, русского языка - полякам, чешского - болгарам и наоборот. Здесь задачи сравнительной лексикологии славянских языков смыкаются с проблематикой также новой лингвистической дисциплины - контрастивной лингвистики. Для изучения древних славянских языков методы и приемы анализа сравнительной лексикологии имеют еще большее значение. Сопоставительное рассмотрение лексических систем различных древних славянских языков конкретно восполняет недостаточные сведения о слове в древнем тексте, следовательно необходимо для понимания смысла текста в целом. Сравнительная лексикология - существенный раздел славистики в целом.

"Изолированное изучение каждого из славянских народов и го-

сударств, - писал Б.Д.Греков, - влечет за собой ряд неизбежных ошибок, ставит историка или лингвиста в безвыходное положение. Только параллельное изучение славянских народов способно дать точные ответы на многочисленные и сложные проблемы в области языка, права, искусства и литературы"². Анализ слова в древнем тексте требует обширных знаний в области так наз. культурного контекста, но объем их тем меньше, чем древнее изучаемый текст. Исследователь лексики любого языка начальных периодов письменности располагает заведомо ограниченным составом прямых источников, т.е. письменных свидетельств изучаемого периода. К тому же имеющиеся источники требуют достаточно сложной историко-филологической интерпретации, хотя, в свою очередь, и эта интерпретация зависит от степени их лингвистической изученности, особенно лексикологической, т.е. от степени достоверности предлагаемых толкований значений древнего слова в конкретном тексте. Лексиколог-древник, как правило, имеет дело с ограниченным количеством употреблений слова или с галаксами. Особенно затрудняет его работу ограниченное число сочетаний слов, что усугубляется тем, что до нас дошли древние рукописи и надписи (на камне, глине и других материалах) преимущественно близкие по своему содержанию, которые не отражают в достаточном мере лексическое богатство литературно-письменных языков начального периода их формирования. В такой исторически сложившейся ситуации сопоставительное рассмотрение словарных составов близкородственных языков тесно контактирующих народов одного хронологического периода (здесь существенно учитывать не только абсолютную, но и относительную хронологию) является одним из содержательных косвенных источников, позволяющих уточнить значение и особенности употребления слова в конкретном тексте. Сведения, полученные в результате сравнительного изучения лексики разных языков одного периода, нередко содержат большую и более точную информацию, чем данные, извлеченные из поздних источников, так как позволяют подойти к раскрытию смысла и специфики употребления слова с хронологически близких позиций, резче выделить сходное и отличное, глубинный смысл лексемы в древнем, нередко неясном контексте письменного источника.

Проведенное нами исследование не имеет аналогов и носит экспериментальный характер. Оно основано на выборочном анализе словарного состава трех славянских языков начального периода письменности как представителей трех групп славянских языков - восточной, южной и западной. Это литературно-письменные языки X-XI - XIV-XV вв. - русский (древнерусский), болгарский и чешский. Их письменные источники имеют в своей основе типологические особенности различных языковых уровней живых диалектов соответственно русского, болгарского и чешского языков, т.е. отражают родной говор писца конкретного текста.

Учитывать народную основу рукописи или надписи, язык их писца при сравнительном изучении близкородственных языков - непременное условие собственно лингвистического анализа, иначе утрачивается реальный объект исследования - что с чем сравнивается. Необходимость соблюдать это правило изучения древнего текста усугубляется тем, что палеослави-

располагает преимущественно текстами, которые очень близки или адекватны по своему содержанию (например, разноязычными списками евангелия, псалтыри, апостола, паримейников, патериков, молитвенников, житий, гомилий). При общем протографе такие тексты тем не менее различаются вполне определенными языковыми особенностями, отражающими живой говор писца рукописи. Именно на этих различиях основана языковая классификация древних письменных источников.

Только при таком подходе можно: (1) выделить релевантные признаки старославянismов, моравизмов и паннонизмов в русском языке; кирилло-методиевских слов и русизмов в чешском языке; моравизмов, паннонизмов и русизмов в болгарском языке; (2) уточнить содержание понятий и соответствующих терминов "старославянский язык" и "церковнославянский язык" (или "церковнославянские языки", по другой концепции).

В работе, результаты которой здесь излагаются, анализируются тексты Ветхого и Нового заветов, агиографические, гомилитические и гимнографические произведения, сборники законов, летописи, грамоты, надписи; тексты оригинальные и переводные (для болгарского и русского языков – преимущественно с греческого, для чешского – преимущественно с латинского).

Отметим, что сопоставление текстов идентичного содержания является одним из приемов исследования, так как такое сопоставление нередко является непосредственным импульсом для дальнейшего углубленного анализа конкретных языковых различий, выявляющихся при сопоставлении. Приведу лишь два примера (количество выдержек из текстов в докладе предельно ограничено его заданным объемом).

Ср.: г(оспод)ъ оутврѣдѣніе мое и прибѣжиши мое иѣзва-
вителъ мои. в(ог)ъ мои помоштъники мои оупъваю на мъ. за-
штитъники мои... Ps 17,3 Син; Киев; hospodyn twrdost ma,
a utoczisczie me, a zp(ro)stitel moy. Boh moy spomocznik
moy, a uفاتи budu wen. Obrancie moy... Ps 17,3 Клем (Станислав, III, 249). Здесь только четыре слова имеют общие корни, но с различными аффиксами (не считая мест. мн): господъ – hospodin, помоштъники – spomocznik; оутврѣдѣніе – twrdost; оупъваю – uفاتи budu. Остальные слова не совпадают: прибѣжиши – utoczisczie; иѣзवителъ – zprosti-
tel; заштитъники – obrancie. Уже только эти параллели заставляют обратиться к сопоставительному анализу гнезд слов с соответствующими корнями и аффиксами для определения специфики их употребления в каждом языке. Второй пример: въ вѣ-
мъ житомѣренѣе Л 12,42 Зогр Мар; Добром Бан Ив-Ал; житомѣ-
ренѣе Добр; въ вѣмъ оуронъ житъныи Мст Юрьевск Галицк Добр.
тил Тип (Ягич, 345); časem měřici pšenice Олом Дражд. Семантическая модель 'мера зерна' в болгарском житомѣренѣе –
калька греческого σιτομέτρον, в чешском časem měřici pše-
nice – пословный перевод с латинского. В русских списках последовательно употребляется исконно славянская термино-
логия – оуронъ житъныи. Слово оуронъ (úrok) – общесла-
вицкое, оно широко употребляется в текстах различного со-
держания в значениях 'плата', 'дань', 'оброк' во всех трех языках с местными отличиями в оттенках и сочетаемости и в некоторых вторичных значениях. Его значение уточняется

анализом слов с корнем **-роk-** (см. ниже). Такие "конденсированные" по охвату текстов сопоставления весьма показательны, но являются лишь начальным, точнее предварительным этапом исследования конкретных групп слов в разных языках на материалах самых различных письменных источников.

Нижняя хронологическая граница изучаемого периода определяется экстралингвистически - от первых дошедших до нас письменных источников. Для болгарского и чешского языков - это X в., для русского (древнерусского) - XI в. Верхний хронологический рубеж определяется на основе существующих периодизации данных языков, обусловленных существенными языковыми и историко-культурными процессами: для болгарского - конец XIV в. (время кардинальных изменений в языковой системе и начальная эпоха турецкого нашествия), для русского - рубеж XIV-XV вв. (период активизации так называемого второго юнославянского влияния и формирования украинского, белорусского и собственно русского языков как самостоятельных языков восточнославянской группы), для чешского - XV в. (XVI веком датируется новый период в его истории). Таким образом, суммарно по языкам выделяется эпоха X-XI вв. - XIV-XV вв. В указанных хронологических границах историками данных языков выделяются подпериоды: для русского - с середины XIII в. по рубеж XIV-XV вв., для болгарского - XII - XIV вв. (так наз. среднеболгарский период), для чешского - с конца XIII в. по XV в.

Все наши выводы основаны на наблюдениях, сделанных на непосредственных источниках указанных трех языков по XIV-XV вв., и относятся только к ним, хотя многие из обнаруженных лексических особенностей аналогичны тем, что имеются в лексических системах других славянских языков данного периода. Материалы более позднего времени по изучаемым трем языкам, а также все источники (от первых письменных памятников), литературные и диалектные, остальных славянских языков нами привлекаются лишь спорадически. Это объясняется не принципиальными соображениями, а только непомерно большим объемом работы. В докладе цитируются только источники указанных трех языков по XIV-XV вв. Все наблюдения относятся только к ним.

Определение объекта исследования имеет принципиальное значение. Изучение изолированных слов малоэффективно. Следует анализировать слово в системе, что реально возможно только по микросистемам, которые формируют систему в целом. На данном, начальном, этапе исследования лексики древних славянских языков не эффективно, на наш взгляд, анализировать лексические микросистемы, выделяемые по экстралингвистическим признакам: (1) древние письменные источники донесли до нас словарь своего времени далеко не в полном объеме, что существенно затрудняет анализ по семантическим, понятийным полям, так как остаются "белые пятна" - в источниках не засвидетельствованы соответствующие лексемы; (2) микросистемы, выделяемые по экстралингвистическим признакам, не всегда обладают достаточной степенью внутренней, собственно языковой организации (на это неоднократно указывали Ульман, Мартине и ряд других лингвистов). Более результативно, как показывает опыт, исследование сло-

варного состава древнего языка по микросистемам, выделяемым по собственно языковым признакам, а именно — по общей морфеме. Анализ рукописных источников показывает, что мы, за редчайшими исключениями, знаем все морфемы древних славянских языков — и корневые и аффиксальные. Вновь открытые рукописи и надписи прибавляют считанные единицы "новых" морфем к тем, что уже известны. В то же время мы еще не располагаем документальными (из письменных источников этого периода) свидетельствами употребления многих старинных слов, хотя они, по всей вероятности, и состояли из уже известных нам морфем. Восстановление утраченного важно, но оно возможно только на основе скрупулезного анализа лексем, зафиксированных в рукописных источниках. Нам известна фрагментарно и семантика древнего слова, мы знаем лишь отдельные значения многозначных лексем (и те не всегда достаточно точно). Нередко в рукописных источниках представлены первичные значения без производных и, как показывает анализ, так же часто и производные значения без их мотивирующих. Главные трудности в изучении лексических систем древних языков состоят не в определении "номенклатуры" лексических единиц, а в достаточно точной семантической и стилистической дифференциации известных нам лексем, особенно многозначных, в установлении филиации и иерархии значений и их оттенков.

В соответствии с вышеизложенными особенностями лексического состава языка древнейших письменных источников в качестве объекта исследования выделяем группы слов, объединенные общим корнем или аффиксом. Это так называемые морфемные лексико-семантические группы (далее: ЛСГ). Необходимо подчеркнуть, что ЛСГ — это совокупность слов о д - н о г о языка. В близкородственных языках набор морфем и, следовательно, в определенных пределах лексический состав совпадает, что и делает возможным конкретное сопоставительно-сравнительное изучение морфемных ЛСГ в этих языках.

Исследование можно начинать с анализа ЛСГ в целом, т.е. во всей совокупности слов с данной морфемой в отдельном языке, а затем сопоставлять результаты исследования по языкам, включенным в сравнение. Например, сопоставляются слова корневых ЛСГ — прав-, —чист-, —прост-, —цѣл- и т.п., префиксальных вѣз-, нижъ-, иѣ-, при-, суффиксальных —ица, —ость, —иѣна, —ыни и т.п. Возможна и другая последовательность: начинать с анализа любого слова в конкретном тексте. Поводом именно для такого выделения начального объекта исследования является то, что данное слово недостаточно ясно по своему смыслу, этимологии или по соотнесенности его значений, их хронологической последовательности, по специфике употребления в близкородственных языках. Позволим здесь себе один пример. Так слово отрокъ, которое широко употребляется в многочисленных и различных по содержанию рукописях, несмотря на обилие конкретных примеров его употребления в текстах, неоднозначно этимологизируется и толкуется по языкам.

Этимологи исходят из такого толкования слова: подросток, отданный в обучение и услужение в воинский отряд князя или в богатый и знатный дом, а потому лицо, социально бесправное и по возрасту и по положению, следовательно, ли-

шенное права высказывать свое мнение. Таким слугой мог быть и раб, и свободный человек, воином – даже дворянин (шляхтич), отowany на воспитание и обучение в дружины князя. А.Мейе считал слово *отрокъ* в начальную эпоху письменности уже морфологически и семантически неразложимым⁴, что нельзя признать, как показывает анализ источников, абсолютно точным.

Изучение слова *отрокъ* приемами сравнительной лексикологии позволяет определить истоки и особенности употребления этой лексемы в славянских языках начального периода письменности. Древнейшие фиксации этого слова свидетельствуют о том, что первично в нем отсутствовал социальный оттенок. *Отрокъ* означало 'ребенок, который еще не умеет, не начал говорить'. Его семантическая структура: "не-говорящий" (*от-рокъ*). Ср.: ... иродъ ... иѣзи всѧ отрокы сѧшаи въ вифлѣеми ... отъ двою лѣтоу и ниже ... Мт 2,16 Ас Сав; Деч Бан; то же русск. Остр (нет в Мст); болг. *дѣти* Ив-Ал; чешск. *dietky* Олом, *dyety* Дражд (с характерным для чешск. яз. деминутивом в Олом.). Для определения исходного значения сущ. *отрокъ* показательно, что в остальных семи стихах Мт 2 (стихи: 8,9,11,13,14,20,21) почти во всех болг. и русск. списках об этом же ребенке сказано *отроуа*. Слова *отроуа*, *отрокъ* и остальные лексемы с этой основой имеют своим семантическим ядром понятие "детство, младенчество". Например: въпроси и (соу)с(ъ) о(ть)ца его. колико лѣтъ есть отъ велиже се быс(ть) емоу. онъ же рече емоу. иѣз отроуини Мк 9,21 Зогр Мар Ас Сав; Добр; Остр; иѣз отроуате Бан Ив-Ал; иѣз отроуишта Кохно; но: иѣз *дѣтьска* Врач, Тырн (Ягич, 375); Мст; *z mladosti* Олом Дражд. (Ср. Ягич, 342,374-375). Ср. русск. от *дѣтьска* Минея 1096 г. (сент.) 23 (Срезн., I, 797); иѣз *дѣтьска* Пов.вр.л. (там же, 798); то же Георг. Ам. (там же, 798); сп. *младыць*: *младыци* *Бавуло*нъсци о камень окражаеми Гр.Наз. XI в., 341 (Срезн., II, 158). В этот период ЛСГ –млад– во всех трех языках имеет своим семантическим ядром "детство, младенчество". Значения 'юный', 'юность' у слов с этим корнем появляется, видимо, не ранее XVI-XVII вв. Весьма показательно "переходное употребление": (кн.Владимир) възрастъ и ѹкѹпивъ от *дѣтьскии* и *младости*, пауе же възмѹжавъ, кѹпостию и силою съвершаяся Сл.Ил., 164, XV в.; сп. с XI в. (Сл. XI-XVII вв. РЯ, IX, 186). Характерно, что в оглавлении евангелия от Матфея (в тексте более позднем, чем собственно евангельский по своему происхождению) сказано: *младыне*(ц) иѣзенъиъ Ас 1356 14; о иѣзеных младенцахъ Ив-Ал. Ср.: *наадъ* *младенцы* *младыни* и *новородными* Ман.лет., 141 (Карт. Др.-болг.сл.). В чешск. рукописях: *mlád'átko* - *dietě i mládatko* (*parvulum et lactantem*) 01.I.Reg. 15,3 (Гебауэр, II, 374), *mládenček* и *mládenec* и их варианты в том же значении (там же, II, 374). В более поздних рукописях слова с этим корнем обычно употребляются в значениях 'подросток', 'мальчик'; 'юноша' и их производных (там же, II, 373-376). Значительно чаще в чешск. библейских рукописях употребляются слова *dietě*, *dět'átko*, *nemluvátko* и их варианты. Ср. в часто цитируемом стихе из псалтири: иѣз оусть *младынечъ* съ-сѧшихъ съвръшилъ еси *хвалъ* Пс 8,3 Син; то же Пог Пар Лоб;

Киев; то же Клоц 1а 21 и Супр 362,2; младыньеъ Мт 21,16
 Мар Сав; Зогр-б Бан Ив-Ал; то же Остр Мст; z úst dietek
 Олом; z uust mladeneczkow Дражд, но также - z úst nemluwa-
 tek a sanców LyraMat, 134; nemluwniatek Bible LitPraž (Др.-
 чешск. сл., IV, 546). Ср. также: z úst malých nemluwnyatek
 i jiných malých dět'atek Kanc'Jist (Др.-чешск. сл. IV, 546;
 см. там же и ряд других выдержек из разных текстов XV в. и
 более поздних). Ср.: и се вами знамене. обряштете млады-
 ньи повитъ. лежашть въ ѣслехъ Л 2,12 Зогр Мар Ас Сав; Добро-
 ром Бан Добр Ив-Ал; Остр Мст; но: дѣтишъ Юрьевск. Добрил
 (Ягич, 375); nemluvátko nebo mlád'átko Олом; dyetatko
 Дражд (в ряде чешск. списков - diece в этом стихе; см. Др.-
 чешск. сл., IV, 546). Ср.: a to zročnie dietce bude jmenová-
 no Emanuel Жит. Кат. 1932. Обычные чешск. дублеты слов от-
 роùя и отрокъ в значении 'младенец' (аналогично и их про-
 изводных) - nemluvátko, nemluvě, nemluvnátko, nemluvně
 dietě (dět'átko) - весьма важны для понимания структуры и
 первичного значения слова отрокъ (и его производных - от-
 роùя, отроуиши и ряда других слов с этой основой). Они
 имеют ту же морфемную и семантическую структуру: ne-mluv-
 и от-рок-, что уточняет, делает прозрачным исходное значение
 отрокъ (и соответственно его производных) - 'младенец,
 дитя, ребенок еще не научившийся, не умеющий говорить'.
 Морфемы, составляющие эти слова, синонимичны: ne- - от-;
 -mluv- - -рок-. А. Мейе семантически сопоставляет от- в от-
 роùя с от- в гл. отиti⁵, что неверно. От- в отрокъ означает
 "простое" отрицание. Это выясняется из анализа ЛСГ от-
 (в которую входит и предлог отъ). Среди многочисленных зна-
 чений предлога отъ (и соответственно ряда префиксов от-)
 обнаруживается одно, видимо, чрезвычайно редкое и глубоко
 архаичное - именно значение "чистого" отрицания (без се-
 мантических нюансов). Данное значение синонимично предло-
 гу ве̄з и отрицанию не. Ср.: что во павла правднєе бысть.
 нъ поне же бесполезныи хъ просаше не үслышанъ
 выи (сты). . . . неполѣзно же вѣаше не попусти в(ог)ъ
 Панд. Ник. Черн. 1296 г., л. 152 (Карт. Др.-русск. сл. XI-
 XIV вв.). Указанное значение предлога отъ известно по еди-
 ничным примерам. Ограничимся тремя: покажи ми вѣроу своего
 от дѣлъ своимъ Иак. 2,18 Христ (русск.), Слепч (болг.) Шиш
 (сербский список) (СЯС, II, 589, пункт 12); смысл этого сти-
 ха без дополнительного скрупулезного анализа современному
 читателю не ясен. Его проясняет аналогичный текст из чеш-
 ской рукописи: ukaž mi vieri tví bez skutkuov (Jakub 2,18
 Bible lit.-třeb.), где bez соответствует предлогу отъ русск.,
 болг. и сербского списков апостола. Второй пример: оста же
 жена от мужа своего и от окою сыноу Руфъ 1,4 Гл (СЯС, II,
 589, хорватский список с кирилло-методиевского протографа).
 Несколько примеров такого употребления предлога отъ изве-
 стно по Беседам папы Григория Богослова, чешский оригинал
 которого не сохранился, но известен его русский список
 XIII в. Например: кроме бояни то от окои нашего Бес 38,
 288б 9 (СЯС, II, 589). На значение отъ 'без' указывает и
 Ф. Копечный⁶. О значениях специфически книжной подгруппы
 прилагательных и их производных с начальным ве̄з- 'безгра-
 ничный' (типа ве̄збрѣменныи, бесцѣнныи) мы здесь не го-

ворим. Отметим только, что в чешском языке, в отличие от болгарского и русского, такие слова встречаются крайне редко.

Другое соответствие в семантической структуре пе-*mluv-* и от-*rok-* — в значениях их корневых морфем *-mluv-* и *-rok-* (*-рок-*, *-рек-*, *-риц-*, *-ръц-*, *-рох-* — подгруппы ЛСГ с семантическим ядром "говорения, речи"). Отрокъ в эту эпоху еще сохраняет семантические связи с древнейшими отглагольными образованиями на *-рокъ*, часть которых, вероятно, еще в праславянский период получила значение лица мужского рода. Ср. слова типа *нарокъ*, *прирокъ*, *пророкъ*, обозначающие лиц, и имена действия типа *заронъ*, *наронъ*, *обронъ*, *сыронъ*, *оуронъ* (см. выше *оуронъ житъныи*). Ср.: *теноу же нарока соуколова* Син.Пат., 118а 7 в значении 'прозвище'; но вси съ *пилатомъ глаголять*. *правъдъни приносаште нарока* Супр 433,25, где *нарокъ* — 'суждение'; чешск. *nárok* 'обвинение, оговор, клевета': ... *nežli bydliti mezi známými v takém ročku i naroku hanebném Trojá* 144а (Др.-чешск. сл., II, 247, остальные значения — юридические термины).

Отметим, что анализ ЛСГ "говорения, речи" типа *-глагол-*, *-каз-*, *-мльв-*, *-говор-*, *-рек-* (*-рок-* и т.д.) показывает, что в данный период слова ЛСГ *-глагол-* типичны для болг. текстов, несут оттенок книжности в русских и не употребляются в чешских. В болг. языке широко известны слова ЛСГ *-рек-*, *-каз-*, в конце периода единичны слова ЛСГ *-мльв-* и *-говор-* в смежных значениях. В болг. языке *мльвити* и *говорити* сохраняют древнейшее праславянское значение 'шуметь, производить нечленораздельные звуки' (в работе рассматриваются семантически смежные ЛСГ *-мльв-*, *-говор-*, *-пишт-*, *-զըպտ-*, *-շնմ-* и нек. др.). В russk. языке в значениях "говорения, речи" широко употребляются слова ЛСГ *-говор-*, *-каз-*, *-рек-*, реже — *-мльв-*. В чешск. языке — соответственно ЛСГ *-mluv-*, *řec-*, *-věd-*, *-hovoř-*. Глагол *praviti* этимологически не входит в ЛСГ *-прав-* (см. Махек, 391) 'прямой'.

Анализ слова *отрокъ* по трем языкам в начальную эпоху письменности позволяет суммарно выделить следующие его основные значения: 1) 'младенец', 2) 'ребенок (без четких возрастных ограничений)', 3) 'слуга (раб, невольник)', 4) 'младший член воинской дружины', 5) 'мальчик дворянского происхождения, отанный на воспитание и в услужение князю, крупному военачальнику', 6) 'наемный слуга, работник', 7) 'помощник должностного лица' (судьи, посадника и т.п.).

В болг. источниках *отрокъ* в течение всего периода употребляется в значениях 'младенец' и чаще 'ребенок'. Например: ... *обрѣте же съпружница своя въновѣ мрѣтво отроуа рожьшъ ... съкѣштавшаса мрѣтво покрѣгоста*. а данное емоу въспитаста *тако свое уадо ... въздрасте бо киръ. и съ отро-кыи игра ... призванъ быкаетъ отроуа киръ ...* Лет.Ман., 44-45 (здесь *отроуа* и *отрокъ* употребляются синонимично); *Заоутра же шедше родителне, въѣзжавше, обрѣтоша отрокы елѣ живы. И поемъ къждо свое отроуа ... сава придоша въ сеѧе отроци ...* Пат.разк., 292. Russk. *отрокъ* 'ребенок' отмечено в церковнославянских текстах (Срезн. приводит четыре примера — из Остр и Панд. Ант XI в.; I, 764). Это значение не фиксируется в словарях др.-чешск. языка.

В остальных значениях (с третьего по седьмое) слово *отрокъ* употребляется во всех трех языках. При этом в russk.

языке синонимично употребляются отрокъ, ѿтъскыи, моло-
дии. Например: онъ же повелѣ възти оружъя отрокомъ Лавр.
лет., 6579 г.;... а не въскучуетъ платити. то тъ латинеско-
мѹ просити. ѿтъского оу тиоуна Смол.гр. Гр. 1229 г. А,
48; а кто не въеглъ, тѣхъ избина наѣхавше Гюргеви моло-
дые Лавр. лет., 6736 г. В чешск. рукописях отрок во всех
этих значениях употребляется широко; в соответствующих зна-
чениях и другие члены этой ЛСГ: otročí, otroče, otročník,
otročný, otročstvo, otročstvie, otrokyni. Например: podlé
mzdy otroczie za šest let slúžili sú tobě BiblCard Dt 15,
18 (otroka - в других списках); pakli kto vyrazí oko své-
mu otroku neb své robě..., propustí je svobodny pro oko,
ještě vylúpil BiblCard Ex 21,26; služebníka - в Пражской
рукописи (Сл.др.-чешск., XIV, 964-985). В значении 'моло-
дой воин' чаще употребляются слова panoš и pacholek. Panoš
употребляется и в значении 'мальчик-слуга' (Л 15,26; в
русск. и болг. списках - отрокъ или рабъ). В болг. младъ
воинъ в этом значении. Например: младъ воинъ бонт сѧ тѣ-
бы и тѣжавшъ на брани Сб. 1348 г., с.134. Болг. младъ и
русск. молодии в значении 'младший в воинской дружине' еще
не соотносятся со своими поздними значениями 'молодой,
юный'. В данную эпоху слова ЛСГ -младъ- и -молод- еще име-
ют в своих исходных значениях семантическое ядро 'только
что появившийся, возникший, неокрепший; мягкий'. Ср.: егда
ouже вѣтѣ будѣтъ млада Мт 24,32 во всех болг. и русск.
списках изучаемого периода. Но в чешск. рукописях: když
již větev jeho měkká bude Олом, ... ratolest bude hebka
Дражд (где měkká и hebka означают 'мягкая'). Особенно оче-
видны эти связи с исходными значениями в первом его ответ-
влении - 'младенческий'. Ср. также выражение съ (отъ) мла-
дьихъ ногътии, где младъ - 'мягкий'.

Отметим, что ЛСГ -рабъ- и -робъ- в болг. и русск. языках
объединяют слова с понятием "рабства" и "раба-слуги", а
также "слуги, служителя, работника". Например: въ работе
проданъ выстъ носифъ Ps 104,17 Син; Пог Бол Лоб Пар (СЯС,
III, 539); Киев; коупилъ еси робоу Плѣскове Берест.гр. №109;
и бѣдъ немоу истинъи робиуншъ Супр 235,12; призвавъ
единого отъ рабъ Л 15,26 Зогр Мар; Добр Бан; Остр Мст; един-
ного раба Сав, единого отъ отрокъ Ас; Доброму Врачу; jedno-
ho z panoší Олом Дражд (значение 'слуга', а не 'раб' под-
крепляется и сопоставлением всех этих текстов). Историче-
ски сопредельная с названными, ЛСГ -робъ-, объединяющая сло-
ва с панятиями "детство" и "ребенок", в данную эпоху пред-
ставлена только в чешск. источниках. Например: J nesiechu
k němu robátka, aby sě jich dotekl Л, 18,15 Олом Дражд; но:
приношаю же къ немоу младенца Зогр Мар; Доб Доброму Бан
Ив-Ал; Мст. Украинское и собственно русское роба 'дитя, ре-
бенок' отмечено позднее. Например: ... держа(т) усла(а)
немецкую муже(в) ли жонок ли робат (Перемишль, 1447-1492;
Ст.-укр.сл., II,293). Ср. Срезн. III,126.

В течение начального периода письменности наблюдается
своебразная конкуренция слов, входящих в корневые ЛСГ
-отрокъ-, -младъ-, -адѣтъ-, которая приводит к постепенному
семантическому и стилистическому размежеванию во времени
и по языкам.

Анализ употребления слова *отрокъ* в его связях с однокоренными и синонимичными лексемами, при этом только на выборочных материалах русских, болгарских и чешских рукописных источников X-XI – XIV-XV вв., позволяет многое уточнить в его этимологии, филиации и иерархии его значений, а также значений семантически сопредельных с ним слов.

Уже на данном, начальном этапе исследования словарного состава литературно-письменных русского, болгарского и чешского языков по письменным источникам X-XI – XIV-XV вв., т.е. в древнейшую эпоху письменности, когда эти языки были значительно ближе друг к другу, чем в последующие периоды их исторического развития, можно выделить характерные конкретные особенности лексических микросистем, составляющих лексические системы этих языков. При этом некоторые из этих особенностей, видимо, относятся к языковым универсалиям.

Феноменальная близость словарного состава славянских языков – это давно установленный факт. Цель работы состояла в том, чтобы ее объяснить и показать не на примерах отдельных слов, изолированно сопоставляемых, вне связи со смежными лексемами, а на системном уровне. Необходимо было найти приемы и реальные объекты исследования – выделить сопоставимые микросистемы. Они были найдены в процессе анализа отдельных групп взаимосвязанных слов. Самым информативным уже в начале поиска представился анализ по морфемным объединениям лексем – по ЛСГ.

Исключительная близость лексического состава сопоставляемых языков коренится в исконной, праславянской общности морфем славянских языков, подавляющее большинство которых сохраняется до наших дней.

В большинстве случаев эти морфемы складываются в слово в любом из близкородственных языков своеобразно, постепенно наполняясь "местными" семантическими и стилистическими нюансами, которые свидетельствуют о том, что каждая такая лексема является "своей" в данном языке. Даже унаследованная из праславянского "готовая" лексема в каждом языке приобретает более или менее четко выраженные свойства этого языка, не говоря уже о внешних преобразованиях такого слова в результате действия локальных языковых законов, прежде всего фонетических (выше упоминалось о своеобразии слов *отрокъ*, *нарокъ*, *мълва* по языкам). При выделении таких "общих" слов нередко традиционно не учитывается диалектная дробность позднего праславянского языка (что неоспоримо доказано этимологами-славистами наших дней).

Одной из характерных особенностей словарного состава близкородственных языков является общность структуры семантически близких слов, выделяемых на определенном хронологическом срезе. Выше это было показано на анализе соотносительных структур *от-рок* и *п-mluv-*. Ср. также: *о(в)-вид-* и *прѣ-зър-* в *обиѣти* и *прѣзърѣти* в исходном значении 'обойти взглядом, не заметить' и в переносном 'пренебречь, презреть'. Во множестве случаев такие производные слова формируются как бы по заданной схеме, по универсальным законам словообразования.

В процессе изучения конкретных ЛСГ выявились их отличия по образующей морфеме. Численно во всех трех языках

преобладают корневые ЛСГ (корневых морфем в языке больше, чем аффиксальных). В то же время корневые ЛСГ, как правило, значительно уступают аффиксальным по количеству составляющих их слов. Суффиксальных ЛСГ значительно больше, чем префиксальных. Особенности словоупотребления по ЛСГ нередко соотносятся с количественным составом конкретной группы. Так, например, в болг. рукописях примерно в три раза больше слов с начальным *без-*, чем в чешских, так как в болг. литературном языке помимо исконного славянского значения приставки *без-* 'отсутствие, лишение того, что выражено корнем' (типа *бездѣлъжаніе*), широко употреблялись прилагательные и их производные, где *без-* означало 'безграничный' (типа *безвѣременныи*, *бесцѣнныи*;ср. антонимичное исконно славянское *купить, продать за бесценок*). Они образовали специфически книжную группу слов литературного языка, это были кальки с греческого или слова, образованные по этой модели. Эти слова были заимствованы и русск. литературным языком, где образовались и свои слова по данной модели. Ср.: *ѹстьно ѿ* ареѣо *бесцѣнно* ѿстъ Надпись на кресте Ефросиньи Полоцкой 1161 г. (Рыбаков, с. 32). В чешск. языке лексемы этой модели единичны (*bezčíslný, bezmierný*; см. Др.-чешск. сл., 19–20). Специфика каждого языка связана и с местом морфемы в слове. Так, например, корневая ЛСГ *-ниž-* (ниžъкъ, ниžина и т.п.) представлена во всех трех языках, при этом близкими и набором слов и их численностью. Префиксальная морфема *ниž-* образует в болг. языке глагольную группу (около 20 слов) типа *ниžložiti, nižiti*, члены которой или стилистически нейтральны или архаичны. В русск. языке это слова преимущественно книжные, высокие (типа *ниžvěštiti, nižvěstiti*). В чешск. текстах такие глаголы нам не известны.

Целый ряд корневых ЛСГ и реже аффиксальных представлен единичными словами и даже "группами", состоящими из одного слова (разумеется, исходя из тех данных, которые содержатся в изученных источниках). Словарный состав анализируемых текстов характеризуется значительным количеством гапаксов. Таковы ЛСГ *ձланъ* (долонь, ладонь, *dlañ*), *չամչъ*, *մատа*, *սպոցъ*; *կա-* (կարզлиւиշть); *Ենатъ* (перынатъ). В такие ЛСГ обычно входят слова с предметными значениями, которые, как правило, в любом языке имеют ограниченное число производных, они редко употребляются в письменных источниках, несмотря на их повседневное и повсеместное наличие в живой речи. Для исследователя эти лексемы представляют особую трудность, так как сведения о них в границах одного языка и одного временного среза ограничены. Чтобы уяснить смысл и особенности употребления таких слов, необходимо использовать все имеющиеся косвенные источники. Так, анализ болг. прағъ в ветхозаветном тексте ...помажътъ надъ обѹю и подъ обѹю. и на праӡѣхъ въ домахъ Исх. 12,7 Григ (СЯС, III, 248, греческое соответствие не однозначно!) требует привлечения широкого культурного контекста – ветхозаветный обычай предписывал на пасху кропить кровью жертвенного животного косяки двери дома так, чтобы получилось очертание алтаря. Ср.: *ѹстьны* акы прағы на ڦамена ՚аште Супр 332,2; кровь на обѹю прағоу положить ся Бес 22,

1436 №20 и 22 (СЯС, III, 248; Бес - русск. список XIII в. с чешск. оригинала XI в.); иже (агнцевъ) крѣви прагы подъ-
вога помавше (вм. помацающе), вси изътлане избалишася
смерти Ктур XIII сп. XIV, 12 (Карт.Др.-русск.сл. XI-XIV вв.);
вы же кождо вась сен моши законъте агнцы чистъ непоро-
ченъ. и оможете прагы кровью юго Пал 1406, 1246 (там же). Примечательно стилистически возвышенное употребление
прагы в выражении оума прагъ: ꙑса же (пагоѹкы) ѧко оѹѣ-
жати. и о(т)вратити пагѹвника. помацати оума прагъ. оу не-
вѣдаѹна и дѣꙑданыа. великою и спсеною пеуатью. нового
завета кровью ГБ XIV, 113б (там же).

Смысл слова прагъ уточняется привлечением соответствующих контекстов из Шестоднева Иоанна Экзарха Болгарского, где прагъ употребляется с прилагательными горынь, надъзвѣ-
рьни, врѣхни и дольни: вѣсѧ авѣрии дольни прагъ иже
и надъзвѣрьни прагъ лежат на подъвога. да подъвога не
можете стояти прага не иже си оутвѣрдити сѧ не поѹи-
лѧшта, аште да не надълежитъ горыни прагъ на нею... прагъ
во горыни выишина сила ѩестъ дрѹжащти. да вѣдѧ сѧ го-
рыни прагъ. обнажа отъ благодати. ѧко во сѧ съныметъ
врѣхни прагъ, то иже ѩестъ подъвога Шест 45с9-45д13.

В Дал.хр. prah употребляется в значении 'притолока':
... lidé silní ... proti prahu klanějí hlavu, aby ji mělí
zdrávu VII, 28.

Приведенные контексты показывают, что в древности прагъ (в отличие от порогъ) обозначало вообще поперечную перекладину дверей. Значения 'притолока' и 'порог' еще не выделились.

Анализ даже единственного слова, но рассмотренного в ряду своих дублетов и синонимов в близкородственных языках, нередко весьма информативен не только в собственно языковом аспекте. Так, анализ употребления слов котъка и ѧкоරь (из греч. ἄγκυρα) в славянских языках изучаемого периода (и позднее!) убеждает в том, что во всех литературно-письменных языках в прямом значении и в переносном употреблялось слово котъка (в единичных случаях в метафорических выражениях ѧкоорь - типа ѧкоорь надѣжды!), кроме русского, где всегда, от первых письменных памятников, употребляется только гречизм ѧкоорь. Например: аа ывлютъ оу ц(ъса)-
ра вашего на путь брашно и ѧкоора и оѹица... (В летописи под 907 г., по сп. Ип. лет., Срезн., III, 1656; то же Радзивиловский сп. XV в., см. Лавр. лет., с. 30). Этот гречизм - очевидное свидетельство прямого заимствования из греческого языка византийского времени, т.е. свидетельство прямых контактов древней Руси с Византией.

Корневая ЛСГ формируется "изнутри", так сказать "размножается", в отличие от аффиксальных ЛСГ, которые "собираются" из отдельных лексем. В каждой корневой ЛСГ есть опорное слово, которое является или непосредственным или опосредованным (через другие слова этой группы) мотивирующим остальных слов-членов данной ЛСГ. Опорными словами чаще всего являются глаголы (например, виаѣти, дивити,
ърѣти), прилагательные, особенно качественные (например, простъ, правъ, чистъ), несколько реже существительные (например, брѣгъ, берегъ, břeh; глава, голова, hlava; огнь, oheň).

В опорном слове корневой ЛСГ наиболее "активным" (мотивирующим) может быть одно или несколько значений (обычно не более двух) одновременно или в их исторической последовательности (с частными особенностями по языкам). Так в ЛСГ -прав- в болг. языке исконно мотивирующими были значения правъ 'прямой' и 'ровный'. Например: правъ 'прямой' наведе ѧ на путь правъ. вънти въ градъ обитѣльнии пс 106,7 Син; похоже Евх 366 и 41а 7; в молитве о путешественниках: б(о)же ... оходаштихъ нашихъ братъ. на в'сѣхъ мѣстѣхъ исправи и мы путь. ли по земли. ли по морю. ли по блатомъ. ли по рѣкамъ Евх 186 5. Правъ 'ровный': гласъ въпіяштаго въ постыни. оуготованте путь г(осподь)нь. правы творите стъзмъ его. всѣна дѣарь испльнить сѧ. и всѣна гора и хлыни съмѣрить сѧ. и блажъ стрѣльтьнаа въ праваѣ. и остринъ въ пути гладъкы л 3, 4-5 Зогр Мар Ас Сав; Бан Добром; Остр Мст; коудоутъ кривага въ исправлениѣ Бес 10, 10Заб 5-6; ... chystajte cѣstu hospodinovu, pravé čiňte jeho stezky! Všeliký sě úval naplní a všeliká hora i pahorek sě poníží a bude uviré zpraveno a netrte cesty budú rovné Олом Дражд; похоже Мт 3,3 Ас Сав и др.; Мк 1,3 Зогр Мар Ас Сав Боян-пал и др. Правъ 'прямой' в книжных текстах всех трех языков встречается преимущественно в многочисленных метафорических употреблениях. Например: правыи путь велиты евангелия Супр 547,4; оправить ти господь путь твои прѣдъ тобою Супр 191,30; нечлобивы и правии при-(лѣ)плѣхъ съ миѣ пс 24,21 Син; nevinní a praví přilnuli jsú u mne Винт 356; то же Евх 756 4; правыи огненемъ и прѣгрыи и постыни и зведе уло(овѣ)кы Ион. Екз. Болг. При этом мотивированные существительные типа правость, правыни, правъда (и производные последнего) получили отвлеченные значения - 'правильность', 'правдивость', 'справедливость' и некоторые другие, а мотивированные глаголы типа правити, направити, оправити, оправити употреблялись при указании направления движения или выпрямления, а переносные значения приобретали в результате сочетаемости с соответствующими существительными. Например: (ты)и г(осподи) и отъни ми отъ лжевѣ (ст)ва нашего. и твоєю мило(ст)и и ю обрати ми на правъдѫ (твою) Киев л.л. 5б 23; лѣпо ми ћестъ обратити չавлюющуо обѹю. и направити на първого раза пажить Усп.сб. 176а 13-14; непрестанно мыслью и б(ог)ов оправлены Мин 1096 г. 105 (Срезн., II, 689); navrat' sě každy od své cesty ode zlé a naprawte cesty vaše Bible Drážd' Jr 18,11; Pror; zpravte Lit; Pad; Praž (др.-чешск.сл.; II, 218). Аналогично в отглагольных лексемах. Например: мѣсть во и прѣтоу кривоу търпѣти направна исправлениѣ Гр. Наз. XI в., 337 (Срезн., I, 1134); на исправлениѣ а(оу)ши наставника и мы Супр 523, 9-10; правъда и сѧ исправление прѣстола его ПС 96,2 Син; právo a sud opravene stolicě jeho Винт 1776; исправлениѣ 'руководство': тако не подобаетъ ѧеп(и) скоп(о)мъ չавомомъ на своръ ослоушати сѧ. и ити и оѹнти сѧ исправлени ц(ъ)рк(ъ)вънъиихъ Ном Уст 47в 26 (СЯС, I, 809); исправитель 'руководитель, наставник': христосъ ми да нау'нетъ слово. ѧединъи прѣмѣждрии и прѣмѣждрии исправитель Супр 523, 23

(где сохраняется непосредственная связь с мотивирующим правъ 'прямой' через исправити 'направить по прямому, неискривленному пути').

Постепенно во всех трех языках слово правъда становится опорным словом, мотивирующим производные со значениями правильности, честности, правдивости, справедливости, законности (справедливой). Например: правъда вѣдноситъ языки. обништаѧтъ же грѣхы и неправды людые Клоц За 5; путь правды Супр 545,24; ... єко слѣньце свое сиѣтъ. на ѣлы и благы. и дѣждитъ на праведныѧ. и неправедныѧ Мт 5,45 Зогр Mar Ac; ... на обидыныѧ Сав; ... a da-wa dešcz nad sprawedlne u ne na prawe Dражд; ... a dřčí na pravé i na křivé Олом; самодѣлъе цѣсарю аурелиане. неправедныѣ сѣдиши. неправедныѣ ижини Супр 13, 30-14, 1; вѣси съ пилатомъ глаголѧтъ. правадыни приносяще нароны Супр 433,24 (т.е. 'справедливое суждение'; см. выше о слове нароны). Постепенно распространилось более новое и узкое значение правъдникъ, правъдныи 'благочестивый' (ср. правата вѣра, православие, правовѣрие).

Примечательно, что только в чешском языке ЛСГ -ровн- получила аналогичное ЛСГ -прав- (с опорным словом правъ 'прямой') дальнейшее развитие со значениями справедливости, правильности и т.п. Например: тоу правънъ поуть оѹнитель обрѣштетъ Бес 20,103а 11-12 (СЯС, III, 545); nerownost tvého těla AlbrájC 27b; ... aby tu skulky nebylo aneb hladkost st n nerowna ComestC 72a; но: čim se viece kto zlému a nerownemu a tomu, ješto se sám znáti nechce, podkláda, tiem jest on zase hrubějí TradlB 87б; muožt' (Duch svatý) navésti srdce v rovnost i u váhu ChelčPost 146a; leč by lakomství, pýchu, nenávist, nerownost a své zvláštnosti odvrhl od sebe ChelčPost 146b (Др.-чешск. сл., V, 684-686). Ср. также выше Л 3, 4-5 Олом и Дражд.

К концу изучаемого периода во всех трех языках образовалась подгруппа ЛСГ -прав- --правда- с опорным словом правъда (соотнесенная с подгруппой ЛСГ -крив- --кривъда- с опорным словом кривъда). В русском языке терминологически стали употребляться сочетания Правда рѹсъскага, Мѣрило правъднаго. Например: сия книги мѣрило праведное, извѣсь истинныи, свѣтъ оѹмѹ, око словоѹ, щерцало свѣсти, тмѣ свѣтило, слѣпотѣ вожь ... Мѣрило прав. 2б; слово о судьях и властележъ емлющихъ мызау и не въ правдоѹ сoudящихъ там же, 18б. При этом общеславянское истина, семантически сблизившись со словом правъда, стало функционировать во всех трех языках как высокое, книжное, а правъда - как нейтральное. В чешск. языке слово истина в этом значении стало употребляться ранее, чем в русск. и болг. языках.

При исторических изменениях в значениях может сменяться не только одно из значений опорного слова, но и само это слово (при длительном сохранении семантического наполнения, составляющих данную ЛСГ слов). Так первичным опорным словом в ЛСГ -обид- был гл. обидаѣти 'не замечать, обходить взглядом'. Например: нику? тоже нѣс(ть) прѣобидѣно от(ъ) б(о)га. вѣсе видитъ бесѣднаго око Шест 180д 14 (где прѣобидѣти соседствует со своим антонимом видаѣти). Постепенно в процессе семантического обогащения и развития в

ЛСГ - *обида* - опорным стало сущ. *обида* 'вред (материальный, вещественный)', а затем уже 'обида, моральный ущерб' (последнее значение - весьма позднее). Например: аще кто конь погубить, или оружье, или портъ ... а за *обиду* платити ему 3 гривны! Русск. Пр., ст. 28; аште есь кого чымъ *обида* ѿ. възврашти четворицеъ Л 19,8 Зогр Мар; Бан Врач Добр Ив-Ал; Остр; о*обида* ѿ Ас; по*обида* ѿ Добром; oklamal Олом Дражд (в чешск. языке слова ЛСГ - *обида* - очень рано вышли из употребления). Аналогично шел процесс в ряде других ЛСГ, например, в группах -*говор-* и -*мъв-*. Первичными опорными словами в них были соответственно сущ. *говоръ* и *мъвъ* со значением 'шум, нечленораздельные звуки', но вскоре опорными словами стали глаголы *говорити* и *мъвити* со значением 'говорить'. При этом в болг. и в русск. языках *мъвити*, *мъвити* оказались на периферии синонимичных болг. *решти* и *глаголати*, русск. *речи* и *говорити* в отличие от чешского, где *mluvitи* является одним из самых употребительных глаголов в ряду своих синонимов - *hovořiti*, *řeči*, *praviti*, *pověděti*.

Сравнительное исследование слов различных ЛСГ показало со всей очевидностью условность, приблизительность понятия "общего" слова в близкородственных языках. При внешнем сходном звучании и структуре такие слова, как правило (исключения единичны), даже при совпадении отдельных значений различаются по языкам по всему комплексу значений и их оттенков в целом, различаются сочетаемостью, составом устойчивых словосочетаний, различным временем вхождения в систему, а также особенностями утраты определенных значений, как прямых (обычно исходных), так и переносных. Так болг. и русск. *страна* и *сторона* (ср. также *странникъ* и *странствовати*) известны в данный период в значениях 'чужая страна', но чешск. *strana* употребляется только в значении 'сторона'. Рать, *ратникъ* и его производные в болгарских текстах соответственно - 'неприятельское войско', 'неприятель'; в русск. рукописях - 'войн', 'войско'. В чешских источниках слова данной ЛСГ не обнаружены. В различных значениях и с различной частотностью во времени употребляются в трех языках такие слова, как, например, *брѣгъ* и *берегъ*, *камы*, *опока* (и их производные). В др.-русск. рукописях не отмечено *берегъ* в значении 'гора' (по данным Карт. др.-русск. сл. XI-XIV вв.).

Для близкородственных языков характерно появление "общих" слов независимо от родственного языка в каждом отдельном языке в результате действия универсальных законов словообразования. Таковы, например, во всех трех языках слово со значением 'поляна, прогалина' - *чистина*, слово, обозначающее растения с определенными свойствами, - *чистъцъ*. При этом подобные слова в каждом языке появляются обычно в разное время. Такие, например, чешские книжные слова как *spravedlnost*, *spravedlivost*, *nespravedlnost*, *nespravedlivost* зафиксированы в рукописных источниках с XIV-XV вв. Слово *справедливость* стало употребляться в русск. и болг. языках значительно позднее и независимо от чешского - с XVI-XVII вв. При этом характерны семантические различия. Так, например, чешск. *nespravedlnost* означает: 1) 'нарушение

ние закона, законности; справедливости'; его употребительный синоним *křívda*; 2) 'греховность'; 3) 'грех'; синоним *nepravedlenstvie*.

Изучение морфемных ЛСГ различных типов показывает, что важнейшим заключительным этапом анализа каждой такой микросистемы является ее сопоставление с рядом синонимичных и антонимичных ЛСГ.

Сравнительное исследование особенно информативно при определении особенностей семантики и функционирования входящих в данные ЛСГ конкретных слов, при выявлении лексических особенностей (часто достаточно тонких, трудноуловимых) близкородственных языков.

Одна из, видимо, универсальных языковых особенностей – формирование лексических систем по бинарным связям – синонимичным и антонимичным. Наиболее ярко эти особенности сходства и различий проявляются при анализе корневых ЛСГ, например, ЛСГ -прост- и -цѣл-, -прост- и -чиист-, -прав- и -прағам-, -край- и -лѣк- в их синонимичных и соответственно антонимичных связях (типа -прав- и -край-). В ряде случаев эти связи особенно очевидны на стадии метафорических употреблений и формирования переносных значений, например, в ЛСГ -цѣл-, -скрѣпъ-, в подгруппах -неправ-, -нечиист-, в группах -г҃ѣхъ-, -край-. Выше мы называли ЛСГ со значениями говорения, речи; детскости; зрения. Для рассматриваемого периода во многих случаях обнаруживаются глубинные этимологический связи отдельных ЛСГ с конкретными словоупотреблениями. Так этимология слова г҃ѣхъ связана с понятием кривизны, отклонением от прямого (аналогично и զъլъ). Ср.: г҃ѣхъ стрѣльцы Златоструй, 4 (Срезн., I, 604); броды г҃ѣшиша Ип.л. 6659 г. (там же). Информативно изучение в плане синонимии и антонимии и ряда аффиксальных ЛСГ. Например, синонимия префиксов типа па-, ск-, о-, на-.

Этот анализ в известной мере облегчается характерными стилистическими приемами литературных произведений данной эпохи, которые, с одной стороны, состоят в нагнетении семантически сопредельных слов, нередко синонимов, а с другой – антонимов. Приведем несколько примеров: вѣ же Иѣ-славъ... не злоби вѣ нравомъ, криваго ненавидѣ, лѹбя прав-ду: не бо въ немъ лсти, но простъ мужъ чюмъ Лавр. лет. 135 об.; оцѣштах грѣховъ моихъ нечиистоты Сб. 1348 г., 67; ср(ь)дце чисто съзиждані въ мнѣ в(о)же. и д(ов)ѣ правъ обнови въ жтробѣ моемъ Пс 50,12 Син; грѣхи же въслѣдъ истины и чистоты и простоты. զմի ա մնогами лжками թестъ, того цѣшта и на пльѣзание осаждена թестъ Шест 178а 22-28; горе оправдѧющему неч(е)стиаго мыզды ради. и праведнаго бес правды от праведнаго възмѣщющемъ Мерило прав. 41а; тѣмъ же да празноуемъ. не въ квасѣ ветъсѣ. ни въ квасѣ զло-бынѣ. и лжкамънѣ. нѣ въ бесквасии чистотѣ и истинѣ 1 Кор 5,8 Охр Христ Шиш, զлоби вѣ Mak (СЯС, I, 685); A protož kvasme ne v kvasѣ starém ani v kvasѣ zlosti a zlosynstvie, ale v přesniciach čistoty a pravdy Olom Dражд; в'сѣкъ де-монъ нечиисты. и скврѣнѣнны Евх 53б 17-18; кривата мысль. и грѣшна ма д(ов)аша... не очи-стить сѧ Бес 34, 238б 19 (СЯС, II, 64).

Выявление разнонаправленных (синонимичных и антонимичных) связей слов по каждой ЛСГ в конкретном языке показывает пути и характер формирования из микросистем (из морфемных ЛСГ) лексической системы в целом. На этой основе выявляются релевантные признаки заимствованных слов. Одним из таких признаков является объем и специфика значений слова в отдельном языке. Если, например, во всех письменных источниках не употребляется прямое значение слова, характерное для другого близкородственного языка, а распространены его переносные значения, то это один из признаков того, что в данном языке такое слово является заимствованием. Таковы все слова ЛСГ -*прах*- в русск. и чешск. языках, так как в них лексемы с этим корнем употребляются только в переносных значениях, тогда как в болгарском основным является понятие 'прямой'. Соответственно в чешском языке слово *skvrna* - 'пято (от грязи)', *skvrniti* - 'пачкать' (в прямом значении) и 'осквернять' (в переносном), но в болг. и в русск. рукописях употребительно только переносное значение этих слов и соответствующих производных; вероятно, в болг. и чешск. литературно-письменных языках слова ЛСГ -*скврнъ*- являются моравизмами.

Мы смогли остановиться только на некоторых аспектах сравнительной лексикологии близкородственных языков.

Совершенно очевидно, что создание сравнительной лексикологии славянских языков - одна из актуальных задач славянского языкознания. Ее решение по силам только коллективам ученых. Такая работа могла бы быть достаточно результивной, если бы она велась коллективами славистов-лексикологов во всех славянских странах по сообща разработанной программе изучения конкретно выделенных ЛСГ. Базой такой совместной работы могли бы послужить материалы картотек академических словарей древних славянских языков, работа над которыми ведется в каждой славянской стране.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цейтлин Р.М. Сравнительная лексикология славянских языков X-XI - XIV-XV вв. (проблемы и методы)// Славянское языкознание: IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983; IX Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Языкознание. Киев, 1986. С. 231-234.

² Греков Б.Д. Главнейшие задачи современного славяноведения// Учен. зап. Ин-та славяновед. АН СССР. 1948. Т. 1. С. 13.

³ Вне цитат слова приводятся в нормализованном для своего времени написании. Для упрощения изложения при совпадающих написаниях слов в разных языках или при различиях, выражавшихся только шрифтом - кириллическим или латинским, приводится одно (самое древнее из зафиксированных) написание (если нет необходимости привести все). В цитатах из

рукописей сохраняется текст издания с отдельными графическими упрощениями. Например, при наличии нескольких написаний одной буквы дается одно. Так, четыре кириллических "и" (и, Ѳ, ѵ, Ѵ) заменяются одним и, два латинских "с" (ſ и s) — одним s. Если цитата приводится по словарю, то указывается словарь. Сокращения, принятые в словарях, сохраняются и не включаются в прилагаемый список сокращений. Прилагаемый список сокращений содержит только те сокращения, которые имеются в приведенных в тексте доклада примерах.

⁴Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 301 и 400.

⁵Там же. С. 301.

⁶Корейнý Fr. Etymologický slovník slovanských jazyků. Pr., 1973. Sv. 1. S. 156; Конечный Ф.Ф. К этимологии слов. отрок// Этимология. 1966. М., 1968. С. 55.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Ас - Ассеманиево евангелие: Kurz J. Evangeliař Assemanův. Pr., 1955.

Бан - Банишко евангелие. Среднобългарски паметник от XIII в./ Подг. Ек.Дограмаджиева и Б.Райков. С., 1981.

Боян - Боянски палимпсест: Добрев И. Глаголическият текст на Боянския палимпсест. С., 1972.

Берест.гр. - Арциховский А.В. и Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953-1954 гг.). М., 1958.

Винтр - Vintr J. Die älteste tschechische Psalterübersetzung. Kritische Edition. Wien, 1986.

Врач - Врачанско евангеле. С., 1914.

Дал. хр. - Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Pr., 1957.

Деч. - Дечанско евангелие (см. Мар.).

Добром - Добромирово евангелие. Български памятник от началото на XII век/ Подг. за изд. Б.Велчева. С., 1975.

Дражд - Staročeská bible Dráždanská a Olomoucká. I. Evangelia. Pr., 1981; II. Epištoly. Skutky apoštolů. Apokalypsa/ Vyd. Vl.Kyas. Pr., 1984.

Др.-чешск.сл. (многотомный: с указанием тома и стр.): Staročeský slovník. Т. 1-14. Pr., 1977-1984.

Др.-чешск.сл. (однотомный: с указанием стр.): Malý staročeský slovník/ J.Bělič, A.Kamiš, K.Kučera. Pr., 1978.

Евх - Синайский евхологий: Nahtigal R. Euchologium Sinaiiticum. Ljubljana, 1942. Del. 2.

Жит.Кат. - Житие св.Катерины: Dvě legendy z doby Karlovy. Legenda o svatém Prokopu. Život svaté Kateřiny. Pr., 1959.

Зогр - Зографское евангелие: Jagić V. Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Berolini, 1879.

Ив.-Ал. - Живкова Л. Четвероевангелие на цар Иван-Александър. С., 1980.

Карт.Др.-болг.сл. - Картотека древнеболгарского словаря. Ин-т за български език. БАН. София.

Карт.Др.-русск.сл. XI-XIV вв. - Картотека древнерусского словаря XI-XIV вв. Ин-т русского языка АН СССР. Москва.

Киев - Киевская псалтырь 1397 г. М., 1978.

Киев л.л. - Киевские листки: Німчук В.В. Київські глаголичні листки. Найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. Київ, 1983.

Клоц - Клоцов сборник: Dostál A. Clozianus. Pr., 1959.

Кохно - Коссек Н.В. Евангелие Кохно. С., 1986.

Лавр.лет. - Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. СПб., 1910.

Ман.лет. - Летописца на Константин Манаси. Увод и бележки от Ив.Дуйчев. С., 1963.

Мар - Ягич И.В. Мариинское четвероевангелие. Graz, 1960.

Мерило прав. - Мерило праведное по рукописи XIV века. Изд. под наблюдением акад. М.Н.Тихомирова. М., 1961.

Олом - Оломоуцкое евангелие (см. Дражд).

Остр - Востоков А.Х. Остромирово евангелие. СПб., 1843.

Пат.разк. - Николова Св. Патеричните разкази в бъгарската средновековна литература. С., 1980.

Рыбаков - Рибаков Е.А. Русские датированные надписи XI-XIV веков. М., 1964.

Русск.Пр. - Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953.

Сав - Щепкин В.Н. Саввина книга. СПб., 1903.

Сб. 1348 г. - Киев К. Иван-Александровият сборник от 1348 г. С., 1981.

Син.Пат. - Синайский патерик/ Изд. подг. В.С.Голышенко, В.Ф.Дубровина. М., 1967.

Син - Северьянов С.Н. Синайская псалтырь. Пг., 1922.

СлРЯ XI-XVII вв. - Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1-10. М., 1975-1983.

См.грам. - Смоленские грамоты XIII-XIV вв./Подг. Т.А.Сумникова и В.В.Лопатин. М., 1963.

Срезн. - Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893, 1902, 1912. Т. 1-3.

Станислав - Stanislav J. Dejiny slovenského jazyka. III. Texty. Bratislava, 1957.

Ст.-укр.сл. - Словник староукраїнської мови. XIV-XV ст., Київ, 1978. Т. 2.

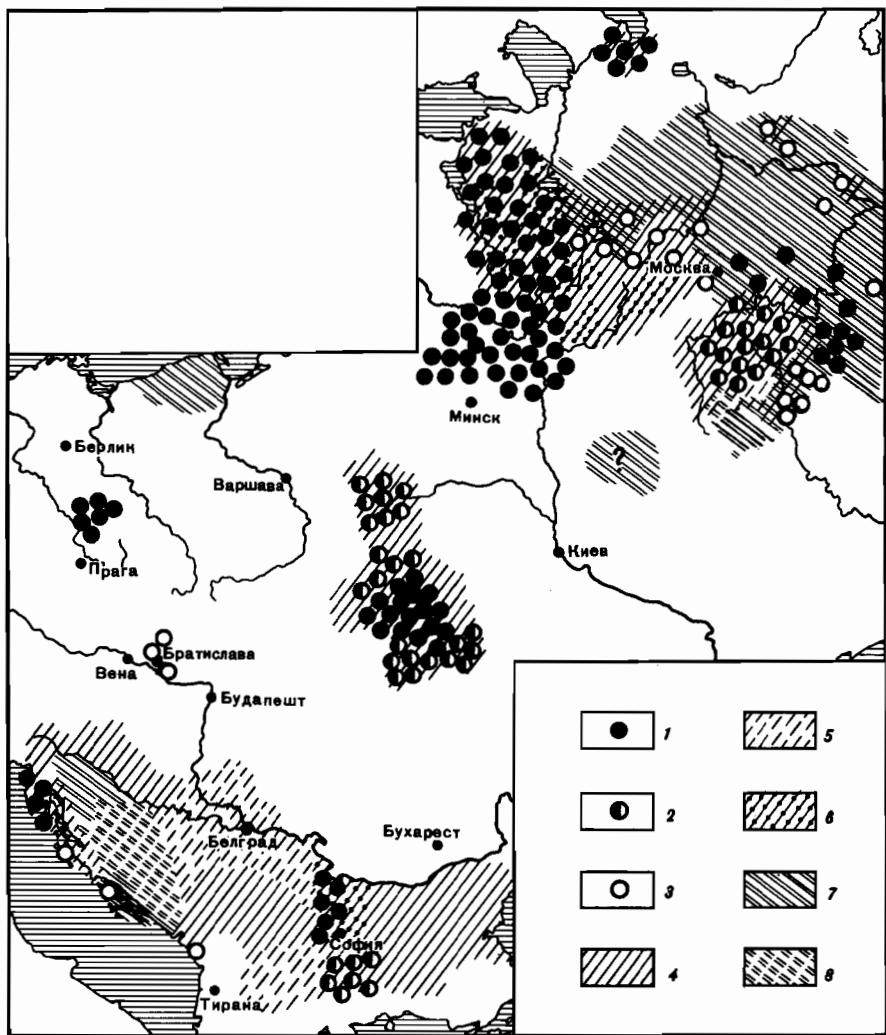
Супр - Северьянов С. Супрасльская рукопись. СПб., 1904.

СЯС - Slovník jazyka staroslověnskéhō. Pr., 1968, 1973, 1982. Т. I-III.

Усп.сб. - Успенский сборник XII-XIII вв. Изд. подг. О.А.Князевская, В.Г.Демьянин, М.В.Ляпон. М., 1971.

Шест. - Шестоднев Иоанна Экзарха болгарского: Aitzet-müller R. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Т. 1-7. Graz, 1958-1975.

Ягич - Jagić V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. 2 Aufl. Berlin, 1913.



- 1 – зоны сохранения "архаизма Иллич-Свитыча"
- 2 – зоны частичного сохранения "архаизма Иллич-Свитыча"
- 3 – отдельные реликты "архаизма Иллич-Свитыча"
- 4 – зоны с развитием а. п. *b₂* (краткостных глаголов) > а. п. *b*
- 5 – зоны с предполагаемым развитием а. п. *b₂* (краткостных глаголов) > а. п. *b*
- 6 – зоны с типом *молиши*
- 7 – зоны с развитием а. п. *b₂* (краткостных глаголов) > а. п. *c*
- 8 – зоны с предполагаемым развитием а. п. *b₂* (краткостных глаголов) > а. п. *c*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Г.С. Баранкова, Р.В. Вахтурина, Л.А. Владимирова, Л.П. Жуковская, А.М. Молдован, А.А. Пичхадзе.</i> Изборник Святослава 1073 г. Некоторые древнерусские и южнославянские черты рукописи	3
<i>А.В. Бондарко.</i> О функциональных основаниях исследования грамматических систем современных славянских языков	17
<i>Р.В. Булатова, В.А. Дибо, С.Л. Николаев.</i> Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском	31
<i>Ж.Ж. Варбот.</i> О семантике и этимологии звукоподражательных глаголов в праславянском языке	66
<i>Е.М. Верещагин.</i> Две линии в языковоизобретательстве Кирилла и Мефодия и их последователей: формирование терминологии, создание поэтической традиции	78
<i>В.П. Вомперский.</i> Восточнославянские риторики XVII - начала XVIII века	90
<i>А. Головачева, Вяч. Иванов, Т. Молошная, Т. Николаева, Т. Свешникова.</i> Типология функционирования посессивных конструкций в славянских языках	103
<i>Е.И. Демина.</i> Принципы лингвогеографической интерпретации данных памятников славянской письменности..	116
<i>А.В. Десницкая.</i> Типы лексических взаимосвязей и вопросы образования балканского языкового союза	131
<i>В.К. Журавлев.</i> Проблемы славянской диахронической социолингвистики	151
<i>А.А. Зализняк.</i> Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка	164
<i>Е.А. Земская.</i> Перспективы изучения славянских разговорных языков	177
<i>В.В. Лопатин, И.С. Улуханов.</i> Структура славянской моремы в синхронном и диахроническом аспектах	190
<i>Г.П. Нещименко.</i> Проблема функциональной дифференциации национального языка в аспекте сопоставительного изучения славянских языков	206

<i>Л.Н. Смирнов.</i> Проблемы социолингвистического анализа современных славянских литературных языков ...	225
<i>А.Н. Тихонов.</i> Старославянизмы в словообразательной системе современного русского языка (на материале гнезд однокоренных слов)	238
<i>Н.И. Толстой, С.М. Толстая.</i> Народная этимология и структура славянского ритуального текста	250
<i>В.Н. Топоров.</i> К реконструкции древнейшего состояния праславянского	264
<i>О.Н. Трубачев.</i> Славянская этимология и праславянская культура	292
<i>Е.А. Хелимский.</i> Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии	347
<i>Р.М. Цейтлин.</i> Лексика славянских языков X-XI - XIV-XV вв. (результаты сопоставительного исследования)	369

Научное издание

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

X Международный съезд славистов

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

Утверждено к печати

*Отделением литературы и языка АН СССР
и Советским комитетом славистов*

Редактор издательства *T.M. Скрипова*

Н/К

Подписано к печати 10.05.88. Формат 90 × 601/16
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная
Усл.-печл. 24,5. Усл.-кр.-отт. 24,5. Уч.-издл. 28,8
Тираж 1200 экз. Тип. зак. 399. Бесплатно
Заказное

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485
Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства "Наука"
199034, Ленинград В-34, 9-я линия, 12

Отпечатано с оригинала, подготовленного
в Советском комитете славистов

БЕСПЛАТНО

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ